Екатерина Матвеева

История одной зэчки

[roman]

CORPUS

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Многое из того, о чем рассказано в этом романе, случилось на самом деле, имена ряда персонажей - подлинные. Екатерина Матвеева написала, по сути, автобиографическую книгу, воссоздав историю юной девушки, испытавшей все ужасы сталинских лагерей. Историю ее отношений с миром, который из понятного и "правильного" вдруг превратился в абсурдный и бесчеловечный, сжавшись до клочка земли за колючей проволокой. Но даже там Надя Михайлова - красивая, от природы наделенная чудесным талантом - пытается по мере сил строить свою судьбу, вопреки всему сохраняя веру в законы добра и зла. Возможно, выстоять, выдержать ей помогает любовь - настоящая, какая бывает раз в жизни. А дальше? Дальше была вольная жизнь со своими испытаниями и обретениями. Но и эта жизнь оказалась похожей на клетку - только размером побольше. Телесериал "История зэчки" - экранная версия романа.

- Екатерина Матвеева
  - Книга первая
    - ВМЕСТО ПРОЛОГА
    - ДЕТСТВО ЗЕЧКИ
    - СУДИЛИЩЕ
    - УЗИЛИЩЕ «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»
    - НА ЭТАП
    - ХЛЕБОРЕЗКА
    - ВАЛИВОЛЬТРАУТ ШЛЕГГЕР ФОН НЕЙШТАДТ
    - КЛОНДАЙК
    - ЗУБСТАНТИВ
    - ОН…?
    - СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЧУМ»
    - АНТОНИНА КОЗА
    - ТАК ЖИЛИ ЗЕЧКИ И КАТОРЖАНКИ НА 2-м КИРПИЧНОМ В ТЕ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ…
    - ГОД 1950-й, ПОЛВЕКА ВЕКА XX-го
    - … И С КАРЦЕРОМ ПОЗНАКОМИЛАСЬ
    - ВРЕМЯ БЕЖАЛО, А СРОК НЕ ДВИГАЛСЯ…
    - КОГДА КРОКОДИЛЫ ЛЬЮТ СЛЕЗЫ
    - ОНИ МОГЛИ И ПЛАКАТЬ И СМЕЯТЬСЯ, НО СЛЕЗ БЫЛО БОЛЬШЕ!
    - «БЕЗЫМЯНКА» — ОЛП ЗАГАДОЧНЫЙ!
    - НАЧАЛО КОНЦА БЕСОВСКОЙ ИМПЕРИИ РЕЧЛАГ

        - В ПУТИ К «ВОРОБЬИНОЙ» СВОБОДЕ
    - КНИГА ВТОРАЯ
        - ОБИТАТЕЛИ «БОЛЬШОГО ВОЛЬЕРА»
        - ПОЛКОВНИК ТАРАСОВ
        - «ВОРОБЬИНАЯ СВОБОДА МНЕ ДАНА, ЧТОБ ПЕТЬ!»
        - «ТОПИ КОТЯТ, ПОКА СЛЕПЫЕ» ИНАЧЕ БУДЕТ ПОЗДНО…!
        - ПОПАЛАСЬ, КАКАЯ КУСАЛАСЬ!
        - ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО ПРИСОХЛИ НАМЕРТВО!
        - КАТАСТРОФА
        - АПОФЕОЗ
        - ПОСЛЕСЛОВИЕ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13

Екатерина Матвеева
История одной зэчки

Книга первая
ОТКУДА БЕРУТСЯ ЗЕЧКИ?

Если страдаете вы из-за трусости вашей жестоко,
Не обращайте свой гнев против великих богов,
Сами возвысили этих людей вы, им дали поддержку
И через это теперь терпите рабства позор.

Солон. (Один из «семи мудрецов» VI в. до н. э.)

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Огненный шар, ослепительно переливаясь голубовато-сиреневым светом и вибрируя лучами-щупальцами, на мгновенье завис над Надиной головой, как бы позволяя рассмотреть себя, затем резким скачком взмыл ввысь и понесся в сторону, к востоку, где чернели в ночи отроги Уральского хребта.

«Что это? Что за диво такое? Сейчас оно перелетит Урал и появится над Лабытнанги и Салехардом, там его непременно заметят, возможно, и определят, что за диковинное чудо!» — подумала Надя.

Внезапно резкий выстрел заставил ее мгновенно обернуться. Сзади, совсем близко, она увидела вышку со стрелком. Яркий свет прожектора шнырял по тундре из стороны в сторону, слепя глаза…

«Откуда здесь вышка? Проволока? Зона? Их только что не было?»

Завыла сирена, и стрелок выстрелил еще раз.

«Он целится в шар, — догадалась Надя. — Но это нельзя!»

— Стой, остановись, не стреляй, там могут быть люди! — отчаянно закричала она и бросилась бежать, махая рукой, прямо к одинокой вышке. — Не стреляй, там люди, ты убьешь их!

Но тот, на вышке, или не слышал, или не хотел слушать. Он продолжал палить вслед улетающему шару, уже не прицеливаясь, выпуская заряд за зарядом.

Вдруг шар остановился, лучи-щупальцы его померкли, весь он сжался и стал стремительно падать. Еще не достигнув земли, он бесшумно взорвался и разлетелся на тысячи мерцающих осколков. Они скользили, подпрыгивая по твердому насту тундры прямо к Надиным ногам.

— Слава Богу! Там никого не оказалось! — облегченно вздохнула Надя и в тот же миг заметила: рядом с ней на снегу, широко раскинув руки, ничком, лежал человек. Ветер трепал его светлые волосы, шапка-ушанка отлетела далеко в сторону, на ней хищным красным глазом блестела звездочка. На спине белого полушубка черной пуговицей дымилось пятно. Стреляли предательски, в спину. Крови не было видно, но Надя знала: кровь была, она была горячей и не разливалась лужей, а лилась, протаивая снег прямо к земле.

— А-а-а!.. — завопила Надя, закрывая рот обеими руками, чтобы тот, на вышке, не услышал ее, и кинулась в сторону. Но ноги не слушали, они словно вросли в снег…Она дернулась… и проснулась…

Сон этот снился ей из года в год, повторяя одну и ту же картину: вышка, зона, человек, распростертый на снегу; и каждый раз она пыталась бежать, боясь убедиться, что узнала убитого, оставляя себе хоть малую надежду на ошибку. Один раз ей снился страшный пожар, пожирающий белый снег тундры. Полчища леммингов и огромные стада оленей проносились с ревом мимо нее, спасаясь от огня. Земля дрожала, и талая, грязная от угольной пыли вода грозила затопить черной жижей одинокую фигуру распластанного на снегу человека. А однажды она видела во сне ярко освещенную, необитаемую зону, с продранной колючей проволокой и покосившейся вышкой. На вышке никого не было, а между подгнившими опорами все та же фигура, и всегда лицом в снег.

— Боже милостивый! Боже всемогущий, — шептала она сквозь слезы. — Ты один знаешь, могла ли я, ничтожная былинка во власти безжалостной судьбы, изменить предначертанное свыше. Только молиться могла я, просить тебя, Господи, вымаливая ему прощение за то, что возлюбил меня, смертную, больше, чем тебя, Создатель Бессмертного, — она знала убитого и любила…

Некоторое время она сидела неподвижно, всматриваясь в темноту, словно хотела увидеть продолжение своего сна. Потом, тряхнула головой, отгоняя от себя страшное наваждение, и вытерла слезы тыльной стороной ладони. Часы пробили полночь…

— Так всегда, как и прежде, в это время, — будто хотел он напомнить о себе, чтоб не притупилось в памяти давным-давно забытое, сокровенное, глубоко захороненное на самом дне души, чтоб вернуться мыслями к тем далеким истокам-дням, откуда все пришло, все началось.

ДЕТСТВО ЗЕЧКИ

Было бы счастье, да одолело несчастье.

Народная поговорка.

Вот добрая, старая, довоенная Малаховка, летними вечерами пряно пахнущая душистым табаком и маттиолой. С «Летним садом» с танцевальной площадкой и дощатым кинотеатром, больше похожим на огромный сарай. Впрочем, старожилы уверяли, что когда-то там пел сам Собинов. Вход в сад на танцы — 10 копеек, вход в кино — 30 копеек. С наступлением сумерек далеко окрест разносились голоса Шульженко и Утесова, веселя дачников. Мирная и покойная, совсем не похожая на пристанище воров и жулья, какой потом ее изображали в своих произведениях писатели детективных романов. Виной тому толкучка-барахолка, открытая в Малаховке во время войны. Тогда и пошли там пьяные драки и поножовщина, чинимые всяким уголовным сбродом. Местные жители стали бояться выходить вечерами из дома, на ночь запирались на амбарные засовы. Война всколыхнула со дна и подняла на поверхность притаившихся подонков общества и разный уголовный элемент. Милиционеры и блюстители порядка, люди в большинстве своем молодые, ушли на фронт, и ничто не препятствовало разгулу этого отребья.

Но тогда, до войны, все было иначе…

Старый дом на Тургеневской улице, ее, Надин, дом. Не бог весть какой! Были там дома-дачи несравненно лучше, и жили в них люди именитые, зажиточные. И можно было быть знатнее, богаче, удачливее, наконец, но не счастливее, чем жила маленькая девочка Надя с папой, мамой и братом Алешкой. И хотя денег всегда было маловато, а житейских прорех вдосталь, это никого не угнетало. Все знали, что скоро, не за горами, день, когда будет лучше. Об этом писали газеты и журналы, а по утрам радостно, обнадеживающе «пело» им радио: «Жить стало лучше, жить стало веселей», эхом повторяя слова великого вождя.

Услужливая, цепкая память так ясно, так четко вырисовывала ей мельчайшие подробности, словно было это совсем недавно, а между тем так давно…

На дворе зима… Снегом замело завалинку, его не отгребают: так теплее… В комнате жарко — печку только что протопили и заслонку задвинули, тоже для тепла, чтоб не уходило в трубу понапрасну. Посреди комнаты у стола, под оранжевым с редкими

кистями абажуром, сидит Алешка и учит уроки. Мальчишки-одноклассники зовут его «Алеха-зубреха». Он не больших способностей, но учится хорошо, прилежно, а в школе таких не любят. Надя еще не ходит в школу, да и не очень-то хочет. Жалко, придеться тратить время на уроки. Она лежит на диване, под новой отцовской телогрейкой, не болеет, просто ленится. Сквозь прищуренные ресницы ей видно, как прыгают радужные искорки на светлых Алешкиных волосах. Он водит пальцем по учебнику и монотонно бубнит: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам», и Наде видится, как собирает вещи Олег. Олег — это дачник, он приезжает на зимние каникулы сюда, в Малаховку, к бабушке. Каникулы кончились, приходится ехать домой, в Москву, в школу. Ему очень неохота. Надо еще отомстить хазарам. Хазары — это озорники с Котика, с улицы, что на другой стороне, за станцией. Хазаров ждет месть! Они стащили у Олега новые лыжи с палками, и Олег их вздует перед отъездом, а лыжи отнимет. Он сильнее. Так им и надо. Воровать нельзя, стыдно!

Читает Алешка много и очень любит Чапаева. Везде, где только можно и нельзя, рисует профиль с усами, в папахе, на вздыбленном коне, в руке огромная шашка. Выходя на улицу, он непременно загорланит: «В атаку, за мной!» Вот и сейчас он бубнит про Олега, а под учебником лежит раскрытая книга. Надя знает эту книгу, она давно пересмотрела в ней все картинки, конечно, в отсутствие Алешки. За книгу, взятую без спроса, можно схлопотать «леща». «Дети капитана Гранта» называется она и раскрыта почти при конце, на той странице, где картинка с подписью: «Кара-те-те пал мертвым!»

Потом была школа. Замечательная школа, построенная до революции на средства, собранные по подписке жителями Малаховки. Стояла она, да и до сих пор стоит, на краю оврага, что около станции, с правой стороны, если ехать от Москвы. В зимнее время не было большей радости, чем промчаться вихрем, оседлав старенький портфель в большую перемену или после уроков на дно оврага и учинить там кучу малу. А лето! В выходные дни отец брал Надю с Алешкой на озеро. Огромное Малаховское озеро, сделанное из маленькой речушки Македонки. Алешка говорил, названа она так в честь великого полководца Александра Македонского. Там был настоящий пляж, в киосках продавались ситро и бутерброды с розовой, душистой колбасой.

Но внезапно все закончилось в один погожий, но такой предательский день. Как сейчас, помнила Надя тот выходной, когда возвращались они с отцом с озера, усталые и довольные. В переулке, у дачного забора, толпились люди. С террасы

доносился громкий голос репродуктора, что-то интересное передавали по радио. Поравнявшись с толпой, отец остановился. Испуганная женщина повернулась к ним и, тараща глаза, прошептала:

— Молотов говорит! Война! Слышите? Немцы!

— Война? Быть этого не может. Ведь совсем недавно в газете была фотография: немец руку жал нашему Молотову. Как же так?

Помнилось Наде, что еще раньше тоже была война, с финнами, но прошла она где-то стороной, осталась в памяти студеная зима. Вымерзли яблони, и было так холодно, что отменили занятия в школе. Казалось ей тогда, что война — это когда холод и темень непроглядная.

Не сразу осознали жители, как велико свалившееся неожиданное бедствие. Кое-кто из знакомых пророчил: «Так себе! Шапками закидаем!» «Где им с нами тягаться», — слышалось повсюду. «Немцев кто не бил? Ленивый только». «Россия матушка — это вам не какая-нибудь Франция».

Только отец не разделял общей уверенности.

— Плохо дело, Зинушка, — сказал он матери. — Немец всю Европу прошел. Вон какие страны на себя работать заставил. Придется воевать!

В нашей победе он не сомневался, да кому охота воевать, когда дел невпроворот!

Посуровел, насупился отец, не улыбнется, будто подменили его. Озабоченно судачат соседки с матерью: костерят, на чем свет стоит, фашистов за коварство, своих за глупую доверчивость, а шепотом и Самого! Великого!

По-настоящему ощутили малаховцы войну, когда посыпались повестки из Люберецкого военкомата. Не обошли и Надин дом. Мать с лицом серым, как печная зола, закусив досиня губу, собирала вещевой мешок отцу. Так и пошла провожать на сборный пункт, держась за лямку вещмешка. На прощанье отец поцеловал всех, сказал:

— Мать берегите, скоро вернемся!

Никто и не сомневался, что будет именно так. Где ему, фашисту, с нами тягаться, такую силищу одолеть!

В августе докатились бомбежки и до Малаховки. Всем приказано было заклеить окна крест-накрест, повесить светомаскировочные занавески и вырыть «щели»-землянки. Одна щель на два дома, и по сигналу тревоги обязательно залезать в нее, сидеть там до отбоя. В первую военную осень 1941 года жители послушно выполняли приказ и, едва заслышав вой сирены, тащились с пожитками к своим щелям, но уже с наступлением зимы все реже выходили из дому, а к весне щели

обрушились, и никто не спешил прятаться. Стали привыкать к налетам, бомбежкам, к войне! Зинаида Федоровна продолжала работать на Люберецком заводе. Только раньше он назывался «Сельхозмаш им. Ухтомского», а теперь стал «Завод № 711» минометного вооружения. Поставили ее контролером ОТК в 3-й цех, дали именное клеймо за номером 483 клеймить мины, годные для отправки на фронт, негодные, с браком, откидывать в сторону. Посыпались на пригород бомбы. Одна из них попала в железнодорожную будку, что между Малаховкой и Удельной.

Целился фашист в полотно железной дороги, а попал в дом путевого обходчика и убил его дочку, певунью и танцорку Верочку. Долго не хотелось верить, что нет в живых милой, жизнерадостной девушки, и только глубокая воронка еще долго пугала твоей чудовищной несправедливостью.

Зинаида Федоровна сильно изменилась за это время, как ушел отец из дому, и не то чтоб похудела — похудели тогда все, а лицо ее, такое миловидное, всегда приветливое, стало землистым, глаза ввалились, огромные, и все больше молчком молчит, как бы прислушивается к чему-то, ей одной слышному.

Один только раз не выдержала, сорвалась, заголосила на всю Тургеневскую улицу, когда Алешка, в то время ученик ремесленного во Фрезере, заявил в один прекрасный день, что уходит на фронт со своими ребятами добровольцем и будет проситься в часть к отцу. Соседка, тетя Маня Мешкова, прибежала узнать, что там приключилось, думала, что пришла на отца похоронка, как уже не раз приходила кое к кому. Узнав, в чем дело, набросилась на мать, стыдить начала:

— Не срамись, Зинаида! Эво, как тебя надирает орать! Парню твоему все едино в армию идти, а добровольцем-то почетнее. И войне-то скоро конец. Погнали изверга-то. Наши теперь вон в каку силищу взошли. А ты голосишь дурью. Срамовище како устроила.

Мать, пристыженная, притихла и только, всхлипывая, дрожащими губами пыталась объяснить тете Мане, почему сейчас Алешке никак нельзя уходить на фронт и бросить дом.

— А ты, стрекулист, тоже мне вояка выискался, можно ли так сразу ошапуривать! Мать не жалеешь, босяк!

Тетя Маня еще некоторое время поругалась для порядка и уплыла уточкой, переваливаясь с боку на бок.

Ушел все же Алешка, бросил дом, не пожалел мать. Не стал ждать повестки из военкомата, сам напросился с товарищами по училищу. Опустел дом, словно унес он с собой что-то главное, невосполнимое. На прощанье сказал: «Книги сберегите!»

Вскоре закрыли школу — там поместился госпиталь. Стали

прибывать раненые с фронта. Иногда перед семафором ненадолго останавливались товарные поезда, ползком пробиравшиеся куда-то вдаль, за Рязань. В открытых настежь дверях теплушек толпились раненые бойцы. Завидев девушек, они что-то кричали, смеялись, махали руками. За голенищами сапог у некоторых торчали ложки. Один раз Надю подозвал молодой красноармеец с печальными, как подумалось ей, голубыми глазами на изнуренном, бледном лице. Он кинул к ее ногам сложенное треугольничком письмо.

— Брось в почтовый ящик! — только и успел сказать. Состав дернулся, звякнули буфера, и эшелон медленно пополз.

Надя схватила конверт и закивала головой: «Опущу!» Ей хотелось еще посмотреть на его печальные глаза, сказать ему, чтоб не беспокоился, письмо дойдет по адресу и она пошла за теплушкой, благо состав тащился не быстрее ее. Кажется, он понял и протиснулся к самой доске, прибитой барьером поперек открытой двери, и Надя увидела в его руке костыль. Одна штанина высоко, до колена подвернута. Она быстро отвернулась, чтоб скрыть боль и ужас, исказившие ее лицо. Низко опустив голову, хлюпая носом и размазывая слезы рукавом, она побежала на почту. Прежде чем опустить письмо, не удержалась и взглянула на адрес: Рязанская область, Спас-Клепиковский р-н, п/о Тюрвищи, д. Горки. Захаровой. «Матери», — почему-то решила она.

Надин класс распихали по разным школам. Многие подружки-одноклассницы эвакуировались. Класс распался, и учиться стало неинтересно и вроде бы не для чего. Все едино война! Почти в каждый дом приходила беда, и, как ни были готовы к ней, все равно всегда она была неожиданной: тяжелей и больше, чем думалось. Не минула лихая и старый дом на Тургеневской. Не беда, а горе, несчастье, ни с чем не сравнимое, пришло в виде простенького треугольничка с адресом, написанным химическим карандашом. Почтальониха Дуся поспешно сунула в руку Наде самодельный конверт, сложенный из бумаги в клеточку. Невдомек тогда им обеим было, какое страшное известие таилось в нем. Прочитала: Михайловой З. Ф. «Это маме». Почерк незнакомый. Мало ли кто! Не заведено у них чужие письма читать, потому не посмела распечатать да прочесть, что в том письме, а то сожгла бы в печке и знать бы никто не узнал.

Мать в ту пору работала в ночной смене, приехала домой утром с восьмичасовым паровиком — электрички только до Панков из Москвы ходили и, как в комнату вошла, тут и увидала маленький треугольник на комоде.

Кинулась, схватила, прочитала, да так и шмякнулась на пол как подкошенная. Услышала из кухни Надя — свалилось что-то тяжелое, стул опрокинулся, ведро пустое по полу покатилось, загромыхало.

Долго после болела мать, месяц с лишним в больнице лежала, а без нее и похоронная пришла.

Все, что в треугольничке было написано, то и в похоронке, слово в слово. Несколько раз принималась Надя читать, а понять ничего не может. Слезы мешают, на бумагу капают, буквы расплываются. Одно уяснила себе — погиб отец и присвоено ему посмертно звание Героя. Металась она одна-одинешенька по дому, не успевая утирать рукавом распухший нос и глаза, а потом взяла да и сожгла в печке и похоронку, и письмо-треугольник, с глаз долой. Может, ошибся командир: Михайловых-то пруд пруди. И сколько таких случаев бывало. Пришлют извещение — погиб, а человек-то жив-здоров оказывается. В кино показывали, как бьют наши фашистов, уже к границам их прогнали. Каждый такой киножурнал сопровождался несмолкаемым радостным ревом и топотом. И Надя тоже топала и горланила изо всех сил.

Но дни шли, а с фронта ни от отца, ни от Алешки вестей не было. Вскорости пришло еще одно письмо, теперь уже в настоящем конверте, и там вырезка из газеты, что награжден Михайлов Николай Игнатьевич за проявленное мужество и героизм и еще много всяких добрых слов, из чего Надя заключила, что отец погиб, спасая бензосклад на каком-то аэродроме. Посмертно… Газету Надя спрятала в комод. «Придет мама из больницы, тогда… прочитает».

Мать возвратилась еще больше посеревшая, особо губы, синие какие-то, и уже худа как щепка. Достала из гардероба черное платье, траур хотела одеть по покойному, да все с нее свалилось, как с вешалки. Пришлось наскоро ушивать. Спасибо, тетя Маня подсобила.

В больничном листке ей написали: сердце больное, режим постельный. На завод она не вернулась — там здоровые люди нужны. Работа в цехах тяжелая, каждую мину-стаканчик потютюшкай-ка 12 часов за смену, все они разные, есть в которых не меньше полупуда. «Куда уж ей, хворой», — покачала головой тетя Маня…

За мужа Зинаида Федоровна получила какие-то деньги и долго плакала потихоньку от Нади. Потом дала ей 200 рублей на туфли. На малаховской толкучке чего только не купишь. Самого черта с рогами продадут.

Долго работы мать не искала, определилась на почту: не тяжело и карточка тоже рабочая. С Надей говорила редко,

урывками и все одно и то же: заладила — учись, учись, доченька, покуда я жива.

Уж слушать надоело.

Ученье давалось Наде легко, да без охоты. Учителя жалели: все-таки дочь Героя. Безотцовщина. Растет сама по себе, как трава-лебеда в огороде, мать едва на ладан дышит, что есть, что нет, все едино. Нехотя живет на свете, через силу. Добрая тетя Маня придет, утешает: «Может, еще жив, вернется, обнаружится где-нибудь». Опустит мать голову, не смотрит ни на кого, не хочет жалости ничьей. Сердцем чуяла: нет! нет его, не возвратится!

Но однажды, вернувшись из школы и едва переступив порог, Надя услышала радостный голос матери:

— Доченька, счастье-то какое, письмо от Алеши! Читай вот!

Тетя Маня, непременный участник всех домашних дел, не спеша поставила на стол блюдце с чаем и степенно произнесла:

— Я ей каждый день долблю, упрямке: будет письмо! Жди! — и поджала губы, отчего стала похожа на добрую морскую свинку.

Мать протянула письмо — настоящий конверт, не какой-нибудь треугольник.

— Осторожно! — прошептала…

— Чего?

— Цветок там.

Из сложенных листков выпало несколько цветочков сирени. Они еще хранили едва уловимый аромат.

> «Дорогие мои, мама и Надюша!
>
> Сообщаю вам — войне конец. Фашисты еще кочевряжатся, но все это жалкие потуги, «гальванизация мертвецов», как говорит наш доктор Фрумкин. Скоро пойдем по домам. Сейчас мы вступили на территорию Германии, уже приближаемся к самому вражьему гнезду — Берлину. Немца гоним во все лопатки, хоть сопротивляется он как бешеный. Я тебе уже писал, мама, что меня наградили, но письмо ты не получила, знаю. Почта наша погибла в пути, так бывает. Ну, до скорой встречи, Алексей Михайлов, апрель 1945 г.».

Мать, помолодевшая, сияя мокрыми ресницами, побежала подогреть на керосинке чайник для Нади.

— Вот как с детями-то, письмо получила — и как десяток лет скинула, — сказала тетя Маня, глядя ей вслед. — Алексей-то, видно, ничего про отца не знает, и газета ему не попалась. И к лучшему это, вернется, узнает.

Ночью Надя проснулась, еще сама не зная отчего.

Прислушалась. Ей показалось, что кто-то плачет, затем она услышала глухое всхлипывание, словно плакали, уткнув лицо в подушку.

— Ма-ам, — не своим голосом крикнула она с перепугу.

— Что ты? Спи… — тихо откликнулась мать.

— Чего плачешь-то?

— Так, ничего, спи ты!

Надя соскочила с дивана, где спала, и, шлепая босыми ногами по ледяным половицам, подошла и села на край кровати.

— Ну чего ты, ведь хорошо все? Письмо получила, Алешка скоро вернется, война кончается…

— Скоро, скоро, доченька…

— Так чего же ты? — недоумевала Надя.

Она терпеть не могла чужих слез, а уж материнские слезы и вовсе не выносила.

— Сон я плохой видела, — едва внятно сказала мать.

— Сон? И из-за этого плачешь? Да кто ж теперь снам верит?

— Нет, плохой он. Не к добру, — упрямо повторила мать.

— Да ты расскажи, может, все чушь собачья, а ты в слезы. — Рассказывать тут нечего, ничего такого нет, главное, что я почувствовала, ощутила..

— Что-что? — уже испуганно спросила Надя, чувствуя, как страх холодными пупырышками рассыпался вдоль спины.

— Вот слушай! — начала мать шепотом. — Вижу я, вошел в комнату Алешенька. Счастливый такой, вся грудь в орденах. Смеется и мне обе руки протягивает, а в одной сверток, и говорит: «Мам, это я тебе подарок из чужих земель привез, из самого вражьего гнезда — Берлина».

— Чего ж плохого-то?

— Я хочу его обнять, а он мне сверток в руки — и обратно, к двери. Я этот сверток-то возьми и на стол кинь, и за ним, догнала в дверях: «Постой, сынок, не уходи так скоро» — и за рукав шинели хвать! А рукав-то пустой, — голос ее задрожал и уже со слезами она продолжала: — И другой-то рукав тоже пустой, и шинель пустая, а его-то и нет, и мну я эту шинель, ощупываю, ищу его, а Алешки-то и нет. Нет его. Надя уже успела озябнуть и рассердилась:

— Мам, ты что в самом деле, в своем ли уме, живого человека оплакиваешь, по ночам людей бунтишь!

— Не буду, не буду! — Ложись скорее, простудишься.

Надя прошлепала обратно на свой диван и натянула одеяло на голову. Ей страшно, и зло берет: «И чего это ей все снится, чудится, мерещится!»

Но сколько матерям и женам ни страдать, получая похоронки

да треугольнички, придет конец людским бедам и горестям. Скоро сгинет бесславно проклятый Богом и людьми фашист. Уже бьют в Москве и городах-героях победные салюты, двинулись долго не ходившие электрички, радостно трубя у станции. Дали электроэнергию, и дома снова осветились уютно и весело. Постепенно стали возвращаться на свои места эвакуированные. Опять засеменили старушки-интеллигентки в допотопных шляпках с вуалетками, с незапамятных времен проживавшие в Малаховке. Удивлялись, ахали на дороговизну малаховского рынка. Шутка сказать, кило картошки — 30 рублей, к молоку не подступись!

Вернулись домой Надины подруги по школе, все повзрослевшие, довольные. И хоть у многих дач разорены на топливо заборы и кое-кто не досчитался барахлишка, все же дом родной, своя Малаховка.

И вот настал этот день, самый долгожданный и самый счастливый для тех, кто ждал его, а ждали все! Пришел День Победы. Потом об этом дне будут много писать, слагать стихи и музыку и долго еще праздновать и отмечать великий день. Но тот, кто сам его не пережил, вряд ли сможет представить себе чувства, обуревавшие свидетелей этого дня! Такого стихийного, всеобщего ликования никогда больше в жизни своей не увидит Надя. Слились воедино счастье бытия и горечь неслыханных потерь.

На радостях мать отпустила Надю с подружками в Москву.

— Гуляйте, девочки, веселитесь, — и вытерла глаза краем передника.

Ликующая толпа волной захватила Надю и внесла на Красную площадь, туда, где пели, кричали, танцевали и плакали. Она тоже, как и все, кричала, пела и плакала, чувствуя, что еще немного — и она взовьется в небо от переполнившего ее чувства вместе с разноцветными брызгами салюта под самый купол неба, где скрестились прожектора, освещая такой знакомый с детских лет дорогой портрет Ильича.

Едва поспели на последнюю электричку. Долго в ту ночь не могла уснуть Надя. Впервые она ощутила себя вполне взрослой. Прошедший день как бы открыл ей самое себя. Как улыбались ей встречные незнакомые люди! Как оборачивались и провожали взглядами, в которых и слепой увидел бы восхищение и еще что-то волнующее, запретное. Подружки, хохоча, толкали ее в бока:

— Глянь, Надь, как на тебя уставился…

— Это на вас, — краснея, отвечала она и тоже улыбалась в ответ, чувствуя, что в другой раз это было бы плохо, а сегодня можно и просто нельзя не улыбаться.

Это была и ее маленькая победа… Нет больше гадкого утенка, нет «цыганенка», «чернушки» и еще многих прозвищ, которыми в изобилии награждали ее в детстве. В темноте она улыбнулась себе, вспомнив, как однажды после очередного набега с ватагой мальчишек на соседские подсолнухи рассвирепелая хозяйка орала на всю улицу:

— Ты, Зинка, своего выродка с цыганом в канаве сваляла, так присматривай за ней, не то я…

И в самом деле, не в кого было ей родиться такой черноглазой, с темными, цыганскими кудрями над низким, широким лбом. Правда, волосы обнаружились позже — до самой школы их приходилось стричь под 1-й номер, дабы не наловить вшей в Малаховском озере. Экзекуция стрижки производилась перед купальным сезоном, а начинался он, чуть сходил лед. Отец русый, глаза светлые, у матери глаза зеленые, в пол-лица, волосы светлые, жиденькие и тонкие, как пух, то же и Алешка, со светлым выгоревшим чубом. Одна Надька, худая, загорелая, как головешка, резко отличалась от своей родни. Впрочем, это не мешало им любить ее за живой и добрый нрав, хоть доставалось ей частенько тумаки от Алешки. Было и такое, что бесспорно указывало на ее родство с отцом: всегда улыбчивый рот, полный кипенно-белых зубов, и необычайная музыкальность. Все, что слышала черноглазая девочка в кино, по радио и просто так, случайно, все немедленно схватывалось на лету и пелось.

Школа, в которой училась Надя, шефствовала над госпиталем, где еще оставались на излечении раненые. Книги, цветы, вышитые кисеты, носовые платки и прочие немудреные подарки преподносились молодым бойцам, немногим старше своих шефов. Воины с восторгом встречали гостей, особенно самодеятельные концерты. Непременным участником таких концертов была и Надя. После чеховских водевилей, где вдохновение артистов доходило порой до такой степени, что, войдя в раж, они могли всерьез вцепиться друг другу в волосы, к вящей радости зрителей, пела Надя. Баянист, обычно из публики, не всегда мог подобрать нужный аккомпанемент, и тогда приходилось петь «под сухую». Нисколько не смущаясь, без страха и стеснения, юная певица пела все, что знала сама, по просьбе из публики и на «бис». После концерта «артистов» приглашали «к столу». Голодных подростков не приходилось упрашивать: чай с бутербродами поглощался с завидной быстротой.

Однажды, это было в праздник 1 Мая, Надя запомнила этот день на всю жизнь, после очередного праздничного концерта, когда участники угощались, в столовую вошел начальник госпиталя с очень красивой блондинкой (Надя всех блондинок

считала красавицами). Душистая, как резеда, в свеженакрахмаленном халате, красавица подошла к Наде и улыбнулась ей одной так ослепительно, что Надя перестала жевать булку и рот открыла.

— Как тебя зовут, девочка? — спросила прекрасная женщина.

— Надя Михайлова.

— Знаешь, Надя, у тебя голос хороший, тебе учиться надо петь.

Надя только ресницами захлопала, еще пуще изумляясь.

— Да, да, можешь мне поверить, — продолжало неземное существо. — Выучишься, станешь артисткой, может быть, и знаменитой даже…

— Артисткой! — эхом повторила остолбенелая Надя.

— А почему нет? Я сама перед войной мечтала поступить учиться петь, только, вот видишь, война все испортила, пришлось в срочном порядке идти в медицину.

— А-а, где учатся петь?

— Мало ли где? И в консерватории… но это потом, сперва тебе нужно поступить в музыкальное училище, вот хотя бы в Гнесинское.

— А где такое училище?

— Гнесиных? В Москве, на Собачьей площадке.

— Собачьей площадке? — переспросила Надя. «Не шутит ли красавица?».

— Да, есть такая старинная улица в Москве.

— Собачья площадка! — засмеялась Надя, а про себя решила: «найду, буду!».

Не откладывая в долгий ящик свое решение и расспросив кое-кого, она узнала, что Собачья площадка действительно существует где-то на Арбате. Но попасть в Москву удалось не сразу. Между ней и Собачьей площадкой пролегла школа, 9-й класс, бином Ньютона и творчество Горького. И только в конце июня, освободившись от биномов и векторов, которые тотчас вылетели из головы, Надя смогла осуществить свою задумку.

Долго бродила она по Арбату, расспрашивая прохожих: — Где Собачья площадка? Но одни смеялись ей в лицо: «Там, где собаки!», другие качали головами: «Не знаем», «Не слышали о такой». Совсем отчаявшись, она было повернула назад, к метро, но тут из переулка, который выходит на Арбат, вынырнула девочка с нотной папкой.

«Эта, уж зерно, знает», — решила Надя и остановила девочку.

— Собачья площадка? — удивленно подняла тоненькие брови девочка. — Да вот же она, в конце этого переулка, налево.

И в самом деле…пресловутая Собачья площадка, которую

никто не знал, оказалась буквально в нескольких шагах. Она слегка растерялась, когда подошла к двум очень похожим друг на друга небольшим особнячкам. На одном из них значилось: «Детская музыкальная школа им. Гнесиных». На другом — «Музыкальное училище им. Гнесиных». В какой ей податься? Поразмыслив, все же решила: «училище», угловой дом 7/12.

— Господи, помяни царя Давида и всю кротость его, — замирая от страха, пробормотала Надя заклинание, действенное в таких особенных случаях, когда необходима помощь свыше, как учила ее тетя Маня.

Соблюдая в точности все приметы и переступив порог правой, а не левой ногой, она толкнула тяжелую темную дверь и очутилась перед лестницей. Поднявшись по ступенькам, открыла еще одну дверь, такую же темную и тяжелую, и зашла в большую прихожую, где была раздевалка. Кругом царила прохладная тишина, не видно ни души. Почувствовав себя неуютно и одиноко, она остановилась в раздумье. И в этот момент откуда-то из глубины коридора вышли две женщины. Вне сомненья, это были настоящие дамы, и другого о них не скажешь. Одна статная, высокая, с гордой посадкой головы. Пучок густых темных волос покоился низко на ее шее, как бы потягивая голову назад, придавая ей вид величавый и важный. Другая, чуть ниже ростом, полная и седая, как маркиза на картине, с девичьим румяным лицом. Они шли, оживленно беседуя о чем-то своем. Но тут высокая взглянула на дверь и заметила Надю.

— Вы кого-то ждете? — спросила дама сочным, низким голосом.

— Нет. Я пришла поступать, то есть учиться петь, — путаясь и заливаясь краской, пролепетала Надя.

— У нас сейчас каникулы, прием заявлений с первого августа.

— А сегодня нельзя?

— С первого августа, — терпеливо повторила дама. Но Надя не ушла, она продолжала стоять.

— Что еще?

— Еще …дело в том, что я очень хочу учиться петь и…

Ей хотелось сказать, что она должна знать наверное, возьмут ее или нет, но от волнения толком ничего не могла объяснить.

Та, другая, поменьше ростом, «маркиза», обернулась и неприязненно спросила:

— Девушка, а почему вы думаете, что у вас хороший голос и вам надо учиться петь?

«И правда, почему я думаю, что у меня хороший голос? Может, и не хороший вовсе?» — испугалась Надя. Но отступать

невозможно, и она бойко ответила:

— Все так говорят, — и, застеснявшись, робко добавила: — Я очень хочу учиться петь…

— Потрясающе! — засмеялась «маркиза». — «Откуда ты, прелестное дитя?».

Надя не знала, что это фраза из оперы Даргомыжского «Русалка», и потому вполне серьезно ответила — Я из Малаховки.

— А-а-а… — понимающе переглянулись обе. Им, видимо, надоело забавляться, и уже нахмурясь, высокая сказала:

— Видишь ли, девушка, для того чтобы стать певицей, нужен не просто хороший, как тебе «все» говорят, а профессиональный, то есть отличный голос плюс музыкальность и большое трудолюбие.

Надя порывалась было сказать ей, что это ее не страшит, что учиться будет до упаду, лишь бы взяли! Но высокая еще не закончила:

— Государство тратит огромные средства на ваше образование, и мы, педагоги, обязаны выпускать из стен нашего училища только высокопрофессиональных музыкантов и певцов, а не просто любителей. Понимаешь?

— Да, да! Понимаю, — согласилась Надя. Но отчего-то голос ее предательски дрогнул, она вдруг перестала видеть этих двух, их стало четыре, каждой по две, они расплылись. Она изо всех сил закусила губы! «Только не реветь».

— Этого еще недоставало! Да будет тебе известно, слезы плохо влияют на голосовые связки. Как же ты думаешь петь?

Видимо, им жалко эту тщедушную девушку, с таким упорством ломящуюся в искусство, а быть может, нужно поставить ее на место, чтоб, пока не поздно, выбирала себе другой путь в жизни. Или просто обе были в хорошем настроении. Так тоже случается.

— Вера Владимировна! — обратилась та, что с пучком, к той, что пониже ростом, к «маркизе», как окрестила ее про себя Надя.

— Если вас не очень затруднит, давайте послушаем, как поют малаховские!

— Пожалуй! — улыбаясь, согласилась Вера Владимировна.

Они прошли вперед, и Надя, не чуя под собой ног от страха и волнения, последовала за ними.

В большом зале с блестящим паркетом, с высокими округлыми окнами, не было никакой мебели, кроме огромного хвостатого рояля и стульев, расставленных вдоль стены.

— Так я поняла, что ты хочешь стать певицей, верно? — чуть насмешливо спросила высокая.

— Да!

— Так вот! Артистка должна уметь владеть собой. Соберись! «Маркиза» уже села за рояль и пробежала двумя руками по клавишам, быстро-быстро. Красиво!

— Здорово расстроен, — обратилась она к высокой. — Надо вызывать настройщика.

— Обязательно! Напомните мне, пожалуйста. Ну, так что ты нам споешь? — Это Наде.

— «Катюшу» можно или «Чайку»…

— Уж это ты решай сама. И, во-первых, встань правильно. Вот здесь, видишь, выемка между клавиатурой и хвостом. Как я догадываюсь, музыке ты не училась?

— Не-е, — не поднимая головы, промычала Надя. Ей совестно, что ничего-то она не умеет, и музыке не училась, и стоять у рояля толком не знает где, а приперлась!

— Так что ты нам исполнишь?

— «Чайку», музыка Блантера, слова… забыла!

— Хорошо, хорошо! — остановила ее Вера Александровна.

— Пожалуйста, Вера Владимировна, подыграйте ей.

С первых же нот Надя своего голоса не узнала: «Батюшки, как в кадушку дую,» — испугалась она.

— Стоп, стоп, Вера Владимировна! Ей высоко, возьмите на тон ниже.

«Маркиза» теперь уже уверенно проиграла вступление и кивнула Наде головой:

— Вступай!

На этот раз Надя не растерялась. Она музыкальна и чувствовала, когда ей надо было вступать.

Первый такт, как первый блин, — комом. Но дальше — лучше. Высокая покачивала в такт головой и одобрительно улыбалась.

«Получается, получается! Только в конце не сорваться бы, петуха не пустить!».

Но все было пропето благополучно, петух не пущен, и даже наоборот… В пустом зале голос казался сильным и звонким.

— Вера Владимировна! Попробуйте дать ей арпеджио с «ля». Обе слушали очень внимательно, как Надя пропела все, что ей было предложено. Лица у обеих стали строгими, почти сердитыми.

«Не нравлюсь, наверное, не нравлюсь!» — огорчилась Надя. И совсем уже неожиданно для себя услышала:

— Ну что ж, голос у тебя несомненно есть, и неплохой. Мы примем тебя, только не в этом году. Сколько тебе лет?

— Скоро семнадцать, — не моргнув глазом соврала Надя. Ей недавно минуло шестнадцать.

— Вот видишь, рановато! Надо год подождать. Ты в десятый перешла? Голосок окрепнет, и школу надо закончить. Тебе придется заниматься музыкой. Певица должна уметь играть, хоть немного… это очень важно. Кроме того, у тебя будут предметы, которые потребуют много сил: итальянский язык, сольфеджио, гармония и контрапункт. Словом, полно всего. Так что приходи на будущий год, в августе.

Надя уже оправилась от огорчения и теперь старалась понять, что ей втолковывала высокая дама с узлом волос.

— На экзамене нужно будет пропеть две-три серьезные вещи. Не теряй зря времени, попробуй найди у себя в Малаховке учительницу музыки и постарайся хорошенько разучить с ней две-три вещи.

— Кстати, — вмешалась «маркиза», — у вас в Малаховке жил, да, вероятно, и сейчас живет, художник Крылов. Его жена, Дина Васильевна, когда-то сама была отменной певицей. Попробуй-ка разыщи ее, возможно, она все еще живет там и, на твое счастье, согласится тебе помочь.

— Вот и прекрасно! Приходи на будущий год, спросишь Вербову Веру Александровну — это я или Веру Владимировну Люце. Теперь ступай. До свидания!

— «Счастье — это так просто! Счастье — это так огромно», — пропела Надя, перескакивая через ступеньки вниз, опьяненная такой неожиданной удачей.

Дома мать молча, без особого восторга выслушала, как Надя, захлебываясь и путаясь, рассказывала ей о своем походе. В слепом эгоизме молодости она не сразу обратила внимание на полное безучастие матери, а заметив, замолчала и надулась, обиделась.

«Как чужая, — чужие и те порадовались бы», — подумала и тотчас раскаялась. Сколько раз потом, когда матери уже не было в живых, вспоминала она этот случай, и горечь раскаяния надолго отравляла ей настроение.

По щекам матери быстро, одна за другой, катились прозрачные бисеринки слез. Она не вытирала их, они капали ей на грудь и дальше на колени.

— Ма-а, что случилось? Что еще?

— Ничего, дочушка, осиротели мы…

— Мам, не плачь, жив Алешка, жив. Похоронка ведь не пришла … Может, ранен где, на излечении?..

— Нет, нет Алеши, — как безумная твердила мать. — Дал бы весточку, хоть откуда. Нету его в живых… и отца потеряли. — Она скрыла от Нади, что на оба запроса, где ее сын, было получено два почти одинаковых ответа. Первый испугал до полусмерти. На небольшом листочке значилось:

«Извещение»

На ваш запрос отвечаем.

Ваш сын, Алексей Николаевич Михайлов, 1925 года рождения, уроженец Московской обл., Ухтомского р-на, пос. Малаховка, находясь на 1-м Украинском фронте, пропал без вести в апреле 1945 г. В списках убитых и раненых не числится.

Воен. комиссар Шагин.

Второй ответ мало чем отличался: «Место пребывания не установлено. Капитан Скрябин».

И все…

Деньги по аттестату шли, а сведений об Алешке не было. Ходила мать к гадалке, что жила у кладбища на Кореневском шоссе. Вернулась чуть повеселевшая, гадалка сказала: «Жив, жив, жди, он среди своих».

— А где среди своих? В госпитале? Не в плену же?

— Да мало ли где!

Больше карты ничего не знали. Гадалка денег не брала, только продуктами. У забора стояли желающие узнать свою судьбу.

Осиротел не только Надин дом. Из школы не вернулись многие старшеклассники. В редком доме не оплакивали погибших. Тяжко было возвращаться к себе, видеть, как тает на глазах мать, убиваясь в тоске, слышать ее надрывный плач.

Однажды поздним вечером, когда Надя уже водрузилась на свой скрежещущий диван, мать подошла и присела на край в ногах у нее.

Помолчав недолго, она, как бы вспоминая что-то из далекого, задумчиво сказала:

— Знаешь, а я их тогда видела…

— Кого мам? — насторожилась Надя, ожидая, что ей опять мать расскажет какой-нибудь «вещий» сон.

— Немцев, убийцев моего мужа и сына, — совсем просто и беззлобно сказала Зинаида Федоровна.

Надя испуганно отшатнулась, внимательно всматриваясь в ее лицо, — ей показалось неладное. «Час от часу не легче!»

— Ты что так смотришь? Думаешь, я… Нет, правда!

Не зная, что и подумать, Надя промолчала.

— Помнишь, два года назад, как раз в эту пору, немцев по Москве гнали?

— Помню! Ну и?..

— Я тебе тогда не сказала, что смотреть их ездила. Думала, отведу душу, прорвусь и плюну в морду мерзавцам. От вокзала дошла до Садовой, смотрю, толпится народ. Спрашиваю: что, немцы? Вот ждем, говорят. Ну и я встала на углу, где часы на башне, в аккурат против метро «Красные ворота». Ждали долго, а народ все подходит. Вдруг зашумели все разом: «Ведут, ведут!» И правда, показалась их туча, видимо-невидимо. Строем идут, медленно, только слышно, как подошвы по асфальту шаркают, по краям наши красноармейцы с автоматами, с собаками. Испугалась я тогда. Ну, думаю, разъярится толпа, несдобровать им, и автоматы не спасут. Ан, не тут-то было. Идут они, как собаки побитые, и, чудится мне, что стыдно им, превратили их в скотину, стадом гонят. Совсем молоденькие есть, мальчишки, есть и пожилые, отцы. Не выдержала я, крикнула: «Что же вы, проклятые, наделали? Себя сгубили и нам столько горя принесли!» Мужчина, рядом со мной тоже крикнул: «Кровопиец Гитлер заварил кашу, гад! А эти что? Пушечное мясо, погнали, как баранов, на бойню». И веришь ли, как услышала я такое, так вроде и жаль мне их стало: хоть дрянь, но ведь люди… Оглянулась на толпу, ни в ком злобы не вижу. Стоят сердитые, насупились, молчат. Кабы самого главного вели, тут уж его толпа в клочья разорвала бы. А эти! Что с них взять? Смотрела я, смотрела, который же из этих душегубов нас с тобой осиротил, да так всю колонну и пропустила. Вот я все и думаю, как же так можно допустить, чтоб один выродок рода человеческого столько людей обездолил? Неужто не нашлось доброй души голову ему оторвать?

— Значит, не нашлось, — позевывая, ответила Надя, для нее эти проблемы уже не представляли интереса, она жила будущим. Жизнь сулила ей только счастье. Счастье учиться петь! И думать о том, как лучше, как красивее петь, чтоб иметь успех, чтоб нравиться людям и чтоб люди любили тебя и хотели слушать. А что может быть радостнее? Все огорчения и беды — все это пустяки, нужно только скорее окончить школу. А школа платила за невнимание черной неблагодарностью. Училась Надя из рук вон плохо. Учителя не беспокоили мать, зная и сочувствуя ее горю. И Надя не училась, а кое-как волокла учебу. С отсутствующим видом сидела она на уроках, мысли ее витали совсем не в пределах школьной программы.

— Михайлова! О чем я говорю? — спрашивает внезапно учитель истории Петр Алексеевич, добрейший человек, с юношеской пылкостью влюбленный в свой предмет.

Михайлова не слышит: перед ней ноты «Жаворонка» Глинки.

Она усердно учит текст, губы ее шепчут: «Не слыхать певца полей… что поет…»

— Проснитесь, Михайлова! — Петр Алексеевич всех девушек 9—10 классов величает на «вы» или «барышни».

Толчок в бок соседкой по парте, и Надя, очнувшись, озирается…

— Что? Чего?

— Встаньте, барышня, и скажите, о чем я рассказываю, — не теряя самообладания, спокойно спрашивает Петр Алексеевич.

— О Кронштадтском мятеже, — участливо шепчет Тося Фролова, соседка.

— О Кронштадтском мятеже, — повторяет Надя.

— Верно! Так вот скажите нам, когда и где он произошел, причины?

Михайлова стоит столбом, класс хихикает, подсказки несутся со всех сторон, а потому уловить их нет никакой возможности.

— В августе месяце… — под громовое ржание начинает Надя.

В класс просовывается чья-то голова. Интересно ведь, почему такой хохот?

— Т-а-а-к… в августе… хорошо… — злорадно тянет Петр Алексеевич. — А скажите, Михайлова, вы такие стихи Багрицкого помните?

Нас бросала молодость

На кронштадтский лед…

— Помню, — врет, не смущаясь, Надя.

— Так как же подавлялся мятеж? Видимо, вплавь, с пулеметами и винтовками, а?

— Нет!

— А как же тогда?

— Как же, как же, — грубит Надя, ей стыдно и зло берет: зачем ей знать о каком-то мятеже в Кронштадте… — Откуда я знаю — как!

— Слушать надобно, Михайлова, уши-то вам на что даны? Шапку держать, чтоб на глаза не съехала, а? Дремлете, барышня, на уроках, — выговаривает Петр Алексеевич скрипучим старческим голосом.

Обидно! Ведь она не дремала вовсе. Она пела и слушала хрустальный аккомпанемент чудесной мелодии…

Все дело в том, что Надя уже второй раз ходила заниматься пением. Сложилось так удачно, просто удивительно.

В ту пору жила в Малаховке жена известного художника Крылова, Дина Васильевна, в прошлом сама «отменная певица», как сказала «маркиза», но с возрастом ушла со сцены и тихо доживала свой век в обществе старой женщины, не то служанки,

не то родственницы. К ней-то и направилась, набравшись смелости, Надя. Сначала Дина Васильевна встретила ее с прохладцей.

В дом не пригласила. Говорили в саду. Потом, узнав, в чем дело, заметно оттаяла. Когда же Надя рассказала, как ее слушали у Гнесиных, и назвала Веру Владимировну Люце, хозяйка всплеснула руками:

— Верочка Люце! Ах, силы небесные, да ведь мы с ней у Зимина одни партии пели. Ах, какой голос был! Легкий, подвижный, и собой как хороша!

Оживленно блестя помолодевшими глазами, Дина Васильевна еще долго выспрашивала Надю об училище Гнесиных и многое другое.

— Вот в чем дело, — сказала она, наконец, переходя на деловой тон, — денег ты мне платить не сможешь, верно? Да я и не возьму никогда, мне не нужно. А вот кое-что по дому помочь мне необходимо. Нюра, моя помощница, руку обварила, очень сильно! Теперь надолго. Вот хорошо бы белье постирать… Мыло я дам…

— Конечно, пожалуйста, и полы могу помыть, и что другое… Я могу.

— Можешь, можешь, верю, — улыбаясь, сказала Дина Васильевна и пошла в дом за бельем.

Так начались для Нади счастливейшие дни ее жизни.

Белье было откипячено, выстирано и наглажено. Мать сама из картофельной кожуры сделала крахмал, и, когда Надя принесла стопку чистого, накрахмаленного и подсиненного белья, Дина Васильевна ахнула:

— Батюшки! Как в лучшие времена! — И пригласила Надю к роялю.

Дом художника был полон удивительных вещей, но Надя не смотрела по сторонам, хотя очень хотелось.

Тетя Маня, главный советчик и почти член осиротевшей семьи, тоже приняла бурное участие в стирке и глажке белья.

— Ишь, сколь наворотили! Будто век не стирано, — приговаривала она.

Провожая Надю на первое занятие, не переставая учила и напутствовала:

— Рот-то не больно разевай, нехорошо это, когда глазами шарят по сторонам. За стол пригласят — не садись, скажи: «спасибо», мол, «сыта». Теперь ни у кого лишнего нет. Поняла? — И, напоследок, между прочим, добавила: — Все ж головой-то бы лучше кусок зарабатывать, чем глоткой. Надежнее…

Памятуя наказ тети Мани, Надя старалась не крутить по

сторонам головой, и чуть было не сшибла в прихожей трехногий столик с цветами. Вдобавок ко всему споткнулась о ковер и едва не растянулась во весь рост. Дина Васильевна, не ожидая ничего путного из этой затеи, решила про себя, что неуклюжая девица здесь в первый и последний раз. Но как только Надя встала у рояля, там именно, где ее научили у Гнесиных, и пропела несколько нот, она насторожилась, уловив профессиональным чутьем необычную одаренность этой неуклюжей девицы. Внимательно вслушиваясь в звуки ее голоса, она старалась найти в нем недостатки или хотя бы малейшую нечистую интонацию — и не могла. Тембр голоса редкой красоты, теплый, бархатный, ровный на низах и середине, так же легко переходил в льющиеся серебристые верха.

«От природы поставлен голос. Настоящее меццо … а диапазон — море!» — не переставала дивиться Дина Васильевна. Однако, не желая преждевременно хвалить Надю, на всякий случай выговаривала ей:

— Потише, пожалуйста: петь надо, а не кричать, мягче, легче…

После урока, длинного и обстоятельного, Дина Васильевна отыскала пластинку и долго крутила ручку патефона.

— Послушай, как поет великая итальянская певица Амелита Галли Курчи.

Наде не понравилась знаменитая итальянка. То ли пластинка была заезжена, то ли Надя еще не была готова слушать великих певцов, пенье ей показалось не сильнее мышиного писка.

— Обрати внимание, какая кантилена, а легкость? Это итальянская школа, милочка. Потрясающее бельканто, на одном дыхании!

Ровным счетом ничего не понимая, Надя из вежливости утвердительно кивала головой.

Отныне жизнь ее распалась на два мира. Один скучный, с ненужными, как ей казалось, предметами, — школа и дом с вечно заплаканной, больной матерью. Другой — бесконечно интересный, удивительный дом художника, где царил возвышенный дух искусства.

Была ли Дина Васильевна «отменной певицей», Наде не пришлось узнать, но то, что она была отменной преподавательницей, — несомненно. Упорно, но неназойливо старалась она привить своей ученице вкус к классической музыке, только ее считая вершиной человеческого творчества.

— Романс, дорогая девочка, — говорила она, — это высшая форма творческого содружества между композитором и поэтом. Не случайно, например, все лучшие стихотворения великого

Пушкина положены на музыку. И обрати внимание! Музыка романсов пишется на самые прекрасные, самые избранные стихи. Вот вслушайся в этот романс:

На холмах Грузии лежит ночная мгла…
Шумит Арагва предо мной.
Мне грустно и легко…
Печаль моя светла…

— «Печаль моя светла», — повторила она. — Поразительно! — От избытка чувств Дина Васильевна с шумом захлопнула крышку рояля.

— Ты чувствуешь, как это красиво? Когда-нибудь ты поедешь в Грузию, увидишь, как прекрасна эта страна. Там живут необыкновенно гостеприимные люди… они удивительно музыкальны. Да, да! Простые люди, собравшись за столом, поют на четыре голоса!

Надя, желая поддержать разговор, улучив момент, вставила:

— Товарищ Сталин тоже из Грузии.

Дина Васильевна резко откинулась на спинку стула:

— О музыкальных способностях Сталина я не знаю, не слышала, зато о других его талантах наслышана предостаточно — сверх меры.

Надя с изумлением посмотрела на посеревшее лицо Дины Васильевны, не вполне понимая, шутит ли она. Но, уже овладев собой, она продолжала в прежнем тоне:

— И знаешь, детка, певец, только певец, без актерского таланта, не будет понят народом. Да, я не ошиблась, именно народом, ибо задача его — просвещать людей, а не в салонах выводить бельканто для избранных. В молодости своей я много слушала Шаляпина, и всегда он поражал меня вот этим сочетанием певца и актера: два гения в одном. Отсюда его несравненный успех. Особенно он изумлял в «Русалке»: таких «Мельников» земля наша не скоро народит. А жаль!

Потом, как бы спохватившись, гневно заставляла повторять Надю по много раз одну и ту же фразу и переставала сердиться только после того, как добивалась от нее нужного звучания.

Удивительная женщина была Дина Васильевна: то вдруг грозная и гневная, надменная до высокомерия, то проста, добра, отзывчива, способна прослезиться от чужих невзгод, отдать последнее. Веселая и остроумная, а подчас строгая до придирчивости. И весь внешний облик ее такой же изменчивый. Стоило ей улыбнуться — и все в ней ликовало: и карие глаза, и губы, и даже седые пряди вьющихся волос над моложавым лбом.

Но сердиться ей не шло: она старела от гнева. Много мудрых и умных мыслей заронила она в душу любознательной Нади, и, к счастью, не все ушло в песок, многое закрепилось навсегда. Надя любила ее и боялась больше всего на свете.

— Старайся, дорогая, старайся! Постигая величайшее из искусств — музыку, жизнь свою превратишь в праздник, ибо только в творчестве, в созидании, человек может быть по-настоящему и полно счастлив.

Надя слушала и старалась изо всех сил понять смысл услышанного, в душе не всегда соглашаясь со своей наставницей. Ей казалось, что можно быть счастливой гораздо проще. Например, когда нет войны, не приходят похоронки, нет продуктовых карточек и лимита на электричество. Не продают яичного порошка и овсяного суфле, и, наконец, нет очередей за керосином — в общем; все как до войны.

Еще запомнилось ей, как однажды она пришла в назначенный час, но уже далеко за калиткой услышала: кто-то играл на рояле, и это была не Дина Васильевна, а другой, настоящий пианист. Она остановилась в замешательстве перед калиткой, раздумывая, стоит ли ей зайти или лучше вернуться обратно. Вечер был на редкость теплым. Май в тот год буйно одарил землю цветами. Цвело все: черемуха, сирень, сады, леса и луга, и казалось: воткни ты в землю лопату — черенок тут же зацветет. По дороге, забежав на платформу, Надя купила у старушки за 20 копеек букетик ландышей, любимых цветов Дины Васильевны, и теперь вертела их в руке, не зная, что предпринять. Из раскрытого окна выглянула хозяйка.

— Чего же ты там стоишь? Иди скорее, мы ждем!

«Она сказала «мы», — значит, у нее гости», — слегка досадуя, подумала Надя и на ходу пригладила волосы.

У рояля сидела молодая, как показалось Наде, женщина. На ее миловидном лице большие блестящие глаза смотрели на нее дружелюбно и весело.

«Это она так хорошо играла! Сколько же ей лет? Чуть, может быть, старше меня», — и невольно улыбнулась ей в ответ.

— Вот, Катенька, это и есть та самая Надежда, прошу любить да жаловать.

— Рада познакомиться, — сказала Катенька и сильно тряхнула крепкой маленькой ручкой Надину руку.

— А это Екатерина Александровна Соколова, учительница музыки и самая прелестная женщина на свете. Она любезно согласилась пройти с тобой твои вещи. Будешь петь с настоящей пианисткой, не то что я.

Надя сразу же почувствовала, как много значит хороший

аккомпанемент, он как бы придает тебе крылья, и вот ты уже не только идешь, а летишь, поддерживаемая потоком звуков.

Екатерина Александровна очень сдержанно похвалила Надин голос, сделав кое-какие незначительные замечания, и, задумавшись на некоторое время, сказала:

— Знаете что? — Мне кажется, «Жаворонок» — это для более легкого голоса. Очень он у тебя могучий получается, прямо-таки орел! Кроме того, эта кажущаяся простота очень обманчива. Вообще, романсы Глинки требуют большого исполнительского мастерства, а у тебя его пока еще мало. Ты поешь, как птица, закрыв глаза, сама себя слушаешь! Давайте посмотрим Чайковского — «Я ли в поле да не травушка была». Тоже вещь отнюдь не легкая, но мне думается, она тебе по голосу подойдет.

Не прошло и получаса, как Надя вчерне уже знала «Травушку». Она и не подозревала, как поразительно красив может быть романс. Драматизм музыки и слов буквально потряс ее, пробуждая чувства совсем неведомые. Хотелось плакать вместе с этой девушкой, о которой она пела, рассказать, донести до слушателей весь трагизм неволи, и вместе с тем ликующая радость, радость удачи, самая первая ступенька на бесконечно длинной лестнице мастерства.

Дина Васильевна часто приглашала на уроки своих знакомых и приятельниц.

— Приучайся к публике. Певица должна быть внешне раскованна, а внутренне собрана одновременно. Это тоже мастерство, умение владеть не только голосом, но и собой, своим телом.

Надя робела и не любила посторонних, но перечить не смела. Надо так надо.

— Только не испортили бы ей голос, — говорили некоторые.

— Да она готовая певица, — восторгались другие.

Но Дина Васильевна стояла на страже.

— Нет, далеко не готовая, работы тут на целую жизнь хватит. Артистка в наше время должна быть образованной, а она дремучая невежда. Тут одна природа, не спорю, богатейшая, но на одной природе далеко не уедешь. Нужно мастерство. Учиться надо, вот что!

Не совсем права была Дина Васильевна. Не была Надя «дремучей». Ум ее — любознательный и острый от природы — действительно дремал, не имея возможности развиваться. Ее окружали добрые и отзывчивые люди, но что они могли ей дать? Жизнь московских пригородов в годы войны была суровой, а было их, этих лет, пять без малого, не считая финской. С весны, чуть сходил снег, копали огороды, без земли пропали бы с голоду: по

карточкам пригородники получали только тяжелый, как глиняный, черный хлеб, керосину по 10 литров, и то редко — очереди занимались с ночи. С весны же готовились дрова на зиму. Школа с ее бесконечными перерывами из-за морозов в финскую, из-за Отечественной войны, когда от холода замерзали «непроливайки» с чернилами, из-за того, что половина преподавателей ушла на фронт, а ученики эвакуировались, не могла по-настоящему заинтересовать Надю. Душа ее стремилась найти что-то другое. Теперь это другое было найдено.

В первое же лето после войны явились многочисленные дачники. Кинулись чинить свои разграбленные дачи, сараи, заборы. До всего добирались местные, — с топливом было худо, а караулить чужое добро некому. Возвратились и демобилизованные ребята, но мало и все больше с ранениями, а то и вовсе калеки. Нехватка кавалеров ощущалась очень остро: на возобновившихся вечеринках девушки танцевали «шерочка с машерочкой».

Неизвестно, откуда возник в Малаховке темноглазый красавчик, день-деньской околачивающийся на толкучке-барахолке. Было в его лукавых, нагловатых глазах что-то такое, отчего при встрече с ним на улице, у Нади сладко замирало сердце. Каждый раз, проходя мимо, красавчик не смотрел, а поедал ее своими томными глазами. Надя с преувеличенно безразличным; лицом отворачивалась в противоположную сторону, чувствуя и затылком и спиной его прилипчивый, долгий взгляд. Парень явно искал случая для знакомства, и хоть нравился Наде, но не в привычках малаховских девушек так уж сразу открываться.

К маю мать купила на толкучке шикарное платье — панбархатное, цвета вареной свеклы, из американских подарков. Так сказала тетка, продававшая платье. С обновкой пришлось изрядно повозиться. Американка здорово потрепала свой туалет, прежде чем решилась послать его в подарок. Зато, когда переделка была закончена, восхищениям не было конца. Одну только тетю Маню американское платье оставило равнодушной.

— Не люблю обносков, хоть и заграничных. Свое хоть ситцевое, да свежее. А то ишь, «подарила!» Под мышками-то все выпрело. Осчастливили!

Но хоть и ворчала на неряху американку, а переделать помогала и строчила на своем допотопном «зингере».

Нагловатый красавчик был сражен наповал, увидев Надю в обновке. И не выдержал на этот раз. Встретив ее около школы будто невзначай, решительно перешел в атаку. Так состоялось знакомство. Красавчика звали, как он сам прошепелявил свое

имя, «Шаша». Но Надя давно уже знала от закадычной подружки Тоси Фроловой, что зовут его Саша, фамилия Гуськов, живет у тетки в самом конце Советской улицы и что эвакуирован был из Белоруссии, а в дороге их эшелон разбомбили фашисты, мать Саши и две сестренки-двойняшки погибли. Каким-то чудом добрался он до своей тетки, сестры матери.

Наконец-то экзамены в школе закончились, и судьба Надиного аттестата повисла на волоске. Педсовет произошел бурный! Закадычная подруга Тося стояла за дверью учительской и напряженно слушала, не пропустив ни слова, чтоб немедленно и дословно сообщить результат. Особенно яростно настаивали оставить Михайлову на второй год преподавательница физики и историк. Каждый из них считал свой предмет наиболее необходимым в жизни современного человека и не на шутку был уязвлен пренебрежительным отношением со стороны нерадивой ученицы.

— Как могу я аттестовать ее, когда человек ни в зуб толкнуть, не знает элементарного? Она считает, что закон Бойля-Мариотта открыл некто по имени Бойль, а Мариотт — его фамилия, а Гей-Люссак — два разных ученых: Жозеф Луи Гей и Люссак. Судите сами, — горячилась физичка.

— Безобразное отношение к учебе, — вторил эхом историк.

Однако директор, из мобилизованных фронтовиков, выслушав всех, решил по-своему:

— Оставив Михайлову на второй год, мы причиним большое зло ее матери. Ведь она потеряла в этой войне двух самых близких: сына и мужа. Подумайте, товарищи! Она просто не вынесет еще один удар. А что касается самой Михайловой, она и второй год прощебечет, как эти года. Пусть идет учиться петь. На что ей алгебра и физика?

— Это неправильно, нечестно, если хотите знать, непедагогично, — раздались голоса возражающих.

— Послушайте! Ее отец погиб геройской смертью, а все ли были героями в этой войне? Правильно ли это? Я лично считаю, что в память погибшего отца мы можем помочь его дочери. А вообще… много ли мы помогали ей в учебе? А?

— Как же! Поможешь ей, когда в голове одни соловьи! — Кто-то засмеялся, и обстановка разрядилась.

Так добротой и снисходительностью учителей Надя получила аттестат об окончании десятилетки, где, кроме пения и дисциплины, все остальное значилось «посредственно». Но и это ей был подарок. На выпускном, прощальном, вечере она «очень недурно», как сказал историк, спела «Мне минуло шестнадцать лет» Даргомыжского и была прощена даже учителями-недругами.

Аккомпанировала ей учительница немецкого, «фрау Зубстантив», прозванная так за чопорность и строгость.

— Ты зря не учила немецкий, — сказала она. — Если ты думаешь серьезно петь, немецкий необходим. Вся классика на немецком языке. Шуман, Шуберт, не говоря о Моцарте, Бетховене.

— Да, но все они переведены на русский язык, — попыталась возразить Надя.

— А! — отмахнулась Зубстантив. — Не то, это совершенно не то…

Фрау Зубстантив, как, впрочем, и все другие преподаватели малаховской школы № 1, считала свой предмет самым важным — жизненно необходимым.

Красавчик Сашок не был допущен до торжеств, он терпеливо стоял около школы и дожидался окончания вечера. Потом они долго шли в темноте ощупью, спотыкаясь о корни деревьев. Улицы не освещались, и единственный свет лился из окон редких не спящих дач. О чем они говорили тогда? Теперь, за давностью лет, она не могла вспомнить, но один разговор ей врезался в память — он не прошел для нее бесследно. Уже подходя к дому, они услышали бой курантов. На веранде соседней дачи шло запоздалое чаепитие, и на всю улицу громыхал репродуктор.

— У моей Дины Васильевны тоже очень интересные часы, — сказала тогда Надя.

— Какие же такие? — вежливо поинтересовался Сашок.

— А вот какие. Сами все золотые, в виде пенёчка, и каждый час открывается в пенёчке дверка и выскакивает расписной петушок, маленький такой, чуть больше моего мизинца. И кукарекает столько раз, сколько времени, а каждые полчаса с другой стороны, из окошечка, показывается курочка и хлопает крылышками.

— Ну это уж ты больно загнула. Золотые! Сколько же они стоят? Все медные и все серебряные на свете? — засмеялся Сашок.

— Я не сказала, что золотые, я не знаю, какие, — обиделась Надя. — Я сказала, как золотые, и делал их очень знаменитый старинный мастер. Я вот только забыла, как его зовут, нерусский какой-то. А еще у них лягушка есть, на рояле стоит — зеленая-презеленая, из дорогого камня, совсем как живая, только побольше, и глаза у нее из камней-самоцветов. Уральские мастера такую штуковину сделали и подарили художнику — мужу Дины Васильевны.

— Пустяковины это все, — небрежно процедил Сашок.

— Пустяковины! — передразнила его Надя. — Сам-то ты пустяковина.

— Кто здесь шумит, полуночники? — выплыла из темноты тетя Маня. Она только что усмирила соседей с репродуктором и была в боевом настроении. — Это ты, Надежда? А ну марш домой! А-а-а!. — увидела она Сашка. — И ты здесь болтаешься! А ну, двигай, двигай отсюда, нечего по ночам под заборами околачиваться.

— Всего, покедова, — поторопился распрощаться Сашок. Надя, недовольная бесцеремонным вмешательством, попыталась было огрызнуться:

— Какое ваше дело, с кем хочу, с тем и стою. Надоело! — Но дальше грубить не осмелилась, помня тяжелую тети Манину руку с детства. Была она теперь своим человеком, работала, как и прежде, на «Фрезере» учетчицей и еще находила время помогать матери и изредка баловать Надю кое-какими подарками из своей, небольшой зарплаты. Жила она одна, ни родных, ни близких, и в силу своего доброго характера привязалась к разоренной Надиной семье. Впрочем, она нянчила Надю еще ребенком и потому считала ее чуть ли не своей дочерью. По этой же причине ей ни чего не стоило дать подзатыльник своей, как она сама говорила «рабоче-крестьянской» рукой.

На следующий день, вечером, после работы, тетя Маня снова зашла к ним. Ее почему-то встревожил Надин приятель.

— Вот что, Надежда, ты вчера гудела на меня, а я тебе еще раз повторяю! Парень этот никудышный, никчемный. Добра от него не жди. Мотается, нигде не учится, не работает. Тетка его, Ячменева Таня, с ног сбилась, пристраивая везде. И к нам на «Фрезер» его пихали с милицией, да не задержался. Там работать надобно, а он на это непривычен. Целыми днями на барахолке — околачивается. Гоже это, такому лбу-то?

— Вам бы только человека оговорить, — не выдержала Надя. Слова тети Мани резали по больному месту своей правдой, от того и обидно, что возразить-то нечего.

— Пустой, пустой парень, охламон — одно слово. Нечего говорить, смотри сама, потом не пеняй: «Не знала!» Я тебя предупредила!

Мать всхлипнула:

— Война проклятая, всех ребят хороших подобрала, — Надя пулей выскочила из дому.

— Начинается! Опять заголосили! Уж лучше у художника, огород прополоть или полы вымыть.

Дины Васильевны дома не оказалось. Открыла Нюра — больная старая женщина.

— А хозяйка в Москве, скоро приедет, ты заходи, — предложила Нюра.

— Лучше я чего-нибудь поделаю пока.

— Дело найдется, были бы руки.

Нюре, ворчливой и недоверчивой, нравилась эта трудолюбивая девушка, не гнушавшаяся никакой работы. То, что Надя пела, — это второстепенно. Главное человеку — трудовые руки, — считала Нюра.

— На вот тебе бидон, да сходи-ка к Климовым, она в эту пору корову доит.

Хозяйка Климова еще гремела пустым подойником в сарае, а уже у дверей толпились желающие. Одна корова на весь поселок, где уж тут прохлаждаться, нужно вовремя успеть.

— Вот умница! — сказала Дина Васильевна, встречая ее в дверях. — У меня тоже сюрприз для тебя. Послезавтра едем в Большой театр. Будем слушать «Кармен» с Верочкой Давыдовой. Получишь истинное наслаждение. Волшебная музыка. А певица! И голос, и собой-то как хороша. Между прочим, кажется, последний спектакль в сезоне.

Надя единственный раз в жизни была в театре со своим классом, перед самой войной. Смотрели они тогда в Детском театре спектакль «В старой Англии». Помнила, что какого-то старика было жалко до слез, и она украдкой утирала глаза и нос рукавом, платок, как всегда, был потерян. Большой театр она видела только снаружи, и казался он ей похожим на древнегреческие храмы, как на картинках в учебнике истории, где обитали Боги, и был он недоступен и недосягаем, как всякая обитель Богов, как восьмое чудо света.

Сашок, узнав, что Надя едет в Большой театр, в знак презрения далеко сплюнул окурок.

— Чего хорошего в опере? Поют, поют, а чего поют — не пойми не разбери. Нудянка одна! Вот до войны я…

Но Надя его не слушала, она знала, что Сашок завидует ей, и понятно. Кто же не позавидует? Любой! А что Сашок видел? Что знает? Ничегошеньки!

— Ладно! Лады! Значит, завтра вас, королева, не ждать!

Кто впервые посетил Большой театр, тот, не забудет чувство восхищения, которое испытывает каждый сподобившийся посетитель. Во всяком случае, такое чувство испытывала Надя и была бы глубоко поражена, когда б нашлись думающие иначе.

Поздним вечером возвращалась она в полупустой электричке. Дина Васильевна решила остаться ночевать в московской квартире, чтоб не пришлось провожать ее, а тогда было бы Наде совсем поздно и страшно возвращаться домой. Уставившись в черные проемы окна невидящим взглядом, Надя еще раз вернулась в ложу Большого театра. Как же это все было? Вот они

вошли и уселись на свои места в ложе, совсем рядом со сценой. Публика все прибывала потоками из дверей. Были очень нарядные в первых рядах и в ложах. Были и попроще. Атмосфера приподнятости и праздничности царила в зале. Дина Васильевна придирчиво осмотрела Надино платье и шепотом приказала ей:

— Сними сейчас же эти мерзкие бусы!

И пока Надя поспешно стаскивала с себя слегка облезлый жемчуг, добавила:

— Запомни раз и навсегда! Никогда не носи фальшивых драгоценностей, это очень дурной вкус. Она хотела добавить еще что-то воспитательное, но в этот момент гигантская люстра, окруженная хороводом Богинь невиданной красоты, начала меркнуть и погасла совсем. Чарующие звуки, такие знакомые и столько раз слышанные по радио, полились из оркестра и заполнили весь зал. Занавес плавно поплыл, и началось волшебство.

Кто же эти счастливые смертные, отмеченные небом, кому выпало счастье петь на этой сцене? Кто эта Кармен, чудо из чудес? Как она движется по сцене, как танцует, легко и свободно! «Убей или дай пройти!» — бросает Кармен, и сейчас, в полутьме вагона Надя чувствует, как мурашки холодными лапками бегут по ней. Дина Васильевна сказала, что в будущем партию Кармен она тоже сможет петь. Возможно ль это?! Замечтавшись, она чуть было не проехала свою Малаховку и спрыгнула на платформу, когда электричка уже тронулась. Не больше двух-трех человек сошли вместе с ней. Станция в этот час уже пустынна, и Надя была неприятно поражена, что ее поклонник не удосужился ее встретить. Идти было недалеко, и она вихрем домчалась до дому. Мать еще не спала, на столе шипел самовар, и тетя Маня, красная, от выпитого чая, с лицом, обсыпанным бисеринками пота, возбужденно толковала Зинаиде Федоровне:

— Самое главное, Зинаида, в жизни никому не завидовать. У каждого свои болячки. От зависти все зло на свете. «Всяк сверчок знай шесток!»

Наутро по Малаховке разнеслась весть: ночью ограбили дом художника, и даже кого-то убили. Надя бросилась со всех ног в Первомайский поселок, где была дача Дины Васильевны. Еще издалека она увидела около ее забора толпу людей. В дом никого не допускали, там что-то делали люди в милицейской форме. Ждали из Люберец следователя или еще кого-то важного.

Участковый, из демобилизованных, лейтенант Филимон Матвеевич, или попросту Филя, как его называли малаховские, у калитки расспрашивал какую-то женщину, кажется, соседку, и она, вытаращив и без того большие глаза, захлебываясь и махая

рукой, объясняла ему что-то, а Филя быстро строчил в блокноте. Дины Васильевны не было, ее увезли на медпункт. Это она, первая, вернувшись утром из Москвы, обнаружила убитую Нюру. Толковали разное: одни говорили, появилась банда в окрестностях, другие утверждали: грабителей было всего двое и Нюру убили ударом топора. А третьи уверяли всех, что ограбление совершили свои, иначе откуда было знать, что хозяйка дома не ночевала, а старая, глуховатая Нюра не слышала, как была открыта форточка и отодвинуты шпингалеты. И еще подозрительно: окна на нижнем этаже закрывались обычно на ночь ставнями и только совершенно случайно хозяйка осталась ночевать в Москве, а Нюра заснула, забыв про ставни. Стало быть, кто-то знал и воспользовался, кто-то свой! Соседи, как водится, ничего не видели и не слышали. Справа дача профессора Дашковцева, слева живет работник Наркомвода с семьей, человек в высшей степени почтенный, оба вне подозрений.

Надя протолкнулась поближе к Филе послушать, о чем идет разговор, но в это время он закончил писать, свернул свой блокнот и приказал толпе разойтись. Увидев Надю, он ткнул в ее сторону рыжим прокуренным пальцем.

— Ты, Михайлова, зайди в милицию ко мне.

После обеда она зашла в участок, но Фили там не оказалось.

— Приехали двое в штатском из Люберец и отправились на дачу к художнику, — объяснила знакомая паспортистка Люся, одноклассница.

Наде хотелось побольше узнать обо всем, главное, куда увезли Дину Васильевну.

— Здесь она была, на медпункте, отхаживали, а потом сын за ней приехал с Москвы. Во страсти какие! Что деется! — шепотом добавила Люся.

Чтоб не привлекать внимания любопытных, сидевших на скамейке в ожидании Фили или еще по каким своим делам, Надя сунула голову в окошко паспортного стола:

— А что взяли-то?

— Да пустяки, не успели, спугнули их, видать. Сын тут был, сказал: «Точно не знаю, но кажется, ерунду, часы какие-то да статуй!»

— Статуй? Какой статуй? Не было у них статуев.

— Тебе, конечно, лучше знать, чем сыну, что у них было, чего не было! Значит, был, коль украли! Отойди от окошка, мешаешь, — сердито сказала Люся и с треском захлопнула его.

Надя, сама не зная почему, вдруг почувствовала, что ее мутит. Коридор милиции как-то сузился и закачался, стало невозможно стоять, и она присела на краешек скамьи.

— Часы и статуй, — повторила она про себя, а в ушах зазвенели слова: «кто-то свой, свой, свой» — и от этих слов ей стало совсем худо. Она поспешила выйти из милиции на свежий воздух. Моросил мелкий, как через сито просеянный, теплый дождик, и она с удовольствием подставила ему свое лицо.

«Зря я так испугалась, быть этого не может. И чего только в голову со страху не лезет», — отбросила от себя она то, что смутило и обеспокоило ее: «Часы и статуй».

Вечером вдоль забора замаячила знакомая кепка. Надя набросила кофту и выбежала за калитку на улицу.

— Как Большой театр, стоит на месте? — в сумерках, блестя глазами, приветствовал ее Сашок.

— Ты что, с неба свалился? — возмутилась Надя. «Не может он не знать — весь поселок кипит».

— А что? — удивленно спросил Сашок — Чего приключилось?

— А то! Дачу художника ограбили и Нюрку убили, вот чего приключилось!

— Да ну? Не слышал, не знаю!

И по тому, как безразлично он произнес свое «да ну», Надя уловила, скорее почувствовала, фальшь в его голосе.

— Врешь ты, не притворяйся, — раздраженно оборвала его она. — На твоей толкучке только об этом и говорят…

— Ты, конечно, лучше знаешь, о чем на толкучках говорят, а я там не бываю, не интересуюсь, — дела поважнее есть.

— Прямо не бываешь, шибко занят!

— Уезжаю завтра утром, проститься пришел.

— Уезжаешь? Что так? — чуть не поперхнулась Надя. Оказывается, сама того не подозревая, она успела привязаться к этому «никудышному» парню и теперь была неприятно удивлена.

— Ауфидерзейн-гуд-бай-покедова! — пошутил Сашок, но чуткое Надино ухо уловило: ему совсем не весело.

— Что ж, скатертью дорога! — сказала она, всем видом показывая, что ее совсем не трогает его отъезд, ей безразлично.

— И все?

— Еще попутного ветра могу пожелать.

— И на том спасибо, — обиделся Сашок.

К станции подошли молча. На душе смутно, неспокойно. Жалко бедолагу Сашка, и все привязывается неотступная мысль, та поразившая ее в милиции: «Почему часы и какой-то статуй? И что за статуй такой? «В виде лягушки, что ли», — сказала Люся-паспортистка.

Не выдержав, Сашок спросил:

— Что ж ты так и не спросишь, куда еду?

— А мне что? Твое дело!

Сашок уже догадался, что Надя в плохом настроении, а ему хочется расстаться мирным путем.

— Погоди! Я пришел попрощаться, а ты надулась, как клещ.

— Что же ты раньше никуда не собирался, а тут вмиг и всполошился?

— Ехать мне надо. Нельзя мне здесь оставаться, понимаешь? — горячо зашептал Сашок в самое Надино ухо.

— Вот оно что! Понимаю, как не понять! Убегаешь значит? От кого? — Она попыталась заглянуть ему в глаза. Не шутит ли?

Но ему, видно, не до шуток. На всегда самоуверенно-нагловатом его лице растерянность и тревога. Куда девалась презрительная усмешка? Смятение и испуг почувствовала Надя.

— Послушай, — начал он, — я хотел тебя попросить, если

В этот момент от станции с ревом тронулась электричка, и он замолк. Но именно в эту секунду Надя решилась сказать ему все, чем мучилась весь день.

— Что ж, нашкодил, надо сматываться?

— Что? Что ты сказала?

— А то сказала! Ты это со своими дружками Нюрку убил, некому больше!

— Ты что, очумела? — Ей видно в неверном свете платформы, как он испуганно дернулся.

— Ты, ты, только ты мог знать про часы и лягушку. Это я тебе о них сказала, — уже не бегу бросила ему Надя. В подземном переходе им встретились люди, и она вынуждена была замолчать, но, вынырнув на улицу, тут же продолжила:

— Не бреши, только ты мог знать, что Нюра была одна, вы подсмотрели, как я возвращалась без Дины Васильевны.

— Заткнись, дура! Говорю тебе, не убивал! — злобно зашипел Сашок и с силой тряхнул ее за плечи, стараясь заставить замолчать. Его перекошенное гневом лицо страшно. Но Надю уже не остановить. Ее уже «обуял бес», как говорила тетя Маня. В припадке ярости она теряла рассудок, не зная страха.

— Тварь! Подлая тварь! — завопила она, вырываясь от него.

— Пусти меня сейчас же!

Хорошо еще, что поблизости никого не было, хотя сцены «семейной драмы» малаховцам не в диковину. Их не удивишь.

— Правильно говорили: «свои это, свои сделали!» — на ходу выкрикивала она. Слезы обиды и гнева застилали ей глаза. Быстрыми шагами она припустилась к дому.

— Я-то, дура стоеросовая, зачем, зачем рассказала про часы, про лягушку? Чужим добром хвасталась, думала, человеку…

— Постой, Надя! — догнал ее Сашок. — Не блажи, послушай

меня! Я правду говорю, отцом-матерью клянусь, не убивал я!

Надя замедлила шаги, она была готова выслушать Сашка. «А вдруг ошиблась? Дело ведь какое страшное. Отцом-матерью клянется! Может, зря оговорила?» Она и рада ошибиться бы.

— Верно говорю, с места мне не сойти, чем хочешь поклянусь! Не убивал! Не способен я на такое, я и куру забить не могу, не то чтоб этакое сотворить.

«Верно, верно, не такой он», — с облегчением подумала Надя, она уже почти поверила ему.

— Я и знать не знал, что она дома, разве я пошел бы на такое… Я только часы хотел взять, про которые ты говорила.

— Часы? Взять часы! — с горестным упреком воскликнула Надя.

— Антиквар в Москве посулил за них полторы тысячи. Думал тебе колечко с камушком подарить.

— Значит, ты все-таки залез туда, паскудник!

— Подожди! Понимаешь, только, значит, я часы-то схватил, а она тут! И откуда взялась, курва, и ну вопить на весь дом. Я еще лягушку ту на рояле заприметил впотьмах и тоже в карман сунул, все одно отвечать… и к окну. А она в меня вцепилась, как кошка бешеная, и орать дурманом! Тут я ее и пихнул. Она шмякнулась и затихла. Ну, а я в окно выскочил и давай Бог ноги. Вот! А потом, разве я мог?

Они уже подошли к Надиному дому, и, озираясь по сторонам, чтоб опять не вынырнула откуда-нибудь тетя Маня, все еще с сомненьем Надя сказала:

— Это ты сейчас выдумал, ты ее… чтоб не кричала!

— Нет! — дернул на себе рубаху Сашок. Говорю тебе, не я! Ну что мне сделать, чтоб ты поверила? Хочешь, под электричку сигану? Говори!

Надя верила, что в такой момент, когда «бес обуял» человека, от него можно ожидать всего. Но сейчас он был ей мерзок и жалок, и она с горьким презреньем проговорила:

— Пошел вон, гадина! Испоганил все. Я-то думала, ты человек, заступалась… А ты мразь, мразь, негодяй!

— Что, в милицию побежишь, да? Валяй, торопись! Он напугался и уже сожалел о своей откровенности.

«Не надо было, ах, не надо говорить! Молчать, молчать надо было! Поздно! Слово не воробей, вылетит, не поймаешь». Надя настежь распахнула калитку.

— Беги, беги, не опоздай! — вслед ей закричал Сашок, но вдруг, передумав, догнал и, больно дернув за руку, брызгая слюной, злобно крикнул ей в лицо: — Ты виновата! Ты! Зачем рассказывала? Подзадоривала, подуськивала? Чтоб понял я все,

где что лежит, а без тебя бы я знал? И знать бы не знал! у

Что-то еще хрипло выкрикивал Сашок, но Надя уже не слышала. Как нарочно, откуда-то брызнул дождь. Шлепая по лужам, не щадя новых туфель, она взбежала на крыльцо и рванула на себя дверь. На ночь еще не запирались, ее ждали, и она, постояв в сенях, чтобы успокоилось бешено клокотавшее сердце, задвинула засов и открыла дверь в комнату. Тут только заметила, что ее порядочно замочило. И хорошо, не так заметны слезы на щеках.

Мать не бранилась, только головой покачала:

Гуляешь допоздна, дочка, страшно ведь, вон что творится!

Надя разделась и, не ужинав, едва ополоснув лицо холодной водой, залезла под одеяло.

— Что ж ты, Надюша, хоть чайку бы выпила, озябла! — ласково сказала Зинаида Федоровна, поправив ее подушку.

— Не, мам, не хочу! — Ее трясла лихорадка, зуб на зуб не попадал. «Что мне делать? Не пойду же я в милицию, в самом деле. Так-то я отблагодарила свою дорогую учительницу. Стыд, срам какой! Пропал Сашок! Сволочь этот антиквар, деньгами соблазнил, парня погубил только. Дурак, дурак, и зачем ему столько денег, куда девать их? Прав Сашок, я это, я во всем виновата, зачем хвасталась? Зачем рассказывала, обалдуевна».

Обвиняя и ругая сама себя, Надя незаметно задремала.

Утром она уже четко знала, что в милицию ей идти не след. Поверив Сашку, она представила себе все то, что произошло, как он рассказал, и вся ее неприязнь переметнулась на бедную Нюру:

«И зачем она вцепилась в Сашка! Зачем ей было стеречь, как собаке, хозяйское добро! Сидела бы тихо в своем углу, и ничего такого бы не случилось. Сама себе погибель искала. Жадность заела, хозяйское добро тащат! Пропади они пропадом — и часы и лягушка!»

С этой ночи Сашок пропал, и Надя старалась не думать и не вспоминать о нем. Она окончательно поверила ему, зная его незлобливый нрав, и уже не сомневалась в том, что произошел так называемый несчастный случай.

Вскоре вернулась из больницы Дина Васильевна, но на даче жить не пожелала. Теперь она приглашала свою ученицу в московскую квартиру и часто оставляла ее ночевать. Гибель несчастной Нюры так напугала ее, что она не могла оставаться одна по ночам — ей всюду мерещились грабители. Часы свои она иногда вспоминала и жалела.

— Уникальные часы были, я их все в музей намеревалась отдать, других таких нет, делал их (тут она опять называла мастера, иностранное имя которого Надя запомнить никак не

могла). Лягушку из малахита я не любила, уж очень реалистично выполнена, даже неприятно, хотя тоже в своем роде уникальна.

В такие минуты Надя готова была расплакаться и признаться в своей ужасной тайне, покаяться, просить прощения и высказать свое сожаление о ненамеренной, но все же причастности к этому делу. Уж лучше бы Сашок не говорил ей ничего, носил бы свою тайну, как жернов на шее, сам. Но кто мог поручиться, как отнеслась бы к такому признанию сама Дина Васильевна? Возможно, отдалилась бы душой от Нади, не поняла, не простила. И не стало бы в ее жизни самого главного, прекратились бы занятия тогда, когда сделаны такие успехи, а до приемных экзаменов рукой подать. Теперь уже, год спустя, она не пойдет к Гнесиным бедной родственницей, как раньше. Она уже почти певица! И все это благодаря доброй и строгой, снисходительной и очень требовательной Дине Васильевне, так удивительно счастливо оказавшейся тут, рядом, под боком, в Малаховке. Нет и нет! Ничего она не должна знать, пусть пребывает в неведении, так лучше для нее, спокойнее. Как говорила тетя Маня: «Негоже сук рубить, на котором сидишь».

Август, такой долгожданный, наконец, наступил. И в один прекрасный день Надя надела свое «американское» платье и, прихватив ноты и документы, отправилась на Собачью площадку — средоточие всех ее чаяний и надежд. Мать, строгая и серьезная, и ворчливая тетя Маня провожали ее почти до станции. Тетя Маня все поправляла бант на затылке Нади, чем очень раздражала ее, и все твердила, что косу лучше вокруг головы положить или сзади пучочком, так приличнее. И уже у самой платформы перекрестила быстрыми, маленькими крестиками и, когда Надя засмеялась, пришла в негодование:

— А ты смейся! Веками люди жили, в Бога веровали, не глупее тебя, милка, были. Ишь, нашлись ученые, ни Бога, ни черта! Погоди, познаешь на себе его святую волю!

Мать поцеловала сухими, горячими губами:

— Ну, ни пуха, ни пера!

Что за день был! Тепло, солнечно, один из тех, что помнится особенно хорошо. Собачья площадка нашлась без труда. У дверей училища собралось множество народу, все больше молодые и, как показалось Наде, красивые девушки. Женщина в канцелярии пробежала глазами заявление и аттестат, и улыбка чуть тронула ее полные губы:

— Придешь на экзамен пятнадцатого августа, в десять утра. Отбор будет в три тура — пятнадцатого, двадцатого и двадцать пятого, поняла? Не забудь захватить ноты, что будешь исполнять.

Ей очень хотелось потолкаться в коридоре, поговорить с

девушками. Но не посмела. Ее выручила высокая тоненькая девушка с гладкой прической на прямой пробор.

— Вы тоже на вокал?

— Да, — с готовностью ответила Надя.

— Пятнадцатого в комиссии сама Елена Фабиановна, она совсем не строгая, только я вам посоветую, никаких завитых волос, она терпеть не может ненатуральности.

Надя уже раскрыла рот сказать, что у нее свои, не завитые…

— А вы к какому педагогу хотели попасть? — продолжала щебетать ее собеседница.

— Я не знаю, мне все равно, лишь бы попасть.

— Как все равно? — изумилась она. — Какой у вас голос? Ах, да что мы говорим! На сегодняшний день почти двести заявлений, а возьмут не больше двадцати пяти человек.

Сердце Нади покатилось вниз, куда-то в ноги, в горле стало сухо, не проглотить. Двести человек, и еще будут. Шутка ли? Но ведь мне обещали, та, высокая, Вербова, прямо сказала: «Приходи на следующий год, возьмем». Теперь я подготовлена, у меня репертуар, три вещи на выбор: Чайковский, Римский-Корсаков и Даргомыжский. Дина Васильевна сказала, что Даргомыжский у меня звучит очень недурно».

В полном душевном смятении вернулась Надя домой. А дома ждал неприятный сюрприз.

— Филимон Матвеевич заходил. Про тебя спрашивал. Вот повестку оставил. Что ты там еще натворила? — жалобным голосом спросила мать.

В повестке значилось: явиться в милицию в 10.30, в случае неявки…

«Вот оно, начинается!» — холодея, подумала Надя.

— Ничего мам, не натворила, это в связи с кражей у Дины Васильевны, — стараясь говорить, как можно спокойнее, ответила она.

— Я тоже так подумала, очень уж он все рассматривал. Все на фотографии глядел, спрашивал: «А это кто, да кто?»

Поутру Надя отправилась в милицию, гадая по дороге, каков будет у нее разговор с Филей. «Может, вещи нашлись, так меня для опознания зовут, хозяйка-то в Москве, или спросить хочет, не знаю ли, где Сашок, куда подевался. Кого, мол, подозреваю? Только от меня шиш, что узнаешь!»

Позади себя она услышала протяжный вой электрички и загадала: если раньше до столба дойду, чем эта электричка, все будет хорошо. Прибавив шагу, она подошла к столбу первой. Электричка с ревом пронеслась мимо нее, минуя платформу.

«Раменская, идет без остановок, а я ее все же обогнала,

значит, все будет хорошо».

В милиции паспортистка Люся кивнула ей.

— Ты чего?

— По вызову. Вот повестка.

— А, следователь там у него, из Люберец.

Надя закусила губу: «Вот неожиданность!»

Дежурный милиционер, он же и заместитель Фили, тоже из демобилизованных, прыщавый, долговязый парень, взял у нее повестку.

— Посиди минутку, сейчас доложу. — И тут же вынырнул снова, проводив Надю до двери с надписью, обильно засиженной мухами: «Зам. нач-ка милиции. Фомин Ф. М.».

— Садитесь, Михайлова, — предложил Филя, как только она переступила порог.

Следователь, еще не старый и, как показалось ей, даже не злой, молча, с любопытством уставился на Надю.

— Как успехи, артистка? — спросил Филя.

— Пока хорошо, а дальше видно будет.

— Ну, давай-давай, пой! Она у нас на артистку учиться идет, кто слышал, говорят голос — прямо в Большой театр можно, — пояснил Филя следователю.

«Эко хватил!» — усмехнулась про себя Надя. Следователь чуть улыбнулся, самыми уголками рта, откинул пятерней волосы со лба и заглянув в папку с бумагами, спросил:

— Вы ведь у Крыловой занимались, так? И долго?

— Около года. Да, точно, год!

— Ты рот что, скажи нам, Михайлова, — вмешался в разговор Филя. — Ты ведь с Гуськовым любовь крутила.

— Чего, чего? — ощетинилась Надя. — Ни с кем я любовь не крутила!

— Стой, не горячись, спокойно! Все же встречалась?

— Не знаю никаких Гуськовых, — отрезала она, всем видом своим желая показать, что никого и ничего не боится.

— А вот парень, что жил у Ячменевой, племянник ее, тоже тебе не знаком?

Дальше запираться нельзя было. Филя не один раз видел их вдвоем.

— Сашок, что ли? — как можно небрежнее спросила она.

— Сашок-посошок, он самый, — в тон ей ответил Филя. — Где он сейчас?

— Не знаю, мне не доложился.

— Прошу вас, — обратился к ней следователь, — вспомните, пожалуйста, когда вы видели его в последний раз?

«Культурный! Прошу, пожалуйста, а просьба звучит как

скрытая угроза, попробуй только не ответить!»—Где-то в конце июля.

— А точнее?

— А точнее не помню, кажется, двадцатого июля.

— Расскажите подробнее, как и при каких обстоятельствах, продолжал он, подбадривая Надю улыбкой.

«Настырный, как оса». — Мне нечего рассказывать, прошлись по улице до станции — и обратно, по домам. Дождь был. Да, точно, вечером двадцатого.

— Значит, на следующий день после убийства? Не был ли он взволнован происшествием?

— А чего ему волноваться?

Хитрый этот Филя! Сразу сообразил, что молодой, неопытный следователь быстро зайдет в тупик при таком допросе.

— Смотрю на тебя, Михайлова, и диву даюсь.

Но ее не проведешь, она ждала подвоха, настороже! И готова отразить атаку.

— Да… — продолжал вздыхая, Филя, покуда следователь строчил в своей папке. — Собой ты девушка «на ять». Номер первый в Малаховке, в артистки собираешься, а с такой шпаной, понимаешь ли, с босотвой, можно сказать, путаешься…

— То есть дружбу водит, — поправил его следователь. Он явно не желал преждевременно без надобности обострять отношения. Но взрыв все-таки произошел. «Бес» крепко обуял Надю, лицо ее покрылось малиновыми пятнами.

— А с кем я, извините, по-вашему, дружбу должна водить? Где они, наши «хорошие» парни? Где? Нет их! Какие и были, так на войне погибли. Вон из десятых классов из всех ребят один вернулся целый, а другой без руки. Вы там, на фронте, что ж не уберегли их для нас, что не прикрыли собой «хороших» парней? Сами-то целые вернулись, а «хорошие» погибли или калеками остались!

— Это ты зря так, — примирительно сказал Филя. Не по тому руслу течет допрос.

Следователь молча потер подбородок. Конечно же, она по-своему права. Обездолила война целое поколение. С этим нельзя не согласиться.

Между тем Филя упорно гнул свою линию. Он был уверен, ему удастся выведать у Нади все, что им нужно. Слишком несдержанна, горяча эта особа. Где-то да сорвется. Главное у таких — самолюбие, и по нему-то надо бить.

— Да! — продолжал он, вроде как бы сочувствуя, а может, и в самом деле жалея ее. — Ты вот что, Михайлова, сама подумай! Отец твой герой, пал смертью храбрых. Героя на фронте получить

непросто, по себе знаю. Брат тоже добровольцем, чуть старше тебя, ушел на фронт. Жизни своей молодой не пощадил. А эта пакость, понимаешь ли, со старухой воюет. Старуху убил, герой, а?

Расчет Фили верный. Надя не выдержала:

— Не убивал он ее! — выкрикнула она.

Филя, не давая опомниться, сразу подхватил:

— Не убивал? А что же, сама она себя по затылку треснула, аж дух вон?

— Сама, сама она виновата. Вцепилась в него, хозяйское добро вместо пса цепного охраняла. Чего ей было лезть на рожон!

Не просчитался Филя, не выдержала, она, расплакалась и все как на духу рассказала. Казалось ей, что слова ее спасут Сашка от неминуемой кары. Не звери же они, эти люди, не могут не посочувствовать сироте. И все, что от Сашка слышала о его детстве, о страшной ночной бомбежке эшелона с эвакуированными, где он ехал с родными, и как выбежав в поле, один скитался по деревням и воровал в огородах репу и морковь, потому что никто ему куска не подал, а только гнали и травили собаками пока не дотащился до единственной тетки в Малаховке. Притих следователь, что-то про себя обдумывает, видно, что подействовал на него Надин рассказ.

— Тебе бы в адвокаты податься, — получается. Убеждать можешь. Однако на-ко вот, прочитай! — Филя достал из папки у следователя бумагу и протянул Наде.

— Читай!

— Что это?

— Протокол допроса твоего дружка-приятеля.

— Не буду я читать. Мало ли чего вы там настряпаете.

— Тогда слушай, сам прочту…

И узнала Надя, что уже взяли Сашка, когда он в поезд садился. Выдал его антиквар, испугался, понял, что не простое, краденое покупает. И из всего этого получалось так: — во всем виновата одна она — Надежда Михайлова. Она наводчица, она его подучила, рассказала, что за вещи такие, и цену назвала, и день сказала, когда хозяйки не будет. А про Нюрку-прислугу он и знать не знал. Деньги те хотели разделить с ней поровну. Не поверила Надя ни единому слову.

— Быть этого не может, чтоб Сашок так бессовестно оболгал. Вранье, вранье какое-то, — растерянно повторяла она.

— Подойди сюда, к столу. Подпись видишь? Узнаешь его почерк?

Подпись-то стоит, а чья? Она Сашковой подписи в жизни не видела.

— Вот ведь как получается. Адвокатствуешь ты тут, выгораживаешь дролю своего, спасаешь, а он тебя топит. Тянет тебя в соучастницы, а ты, дуреха, заступаешься за него!

Толковал ей что-то Филя, убеждал в чем-то, а что? Она не могла сообразить, видела только, что глаза у него сердитые, осуждающие.

— Да ведь это неправда!

— Доказывай теперь — правда-неправда…

— Нет, почему же, все правильно, — вмешался следователь.

— Михайлова дает правдивые показания. Подпишитесь вот здесь! — ткнул пальцем в бумагу, где надпись: «Протокол». — Вот видите, стоит слово «подпись».

Затем, ей подсунули еще одну бумажонку подписать и оба долго втолковывали, что-то чего она никак не могла понять, о невыезде из Малаховки.

— Как же так? У меня пятнадцатого первый экзамен, я никак не могу пропустить. Мне надо ехать в Москву! — старательно убеждала следователя Надя.

Он понимающе кивал головой, улыбался и смотрел на нее прозрачными глазами:

— Придется экзамену обойтись без вас. Временно! — Филя проводил ее до двери.

— Дура ты дура, недотепа. Судить тебя теперь будут. Срок впаяют! — сердито засопел он.

— За что?! — вскрикнула, как ужаленная; Надя.

— Там узнаешь, за что! «Неладно получилось», — думал расстроенный Филя. Не Надиной беды хотел он. Парень этот, Сашок, давно намозолил ему глаза. Бесконечные жалобы соседей надоели до смерти: «призвать к порядку», «заставить трудиться бездельника, тунеядца, трутня» — сыпались беспрерывно. Давно хотел пристроить его к месту, а получилось? Опозорил дочь героя. Помог подвести под суд.

Зато следователь доволен: чистосердечное признание свидетельницы обвинения, и все без усилий, без какого-либо нажима со стороны следствия. Обошлось даже без угроз и запугивания. Все по закону. Такого еще не случалось в его практике.

Как по взмаху волшебной палочки, превратилась принцесса в Золушку. Впереди был суд… но и до него хлебнула Надя полной мерой презренья и злорадства со стороны знакомых и друзей. Молва беспощадно злая далеко обогнала действительные события.

— Допелась, допрыгалась, артистка! Теперь в кутузке Лазаря петь будешь! — не раз неслось ей в след.

Суда Надя не то чтобы боялась, а даже, наоборот, была уверена, что Сашок, увидев ее, откажется от своих чудовищных показаний. Больше всего ее страшила встреча с Диной Васильевной. Какие слова надо найти, чтоб оправдаться перед ней, как убедить ее?

И, конечно, мать. Как будто мало горя выпало на ее долю, как будто взялись силы небесные доканать ее. Но нет, мать, слабая, всегда готовая плакать над своим и чужим горем, вдруг стала неузнаваемая: ни слова упрека или жалобы. Словно ждала она этого дня, чтоб сказать себе: «И это меня не сломит».

— Не плачь, Надюша, не виновата ты. Разве могу я поверить в такое… Был бы отец жив, не дал бы тебя в обиду. Все война проклятущая.

СУДИЛИЩЕ

Рабы, те, кто боятся говорить за павших.

Лоуел.

Потом был суд, о котором никогда не хотелось вспоминать, и первое горькое разочарование в людях. Она была уверена, могла спокойно положить голову на плаху, что Сашок откажется от своих показаний, иначе и быть не могло, но ничего подобного не случилось. Суд был открытый, и в маленький зал народу набилось видимо-невидимо. Задолго до этого дня на гастрономе и зимнем кинотеатре были развешаны объявления, гласящие, что состоится суд над группой грабителей.

Тетя Маня пришла расстроенная.

— Воистину, добрая слава под камнем лежит — худая по дорожке бежит.

На суд она не пошла и Зинаиду Федоровну не пустила.

— Чего слушать-то? Одна камедь все! Расстраиваться только. Сашка привели под, конвоем. Надя пришла по вызову сама. Филя, увидев ее, успел шепнуть на ходу:

— Не тушуйся, все будет хорошо! — и ободряюще подмигнул рыжим глазом.

Надя отвернулась. «Пошел ты, куда подальше!»

От спертого воздуха и духоты ей стало худо, и в какой-то момент она совсем перестала соображать, что происходит. Зал поплыл в тумане, а на сцене, где сидели судьи, все смешалось в одно пестрое пятно. Не понимая, о чем ее спрашивают, она тупо воззрилась на судью, пока тот не прикрикнул на нее. Тогда она совсем невпопад на вопрос, сколько ей лет и какое образование, ответила: «да». Сашок, худой, с провалившимися глазами, увидев Надю, попытался сказать ей что-то, но вместо этого зашмыгал носом, губы его беззвучно задрожали, задергались, он поднял плечи и втянул голову. Смотреть на него было противно до тошноты, она повернулась спиной и закрыла глаза. Ей вдруг начало казаться, что все это происходит не с ней, а с кем-то другим и этот другой смотрит давно виденный фильм, но, о чем говорят на экране, разобрать невозможно.

Между тем суд шел своим чередом. Присутствующие в зале время от времени что-то выкрикивали, судья призывал к порядку, потрясая колокольчиком и угрожая очистить зал от публики.

Не сразу вышла Надя из своего отупения. Уже послышались

недовольные голоса:

— Притворяется дурочкой, вроде не слышит!

— Первое дело прикинуться ненормальной, авось помилуют! И только когда судья, вторично возвысив голос, крикнул ей:

— Встать, Михайлова! — она вскинула голову и встала, держась за спинку стула.

— Признаете вы себя виновной в предъявленном обвинении?

— Нет, не признаю, наврал все Гуськов!

— Хорошо, допустим, а откуда он узнал о существовании этих вещей?

— Я ему рассказала, что…

— Ага! Все-таки вы говорили Гуськову, где находятся эти предметы.

— Я сказала, на рояле.

— И ценность их тоже сказали?

— Нет, цену я не знаю.

— Говорила, говорила, — выкрикнул Сашок. — Сказала, часы из золота, а лягушка…

— Сядьте, Гуськов, вас не спрашивают.

— Врешь, я сказала, как золотые.

— Вы не отрицаете, что сказали, подсудимому, где находятся вещи?

— Да! — взвизгнул Сашок, — И сказала, что хозяйки дома не будет.

— Я сказала, что мы с Диной Васильевной едем в театр.

— Прекратите! Предупреждаю последний раз. Отвечать только на вопросы судьи! Спрашиваю вас, Михайлова, еще раз: вы подтверждаете, что сказали Гуськову, где находятся вещи, ценность этих вещей и что дом в момент ограбления не охраняем? Отвечайте прямо на поставленные вопросы.

— Да, говорила, — тихо сказала Надя и запнулась: «Что я говорю! Они сбили с толку, все выглядит так, как врет Сашок. Я ничего не смогу доказать».

— Суд учтет ваше чистосердечное признание, — услышала она голос судьи.

Потом убедительно и горячо говорила женщина—адвокат. Накануне она долго увещевала Надю полностью довериться ей и не допускать «хулиганских эксцессов» на суде, чем крайне удивила ее. «Почему «хулиганских выходок»? Еще просила защитница не мешать ей на суде, не перебивать речь, которую она приготовила для защиты. Очень бойко и уверенно говорила адвокат, пересыпая свою речь цветистыми изречениями из греков, римлян и даже Ленина. И долго. Из всего ее выступления Надя поняла, что защитнице жалко нашу молодежь, жертву войны, не

нашедшую себя. Слушая ее, Надя недоумевала: «почему» не нашедшую», когда все так хорошо было найдено?» Старалась молодая адвокат вовсю, много хороших слов произнесла в пользу своих подзащитных, прося у судей снисхождения, учитывая их молодость и чистосердечное признание, напоминала, что они дети погибших фронтовиков и росли фактически беспризорными.

— Что она говорит? Зачем просит за меня? Почему не скажет, что я не виновата? Я же ей все растолковала, она знает, что моей вины здесь нет, — порывалась крикнуть Надя, слушая защиту, но судья каждый раз осаживал ее:

— В последнем слове скажете, потом!

Тем не менее, речь произвела впечатление на присутствующих. В зале начали сморкаться, у заседателей за судейским столом появились носовые платки. Филя стоял у входа, прямо против Нади и, перехватив ее взгляд, чуть заметно поднял рыжие брови и кивнул. Словно хотел сказать: «Вот видишь, я же говорил, не тушуйся!»

Откуда-то из рядов поднялась женщина, подошла к судейскому столу и стала что-то говорить судье настойчиво и властно. Судья, пожилой мужчина, с усталым, бледным лицом, отрицательно покачал головой. Зал замер, стараясь уловить, о чем шел спор. Женщина, все более повышая голос, достала из сумочки маленькую книжечку и подала судье. Внимательно полистав странички, судья обратился к своим коллегам и пошептался с ними, а затем уже не шепотом, а так, что слышали первые ряды: «Оснований для отказа нет», и объявил громко:

— Товарищи судьи! Слово хочет сказать дочь погибшей Анны Ильиничны Зубковой, Герой Социалистического Труда, бригадир животноводческой бригады колхоза «Путь Ильича», Евдокия Ивановна Зубкова.

Зал ахнул и сердито загудел. Женщина из второго ряда, не поднимаясь с места, крикнула:

— Что ж это, дочь героиня, а мать в прислугах?

Загудели еще пуще.

Та, объявившая себя дочерью убитой, повернулась лицом в зал, и все увидели на лацкане ее пиджака орденскую колодку.

— Мать моя, Анна Ильинична, убитая этими подонками, никогда не была прислугою — она дальняя родственница Крыловых, — отчеканила она в зал.

— Родня, а на кухне ютилась, — не унимались со второго ряда.

Опять рокот прокатился по залу, задвигались, зашаркали ноги. И снова судья пригрозил закрыть заседание и выпроводить всех, если не будет тишины и порядка.

— Я также являюсь народным заседателем, — не обратила внимания она на реплику из рядов, — и хочу возразить защите. Не слишком ли горячо она заступалась за своих подзащитных? Не слишком мягкотелы мы стали? А по совести? Разберемся! Заслуживают ли они снисхождения? Здоровый парень двадцати трех лет, если не ошибаюсь, в плуг запрягать можно вместо коня —потянет! Бездельничает, живет на средства престарелой тетки и ловчит, где бы денег без труда раздобыть! Спрашивается: где он был в войну, когда наши ребята шли на фронт добровольцами? Возраст призывной. Как он очутился в эшелоне с эвакуированными беженцами? В сорок третьем ему было уже восемнадцать лет!

— У него справка о болезни, — тихо сказал судья.

— Справка! Это еще требует проверки. Знаем, как справки выдаются. А кстати, болезнь — не клептомания? А то бывает, добрые врачи воров так определяют.

— Ишь, разошлась! Куда там! — донеслось из зала.

— Нет, товарищи, — продолжала женщина с еще большим подъемом. — Пора наводить порядок в государстве! Сумели победить фашистов, справимся и с бандитами! Понятно?!

— Спасибо, достаточно! — махнув в ее сторону рукой, заявил судья. Но она не слышала его или сделала вид, что не слышит все более воодушевляясь, она продолжала:

— Нечего с ними лояльничать, не хотели работать добровольно, поработают в принудительном порядке. А то, видите ли, здоровенная девка пеньем занялась. Ее приняли в дом, а она, оказывается, высматривала, что ценного в доме, чтоб улучить момент…

— Хоть слезинку уронила бы, мать ведь убили, ораторша! — громко крикнул мужской голос.

— И не комсомолка она! Вот что поражает: в наше время не быть в комсомоле? Как ей…

— Хватит долдонить, — перебил мужчина в железнодорожной форме и стал пробираться к выходу. Шагая между рядами, он еще добавил: — Таратайка! Чисто таратайка! Тра-та-та, тра-та-та! Балаган!

Кое-кто громко рассмеялся. Судья уткнул нос в бумаги, наверное, чтоб не засмеяться тоже.

Надя воспользовалась минутным замешательством и крикнула на весь зал:

— Я не наводчица, это ложь. Гуськов со страху меня оговорил, били его, наверное.

— Сядьте на место, потом скажете, в последнем слове.

— Я в комсомол не успела вступить. Наш комсорг с фронта

не вернулся.

— Ишь, задергалась, как гадюка под вилами, — обратилась в зал, как бы ища поддержки, толстая немолодая женщина с первого ряда.

Надя осеклась. «Что говорить? Все равно не поверят. У них уже все решено».

— Суд удаляется на совещание! — объявил председатель, и все заволновались, заспорили и стали занимать пустые передние места, поближе к суду. Интересно ведь!

Приговор выглядел устрашающим: соучастие в ограблении с убийством. Принимая во внимание… учитывая… Суд постановил: Семь лет исправительно-трудовых лагерей.

«Не может быть, это не мне», — с тревогой подумала Надя.

— Мало ей, — раздалось из зала. — Парня погубила, поганка, — то и дело вскакивали со своих мест женщины, награждая ее отборными эпитетами.

Надя выслушала приговор молча. Не поверила: «Не может быть!» Ей показалось, кто-то зло пошутил, хотел припугнуть, чтоб впредь осмотрительней была в выборе знакомых. Напрасно она ждала и надеялась, что Сашок опомнится, придет в себя и скажет всем здесь сидящим, что зря оговорил Надю. Непонятно только почему? Из трусости? Из подлости? А быть может, из ревности? Но ничего такого не произошло. В последнем слове Сашок путано лопотал что-то, обещал исправиться, оправдывался, сваливая всю вину на нее.

От последнего слова Надя отказалась. Сказала только:

— Мне нечего говорить вам, все равно мне не верят. Хотели сделать из меня преступницу и сделали.

Слова ее потонули в потоке возмущенных возгласов. Много незаслуженно обидных слов пришлось выслушать ей тогда.

Приговор Сашку зал встретил одобрительным гулом. Восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Тоже принимая во внимание…

— Можно было больше!

— Так им и надо!

Орденоносная бригадирша из колхоза «Путь Ильича» металась около судей, призывая быть на страже закона:

— Мало, мало, я буду жаловаться, я до Верховного Суда дойду.

Она еще что-то говорила, но Надя уже не слышала. После объявления приговора обоих под конвоем вывели во двор, где уже ждала машина со смешным названием «воронок». Увидев «воронок», она вдруг ясно осознала весь ужас совершившегося и остановилась.

— Мама, мамочка, что с тобой будет! — вырвалось у нее.

— Иди, иди, — подтолкнул ее конвоир, — будет еще время, наплачешься о матери, — сказал он беззлобно.

— Не заплачу, не заплачу, ни за что не буду плакать, прошептала Надя и с силой сдавила зубами нижнюю губу.

Во дворе к ней подскочил Филя:

— Круто тебе впаяли, не ожидал! — произнес он, часто моргая рыжими ресницами. — Ты пиши, сразу подавай кассацию, жалуйся, не соглашайся с приговором.

На Сашка он даже не взглянул, словно того и не существовало вовсе. От Нади он подошел к конвоиру и стал ему о чем-то толковать. Конвоир кивнул Филе и подсадил ее в высокий кузов. Дверь захлопнулась.

Горе не раз посещало маленький дом на Тургеневской улице. Гибель отца и брата была общим бедствием — войной. Погибших оплакивала вся страна. Отец и брат были кровавыми слезами их Родины.

Героями, живыми и мертвыми, гордились, им воздавались заслуженные почести.

Совсем другое обрушилось теперь. Это было как удар молнии, как внезапное землетрясение или ураган, когда его величество случай сметает, опрокидывает и давит человека, как козявку, и нет никакой силы и возможности противостоять ему. Но надо все выдержать, перетерпеть, не сломаться, перемочь, чтоб подняться заново и жить.

В первый же день своего пребывания в пересылочной тюрьме, Надя отправила домой, в Малаховку, письмо с адресом своего местопребывания: Москва, Красная Пресня, п/я 22/62 и заявление на имя начальника тюрьмы.

— Пиши кратко, — посоветовала сокамерница и подсказала, как нужно писать.

> От з/к Михайловой Н. Н. статья 74–17, срок 7 лет.
> Заявление.
> Прошу вашего разрешения на свидание с матерью.
> Михайлова.

Как ответил начальник тюрьмы на ее заявление, неизвестно, заявление обратно не вернул, но свидание разрешил. В эту лихую для Нади годину единственной и надежной опорой оказалась мать. Надя и хотела и боялась этой встречи. Боялась материнских слез, упреков и убитого горем лица. Но страшилась напрасно, она просто не знала своей матери. Зинаида Федоровна пришла собранная и серьезная.

«Как на экзамен», подумала Надя, завидев ее через прутья

решетки. Лишь один раз ее прекрасные большие глаза стали влажными, когда, захлебываясь от рыданий, Надя целовала ее руки и только могла произнести: — Прости, мама, прости!

— Мне нечего прощать тебе, Надюша. Не плачь, родная. Сама я во всем виновата. Жила, как неживая, в чаду. Горем своим упивалась, а про тебя и забыла.

Напоследок сказала:

— Прошение буду подавать от себя, может, уважут, как жену погибшего фронтовика.

Не сказала «погибшего героя», для нее не было разницы, герой или просто фронтовик-солдат. Был любимый, единственный, навечно памятный муж. Странная она была, не как все. Не умела радоваться жизни, жить сегодняшним днем, все думала о том, что может случиться. Словно предвидела и ожидала грядущие горести.

УЗИЛИЩЕ «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»

Раба позорное название носить —
Такая участь многих, духом же они
Свободней тех, кого рабами не зовут.

Еврипид.

Пересылочная тюрьма, куда угодила Надя, называлась «Красная Пресня», и была она не хуже и не лучше всех остальных тюрем в Москве, — известно, тюрьма не дом отдыха. Правда, ей сказали соседи по камере, что на Лубянке лучше: и полы паркетные, и кормят лучше, в камерах народу поменьше, и даже книги читать дают из конфискованных частных библиотек. Но там сидят «враги народа», а она себя не считала ничьим врагом, тем более народа. Арестантов битком набито, и все разные, за разные грехи. Одни женщины, и это очень хорошо, многие разгуливали, едва прикрыв телеса, от жары и духоты.

Особняком держались кучка молодых, и женщины постарше — «контрики», «болтуны», «шпионы», «космополиты безродные» и просто «враги народа». Были и другие: указницы от 7/8, растратчицы, за прогулы и опоздания свыше 20-ти минут и даже одна врач за подпольный аборт. Но подавляющее большинство уголовницы-воровки, или блатнячки, как их здесь называли. Отличались они от прочих тем, что говорили исключительно нецензурным языком, изредка пересыпая речь словами из, им одним понятного жаргона. Так, тремя-пятью замысловато-крепкими восклицаниями и междометиями они выражали множество чувств, эмоций и действий.

В семье, где росла Надя, разговорная речь, быть может, не отличалась литературным языком, но матерщина была не в ходу, а тетя Маня просто терпеть ее не могла и покрывалась красными пятнами, когда при ней случалось кому сквернословить.

— Эко ты! Бесстыжие твои зенки, ангела своего хранителя пугаешь! — осаживала она охальника.

От нее Надя получила небольшую посылочку. Особенного голода Надя в тюрьме не испытывала. Были передачи от матери и тети Мани. До войны, будучи ребенком, она не задумывалась, что подает мать на стол. Ели пищу простую и скромную, отсутствием аппетита никто не страдал, уговаривать не приходилось. В то

время для малаховских детей существовало только одно лакомство. На платформе станции ежедневно продавалось сливочное мороженое в виде лепешек за 10, 20, 50 и 80 копеек, в зависимости от размера. На вафельных прокладочках значились различные имена: Шура—Коля, Лена—Вася. Морс и ситро дополняли ассортимент. Иногда отец давал по полтиннику обоим ребятам, и они неслись наперегонки к станции «кутить».

С войны трудности несоизмеримо возросли. Но мать, работая на заводе, получала 800 граммов хлеба — рабочую карточку, да у Нади 400, вдвоем больше килограмма. Хватало, и даже часть его можно было поменять на рынке на молоко. Огород свой— клочок земли — выручал. Земля подкармливала.

В первую же неделю Надя обнаружила пропажу своих вещей, в том числе и «американского» платья. Воровки с нар внимательно наблюдали за ней — ждали, что будет предпринято ею, когда обнаружится пропажа. Впервые Надя поступила вопреки своему характеру и разумно смолчала.

«Нечего думать вступать в борьбу с превосходящими силами противника», — вспомнилось ей Алешкино изречение, когда тог получал от отца увесистые подзатыльники.

Наглая маленькая бабенка неопределенного возраста с личиком, как у мартышки, шутиха и балагурка, подскочила к Наде.

— Мадам, вы что-то потеряли, разрешите помочь? — растянув рот до ушей, извиваясь всем телом, пропела она.

— Да нет, — быстро нашлась Надя, — вот хотела кое-какие вещички твоим подружкам подарить, да вспомнила! Я их дома забыла.

— Ах, ах, ах, — пуще прежнего задергалась шутиха, — Жалость-то какая, вот досада! Мои розанчики в нужде бьются.

— Жалко! — в тон ей ответила Надя. — Одно платьице с американской миллионерши тебе как раз впору было бы.

— Добренькая ты моя, да разве стану я американское платье носить? Ни за что! Я сильно гордая!

Надя не выдержала и засмеялась, в первый раз за долгие дни. Уж больно комична была эта маленькая воровка. Засмеялись и блатнячки в своем углу, и даже молчаливые «контры».

После этого случая уголовный мир изменил свое отношение к Наде. Каждый раз ей предлагали то самокрутку, то папиросы и в знак особого расположения брали «взаймы, без отдачи» сахар, хлеб или что придется. Каждый день уходили на этап или прибывали новые по 3–4 человека.

— Как в Ноевом ковчеге, всякой твари по паре, — сказала высокая из «контриков».

Надя слышала от соседки, что высокая, черноглазая женщина из «контриков» осуждена как «космополитка безродная». Надя прониклась к ней симпатией — все же не воровка, не убийца, а «безродность»— это не ее вина. Что такое космополитка, Надя толком не знала. Краем уха слышала по радио про космополитов, кажется, это плохие люди. Шли разговоры, что собирают этап на Дальний Север, в Заполярье, город шахтеров и горняков. «Космополитка безродная» сказала, что там работает прекрасный музыкально-драматический театр, где играют наравне с заслуженными артистами и заключенные. Надя ожила. Если даже «там» можно петь, значит еще не все кончено. В тот же вечер, после отбоя, она подошла к «космополитке» и попросила ее рассказать о заполярном театре. Космополитка оказалась очень общительной и живой, а фамилия ее была Соболь. Она же посоветовала Наде написать заявление на имя начальника тюрьмы с просьбой отправить ее этапом на Воркуту работать по специальности, как артистку.

— Рискни! Авось дундук не заглянет в твой формуляр, — пошутила космополитка Соболь.

В дальние этапы обычно отправлялись долгосрочники, но обвинительное заключение было такое серьезное, что, несмотря на небольшой, сравнительно, срок, соучастие в убийстве выглядело преступлением тяжким.

Молодые конвоиры и надзиратели с любопытством поглядывали на молодую, красивую девушку и не раз, улучив момент, провожая ее за передачей, спрашивали шепотом: «За что это тебя?»

— За убийство с грабежом! — с ожесточением отвечала она. Ей доставляло болезненное удовольствие терзать себя.

«Так мне и надо!» — думала она, видя, как отшатывались с презрением охранники, видавшие всякое на службе в тюрьме. Спустя некоторое время она научилась понимать местный диалект: «контры» — это женщины на нарах у окна, вежливые и тихие. «В законе» — хозяйки камеры, вороватые и наглые уголовницы. Одна из таких самых отъявленных блатных девах как-то вечером подсела к Наде на нары. Молчаливая и угрюмая, ее, пожалуй, даже можно было назвать красивой, когда б не мрачное и диковатое выражение ее испитого, несвежего лица. Глубоко затянувшись, она пустила дым колечками и, помолчав с минуту, сказала:

— Я заметила, не нравится тебе, как наши девушки толкуют промеж собой, а?

— А чего хорошего? Женщины все же, а говорят хуже пьяных на базаре.

— Жучки они, знаешь? Жучки-жуковатые. Ты вот мокрушница, а не в законе, а они…

— Мокрая ли сухая, а людям язык дан, чтоб разговаривать, а не материться.

Недобро блеснули из-под густой занавески-челки прищуренные серые глаза блатнячки, но, видимо, передумав, глаза ее также внезапно погасли, как и загорелись.

Тогда Надя еще не знала, на что способны блатные девахи, а то бы поостереглась говорить с ними так дерзко, на равных.

— Ты что это давеча за ксивуху дежурняку отдала? Жалуешься на нас?

— Заявление на этап, в Воркуту хочу попасть.

— Чего? — отшатнулась блатнячка. — Ты, керя, часом не рехнулась? — пробасила она хриплым контральто. — На-ко, закури, прочисть мозги.

Надя мотнула головой, от курева отказалась.

— А что?

— А то! Срок у тебя детский, и поблизости на параше просидеть можно, а там с ходу дуба врежешь. Загнешься, — пояснила деваха, видя, что Надя не уловила смысла «дуба врезать».

— Там, подрузя «Воркута — новая планета, двенадцать месяцев зима, остальное лето». Я там первый срок тянула,и. — Она заковыристо и смачно ругнулась.

— Театр там есть, говорят, заключенные и вольные вместе работают.

— Это точно. Есть. А зачем тебе? Ты что, может, артистка?

— Может и артистка!

— Брешешь! — воскликнула блатнячка, отодвигаясь еще дальше и с любопытством разглядывая Надю, словно увидела ее впервые.

— Правда!

— Забожись!

— Честное слово! — соврать в этой обстановке не стоило труда, сам Бог велел.

— Поешь, или пляшешь, иль в пьесах выступаешь?

— Пою я…

— Врешь ведь, курва, — не унимаясь, наседала деваха.

— Не вру я…

— Валяй, спой чего-нибудь. Я пенье… обмираю.

— Поздно, отбой был.

— А ты тихонько.

— Тихонько не умею, да и спят уже.

— Давай валяй, как можешь, авось не переработались за день,

выспятся!

Надя задумалась. Что петь?

— Ты что-нибудь из цыганского знаешь? Я обмираю цыганское.

Цыганского Надя ничего не знала, но совсем недавно посмотрела фильм «Сестра его дворецкого», где очаровательная, молодая иностранка на ломаном русском языке пела «Калитку». Просмотрев еще один сеанс, Надя уже знала наизусть и «Калитку», и всю музыку к фильму. В стопке стареньких нот на рояле у Дины Васильевны она отыскала «Калитку» и запомнила слова.

«Если б тогда знать, где ее придется петь!» — подумала Надя и вполголоса запела.

Все они — подонки человеческого общества, воровки, бандитки, наводчицы, «печальные жертвы войны», как они себя называли, умудряясь просиживать по 2–3 срока, были поразительно чутки к музыке. Как кобры при звуке факирской дудочки, зачарованные, умолкли, прекратили свою возню и перебранку. Притихли даже «контрики». Насмешливая «космополитка безродная» Соболь вылезла из своего угла и смотрела на Надю грустными, большими глазами. Уже она исчерпала весь свой репертуар, пропела все: начиная от «Чайки» до Хабанеры Кармен, все, что учила и помнила на слух, а они, все не унимаясь, просили: «Давай еще».

Пришел дежурный надзиратель и заорал что есть мочи:

— Прекратить безобразие. В карцер захотела? — а глаза совсем не злые, но порядок есть порядок. Тюрьма, и не забывайте!

Дней через десяток ее вызвали на этап. Камера всполошилась, откуда ни возмись явились украденные вещи и пресловутое платье американки.

— Бери, будешь в нем в театре петь, — сказала угрюмая блатнячка. Звали ее Розой, а фамилий она имела целых четыре. — И от меня вот, — сунула она Наде толстые шерстяные носки. — Бери, не отказывайся, вспомнишь меня, когда пригодятся. Хреновину ты затеяла, пожалеешь! — и отвернулась, дикая, угрюмая. Надя даже всплакнула, ведь кому сказать — не поверят. Такие оторвы, а все же не лишены человеческих чувств.

НА ЭТАП

С вечера всем этапникам приказали быть готовыми к утренней отправке. Дежурный лейтенант, по прозвищу Карлик Нос, зачитал дополнительный список — еще несколько «контриков», в том числе и космополитка Соболь. Уголовниц всего четверо, с большими сроками, с двумя — тремя судимостями каждая. Но это только из Надиной камеры, а сколько их, этих камер? Одному Богу известно…

До последней минуты в суете сборов она ни разу не вспомнила о доме, а вспомнив, затосковала, горько, без слез. Ей живо представилось, как мать придет с передачей, а ей скажут:

— Выбыла на этап!

— Куда же? — похолодев, спросит мать.

— Неизвестно!

А если и известно, то не скажут. Там не церемонятся. И пойдет она, обливаясь слезами, ожидая, когда станет известно, где скитается ее единственная дочь.

Но гудяще-снующая камера не располагала к слезливым размышлениям. Заключенные, объявленные в списке на этап, метались по камере, отыскивая свои ложки, кружки, расчески и прочие убогие пожитки. Остающиеся поспешно прятали свое, чтоб ненароком не прихватили отъезжающие. Роза с мрачным видом сворачивала самокрутку и смотрела, как Надя коленом запихивает в холщевый мешок свое немудреное барахлишко.

— Говорю тебе, херовину ты затеяла, — пробасила она и глубоко затянулась.

— Наверное, только теперь поздно! Изменить ничего нельзя.

— Можно! Смастерить мастырку и закосить. Да ведь ты не захочешь, — с сожалением сказала Роза.

Потом она обернулась в свой закуток и позвала:

— Муха! На цырлах!

Тотчас к ним подскочила молодая блатнячка с хитрыми, вороватыми глазенками, которые она с ходу запустила в Надин мешок.

— Ну, ты! — перехватив ее взгляд, отстранила ее рукой Роза.

— Я вот чего! Тебя тоже на этап вызвали. Присматривай за артисткой, чтоб все в ажуре было.

— Шестерить не стану, пусть не надеется, — бойко отбрила Муха.

— Да кто тебя просит шестерить, дура! Я говорю, помоги ей, она по первой, многого не знает, что и как! Человеком надо быть! — угрожающе повысила голос Роза.

— Человеком? Это хоть сто порций! — оживилась Муха. — Это всегда пожалуйста!

— И вот еще; коли где встретишь Короля, скажи ему, если он, подлина… — и дальше пошел уже совсем нецензурный разговор.

Надя поморщилась и отвернулась.

— Привыкай, другого не будет, — недобро сказала Роза и отошла.

— Говори, чего помочь? — предложила Муха.

— Тебя как звать-то? — спросила Надя.

— Звать? Меня? — удивилась Муха. — Ну, Зойка, а что?

— Ничего, просто имя у тебя ведь есть.

— Смотрю, вещей у тебя много, давай помогу нести. «Далеко занесешь, не найду!» — подумала Надя, умудренная горьким опытом, но обижать Муху не хотела и сказала:

— Спасибо, тут не тяжело, сама справлюсь. Где-то в углу слышно было глухое рыданье.

— Кто это так плачет? — встревожено спросила Надя.

— А, контрики! Мать с дочерью разлучают, одна на этап идет, вот и ревут обе. Да черт с ними! Фашистки!

— Почему это они фашистки? — Не поверила Надя.

— Потому против Советской власти, вот почему, — безапелляционно заявила Муха. — Статья у обеих какая? Пятьдесят восьмая, первый пункт, самая расфашистская статья, и жалеть их нечего.

Но хоть и были они «контрики», против Советской власти, Надя в душе все же очень пожалела их. Ей представилось, что на месте этих двоих оказалась бы она со своей матерью. Каково было бы им? А, может быть, это ошибка и они вовсе не против нашей власти? Какая же им власть нужна?

Не все события одинаково хорошо удержались в Надиной памяти, они как-бы выпали из ее сознания, потерялись. Плохо помнила она, в частности, как очутились этапники с пересылки у столыпинских вагонов? Смутно запомнилось ей, что колонна их, не менее сотни человек, долго, до полного изнеможения, шагала, спотыкаясь о шпалы, подгоняемая окриками конвоиров и свирепым лаем собак, пока не остановилась у бесконечно длинного состава. Обремененные вещами, и пожилые, едва ползли. Рядом с ней вконец охромевшая, ковыляла в лаковых лодочках космополитка Соболь и бойкая Муха. Четыре конвоира с одной стороны и четыре — с другой, с немецкими овчарками, с автоматами наперевес гнали, хуже чем немцев по Москве, обессиливших женщин, окриками — «Давай, давай!», «шевелись быстрей!», «подтянись!»

«Как хорошо, когда мало вещей!» Надя, подвигала спиной, за

которой висел нетяжелый мешок.

Наконец последние, едва волоча ноги, подошли к общему строю, и два конвойных встали в голове колонны, а начальник неожиданно высоким, срывающимся на фальцет голосом, заорал:

— Всем слушать мою команду! Разобраться на пятерки, встать лицом к эшелону! Быстрей, быстрей!

Когда этапники разобрались на пятерки, конвоиры с двух сторон дважды просчитали людей, и начальник конвоя скомандовал:

— Первая пятерка, ко второму вагону бегом, арш! Вторая пятерка туда же бегом, арш!

Надя с Мухой и космополиткой угодили в 3-й вагон, где уже в коридоре их ожидали очередные охранники. Столыпинский вагон отличался от обычного, купейного, только тем, что вместо перегородки, отделяющей коридор от полок, была крупная решетка из стальных прутьев. В этой решетчатой стене были тяжелые, тоже решетчатые двери. На окнах решетка помельче, и уже совсем мелкой решеточкой были прикрыты лампочки в коридоре и клетках. Вагон оказался наполовину заселен.

«Точно как мартышки в зоопарке», — невесело подумала Надя, увидав, как прильнули к прутьям подернутые желтизной лица женщин.

— Откуда этап? — интересовались они.

Надя повернулась, чтоб ответить, да не успела, как получила чувствительный толчок прикладом по спине.

— Проходи, не задерживайся!

— Осторожней, вы! Не скот гоните! — возмутилась она.

— Но-о, разговорчики, в карцер захотела? — взвился конвоир.

— Карцер — это плохо, даже на Лубянке, — прошептала за ее спиной космополитка Соболь.

И Надя замолкла, а кому охота в карцер? Другой охранник чином постарше, с двумя звездочками на погоне, видимо, начальник конвоя, с пачкой формуляров в руке, открыл тяжелую дверь-решетку.

— Сколько вас тут? — спросил он обитателей клетки.

— Полно нас, пять, пять, — закричали из темноты.

— Где пять? Четверо вас, — посчитал он. И к Наде: Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Статья? Срок? Проходи!

Вместо верхних полок — сплошные доски, свободным оказалось место в середине. К огорчению, Муха и Соболь попали в другое купе. Две женщины, похоже, что блатнячки уже заняли места к стенкам. Одна из них, худая, с большим, крючковатым носом, покосилась на Надю, услыхав ее статью. Надя, тут же, про

себя окрестила ее — «Носатая». Другая, помоложе и даже хорошенькая, приняла ее за свою и заговорщически подмигнула:

— Ничтяк, корешок, здесь теплее! — и объяснила, как нужно поставить ногу на край нижней полки, затем другую — на ячейку решетки и тогда легко вспрыгнуть наверх, где можно только сидеть, упираясь головой в потолок, или лежать.

Помнилось Наде, состав не отправляли около суток.

— Пока всех не разведут по вагонам, да раз двадцать не пересчитают, не тронемся, — подала голос из своего угла Носатая.

— Да, этап большой, — Надя повернулась к ней с намерением поддержать добрососедские отношения.

— Ха! Большой! Разве это большой? — охотно откликнулась Носатая. — Когда я первый срок тянула, нас в Казахстан отправляли, так это был этап! Одних политиканов больше тысячи!

— Батюшки! Куда же их? — спросила Надя, вспомнив симпатичную космополитку Соболь.

— Куда — куда? Известно. Караганда, Джезказган, Экибастуз — все шахты. Срока у них будь-будь. С врагами народа не якшаются.

Надя задумалась: «Она сказала: «с врагами народа», что ж это я жила на свете, а с врагами не встречалась, а их, оказывается, так много». И тотчас припомнила, что уже слышала про врагов, давно, еще в детстве, когда пошла в первый класс. Сидела впереди нее на парте девочка, Ксана Триумфовская. Была она соседкой тети Мани, через два дома. И случалось, вместе бежали, опаздывая в школу. Незадолго до 1 Мая Ксана в школу не пришла. Случайно услышала, тогда Надя, что забрали самого Триумфовского, прямо с работы, а ночью подъехала легковушка и увезла мать Ксаны. Тетя Маня забрала девочку к себе и хотела удочерить, но за ней приехал военный, забрать в детдом. Ксана со страху кричала как резаная на всю Малаховку. Но военный сказал ей, что везет к маме, а тете Мане ответил, что дети «врагов народа» должны воспитываться надежными воспитателями, чтоб вырасти достойными гражданами своей Родины. Надя, как ни старалась, не могла вспомнить Триумфовского-врага. Смутно припоминался ей маленький человечек в больших очках и калошах, когда возвращался он с работы из Москвы и проходил мимо их забора. Дом их заселили другими людьми, а потом началась финская война, морозы, и о Триумфовских больше никто не вспоминал. Забыла о них и Надя.

Вечером всех по очереди сводили в уборную и выдали кусок хлеба и по половинке ржавой селедки, потом из жбана — по

кружке рыжевато-мутной бурды — «чай».

— Не ешь селедку, пить захочешь, до утра воды ни за что не дадут, — посоветовала та, что помоложе.

Во время вечерней поверки она назвала себя Марией Семеновной Бурулевой, 1928 года рождения, ст. 62, срок пять лет, но Наде сказала:

— Зови меня Мэри, меня так все зовут.

На нижней лавке, где-то под сплошняком, не переставая ни на минуту, надсадно заливался скрипучим плачем ребенок. Надя свесилась вниз посмотреть на жильцов нижнего этажа. Совсем еще юная женщина, повязанная по-деревенски платочком, подняла на Надю темные глаза, обведенные черными кругами. На руках она держала крохотного ребенка и совала ему в ротик свою грудь. Малыш вертел головой и сердито скрипел.

— Ну, буде, буде, сынку, спи, спи…

На другой, через проход, лавке лежала с головой укрытая фигура.

«Точно покойник, зачем она там укрылась?» — подумала Надя и улеглась на свое место.

Положив голову на свой мешок, она задремала. Сквозь сон слышала, как звякнули буфера и тихо, крадучись, словно стесняясь своего груза, состав тронулся.

— Куда нас теперь? — тихонько спросила она Мэри.

— Ты что же, не знаешь куда? — подняла голову Мэри. — В Горький, на пересылку, оттуда во все стороны, кому куда, — и сердито добавила. — Кончай болтать, спать надо. Эй, там, внизу, угомони ребенка!

Надя вытянула ноги и опять попыталась заснуть. Скверные, тяжелые мысли тотчас полезли в голову. Зачем я еду? К чему напросилась к черту на кулички! Иди-отка, иди-отка, — отстукивали мерно колеса.

— Верно, верно, идиотка, — в такт колесам повторила она и заснула, точно провалилась в бездну. Но, как ей показалось, тотчас проснулась от громкой перебранки.

— Заткни ему пасть, что он вопит, не переставая, день и ночь, спать никому не дает, — яростно кричала Мэри.

— Сейчас я ему сама рот заткну, — гудела Носатая. Надя свесилась вниз:

— Чего он все время плачет?

— Исти хочет! — горестно прошептала женщина.

— Так покорми его!

— Не маю молока, во, дивись! — и она сунула ему обвислую, тощую грудь с большим, как палец, коричневым соском.

Ребенок разинул беззубый рот и пронзительно закричал.

— Заткни его, иль я его придушу, падла! — бесновалась Мэри.

— Сука бандеровская, придуши своего ублюдка, все едино сдохнет, — вторила Носатая.

В обе стенки застучали разбуженные зечки. Густой мат повис в воздухе.

— Що вы, громодяне, хиба ж я виновата, колы не маю молока, — испуганно оправдывалась женщина.

— Молока нема? — завопили из других клеток. — Ты о чем думала, морда твоя бандеровская, когда ноги растопыривала? Молоко было и сало было!?

— Придушите его там, да и дело с концом.

— Господь с вами, опомнитесь, люди! Побойтесь гнева Господня? Или озверели вы совсем? Креста на вас нет, — впервые подала голос нижняя полка, молчавшая до сих пор. — В чем виновато несчастное дитя?

— Спать не дает! Мы вторые сутки маемся, — раздалось отовсюду.

— Ты, баптистка, Христова невеста, и на камнях с боем барабанным уснешь, а мы не можем!

— Стойте, постойте, — закричала Надя. — Сейчас мы его накормим! — Она вспомнила, что в ее мешке на дне давно болтается банка сгущенного молока из самой первой передачи от тети Мани.

— Вот! — обрадовалась она, вытаскивая банку. — Сейчас он поест и уснет.

— Храни тебя Господь, добрая душа! — пробормотала баптистка и опять укрылась с головой.

— А чем открыть? Нечем!

— Зови вертухая, пусть откроет, — приказала Мэри. — Будите его!

— Не станет открывать, не положено нам железные банки, — засомневалась Носатая.

— Давай зови! Перельет в кружку, — горячилась Мэри и забарабанила ногой по решетке. В соседних купе-клетках тоже завозились, загорланили: «Дежурный, эй, конвой!»

— Будет спать, зеки разбежались!

По коридору, громко топая сапогами, примчался надзиратель.

— Что еще за крики? А ну, смолкните! В чем дело?

— Гражданин начальник, ребеночек у нас с голоду помирает, — жалобно, словно не она только что вопила, как одержимая, проговорила Мэри. — Крошка совсем, а у матери молока нет, — добавила она и сокрушенно вздохнула, сморщив

лобик.

— А я что? У меня таких приспособлениев нет! — развел руками конвоир.

— Вы банку со сгущенкой нам откройте, а мы его сами покормим.

— Жестянку? Не положено!

— А вы ее в кружку перелейте да кипяточку добавьте, чтоб не слишком сладко, да тепленькое было.

— Не положено! — мотнул головой вертухай, но все же дверь открыл и взял банку.

Из клеток послышались оживленные голоса.

— Сейчас принесет, погоди, натрескаешься, будешь толстенький, скорее лопнешь! — пошутила Мэри и дотянулась до низу рукой потрогать пальцем крохотный носик на красном, сморщенном личике.

— Ишь, надрывается, и откуда сила берется.

— Сама дивлюсь, другий день крохи не ив, — с отчаянием покачав головой, прошептала мать.

Минут через десяток вернулся конвоир с алюминиевой кружкой, от которой валил пар.

Мэри с ловкостью обезьяны соскочила вниз и схватила кружку.

— О! Горячее! — обжигая пальцы, воскликнула она. — Спасибо, гражданин начальник!

— Спасибо! — нестройным хором раздалось из клеток по коридору.

— Надо попробовать, не горячее ли, руку жжет. — сказала Мэри и отхлебнула глоток. Радостное выражение ее лица вдруг сменилось недоумением. Она сделала еще глоток, и лицо ее исказилось гневом.

— Что это? — закричала она на весь вагон. — Это вовсе не молоко, — попробуй! — протянула она кружку Наде.

— Горячая вода, забеленая молоком, как после мытья молочного бидона, — объявила во всеуслышание Надя.

Больше проверки не требовалось. Никто не сомневался, что конвой поступил именно так.

— Эх гад! Вот гад! Слышите все? У голодного ребенка молоко схавал!

Какие только не посыпались проклятья в его адрес! Весь гнев, всю злобу и затаенную обиду на охрану, вынашиваемую скрыто, в душе, выплеснули в ярости зечки.

Чего только не пожелали ему! Сгнить от сифилиса, утонуть в нужнике, захлебнуться собственной мочой, подавиться своим дерьмом и еще много подобных пожеланий, каких самая лихая

фантазия не придумает. Удивительный этот уголовный мир. Только что готовы были удушить дитя, чтоб не мешал спокойно отдохнуть, и тут же весь гнев обрушили на такого же жулика, как они сами, — подумала Надя, наблюдая, как бесновались ее соседки. Взбудоражился весь вагон. Требовали начальника конвоя. Стучали кулаками и ногами, сотрясая двери и стены.

Наконец появился лейтенант—начальник конвоя.

— В чем дело, почему ночью шум? Кто меня требовал?

— Мы, мы, — закричала Мэри и, возмущенно размахивая руками, объяснила причину.

— Откуда банка? — скосив глаза в сторону, не глядя на нее, спросил он.

— Моя это банка, — поспешно вмешалась Надя.

— Фамилия, статья, срок? — как заведенный выпалил лейтенант.

Надя ответила.

— Где проходили обыск? Почему не изъята? Кто разрешил?

— Нас нигде не обыскивали.

— Воров не обыскивают, они свои! — крикнули из соседних клеток.

— Разговоры! — повысил голос лейтенант и приказал подошедшему в этот момент конвоиру:

— Позови Капустина.

Едва завидев виновника переполоха, женщины пришли в; неистовство.

— Он, он сожрал молоко у голодного ребенка!

— Молчать всем! — натужно гаркнул лейтенант, покрываясь багровой краской.

— Старшина, вы брали у заключенных банку?

— Не брал, товарищ лейтенант.

— Как не брал? Брал, взял, сожрал, схавал! — завопили из-за решеток.

— Ступайте, старшина, — скомандовал начальник.

Конвоир повернулся на каблуках, тявкнул: «Слушаюсь»! — и поспешил по коридору под улюлюканье зечек.

— Врет он, врет, сожрал, мы жаловаться будем, писать Вышинскому, — не унималась Мэри.

— Молчать! Я вам пропишу жалобу в небесную канцелярию, — рявкнул лейтенант и обратился к матери: — Что с ребенком?

В общем гомоне никто не заметил, что ребенок затих — не пищит больше.

— Молока у мене нема, а вин исти хоче.

Она осторожно положила рядом с собой на скамью

маленький сверток и приоткрыла рваное, из разноцветных лоскутков, одеяльце, желая показать, как исхудало дитя на соске из черного хлеба. Маленькая головка, покрытая редким пушком, на нитяной: шейке покатилась набок, и лейтенант увидел судорожно разинутый ротик и испуганно остекленелые глазки.

— Боженьки мий! Сынку, сынку, он вмер! А-а! — свалилась мешком в проход несчастная женщина, заламывая руки.

Лейтенант с перепуганным лицом отпрянул от дверей и бросился прочь.

— Слава Божественному, отмучился, ангелочек, — перекрестилась Христова невеста.

— Звери, хуже зверей, — всхлипнула Мэри.

— О-о, батенька ридный! — каталась по полу мать.

— Не вой, — сказала Носатая, — тебе же лучше, все равно заберут в приют и не увидишь его, что есть — что нет. Срок-то у тебя четвертак! На всю катушку огребла!

Надя, как привороженная, все еще не могла оторвать глаз от скрюченного трупика.

Четвертак! Это двадцать пять лет, больше, чем я прожила на свете. Что надо было натворить, чтоб получить срок, равный трети человеческой жизни? Убить? Ограбить? Но за это больше десяти не давали. Взорвать склад с горючим? Что? вопрос не переставал свербить в Надиной голове. И как можно не пощадить женщину-мать, уморить ребенка?

На очередной остановке состава за женщиной пришли лейтенант и двое конвоиров. Один из них брезгливо, одной рукой, подхватил грязно-рваный сверток и понес, отставляя его подальше от себя, как нечистоту.

— Куда ее теперь? — дрожа всем телом, как в ознобе, прошептала Надя.

— Скорее всего в больницу, не здесь же ей оставаться. Один вопил, другая вопить будет, этак мы сами чокнемся умом, — ответила Носатая, устраиваясь в своем углу.

— Может, пожалеют ее, отпустят?

— Да ты что? С какого… сорвалась? Бандеровку отпустят? Чего захотела! — презрительно фыркнула она. — Ложись! Может, успеем еще минут шестьдесят придавить клопа.

— А кто такая бандеровка? — спросила Надя шепотом, повернувшись к Мэри.

— Хо! Ты что? Не знаешь, кто такие бандеровцы? — живо откликнулась та. — Это твари будь здоров и не кашляй! Сволочь, каких поискать. Украинские националисты. Они против нас воевали.

— Ну, эта, наверное, не воевала, куда ей воевать, в чем душа

держится, — попробовала возразить Надя.

— Воевать не воевала, под бандеровцем лежала, вот ребетеночка и состряпала, — гоготнула Мэри.

Но Наде такой оборот разговора показался кощунственным, и она переменила тему, спросив еще:

— А вот космополиты безродные, кто это?

— Эти-то? — пренебрежительно сморщила хорошенький носик Мэри. — Это все жиды пархатые, хотели нас американцам продать, да не вышло у них. Товарищ Сталин с ними быстро разделался.

«Что-то не то»… — подумала Надя и замолчала.

— Да ты что, в натуре-то, из какой глубинки появилась, ничего не знаешь, совсем политически неграмотная, чисто деревня!

— Придурок иль притворяется, — поддакнула из своего угла Носатая и стала собирать вещи, намереваясь захватить нижнюю лавку.

Надя обиделась и больше не задавала вопросов.

«Болтают они все, сами ничего не знают и врут, успокоила она себя. — Нечего к ним лезть».

Уже больше часа, по мнению Мэри, стоял состав. Слышно было, как где-то под брюхом вагона, около колес, стучали по металлу в два молотка и матерно перекликались люди. Потом паровоз пронзительно свистнул и так дернул состав, что многие повалились с нижних полок в проход, на пол. Потирая ушибленные места, зечки нещадно сквернословили, ругая машиниста.

— Это он нарочно, знает, кого везет, сучий хрен, лярва, — поднимаясь с прохода, воскликнула Носатая. Она только что успела перелезть на освободившееся нижнее место.

— Зачем ему? — удивилась Надя.

— Для потехи! Думаешь, он не знает, что сейчас в вагонах творится? Педераст несчастный, смеется, поди! — заключила Мэри.

Утром, после туалета, раздачи хлеба и бурды, по коридору послышался быстрый топот сапог и к решетке подошел начальник конвоя. Он отворил дверь и, ткнув пальцем в Надину сторону, спросил: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок?

Надя ответила.

— Выходи! — приказал он.

— Вещи брать?

— Не надо!

Одеваться не было нужды, все спали одетые. Башмаки под головами. Надя прыгнула с нар в проход и вышла. Огляделась

вокруг, пока запирали за ней дверь, кое-где сквозь решетку дверей пробивался дым — там курили.

— Направо! — скомандовал лейтенант и повел ее по коридору в следующий вагон.

— Куда тебя? — неслось из-за решеток, — Зачем?

Надя только плечами пожимала. — Не знаю!

Соседний вагон оказался мужским. Увидев женщину, они подняли такой галдеж, выкрикивая похабные слова и всякие непристойности, что она прибавила шаг и чуть не бегом пробежала через вагон. «И это мужчины, — с тоской подумала она. Во что превратились, как скот». (Потом она узнала, что мужской этап был наполовину сформирован из уголовников, чтоб в страхе держать «контриков».) Третий вагон был намного светлее за счет отсутствия сплошняка наверху, воздух чище, пол не заплеван и без окурков. Их встретил темноволосый, кавказского вида капитан. Он их ждал, это было видно по тому, как удовлетворенно кивнул лейтенанту головой.

— Немецкий знаешь? — спросил он Надю.

От неожиданного вопроса она не растерялась и уверенно наврала:

— Знаю! — в расчете на то, что некому будет проверить ее познания.

Они прошли еще по вагону, и у предпоследнего купе капитан остановился и отпер дверь-решетку.

— Проходи.

«Господи, куда меня, зачем?» — со страхом подумала Надя и в тот же миг увидела сидящего человека. При виде вошедших он не поднялся, как ему было положено встречать начальство, а лишь слегка приподнял голову.

— Спроси у него по-немецки, — приказал капитан, — почему он отказывается от еды? Объявил голодовку?

Она подошла ближе, и, с трудом вспоминая забытые слова, сказала то, что говорила учительница немецкого, входя в класс:

— Guten Tag! — и чуть было не сорвалось, «Kinder», — но, во время спохватилась, что это вовсе не «Kinder», спросила, как можно учтивее: — Worum nicht essen? Essen bitte!

Немец оживился, и, пока он что-то говорил ей по-немецки, не возвышая голоса, но гневно, с возмущением, Надя, почти ничего не понимая, с любопытством рассматривала его. Перед ней был настоящий немец, наверное, фашист. Это был пожилой, пожалуй, даже старый человек. На его длинном и худом лице, давно не видевшем бритвы, холодно поблескивали прозрачно-голубые, как ледяная вода, глаза. Шинель, наброшенная внакидку на плечи, была из хорошего светло-серого сукна. Пуговицы и другие знаки

отличия, вырванные «с мясом», а также полуоторванные, болтающиеся по бокам карманы сказали ей о многом.

Из всего того, о чем он толковал, Надя поняла немного, вернее одно: «Ich bin General», и «Ich kann diese Scheise nicht essen! Что «Scheise» — говно, Надя знала еще со школы.

— Ну, что? Чего ему надо? — озабоченно пытал капитан.

— Und Suppe — Wasser aus die Volga! — отстраняя рукой котелок с баландой, выразительно добавил немец.

— Он говорит, что он генерал и лучше умрет с голоду, чем будет есть, извините, такое говно.

При слове «говно» генерал закивал головой — понял.

— Ну а еще?

— А еще он требует прокурора по надзору. Будет на вас жаловаться, — добавила от себя Надя, как ей показалось, очень убедительно. Ей было искренне жаль этого поверженного и униженного старика, и она, забыв о том, что, может быть именно он был виновником всех бед и мытарств ее семьи, невольно прониклась сочувствием к его положению. Наверное, когда-то это был боевой генерал, и по его команде стреляли в людей. Сейчас перед ней был жалкий, больной старик с набрякшими мешками под глазами, в растерзанной шинели.

«Чур меня! Лежачих не бьют!» — кричал ей когда-то Алешка.

От ее вольного перевода капитан и лейтенант переглянулись весьма выразительно.

— Ясно! Пошли!

— Auf Wiedersehen! — сказала она генералу и вспомнила еще: — Glaube und Varte! — слова, которые ей говорила учительница Зубетантив, когда ставила в дневник «посредственно с минусом».

Проходя через тамбур вагона, она еще припугнула их:

— Он думает, что вы съедаете его паек.

— Что? — взвился капитан. — Это фриц недобитый так сказал? — От негодования капитан остановился и даже закурил — Идем обратно! Переведи ему, поганцу, чем он наших пленных кормил? Какие блюда им заказывал? А? Чем они, гады, нашего генерала Карбышева накормили? — Распаляясь все больше, капитан вращал белками своих черных восточных глаз.

— Стоит ли, товарищ капитан? — примирительно сказал лейтенант. — Пусть его жалуется, рацион не нами утверждается, что положено, то получи.

— Так ведь он считает, что мы его шашлыки съедаем!

— Это ему быстро объяснят!

«Зря я так! — пожалела Надя. — Они правы, а генералу невдомек, что у нас после войны с продуктами плохо».

Капитан запер за ними дверь своего вагона, а в следующем

тамбуре она все же успела спросить лейтенанта, пока он отпирал дверь:

— Гражданин начальник, а почему вы меня в переводчики взяли, я ведь не очень…

Лейтенант строго посмотрел на нее, толкнул ногой дверь, но довольно миролюбиво произнес:

— Кого же? Политических возьми, пожалуй, рад не будешь, чего наговорят! А уголовники и по-русски-то не знают, один мат, — и тут же пожалев, что сказал лишнее, громко крикнул: — Пр-р-оходи!

В своем вагоне ее ждали, всем любопытно, куда это повели зечку! Уж не… Думай, что хошь! И такое случалось!

— Куда тебя? — неслось из всех клеток. — Зачем? Муха, припав лицом к решетке, тоже спросила:

— Эй, артистка, куда тебя водили?

— Разговоры! Молчать! — цыкнул лейтенант, но молчать никто не хотел, каждый высказывал свое предположение и оттого вагон жужжал, как улей. В своем купе ее тоже с нетерпеньем ждали. Мэри набросилась с вопросом:

— Куда он тебя водил?

— В заначку небось, — хихикнула Носатая.

Битый час громко, на весь вагон, Надя рассказывала во всех подробностях, куда и как, не забыв упомянуть про соседний мужской вагон, чем вызвала оживление слушателей, но умолчала о своем вольном переводе. Реакция была шумной.

— Ишь, фриц обхезанный, хлеб ему дают, а он «говно» говорит! — возмущалась Мэри.

— Суп как вода в Волге, а? — восклицала Носатая. — Кой черт их звал на Волгу, проклятущих? Пусть скажет спасибо, что вообще жрать дают.

— Себе не хватает, от себя отрываем, — гудели за стеной. Даже баптистка, молчавшая до этих пор, и та высказалась:

— Посеяв ветер, пожнешь бурю.

Но у Нади были все основания быть недовольной собой.

«И надо же мне, дуре, язык вытянуть, ишь как поднялся капитан, начнут теперь шпынять старика. Надзиратель — опасный человек, с ним ссориться нельзя, а в этапе тем более. «Жалуйся в небесную канцелярию», — сказал тогда нам лейтенант. Так оно и есть. Зек в этапе беззащитен, тем более, когда ни слова по-русски не знаешь, как немой».

С такими неприятными мыслями она незаметно заснула. Постепенно вагон затих, делать было нечего, сиди, как в клетке, но поспать можно было до вечера. Зек спит — срок бежит, и мало кто тогда заметил, что состав, сбросив скорость, плавно

остановился, тихо звякнув сцеплениями.

На другой день, едва открыв глаза, Мэри поспешила сообщить всем радостную весть:

— Вертухая, который молоко схавал, отправили в стройбат!

— Откуда ты знаешь?

— Дежурняк баб на оправку водил, сказал им.

Но Надя не порадовалась. Глупый вертухай, надо же было докатиться до того — у голодного ребенка последнее съесть! Вспомнив вчерашнего генерала, она подумала: «Интересно, стал он есть или все еще считает баланду несъедобной? Дойдет старик! Сразу не помрет, а пеллагру получит. Зря не ест! От хлеба и баланды никто еще не помер. Жаль, что не уговорила его есть. Слов не знаю». Она всегда жалела тех, кому хуже, кто обижен, не охотника, преследуемого, независимо, кто прав, кто виноват.

Эшелон все еще стоял, и, как видно, надолго. Окна в клетках наглухо заколочены, да еще забраны решеткой. В коридоре хоть не забиты, только зарешечены, но такие грязные, едва свет дневной пропускают.

— Где мы? Чего стоим?

— Приехали! Скоро вызывать будут, — послышалось из соседнего купе.

И действительно, вскоре пришел конвоир с раздатчиком, выдали по большому куску хлеба, граммов по 400, а то и больше, без баланды и селедки.

— Хлеб на целый день, — предупредил раздатчик, а вертухай, запирая дверь, сказал:

— Всем собраться, быть готовым на выход.

— Шире шаг, с вещами на парашу, — пропела Мэри, и первая оказалась внизу у выхода.

Загремели ключами, завизжали железные двери, забегали конвоиры. Туго натягивая поводки, прошли трое с собаками. Три немецкие овчарки важно шествовали в ногу со своими проводниками, не обращая внимания на припавших к решеткам зечек. Им, этим дрессированным псам, нужны только бегущие, на сидящих в клетках они не смотрели.

Выпускали не всех, выборочно, по формулярам, руководствуясь им, одним известными предписаниями.

Вызвали Михайлову, Надежду Николаевну, 1930 года рождения, статья 74 через 17, срок 7 лет, и Надя, уже готовая, ловко протиснулась с мешком в коридор, где стояли с вещами женщины. Недалеко от себя она увидела Муху-Зойку и хотела было окрикнуть ее, но в это время Зойка обернулась и, радостно помахав рукой, стала пробираться к ней, расталкивая стоявших.

Мэри припала к решетке:

— Попутного беспутного!

— До свиданья, Мэри, всем до свиданья, — Надя нагнулась к решетке, чтоб попрощаться с баптисткой.

— Помогай тебе Бог! — ответила та из темноты.

— Прекратить разговоры, шагом марш на выход, — скомандовал подскочивший к ним конвоир, в котором все узнали воришку.

— Не обхезался с молочка, а? — крикнула ему Мэри.

— Го-го-го! — пронеслось по вагону, но он даже не обернулся, так был занят, считая по головам проходивших к выходу зечек.

— Ворон ворону глаз не выклюет, — мрачно изрекла вслед ему Христова невеста.

Подножка вагона оказалась высоко над землей, и Надя больно ударилась коленом о чемодан, который не успела забрать впереди прыгнувшая женщина. Следом за ней должна была соскочить пожилая зечка со сроком 15 лет, 5 по «рогам», со статьей 58, 1а, 10, 11 и еще что-то, чего Надя не успела расслышать. Потирая ушибленную ногу, она обернулась, чтоб помочь ей, (хоть враг, но все же пожилая, чем-то на маму похожа), но не успела протянуть руки, как конвоир прикладом оттолкнул ее.

— Назад, встать в строй!

— Помогите же ей! — в бессильном гневе крикнула Надя.

— Поговори еще! — окрысился конвоир.

Женщина долго прицеливалась, задерживая разгрузку, как бы половчее прыгнуть, но неуклюже упала и вскрикнула. Подняться на ноги она не смогла.

— Встать! — заорал конвоир.

— Не могу, у меня, кажется, сломана нога, — проговорила женщина, сморщив от боли лицо.

— Поднимите ее! — приказал он.

Надя и Зойка взяли ее под руки и попытались поднять, но напрасно. Идти она не могла, ступня ее левой ноги была вывернута пяткой наружу, вбок, и свободно болталась.

По строю пронесся ропот недовольства.

Подбежал начальник конвоя. — В чем дело? Почему задержка? — Женщина ногу сломала! — объяснила Надя.

Лейтенант узнал ее и сразу сбавил тон.

— Идти не можете?

— Пристрелите меня, умоляю вас! — простонала женщина и повалилась навзничь.

— Быстро сюда врача, санитаров! — приказал лейтенант, — остальным продолжать разгрузку.

Тотчас один охранник сорвался бегом по путям к красному кирпичному зданию, недалеко от головного вагона. Женщину со сломанной ногой кое-как оттащили с вещами в сторону, разгрузка вагона шла своим чередом.

Пока ждали врача, этапницы негромко переговаривались меж собой.

— Это жена известного академика Соколова.

— Не академика, а профессора.

— И совсем не профессора, это жена маршала Тухачевского. «Болтушки! Говорят, сами не зная что, — возмутилась про себя Надя, отвернулась от них и стала рассматривать вагоны. Где-то там остался немецкий генерал, а скорее всего, его забрали раньше нас, ночью, пока стоял поезд. Мужской вагон тоже опустел», — соображала она, глядя на открытые настежь двери вагона. Потом она повернулась: «Может, кто из знакомых по камере?» И верно, через несколько рядов от нее стояла «космополитка безродная» Соболь и еще одна женщина из ее камеры, тоже политическая, кажется, нерусская, не то полька не то литовка.

Минут через двадцать или поменьше пришли трое в белых халатах, сзади трусил с автоматом конвоир. Один из них, седой с мрачным лицом, видно, доктор, два других с носилками помоложе— санитары. Все в белых шапочках. Седой нагнулся и осторожно потрогал ступню женщины, а затем пощупал пульс.

— Нашатырь, — сказал он коротко санитарам.

Вдохнув несколько раз кусок намоченной нашатырем ваты, женщина открыла глаза и застонала.

— Ну что? Следовать может? — озабоченно спросил лейтенант, начальник конвоя.

Врач выпрямился во весь свой высокий рост, посмотрел на него сверху вниз, пожевал губами и распорядился:

— Срочно в операционную!

— Под вашу ответственность! — пригрозил лейтенант. — Берите формуляр, надо оформить акт передачи. Врач еще раз кинул на него взгляд, полный неприязни и презрения, но, ни слова не сказав, повернулся и пошел за носилками.

Выгрузка остальных закончилась быстро.

— Спешат вертухаи, сбились с расписания, — сказала Муха.

— Почему вертухаи? Вертухаи, которые на вышках стоят, вертятся. А это доблестные воины — конвой, охрана! — поправила Муху темноглазая блатнячка с наколкой на руке в виде сердца, пронзенного стрелой, и надписью «люблю Толю», которую Надя успела заметить, когда та поправляла платок на голове.

Как только с подножки вагона спрыгнули последние и встали с вещами, два охранника с собаками с обоих концов вагона прошли по коридору.

— Отставших ищут, — может, кто в сортире притаился, бежать, — пояснила всезнающая Муха.

Таких не обнаружив, доложили начальнику. Лейтенант повернулся лицом к строю и, гордо выпятив грудь, гаркнул, что есть силы:

— Слушать мою команду!

Все замолкли, и даже собаки перестали брехать и чесаться.

— Построиться! Разобраться пятерками! Стоять смирно! Прекратить разговоры! Шаг вправо, шаг влево считаю попыткой к побегу, — тут он сделал паузу и оглядел строй зечек, давая им время осмыслить услышанное, затем, еще возвысив голос, добавил — Стрелять буду без предупреждения. Ясно?

— Я-я-сно, — вяло и недружно ответили ему. Одна Зойка Муха натужно заорала громче всех. Лейтенант метнул неодобрительный взгляд в ее сторону и зашагал вдоль шеренги.

— Шаг вправо — агитация, шаг влево — провокация, прыжок вверх — пропаганда, удар попой об дорогу—побег. Стреляю без предупреждения, — передразнила его Муха, как только он отошел подальше.

Долго стояли, переминаясь с ноги на ногу, чего-то ждали. Но вот паровоз, неожиданно пронзив воздух резким свистком, дернул вагоны и, увозя оставшихся зеков в клетках-купе, покатил вдаль. Оттуда, со стороны кирпичного дома, показался отряд военных, человек с десяток или больше.

— Вот и смена конвою прибыла!

— Опять считать будут, — заговорили старожилы. — Скоро поведут куда-нибудь.

Всю процедуру передачи Надя не видела, она происходила далеко от нее. Новый начальник конвоя, тоже лейтенант, но старший, хотя видом помладше, недовольно оглядел этап. Женщины замерзли и сбились в кучу для тепла, нарушив при этом предписанный порядок в строю. Ветер вдоль полотна железной дороги мел пронизывающий до костей. Только собакам было нипочем, они повизгивали, не то от голода, не то от скуки, что некого преследовать, никто не пускается в побег.

Наконец, оглашая воздух гудками, в клубах пара подкатил новый состав.

— Карета подана, господа! — сказала неугомонная Муха.

Пассажирских в нем было всего два вагона, остальные пустые открытые платформы и три телячьих теплушки.

— Где ж нас разместят, столько народу в двух вагонах, опять

на сплошняках? — недоумевала Надя.

Каково было ее изумленье, когда теплушки остановились прямо перед колонной, и Муха прошептала:

— Теперь держись, бросайся с ходу наверх!

— Куда? Мы что, в телятниках?

Муха только головой покрутила: «Шизик!»

Между тем конвоир ударил один и другой раз прикладом по засову, отодвинул его, подналег на дверь и залез вовнутрь теплушки. Было видно, как тщательно он потыкал своим штыком во все углы, ворох сена на полу и даже потолок. Потом ему подали кувалду, и он опять поколотил все стены и особенно старательно каждую доску пола.

Надя широко раскрытыми глазами смотрела на непонятные действия и все же решилась спросить Муху:

— Зачем это он делает?

— Клопов бьет, чтоб в дороге нас не беспокоили, — вполне серьезно ответила громко Муха.

Какое ни грустное зрелище представляло собой сборище зечек, все, кто слышал, разразились неудержимым хохотом. Тотчас явился конвой.

— Прекратить смех!

Подскочил лейтенант, начальник конвоя, зыркнул на Муху:

— В чем дело? Почему шум?

— Вот, гражданин начальник, девушка, артистка наша, клопов боится, а мы…

— Что-о-о? — выкатив глаза, заорал он во всю мочь.

— Клопиков опасается, — повторила Муха, умиленно заглядывая прямо в вытаращенные глаза.

Лейтенант круто развернулся к строю.

— Прекратить разговоры, я вам покажу смешочки! — и быстро зашагал вдоль рядов, зная, чем оканчиваются подобные пререкания с блатными. Последнее слово всегда за ними. Сделают посмешищем.

Наконец все три телятника были тщательно проткнуты и побиты кувалдой. Не обнаружив ничего подозрительного, конвоир доложил о готовности теплушек следовать предписанным маршрутом.

Началась посадка.

— Держись рядом, я те место займу, — шепнула Муха и, работая плечами и локтями, одна из первых ловко вскочила в вагон.

В широко раздвинутую дверь были видны встроенные вторым этажом сплошные нары, влево и вправо — лучшие места, куда так стремилась попасть Муха, а она-то всегда знала, где получше.

Как ни подгоняли окриками зеков, «Быстрей! Шевелись! Поворачивайся!», посадка заняла много времени. Прежде чем подняться в вагон, что было совсем непросто из-за высоты, нужно назвать фамилию, имя и прочее, после чего формуляр передавался новому офицеру — начальнику конвоя, который с новой бригадой конвоиров доставит этот этап к месту назначения. Таким образом происходила не только посадка по вагонам, но и передача заключенных по счету другим сопровождающим охранникам. Все эти тонкости отмечала про себя Надя одна, как ей казалось. Другим было безразлично, кто будет их охранять, — без охраны не останутся, важнее занять место на верхнем сплошняке или хотя бы у печки-буржуйки, ржавая, закопченная труба которой торчала в грязном оконце. Многие были по второму или даже по третьему сроку и хорошо изучили законы и правила лагерной жизни. Остальные долгосрочники за время долгого пребывания успели походить по этапам и тоже кое-чему подучились. Новичков-первосрочников было немного. Они легко узнавались по растерянным лицам. Забравшись в вагон, Надя увидела на верхних нарах Зойку Муху.

— Давай сюда! — крикнула она.

Так, благодаря стараниям Мухи, Надя очутилась на одном из лучших мест. Третье от стены на правой стороне в левом углу. Не холодно и не в середине, где господствовал уголовный мир. Нерасторопным новичкам, пожилым и контрикам остались места внизу у параши и дверей. Надя огляделась вокруг. Точно в театре, в два яруса, дверь — сцена, в бенуарах — блатнячки. У самой двери она увидела Космополитку. Муха тоже заметила ее:

— Херово ей будет, — сказала она. — Из дверей несет, и парашу выносить будут, и раздача. Херово!

— Давай, возьмем ее, чуть подвинемся, теплее будет, — предложила Надя.

— Чиво? Куда еще! — завозились, протестуя, соседки, но она, не слушая их, крикнула:

— Соболь, Ирина! Давайте сюда! Здесь место есть.

— Вот свое и уступишь, — разозлилась Зойка.

— И уступлю, — ощетинилась Надя и протянула руку, помогая Космополитке взобраться наверх при злобно-раздраженном гуле правого крыла и середины.

— Хватит зудеть, человеком надо быть, — сказала она ворчащей Зойке. — Помнишь, как Розяка фиксатая тебе наказывала?

При имени Розяки фиксатой воровки насторожились, пристально изучая левый угол.

— А мы Розяку фиксатую здесь не кнокаем, — раздалось с

правой стороны, но все же, еще немного пошипев, замолкли. Стали устраиваться.

— Вещи под голову клади, чтоб ночью не разворовали, — командовала Муха, быстро сменив гнев на милость. В сущности, она была добрая и отзывчивая. И не могла долго сердиться на то, что сама только что сделала — втащила на блатные места Надю.

Начальник конвоя поднялся на подножку и заглянул вовнутрь вагона, потом спрыгнул и сказал:

— Готово!

Двое солдат-конвоиров задвинули дверь, было слышно, как снаружи забивали засов. Этапницы перестали галдеть, притихли.

«Почему же никто не плачет, не бьется головой о стену, уезжая в такой далекий край и, быть может, навсегда? Есть у них родные, друзья, любимые?»—думала Надя, глядя, как отупелое безразличие овладело большинством и только нагловатые уголовницы чувствовали себя по-хозяйски. Верно, что тюрьма и этапы — их дом родной. Большинство этапниц называли одну и ту же статью 58а, 58б, 588, 5810, 5811, и какие-то прямо несусветные срока: 10, 15, 20, 25 лет и еще какие-то довески в виде поражения в правах, высылки и других административных взысканий. Надя уже знала, что эти статьи даются «врагам народа», «космополитам безродным», «шпионам иностранных разведок» и «болтунам», но почему их так много? Ей хотелось поговорить с ними, спросить, почему они стали врагами, «продавали Родину» американцам или еще кому-то? Наконец, за что готовились убить «друга детей», любимого вождя товарища Сталина? И в то же время это как-то не вязалось с усталыми, измученными женщинами, смирными и совсем не воинственными. Ее размышления были грубо прерваны толчком в спину.

— Э! Оглохла? Я говорю, похлять не мешало бы, котомкой пошуруди!

— Чего? — не поняла Надя.

— Я говорю, не мешало бы батоном подавиться, сметаной отравиться, — весело сказала Муха.

— А! — догадалась Надя. — Ну и нюх у тебя! Настоящая Муха! — и полезла в свой мешок.

Как раз накануне этапного дня Зинаида Федоровна, еще не зная о нем, наугад, по наитию свыше, принесла передачу: кое-какие продукты и теплые вещи. Кроме Нади, продуктов ни у кого не было. Зойка Муха — детдомовка, у Космополитки кроме пайки, тоже ничего нет, и она была рада поделиться с соседками.

— Ты, керя, сильно не бросайся сидором, самой голодать придется. Тащиться будем не меньше месяца, — предупредила

Зойка, когда Надя вывалила содержимое продуктовой сумки рядом с собой.

— Ешьте, девчата, — пригласила она, — на месяц все равно не хватит. Авось с голоду не дадут помереть, — и вспомнила тетю Маню: — «Рука дающего да не оскудеет».

— Рука берущего да не отвалится. Это точно, — подтвердила Муха, отправляя в рот кусок копченой колбасы.

Космополитку надо было уговаривать, прежде чем та взяла кусочек сыру и печенье. Больше — наотрез отказалась.

— Ни за что, — сказала.

Муха неприязненно покосилась на конкурентку:

— Вот еще! Уговаривать надо!

В первую же ночь у Нади из-под головы украли из мешка остаток сыра и колбасу.

— Я говорила, ешьте! Вот вам, теперь за ваше здоровье съедят!

Зойка пришла в бешенство:

— Суки позорные, падлы, проститутки.! — бесновалась она. — Сейчас педерасткам шмон устрою, найду — пасть порву!

— Найдешь, ищи в параше! — завопили жители правого крыла.

Из угла приподнялась фигура. При свете тусклой, засиженной мухами лампочки было видно, что это немолодая, со скуластым, надменным лицом женщина. Брови ее, как две черные пиявки, изогнулись вопросительно дугой.

— Кто же там так скандалит? — спросила она, медленно чеканя каждое слово. — Это ты, Муха-цокотуха?

При виде ее Муха сразу остыла и сжалась:

— Кешар увели из-под головы.

— Заткни хлебало, а то слетишь к параше, другие тоже желают кушать, — еще спокойнее произнесла женщина и опять улеглась на свое место.

— Кто это? — понизив голос, спросила Надя.

— Кто я? — услышала женщина. — Спроси Муху, она знает!

— Манька Лошадь это, в законе она, понятно? — зашептала Зойка в самое ухо Наде. — Тут все под ней на цирлах бегают.

— Это она вам начальство, а я незаконная, — громко, во всеуслышание, заявила Надя.

— Ну, ты, не очень… знаешь, — отшатнулась от нее Муха. — Мне не личит с ними заводиться.

— Еще бы, свои все, — пробормотала Надя, но про себя подумала — «это я пришей кобыле хвост — ничья».

Утро началось с поверки. Конвоир согнал всех в одну сторону, приказал построиться по двое, тем временем другой, с

кувалдой, полез наверх и поколотил каждую доску отдельно, потом стены и потолок, затем спустился на пол и еще побил пол.

— Всех перебили, спите спокойно! — объявила Муха. Кое-кто несмело засмеялся, вспомнив вчерашний инцидент.

— Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, — сказала молоденькая политическая зечка, которую все называли Света.

— А вы не смейтесь, — шепотом сказала маленькая бытовичка с тремя статьями. — Были случаи побегов через проломы в полу и даже через крышу на полном ходу!

— Неужто? — насмешливо округлив глаза, удивилась Света.

— В натуре были, — подтвердила Муха. — Только не ваш брат, контрики-болтуны, — с презреньем покосилась она на Свету. — Бежали законники, и многие с концами.

— Чудо-акробаты! — снова восхитилась Света.

— Иль от безнадеги, — не приняв насмешки, уточнила Муха.

— Как это, от безнадеги? — решилась спросить тихонько Надя.

— Как это? Что это? Мне уж объяснять осточертело, — раздраженно воскликнула Муха и отвернулась.

Пионерка охотно пустилась объяснять:

— Вот, скажем, у вора-рецидивиста по нескольким статьям четвертной сроку, еще за побеги, в карты, может, начальника какого проиграл, того и наберется лет на сорок — чего ему ждать? Удастся — хорошо, а нет, один…! такого в побеге обязательно пристрелят, коли поймают. Поняла?

— Поняла!

Страшный, непонятный мир открывался перед ней. Сорок лет срока освобождают человека от подчинения законам. Он живет как бы без узды, разрешая себе все недозволенное. Его не расстреляют — расстрелы отменены (В 1945 году по указанию Сталина, смертная казнь в СССР была отменена), а там какая разница: 35-40-45, хоть сотня! Такой убьет, глазом не моргнув.

Дальше размышлять не пришлось: конвоир облазил все закоулки, ощупал все узлы и котомки, осмотрел чемоданы и содержимое мешков и скомандовал:

— По одному, переходи на ту сторону!

Всех пересчитали по головам и велели стоять на другой стороне, пока кувалдой не была проделана та же работа слева.

Двое зечек, зажимая носы и отворачивая головы в сторону, потащили парашу.

— Ишь, носы заткнули! Свое несете, свое не пахнет, — захихикали с верхних нар.

Потом подкатили тележку с бачком, и солдат в грязном,

замусоленном переднике стал разливать черпаком баланду.

Каждому алюминиевая миска, до краев наполненная, так, что купался большой палец с черным ногтем, в овсяной жидкости. Ловко прицеливаясь, раздатчик шлепал в нее кусок ржавой селедки— голову или хвост, середины не было.

— Ложки и миски всем сдать обратно, не досчитаю, устрою шмон, — предупредил он и оделил всех ложками и пайками хлеба.

До баланды никто не дотронулся, все со злорадством наблюдали, как, собирая миски с ложками и усердно пересчитывая их, раздатчик облил серой жидкостью фартук, брюки и даже сапоги.

— Погодите, подлюги, я вас ужо накормлю, — отборно матерясь, пригрозил он. — Ишь, зажрались, курвы!

Полутораведерный чайник, нечаянно или с намерением облитый керосином, завершал утреннюю трапезу. То же самое повторилось вечером. Двухразовое «питание» какой-то мудрец нашел достаточным для бездельников, которые все остальное время могли спать. «Кто спит, тот обедает во сне», — сказал один из героев Дюма. Так кстати припомнилось Алешкино любимое изречение!

Потянулись однообразные, ничем не занятые (кроме «молебна» два раза в день, так зечки называли поверки) дни. Уже выяснилось, у кого какая статья, срок, и шебутные блатнячки без стыда и совести хвастались своими похождениями на воле. Политические держались особняком, их было много, а потому воровайки их не трогали. Иногда, правда, очень редко, они пели. Света, Космополитка и еще две москвички пели вполголоса чудесную песню о бригантине, подымающей паруса в далеком флибустьерском море. И была эта песня такой завораживающей, что хотелось плакать от тоски и печали, и даже озорная Муха затихала и слушала.

«За что они здесь?» — мучил Надю неотвязно один и тот же вопрос. — Пожилые и средних лет, молодые и совсем юные, что они натворили?»

Только спрашивать их было бесполезно. И не то чтоб они скрывали свои деяния, нет, как раз наоборот, но отговаривались одним: «Ни за что ни про что» или: «Сама не знаю». Все же Надя однажды набралась храбрости и попыталась спросить Космополитку, благо та лежала рядом. Спросила и испугалась: «Пошлет она меня куда подальше». Но «космополитка безродная» Соболь только грустно улыбнулась в ответ и села на нарах:

— Веришь ли? Сама не знаю.

— Так уж и не знаете?

— Скорее всего за то, что мужа своего очень любила.

— Ну… — с недоверием протянула Надя. — За это не сажают.

— Еще как сажают-то! — вмешалась Пионерка. — За мужей, я знаю точно, многие пострадали. — Она перелезла через Муху и села рядом. — Мне рассказывали, до войны целые этапы одних жен были.

«Верно, туда угнали и маму Ксаны Триумфовской», — почему-то решила Надя.

— Мужик наворочает делов, а баба с ним тоже в ответе. Муж да жена одна сатана, — продолжала Пионерка. (Муха объяснила, что свое прозвище «Пионерка» она получила за доступность к своему телу: то есть пионер-всегда готов!)

— Права, правду говоришь, муж да жена одна сатана, — с грустью согласилась Космополитка.

После такого разговора Надя даже зауважала эту Соболь. «Пострадать за любовь! Так возвышенно, так романтично!» — казалось ей.

Тем временем голод и холод с каждым днем все сильнее заявляли о себе. Давно подъелись запасы, у кого были. Хлеб съедался до крошки, и баланда не оставалась в мисках. Надя, давясь, съедала кусок ржавой селедки и, ненавидя ее всей душой, клялась себе, если будет когда-нибудь на свободе, никогда, никогда не станет есть селедку. Сено уже не спасало от холода нижних, зечки мерзли, особенно по утрам. Верхний ярус тоже сдвинулся поплотнее к середине, изо всех щелей несло холодом. Зима наступала с севера, куда двигался этап.

Первой подняла голос Манька Лошадь. Она и впрямь была похожа на лошадь. Лицо узкое и длинное, широко посаженные темные выпуклые глаза с бахромой прямых, очень густых ресниц и безгубый большой рот с крупными зубами — точь-в-точь лошадиная морда.

На исходе была вторая неделя, когда во время «молебна» Манька тяжело прыгнула с нар и подошла вплотную, подбоченившись, к конвоиру. Вид у нее был грозный и решительный настолько, что конвоир отпрянул и схватился за свой автомат.

— Назад! Не подходи близко, стрелять буду! — заблажил он, видимо, испугавшись.

— Кому ты нужен! — с видом глубочайшего презрения сказала Манька и сплюнула окурок на пол. — Мы требуем начальника конвоя! — заявила она.

— Чего еще?

— Не твоего ума дело, — смело нагрубила ему Манька, безошибочно угадывая в нем новичка. Она уверена, победа будет

за ней. Он почти мальчишка-новичок, она — старая профессиональная воровка-рецидивистка.

— Не позовешь, откажемся от пищи, объявим голодовку!

— По мне хоть все вы тут провалитесь, — рявкнул один из них и злобно заколотил потолок кувалдой.

Но Манька не сдавалась. Она встала рядом с нарами, где он работал кувалдой, сложила на груди руки, перебирая тонкими, холеными пальцами.

— Я долго тут стоять буду? — заорал солдат-раздатчик. — Берите миски и кончай базар!

— Бунтуешь, значит? — спрыгнув с нар, крикнул ей конвоир, на всякий случай сохраняя дистанцию между собой и Манькой. — А за бунт знаешь что с вами будет?

Надя похолодела: отказаться сейчас от хлеба с кипятком было совершенно немыслимо, да и баланду с селедкой уже никто не швырял обратно.

— Выведем в лес, да перестреляем, как собак! — закипел яростью конвоир.

— А ху-ху не хо-хо? — в ответ раздалось дружное с верхних нар.

— Да что вы, бабы, взбесились? Чего вам надо-то? — уже примирительно спросил раздатчик.

— А то, что положено! Топить надо в теплушках! У нас уже больные есть!

— Вот-вот вспыхнет эпидемия, — кричали с левой стороны.

— Вы угля не даете, да еще расстрелом угрожаете!

— А-а-а, — облегченно протянул конвоир. — Так бы сразу и сказали! — И еще для порядка поколол охапку сена на полу. После всех процедур, уже вылезая из вагона, он обернулся.

— Дадим угля!

— Хоть мелкого, но до…! — ответили ему хором воровки.

— Во оторвы! — с восхищением замотал головой конвоир и задвинул дверь.

Непременный атрибут всех тюрем и этапов «Друг Параша» выносилась на стоянках до «молебна», раз в сутки. Обязанность не из приятных, но шла нарасхват. Игнорировали парашу только зечки в законе и кое-кто из пожилых, кому не под силу было тягать увесистую посудину. Остальные с удовольствием выбирались из вонючего вагона, всем хотелось дыхнуть свежим воздухом, а заодно и узнать, где стоим, где находимся. В очередной вынос конвоир не отпустил женщин.

— Идите за мной, — и пропустил их вперед, вдоль вагонов. Куда их повели, никто не знал, потому что другой охранник поспешил задвинуть дверь и заложил засов. Гадали всякое: может

быть, отвечать за Манькину дерзость? И только Пионерка угадала.

— За углем их повели, к паровозу.

И точно. Вскоре женщины вернулись, с трудом таща ведра, полные угля. Ссыпали в угол около «буржуйки» и пошли еще раз. Потом сходили за дровами. Уголек без дров не разожжешь нипочем.

Больше часу бились старожилы, безуспешно стараясь затопить печурку, и наконец уголь затлел и разгорелся. Оживились зечки. Оказалось, так мало надо, чтоб поднять настроение. Всего-навсего тепло. Приятно было смотреть на раскаленные докрасна чугунные бока «буржуйки». Жизнь уже не казалась безнадежно пропащей.

— Вы особо уголек не сыпьте, понемногу. Вертухай хороший попался, а другой ни в жизнь не поведет! — предостерегла Пионерка.

— В натуре, понемногу! Нечего Ташкент устраивать. Иной хмырь попадется, зимой снегу не выпросишь, — поддержала Муха.

Скверно было то, что ничего нельзя увидеть. Высоко от пола маленькое окошко с прутьями, да еще труба от буржуйки туда просунута, теперь уже горячая, рукой не тронешь. Однако через некоторое время зечки все же приноровились по очереди смотреть в просвет меж прутьев и трубой. Пододвинули к окну парашу, перевернули крышку и вставали на нее. Тогда можно было смотреть на Божий свет и сообщать о виденном, не забывая при том, что каждый миг крышка могла перевернуться.

— Девочки! Свободы не видать, подъезжаем к Кирову, — доложила хорошенькая голубоглазая воровка, обритая наголо, по прозвищу Лысая. (Не за вшивость, — объяснила всезнающая Муха. — У мужиков в бараке попутали.)

— Киров! Бывшая Вятка! Туда и до революции нашего брата гнали, до сих пор остановиться не могут, — сказала одна политическая, седая, статная женщина, Надина тезка, тоже Надежда, по отчеству Марковна.

Манька Лошадь, гордая своей победой, важно вставила свое:

— Пересылка тут, этапы формируют на север, кого в Архангельскую область, Каргополаг, кого в Коми: Печору, Инту, Кожву, Воркуту.

— Господи! Да сколько ж этих лагерей? Куда ни кинь, одни лагеря. Послушаешь вас, так, выходит, весь Советский Союз — сплошные лагеря, — ужаснулась Надя.

— Так оно и есть, — откликнулась Космополитка. — Это наш коммунистический рай.

— В ад бы попасть, может, там посвободнее у чертей, чем в раю, — засмеялась Света.

— Попадешь, — мрачно произнесла Манька из своего закутка. — Вот угодишь на лесоповал или, в шахту — узнаешь, где ад, каков он.

— Человеку, побывавшему в Лефортово, сам черт не брат! — весело воскликнула Света. Она вообще много смеялась и громко разговаривала со всеми.

— В Сухановке не лучше, — возразил кто-то снизу.

— Спорю с любым, лучшая тюрьма на белом свете находится на площади Дзержинского в Москве. Дорогая Лубянка! Я там за год узнала и прочла столько! Больше, чем за всю жизнь! — восторженно заявила Космополитка.

— Ну, вот что, контры! Кончайте свою болтовню. За недонос тоже срок мотануть могут, а я неграмотная, написать на вас не смогу, я вместо фамилии своей крестик ставлю, — оборвала молчавшая до этого Пионерка.

— Чего тебе бояться, керя, подмахнешь разок оперу и все дела, — пошутила Муха.

— Махала б я, да очередь твоя! — зло огрызнулась Пионерка.

— Махнула бы! Не зажала промеж ног, да некому, — вздохнув, сказала Муха.

В наступившей минутной тишине было слышно: протяжно и долго гудел паровоз, замедляя ход. Затем, рванув два—три раза вагоны, состав остановился.

— Точно, Киров! — объявила Лысая. — Вертухаи на платформе шнырят, темно стало, не видно ни хрена, — и спрыгнула с параши. Часов ни у кого не было, и времени никто не знал. Так, приблизительно определяли — первый «молебен» в 7 утра, второй около 6-ти вечера. Где-то ближе к ночи послышался лязг ключей, замков, засовов, и дверь с поросячий визгом откатилась.

— Дверь бы смазали, что ли, лодыри, как серпом по яйцам! — недовольно проворчал начальник конвоя.

Снаружи замелькали фонари, и он в сопровождении двух конвоиров легко поднялся в вагон.

— Подъем! — скомандовал он. — Внимание! Приготовиться с вещами на выход следующим заключенным. Сюда свети, на список, — приказал вертухаю — не видно ни хрена.

Действительно, лампочка, тусклая от пыли, с большим слоем мушиных следов, едва освещала вагон.

Нещадно перевирая не только иностранные, но и русские фамилии, он все же осилил кое-как список. К великому огорчению Нади, названа была и Лаврентьева Зоя Матвеевна,

1927 года рождения, — Муха!

— Куда вас теперь? — едва сдерживая слезы, спросила Надя. Ей было грустно расставаться со всегда веселой и по-своему даже остроумной балагуркой Мухой. Она одна, как никто другой, могла шуткой и заковыристым словечком снять тягостное напряжение, возникавшее порой в теплушке. Она была заступницей и руководителем Нади в этой странной, фантастической жизни.

— А! Без разницы! — махнула рукой Муха.

Она не грустила, ей везде был дом родной, везде находились «свои», знакомые. Надя даже слегка обиделась — так мало занимала она места в Мухиной жизни.

Ушли около двадцати пяти человек, в основном уголовницы, бытовички и старые политические.

— На север их не возьмут. Зачем они там? Там вкалывать надо, а блатнячки все равно работать не будут, — сказала Света.

— Посмотрим, сколько ты наработаешь. Это тебе не языком болтать, политикашки несчастные, — раздалось с левой стороны.

— Скажите на милость, откуда такая патриотка-карманница нашлась? В порядке любви великой к Родине карманы у граждан обирала? — бойко отпарировала Света.

В сумерках было видно, как поднялась и села Манька Лошадь.

— Кончай базар, — сказала она своим глухим сиплым голосом, — а то прыгнешь к параше.

— Я б их всех давила, как вшей, — не унималась блатнячка.

— А я говорю, кончайте базар, — еще раз повторила Лошадь и улеглась на свое место.

Утро застало этапников в пути. Очередной «молебен» надолго задержался, а с ним и кормежка, которую теперь все ждали с нетерпением. Когда, наконец, раздвинулась визжаще-скрипящая дверь, подуло настоящим холодом. Выглянув, Надя увидела: все белым-бело от снега.

— Снег! Смотрите! — воскликнула она. Но никто не порадовался ему.

Прошло немало дней, прежде чем состав дотащился до Котласа.

— Считай, без малого половина пути, — сказала Лысая.

Воровок сильно поубавилось, и все остальные почувствовали себя свободнее, хотя воровства уже бояться было нечего, продукты, взятые с собой, кончились, курево тоже. Конечно, если из шмотья что утащат — обидно. Надя напросилась вне очереди выносить парашу на пару с высокой красавицей из политических. Очутившись впервые за много дней снаружи, она едва удержалась

на ногах от потока свежего воздуха. Высоко в голубом холодном небе раскачивались и шумели верхушки громадных сосен и елей, глядя на них кружилась голова и слегка подташнивало от голода. Вдалеке по платформе сновали люди. Ее напарница, девушка из Прибалтики, сделав несколько шагов, внезапно остановилась и зашаталась. Надя выпустила ручку бачка и кинулась поддержать ее.

Подбежал сопровождающий охранник. — Чего встали?

— Плохо ей, видите? Чуть не упала, — объяснила Надя.

— Зачем пошла? Слабая, не берись, — задергался конвой. «Кажется, зовут ее Бируте», — вспомнила Надя.

— Бируте, может, вернешься?

— Пойду, пойду, постараюсь, — тихо сказала она и взялась за парашу.

— Шагай, давай, без обмороков тут! — прикрикнул конвоир. Надя обернулась к нему:

— Человеком надо быть!

— Человеком надо родиться, — возразила Бируте.

После Котласа заметно похолодало в теплушке, «буржуйка» уже не могла согреть продуваемое со всех сторон помещение. Пришлось вытащить из-под головы валенки. Надевая их, Надя увидела в голенищах с внутренней стороны две маленькие буквы «М. М.», вышитые красными нитками.

«Тетя Маня прислала», с благодарностью подумала она и впервые со времени отъезда из Москвы затосковала по дому. На душе стало тяжко и тошно. Впереди еще семь лет такого существования. И не голод и холод, и даже не тяжелая работа, о которой рассказывали бывалые зечки, пугающе страшны, а вот это вынужденное совместное сожительство таких несовместимых друг с другом людей, обреченных бесконечно долгие годы валяться на одних сплошняках. Рядом, справа, закинув руки за голову, лежала Космополитка, вперив в потолок отсутствующие глаза, а в них тоска зеленая. «Наверное, тоже о доме затосковала», — догадалась Надя и посоветовала:

— Вы бы хоть встали, размялись немного, ослабнете так.

— Не хочу, ноги мерзнут.

Надя вспомнила — на ее ногах новенькие лакированные лодочки и чулки-паутинки со спущенными петлями на правом чулке.

— Что же вы так легко оделись?

— Меня прямо с концерта забрали. Если б знать, валенки с галошами надела на концерт, — невесело пошутила она.

Надя почувствовала, как сердце ее екнуло и заколотилось быстрее: «Концерт! Музыка! Космополитка ходит на концерты! А

может быть, и сама причастна к великому? Поет или играет, скажем, на скрипке или рояле».

— И некому принести теплое?

— Нет, — покачала головой Космополитка. — Мама и папа моим маршрутом ушли в тридцать седьмом, а муж — на полгода раньше меня.

«Наверное, как та девочка, Ксана Триумфовская, давно-давно в Малаховке, — вспомнила Надя и, еще не решив окончательно, уже полезла в свой вещмешок, достала дареные Розякой носки и свои школьные ботинки со шнурками.

— Вот, возьмите, у вас нога поменьше моей, с шерстяным носком и будет впору.

Но Космополитка заупрямилась. Не захотела ни в какую.

— Нет-нет, ни за что! С какой стати, тебе самой нужны будут.

— Мне пришлют, у меня мама дома, — горячо убеждала ее Надя.

Все же после долгих споров и увещеваний она одела и носки и ботинки. Лаковые лодочки засунула в сумку.

— Вместо подушки будут, — пошутила повеселевшая Космополитка.

А потом, к великой Надиной досаде, спрыгнула вниз и до ночи торчала со своими политиканшами. А ей так хотелось поговорить с ней, узнать, на каком концерте она была и не пела ли Обухова или Давыдова, а быть может она сама пела или играла? Но Космополитка, вдоволь поболтав со своими, вернулась на нары и укрылась с головой воротником своего пальто, говорить не захотела, сказала только:

— Что-то меня знобит, кажется, я заболела. «Так тебе и надо, нечего было торчать внизу», — подумала обиженная Надя.

Утром на «молебен» Космополитка едва поднялась. Она действительно заболела и к вечеру горела огнем. Уголовный мир взволновался.

— Тиф у нее, — почему-то решили они.

— В натуре тиф! Теперь всех перезаразит, паразитка! — Высадить ее!

— Нечтяк, бабочки! После тифа наголо стригут, теперь все голенькие будете, не мне одной! — злорадствовала Лысая.

— Ты давай чернуху нам не раскидывай. Тебя не от тифа обрили, — ехидно заметила Манька Лошадь.

Жучки загоготали, Лысая пропустила реплику мимо ушей и продолжала:

— Нет, в натуре, сколько знаю их, вечно эти контрики болеют, вся зараза от них и вшивота.

— Особенно сифилюга в четыре креста, — добавила Манька

под громовое ржание уголовниц. Многие из них знали злосчастную историю Лысой.

В ночь Космополитке стало совсем худо. Она металась и бредила, призывая в свидетели какого-то Леню. Хваталась горячими руками за Надю и, задыхаясь, твердила:

— Это ложь, говорю тебе, не верь, ложь, подлая клевета, — и внезапно громко вскрикивала.

Надя будила ее, тормоша за плечи. Она ужасно боялась, как бы разбуженные воровки не согнали больную с верхних нар вниз. Потом Космополитка затихла, очнулась и попросила пить. Задача была не из легких. Кипяток наливали в кружки во время' раздачи баланды, и каждый старался выпить горячую бурду поскорей, «согреть душу», так что вряд ли у кого мог остаться кипяток. Кроме того, все спали, а тревожить спящих… Все-таки Надя осторожно слезла вниз, надеясь разыскать хоть полкружки воды. Ближе всех спала, укрывшись с головой, Надежда Марковна. Надя тихонько тронула ее за плечо. Та, не разобрав со сна, в чем дело, завопила во все горло.

— Что ты тут делаешь? Тебе чего надо?

— Вода мне нужна. Соболь воды просит, у нее сильный жар..

— Нет у меня, — пробормотала она и еще плотнее завернулась: в свое пальто.

— Иди сюда, — позвали ее с противоположной стороны. Откуда-то из-под верхних нар вынырнула черная худая монашка и протянула сухой птичьей ручкой кружку с водой.

— Ой, спасибо вам большое! — обрадовалась Надя и перелила в свою посуду.

— Бери Христа ради, — прошептала монашка и опять скрылась в темноте под нары.

Стараясь не расплескать драгоценность, Надя забралась на «свое место и увидела, как рыжая воровка из компании Маньки Лошади, по прозвищу Крыса за свое поразительное сходство с крысой или мышью, тащит у Космополитки из-под головы сумку.

— Ты чего здесь? — крикнула Надя, — А ну махом отсюда!

Проснулась Света:

— Ты чего, Крыса, тут шуруешь, брысь!

Та, ни слова не говоря, быстро скрылась. Космополитка, дробно стуча зубами об алюминиевый край, с жадностью осушила булькающими глотками кружку, тотчас повалилась и заснула. Улеглась, наконец, и Надя, но ненадолго, потревоженная возней над самым ухом, она приоткрыла глаза и опять увидела Крысу. Та держала Космополиткину сумку и тащила из» нее лаковую туфлю. Другую она уже извлекла и прижимала локтем к себе.

Надя вскочила.

— Ты что же это, пакость, делаешь, а? У больного человека воруешь, а?! — накинулась она на Крысу, выхватила туфлю и запихнула обратно в сумку.

— Отдай, падла, хуже будет, шнобель отхаваю, — злобно прошипела Крыса.

— Ты! Мразь такая! Еще и грозить мне? — рассвирепела окончательно Надя.

— Говорят, отдай туфли, падла, пасть порву, — повторила Крыса, брызгая слюной сквозь гнилые пеньки торчащих передних зубов.

Плохо еще знала тогда Надя этот уголовный мир. Иначе повела бы себя скромнее, потише, но в тот момент она знала одно: грабят беспомощного, больного человека, а потому крикнула на всю теплушку.

— Пошла вон, воровка проклятая!

И в тот же миг получила такой удар в спину, что не удержалась и кубарем свалилась на пол. Не успела она подняться, как с противоположных нар вслед за ней кинулись две блатнячки. Одна из них вцепилась ей в волосы, стараясь ударить ее голову об пол, другая стукнула носком сапога по пояснице. Надя охнула и осела.

— Сейчас же перестаньте, — закричала испуганная Света. — Помогите ж, они убьют ее!

— Свои дерутся! Убьют — одной меньше, — равнодушно сказала Надежда Марковна и отвернулась.

Трудно сказать, осталась бы жива Надя или стала калекой на всю последующую жизнь, если б не случилось неожиданное: из; своего угла поднялась Космополитка и, откуда только взяв силы, крикнула:

— Держись, Надька!

Но Надя, получив еще один удар по голове чем-то тяжелым, держаться более не смогла.

Все дальнейшие события она узнала от Светы, когда пришла в себя. Еще долго находясь под впечатлением и не теряя воинственного пыла, та вдохновенно рассказывала:

— Представляешь! Ирка рванулась прямо на печку, уцепилась руками за трубу и орет:

— Мрази проклятые! Если вы немедленно не оставите ее, выкину трубу в окно. Задохнетесь, как поганые крысы!

А сама уже ее дергает с места и ногами отбивается. И сама задохнешься! — кричит Рыжая, но все же тебя оставили, а Ирка им:

— Мне все равно подыхать, — да как дернет трубу, из печки дымище повалил, едкий такой, глаза дерет, искры во все стороны,

летят, того и гляди, сено загорится.

Манька Лошадь как заорет истошно:

— Ставь на место, убью, такая-сякая!

И весь их «шалаш-трест» на Ирку! Ну, тут все поднялись! Ведь сколько мы от этой нечисти всегда терпели! Они нас обворовывают, обжирают, да еще издеваются, и не пожалуешься на них. Они везде свои, им всегда преимущество. Вот и решили посчитаться с ними. Я схватила кочергу — и ну метелить их направо и налево. Они хоть и привыкшие к дракам да поножовщине, а нас-то больше. Слышу, мне Ольга Николаевна кричит: «Света, Света, осторожней, у Лысой нож». И правда, ножик у Лысой тоненький, из сплющенного гвоздя. Такой и во время обыска не найдут. Она с этим ножиком на меня! Тут Поля Кукурайтене ка-ак сапогом Лысую по голове огреет! У нее на каблуке подкова металлическая в палец толщиной. Лысая завопила и за голову схватилась, нож-то и выпал. Ольга Николаевна на него наступила, а Бируте подняла и Ирке отдала. Кровища у Лысой из башки хлещет, лицо заливает.

Манька, как увидела, какой оборот приняло дело, завопила:

— Суки позорные, кончай ночевать!

— А разве Манька не дралась?

— Что ты! Нет! Она сверху руководила боем, своих поддерживала. Между прочим, мне тоже по ноге угодили будь здоров, как!

Надя попыталась улыбнуться, но почувствовала, как ее рот повело в сторону. Она тронула пальцем разбитую верхнюю губу. Палец был в крови, рана еще кровоточила. Бируте подала ей смоченный водой носовой платок.

— Спасибо, Бируте! Человеком надо быть, да?

— Хотя бы родиться, тогда есть надежда им стать, — ответила Бируте и хотела подмигнуть, но вместо этого сказала удивленно: — Ой, — и пощупала над заплывшим правым глазом здоровенную гулю.

— Хорошо, зеркала нет, а то испугаешься, глядя на себя, — сказала Света.

— Ну, суки, контрики-паскудники!.. Коли настучит кто вертухаям про нож, не жить вам в лагере! — заявила Манька, прикладывая кусок белой тряпки к ране на голове Лысой.

— А ху-ху не хо-хо, — раздалось ей в ответ. Манька фыркнула и нагнула голову, чтоб спрятать улыбку. — Выучились, лярвы!

— И вашу кодлу кое-чему выучили, — сказала хорошенькая москвичка Танечка и сняла с себя клок вырванных в драке волос. К тому времени, когда Надя окончательно оклемалась и способна была даже шутить, о потасовке напоминала только непривычная тишина. Переговаривались шепотом, словно в доме покойника.

— А нож куда дели? — тихо спросила Надя. — Найдут во время шмона, плохо будет.

— Ирка его в окно выкинула.

Однако Космополитке драка на пользу не пошла. Ладони ее рук, обожженные о трубу, покрылись волдырями и нестерпимо болели. Она металась и тихонько стонала. Надя поминутно прыгала вниз и скребла снег из-под двери, прикладывая к обожженным ладоням, пытаясь хоть как-нибудь утихомирить боль.

На утренний «молебен» Космополитка подняться не смогла.

Едва откатилась дверь для утренней поверки, блатнячки загорланили наперебой:

— Тиф, тиф у нас, гражданин начальник!

— Молчать! — гаркнул конвоир. — В чем дело? — обратился он к Ольге Николаевне. Все начальники обращались с вопросами только к ней. Высокая, представительная женщина с милым и добрым лицом, видимо, больше других внушала доверие.

— Девушка у нас тяжело заболела.

— Что с ней?

— Тиф, тиф, изолировать ее надо! — со всех сторон

закричали блатнячки..

Конвоир вопросительно посмотрел на Ольгу Николаевну.

— Я не врач, но ничего удивительного, что тиф… — Она еще что-то хотела добавить, но он уже ее не слушал. Быстро кое-как просчитав зечек, он на этот раз даже не стал колотить стены и пол кувалдой, а поспешил убраться восвояси вместе с напарником и раздатчиком.

— Во, гадье, рванули, тифа испугались, — пропищала вслед Пионерка.

— Испугаешься, пожалуй, как в бушлатик деревянный оденут, — пробасила Манька Лошадь.

После «побоища», как сказала Света, уголовный мир заметно притих и, даже наоборот, предпринял попытку к примирению. Спустя день-другой к Наде подсела Амурка, маленькая воровка с голубыми, невинными глазками и целой шапкой золотистых кудряшек — фаворитка и шестерка Маньки Лошади, и, как ни в чем не бывало, улыбнулась ей.

— Ну, ты молодец! Очка — через — очка, вышла девочка! Здорово тебе попало. Манюня думала, ты вертухаям просексотишь.

Надя промолчала. А что было ответить? Она равно не любила и вертухаев, и блатных, и фраеров — весь этот чуждый ей мир.

— Куда перышко дели? Ножик…

— В окно бросили.

— Чего ты с ней разговариваешь? Гони ее, — посоветовала Света.

Амурка и глазом не моргнула, только подсела поближе.

— Ты бы Ирке, своей соседке, подсказала: на руки помочиться надо, верное средство против ожога. Холод, он только на время действует, а согреется и опять болит…

И она начала рассказывать, как однажды у нее… Но Надя ее не слушала, она смотрела на это оживленное, прелестное личико, еще не испорченные куревом, поблескивающие перламутром зубы.

За что она здесь? Что могла натворить эта маленькая девчушка, похожая на херувимчика и на артистку Мэри Пикфорд, фотографию которой Надя видела в доме Дины Васильевны. Но Амурка не была ни херувимом, ни артисткой. Статья и срок ее гласили, что эта девочка — законченная профессиональная воровка и лет ей не так уж мало. «Пример мимикрии», — вспомнила Надя зоологию, и неприветливо спросила:

— Не крути, говори прямо, чего пришла!

— Манечка меня прислала… спросить, не отдаст ли подружка туфли? Добром… — добавила Амурка и опустила глазки.

«Ишь, овечка! — насторожилась Надя. — Что-то замышляют».

— У нее их все равно уведут, а не уведут, сгниют в каптерке. В зоне их носить не придется, — с сожалением сказала Амурка и снова глазки опустила и головку набок наклонила. «Чистый ангелок!»

— Да с какой такой радости подарок твоей Манечке на ее лошадиные копыта? — злобно прошептала Надя.

— Не Манечке! Не о себе она хлопочет, ей ничего не нужно. Пионерка скоро освобождается, ей.

— Пионерка твоя скоро опять сядет, ни к чему вам на свободе в лаковых туфельках разгуливать! — злорадствуя, сказала Надя, чувствуя за собой силу в лице Светы и еще многих, с одобряющим интересом слушавших их разговор.

— А керя твоя вот-вот бушлатиком деревянным накроется, ей тоже, вроде бы, ни к чему…

Но Надя не дала ей договорить.

— А ну быстро чеши отсюда во все лопатки!

— Смотри, как бы тебе еще разок портрет не подпортили. Слышала, ты в театр едешь, как тогда? — улыбнулась нежно Амурка и перелезла на свое место, где ее нетерпеливо ждали с ответом. Было видно, как рассерженные блатнячки бросали злобные взгляды в Надину сторону.

— Чего они хотят от тебя? — не в силах открыть глаза, едва слышно, спросила Космополитка.

— Не от меня, а от вас. Туфли ваши, вот чего!

— Отдай! Пусть подавятся.

— А фигу им! — воинственно сказала Надя, готовая к новому сражению.

Через некоторое время Амурка снова оказалась возле нее. Надя взглянула на Амурку с вызовом:

— Вот бесстыжая, опять пришла!

— Манечка предлагает новую телогрейку с меховым воротничком, — подчеркнула Амурка, — в обмен на туфли. Соглашайтесь! Туфли ни к чему ей, а телогрейка нужнее и воротничок мехом обшит.

— Вот это деловой, разговор! — оживилась Надя. — Тащи телогрейку.

— Телогрейка не моя, давай туфли.

— Фигушки! Знаю я вас, отдашь и с концами.

— Забожусь, сейчас принесу!

— Неси, неси тут недалеко.

Так у космополитки безродной Ирины Соболь появилась хорошая, хоть и не новая, телогрейка, отороченная хвостом черно-бурой лисы, а в противоположном углу шла примерка

лаковых лодочек, сопровождаемая заковыристыми матерными восклицаниями.

«Странно, — думала Надя, наблюдая из своего угла, как то злобно, то шутливо-весело перебранивались воровки. Казалось, вот-вот дело дойдет до рукопашной— и вдруг одна из них острым словцом разом снимала напряжение, и опять они дружно шумели, как стая мартышек в зоопарке. Да, это и была стая. Каждая из них в отдельности, могла быть и доброй, и уважительной, и почтительной, но в стае это были злобные мегеры, алчные и беспощадные, признающие один единственный закон, как они любили говорить: «Закон — тайга, а прокурор—медведь». В стае им ничего не стоило отнять последний кусок у старухи, украсть то, на что положили глаз, избить и даже порезать непокорных. Стая была бичом камер и этапов. Начальство хорошо знало об этом, предпочитая держать их вместе с политическими, как вспомогательную силу.

Они были свои! Потому что, как сказала Надежда Марковна, «остальные там, наверху, тоже из преступного мира».

Ночью паровоз, дернув два-три раза вагоны, остановился. Проснулись зечки, и, поддерживая друг друга, двое полезли смотреть в окно.

— Большая станция, и вокзал с буфетом есть, — сообщила одна.

— Ухта это! — потягиваясь и зевая широко раскрытым ртом, объявила Манька Лошадь. — Считай, больше половины проехали.

— О-о-о, только-то! — разочарованно простонали зечки.

— До Африки доехать и вернуться можно, — на ломаном русском языке сказала немка Бригитта Герланд.

— А я бы не вернулась! — воскликнула Света.

— Во! Так вы пропадлы-контры и есть! Готовы хоть в Африку к черным со своей родины драпать, — с презреньем сплюнула на пол Лысая.

— Тебе там, конечно, делать нечего. Ворью такой лафы, как у нас, нигде на свете нет!

— Слышали? Все слышали? — подхватила Лысая. — Политиканы проклятые везде свою агитацию проводят. Мало им срока дают! Стрелять их из поганого ружья надо!

— Всех перестреляешь, у кого воровать будешь? С голоду помрешь, — под дружный хохот не унималась Света.

В воздухе запахло очередным скандалом. К счастью, в этот момент снаружи раздались удары по засову, дверь откатилась, и в теплушку ввалился сам начальник конвоя в сопровождении двух конвоиров и штатского в белом халате. Из кармана у штатского торчали трубочки стетоскопа. «Врач», — тотчас догадались все.

Неохотно задвигались зечки, вставая «как положено», приветствовать начальство.

— Где больная? — спросил начальник конвоя.

— Здесь, на нарах, — ответила Надя.

— Пусть встанет!

— Она не может!

— Я говорю, пусть встанет, — повысил он голос. Космополитка, через силу, при помощи Нади и Надежды

Марковны, с трудом спустилась вниз. После недолгого осмотра доктор спрятал свои трубочки и повернулся к начальнику конвоя.

— Немедленно в больницу.

— Что, тиф?

— Возможно, — неопределенно сказал врач.

— Быстро помогите собрать ее вещи, — приказал начальник. Через минуту, едва держась на ногах, она уже шла к двери.

— Ира! Соболь! — подбежала к ней Света. — Если встретишь Петьку Якира или Соню Радек, она в Инте где-то, но теперь ее фамилия Токарева…

— Молчать! — заорал конвоир и толкнул ее прикладом к нарам.

— Скажи им, Стелла Корытная получила десять, — крикнула она через плечо.

Доктор обернулся и посмотрел на нее, потом покачал головой и вышел.

— Сын Ионы Якира! — пробормотал он, спускаясь с вагона.

— Сонька твоя на Инте чалится, — сказала Манька, как только задвинулась дверь за бедной Космополиткой.

— Откуда ты знаешь? — встрепенулась Света.

— Да я с ней на одном лагпункте была, у нее десятка. По пятьдесят восьмой на всю катушку, пункт десять. Только фамилия ее там Токарева. Хотя все знают, что она Радек.

— Манечка, Маня, — чуть не плача, взмолилась Света, — когда ты ее видела?

— Зачем она тебе? Иль кто приходится?

— Она про одного человека может знать, моего друга детства.

— Друга! Небось любовничка?

Но Света не стала доказывать, что друг детства не обязательно любовник, ей было важно узнать свое.

— Дай Бог память… — наморщила свой узкий лобик Манька. — В феврале я ее видела, вот когда!

— На Инте?

— Я в марте освободилась, она еще там была.

— А сюда как ты попала? — уже с недоверием спросила

Света.

— Как? Обычным маршрутом через Таганку. Освободилась да и погуляла по прешпекту.

Пионерка засмеялась и запела:

Таганка! Все ночи полные огня!
Таганка! Зачем сгубила ты меня.
Таганка! Я твой бессменный арестант.

— Заткни хавальник, и без тебя муторно, — злобно процедила Манька.

Но Пионерка заголосила еще громче:

— Пропали юность и талант в стенах твоих.

С уходом этапа на верхних нарах освободилось много мест, но никто не спешил перебираться к блатной компании. Боялись не воровства, противно было слышать их пошлые разговоры, пересыпанные матерщиной. Наде невольно приходилось слушать эту болтовню, а песни, что пелись ими, она возненавидела лютой ненавистью. Отвращение и жалость одновременно внушали эти молодые, здоровые, а некоторые из них даже красивые, бабенки и непонятно, как можно попадать за воровство по нескольку раз в тюрьму да еще гордиться своими подвигами.

И уже совсем непонятны были политические. Как можно быть врагом Советской власти или не любить вождя? Говорить о нем скверно, без уважения? С самых ранних дней своей жизни она знала, что там, в Кремле, живет и трудится дорогой всему народу человек. День и ночь он печется о том, как улучшить жизнь страны. Враги то и дело мешают ему, строят козни вредители, затевают войны фашисты, но он уверенно ведет страну к победе коммунизма. Наш великий кормчий, наш рулевой, как нарисовал его художник на плакате «Сталин у руля». И в киножурнале она видела, как стоя встретил зал какого-то съезда дорогого вождя, тысячью рук аплодируя каждому слову. А в школе? В ее классе на самом видном месте висела вырезка из журнала, где товарищ Сталин по-отцовски, так ласково, обнимал девочку Мамлакат Нахангову и мальчика Баразби Хомгокова. Каждый хотел бы быть на месте этих счастливчиков. А война? Бросаясь в атаку на врага, они кричали, умирая: «За Родину, за Сталина!» А Зоя? Зоя Космодемьянская. Как это все понять? А в то же время невозможно поверить, что Ира Соболь продавала Родину! Кому? Как? А миловидная, черноглазая Света Корытная, отпетая контрреволюционерка, агитатор и пропагандист, да сколько ей лет? Кажется, с 26 года, девчонка. А Бируте? А те монашки, что сидят в углу под нарами и молятся день и ночь! И уж совсем

непонятна пожилая колхозница Нюра, у которой блатнячки утащили мешок с сухарями, пока она выносила парашу. Кроткая, тихая, ее не видно, не слышно, а обвиняется по 58-й статье, тоже антисоветская пропагандистка. Непонятно!

После «ледового побоища» неуютно почувствовали себя девушки из блатняцкой команды. Их стало мало, им перестали подчиняться, того и гляди заставят парашу тащить на равных с контриками. Не удивилась поэтому Надя, когда однажды около нее уселась сама Манька Лошадь — воровка в законе, уважаемая всей воровской кодлой.

— Инта скоро! — сказала она, дружелюбно поблескивая в сумерках темными, широко расставленными глазами.

— А Воркута когда? — спросила Надя, чтоб поддержать разговор и дать понять, что прошлое напрочь забыто. В душе она была польщена, что гроза всей теплушки пришла именно к ней.

— Воркута — это дальше. Сперва еще Ковжа, Печора, Абезь, потом Инта, а уж потом Воркута.

— А что, и в этих местах лагеря? — Манька присвистнула:

— Еще какие! На Кожве, к примеру, лесоповал — страсть. Зеки там, как муховня дохнут, работа — каторжная, а еда —… На Инте доходяг больше. Интруд.

— Что это, интруд?

— Доход Петрович, значит, индивидуальный труд. Я когда на Воркуте дошла, меня в Инту списали.

— Почему же ты дошла?

— В шахте работать не хотела, вот меня по бурам и таскали, а тем, известно…

«В законе она, работать не положено», — вспомнила Надя и сказала: — Сколько тащимся, и все лагеря да лагеря.

— Считай, от самого Горького: Унжлаг, Каргополлаг, а уж от Котласа сплошь лагеря, до самой Воркуты одни вышки да проволока.

— Что ж ты Рыбинск, Манюня, забыла? — напомнила Лысая.

— А Норильск? А центр вселенной Магадан?

— А Экибастуз?

— А Тайшет? Караганда?

— А Потьма? Темняки? — понеслось со всех сторон.

— Ну, будет вам, все равно всех не сосчитаете, — сказала Манька.

— Сколько же там народищу! Можно подумать, что на воле и людей нет! И за что только? — поразилась Надя.

— Тебе сколько лет-то?

— Девятнадцать скоро, а что?

— За что взяли?

— Чего взяли? — не поняла Надя.

— Ну, посадили за что?

— Да, в общем, ни за что!

— Вот и они ни за что!

— Как? Ведь там почти все политические, я слышала!

— Ну и чего? Некоторые в оккупации были, кто анекдотец стравил или ненароком Сталина ругнул, да и просто колхозную корову блядью обозвал. Вот тебе и срок. Контрреволюция!

— Известно ведь, нельзя против Советской власти болтать… — и еще хотела сказать что-то, но запнулась: таким насмешливо-уничтожающим взглядом посмотрела Манька, что слова застряли в горле.

— Дурочка ты, я вижу!

— Почему это? — обиделась Надя.

— Ты маму свою всегда слушалась?

К чему это она клонит?

— Нет, не всегда.

— Вот и они отца родного не слушались! — в голос заржала Манька, довольная своей шуткой, и, сощурив свои лошадиные блестящие глаза с прямыми ресницами, добавила:

— Я вот тебе чего посоветую: ты лагеря не считай, бесполезняк, труд напрасный, а то на моей бытности парню хорошему срок навесили. Довесок. Он в своем бараке возьми да ляпни вслух: «Земля, говорит, наша родимая, Россия-матушка, вся проволокой обмотана, да, видно, мало показалось, в Казахстан, да на Север полезли вышки. Спасибо, говорит, отцу родному Сталину. Не оставил ни чукчей, ни комяков без лагерей. Тысячи-тысяч послал Север осваивать». Через час его к оперу вызывают. Кум ему и говорит: «Что, Епифанов, подсчитал, сколько лагерей?» Тому придурку отказаться надо было, а он: «Да нет, гражданин начальник, разве их перечтешь? Срока не хватит». А кум ему: «Тебе, Епифанов, и правда мало дали, не успеешь пересчитать. А я тебе срочок добавлю, чтоб успел». И что думаешь? Добавил, падло, пять лет и на пятьсот первую стройку отправил.

— Ой, — воскликнула испуганно Надя.

— Вот тебе и «ой» — не считай лагерей!

— Где ж такое могло быть?

— Да, можно сказать, в Москве!

— В Москве лагерь? Ты что, окстись, — не поверила Надя.

— Ну и чего? Полно там лагерей! Спецстрой МВД. К примеру, я в Черемушках была, недолго правда, так мы там спецобъект строили. Начальник у нас был, Ганелин Лейба Израильевич, хоть еврей, но мужик, что надо. Гужевались при нем, как хотели, и свиданки давал, и передачи, хоть каждый день носи, и опера там

были не дерьмовые. Сафонов да Леонов, я и там не работала. Да ты чего рот-то раззявила?

— Чтоб в Москве лагерь? — Не верится.

— Пиши письменный запрос, скажу адрес: Москва-7, п/я,334/3.

— Что же это такое? Лагерь в Москве?

— Балда! До едреной матери там лагерей: в Черемушках, в Химках, в Подлипках, на Калужской заставе лагерь, это я сама которые объехала. А сколько не знаю? Вот так-то; малолетка, поживешь—увидишь, — и ушла в свой закуток, довольная произведенным впечатлением, оставив Надю в полном потрясении размышлять…

Думай себе Надя, думай! Времени отпущено для размышлений много, никто не помешает.

А, пожалуй, и не врет Манька, — пришла она к выводу. Вот товарищ Сталин живет себе в Кремле и даже не подозревает, какие злодейства творятся за его спиной, прикрываясь его именем. А если б мог выйти из Кремля, как Гарун аль Рашид, о котором ей рассказывал когда-то Алешка, переодетый в простое платье, да послушал, что говорят люди, да поспрашивал народ о житье-бытье, он бы навел порядок. Некогда ему, он день и ночь работает, — ответила она сама себе и вдруг, ни с того ни с сего, вспомнила песню, что всегда звучала по радио:

Побеждая полярные дали.
Мы вернемся к родным берегам,
Где любимый и ласковый Сталин
Улыбнется приветливо нам.

Вот! Любимый и ласковый! Кто-то ведь писал эту песню. Какие-то образованные люди — поэт и композитор тоже любили его, считали ласковым. Они что же, не знали, что в тюрьмах и лагерях томятся тысячи тысяч людей, как сказал этот парень Епифанов? Или им было наплевать на них? Ну, положим, в далекой Средней Азии акын Джамбул, сын народа, мог не знать и от всего сердца писал стихи, что мы учили в школе.

О Сталине мудром,
Родном и любимом
Прекрасную песню
Слагает народ.

А Сулейман Стальский? И радио. По утрам, каждый день:

Партия Ленина,
Партия Сталина
Нас от победы
К победе ведет.

Как же все это понять? Где правда? «Родной», «любимый», «мудрый» — и бесконечная вереница лагерей, опутавшая страну, не пощадившая даже столицу Москву? И решила: он ничего не знает, все бесчинства творят враги за его спиной, другого и быть не может. Придя к такому заключению, она укрылась с головой своим пальто и, подтянув ноги к самому подбородку, заснула.

Спустя несколько дней, ночью, как ей помнилось, состав остановился в Инте. После утреннего «молебна» пришел сам начальник конвоя, хмурый, всегда насупленный капитан, и два молодых лейтенанта, а в открытую дверь видны были еще два вертухая.

— Сейчас вызывать будут, кто-то домой приехал, — сказала Амурка.

Хотя и так уже все догадались, раз с формулярами, значит, кому-то вылезать.

Ушли две монашки, перекрестив оставшихся, кое-кто из уголовниц, бухгалтерша Нина Разумовская, Пионерка, подружка Бируте — Нонна Станкевичуте, такая же высокая, белокурая красавица, Поля Кукурайтене и еще несколько нерусских из Прибалтики, не то эстонки, не то латышки, кто их различит? Много пожилых и совсем старых женщин, простых, деревенского вида. Нюру, колхозницу из Тульской области, тоже забрали. Блатнячки издевались над ней всю дорогу. Сперва украли у нее сухари, а потом просто лазили по ее вещам, потешались, когда она кричала на них: «Пошто котомкой шурудишь, сухариков-то нету-ти!»

«Тоже политические! Пустили б их домой, старых, больных, свой век на печке доживать, чем по этапам гонять!»

Одну такую пожилую интеллигентную женщину, чем-то отдаленно напоминавшую Наде Дину Васильевну, все политические провожали, прощаясь, даже плакали, и, что самое удивительное; начальник конвоя не закричал свое обычное «Назад!», «Молчать!» и все прочие слова, которые употреблял в таких случаях, а отвернулся и сделал вид, что считает формуляры.

— Кто это? Чего за ней так ухаживают все? — шепотом поинтересовалась Надя у Амурки.

— Тю! Не знаешь? Это же… ну как его? Ну, жена нашего

знаменитого комкора. Его еще в тридцать седьмом шлепнули, а она с тех пор по лагерям скитается. А! Забыла я его фамилию.

«Что-то у меня совсем котелок не варит, — пыталась сообразить Надя, — ничего не понимаю! Жена комкора в лагерях с тридцать седьмого года скитается вместе с уголовниками, за что же? Срок у нее пятнадцать лет, да выживет ли?»

В Инте разрешили еще набрать угля. Топить приходилось целыми сутками так, что труба в двух местах прогорела, но все равно было очень холодно, особенно внизу. Пушистая изморозь толстым слоем покрывала стены и потолок. Причудливые льдинки, искрились разноцветными огоньками, отражая свет…

— Ледяной дом, — сказала Надежда Марковна, и первая перебросила свои пожитки на верхние нары. За ней потянулись и остальные — поспешили занять освободившиеся верхние места. Жучки молчали, им тоже было холодно.

— Света! Идите сюда, тут место свободное есть, — позвала Надя. Ей очень хотелось, чтоб черноглазая Света-Стелла чуть похожая на нее самое, поселилась рядом.

— О! Да у вас Ташкент! — весело сказала Света, заглянув наверх, и кинула небольшой узелок рядом с Надей.

— Вы только к стене не очень прислоняйтесь, примерзнете ночью.

Света, не в пример космополитке Соболь, была живая и общительная девушка. На ее милом лице, не переставая, блуждала улыбка, то прячась в уголках губ, то открыто сияя на всю задорную физиономию.

Коротая тяжелые дни, она потешала всех бесконечными анекдотами и смешными историями из своей жизни. Особенно запомнилось Наде, когда однажды она рассказала историю своего ареста.

— Понимаете, — говорила она, усаживаясь по-турецки в своем углу. Тотчас все замолкли и придвинулись к ней поближе. — Я еще с прошлой недели заметила — двое с поднятыми воротниками пристально ходят за мной. Я в университет — они тут как тут, я домой — они опять здесь, рядом.

— А ты-то, небось, нос раскатала, думала, знакомиться хотят, — прыснула Лысая.

— Нет, не похоже, слишком серьезные морды были у них. Один раз я в метро обернулась и в упор посмотрела на одного, он тотчас головой дерг! В сторону отвернулся. Ну, так вот. Вышла я,

значит, из метро «Дворец Советов», иду по Гоголевскому бульвару, мне на Сивцев Вражек нужно было, смотрю, мои двойняшки за мной топают. Я остановилась нарочно, спрашиваю

прохожего, как на Афанасьевский пройти — он мне объясняет, а те немножко прошли и за деревом встали, закурили. Я дальше — они за мной, не спеша, вразвалочку. С бульвара лесенка идет через дорогу, прямо на Сивцев Вражек. Я остановилась, юбку задрала, вроде как чулок поправляю, а они меня обогнали и мимо пошли потихоньку. Я ка-ак дерну по лесенке, да по Сивцеву Вражку бегом. Слева, у первого дома, за магазином, что на углу, подворотня. Я в нее и во двор заскочила. Смотрю, два подъезда — прямо и налево. Ну, думаю, тут они меня и накроют. Рядом, в углу двора, два помойных ящика стоят, полным полнехоньки. Я между ними протиснулась, спряталась, решила: найдут — на весь двор кричать буду: «Караул, грабят!» Только, значит, я залезла между помойками, слышу, бегут, забежали, остановились под аркой, фонариком посветили.

— Во, очка[1] работеночка! — засмеялась Амурка. — Не пыльна, да денежна.

— Тише ты! Не мешай! — зашикали со всех концов.

— Ну вот, — продолжала Света, — фонариком посветили и слышу, один другому шепотом говорит: «В подъезд забежала, я слышал, дверь хлопнула». А другой: «Здесь два подъезда, давай прямо, а я сюда» — и оба нырнули. Как я летела в метро обратно, себя не помню. Села в вагон — нет их, вышла на Кировской из метро — опять никого! Радуюсь, убежала! Подхожу к дому, а сзади легковая машина тихохонько так подъезжает к тротуару, из нее выскакивают двое и ко мне: «Корытная Стелла?» А я говорю: «Вам какое дело?» Они меня за белы руки и в машину тянут. Я заорала и стала вырываться. Одного, кажется, даже лягнула. Мимо два летчика шли, услышали возню, обернулись — и ко мне на помощь. Тут один из моих охотников им под нос свою красную книжечку—хоп! — сунул, те посмотрели и бегом, как черти от ладана. В общем, запихнули меня в машину и прямым сообщением на Лубянку. С первого подъезда, к лифту. Только я из машины вышла, чувствую, о, ужас! трусы с меня падают, резинка порвалась, пока меня за все места хватали. Что делать? До лифта дошла, они с меня совсем съехали и свалились на пол, да так, что видно, что это такое. Я перешагнула и, как ни в чем не бывало, в кабину прохожу. А дежурный, который у входа пропуска проверяет, говорит: «Гражданка, вы что-то уронили». Я говорю: «Это вам на память о моем пребывании в доме Феликса Эдмундовича». Тут оба моих «кавалера» на пол взглянули, и как их по мордам стеганули: «Поднимите сейчас же!» шипит один, как Змей Горыныч. А я в ответ громко так: «Ни за что! Подарки не забирают».

Другой цедит сквозь зубы: «Это тебе даром не пройдет!», Я

улыбаюсь, а внутри все дрожит во мне, но говорю спокойно: «Ладно» уж, уважу! Подниму. Неудобно в таком солидном учреждении для первого знакомства с голой попой появляться». По-моему, они онемели.

Пожалуй, это был последний раз, когда могли так смеяться, до колик в пустых животах.

Одна только Надежда Марковна не улыбнулась ни разу, слушала и все больше мрачнела.

— Юмор висельников, — наконец изрекла она.

— Ну, а дальше-то, рассказывай, что дальше было, — попросила Кира.

— Дальше? — Света задумалась на секунду, словно вспоминая что-то, потом тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. — Дальше было совсем невесело. Отвезли меня на третий этаж, прямо на допрос к молодому симпатичному капитану.

— Без трусов? Трусы где?

— Трусы в кармане, едут со мной. Только капитан Остапишин Михаил Васильевич, старший следователь 2-го отдела, этим не интересовался. Его интересовала моя преступная деятельность.

— Какая? — не удержалась Манька.

— Террористки, шпионки, антисоветской агитаторши.

— И это все вы? — ужаснулась Надя.

— Подумать только! — перебила ее беленькая москвичка. Танечка. — И у меня этот Остапишин был.

— Будь он неладен! — сказала Ольга Николаевна, — Год с лишним меня по ночам мучил допросами. Днем «Геморроидальная шишка» — Линников, а ночью он. Дошла до того — по стенке ходила.

— Значит, все в одном кабинете, за одним столиком, на одном стульчике?! И всем одну статеечку и один срочок. Не обидно, всем поровну. Так что, мои милочки, одним миром помазаны, — заключила Света.

Но это было еще тогда, когда зечки могли воспринимать юмор, смеяться, шутить.

Потом стало совсем плохо.

Постепенное оцепенение, похожее на сон наяву, овладевало всеми. Притихли шумливые похабницы-воровайки, перестали разговаривать друг с другом контрики, и только монашки не уставали бормотать молитвы. Надя уже не чувствовала ни голода, ни холода, одну тупую сонливость. Как будто окутана голова ватным одеялом и где-то вдалеке гудит, не прекращая, колокол: бум-бум-бум. Хотелось спать, не просыпаясь, зато во сне она часто видела то горку горячих блинов, политую маслом и сметаной, то

кастрюлю с гречневой кашей, которая пригорала на шипящем примусе.

Подъем на поверку был в тягость. Изнуренные зечки, вынося парашу, едва могли взобраться обратно в вагон. Уже несколько дней почти не вставала с места Гражоля[2] Бируте. Только на «молебен». Лицо ее, прежде такое цветущее, осунулось и стало прозрачным, под глазами разлилась нездоровая синева. Волосы, про которые Космополитка сказала: «Роскошь, цвета золота и серебра» свалялись войлоком. Начальник конвоя, оглядывая всех на «молебне» и, стараясь придать своему простому, деревенскому лицу зверское выражение, чуть пристальнее задержал свой взгляд на Бируте и что-то похожее на человеческое чувство, искорка сострадания что ли, промелькнула в его глазах.

— Скоро Воркута, — сказал он, будто бы обращаясь к ней одной.

Конвой, хотя и поменялся в Котласе, тоже устал и вяло покрикивал, больше для вида, и уже совсем перестал дубасить стены кувалдой.

— Еще пяток деньков, и ножки мои не выдержат моих косточек, — сказала Манька, тяжело взбираясь к себе на верхние нары. Но никто не засмеялся: не было сил.

— Я чувствую, что впадаю в анабиоз, прошу не беспокоить, — сказала Света и покрепче завернулась с головой в тонкое байковое одеяло.

И вот однажды, когда потерян был счет холодным, тусклым дням, не последовало утреннего «молебна», никто не слышал, как тихо остановился состав.

— Приехали, — объявила Манька Лошадь и стала расчесывать спутанные космы.

Зашевелились, загомонили зечки — откуда силы взялись? Встали в очередь на парашу, бросились собирать пожитки. Наконец-то желанная!

Выгружались ночью, должно быть, или на рассвете, которого не было, и строились вдоль вагона. В морозном воздухе, как в бане, клубился клочьями пар от сотен дышащих глоток. Прожектора, шныряя взад и вперед по колонне, слепили до рези в глазах. Яростный лай овчарок и брань конвоиров оглушали, не давая сообразить, что требовали эти полушубки, вооруженные автоматами и собаками.

— Что они все так кричат? — спросила Надя у Лысой, стоявшей рядом в одной пятерке.

— Стращают! Побегов боятся!

— Побегов! Господи, да кому ж в голову взбредет на свою смерть бежать!

Стояли долго, и казалось, стоянию конца не будет. От пронизывающего холода, а может быть, от свежего воздуха ноги не желали держать, хотелось сесть прямо на снег.

«Мозги в голове промерзнут», — подумала Надя и сильно помотала головой. И тотчас все завертелось, закружилось и поплыло вместе с ней. Она пошатнулась и упала б, если б можно было упасть. Но рядом стояла Лысая и Света, сзади и спереди тоже зечки.

— Держись, я сама едва стою, — услышала она над ухом голос Лысой.

— Эй! Очнись! — больно толкнули ее в спину. Она обернулась.

— Держись, тут все доходяги. Завалишь всех, — сказала Манька. — Нам еще повезло, выгружались последними, а первые совсем дошли!

— Слушать мою команду! — раздалось впереди. — Разобраться пятерками! — Направляющий, шире шаг! Прекратить разговоры!

— Ну да, разговоры мешают считать, знаем только до десяти, — донеслось из рядов сзади.

Еще раз пробежали с двух сторон с собаками, и конвоиры, отсчитывая пятерки, стали пропускать колонну вперед. Наконец двинулись. Идти было недалеко. Почти рядом, за платформой, замелькали вышки с паутиной колючей проволоки, опушенной блестками снега. На этот раз повезло первым, их первыми пропустили через вахту в зону пересылки. Пришлось еще постоять, померзнуть. Зато в вонючем бараке было тепло! Так тепло, что сразу заломило руки и ноги, заполыхали огнем щеки и нос. Отогрелись.

Вошла здоровенная бабища и скомандовала:

— Кто прибыл с этапа, в баню давайте!

Пораскидали по нарам вещи и стали толпиться к двери. В баню хотелось всем. Бабища отсчитала человек 30–35 прибывших и отделила.

— Остальные во вторую очередь. Айда, пошли!

Тут она увидела Маньку Лошадь и радостно воскликнула:

— Эй, Манюня! Ты ли это? Опять к нам, а?

— Куда же, мне от тебя! — ответила Манька без особой радости в голосе и криво усмехнулась.

— После бани зайди ко мне! — И, угадав причину Манькиной сдержанности, подбодрила ее: — Нечтенко, корешок, устроимся!

— Кто это такая? — спросила шепотом Надя. Вид этой женщины показался ей ужасным.

— Нарядчица. Тоська фиксатая. Заметила, у нее впереди

рыжая фикса? Теперь Маньке «леща» пускать будет, боится ее.

— Чего ж ей Маньки бояться?

— Как чего? Ссученная она, а была в законе, ссучилась, видишь, нарядилой пошла. А Манька — молоток! Ни в какую! Ей, знаешь, сколько предлагали — и бригаду взять, и тоже нарядилой!

Манька, видимо, слышала их разговор, потому что обернулась и сказала коротко:

— Здесь правят суки.

Надя мало что поняла из этой тарабарщины, но то, что нарядчица должна бояться воров в законе, было понятно. Все знакомы друг с другом, вроде домой попали.

— Ты ей особо на глаза не попадайся лучше, она кобел, — добавила Лысая.

Надя промолчала. Спрашивать уже нельзя было, всех повели в баню, а Лысая протиснулась вперед всех. А чего спрашивать? Понятно и так, кобель — это плохо: злая собака.

В ледяном предбаннике их встретила женщина в несвежем, застиранном халате, накинутом прямо на телогрейку.

— Раздевайтесь, по-быстрому! Вещи сдавайте в прожарку и проходите на санобработку.

Кучка худых, изможденных женщин быстро поснимали все с себя и встали в очередь в следующее помещение — санпропускник, предварительно сдав свои вещички в прожарку. Блатнячки и здесь были неугомонные, хихикали, шлепая друг друга по отощавшим задам и отпускали непристойные шутки. Они нисколько не стеснялись своей наготы и первые пошли санобрабатываться.

Каково же было изумление и ужас Нади, когда она, войдя в санпропускник, увидела, что там орудовал бритвой молодой мужчина. Ловким взмахом он быстро обрабатывал лобки и подмышки, не удосуживаясь даже хотя бы почистить бритву каждый раз. Черная, рыжая и светлая шерсть клоками валялась на полу, прилипала к подошвам ног. Рядом стояла еще одна женщина и выдавала по крохотному, меньше спичечного коробка, кусочку мыла, предварительно заглянув в каждую голову. Проверка на вшивость. Надя, трясясь всем телом и стуча зубами не столько от холода, как от страха, прошмыгнула обратно и встала последней.

— Ты чего обратно? — спросила Света.

— Там мужчина бреет.

— Мужчина? Где ты видела мужчину? Разве это мужчина? Пустое место.

— Все равно не пойду, ни за что не пойду, — заверещала

Надя.

— Вот глупая! Потащат в карцер, только и всего.

— Ведь стыдно же!

— Стыдно! Пусть ему будет стыдно! Смотри на него как на пустое место, — посоветовала Бируте.

— Возьми себя в руки, ты не у мамы! Это наш советский концентрационный лагерь. Здесь все, чтоб унизить человека, — строго одернула Надежда Марковна и смело шагнула в санпропускник.

— Но ведь можно было женщину посадить на это.

— Слушай, ты! Целка-невидимка, что тут выкобениваешься? — спросила, подходя к ним та, что в замызганном халате.

— Что у вас, женщины нет в женскую баню на санобработку? — возмутилась на этот раз Света.

— Женщина у нас мужиков броить, там работы больше — шерсть гуще, — пошутила она. — Идите быстрее, а то еще сколько народу, воды не хватит.

«Попаду в карцер, прощай театр!» Сжав всю себя в комок, Надя прошла последней.

Напрасно было ее волнение. Мужчина-парикмахер, всецело поглощенный своей работой, даже не взглянул на нее. Два взмаха бритвой по лобку, два по подмышкам, всем поровну — и молодым и старым. Безразлично. Шаек уже не было, пришлось ждать, когда освободится хоть одна.

— Держи мою! — крикнула Лысая. Она уже вымылась, благо с волосами проблем не было.

— Мой как следует, сифилюга у ней, — шепнула Амурка, — да голову не мой, не промоешь свою гриву, все слепятся, — посоветовала она.

И верно, кусочка мыла едва достало намылить тело. Вода шла только из одного крана (другой был забит деревяшкой), то крутой кипяток, то ледяная. Надя брезгливо ошпарила шайку, но уже некогда было думать об опасности сифилиса.

— Заканчивай размываться и на вылет! — крикнула в открытую дверь та, что выдавала огрызок мыла и искала в головах вшей.

Несмотря на многие неудобства, все равно, это была вода, она обмывала и освежала грязное, отощавшее тело, и было ни с чем не сравнимое удовольствие вылить на себя полную шайку воды. Надя с благодарностью вспомнила совет Амурки не мыть голову. Вытираться пришлось пахнувшей хлоркой, драной, хоть и чистой простыней, одной на четырех человек. Из прожарки принесли еще горячие вещи — подгорелые, порыжевшие валенки,

искореженные пуговицы на платье и пальто. От коричневого мехового воротника (заяц под соболь) осталась скрюченная кожа, а платок в белую и черную клетку стал рыже-серым. Ну, да теперь все едино, хорошо еще, что не сдала американского платья. В бараке она обнаружила — мешок был развязан и пуст. Платья там не оказалось, и только на самом дне валялась зубная щетка и полтюбика зубной пасты «Хлородонт». «Плеч не режет ремешок», — сокрушенно пропела про себя Надя. — А впрочем, черт с ним и с платьем, все равно украли бы не сегодня, так завтра».

Вонь барака шибала в нос, но было тепло, не то что в телятнике, и можно, наконец, написать письмо домой. Свой теперешний адрес она не написала. К чему? Все равно на днях уедет работать в театр.

Жуковатые и прочий уголовный мир себя никак не проявляли.

— Коменданта и Тоську Фиксатую, нарядилу, боятся, тут комендант тоже ссученный. Они здесь над законниками верх берут, — пояснила Амурка. — Только это не везде так. Манюня говорит, на Капиталке, к примеру, или на Рэмзе их прирежут тики-так, только появись они.

— Господи, куда я попала! — вздохнула Надя.

— Тю! Куда попала! Давеча, я слышала, банщица одной говорила: образуются спецлагеря. Одни политические будут — каторжане с большими сроками. На ночь бараки запирать, переписка два письма в год только, и номера носить будут, на голове, на спине, еще где-то, в общем, как у фашистов. Вот туда попадешь — так «жаба титьки даст»! Не обрадуешься!

— А я не политическая, — поспешно возразила Надя, — а каторга у нас до революции была!

— Фигушки! Еще как и теперь есть. Сколько хочешь! Самый маленький срок — 15–20 лет. Вот!

— А чего-то Маньки не видать? — поторопилась переменить разговор Надя, чтоб не говорить о неприятном. «Амурка всегда права и все знает».

— Ее Тоська фиксатая к себе повела, небось, уговаривать будет работать!

— Уговаривать? А разве?..

— Как же! Станет тебе Манька лопату в руки брать и в зоне не будет. Она в законе!

— Подъем! — крикнул с порога мужчина, входя в барак, хотя никто не спал и не ложился.

Чуть поскрипывая сапогами и подрыгивая сытыми ляжками на ходу, он развязной походкой, горделиво посматривая по

сторонам, подошел к столу, который стоял прямо посреди барака. Чистый, новенький бушлат был одет на такую же новую телогрейку. Хромовые сапоги, начищенные до зеркального блеска, и барашковая серая шапка резко выделяли его средь остальных зеков.

«Вольнонаемный начальник, — решила Надя. До чего ж противная рожа, как рыло у свиньи».

Свободно и бесцеремонно разглядывал он минуты две-три прибывших женщин, затем пожевал губами и, обращаясь к бараку, спросил:

— Есть среди вновь прибывших врачи, медсестры, счетоводы или бухгалтеры, портнихи, поварихи? Можете подойти ко мне. Статью 581а и пункт 8-й просьба не беспокоиться, — уже с явной насмешкой добавил он.

Никто не тронулся с места, все молчали, как в рот воды набрав.

— Что? — он вскинул рыжие брови до самых волос так, что лба не стало видно. — Как? Ни одной приличной профессии? Все бляди, проститутки и прочие профурсетки? Ну и ну, — покачал он головой на толстой короткой шее. — Впервые вижу такой контингент…

Потом, подождав еще немного, он подошел к нарам и остановился около Эльзы, сощурив свои свиные глазки.

— И ты, крошка, не портниха-яниха? — он попробовал взять ее за подбородок. Та метнулась в сторону:

— Не имейте праф. Я эстонка!

— Ах, эсть-тонка! Где есть-тонка, там и рвется… Рванем, разок, а? — Толстые губы его расползлись в подобии улыбки.

Бедная Эльза в страхе забилась в самый угол на нарах. На ее счастье, он увидел в этот момент хорошенькую белокурую немку Гертруду Шрагер и оставил Эльзу в покое.

— А ты, милая детка, как тебя зовут-прозывают?

— Мой имя есть Хертруд, — прошептала она, чуть живая от страха.

— Как? Хер-трут! Ты мне хочешь сказать, малютка, что трешь хер. Это дело! Зайди ко мне после отбоя. Потрешь хер-трут дорогая….

«Если я сейчас же не подойду к нему и не скажу про театр, тогда конец! Угонят где Макар телят не пас», — быстро сообразила Надя, и глотнув для храбрости воздуха, решительно подошла к столу.

— Я артистка и прибыла сюда по спецнаряду, прошу меня направить в театр работать по специальности, — единым духом выпалила Надя.

— Что-что? — выпятив нижнюю челюсть с оттопыренной губой и насмешливо глядя на нее сверху вниз, прошепелявил он. — Ты артистка? Из погорелого театра приехала сюда?

Барак замер, предчувствуя недоброе.

— Да! Артистка! — запальчиво повторила она, вскинув вверх голову.

— А что ж такого-то? В натуре артистка. Я сама слышала, как она пела на Пресне, — заступилась Лысая.

— А! В натуре — в арматуре! Здравствуйте, жуки-куки! Ты тоже артистка, Жучка с пушистым хвостиком? Закон не мешает вам выступать? Думаешь и здесь гужеваться? Гужевка дней — корчевка пней?

— Прошу довести до сведения, куда надо, — настойчиво перебила его Надя, в душе поражаясь своей наглой смелости.

— Подь сюда, розанчик, — просюсюкало свиное рыло и, протянув руку, ласково потрепало Надю по щеке. Надя стерпела и это.

— Цыганочка, а? — Тату-да-лу-да-да, Чавеллы! — пропел он и притопнул ногой. Это уже был перебор. Вся кровь бросилась ей в голову, в глазах потемнело, бес прыгнул на плечо, ослепил ее и приказал «ату его!» И она, закипая гневом, закричала во» весь свой звучный голос:

— Как вы смеете так паясничать и измываться! Перед вами измученные люди. Полтора месяца мы тащились в скотском вагоне, ослабли от голода и холода, а вы, сытые, зажиревшие, издеваетесь над нами. Кто вы — звери-нелюди? Кто? Только не люди!:

— Я — Боря Ремизов, поняла? И скоро ты узнаешь на своей шкуре, кто я! — сказал он, с угрозой поднеся к самому Надиному лицу огромный кулачище с выколотой на нем змеей.

— Смотрю, хорошо гуляешь по буфету, Хряк! — выступив из тени дверного проема, сказала негромко Манюня Лошадь. — А ведь за тобой давненько колун корячится!

Словно ужаленный в зад, комендант быстро обернулся к двери.

— Это ты, Лошадь? Колун за мной? Так я тебя, падлу, раньше в тундру сактирую!

— Руки коротки у тебя, Хряк, я тебя не боюсь. А ты себя считай списанным не ныне завтра, пришел твой час. Помни, кто ты есть, и хвост не задирай! — зловеще проговорила Манька.

«Убьет он ее, — Надя онемела от ужаса. — Сейчас убьет!» Откуда ни возьмись вдруг около Маньки оказались рядом Лысая и Амурка, за спиной словно выросли еще блатнячки, не из Надиной теплушки. Как бы прикинув на глаз обстановку, Хряк

круто развернулся и вышел, не затворив за собой двери.

— Так-то лучше будет, — спокойно сказала Манька.

Надя, не отрывая глаз, смотрела на нее, поражаясь ее выдержке, спокойствию и даже откуда-то взявшейся красоте. Чуть прикрыв темными густыми ресницами свои выпуклые, лошадиные глаза, она была величественна, как королева, в своем уголовном царстве. Она не изменила своим воровским законам, не предала своих, не пошла за лишний кусок караулить себе подобных и угодничать перед начальством, поэтому смело могла рассчитывать на поддержку всего законного воровского кодла.

Пришла нарядчица Тоська фиксатая и приказала всем идти в столовую. От пережитого волнения Надя даже про голод забыла. В дверях ее остановила Тоська:

— Это ты артистка?

— Да, я! А что?

— Ничего! Чего ж ты в бане там целку из себя строила?

— А вы зачем унижаете людей! Вы ведь тоже заключенная! Вам что, доставляет радость видеть унижение наше?

Тоська от такого неожиданного натиска слегка потерялась и только сказала:

— Подумаешь, унижение! Лобок побрили! Событие какое! Ты еще лагеря не знаешь. Затопчут и ноги об тебя вытрут, тогда узнаешь унижение…

— Без сомненья, затопчите, такие, как вы! В Майданеке, у, немцев, вам служить, — негромко вставила Надежда Марковна. Но Тоська услышала.

— Ты, карга, не каркай! Мне через год освобождаться, а тебе десятку здесь жить. Пойдешь нужники в зоне чистить, да, кстати, и артистку с собой на пару возьми, пусть показывает эквилибр на толчках.

— Недолго тебе на воле гулять, опять сюда приедешь! — крикнула Бируте.

— А, ну, пропадлы, позатыкайте хавальники. Сказано, в столовку идти! Развонялись тут! Шобла! Опоздаете, ждать не будут.

— Столовая чище, чем можно было ожидать, и миски к рукам не липнут, — отметила Надежда Марковна.

— Еще и второе дают: овсянка без воды.

— Каша! — поддержала Ольга Николаевна.

— У такого коменданта зеки, видно, языками полы вылизывают, — недобро засмеялась Бируте и подмигнула Наде. — Видать, «человеком не родился!».

Уборщица, старая, неопрятная женщина, собирая со стола пустую посуду, презрительно фыркнула:

— Обрадовались! Это только на пересылке лучше кормят, — и уже более миролюбиво добавила: — Начальства с Москвы боятся.

— Болтай, старая перечница, агитацию разводишь! — крикнули ей с раздатки. Старуха подхватила целую гору мисок и мигом скрылась.

— Всем в барак и ждать меня! Приду, зачитаю разнарядку на завтра, — приказала с порога Тоська-нарядчица и бегом за следующей партией на кормежку.

— Успеется в барак, авось без нас далеко не уедет. Пойдем по прешпекту прошвырнемся? — предложила Лысая Наде.

— А можно?

— Не боись, под зад не поддадут!

Общая зона оцепления с предзонниками и вышками казалась огромной. Бесконечно, сколь видел глаз, теснились длинные низкие бараки, до самых крошечных окон занесенные снегом. Вдоль бараков тянулась хорошо расчищенная дорожка. За последним бараком, отгороженная несколькими рядами колючей проволоки, начиналась мужская зона, а за ней опять бараки и вышки. Яркий свет многочисленных прожекторов на вышках, на столбах, над воротами вахты позволял хорошо рассмотреть зону, и Надю не покидало чувство, что все это она давным-давно видела. То ли во сне, то ли наяву.

— У немцев собак было больше — овчарок, — сказала Лысая..

— А ты почем знаешь?

— В кино видела. Бухенвальд—Майданек—Освенцим.

— Верно, верно, — согласилась Надя. — А я-то все думаю, откуда мне помнятся эти вышки, да проволоки с колючками… Точно, как в кино! Только газовых камер нет!

— Тут зеков берегут! Кто еще на даровщину — за пайку да черпак баланды в шахтах иль на известковом вкалывать станет?

— Рабский труд непроизводителен! — вспомнила Надя из истории.

— Жрать захочешь — никуда не денешься, начнешь производить.

— Да-а… — невесело протянула Надя.

В бараке на нарах остался ее отощавший вещмешок. Под ложечкой остро закололо, но она постаралась быстро отогнать напрасную мысль о еде.

— Все! Дальше мужики. Наша республика закончилась, айда обратно! — повернулась Лысая, когда они уперлись в натянутую в несколько рядов проволоку.

— Эй, девчата! — окликнули их со стороны мужской зоны. — Ксивенку передайте в пятый барак, Машке Хромцовой!

— Валяй, кидай! — крикнула Лысая.

Маленький бумажный шарик, подхваченный встречным потоком ветра, не полетел далеко, упал, едва перелетев огражденье.

Надя бросилась было поднять его.

— Назад! — раздалось с вышки, над самой ее головой. — Назад! Стреляю!

Со страху она чуть не свалилась с ног.

— Бежим отсюда!

— Что передать-то, я зайду! — оборачиваясь на бегу, пообещала Лысая.

— Скажи ей, Андрюха завтра на этап…

— Назад! — снова заорал с вышки вертухай и дал предупредительный выстрел в воздух.

— Рви когти, следующий в нас! — подхватилась Лысая. Пробежав немного, они остановились.

— Куда, он сказал, этап? — запыхавшись, спросила Надя. — Я не расслышала.

— А, — махнула рукавицей Лысая, — не все ли равно! Кажется, в Норильск, точно не разобрала, проклятый вертухай!

Навстречу им по дорожке от вахты быстрыми шагами шли трое: офицер с двумя сержантами. Офицер нес в руке пачку бумаг и, поравнявшись, строго окинул их взглядом, но ничего не сказал.

— Куда это они намылились с формулярами? — Лысая остановилась. — Давай позекаем…

Вертухаи прошли в один из последних бараков.

— Ни фига интересного, пойдем, у меня уже ноги околели.

Еще постояв немного, они уже повернули было к себе в барак, но тут же замерли и остановились как вкопанные. Из барака, куда только что нырнули охранники, раздались душераздирающие вопли.

— Что это? Что это? — Надя вцепилась со страху в руку Лысой…

— Не знаю, сама не знаю! — не своим голосом прошептала Лысая. — Давай притыримся в сортир, оттуда видно будет, и нас не прогонят если что? Скажем, по надобностям.

И в самом деле, если аккуратно примоститься между пирамидами замерзшего до полуметровой высоты дерьма, в выдранную заднюю доску можно было наблюдать за происходящими событиями.

Было видно, как из дверей барака, гуськом, по одной, вышлю четыре женщины с маленькими детьми на руках, кроме того каждая несла по небольшому узелку, и все нестерпимо выли, кричали, плакали и сыпали проклятия, непонятно, в чей адрес. От

испуга, наверное, дети тоже надсадно орали.

— А… вот что! Это у мамок детей забирают — вот они и бесятся! — догадалась Лысая.

— Зачем?

— Зачем? Так надо! Побыли до года с мамашами, а теперь их в детприют. Хватит! Погужевались, теперь и вкалывать пора, — не без злорадства заключила Лысая.

Из барака в распахнутом бушлате выскочила Тоська. На ходу застегивая пуговицы, по дороге заскочила в уборную.

— Чего по зоне болтаетесь! А ну марш в барак!

— Что же, теперь и на двор сходить нельзя? — попробовала возразить Надя.

— Пошла ты!.. — Матерно ругнулась ей вслед Лысая.

Но Тоська уже была у вахты, рывком дернула дверь, и на секунду в проеме можно было видеть, что там, по ту, свободную сторону вахты, стоит автобус с шофером, а около открытой двери две женщины в белых халатах и вертухай. Туда же, на вахту, завели гуртом женщин с детьми и захлопнули дверь. Некоторое время ничего не было видно, только раздавались крики женщин и перебранка грубых мужских голосов.

— Пойдем! — дернула Надя за рукав Лысую. — Уже все…

— Не-е, смотри дальше, только начинается! Гляди!

Дверь вахты открылась, и одна из женщин с порога свалилась прямо в снег и с воем стала колотиться головой о ступени.

— Она убьется насмерть! — вскрикнула Надя.

— Молчи, придурочная! Ничего ей не будет! — злобно прошипела Лысая. — Смотри лучше!

С вахты выскочила Тоська и пнула женщину валенком в бок, затем подняла ее и, бранясь по-матерному, погнала в барак.

— Гляди, Хряк бежит!

Тем временем вторая прямиком от двери кинулась к предзоннику и уцепилась руками за проволоку.

Хряк одним прыжком схватил ее за шиворот и бросил в сугроб, как пустой мешок. Но женщина тут же снова поднялась и кинулась на проволоку. В ярком освещении прожекторов Надя увидела на миг ее лицо, искаженное не то страданьем, не то гневом. Платок сбился у нее с головы, и космы спиралями рассыпались по плечам. Но и в таком виде она показалась Наде молодой и привлекательной. Хряк, теперь уже вдвоем с Тоськой, старался отцепить ее от проволоки, при этом комендант одной рукой нещадно молотил несчастную по спине и голове. Вертухай с вышки выстрелил в воздух, и Тоська с Хряком отскочили.

— А, гадье, испугались! — злобно пробормотала Лысая.

Однако женщина не только не испугалась, а как раз наоборот,

истошно закричала вертухаю:

— Убей, убей меня, Христа ради, — и что было силы затрясла проволоку. С вахты выскочил офицер и, полный ярости, что-то приказал Хряку. Хряк и Тоська бросились с остервенением отдирать от ограждения женщину.

В уборную заскочила молодая девушка и тоже припала к щели, интересно ведь.

— Во, сука, упорная! Забьют ведь до смерти! — без тени сочувствия воскликнула она.

Но видно, что силы оставили беднягу, и Хряку удалось оторвать ее скрюченные пальцы от проволоки предзонника. Тоська, подхватив под руку, поволокла по зоне.

— Глянь, в кровь руки разодрала, чума болотная! — сказала Лысая.

Тем временем с вахты вышла еще одна «мамка». Но Хряк был уже на стреме — сразу же, не давая опомниться, подхватил, и она покорно поплелась к бараку, всхлипывая и причитая:

— О…о… мой маленький… сыночек!

— Молодчага вертухай! Ведь он мог пристрелить ее, тики-так! Его право!

Надя промолчала, не стала спорить, по какому праву вертухай с вышки мог застрелить несчастную мать, только сказала:

— Пойдем, я больше не могу!

Руки и ноги ее окоченели, но холода она не чувствовала, в душе был только ужас, ужас! Теперь она твердо знала: сколько бы ни пришлось ей быть в лагере, никогда, никогда, ни один мужчина…

— Да! Не скоро эти детки увидят своих мамаш! — как бы угадав Надины мысли, сказала Лысая.

Вонючий барак обдал их запахами махорки, нечистых женских тел и еще чего-то мерзкого. Из сушилки тянуло тошнотворным запахом мокрых валенок, ватных брюк, чуней и бушлатов, всем, что одевают на работу зечки и сушат, приходя в барак, мокрые от снега.

— Хоть топор вешай — не упадет, — презрительно фыркнула на весь барак Лысая.

— Мать моя женщина! — раздалось откуда-то с верхних нар. — Кто ж эти крали? Откуда взялись?

— Явились, не запылились! От мужичков небось в заначку ходили? Подайте им противогаз, им дышать нечем!

— Вы куда пришли-то? Аль в парфюмерный магазин? Вот вам и «Тэже», нюхай весь, еще есть, — засмеялась старуха-дневальная, ощерив беззубый рот.

— Хреновина старая! Проветривать барак полагается, а не на нарах вонять, — посоветовала Лысая.

Возмущенные зечки загалдели на разные голоса. Надя поспешила на свой нары, где оставила свой «рюкзак», но с огорчением увидела, что место ее занято, а мешка нет.

— Извините, тут мешок мой оставался!

— А! Это ты, малолетка? Мешок твой я под голову, вместо подушки, определила, — поднялась с нар Манька Лошадь. — Да ты садись. Хочешь, кипяток в котелке, погреться? — добавила она вполне миролюбиво.

Надя сняла несчастное пальто с кожворотником и искалеченными застежками и присела на край нар.

— Где это вы с Лысой колобродили? Иль правда к мужикам лазили?

Надя передернулась от отвращенья.

— Смотрели, как у мамок детей забирают…

— Охота была! Небось, рев стоял?

— Конечно, плакали, ведь дети же, жалко!

— Жалко у пчелки! Чего им будет? Вырастут! Сколько их в детприютах!

— Вырастут, конечно! А чего хорошего в детдоме?:— вспомнила Надя вечно голодных детдомовцев, что учились с ней в малаховской школе.

— Хорошего мало, да куда денешься? Я сама детдомовская, по себе знаю! Да ты чего шары-то на меня выкатила? Точно тебе говорю!

— Что ж, у тебя ни отца, ни матери?

— Ни матери, ни отца, ни прохожего молодца! В тридцать седьмом я враз осиротела и в детдом попала.

— Умерли? — посочувствовала Надя.

— Сгинули в одночасье! В ночь пришли энкевадешники и обоих увели, да еще всю квартиру вверх тормашками перешуровали. Мы тогда в Москве жили, в Малом Кисловском.

— И ты больше их не видала?

— Не, — мотнула головой Манька.

— За что ж их… обоих сразу? — а про себя подумала: «Родители воровки, должно, тоже воры».

— За что? Я и сама не знаю… В ту ночь чуть не полдома охолостили, только успевали машины подъезжать..

«Полдома — это не воры», — решила Надя.

— А кто был твой папа?

— Отец у меня военный был, четыре шпалы носил.

Надя задумалась, вспоминая своих соседей Триумфовских и то, что давно слышала краем уха о том 1937 годе.

— Как врагов народа, наверное…

— Пошла ты… — матерно выругалась неожиданно Манька. — Дура набитая! Я с тобой как с человеком говорю; а у тебя в башке одни «враги народа».

На минуту Надя опешила, не понимая, чем обидела Маньку.

— Извини, Маня, я не хотела тебя обидеть…

— Так! Слушать всем, прибывшим с этапа, разнарядку на завтра! — заорала во всю мочь с порога Тоська: — На расчистку путей всего десять человек, на разгрузку платформы с балластом двадцать человек, на разгрузку угля двадцать пять человек, на кухню три человека. Кто болен, берите освобождение в санчасти, за невыход на работу — бур.

Дальше Надя уже не слушала. Ее фамилию назвали в числе человек на разгрузку балласта.

— Что это, балласт? — спросила она.

— Бери больше — кидай дальше, — вот и вся наука, — объяснила, смеясь, маленькая воровка, которая ехала с Надей от самой Пресни. Звали ее, кажется, Аннушкой.

— Вот тебе на! — огорчилась Надя. — А театр? Почему же никто не спросил меня?

Подошла Лысая:

— Тебя куда?

— Не знаю, на какой-то балласт!

— Тю! — присвистнула Лысая. — А как же твой театр?

— Не знаю! — чуть не плача с досады, проговорила Надя.

— Ты вот что! — зашептала Лысая прямо в Надино ухо. — Если не хочешь завязнуть на общих, завтра на работу нипочем не выходи!

— А бур? Бур какой-то!

— Ты стой на своем! Говори, что прибыла по спецнаряду, работать по специальности в театре. Поняла?

— И не пойду, — тряхнула головой Надя.

— В карцер отправят. Не хошь? — подала с нар голос Манька.

— И пусть!

— Во, дура-малолетка, не знаешь, что такое, с чем едят. Будет тебе не театр, а цирк.

— Пускай! — упрямо повторила Надя. Она действительно не имела ни малейшего представления, что такое бур, карцер и прочие всевозможные лагерные наказания, а то наверняка не была бы так строптива.

Утром с бригадой на разгрузку балласта она не вышла. После развода Тоська пулей ворвалась в барак и набросилась на Надю.

— Ты чего себе думаешь? Почему на работу не вышла?

— И не пойду! — как можно спокойнее ответила Надя, не

позволяя «бесу обуять себя». — Я приехала работать по спецнаряду в театр, вот!

— В театр захотела! — возмущенно завопила на весь барак Тоська. — А в бур тебе не желательно?

— Я не знаю, что такое бур, — так же, не теряя самообладания, произнесла спокойно Надя.

— Не знаешь? Ну, узнаешь! Я уж позабочусь! — и она вихрем вылетела из барака.

Подошла дневальная.

— Ты, девка, зря так заводишься: бур — это «барак усиленного режима», и не приведи лихая сила туда попасть. Не таким оторвам, как ты, роги сбивали. Попадешь, слезами горючими умоешься.

— Пусть, все равно не пойду, — упрямо заявила Надя. Она уже продумала все дальнейшие ходы. Если не в театр, пусть подохну в карцере или буре, где, как она слышала, по полу и по стенкам течет вода и есть дают на целый день штрафную пайку— 300 граммов. Весь срок среди такого отребья, так лучше заболеть и умереть. Горестные ее размышления были прерваны появлением коменданта Бори Ремизова. Поскрипывая на ходу начищенными сапогами, он подошел к дневальной, что-то спросил у нее и, вскинув голову, окинул взглядом весь барак. Старуха с угодливой готовностью указала на нары, где сидела, пригорюнившись, понурив голову, Надя и мысленно оплакивала свою судьбу, а главное, необдуманное решение с просьбой в Воркуту. Она не знала, да и откуда? Что Зинаида Федоровна пробилась на прием к начальнику Гулага товарищу Наседкину и как жена погибшего фронтовика, да еще к тому же героя, просила его слезно помочь дочери, что он и сделал без труда, уважив единственный раз просьбу родственников заключенных. Охотников добровольно ехать на Север не было, а мать Нади и слыхом не слыхала, что такой за город Воркута.

— Артистка! К начальнику! — скомандовал он.

— Куда это? — спросила Надя, не поднимая головы.

— Вставай! Иди за мной!

Они долго шли по территории пересылки, и опять Наде казалось, что все это она давным-давно видела: и бараки, и зону с предзонниками, опутанную двумя рядами колючей проволоки, и вышки, и собак, и разводящих по вышкам вертухаев. Только вместо немца ее вел уголовник-комендант Борис Ремизов, правая рука начальства.

Дом, в котором помещались лагерные боги, внешне мало чем отличался от остальных бараков, зато внутри было чище и пол покрыт красной дорожкой. Пройдя длинный коридор, комендант

открыл дверь и пропустил Надю. В маленькой комнатке помещалась секретарша начальника.

«Вольная», — догадалась Надя, судя по тому, как почтительно, по имени-отчеству назвал ее Боря Ремизов.

— Сейчас спрошу! — бабочкой порхнула она из-за стола и скрылась за обитой клеенкой дверью, вильнув обтянутым в коротенькую юбчонку задом.

— Проходите! — сказала она, появившись через минуту.

В большой продолговатой комнате с двумя печами было тепло и сильно накурено. Надя успела рассмотреть длинный стол с множеством стульев и в конце его еще один письменный стол, поставленный поперек, в виде буквы «Т». За столом сидел майор в кителе, увешанном наградными колодками.

— Вот, гражданин начальник, — елейно пропел комендант, толкая Надю в спину, — привел саботажницу! Отказалась выйти на работу!

Майор с минуту рассматривал Надю свинцовым взглядом, как бы пригвождая ее к полу, и, наконец, изрек:

— Судить тебя будут.

— Что? — не поняла она.

— За саботаж судят.

Этого она не знала и изрядно струсила: «Еще не хватало!»— но виду не показала и продолжала стоять столбом, призвав все свое мужество.

— Поняла, что ли? Судить будут! — повторил он, повысив голос.

— За что?

— За отказ от работы!

— Я не отказывалась от работы!

— Как так не отказывалась? Вот рапорт нарядчицы.

— Я вовсе не отказывалась, — еще раз повторила Надя. — Просто я прибыла сюда по спецнаряду для работы в театре, — не моргнув глазом, соврала она, точно как ее подучила Лысая. «Стоять на своем».

— По какому еще спецнаряду? Ну-ка, принеси ее формуляр! — приказал он коменданту.

— Мне в руки не дадут, — поспешил сказать Боря Ремизов, и сладкая улыбка озарила его лицо.

Надя с отвращением дернулась: «Экий добрячок-угодничек, свиное рыло!»

— Да, верно! Скажи Лидии Кирилловне.

Комендант вышел, и сразу все переменилось. Майор поднялся, отодвинул стул и подошел к Наде.

— Откуда прибыла? — спросил он голосом с вполне

человеческими интонациями, разглядывая ее без тени злобы, а скорее даже с подобием любопытства.

— Из Москвы.

— Жила там?

— Да.

— Работала? Училась?

— Училась в консерватории, — бойко врала Надя, нисколько не стесняясь: «Мы для них нелюди. Они для нас так же. Значит, все позволено».

Секретарша принесла формуляр, майор внимательно пробежал глазами страницы, перевернул какие-то листочки-вкладыши.

— Нет тут никакого спецнаряда. Вот твое заявление начальнику Пресни за его подписью, и все.

— Значит, потеряли, полтора месяца тащились, могли потерять.

— Ты мне бомбочки не ввинчивай, — внезапно рассвирепел он. — Я гусь стреляный, таких артистов перевидал тьму! Пойдешь на общие пока, до выяснения, сделаем запрос, — уже более миролюбиво закончил он.

— Не пойду! Я простыну, голос потеряю на холоде и петь не смогу.

— Видал? — обратился он к кому-то за ее спиной. — Голос потеряет! На курорт приехала!

Тут только она обернулась и заметила у печки военного в белом полушубке. Он сидел, заложив ногу на ногу в мохнатых пимах, и держал на колене шапку-ушанку.

— За что срок получила? — строго спросил он.

— Ни за что!

— Ну, это ясно — ни за что, ни про что, старая песня! А все-таки, в чем обвинялась?

— По наговору, я ни в чем не виновата! Военный даже засмеялся и покрутил головой:

— Вот ведь, как один, и все не виноваты, кого ни спроси. Он подошел к столу.

— Разреши, товарищ майор, взглянуть, чего своровала? Прочитав Надин формуляр с обвинительным заключением, он стразу построжал и нахмурился.

— Ишь ты! По наговору, скажешь ведь! Человека убили…

— Не убивала я никого!

— Может не убивала, помогала убивать, наводчицей была! А?

— Нет, нет, знать ничего не знала, — возмутилась Надя, еле сдерживая уже готовые брызнуть слезы.

— Что ж, ошиблись судьи? — усомнился майор. — Такого не

бывает!

За долгие годы работы в системе лагерей он как раз больше других знал, что так есть и так бывает. Но то касалось не этой, а другой статьи, пострашнее убийства. И, должно быть, было в облике этой девушки, по-ребячьи глупой, что-то, что заставляло сомневаться, и майор внезапно смягчился.

— Вот ты заявление написала, просишься работать по специальности, в театр, а вашего брата туда больше не требуется.

— Не требуется? Как так не требуется? — не поверила Надя.

— Так вот и не требуется! Какие были, всех в зону списали. Даже примадонну Ищенко и ту не оставили. Одни вольнонаемные теперь будут артисты.

Это был удар под дых, устоять на ногах невозможно, и Надя почувствовала, что колени ее вроде как сломались и не стали держать ее. Она бессильно опустилась прямо на пол. Потом, спустя долгое время, Надя узнала, что майор обманул ее. Из театра действительно отправили в зону артистов, судимых по статье 58-й, но уголовный элемент не тронули.

— Вставай, нечего валяться. Вот товарищ капитан с женского лаготделения приехал. Ему нужна экспедитор с малым сроком в хлеборезку.

— Пойдешь? — спросил капитан. — Полсрока отбудешь, расконвоируем. За зону ходить будешь. А петь да плясать в самодеятельности можно. У нас хорошая самодеятельность, правда, одни бабешки, и те политические.

— А чего с ними лялякать? Незачем! — вставил свое слово майор.

— Ты как по части политики? Подкована? А то живо сагитируют и в свою веру обратят — они такие! — предупредил капитан.

«Что такое хлеборезка?» — судорожно старалась припомнить Надя. — «Где-то слышала вроде, надо бы спросить». Но не посмела. Не возьмут еще.

— Пойду! — согласилась она, а про себя подумала: Хоть куда пойду, только бы не оставаться здесь, не видеть Тоську-нарядчицу и татуированного дикаря Ремизова.

— Только вот что, предупреждаю сразу: за недостачу срок намотаю, без жалости. Воровства не потерплю, ясно?

— Ясно!

Стыдно было до слез за такое предупреждение. Обругать бы его, этого капитанишку, последними словами. Но ничего не поделаешь, «всяк сверчок знай свой шесток».

— Тогда формуляр ее я забираю, а вы уж не забудьте распорядиться документы ее оформить, — обратился капитан в

пимах к майору, а затем Наде:

— А ты, как тебя там? Михайлова, марш в барак за вещами и быстро к вахте.

Вещей не было, один пустой мешок с зубной щеткой. И прощай пересылка, Манька Лошадь, Амурка, Лысая и голубоглазая Гражоля Бируте.

— Где же вещи? — спросил капитан, завидев ее.

— Нет у меня вещей. Пропали в дороге.

— Эх ты! Горе-грабительница! Что ж себя обидеть дала?

Надя промолчала.

За воротами вахты стоял грузовик, и капитан приказал ей лезть в кузов, что было совсем нелегко. Спасибо, шофер подсобил и, уже залезая в кабину, где устроился капитан, крикнул Наде:

— Там брезент лежит, ты набрось на себя, а то просвистит, не очухаешься! — И покосился на ее пальто с облезлым воротником и исковерканными пуговицами.

Ехать пришлось через город, и Надя с любопытством посматривала по сторонам. Прочитала на одной улице, в самом центре на доме: «Комсомольская улица». Слева на здании: «Горный техникум», справа гостиница «Север». Строения смешные, с колоннами, шпилями, и все какое-то ненастоящее, словно из фанеры слеплено. Народу немного, и все спешат кто куда, видно, мороз, подгоняет. Выехали за город. В окрестности ни деревца, ни кусточка, снег, снег, куда ни взглянешь, только на горизонте островерхие, черные пирамиды стоят — пустынно, уныло, и ветер такой, что хоть ложись на дно кузова. Так и сделала: улеглась на дно машины и укрылась брезентом с головой — вроде потеплее стало. Капитан выглянул из кабины в окошко, не увидел ее и остановил машину.

— Эй, где ты там? — встревоженно крикнул он, вставая на колесо и приподнимая брезент.

— Здесь, — отозвалась Надя, едва шевеля окоченевшими губами.

— Потерпи, уже скоро.

«А ведь тоже человек! Сочувствие имеет!».

Ей и в голову не могло придти, что за нее, в случае побега, капитан распрощался бы со своим партбилетом. А что за офицер войск МВД без партбилета — ноль! Машина рванулась и поехала быстрее, хотя лучше от этого и теплее не стало. Больно ударяясь боками по дну кузова на кочках, Надя наивно утешала себя, думая, что капитан приказал шоферу ехать быстрее, чтоб она не простудилась. В самом деле, у капитана, возможно и была такая мысль — кому нужна обмороженная зечка с воспалением легких? Он и так нашел с трудом уголовницу с малым сроком, лицо

которой не вызывало опасений. Ведь не расконвоируешь политическую (а ими теперь заполонили Воркуту) со сроком самое малое 10 лет? В то же время, поставь в хлеборезку такую, политическую, хоть хлеба не разворует, зато и за зону не выведешь. Тогда нужен экспедитор, рабочий погрузки, а им, вольнонаемным, зарплату плати, и 8-часовой рабочий день, и северные надбавки, и двойные отпуска. А уголовница — это удобно! И срок детский, и что убийца, тоже лучше, чем воровка, по крайней мере, хлеб и сахар воровать не будет.

Лагпункт, куда привезли Надю, ничем не отличался от пересылки: те же бараки, собаки, предзонники с вышками и даже вахта с пропускными воротами точь-в-точь та же. Проект один. Разница была только в названии, этот назывался «Кирпичный завод № 2». Потом она узнала, что кирпичных заводов в Воркуте два, и находились там одни женщины, осужденные «за политику». «И слава Богу! Мужчины арестанткам не нужны, а что «контрики», так это еще лучше, хоть воровать и материться не будут», — обрадовалась Надя.

Капитан с ее формуляром в руке прошел с ней на вахту.

— Посиди здесь, я документы оформлю, — и дежурному сержанту по вахте: — Пусть здесь побудет, присмотри! — приказал.

В маленькой прокуренной вахтерской было тепло.

— Сядь здесь! — указал ей на лавку молодой вахтер со строгими глазами и злым ртом. — Да не очень пыли, своей грязи хватает, — добавил он, увидев, что Надя сняла с головы платок.

На вахту зашли две молодые женщины, обе в полушубках с лычками сержантов, покосились на Надю. Вахтер набросился на них с бранью:

— Опять опаздываете! Бригады на подходе. Я, что ль, за вас принимать должен!

— Успеется, не ори, не убегут, все туточки будут, — огрызнулась одна, что постарше, и обе не спеша вышли к воротам. Бешено залаяли собаки, и к вахте подошла колонна женщин в сопровождении конвоиров. Все, как одна, были одеты в бушлаты поверх телогреек, валенки, на головах ушанки или платки. Многие совсем молоденькие и, как показалось Наде, красивые. Вахтер отворил ворота, и женщины в полушубках стали по одной щупать и обыскивать подошедших. Они деловито и усердно заглядывали и выворачивали карманы, лазили руками под телогрейки и платки, с некоторых снимали шапки, а двух заставили скинуть и потрясти валенки. Битых полчаса осматривали и ощупывали, не успели пропустить одних, как уже подходила другая такая же туча людей. Была уже ночь, но

множество огней и прожекторов прекрасно освещали зону, помогая обыскивать, щупать, шарить по карманам, хотя ни одна из них ничего на нашла.

— Разобраться по пятеркам, марш в зону! — скомандовал лейтенант и начал считать: — Пять… десять… — пропуская озябших женщин. У ворот толпились военные, все внимательно считали проходящих. Не приведи Бог ошибиться, тогда всю колонну возвращай обратно и начинай считать сначала. То ли ошибка вышла в счете, то ли… а вдруг побег?

— Сколько же людей! — невольно вырвалось у Нади. Сержант обернулся и вскинул голову, словно горд был доверенным ему постом:

— Тебе сидеть приказано, а не глаза таращить!

— За какие же грехи столько людей мучается? — вслух задала себе вопрос она, вспомнив этапы, пересылки и мамок, навсегда засевших в ее памяти.

— За преступления против Советской власти! — злобно сверкнув глазами, ответил вахтер и демонстративно повернулся спиной. Не положено с з/к говорить.

Капитан долго не возвращался, и Надя, привалившись спиной к горячей печке, пригрелась и задремала. И враз увидела отца и Алешку. Они идут берегом Малаховского озера, как в тот выходной день, последний, перед войной. У Алешки удочка и небольшое ведерко. «Для лягушек», — дразнит его отец, все знают, что никакой рыбы Алешка не словит, но удочка берется для важности. Солидно идти с удочкой! Всем им очень хорошо и радостно. Солнышко печет из всех сил, и его тепло Надя чувствует на своих плечах и спине.

— Сгоришь, — говорит отец не своим голосом.

— Нет, мне хорошо, — ответила Надя и вдруг сообразила» что это вовсе не отец.

Перед ней стоял капитан.

— Подымайся! Пойдешь на место, — строго приказал он.

ХЛЕБОРЕЗКА

Есть многое на свете,
Друг Горацио
Чего не снилось нашим мудрецам.

Шекспир, Гамлет

Крошечный домик, сложенный из старых шпал, похожий на сказочную избушку на курьих ножках, и значился хлеборезкой. На крыльце Надя споткнулась и чуть не упала, — доска ступени оказалась неприбитой, ржавый гвоздь торчал на целый вершок.

«Плохой признак споткнуться, входя в дом. Отощала, ноги не держат», подумала она. По двери словно ногами колотили. Клеенчатая обивка прорвалась по низу, и оттуда грязными клочьями висела не то вата, не то пакля. Дверь вела в такой же крошечный тамбурок (без тамбура на Севере нельзя), а уже из него — дверь в хлеборезку с полками для хлеба и столом для резки. Прямо над столом — небольшое окошко для подачи лотков с хлебом из хлеборезки в тамбур. Вход в хлеборезку посторонним категорически запрещен, пояснил капитан. Называть его надо было гражданин начальник ЧОС (часть общего снабжения). Надя мысленно улыбнулась, вспомнив безобразную песню, что пела Пионерка про ЧОС в голове и УРЧ в животе (УРЧ — учетно-распределительная часть). Внутри домик, как и снаружи, выглядел довольно неопрятным. Стены давно не беленые, штукатурка кое-где обвалилась, пол затоптан и давно не мыт. В дальнем углу помещалась большая печь. Дощатая перегородка отделяла затоп печки от самой хлеборезки, образуя как бы закуток, где стоял прибитый к перегородке топчан с матрацем, набитым сеном, и столик на одной ноге, тоже приколоченный к стене. Там Наде надлежало спать. Въедливо и скрупулезно гражданин начальник ЧОС долго объяснял Наде ее обязанности, которых оказалось немало. Каждое утро к 5-ти часам утра, к подъему, она должна была нарезать хлеб на пайки для утренней смены и к 9-ти утра для смены, работавшей в ночь. Все пайки должны быть заготовлены соответственно реестру, который поступал из бухгалтерии и обозначал количество паек и их вес. На тяжелых работах кирпичного завода (гофманки, горячие цеха) — 700 г, работяги за выполнение нормы — 600 г, доходяги и в зоне — 500 г, штрафные — 300 г. Кроме того, раз в месяц развесить по 200 г сахарный песок. Каждая бригада должна получить свой лоток с хлебом до завтрака. После раздачи полки и

лотки, где лежал хлеб, тщательно мылись и скреблись стеклом или, судя по запущенному помещению, должны были быть вымыты и вычищены. Когда же все было приведено в надлежащий порядок, нужно было вычистить печь, да так, чтоб вставить часть горящего угля, выбрав только шлак, и заново засыпать углем. Потом ждать привоза хлеба, чтоб опять начать все сначала. Капитан посоветовал начинать резать хлеб с вечера, иначе можно не успеть к подъему. Ведь каждую пайку надобно точно взвесить, а довесок, который обязательно окажется, посадить на лучину и воткнуть в хлеб. И не дай Бог, чтоб грамма не хватило или был лишний! Снабженец выразительно выкатил глаза и предупредил:

— Смотри! Сам буду проверять, если что…

В первый же день Надя сама осталась без хлеба: не хватило. Смахнула со стола крошки на ладонь и съела. Спасибо, в столовой раздатчица Люся Тупицына не поскупилась на овсянку. На следующий раз остался лишний кусок граммов в 25, не больше. Перепуганная Надя поспешила проглотить его, как только захлопнулось окошко за последним бригадиром. Каждую ночь, а иной раз по два раза в ночь являлось в хлеборезку дежурившее лагерное начальство, брали из лотков приготовленные к раздаче пайки, взвешивали, бросая на весы, проверяли чистоту полок, лотков и все, к чему можно было придраться. Начальник режима, пожилой, с нездоровым испитым лицом, вдобавок ко всему доставал чистый носовой платок и проводил им по полкам, в поисках пыли, но, не обнаружив никаких огрехов, говорил, направляясь к двери:

— Ничего, ничего, старайся, старайся!

Надя не могла отказать себе в удовольствии злорадно показать язык его спине. Были и огорчения. Пальцы ее рук в первую же неделю покрылись кровавыми волдырями, и, несмотря на великую усталость, заснуть от боли в руках и пояснице она не могла. Превозмогая боль, с трудом поднималась и резала свои пайки до полного отупения. Со временем волдыри затвердели и стали мозолями, жесткими и твердыми, как подошва у страуса. Если это не был каторжный труд, то, во всяком случае, очень тяжелый. Казалось ей тогда по наивности или по глупости, что она сама выбрала свою участь, дав согласие работать в хлеборезке, но довольно скоро убедилась, что это не так. Капитан ЧОС, начальник снабжения этого лагпункта, приехал на пересылку именно за бытовичкой-малосрочницей для работы в лагере особого режима, которые по личному указанию товарища Берия только начали образовываться в Воркуте. Так называемые спецлагеря имели каждый свое кодовое название. Воркутинский назывался почему-то Речлаг, должно быть от речки Воркуты, по

берегам которой разбросаны были многие лагпункты. С осени 50-го года речлаговцам вменили обязательное ношение номеров на шапке, на спине платья, телогрейки или бушлата, смотря по сезону, а также на подоле юбки или платья и на штанине. Кроме номера нужно было носить на рукаве знак Речлага, небольшой, чуть меньше чайного блюдца, кружок с буквой «Р» внутри кружка, намалеванного по трафарету белой масляной краской. Несмотря на особенно строгий режим, как, например, запирание бараков после отбоя, переписка только с родными два раза в год, без зачетов и расконвоирования и еще кое-какие строгости, такие лагеря имели и свои преимущества. Во-первых, там не содержались уголовники. (Политических стало такое множество, что они могли разложить уголовников, как сказал капитан, «обратить в свою веру», что было опасно). Те посылки, которые зечки получали от родных и близких, съедались не наглыми блатнячками, а самими. Во-вторых, разделены были лагпункты на женские и мужские, что было тоже хорошо. Не было семейных трагедий, а детприюты не получали пополнения. На что могла рассчитывать женщина-каторжанка или заключенная со сроком 10–15, 20–25 лет? Могла ли надеяться увидеть дитя свое? Было это вполне по-человечески в том нечеловеческом мире. И, конечно же, совершенно другое общество. Интеллигентные и простые, аристократки и крестьянки, русские, украинки, белоруски, литовки, немки, латышки, эстонки, еврейки, польки, венгерки, румынки, молдаванки, грузинки, армянки — словом, полный Интернационал, «Ноев ковчег — каждой твари по паре», как сказала бы тетя Маня. И еще другие всякие нации, о которых Надя и слыхом не слыхивала, что такие есть на белом свете. В бараках не слышно матерщины, можно спокойно заснуть, не тревожась, что из подголовья уволокут последнее.

Со временем, когда Надя наловчилась быстро управляться с хлебом и хлеборезка не казалась такой трудной, она вспоминала этап и пересылку как кошмарный сон. На первых порах хлеб ей привозили, но в конце ноября женщина-возчик, тоже бытовичка, освободилась, и Наде предстояло ездить за хлебом на пекарню самой, с конвоем. Любопытно было выбраться за зону, интересно посмотреть, хоть в это время смотреть особо нечего. Далеко вокруг, куда ни кинь взгляд, все снег да снег, голая равнина, а может, и не равнина, да только под снегом все, лишь вдали где-то на горизонте протянулись цепочкой горы. Урал. Бежать некуда. Убежишь — замерзнешь. Кое-кому, может, это и лучше, чем 20 лет по зонам мотаться, но Наде мысль бежать, замерзнуть, быть убитой во время побега и в голову не приходила. Убежишь, а куда денешься? Без денег и паспорта кому нужна? Молодые, красивые

женщины, ничем не хуже ее, Нади Михайловой, терпеливо работали и жили, даже смеялись и шутили, значит, надеялись на что-то. Вот только на что? Зачетов политическим не было, амнистий тоже. Если только на скорый конец света, но в Бога Надя не верила, пионеркой была, Библию не читала, не учат этому в школе» наоборот, «религия — опиум для народа», — учил Ленин.

Теперь каждый день к 3 часам дня к вахте приводили лошадь, и она в сопровождении конвоира, кривоногого малыша, чуть повыше Надиного плеча, отправлялась на пекарню. Некая злоязычная зечка прозвала малыша «Пятницей», «за высокий уровень интеллекта», — прозвище прилипло намертво, и бедняга с ее легкой руки служил предметом всяческих насмешек не только в зоне, но даже в казарме.

Не без душевного трепета отправилась Надя в первый раз на пекарню в сопровождении Пятницы. Она уже знала, что там работают четверо бесконвойных мужчин, и приготовилась отразить любое поползновение на свою честь, не рассчитывая на свой конвой, как на защиту. К счастью, никто на нее не посягнул и даже не обратил внимания. Отстроенная в те времена, когда на Кирпичном содержались пленные немцы, пекарня с тех пор пришла в упадок. Закопченная, высокая труба, крыша, увешанная вереницей грязно-серых гигантских сосулек, и два маленьких грязных окна выглядели черным пятном на фоне сверкающих снегов при свете прожектора на столбе и лампочки над крыльцом. Лошадь, зная хорошо дорогу, сама подошла к крыльцу и остановилась.

— Здесь иди, — указал на дверь Пятница.

— А вы?

— Иди, иди давай, твое дело! Надя постучалась в дверь.

— Чего стучишь? Иди, — подтолкнул он ее и распахнул дверь.

Чудный запах свежего хлеба ударил ей в нос, голова пошла кругом, пришлось ухватиться рукой за косяк, чтоб не упасть.

— Эй, там! Дверь плотней закрывайте, не лето! — крикнул неприветливо кто-то из глубины пекарни.

Откуда-то появился невысокий, желтый лицом, раскосый человек, не то мальчик, не то просто низкорослый.

— Сто надо, деуска? — спросил человечек.

— С Кирпичного я, за хлебом приехала!

— Так, так, — закивал он головой. — Готов хлеб, забирай надо.

«Комяк или ненец», — решила Надя, но не успела хорошо разглядеть его, как человечек быстро нырнул обратно.

— Мансур, Мансур! Там женщина за хлебом приехал, — услышала Надя.

Довольно долго никто не показывался. Наконец, вышел черный мужчина, с огромным торсом и короткими ногами, голый по пояс, весь запорошенный мукой. Не спеша вытер руки о грязное полотенце и, угрюмо взглянув на нее, спросил:

— Новая, что ли? Давай документ! — Надя с готовностью протянула накладную.

— Кто такая?

— Михайлова, с Кирпичного, — оробев, ответила Надя.

— Экспедитор?

— Хлеборезка!

— Мишаня! Отпускай Кирпичному! — крикнул черный и скрылся в проем двери, откуда несся хлебный дух.

Появился тот, кого, видимо, назвали Мишаней, неся впереди себя лоток, где в два рядка блестели черным глянцем ароматные буханки.

Надя схватила лоток, да не удержала, и хлеб посыпался на пол.

— Чего же ты, кулема! — заругался Мишаня. — Держать надо!

Вылетел Мансур и тоже гаркнул басом.

Надя нагнулась, и с полными глазами слез, стала подбирать с полу хлеб, но лоток поднять не могла, не было сил.

— Помогай надо деуска, — сказал маленький человечек. — Тяжело ей.

— Тяжело — не берись! — буркнул черный и одной рукой поднял с пола весь лоток.

Дверь отворилась, и Пятница ввалился через порог.

— Скоро ты? Сколько можно ждать! Быстро давай! — рассерженно обратился он к Наде.

— Тебе чего? Откель явился? — Лохматая громада Мансура с лотком в руке зависла над Пятницей.

— За ней пришел, в зону надо вести, копается долго, — нисколько не испугавшись, пояснил он.

— Да ты что? Иль зечка, что ли?

— Зечка она, зечка! — ответил за Надю Пятница. Удивительно, как быстро изменились пекари: забегали, засуетились.

— Так бы сразу сказала!

Вслед за Мансуром Мишаня быстро отволок все лотки, и хлеб мигом перекочевал на полки в хлебный ящик, что стоял в санях.

— Спасибо, спасибо, — только и успела поблагодарить их Надя.

— Ты теперь всегда будешь ездить? — спросил Мансур и улыбнулся белыми крепкими зубами.

— Кто знает, я человек подневольный, как скажут.

— Давай, давай, пошла! Нечего лыбиться тут, — сердито сказал, дернув поводья, Пятница. На пороге Надя обернулась.

— До свиданья!

Пекари смотрели ей вслед, как показалось, грустно и сочувственно, и от этого вся обида ее прошла. «Хорошие они», — подумалось ей.

Наступила долгая полярная ночь и сравняла все часы. Не было утра, не было дня и вечера, только ночь и сизые сумерки. К этому трудно было привыкнуть. Хотелось спать, спать не пробуждаясь. Хорошо еще, что в хлеборезке был самодельный репродуктор. Из этого черного решета доносились свистящие, хрипящие звуки, и при желании можно было узнать время.

Когда-то Дина Васильевна сказала Наде: «Человек так создан, что ему хорошо, когда чуть лучше, чем другим. Если ему хуже других, он угнетен, его гложет зависть, он злобится. Если несоизмеримо лучше, он будет бояться за свое благополучие. Но если человеку чуть лучше, чем другим, тогда ему хорошо, он почти доволен, ибо все постигается в сравнении». Конечно, ей лучше, чем тем, другим, и было бы совсем сносно, когда б можно было поговорить с кем-нибудь, расспросить, подружиться в конце концов, но капитан ЧОС строго предупредил:

— Замечу посторонних или какие сборища, вылетишь пробкой!

Среди этих женщин, одетых так одинаково, что если смотреть на идущую колонну издалека, выглядят они как единый черно-серый монолит, и только вблизи можно было различить их лица. Молодые, миловидные, изнуренные, усталые пожилые, угрюмые, с недобрым взглядом или понурые, безразличные, покорные своей горькой участи.

Хотелось узнать их поближе, спросить: «Как дошли вы до жизни такой, что возненавидели Советскую власть, ругали вождей, поносили партию, не желая строить светлое будущее своей Родины?» А, возможно, были оклеветаны и осуждены невинными, как и она? Ведь не могло быть у самого справедливого и ГУМанного правительства столько врагов, а тем более молодых женщин?

Как-то раз, встретив Надю в зоне, ЧОС окликнул ее:

— Эй, Михайлова, погодь!

Она остановилась. ЧОС сунул ей в руки небольшой лист бумаги, отпечатанный на машинке.

— На-ка вот! Грамотная? Читай, читай! — приказал.

Листок гласил:

ОЛП Кирпзавод № 2.

Норма отпуска хлеба при выполнении задания на 100 %.

1. Бригады кирпичного завода.

а) Горячие цеха, (посадка и разгрузка гофманских печей, формовка, откатка) 0,7 кг.

б) Бучильный цех, конвейер, погрузка автомашин, разнорабочие 0,6 кг.

2. Рабочие бригады за зоной. Подъемка ж-д путей, продбаза, разгрузка угля, леса, балласта. Разное 0,6 кг.

3. Зона,

а) Обслуга, (пищеблок, баня-прачечная, санчасть, пр. службы быта). В том числе работающий интруд 0,5 кг.

При невыполнении нормы — штрафные 0,4 кг.

Бур, карцер 0,3 кг.

Дальше шли имена начальства, которые решили, постановили, написали и подписали этот важнейший документ.

Надя обратила внимание — подпись ЧОСа стояла последней.

— Прочитала! — сказала она, возвращая листок.

— Все поняла? Прилепи у себя в хлеборезке, да на видном месте, над столом! Давай действуй, коль все поняла!

Понять было нетрудно, что написано, но понять, как можно просуществовать, работая целый день на пайке в 0,4 кг, или в буре на пайке в 0,3 кг., просто немыслимо! А еще того труднее понять, как можно заработать в гофманской печи — 100 %!

— Да, вот еще! — вспомнил ЧОС. — Ты мне на пересылке, что там про театр талдыкала?

— А что такое?

— А то! Тебя в хлеборезку взяли, чтоб ты в самодеятельность ходила. Что ж ты?

— Когда я буду ходить?! И так еле справляюсь, стоя сплю.

— Пойдешь на общие в карьер, там на лопате выспишься, — пригрозил он.

Угроза подействовала: «Выгнать на общие ему ничего не стоит, и жаловаться некому», — подумала Надя и в тот же вечер отправилась в столовую-клуб, где на сцене проходили репетиции лагерной самодеятельности.

Голосистые и бойкие украинки, «почикайки», как их здесь называли, хором пели какую-то залихватскую песню. Молодые и задорные, они совсем не выглядели уставшими, отработав свои 12 часов на морозе, да еще час простояли под вахтой, пока дежурные обыскивали и ощупывали их с ног до головы.

Аккомпанировала им женщина, строгая и сердитая, недовольная чем-то, или ей не нравились певцы? Наконец хор смолк, и все повернулись к двери, где стояла Надя. Аккордеонистка тоже повернула голову и неприветливо спросила:

— Чего тебе надо?

— Я пришла в самодеятельность, меня…

— Вижу, что не в баню, — перебила ее женщина. Хористки громко засмеялись, найдя ее ответ остроумным.

— Тише вы! — осадила их она. — А что ты можешь?

— Петь!

— Вставай в хор, учи слова..

— Нет, я хочу одна петь.

— Одна петь! Она хочет одна петь, — переглядываясь, захихикали хористки.

— Ты-то хочешь, да зрители захотят ли тебя слушать?

— Меня капитан ЧОС прислал, — живо возразила Надя, желая этим показать, что отнюдь не навязывается.

— Может, он сам с тобой дуэтом желает спеть, — не скрывая насмешки, презрительно фыркнула аккордеонистка и, желая позабавиться над новенькой, милостиво согласилась: — Ладно уж, спой для пробы…

Не очень заботилась Надя, какое впечатление произведет на них своим пением, ей совсем не улыбалось проводить здесь вечера, отрывая часы от работы и сна. Голос звучал в этом огромном сарае, называемом столовой, как никогда раньше. Кое-как ей подыгрывала аккордеонистка, но она и не нуждалась в аккомпанементе. Пела Надя долго, радостно, прислушиваясь к собственному голосу. Собрался народ — работники столовой, пришли дежурные надзирательницы, уселся на первой лавке капитан ЧОС, даже шапку снял, тоже слушал. Шепотом спрашивали друг у друга: откуда взялась? Кто такая зечка?

Близился Новый год, и решено было: Надя будет петь с хором, а потом сама, что хочет. В хлеборезку она вернулась с единственным желанием поспать хоть немного, «клопа придавить», но не успела снять платок и телогрейку, как следом ввалился капитан ЧОС.

— Да… сильна, вот уж не думал… экая силища у тебя, и где только помещается! — всего и мог он сказать в похвалу.

— Не смогу я ходить, — огорченно сказала Надя, указывая на хлеб, который еще предстояло делить на пайки целую ночь.

— Это почему? — воззрился на нее ЧОС.

— А потому, не выдержу. Я и так до подъема едва успеваю, а за хлебом ехать? Пекарня всегда ко времени не готова, а уборка? А печка с углем? И самой тоже в столовую сходить надо и поспать

хоть сколь-нибудь. Когда ходить?

На этот раз капитан не стал стращать ее общими, а, вполне миролюбиво выслушав ее горячую жалобу, задумался на минуту, сморщив в гармошку лоб сказал:

— А вот что… Завтра попробую докладную майору Корнееву подать, чтоб тебе помощницу дали. (Надя уже знала, что майор Корнеев — это начальник лагпункта, самый главный здесь). Тут по штату двум быть положено — зав. хлеборезкой и уборщица. Попытаюсь, авось не откажет.

Дня через два, встретив Надю в зоне, он сообщил ей:

— Уборщицу тебе дают. Разрешил. Завтра с утра помогать придет.

ВАЛИВОЛЬТРАУТ ШЛЕГГЕР ФОН НЕЙШТАДТ

Наверное, Робинзон Крузо не так обрадовался Пятнице, как возликовала и обрадовалась Надя. Будет работать с ней живая душа, можно поговорить, узнать, что и как! И самой полегче будет.

Так появилась в ее жизни Валивольтраут, которой в дальнейшем предстояло сыграть в Надиной судьбе немаловажную роль. Привел ее утром капитан, после развода бригад.

— Вот тебе, Михайлова, помощница, фамилия ее Нейштадт-Шлеггер, имя — сам черт не разберет: немка, одно слово.

— Моя фамилия Шлеггер фон Нейштадт, имя Валивольтраут, статья, срок нужен? — бойко и совсем по-русски ответила женщина.

— Нет, зачем же? — улыбнулась Надя, радуясь, что помощница ее такая молодая, может быть, даже ее ровесница, и не беда, что немка, по-русски отлично чешет.

— После работы сразу в барак, по зоне после отбоя не шляться, — строго приказал ей ЧОС и вышел.

— Что делать надо? — спросила женщина.

— Во-первых, раздеваться, а во-вторых, как тебя зовут, я что-то не разобрала.

— Валивольтраут.

— А короче можно? Попроще?

— Можно, короче будет Вольтраут, проще Вали.

— Валя! — поправила ее Надя. — Ты сама-то откуда? А срок большой? За что тебя? — интересовалась Надя и, пока та снимала телогрейку и ушанку, не спускала с новенькой радостных, любопытных глаз. Под ворохом тряпья оказалась тоненькая, молодая не то девушка, не то женщина. Мордочка маленькая, узенькая, глаза зеленоватые, волосы рыжие, ну точь-в-точь лисичка. Только прическа немного старила ее: клубочек, на затылке из негустых волос, как тетя Маня причесывалась. Убиралась чисто и быстро. Проворная, успевала везде.

В свое дежурство зашел ЧОС, посмотрел кругом, пошарил глазами.

— Ну, как новенькая? Хлеб не крадет, не заметила?

— Что вы! — возмутилась Надя. — Как можно! Она очень честная и хорошая.

— Ну-ну, знаем этих хороших. Продолжайте работу! — И за порог. Ушел.

Помнилось, как удивилась Надя, когда посмотрела на немку. Поразило ее лицо Вали. Сколько скрытой злобы и ненависти было в ее глазах: губы поджала в ниточку, ноздри тонкого носа раздулись. Вся так и пышет гневом и обидой, но промолчала.

— Что ты, Валя! Он же пошутил. Просто так сболтнул, что в голову пришло, не подумав. Не обижайся!

Но Валя уже взяла себя в руки и улыбнулась.

— Пошутил, конечно, я понимаю…

— Что там в зоне новенького? — спросила Надя, чтоб рассеять неприятный осадок. — Я ведь в зону совсем не хожу, некогда, только в столовку…

— О! Много! У наших женщин переполох. Прислали нового начальника режима.

— Только-то! А старый куда подевался? Уж не провалился ли сквозь землю?

— Кажется, демобилизован по болезни.

— Это я ему чертей пожелала. Приперся по уши в снегу, да здесь и отряхивается! Новый небось такой же гад!

— Возможно, еще хуже, но молодой и необыкновенно хорош собой. Девушки говорят, красавец! На разводе все бригады только на него и смотрели.

— На безрыбье и рак рыба! Откуда он взялся?

— Начальница КВЧ вашей аккордеонистке сказала: новоиспеченный, из училища прислан.

— Только из гимназии! А что, разве охранников в училище учить надо? — Надю покоробило, что кроме Гнесиных еще существует и такое училище.

— А как же! Учить стрелять без промаха в бегущих, лежащих, стоящих. Псовая охота на зеков требует серьезной учебы.

— Конечно, будет гад! Хорошего сюда не пришлют, — решила Надя.

С приходом помощницы у нее появилось немного свободного времени, и, верная своему слову, она отправилась на репетицию в столовку.

Нина — аккордеонистка недовольно отчитала ее:

— Мы уж думали, совсем не придешь! Вот Мымра приказала, чтоб в концерте обязательно что-нибудь советское было.

— Кто? — не поняла Надя.

— Кто-кто! Мымра! Да ты что, иль не знаешь? Начальницу КВЧ Мымрой зовут.

«Начальница КВЧ — Мымра, а КВЧ — культурно-воспитательная часть, так надо понимать. Имя или фамилия? Нерусская видно», — решила Надя, но переспросить не осмелилась, видя, как раздражена ее аккомпаниаторша.

— Конечно, не шибко советское, но собаке кость бросить надо, — уже успокаиваясь, продолжила Нина и оглянулась на всякий случай на дверь. И вовремя. Дверь отворилась, и вошла женщина… Нина быстро соскочила со стула.

— Здравствуйте, гражданка начальница КВЧ.

— Здравствуйте — повторила Надя. «Это и есть Мымра».

— Добрый вечер, — вяло произнесла Мымра, словно ей трудно было говорить, — я вот тут песенник советских песен принесла, — продолжала она, растягивая слова. — Взгляните, тут можно подобрать кое-что.

— Я вам сразу говорю. Советская героика в нашем исполнении будет звучать фальшиво, — решительно заявила Нина.

— Что же, разве вы не советские?! — попробовала возразить Мымра.

— Нет, нет и нет! Не советские, не кадетские. Мы заключенные и каторжанки. Нам надо быть… скромнее… не выпячивать свой патриотизм, все одно никто нам не поверит.

— Почему же, поверят? — опять возразила Мымра.

— Потому! Взгляните в наши формуляры. Мы осуждены, как враги!

Мымра открыла песенник и полистала. Надя заметила, какие неухоженные и грязные у нее руки, с короткими обгрызенными ногтями. «Сама печки топит и полы моет».

— Вот, например, «Лучше нету того цвету», — посоветовала Мымра и неуверенно взглянула на Нину. — Может эта?

— Лучше нету того свету? Я на том свете еще не была, все впереди, но песня годится, и аккомпанемент нетрудный, — сказала Нина, заглядывая в песенник. — Будешь петь с хором, — заявила она тоном, не допускающим возражения, как и все, что она говорила. Тогда еще Надя не знала, что Нина заботилась вовсе не о том, лучше или хуже петь с хором, ей было важно освободить от работы как можно больше участников концерта. Она сама ходила с Мымрой к начальству и в нелегкой борьбе отстаивала каждую зечку и каторжанку, доказывая необходимость той или иной участницы. Потому и авторитет Нины был необычайно высок у зечек и Мымры.

К новогоднему концерту готовилась вся самодеятельность. Нина, а ее должность была «культорг», умудрилась освободить от работы всех участников и даже костюмеров, которых и в помине не было. Мымра, как всегда унылая и озабоченная, за что и получила свое прозвище, все же попыталась просить Надю спеть что-либо более подходящее к случаю, «современно-бодрое». Но Нина злобно заартачилась:

— Может, вам еще марш спеть?

— Можно и марш, — коротко согласилась Мымра, не поняв издевки.

— Нет уж, нечего тут парад-алле устраивать.

И бедная лейтенант Мымра отступила. А что ей оставалось делать? Аккордеонистка одна на весь ОЛП. Есть мужчины, да кто их сюда пустит. Лагерь-то женский!

Накануне Нового года с самого утра мела пурга, света белого не видать. Ночную смену на работу не погнали, только горячие цеха, — обжиг и посадку. Женщины приоделись, и кое-кто даже губы подвел. Вечером на концерт битком набились в столовую-клуб. В задних рядах стулья на столы поставили, чтоб лучше видно было. Два первых ряда заняты начальством с женами. Жены все, как одна, в панбархатных платьях, модные, нарядные, а идти все равно некуда в нарядах, кроме как в зону, к заключенным на концерт.

В пошивочной мастерской, где латали рукавицы, телогрейки и бушлаты, девушки смастерили из двух тюлевых занавесок и старой атласной комбинации для Нади вечернее платье в пол. Немка, Аннелизе Флек, про которую говорили, что она из личного гардероба Евы Браун, сделала из кусочков красного бархата, незаметно отрезанного от красного знамени в кабинете у какого-то начальника, огромную розу. Для листвы пришлось употребить зеленую бумагу, но все равно эффект был поразительный. Волосы Нади были заботливо уложены Валиной рукой в длинные локоны. Зал буквально застонал и охнул от восторга, когда она появилась на сцене. Даже вольняшки и те не выдержали, похлопали. Начальник лагеря майор Корнеев, прозванный за свирепость «Черный Ужас», тоже выдавил подобие улыбки.

Песня и впрямь была хороша. В ней удачно сочетались теплые, задушевные слова и мелодичность. Пела ее Надя чуть медленнее, чем задумал автор, полузакрыв глаза, и очень покойно, как рассказ-воспоминание, в то же время стараясь донести до слушающих каждое слово, как учила когда-то Дина Васильевна. Начинала негромко, как бы повествуя о красоте цветущих садов и чистой любви. Хор не мешал ей, наоборот, очень органично поддерживал ее, повторяя припев, и это особенно впечатляло здесь, в голом, заснеженном Заполярье, где вольные и невольные одинаково тосковали по природе.

Только в последнем куплете она использовала всю силу своего голоса. Успех был необыкновенный. Поднялась целая буря. Зрители топали, свистели, как заправские парни, стучали скамьями в пол и все кричали: «Давай еще!» Пришлось

дежурному пригрозить закрыть концерт. Пела Надя до самой ночи. Нина была «в ударе» и аккомпанировала ей виртуозно, на лету подхватывая мелодию. Наконец Черный Ужас встал.

— Ну, хватит, хорошенького понемногу! Завтра на работу. Мымра подошла к Наде и хотела сказать ей что-то хорошее, приятное, но не нашлась и прошептала чуть слышно:

— Как обидно сидеть здесь!

Но Надя не хотела ни жалости, ни сочувствия.

— Все сидят, не хуже меня, и я с ними, — и засмеялась, счастливая своим успехом.

У входа в столовую на столбе вывешивался список, кому пришла посылка и надо получить или письмо, открытка. Делалось это для того, чтоб зря на почту не бегали, экспедитора не беспокоили, кучками не собирались, не толпились.

Как-то заглянула Надя на столб со списком, просто так, и глазам своим не поверила: Михайловой Н. Н. Посылка! От радости даже взвизгнула. Вот счастье, и так быстро! Всего полтора месяца тому назад выслала письмо со своим адресом: Коми АССР, г. Воркута, л/к п/я 223/зз «р» — Михайловой, и вот уже ответ. Вихрем влетела в хлеборезку:

— Давай, Валя, бери котелок, чеши в столовую, а я на почту. Ура! Пришла посылка!

Во время своего свидания с матерью в тюрьме на Красной Пресне, Надя просила прислать ей фотографию отца. Перед самой войной отец с Алешкой снялись у самолета на Люберецком аэродроме, где он работал на бензозаправке. Помнила Надя, что пахла от него всегда бензином, как ни отмывался… И погиб, спасая от взрыва бензосклад во время налета вражеской авиации, далеко, в неведомой Белоруссии. Так тогда написали в газете. Посылки выдавали зечка, волоокая красавица Нина Тенцер и дежурный офицер. Каждый ящик вскрывался, и офицер тщательно проверял, пакеты с сахаром, сухарями, тыкал острой спицей в мешочки с мукой, разворачивал каждый сверток с салом, мылом, конфетами. Тряс трусы, чулки, рубашки, очень внимательно, не торопясь. А вдруг там деньги для побега, оружье? Или, чего доброго, документы, фальшивый паспорт, листовки, призывающие к свержению правительства, к восстанию, бунту, или просто запрещенная книга?

Ловко поддев гвоздодером крышку посылки, офицер тут же обнаружил фотографию. Несчастной матери и в голову не пришла прятать ее в укромное место.

— Не положено, — сказал он и забрал себе.

Долго уговаривала, просила, умоляла его Надя, но тщетно.

— Проси у оперуполномоченного, — если разрешит,

возьмешь, а я не могу. — И еще раз повторил: — Не положено!

Надя, ругая на чем свет стоит несговорчивого офицера, была и посылке не рада. На следующий день побежала к оперу Горохову. Щуплый, невысокий человек лет тридцати пяти в чине капитана и был грозный, всемогущий опер.

— Иди, иди, — подтолкнула дневальная в приемной. — Один сидит.

— За фотографией, Михайлова?

— Да, отдайте, пожалуйста, она у нас единственная. Я ее домой отошлю!

— Не положено в лагерях фотографии иметь, понимаешь? — как будто сомневаясь в правильности своих слов, сказал Горохов.

— Я не знала, и мама тоже не знала, — чуть не плача, оправдывалась Надя.

Опер достал фотографию из стола и долго рассматривал, перевернув обратной стороной, прочитал вслух: «Август, сороковой год».

— Кто это? Что за люди?

— Папа мой и брат Алексей.

— А что за самолет? Почему у самолета?

Надя волнуясь, поспешно стала объяснять — кто, и что, и почему.

— А где они теперь?

— Погибли оба в войну… — Она, конечно, могла и дальше рассказывать, как погиб ее отец и был награжден посмертно, но ей казалось унизительным спекулировать геройством своего отца, доказывая этому капитанишке. Однако миролюбивый тон опера несколько успокоил ее.

«Отдаст», — решила она и не ошиблась. Подергав некоторое время себя за подбородок, он еще спросил:

— И брат погиб?

— Да, в мае сорок пятого года.

Горохов вздохнул, как бы обдумывая, что делать.

— Вот ведь, видишь, какой у тебя отец, брат… а ты…

«Началось! Старая песня: какой отец, какой брат, а какая я».

Но надо было выслушать все до конца. Что делать? У них власть!

— На! Только спрячь подальше и никому не показывай, потом домой отошли, я прослежу! Все равно у тебя ее заберут, если обыск будет или на этап пойдешь. Не положено! Поняла?

— Спасибо! — Надя вне себя от радости, бросилась к двери.

— Вернись, Михайлова, — приказал Горохов. Надя остановилась.

— В нашей деревне, когда входят, говорят «здравствуйте», а

уходя, говорят «до свиданья», а у вас как?

— Извините, до свиданья!

В последних числах января на минуту показалось над Уральским хребтом долгожданное солнце. Осветило, ослепило и нырнуло опять за горизонт. Все, кто был свободен, высыпали на улицу встретить солнце. С каждым днем все дольше и дольше оставался на небе огненный шар. Тундра светилась и блестела нестерпимым блеском. Смотреть на снег было невозможно. Глаза болели и слезились. По вечерам в санчасть тянулись больные конъюнктивитом зечки. А снег все валил и валил валом. Каждое утро выходили бригады на расчистку железнодорожных путей и дорог, а за ночь наметало еще больше.

Надя тоже брала огромную деревянную лопату и расчищала вокруг избушки. В самой хлеборезке было тепло, день-деньской топилась углем печь, а в студеную полярную ночь ничего лучше тепла нет. Хоть и голодно, зато не мерзнешь. Посылку, что получила Надя, «разыграли» в три дня. Да и что можно прислать разрешенное на 8 кг? Два куска мыла хозяйственного, два — туалетного «Земляничное», две пары чулок, сахар, масло, конфеты и ванильные сухари. Один кусок мыла Надя подарила своей «немке», потом подумала и отдала пару простых чулок. Ну, а провиант съели вдвоем очень быстро, и угостить конфетами тоже нужно было.

— Не одной же килограмм съесть! Эдак и ослепнуть можно! — сказала аккордеонистка Нина, принимая угощенье.

По-прежнему к 3 часам дня Надя бежала на вахту, где ее ожидал с лошадью Пятница, и они шагали по свеженаметанным сугробам к пекарне. Однажды их увидел в таком составе начальник ЧОС — снабженец.

— Это еще что за цирк? — изумленно воскликнул он. — Неужели такая здоровенная деваха нуждается в поводыре? Да ты его прибьешь! Ну и артисты!

Не прошло и двух недель, как Надя, к своей радости, получила пропуск на «Бесконвойное передвижение в пределах района 2-го Кирпичного завода». Это было не совсем законно, по закону нужно было отбыть полсрока, но, как сказала когда-то Манька Лошадь, для уголовников «закон — тайга, а прокурор — медведь». А Надя была уголовница.

— Смотри, в зону не таскай, на вахту сдавать будешь, — сказал начальник ЧОС, передавая ей пропуск. — Да, смотри, не потеряй, ясно?

— Ясно!

Заметно стал прибывать день, уже не сумеречно, а по-настоящему светло, и хотя все так же мела колючая поземка и

снег засыпал дороги, минул январь и короткий февраль близился к концу.

— Ты, Михайлова, лошадь-то запрягать можешь? — спросил ее как-то, встретив на вахте, капитан ЧОС.

— Нет, не пробовала.

— То-то и видать, что не пробовала, — ощерился капитан под громовое ржанье вахтеров.

Надя пропустила мимо ушей двусмысленность, всем видом своим показывая неодобрение и даже обиду.

«Каждый сверчок знай свой, шесток». А капитан и не думал ее обижать. Ему в голову не пришло, что на такую «остроту» вообще можно обидеться.

— Тебе когда за хлебом, в три? Выдь пораньше, я с тобой на конюшню пойду, покажу, как запрягать, дело не хитрое. Лошади не боишься?

— Нет!

Три мохнатые лошади нетерпеливо перебирали ногами в своих стойлах.

— Вот, выбирай, тут для хлебовозов двое: старый жеребец Кобчик и такая же старуха Ночка, кобыла.

Надя выбрала Ночку. Ей казалось, что лошадь женского пола смирнее, хотя обе лошади возили с ней хлеб с пекарни.

— Старого жеребца не хочешь? — опять осклабился капитан.

— То-то же, старость не в радость!

Но Надя и на этот раз не обратила внимания на его неуклюжие шутки.

— Кобыла смирнее, — отрезала она строго.

Получив два-три раза хвостом по лицу, Надя все же одолела искусство запрягать лошадей. Через полчаса она смело упиралась валенком в живот Ночке и без труда справилась со всей упряжкой, при одобрительных возгласах капитана.

Лошадь из трофейных конюшен, когда-то видавшая лучшую жизнь, смиренно и терпеливо стояла во время процедуры. Благодарная Надя поклялась себе выпросить на пекарне немного отрубей, угостить умную скотину.

— Приведешь обратно, не забудь ей сенца натрусить. Да ты не гони, не гони, рысака запалишь! — засмеялся им вслед капитан, когда Ночка, лениво переставляя узловатые ноги, потащилась с Надей в пекарню.

Шутник был этот снабженец и не упускал случая посмеяться, хоть шутки его и остроты попахивали блиндажом.

КЛОНДАЙК

Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Есенин

День за днем ощутимо приближалась весна. Было все так же холодно, и временами бесилась пурга, но днем над снегом едва приметно как бы струился! на солнце воздух. В один из вечеров в хлеборезку пожаловал новый начальник режима. Надя бросила резать хлеб и, отложив нож, встала по стойке «смирно», как и полагалось приветствовать начальство. Валя грохнула об пол ведро и тоже «руки по швам».

— Здравствуйте, — первым сказал он, и не успели девушки ответить, как он тут же добавил. — Продолжайте работать.

Бросив на весы одну из паек, он, не глядя ни на кого, повернулся и, нагнув в дверях голову, чтоб не задеть притолоку, на ходу бросил «до свиданья» и вышел.

— Даже не взглянул, вроде бы мы не существуем, словно нас нет, — возмутилась задетая за живое таким невниманием Надя.

— Жлоб! Но какой красавец, не правда ли?

— Для меня все они держиморды, — сердито возразила она.

— Как будто! — не поверила Валя и, лукаво стрельнув своими золотисто-зелеными лисьими глазками, притворно вздохнула. — Экое лицо, создал же Господь! Ничего не добавишь, ничего не убавишь! Эталон мужской красоты!

Надя промолчала, чувствуя, что лиса ее просто дразнит. — Ах, где мои двадцать лет! Увы! — мечтательно покачала она головой. — Настоящий парень с Клондайка!

— Откуда? — не выдержав, переспросила Надя.

— Из Клондайка! Да вы Джека Лондона читали?

— Читала!

— Что?

— Не помню что, кажется, «Сказание о Кише», — соврала она, потому что слышала, об этом «Кише» только по радио в «Детской передаче».

Валя с сожалением посмотрела на нее.

— Вы мало читали!

— Мало, — согласилась Надя.

— А почему? Не любили?

— Почему не любила? — обиделась Надя. — Книг не было.

Это была правда. Раньше, до войны, Алеша брал книги в

детдомовской библиотеке, а потом библиотеку эвакуировали вместе с детдомом. У отца были кое-какие книги, да все малоинтересные.

— Ну, может, это и лучше, — неожиданно поддержала ее немка. — Я всегда говорила: книги — наши враги.

Надя удивленно посмотрела на нее. Она знала другое. В школе ее учили: «Берегите книгу», «Книга — твой лучший друг».

— Да, да, парадоксально, но факт, — продолжала немка. — Начитавшись книг, человек начинает жить в вымышленном мире: он жаждет подвигов, славы, богатства. Он хочет быть честным и правдивым, как герои, о которых он читал, ибо порок в книгах осужден и наказан, в то время как в жизни, в реальной действительности, мы видим обратное. Порок всюду торжествует, а почестей и славы добивается тот, кто может, отбросив предрассудок о чести, гордости и порядочности, идти по головам толпы. Лгать с правдивыми глазами, улыбаясь, делать подлость, доносить, убивать.

— Ну, уж это ты круто завернула, — возразила Надя. — Что-то не то, не так!

— Ничуть! Вот возьмите хоть этого Клондайка. Палач с ангельским лицом.

— Так уж сразу и палач, — заступилась Надя.

— Палач! Охранник! Он, не задумываясь, выстрелит в вас, если нужно.

— Его работа такая!

— Вот и я говорю! Зачем он сюда пожаловал? Людей караулить? Значит, нравится…

Надя невесело рассмеялась:

— А ведь верно! Лик-то ангельский, и глаза с поволокой, как у девушки, а душа дьяволу продана… Как у Фауста.

— Читали Гете?

— В опере Гуно «Фауст».

Часто, заготовляя пайки на утро, ночной порой Надя рассказывала немке о своей жизни, вспоминая детство, прошедшие годы. И даже война не казалась ей теперь такой страшной и голодной в сравнении с пересылками и этапом. В сущности, она войну и не видела, только в кино. В те редкие бомбежки, когда отогнанные от столицы немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы где попало, жители прятались в щели, едва заслышав особенный, прерывистый гул немецких самолетов, который даже собаки научились различать. Валя о себе говорила мало, и вообще, по ее рассказам, очутилась она здесь из-за подлого предательства. Родных у нее не было, хлопотать некому, а срок, страшно подумать, 25 лет! Надя, как

могла, утешала ее, уверяя, что такого быть не может, чтоб весь срок… Немка слушала ее горячие уверения, и лицо ее принимало выражение «каменной лисы», но однажды не вытерпела и презрительно сказала:

— Не раньше, чем ваш любимый отец родной в тартарары провалится со всеми своими потрохами!

Надя так опешила, что и ответить не нашлась. Только шепотом произнесла:

— Ну, знаешь!..

— Знаю! Может, долго ждать придется, сама загнусь. Как Бог даст. «Пока травка подрастет, лошадь с голоду помрет!»

Мало-помалу Надя искренне привязалась к своей «немчуре», как она мысленно окрестила Валю, хотя многие черты ее характера не могла понять. Непонятно ей было, когда Валя говорила:

«Действительность далека от книжных бредней. Книжный герой-человек, которого создал писатель, а не Бог, то есть — вымысел. Бог создал людей, а не ангелов, и в жестокой борьбе за существование достигнет успеха самый безнравственный, по книжным понятиям, человек».

— По-твоему получается, не надо быть честным, не надо быть добрым, милосердным к людям, — с сомнением возражала Надя.

— Разумеется, все это для толпы. Человек должен быть свободен, прежде всего свободен в действиях, поступках, решениях.

— Ну, уж нет, — не соглашалась Надя. — Если каждый будет поступать, как ему заблагорассудится, что это будет!

— Нет, не каждый, только высший человек, избранный Богом, остальное — массы, народ, чернь, люмпен, как хочешь назови.

— И этот, избранный, как ты говоришь, кто?

— Тот, кто делает историю.

— Народ делает историю, сказал Толстой.

— Толстой написал прекрасные романы, но как философ он нуль.

Дальше Надя спорить не решалась, хотя и чувствовала — не то говорит немка, что-то шло вразрез с ее понятиями.

На пекарне у нее завязались дружеские отношения с пекарями. Слух о ее успехе в концерте дошел и до пекарни, и в знак расположения пекари иногда пекли ей колобок из поскребышей — остатков, собранных с квашни. Теплый колобок из ржаного теста казался ей тогда вкуснее всего; на свете. Бережно, за пазухой, чтоб не потерять тепла, тащила Надя колобок через вахту, счастливая уже тем, что может угостить свою напарницу. Однако дальше дружбы и колобка расположение

пекарей не шло, да и идти не могло. Пекарня хоть и работала без конвоя, все ж пекари были зеки, расконвоированные, кроме заведующего Фомки-китайца, и дорожили своими пропусками, своей пусть каторжной работой, но в тепле, не в забое 6-й шахты. Тяжелый труд изматывал тело, опустошал душу, надежно гасил все другие желания, кроме самых примитивных: поесть, поспать. Фомка, правда, не скупился для своих работяг, но что он мог им дать, кроме лишнего куска хлеба и кружки квасу? Годами не видели зеки простой, немороженой картошки, цинга и авитаминоз свирепствовали по всему Заполярью. Огромные мешки с мукой, замесы вручную и всегда раскаленная, как геенна огненная, печь, съедали без остатка все силы, даже у такого богатыря, как Мансур. Вдвоем с Мишаней им приходилось ежедневно разгружать неподъемные мешки с мукой, вдвоем заменяя целую бригаду. Мансур, как знала Надя, был откуда-то из Средней Азии. Надю называл «сестренкой». Видно, ее темные большие глаза напоминали ему прекрасных девушек его родины, а может быть, ее возраст, ей все еще было 19 лет. Мишаня, парень тульский, откуда-то, где тоже есть шахты. Забрали его прямо со свадьбы, и осталась дома молодая ни жена, ни невеста, но он свято верил, что его ждут. На будущий год ему освобождаться, и, как говорил Мансур, он «уже одной ногой за вахтой».

Фомка, заведующий пекарней, — он на вольном поселении. Срок его ссылки давно истек, но он совсем не спешил вернуться в свои края. Здесь он самый главный и очень уважаемый человек. Маленький, худой, в чем душа держится, а душа-то у него огромная, добрая, отзывчивая на редкость. Любили его все, и зеки, и вольняшки. Никто не знал, как его настоящее имя, все звали Фомкой и еще Ходей. На «Ходю» он немного обижался. — Засем Ходя? нет Ходя! Фу-оум я! Фома!

— Всех китайцев Ходями зовут, немцев — Фрицами, евреев — Абрамами, русских — Иванами, грузин — кацошками, — смеялся Мансур.

— А вас как зовут, — спрашивала Надя.

— Нас чучмеками, — охотно отвечал Мансур. — Уши девушки жемчугом завешаны, — говорил он, когда Надя старалась не замечать пошлых шуток и брани, которыми иногда перекидывались пекари.

Однажды серьезно обожглась она в своем первом соприкосновении с мужским полом и теперь относилась с недоверием ко всяким проявлениям внимания к своей особе. Но Фомка в счет не шел, он для нее не имел пола. Безбоязненно брала она его за оба оттопыренных больших уха и целовала в обе щеки в знак благодарности за лепешку или колобок.

Фомка покрывался густым, темным румянцем, и маленькими шажками быстро семенил куда-то вглубь пекарни.

— Все женщины продажны, — шутил Мансур. — Меня вот никто не целует.

— Ты мохнатый и опасный, укусить можешь, — в том же духе отвечала Надя.

— Какой славный китаец, — сказала однажды она. — Повезло вам, ребята, с начальством.

— Откуда ты взяла, что он китаец?

— Все так говорят… Вот и ЧОС наш, тоже…

— Свистит, сам не зная что… — презрительно сплюнул Мишаня.

— Кто же он тогда, если не китаец, и имя у него не русское? Фуом какой-то!

— Японец он, — шепотом произнес Мансур. Японец-каитен. Понятно? — и оглянулся, не слышит ли?

— Кто-кто? — переспросила Надя. — Японец?

— Ка-и-тен, — по слогам произнес Мансур. — Каитен — человек-торпеда.

Надя не поняла, но закивала головой.

— Да-да, — а сама подумала: «Спрошу у немки, та все знает».

«Каитен, каитен», — повторила она про себя несколько раз, чтоб лучше запомнить, и этим же вечером спросила:

— Валь, послушай! Ты знаешь, что такое каитен — человек-торпеда?

— Каитен? — Немка с изумлением воззрилась на Надю. — Где это ты слово такое слышала?

— Слышала, — уклонилась Надя.

— А где, от кого?

— У тебя на бороде, — пропела Надя, решив, что поинтригует Валю.

Но хитрая Вольтраут тотчас изменила тон. Ей очень хотелось узнать, с кем ведет подобные разговоры ее напарница. Она была уверена, простушка все равно не выдержит, проговорится.

— Ты слышала когда-нибудь о самураях?

— Япошки? Еще бы! Мы в школе даже песню про них пели:

Японцы-самураи

Мечтали до Урала… — пропела Надя.

— Вот те самые…

И в тот вечер, пока резали хлеб, она узнала о людях-торпедах, о камикадзе, которых так боялись союзники, и, слушая об этих диковинных людях, прониклась уважением к их граничащей с безумием храбрости, фанатичной преданности своей Родине, но, к сожалению, образы этих храбрецов, которые возникали в ее

воображении, никак не увязывались с тщедушным заморышем, Фомкой. «Расспрошу поподробнее ребят, они-то знают, — решила Надя и в следующий свой заезд на пекарню, ожидая, как всегда, выпечку, пристала к Мансуру, а он не заставил себя долго упрашивать.

История Фомки была удивительной. Оказывается, Фомка был выловлен американским эсминцем, тем самым, который должен был торпедировать. Его торпеда проскочила буквально в сантиметре от носа эсминца. Расчет был сделан правильно, но командир корабля чудом замедлил ход, и, не успев опомниться, Фомка очутился в плену. По правилам, каитен или камикадзе не могут быть пленены, честь обязывает сделать харакири, но бедолага был так ошарашен неудачей, что не успел прийти в себя, как был обезоружен и поднят на борт корабля. До выяснения его отправили куда-то, куда — он сам не знал, потому что говорил только по-японски, по дороге бежал и попал к нам. Где-то далеко в Японии у ворот своего дома стояла его невеста и красным крестиком вышивала платочек, и все проходящие мимо девушки, у которых женихи и возлюбленные были на войне, ставили ей на платочек свой красный крестик. Таков был обычай. По каким казенным местам скитался потом Фомка, без каких-либо удостоверений своей личности, он и сам не знал, пока хоть немного не выучил русский язык. Очутился в Воркуте как спецконтингент «иностранного происхождения» до окончания военных действий без права выезда, когда же эти действия закончились и в комендатуре ему объявили, что может хлопотать о возвращении домой, Фомка был женат на комячке из Инты и оказался нежнейшим мужем, до смерти влюбленным в свою жену Катю. Наверное, Катя тоже любила своего «китайца», потому что не любить его просто было невозможно. Так и застрял Фомка в пекарне, ничуть не жалея о случившемся и радуясь жизни. Впрочем, однажды он сказал по секрету Мансуру, что домой ему возвращаться нельзя. Он числился погибшим каитен за императора, и, если вдруг явится домой, семья его будет опозорена на веки веков, а друзья принудят умереть. А умирать ему совершенно ни к чему, потому как он скоро будет папой.

— И счастлив, что не умер, все же жить лучше… — сказал Мансур, а потом, подумав, добавил. — Ты там не очень трепись. Я ведь по секрету тебе, он не любит болтать о себе.

Конец февраля на Севере очень снежный. День и ночь метет сухая, колючая поземка, а подчас переходит в настоящую пургу. Из-за снежных завалов и переметов подвоз из города муки в пекарню часто запаздывал. Не успевала маленькая пекарня ко времени обслуживать хлебом кроме лагпункта еще и гарнизон с

6-й шахтой. Каждый раз Надя волновалась, что не успеет развесить хлеб на пайки к подъему для утренней смены, когда приходилось подолгу ждать выпечки. Как ни наловчилась она управляться, все же каждая минута была на счету.

ЗУБСТАНТИВ

Как-то, подъезжая с хлебом к вахте, Надя увидела толпу женщин, сбившихся в кучку от холода. «Этап! В нашем полку прибыло», — подумала она, и пока дежурняк открывал ворота для ее возка, она рассматривала новеньких. Разные. Несколько пожилых, а есть совсем-совсем молодые, почти девочки. Лицо одной показалось ей знакомым. Она присмотрелась повнимательней. Конечно! Женщина с серым платком поверх ушанки была ей знакома! Та тоже посмотрела на Надю, и лицо ее, уныло-безразличное, вдруг оживилось.

— Михайлова! — крикнула она.

— Разговорчики в строю! — заорал сопровождавший их конвоир.

В этот момент ворота распахнулись настежь, и Ночка дернула поспешно возок, словно чувствовала окончание своего рабочего дня. «Кто это, кто это может быть?» — напрягая память, старалась вспомнить Надя. «Она меня знает, и знает по фамилии. Обязательно надо отыскать ее, а вдруг это?..»

Утром, подавая хлеб в окно раздатки, она опрашивала всех бригадиров: «Есть ли новенькие?»

— Пока еще не знаем, но будут, пришел большой этап с пересылки. Одни наши.

«Наши» — это политические.

Вольтраут совсем не разделяла Надиного волнения.

— Вы же ее сюда потащите, не так; ли?

— Что ж нам на улице мерзнуть?

Немка поджала губы, сделала «каменную лису» и только напомнила:

— Вы забыли, посторонним вход сюда запрещен!

— А я плевать хотела! — запальчиво воскликнула Надя.

— Зашагаете на общие, — просто сказала немка и очень охладила Надин пыл.

— Ну и ладно! Я сама схожу к ней, — решила она.

— Хождение из барака в барак, кроме как по делу, запрещено тоже.

— Найду дело!

Валя с постной мордой пожала плечами:

— Когда? Вам на репетицию нет времени ходить, не то что по баракам.

И все же Надя нашла свою знакомую. Получив ведомость на хлеб, она увидела, что бригада из бучильного цеха увеличилась на 8 человек. Пробежав глазами список, она нашла знакомую

фамилию: «Машкевич Мария Наумовна».

— Зубстантив! Моя немка! — завопила вне себя от радости Надя.

Вольтраут недовольно покосилась.

— Учительница моя!

Надя с нетерпением дождалась бригадира, Машу Бутенко, в чьей бригаде оказалась «Зубстантив».

— Маша, дорогая, моя школьная учительница к тебе в бригаду попала, новенькая! Машкевич, тезка твоя, скажи ей, пусть придет после работы!

— Скажу, — пообещала Маша, — коли жива будет, придет.

— Ты, Маш, ее где полегче поставь! Она ведь физически не работала.

— Ха! Полегче! В бучилке легкого нет, хорошо, еще не в гофманку…

«Как бы ей помочь? Что придумать? Попросить Мымру в КВЧ, она добрая. Господи! Что сталось с бедной Зубстантив! Какая была властная и строгая учительница. Куда все девалось? Из телогрейки клочья ваты торчат, драный платок повязан на облезлую ушанку, засаленные ватные штаны, валенки 10-го срока. Здесь в таком одеянии ходят только баптистки-отказницы. За что ее?»

Посадить Зубстантив по политической казалось несуразным: она, как помнилось, не воевала, а значит, в плену не была; что касается разговоров, то, как говорит Вольтраут, была «святее самого папы Римского».

Однако Зубстантив после работы не пришла, и на следующий день тоже. Маша Бутенко за хлебом прислала свою помощницу, западнячку Рузю.

— Как там новенькая? — спросила Надя.

— Котора? Их много у нас.

— Высокая такая, Машкевич?

— А… Машка! Лежит на нарах влежку до самого подъему.

— Чего так?

— Так ведь бригада на выгрузке робит, а они новые, только с этапу, кто газом, поморился, кто руки пожег.

— Что же бригадир ваш, или не знает, что новеньких нельзя на тяжелую работу ставить? — закричала Надя.

— Бригадир наш сама за двоих вкалывает, работать некому: половина бригады освобожденные, — сердито сказала Рузя, схватила свой ящик с пайками и ушла.

Срочно надо было что-то делать.

«Она не выдержит! Ни за что не выдержит! Да и можно ли? Шутка сказать — цех обжига, выгрузка!

Гофманские печи! Это в страшном сне приснится!»

Обожженный кирпич вынимался из печей еще раскаленным, рукавицы прожигались до дыр в первую же смену, ядовитый угарный газ и шлаковая пыль забивались в легкие, не давали дышать. Каждые десять минут девушки выскакивали на снег, мокрые от пота, облепленные золой. Грязь въедалась в кожу рук, лица, забивалась в волосы. Хорошо еще, что пленные немцы, строившие кирпичный завод и гофманские печи, предусмотрительно сделали душ с горячей водой. После смены, когда усталые работяги тянулись к вахте, можно было по-быстрому, кое-как, ополоснуться, если хватало сил после 12 часов рабочего дня да 2-х часов стояния под вахтой. Прорабы, частью из освободившихся уголовников, частично вольнонаемные, охотники за длинным рублем, беспощадно подгоняли работяг, — ни минуты простоя, план, план. Каторжанский ОЛП по адресу Воркута Кирпзавод, Речлаг 223/17 «Р» был действительно каторжный. И работали там, оставляя последние силы, молодые зечки и каторжанки со сроками от 10 до 25 лет. Лагпункт для особо важных «преступниц». Уголовников там, слава Богу, не было… они не причислены к категории особо важных, ибо воровать, грабить, насильничать и убивать, это хоть плохо, но не страшно. Они могут исправиться, стать честными людьми советского общества, а вот коли у человека «поражен антисоветчиной мозг», как сказал опер Горохов, это безнадежно, это как цвет глаз — неисправимо, навсегда…

Вечером, перед репетицией к концерту 8 Марта, как приказал майор Корнеев, Надя забежала в 15-й барак, где помещалась бригада Бутенко. На верхних нарах отыскала свою бывшую учительницу и вопреки ожиданию нашла ее совсем не убитую горем, а наоборот.

— Я тебя сразу узнала, — сказала Зубстантив. — Мне передали твой привет, но, веришь ли, я так устаю, что едва до нар доползаю.

— Знаю, знаю, я на минутку, вы обязательно ко мне приходите, ведь вы пианистка?

— Какая я пианистка! Училась когда-то, но…

— Нет, нет, я же помню, вы мне аккомпанировали на школьном вечере. Я постараюсь вас в КВЧ, — горячо, скороговоркой, прошептала Надя и побежала в столовую, пока ее не прихватили дежурняки в чужом бараке.

— Вечно ты опаздываешь, хор устал тебя ждать, они же с работы, понимать надо, — недовольно отчитала ее Нина, показывая этим, что для нее все равны: как солисты, так и хористки.

— А я что, с гулянки по-твоему? — окрысилась Надя, но тут же опомнилась и присмирела. Надо было подговорить аккордеонистку в сообщники.

Нина встретила ходатайство Нади в штыки.

— Учительница! Чего же плохо тебя учила? Проси ее к себе в хлеборезку, если ты такая добренькая, а в КВЧ штатов нет.

Надя и это пропустила мимо, не время сводить счеты, а поэтому сказала со вздохом и грустно:

— Руки она свои загубит в гофманке. Это же пианистка, настоящая.

— Вот что, настоящая! Ты что ж, ее на мое место хочешь? — забеспокоилась Нина.

— Да нет, что ты! — поспешила заверить ее Надя. — Но ведь можно ее куда-нибудь устроить!

— Не знаю, вот, может быть, тут по штату художник должен быть — полагается, — смягчилась Нина. — Надо с начальницей КВЧ говорить. Сама проси!

Мымра долго не могла понять, о чем ей толкует Надя. Наконец спросила:

— А зачем нужен художник? Какие у вас тут художества?

— Как какие? — Надя всплеснула руками. — А плакаты? А лозунги и транспаранты?

— Как какие? — вторила ей Нина. — А сводки о достижениях передовых работяг? Первомайские призывы к победе коммунизма? А портреты вождей?

— Ну, вождей купить можно. На это деньги в КВЧ есть, а то, пожалуй, так нарисуют, что мать родная не узнает, скандал будет, как на шестой шахте.

— Чего — чего? Какой скандал? — наперебой затормошили все Мымру, охотницы до лагерных скандалов.

— Ничего особенно, просто на шестой шахте художник товарища Сталина нарисовал, а пожарник говорит, не Сталин, а… — Тут Мымра, понизила голос и, глянув по сторонам, шепотом сказала: — Говорит: не Сталин, а собака какая-то!

— У-у-у… — загудели зечки одобрительно.

— А оперуполномоченный тут же узнал, и обоих в карцер на десять суток.

— У-у-у, — опять зашумели зечки, непонятно только, одобряя опера или сочувствуя художнику и пожарнику.

— Вот я думаю, — продолжала Мымра, — живем мы без художника и дальше можем.

— Плохо живем, очень плохо, прозябаем.

— Прозябаем, очень плохо, — закивали головами.

Но Мымра, как ни была проста душой, все же уловила

насмешку в их голосах и рассердилась:

— Ну, будет вам насмешки строить. Я ведь понимаю, не дура. С вами как. с людьми…

— А мы зеки поганые, — с кислой физиономией сказала Нина.

— Каторжанки негодные, — в тон ей добавила Галка Шимановская, веселая, разбитная украинка.

Мымра резко поднялась со стула, где сидела, и, не говоря ни слова, вышла.

— Ну вот, только все испортили, и хорошую Мымру обидели, — огорчилась Надя.

— Никуда не денется, придет как милая. Палочку о проделанной работе среди зеков поставить нужно? Нужно!

И все же Надя добилась своего. Уговорила Мымру, упросила начальницу УРЧ (учетно-распределительная часть), обещала ей спеть что-нибудь «цыганское», и, наконец, Зубстантив перевели в КВЧ культоргом.

— Только ты могла проделать такое, — сердито сказала Нина. — Завидная пробойная сила. На твое счастье, она еще и рисует!

— Да? — обрадовалась Надя. — Где она сейчас?

— На сцене, плакат к Марту готовит. Корнеев концерт отменил!

— Чего так?

— Плохо работаем!

Надя на сцену не пошла, побежала к себе в хлеборезку. Пора за хлебом. А по дороге все думала, как просто просить за кого-нибудь и как сложно за себя.

Дня через два в хлеборезку забежала Зубстантив. Она сильно похудела и, как ни странно, помолодела. Свой учительский пучок волос состригла, и короткие кудряшки очень шли к ее осунувшемуся лицу. Это была уже не строгая «училка немка Зубстантив», а совсем молодая женщина. Надя искренне обрадовалась и, несмотря на строгий запрет «посторонним не входить», пригласила зайти в свою берлогу. Угощать было нечем, от посылки не осталось и следа, даже ящик пошел на растопку, но куда важнее было поговорить как и что? Не терпелось узнать, за какие «грехи» попала сюда самая праведная учительница.

Обычно политические зечки неохотно рассказывают о своих делах, и не потому, что стыдятся своих деяний, а потому, что, возмущаясь несправедливостью обвинений, тем самым заставляют сомневаться в самом справедливом советском суде, а это уже крамола, а опер не дремлет. Но Зубстантив еще не знала такого правила и вслух откровенно возмущалась и судом и

следствием. Надя слушала ее, и казалось ей, что все, что рассказывала Зубстантив, она уже много раз слышала историю с портретом вождя, только в разных вариантах. То портрет находили соседи в унитазе, и шло долгое следствие, выявляя виновника, то в газету с драгоценным ликом завернули селедку, то облили чернилами, в том месте, где были глаза великого вождя. И злодеи несли заслуженное наказание за поругание портрета человека, которого должно было держать вместо иконы. Похожую историю рассказала о себе и Зубстантив. Оказывается, во время ее дежурства в школе кто-то сорвал в классе портрет Сталина. Мало того, сорвали и бросили, скомкав, в мусорную корзину. Школа была в трауре, шутка сказать! Если неблаговидный поступок выйдет за стены школы, что скажут в районо! Классной руководительнице было поставлено на вид и приказано во что бы то ни стало найти виновного. Прошли внеочередные школьные собрания. Но никто не сознался. На педсовете Зубстантив посоветовала лучше умолчать об этом прискорбном инциденте, не придавать большого значения, не акцентировать. Большая часть учителей бурно возразила:

— Нет, нельзя! Найти злодея и наказать, чтоб другим неповадно было!

Спустя некоторое время злоумышленник был найден, хоть не сознался и не покаялся. И опять же Зубстантив заступилась за мальчика, сказав, что вина его не доказана и основывается на доносе другого мальчика. Один из учителей упрекнул ее в том, что она защищает злостного хулигана из национального побуждения. Мальчик был еврей, а другая учительница просто, без лишних слов, послала заявление в МГБ с просьбой разобраться. Разобрались. Делу был дан ход, а дальше все как у других врагов народа. Поразительно одинаково.

Валя, молчавшая до сих пор, швырнула хлебный ящик, который усердно скребла кустом стекла, и что-то быстро и весело сказала по-немецки. Бедняга Зубстантив, аж подскочила от возмущения и тоже сердито, негодуя, стала по-немецки отвечать Вале.

— Что? Что? О чем вы? Говорите по-русски, — Запротестовала Надя.

— Я говорю, — пояснила Валя, — что мы уже живем в коммунизме, не так ли? Каждому по потребности — пайка хлеба, черпак баланды, каша жуй-плюй! Каждому по труду — работой обеспечены — безработных нет. Деньги упразднены, и зеки изолированы от капиталистического окружения, полное равенство — любой уходит в карцер, в бур. Ну? Чем не коммунистическое общество? Не понимаю, почему возмущается

ваша приятельница? — сказала, и опять за ящик схватилась, а голову нагнула, чтоб не видно было, что смеется, паршивка.

— Это же профанация, насмешка над великой идеей. Можно исказить любое учение, — протестуя, воскликнула Забстантив. — Просто хулиганство какое-то!

— И, по-вашему, исказил его великий Сталин, так ведь? А я говорю, что сама по себе идея коммунизма утопия, или, как говорят здесь, бред сивой кобылы в морозную ночь!

Щеки Зубстантив запылали гневными яркими пятнами. Она пыталась заставить замолчать Валю, но та продолжала:

— Бог создал людей неодинаковых. Одним вложил в голову гениальные мозги, другим солому, как их уравняешь?

— Мещанское, примитивное толкование, — наконец вклинилась Зубстантив.

— Бытие определяет сознание, среда, по-вашему? Чушь! — перебила Валя. — Наследственность, вот основа!

Надя уже не на шутку заволновалась. Такие дебаты в хлеборезке совсем ни к чему. Но обе женщины распалились, и унять их было невозможно.

— А теперь вы желаете все свалить на Сталина? Это он исказил великую идею, завел не туда! А все потому, что начал прижимать вас, евреев, выдумывать несуществующие заговоры и терроры. А когда правили бал ваши Троцкие, Свердловы, Зиновьевы, Кагановичи и Ягоды, тогда все в порядке было!

— Валя, опомнись, ты что, с ума сошла? — закричала Надя в страхе. Она готова была позатыкать им рты.

— Нет, постойте, не все. А первые начальнички наши: Берман, Фельдман, а великий «изобретатель» лагерей — Навталий Френкель?

— Кто ж виноват, что евреи на голову выше и талантливее других наций? Они первыми осуществляли самые передовые идеи человечества, кстати, в том числе и христианство.

— Да уйметесь вы, наконец, или я выгоню вас обеих! — яростно орала Надя. Но ее никто не слушал.

— Нация паразитов, они не могут существовать сами по себе, они должны сидеть на хребте у сильных народов.

— Это же чистейший фашизм, вы дети Розенберга, нацистские выкормыши. Людоеды-расисты.

— Да заткнитесь вы, наконец! Из-за вашей болтовни я не намерена получать срок. Мне хватит своего, — гневно стучала по столу ножом Надя, стараясь унять разбушевавшихся зечек.

— Товарищ Мехлис опубликовал доклад дегенерата Ежова. Читали «Правду» и восхищались! «Нет ни одного; государства, где органы безопасности были бы так тесно связаны с народом!» —

процитировала со злорадным пафосом Валя. — Позор! Сыск тесно связан с народом! А? Что это? Вот и породили каждого второго стукача! Теперь сидите! Так вам и надо! — торжествуя, закончила Валя, одевая на ходу телогрейку и платок, схватила ведра и выскочила из хлеборезки.

— Ну и мерзкая баба, поделом ей срок! — воскликнула, опешившая от такого натиска, Зубстантив.

Надя, радуясь благополучному исходу, (никто не слышал, не зашли дежурняки), сказала миролюбиво:

— Что вы! Обыкновенная немка.

— Не немка она! Она и говорит по-немецки с нижегородским акцентом!

— Вот до чего доругались! Уж и немка стала ненастоящая! — против воли засмеялась Надя и с большим облегчением проводила Зубстантив, от греха подальше.

Валя вернулась с кипятком, все еще взбудораженная «классовой борьбой», как она сказала про себя.

— Между прочим, там вам посылка пришла, список второй день висит.

— Приятная новость! Значит гульнем, подружка, — оживилась Надя. Неприятный осадок от перебранки мгновенно улетучился. — На носу Восьмое марта!

— Знаете, я должна покаяться, — сказала Валя и приготовилась мыть полы. — Я вас в первый момент тоже за еврейку приняла — рада, что ошиблась!

— Подумаешь, какое дело! — Надя с недоумением пожала плечами. — Ничего удивительного нет. Меня многие принимают за кого хотят: за еврейку, за цыганку, за татарку.

Вольтраут удивленно вскинула светлые бровки.

— И вас это не обижает?

— Обижает? Почему? Вовсе нет! Петь цыганку Кармен или еврейку Далилу моя голубая мечта, — вздохнула Надя и повторила усвоенное от Дины Васильевны: — Существуют две нации на свете: люди порядочные, благородные, высокие духом и люди подлые, низкие, с подлой душой. Плохо быть подлыми!

— Как все хорошо у вас, Надя! Все по полочкам разложено. Черное — белое, плохое — хорошее. Среднего не бывает и полутонов тоже. — Валя насмешливо прищурилась.

— Ошибиться на полтона, значит сфальшивить! — возразила Надя и ловко поддела кочергой большой кусок зашлаковавшегося угля. — Пойду на почту за посылкой!

— А вот и наша артистка! — приветствовала Надю Нина Тенцер, заведующая почтой.

Народу было мало, и она встала в сторонку, ожидая своей

очереди. Нина быстро орудовала ножом, вспарывая обшивку посылки, а затем, гвоздодером открывала крышку и вываливала содержимое на стол. Новый начальник режима без особого внимания просматривал немудреные продукты и командовал:

— Забирайте!

— Подходи, Надя, — пригласила Нина и поставила на стол обшитый мешковиной ящик, где маминым почерком был написан адрес. Надя невольно протянула руку и дотронулась до фиолетовых буковок, выведенных так аккуратно мамой. Сердце ее заныло, и противно защипало в носу — тревожный знак непрошенных слез. Она быстро заморгала, отвернулась, чтоб не видеть обратного адреса и встретилась взглядом с начальником режима. И смутилась… Ей показалось, что он смотрел на нее чуть дольше и чуть внимательнее, чем ему полагалось смотреть на заключенную, с недозволенным интересом, с затаенной симпатией.

— Концерт восьмого будет? — спросила Нина, кромсая без сожаления мешковину с лиловыми буквами.

— Не будет, Корнеев запретил.

— Чего так? Почему это?

— Работать надо, и без концертов очень весело живем, — ответила Надя и осеклась. Рядом стоял начальник режима — Клондайк, прозванный так с легкой руки Вали. — Теперь только к Первому мая.

— А-а… — разочарованно протянула Нина. — А ты будешь петь?

— Буду…

— А что?

Надя мельком взглянула на режимника, и тут случилось непредвиденное. В его глазах она увидела вопрос, он тоже спрашивал: «Что?» И Надя, не в силах отвести своего взгляда от его лица, сама того не желая, ответила ему:

— Еще не знаю!

— Спела бы когда-нибудь «Калитку»! Страсть как мне нравится, — попросила Нина, выкладывая из ящика на стол всякую домашнюю снедь.

И опять Надя заметила: он тоже ждал, что она ответит. «Зачем он так смотрит? Зачем?», — заволновалась мысленно Надя и забыла, о чем ее спросили.

Проверяя в посылке вещи, она видела, как вспыхнуло огнем лицо и даже уши у него, когда он извлек из пакета лифчик и трусы. Схватив в охапку свое имущество, сгорая от смущения, она бросилась к двери и чуть не сбила с ног опера Горохова.

— Ты что это, Михайлова, иль коньяк в посылке получила? —

вполне миролюбиво спросил опер.

— Извините, пожалуйста!

— Зайди ко мне сейчас!

— Зайду, гражданин начальник!

А по дороге в хлеборезку все думала: «Как его моя немчура окрестила? Клондайк! И еще сказала: какое лицо, не прибавишь, не убавишь! Эталон!»

В хлеборезке Валя навела такую чистоту в ее отсутствие, просто можно табличку вешать «стерильно». И когда только успела!

— Ай да Валя, молодец! Вот, держи, нам с тобой посылка к Восьмому марта! Я в клуб на минуту забегу, взгляну, что там делается!

Уже издалека было слышно, как кричала и сердилась на хористок Нина-аккордеонистка:

— Ужас, ужас! Из рук вон плохо, кто в лес, кто по дрова. Я же слышу, вы нарочно корежите слова. «Родина моя», вместо «неприступна» вы поете «и преступна», всех с ходу в карцер посадят, если на концерте так споете…

«Зря она волнуется, хотят девчата подурачиться для смеха, на концерте все равно споют хорошо», — и вспомнила: «Опер велел зайти. Интересно, что ему понадобилось?»

Горохов был у себя и тотчас предложил стул.

— Садись! — А сам продолжал рыться у себя на столе, перебирая какие-то бумаги. Наконец он нашел то, что искал, не спеша положил в папку, закурил и протянул коробку с папиросами Наде.

— Ты ведь не куришь, наверное?

— Нет, спасибо!

— Это ты молодец, что не научилась. В лагере все курят.

«Не за тем позвал, посмотрим, что дальше», — решила про себя Надя.

— Как твоя хлеборезка? Справляешься?

— Пока справляюсь. «Опять не то». Помолчали.

— У тебя теперь помощница?

— Да.

— Как она? Ничего? Работает? Доверяешь ей? Все-таки хлеб, материальная ценность.

— Доверяю, а почему нет? Она честная.

— Это хорошо… — протянул задумчиво опер и вдруг быстро нагнулся к самому Надиному лицу и спросил: — А ты не заметила, не получает она от кого-нибудь письма? Записки? Или, может, сама пишет, минуя нашу почту. Я имею в виду нелегально?

«А вот теперь то самое! Держись, Надя! Не навреди болтливым языком себе и другим» — шепнул бес.

— С кем же ей переписываться? — удивилась Надя и даже брови домиком сделала. — У нее ни родных, ни знакомых.

— Ну, этого мы с тобой знать не моги! Ты бы все-таки поспрашивала ее, во время работы, например, друзья у нее какие остались и где?

— Ни к чему мне, не мое это дело.

— Точно, не твое, а все-таки, почему бы не поинтересоваться?

— А некогда мне разговоры заводить. Писем мы в хлеборезке не пишем, а когда надо, я в КВЧ писать хожу. Там и чернила и ручки…

— Ты про себя говоришь, а я про нее спрашиваю!

— Может, она и пишет кому, только я этого не знаю, — решительно заявила Надя, — и вообще чужими делами не интересуюсь.

Горохов отвернулся от нее и некоторое время барабанил пальцами по стеклу своего письменного стола, словно обдумывая что-то, потом резко поднялся и сказал:

— Так вот, Михайлова, разговор у нас с тобой никак не клеится. Только помни и знай! Если ты ей хоть одно письмо или записку за зону пронесешь, пеняй на себя. Понятно? Я ясно говорю?

«Куда еще яснее», — подумала Надя, но вслух произнесла:

— Ясно!

— И разговор наш чтоб между нами остался, поняла?

«Слава Богу, кажется, он не рассердился на меня», — решила она и, осмелев совсем, доверительно сказала ему:

— Я все поняла, только вы, гражданин оперуполномоченный, меня к себе не вызывайте, а то люди от меня шарахаться будут и разговаривать бояться будут, подумают, что я… знаете… э-э, — и не договорила, испугалась, так переменилось лицо у Горохова.

— Что? — заорал он и так саданул кулаком по столу, что подпрыгнул весь чернильный прибор и пресс-папье. — Много на себя берешь, Михайлова! Нужно будет — и вызову, не забывайся, кто ты есть!

«Вот это верно! Не забывайся, кто ты есть! — слышится Наде окрик Горохова. — А я забылась, лишнее сказала, прав он! «Всяк сверчок знай свой шесток», мой шесток не подличать. Тебе, опер нужно, ты и ищи, за это тебе деньги платят, а мое дело, чтоб вовремя хлеб доставить, нарезать да чтоб недовесу в пайках не было».

К вечеру пришла Валя помогать хлеб развешивать, довески на лучинках к пайкам прикалывать, чтоб не потерялись. Страсть как

хотелось поделиться с ней о своем разговоре с Гороховым, но промолчала: обещала не болтать, надо сдержаться. С опером шутки плохи — одно его слово, и зашагаешь «шейным» маршем на общие с лопатой.

Кончался март, ждали потепления, но неожиданно валом повалил снег. Каждые утро и вечер выходили бригады на расчистку дорог и железнодорожных путей.

«Хлебушек с неба падает», — говорили бригадиры. Это была не тяжелая работа — чистить завалы от снега, и можно было «заряжать туфту». Прорабы злились, кричали, что бригадиры съели весь снег по всей Воркуте, но наряды закрывали — попробуй учти, сколько снегу выпало? Нормы огромные, но и снегу полно!

ОН…?

Прошу вас не дивиться,
Что рабы и пьют, и любят…

Плавт, Стих.

Но вот однажды после осатанелых буранов и метелей, выехав за ворота, Надя увидела, что снеговая круговерть прекратилась, ночью выпал легкий, пушистый снежок и как белым мехом, покрыл дорогу и окрестные просторы тундры, а яркое, уже весеннее солнце на чистом, без единого облачка, голубом небе отражалось миллионами искорок на снегу. Впервые она подумала, что тундра тоже по-своему бывает очень красива, и что уже больше полугода она здесь, в Воркуте, и, кажется, начинает привыкать к жизни, которая раньше показалась бы ей невыносимой, а все-таки она жива-здорова, и все могло быть намного хуже.

С некоторых пор Надя стала замечать: зачастил к ним в хлеборезку начальник режима. Теперь он носил кличку Клондайк. Все начальство в лагере имело свои клички: майор Корнеев — Черный Ужас; начальница КВЧ — Мымра, опер Горохов — Кум-Мартышка, начальник ЧОС — Жеребец (иногда Стоялый); начальница УРЧ — Макака-Чекистка, словом, обиженным никто не был, всем дали прозвище.

Каждое свое дежурство он после обычного «здравствуйте» подходил к готовым лоткам, вежливо просил Надю: «Положите, пожалуйста, вот эту пайку на весы», потом другую. Сам никогда не хватал руками, как ЧОС или другие дежурные, а больше глядел на нее, чем на весы. Иногда просто наблюдал, как ловко орудовали девушки, постояв так минут пять, говорил «до свиданья» и уходил. После его ухода девушки давали волю языкам, злословили и смеялись до упаду, хоть и чувствовала Надя себя «не в своей тарелке». Завидев Клондайка в зоне или на вахте, она спешила всячески избежать встречи с ним, или уж если случалось сталкиваться нос к носу, старалась смотреть в противоположную сторону, но однажды он остановил ее:

— Михайлова, подойдите сюда! Надя подошла.

— Вы почему не здороваетесь со мной? Объявили бойкот?

Ей очень хотелось крикнуть: «Не хочу, изыди наваждение», — но вместо этого она покраснела и молчала. «А что ответить?»

— Во-первых, я все-таки начальник режима, во-вторых, это просто невежливо.

— Простите, я вас не заметила.

— Неужели? Вот обидно!

Надя подняла голову и, наконец, взглянула ему прямо в лицо. Глаза его, голубее весеннего неба, смотрели, улыбаясь искренне и весело, совсем не так, как «положено» начальнику, выговаривающему зечке.

— Давайте будем здороваться, а?

И тут вдруг не разумом, а каким-то совершенно другим чувством она осознала: что-то происходит между ними непонятное, не положенное режимом, запретное, но от чего можно говорить с ним не как с другими вольняшками. И, осмелев, уже не скрывая насмешки, она спросила:

— Здороваться будем за руку?

— Когда-нибудь обязательно, — пообещал он.

Неизвестно, чем бы кончился их разговор, нарушая все лагерные приличия, но, на счастье, к нему подошла дежурнячка Галя Кузина и попросила подписать какую-то бумагу.

— Можно идти? — спросила Надя.

— Идите!

Вечером на репетицию в столовку пришел Клондайк с двумя дежурнячками. Ночная смена завода вышла к 8-ми вечера, все были ощупаны, обысканы, пропущены за вахту, делать дежурным до утра было нечего, поэтому приходили в клуб, смотреть, как готовился концерт к 1 Мая.

«Приперлись, — неприязненно подумала Надя. — Не мог один прийти, тащит шмоналок с собой!» Почувствовав укол легкой обиды, она подошла к Нине:

— Горло у меня болит, я пойду к себе…

Нина взглянула в зал и по-своему поняла протест своей солистки. Всегда готовая поддержать любой афронт, она объявила:

— Расходитесь, девочки, репетиция закончена. А Наде шепнула:

— Уселись чинно в ряд, пришли в крепостной театр. Фигу им, пусть гуляют.

За полчаса до отбоя, как всегда точная, пришла Валя. Надя выхлопотала ей и себе у ЧОСа телогрейку, байковое, в синюю клеточку, платье, хоть арестантское, зато все новое и чистое. Теперь «немчура» выглядела очень неплохо. Даже ЧОС, увидев ее как-то, сказал:

— Отъелась твоя «фон барон», морда круглая стала.

Надя, конечно, такой сомнительный комплимент не передала. В хлеборезке, где каждый грамм на счету и всегдашняя угроза недовеса — не «отъешься». А те угощенья, которые

посылали пекари, никак не способствовали ожиренью. Спасибо еще, что Валя взяла бразды правления в свои руки: бегала с котелками в столовую, где раздатчицы всегда плескали лишний черпак или кусок трески. Благодаря ее экономии посылки, что изредка получала Надя, продлевали срок своего существования.

— Между прочим, сейчас Клондайка встретила, — сказала Валя, аккуратно счищая с валенок остатки снега. — Как ему к лицу белый полушубок! Просто заглядение.

Надя ожесточенно колотила кочергой по куче зашлаковавшегося угля и даже головы не повернула, сделала вид, что очень занята и не слышит.

— Он дежурит сегодня, наверное, к нам заглянет… Слышите?

— Слышу! И не разделяю твоих восторгов. Он что-то замыслил, этот Клондайк. Ходит, вместо того чтобы дремать на вахте, как другие, проверяет, не к добру, — с притворной озабоченностью сказала Надя.

— Вы что, серьезно? Не понимаете, зачем он ходит? — спросила с недоверием Валя, подбоченившись, точно как деревенская баба перед началом перебранки.

Надя стойко выдержала ее насмешливый, колючий взгляд.

— Нет, ходить им сюда положено, пусть, но уже не каждый раз.

Немчура не выдержала, засмеялась,

— О, святая простота! Наивность или глупость? Влюбился он! Ясно, как Божий день!

— Вот глупости! — вспыхнула Надя. — В кого?

— В вас, в вас, милая! Да, да, и не делайте больших глаз! Я давно заметила, он к вам неравнодушен.

— Ерунда! Чушь собачья! Просто от нечего делать ходит, проверяет как работаем, это их обязанность, смотрит…

— Вот именно! Смотрит! А в Библии от Матфея сказано: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем!»

Надя надула губы, она не любила, когда бесцеремонно лезли ей в душу, копались в сокровенном.

— Ну, «в сердце своем», положим, не страшно! Можно пережить.

— «Страшись, Офелия, страшись, беги на выстрел от взаимности», — загробным голосом произнесла Валя, но, заметив, что ее напарница сердится, поспешила разрядить обстановку.

— Бог с вами, Надя, вы, я вижу, недовольны моей шуткой, — как можно проникновенней сказала Валя, придав лицу огорченное выражение. — Но подумайте сами, — продолжала она. — Молодая, красивая девушка и молодой красавец мужчина,

можно сказать, классовые враги, встречаются чуть не каждый день. Запретный плод всегда слаще. Опасности, запреты и непреодолимые преграды только возбуждают и будоражат храбреца. Ситуация по Шекспиру, Ромео и Джульетта. Сплошная романтика! Что может помешать возникновению пылкой любви?

— Майор Корнеев, капитан Горохов, — от души рассмеялась Надя и полным голосом на всю хлеборезку пропела: — Не по-ло-же-но! — Потом, спохватившись, сердито добавила: — Будет болтать, смотри! — кивнула головой на лотки с глянцевыми буханками. — Сколько еще резать, до подъему не успеем.

— Наши почикайки говорят: работа не волк, в лес не убежит.

Ромео и Джульетта. Что о них знала Надя? Очень мало. Шекспира не читала вовсе, в школе не проходили. Зато хорошо помнила прелестный вальс Джульетты, который так виртуозно пела Пантофель-Нечецкая, и чудо-музыку Чайковского к «Ромео и Джульетте», да еще музыку к балету Прокофьева. Все в музыке. И знала, что оба погибли, оставив на века память о своей великой любви.

Хитрющая была эта Вольтраут, так льстить умела. Слова какие находила! Все для обольщения. И хотелось ей верить, потому что была в ее словах желанная правда. «Влюблен», сказала она, но ни радости, ни особого ликования Надя не почувствовала, как будто в замочную скважину подсмотрела то, что ей и знать не полагалось.

Душевный покой ее был давно нарушен, при первом же соприкосновении с растерзанными человеческими судьбами, но и это открытие ничего, кроме тревоги, смятения и предчувствия беды, не внесло в ее жизнь.

Зубстантив недолго пробыла в КВЧ. Спустя чуть больше месяца за хлебом пришла бригадир из барака, где жила Зубстантив.

— Что-то давно я не видела Машкевич, она ведь с тобой в бараке живет? — спросила Надя.

— Нема ее, в карцеру вона.

— За что?!

— А вони з Рузею подрались.

— Не может быть! Она и драться не умеет, она учительница! — воскликнула возмущенная Надя.

— Ой, не кажи! Як вцепились в волосья, трохи не поубивались.

— Не путаешь ты о кем? Чего они не поделили?

— Рузя ей на низу места не дала, говорит: «Вы, жидивки, и в лагери робить не хочете, сходу в КВЧ влезла». Так эта Мария ей в самый лик сапогом вдарила! Ажно до кровавой сопли! А майор

сказав: «Бачу, вы дюже зажирели туточки и двух в карцер шуганул, обох, чтоб не обидно!

— Так они и там побоище устроят!

— Ни! Марика спрашивала Гуся, як вони там? Кажет, смирнехонько на нарах вместе сплят. Марика аж плачет: «Ой, лихо мени з этим этапом! Таких ушлых баб, как эта Машкевич, отродясь не видала!» Им карцер с выводом на работу, а вона нияк працювать не хоче, говорит, у мене суставний ревматизм, я такую лопату одну не подниму, не то что с мокрой глиной. Прораб ихний, Охрименко, рапорт майору написал. Корнеев вызывает ее, спрашивает: почему, такая-сякая, от работы отказываешься, а вона ему говорит: «Гражданин начальник, я от работы не отказываюсь, только я такую лопату поднять даже пустую не могу». А он кажет: «Почему другие могут, а ты не можешь?»

«Значит, воны сильнее меня, ослабла, десять месяцев на Лубянке була». Но майор не посочувствовал. «Вся бригада может, а ты нет? Врешь!» А вона опять свое: «Люди разные, вот, к примеру, Попов радио изобрел, вы слушаете, а сами ничего не изобрели, не можете!»

Вечером Надя забежала в столовку на репетицию. Мымра дежурила, а ей хотелось узнать подробности.

— Да, да! — печально проговорила Мымра. — Майор меня вызвал, так ругался, думала, плохо мне станет.

— А вас-то за что? — возмутилась Надя. Ей жалко было Мымру, такой испуганной и подавленной ее не видали никогда.

— Я ему только намекнула, нельзя ли художницу вернуть, скоро 1 Мая, лозунгов бы нарисовать надо. А проку от нее на общих все равно нет. Так он до хрипоты орал: «Полно КВЧ бездельников, всех разгоню на общие!» Насилу унялся.

— Вот самодур-придурок, — обозлилась Надя.

— Что ты, что ты! — зашептала Мымра. — С него тоже план требуют. Прораб-то вольный.

Позже Надя узнала: отправил майор неугодную бунтарку Зубстантив на этап в Инту.

— В Инте теплее, — оправдывалась Мымра, — и работа не такая… — она хотела сказать «каторжная», но тут же поправилась и сказала: — трудная. ОЛП—инвалидный, а с них что спросишь?

Клондайк по-прежнему в свое дежурство заходил в хлеборезку и, если заставал Надю одну, здоровался и, не оставаясь ни минуты дольше, чем «положено», продолжал обход. Когда же случалось быть Вале, он чувствовал себя уверенней и свободней и даже вступал в разговор, что было против правил, «не положено».

Первое мая и в лагере праздник, даже если одни женщины.

Выдали сахар и белую булочку, не больше донышка от стакана, а, главное, не погнали на работу. Вывели за зону только «кирпичников».

— Чтоб ему сгореть! — вопили зечки, собираясь на работу.

Хотели еще вывести погрузку, но начальник гарнизона охраны, на радость бригадам, не дал больше конвоиров. Столовая закрыла пораньше раздатку. Надо было убрать в сторонку столы, расставить скамьи. Вечером концерт! Как всегда, первые ряды для вольняшек. Начальство с женами, гарнизонные офицеры и свободные от караула простые охранники. Приехал и Фомка со своей хорошенькой кривоногой Катей. У него радость, сияет весь, как медный самовар. Сын родился! На самом краешке второго ряда примостился Пятница, тоже пришел на концерт. А куда же им деваться? Скукота зеленая! До города далеко, вот и идут все вольняшки в зону на зечек глазеть, жен своих раздражать. Да и есть что посмотреть! Девушки в хоре одна другой краше, как на подбор, и все молодые.

— Небось, самых красивых со всего свету наловили! — громким; шепотом заметил Пятница.

Зечки засмеялись, вольняшки зашикали — не одобрили Пятницу.

Напрасно волновалась и сердилась Нина. Концерт открывал хор, свежие звонкие голоса звучали чисто и стройно.

Родина моя, мирная, любимая!
Нерушима, неприступна…

или нерушима и преступна, никто разобрать не мог, да и не старались. Достаточно было просто смотреть на сцену, где пели красавицы рабыни. Потом Танечка Палагина читала стихотворение «Жди меня», обращаясь к кому-то далекому. В зале плакали. Одни от красоты и уместности стиха, другие, кто мало понимал русский язык, от жалости к рабыне Танечке. Сколько ей было лет? Не больше 20—22-х. Тогда, в этапе, Надя слышала, как она рассказывала своей соседке, немке Бригитте Герланд, что осудил ее Военный трибунал на 10 лет, и еще с конфискацией имущества. А было у Тани, как написали в списке конфискованных вещей: «Два платья, одно из них сарафан».

Так размышляла Надя в ожидании своего выхода на сцену, глядя на тонкую, высокую фигуру Тани, в чуть коротковатом ей платье. Но при таких-то ногах это было позволительно. И неудивительно, что какой-то там летчик-француз влюбился в нее. Да и кто бы не влюбился в такую? Однако Таню обвинили в антисоветской агитации и пропаганде! «Наверное, она похвалила

этого француза, или сказала о нем хорошие слова, и это посчиталось как агитация и пропаганда, — объяснила себе Надя. — Так бывало».

Что пела она в тот вечер, вспомнить не могла, запомнилось ей только, что долго не отпускали ее после украинской песни «Ганзя», и особенно понравилась старинная цыганская «Дорогой длинной».

Валя из черных хлебных крошек на маргарине испекла коврижку.

— Гулять так гулять! — решила Надя и достала из ящика, который был одновременно и ее чемоданом, банку шпрот из посылки, прибереженную на всякий «пожарный»; случай, и крохотный квадратик цейлонского чая.

— Сегодня дежурит поклонник вашего таланта! А не пригласить ли его к нашему столу? — пошутила Валя и достала из печки шипящую, закопченную кастрюльку с кипятком, потом аккуратно открыла пачку с чаем и маленькой ложечкой отмерила чай. Надя, сделав вид, что не имеет понятия, о каком поклоннике речь, промолчала.

— Вот будет потешно, как завертится! И хочется, и колется!

— Зачем? — не выдержала Надя. — Я уверена, откажется!

— Струсит? Испугается?

— Не знаю, — Надя пожала плечами. — Просто не положено им!

— Не хотите посмеяться?

— Не хочу! А что тут смешного? Кто мы такие, чтоб званые чаепития затевать? Моя тетя Маня говорила: «Всяк сверчок знай свой шесток!»

— Я вас понимаю! Пощаду поклоннику!

— Много о себе понимаете, мадам Валивольтраут фон Шлеггер! Надеетесь с начальством чаевничать? Много чести!

Валя было приготовилась ответить в том же духе, что-то ядовитое, но в тамбуре послышались шаги, дверь отворилась и вошел Клондайк.

— С праздником, девушки! — весело сияя глазами, зубами и всем своим видом, приветствовал он хлеборезок.

Надя поднялась с топчана, а Валя так поспешно вскочила с колченогой табуретки, что с грохотом опрокинула ее на пол.

— Здравствуйте, гражданин начальник! — с радостным выражением лица пропела она. — Не откажите с нами чайку выпить во здравие революционного праздника трудящихся всего мира! Только вот сахарку нет, — с сожалением добавила она. — Пьем по-восточному, без ничего!

Надя похолодела от страха: «С ума сошла, нахалка, сейчас

он…»

— Здорово у вас получается! Как призыв с трибуны! Как тут откажешься? — с улыбкой произнес Клондайк, и, словно угадав их «коварный замысел» и подвох, спросил:

— Так куда разрешите? — и, не дожидаясь ответа, откинул полы шинели и уселся на топчан прямо рядом с опешившей Надей. Пока она размышляла, стоит ли ей отодвинуться подальше от него, Валя уже протянула ему полную алюминиевую кружку жиденького чая. Правда, он только раз пригубил свою кружку и тотчас поставил обратно на стол. Потом, перехватив на себе испуганно-тревожный взгляд Нади, а она явно не одобряла его, понимающе улыбнулся ей и встал.

— Благодарю вас, было очень вкусно. Всего хорошего, и ушел.

— Валя, послушай! А ведь он нас одурачил! Хотели посмеяться над ним, а вышло? «Благодарю вас, очень вкусно», а? А ты уж постаралась, полную кружку набухала!

— Похоже, что так! — согласилась Валя.

— Факир был пьян, и фокус не удался! И, чтоб скрыть охватившее ее волнение и спрятать то ликующее, что вихрем поднялось в ее душе, схватила нож и начала колоть лучинки для хлеба, чтоб накалывать довески, но не могла унять дрожавшие руки и занозила палец. Вытаскивая занозу, она не переставала удивляться: «А ведь не струсил, вот!»

— Знаете, я обратила внимание на одну вещь, — сказала Валя, убирая со стола посуду.

Ожидая услышать что-нибудь гадкое опять, насмешку или язвительное замечание в адрес Клондайка, Надя умышленно не проявила любопытства, не спросила, ждала.

— Я говорю, что заметила, он никогда не делает злой морды при виде начальства, как другие псы…

— А почему он должен делать злую морду? — возразила Надя. Она слегка обиделась за «псов».

— Нет, конечно! Разве вы не замечали — каждый из них, оставаясь наедине с нами, зечками, человек как человек, но только стоит завидеть начальство или просто своего «собрата по оружию», тут уж он старается изо всех сил показать преданность свою режиму: орет даже без нужды, страху нагоняет, чтоб видели, какой он грозный и строгий. Дескать, не забывайся, зечка, знай наших!

— Верно! — согласилась Надя. — Собачья работа! Собака то же, с хозяином когда, лает, кидается, сторожит, хлеб отрабатывает!

— Вот и я говорю. А Клондайк всегда одинаковый со всеми. Важно-серьезный, не идет, а выступает. Глубоко озабочен

доверенным ему делом: зечек стережет, чтоб не нарушали режим.

«Смейся, смейся, немчура, я-то знаю, что он не такой», — позлорадствовала Надя, но вслух ей ничего не сказала. Зачем лишний раз свое превосходство показывать, и так ее люди обидели сроком.

После Дня Победы, который очень бурно праздновали вольняшки и даже; от Горохова несло спиртным, нежданно-негаданно поднялась злющая пурга. За одну ночь опять, как зимой, перемело все дороги. Теперь уже Надя возила хлеб на телеге, и трудно приходилось Ночке тащить вязнувшие колеса по снежным наметам. Старая телега подпрыгивала на кочках смерзшейся грязи, угрожая в любой момент развалиться. Грохот и скрежет стоял на всю тундру.

— Москву испугаешь! Подумают, опять война! — смеялись пекари.

Но уже через неделю выплыло из облаков солнышко и быстро подобрало весь снег. Как-то раз, возвращаясь с пекарни, Надя увидела у вахты две озябшие на ветру женские фигурки. Они разговаривали с Гороховым. Встреча с опером всегда неприятна, и Надя, спрыгнув с телеги, поспешила на вахту отдать пропуск. Пока вахтер подошел к окошку, она успела разглядеть женщин. Горохов скосив глаза куда-то вдаль, словно стыдился смотреть на них, не переставая твердил:

— Я сказал, не положено! Повторяю еще раз: приказ начальника генерал-майора Деревянко. Не положено.

Одна из них, та, что помоложе, с заплаканными, красными глазами, утирала платком лицо и горячо убеждала его в чем-то.

— Говорю вам, не положено! Передачу сдадите на вахту, а свиданья не положено, — Горохов отвернулся и, нагнув голову, скрылся на вахте.

— Девушка! — обратилась одна из них, завидев Надю. — Умоляю вас, передайте Палагиной Тане, что к ней мать приехала.

— Из Москвы? — ахнула Надя.

— Да, пожалуйста!

Ворота отворились, и лошадь с телегой проехали в зону, а к вахте, на ходу надевая телогрейку, уже бежала Таня. Кто-то успел сообщить ей, и она торопилась, хоть на миг, пока не закрылись ворота, взглянуть на дорогое лицо матери или помахать рукой через проволоку зоны, если вертухай не прогонит обеих выстрелами с вышки.

«Ишь ты! Не положено! Да кто же этот царь и Бог, который указал, что положено, а что нет? Кто дал ему такое право распоряжаться тысячами людских судеб и даже жизней, загнав их в бараки за колючую проволоку? Кто этот исчадье ада,

выдумавший законы, по которым Таня не может повидать даже издалека, через предзонник, свою родную мать, а женщина, проделав путь в пол-России, не смеет взглянуть на свою дочь, и так в течение десяти лет! За что? Нет! Надо писать прямо лично товарищу Сталину! Он сам имеет дочь Светлану. В школе, в Красном уголке висит фотография: Иосиф Виссарионович на даче где-то на юге. Он обнимает миловидную темноглазую девочку, и подпись… Не может быть, чтоб он не посочувствовал несчастной матери!» — возмущалась Надя, яростно швыряя лотки с хлебом.

Тогда она еще верила в него и воспринимала жизнь такой, какой учили ее школа, кино, радио и в первую очередь песни. А песни были ее жизнью, частью ее самой. Да разве не убеждала ее Любовь Петровна Орлова, что нет в мире другой такой страны, где так вольно дышит человек? С великим усердием распевали юные пионеры слова, от которых слезы наворачивались на глаза:

И звезды сильней заблистали,
И кровь ускоряет свой бег,
И смотрит с улыбкою Сталин,
Советский простой человек.

Конечно, она не могла не видеть многое, что грязной тряпкой хлестало по лицу, надолго оставляя в душе неприятный осадок; и нищих, и калек в замызганных шинелях, со следами оторванных погон, и убогих старушек, робко просящих милостыню, и бесконечные очереди в магазинах. Но все это были, по ее разумению, временные трудности, последствия разорительной войны. И даже таинственному поселку дач НКВД, за сплошными зелеными заборами, куда под выходной день подъезжали сверкающие черные лимузины с важными мужчинами и роскошными женщинами, Надя находила объяснение, то были:

Мы бойцы наркомвнудела,
Нам республика велела
Не смыкать орлиный взор…

Жизнь их ежечасно подвергалась опасности. Везде их подстерегали враги народа, как частенько сообщало радио.

В июне тундра совсем освободилась от снега. Только кое-где на вершинах уральского хребта лежали белесые пятна — остатки снегов. Бурые, словно ряд медведей, протянулись цепочкой горы Урала с севера на юг. Теперь уже целый день не сходило с неба солнце. Дойдет до горизонта, окунется в тундру и опять

вынырнет, чтоб целый день по небу гулять. Птиц появилось видимо-невидимо, певучие, крикливые, всякие… Крошечные карликовые березки, чуть выше черничного куста, тоже покрылись листиками, как настоящие березы. Начальство перестало заходить в хлеборезку. Даже Клондайк и тот заглянет на минуту, поздоровается и назад.

— Испугались тараканы, света белого боятся! — заметила как-то Валя.

— А я думаю, просто убедились, что у нас никаких нарушений нет, чего зря себя беспокоить, — возразила Надя, и лед был сломан.

Два дня девушки не разговаривали друг с другом. Первый раз за все время их работы «кошка пробежала меж ними». Случай был пустячный, но от постоянных недосыпов нервы у обеих были напряжены, и достаточно мелкой искорки, чтоб возник взрыв, Дело было в том, что на днях поехала Надя на пекарню в своей телеге, колеса не мазаны, скрипит, кособочится. Ящик подпрыгивает, тарахтит. Хоть совсем развалился бы, может, почесались, сделали новый! Стояла долго, ждала, пока муку разгрузят. Привезли, как на грех, целый грузовик. Вышел Фомка, позвал в пекарню.

— Иди здесь! Что так на ветер, стоишь — раньше часа и не думай.

Мансур принес кружку пенистого кваса: — Попробуй, сестренка!

Постояла Надя, подпирая дверной косяк, посмотрела, как парни из квашни тесто на буханки разделывают. Кончили разгружать, освободился Мансур, отпустили машину и снова хлеб грузить, теперь уже Наде, 276 килограммов как и положено. Расписалась в ведомостях — и до свидания, теперь можно и домой, в зону. Мишаня сунул ей в руки горячий обломок хлеба.

— Брак, — пояснил он. — Вытаскивали из печи, — на пол шлепнулся!

Горячий хлеб требует аккуратного обращения. Это точно.

— Смотри, лошади не отдай, как в прошлый раз! Фома тогда на тебя обозлился, говорит: «Не дай ей больше, людям не хватает, а она скотине».

— Сам он скотина, — обиделась Надя, за что была награждена понимающей, доброй улыбкой Мишани.

— Горячий хлеб для лошади вредно, да и корове нехорошо.

— Спасибо, Мишаня! — а сама подумала: «Отъеду за поворот и угощу Ночку». А та уже повела бархатными ноздрями, задвигала губами, показывая черные, щербатые зубы.

— Но! Ночка! Поворачивай! — крикнула Надя, взяла в руки

вожжи, а под рукавицами, в которых хлеб грузила, письмо. Оглянулась вокруг — никого. Отъехала немного от пекарни, чтоб видно не было, и вытащила конверт, посмотреть: кому? На конверте надпись: «Хлеборезке». Почерк корявый…

«Это мне!» — решила она. Записок Надя получала много, да одни глупости в них. Пришлось просить девчат не таскать ей записки, зачем рисковать? Чего ради! «Не понесу в зону, неровен час обыщут», и разорвала конверт. — «Здесь прочту». А в конверте еще одно, другое, поменьше. Написано размашисто: «Прошу передать Шлеггер Нейштадт Валивольтраут». — «Что делать?» Вспомнила угрозу опера. «Ему, конечно, не отдам, и говорить нечего… Изорвать да бросить здесь, в тундре? Д вдруг там что-нибудь важное для нее? Родственники нашлись, однодельцы? Мало ли что! Нет! Я прочту, письмо, а ей перескажу, что там написано было». Вскрыла второй конверт, да опомнилась: «Что я делаю! Разве можно чужие письма читать!» Стала обратно лепить, заклеивать, только пятен от пальцев насажала. «Отвезу, рискну, отдам ей, пусть порадуется». На вахте дежурный кое-как взглянул на теплые буханки, поворошил сено в телеге, а саму Надю и смотреть не стали. Шура Перфильева — дежурнячка, новенькая, для вида вышла с вахты и обратно. Но Валя почему-то письму не обрадовалась или притворилась, что не рада. Кто ее разберет?

— Вот видишь ты какая, Валя! Я старалась, через вахту в лифчике тащила, а тебе не угодила, даже спасибо не сказала.

— Почему конверт открыт, кто его читал?

— Я хотела прочитать, чтоб через вахту не тащить, боялась!:

— Ну и что? Прочитали?

— Ничего! Не стала читать, так рискнула.

— Кто вам передал?

— Не знаю, в телеге нашла.

— Странно! — И до ночи молчала, не то дулась, как мышь на крупу, не то молча переживала, что в записке написано было. И только уже ночью, когда весь хлеб развесили, в ящики побригадно уложили и она в свой барак засобиралась, подошла к печке, письмо свое скомкала и подожгла. Смотрела долго, как влажная бумага тлела, потом кочергой весь пепел разворошила, чтоб и следа не осталось. Вместо того чтоб, как обычно, сказать: «До свиданья», спросила:

— Вы эту записку никому не показывали?

— Что ты, Валя? Иль угорела? Кому я могу твою записку показывать? — разозлилась Надя.

Вдруг Валя, уже совсем одетая, и халат сняла, подошла к Наде и опять спросила:

— А оперу Горохову не показывали? — а сама буравит ее

насквозь своими лисьими глазками.

От такого вопроса Надя совсем осатанела. Тряпку, которой стол мыла, об пол шмякнула и в слезы:

— Гадюка ты подколодная! Вот ты кто! Это тебе надо по операм бегать, чтоб срок свой на общих не вкалывать, а я и так на параше просижу!

Валя, не говоря ни слова, выскочила за дверь, а Надя тут же опомнилась и пожалела: «Зачем я так сорвалась? Не нужно было обижать ее! Все же что-то было в этом письме такое, что ее растревожило. И откуда ему взяться было? Ясно, что кто-то из пекарей подложил, вот только кто? А, может быть, шофер грузовика? Тогда письмо это из города, что маловероятно. Верно только, что было оно важное для нее и не оставило равнодушной, судя по тому, как скоро постаралась его сжечь».

Наутро Валя пришла и, как ни в чем не бывало, весело поздоровалась. Но надо было выдержать, показать немке, что обижать людей подозрением нельзя, поэтому Надя только сказала ей холодно:

— Еду за хлебом, управляйся сама.

Было очень трудно держаться с достоинством, изображать обиженную, когда все давно забыто и простилось, но…

На следующий день Валя подошла смирнехонько и, протянув, руку, сказала:

— Ну, будет! Давайте мир! Я виновата, сказала обидную глупость. Простите меня!

У Нади даже слезы брызнули, до того расчувствовалась, сказала только:

— Валя, Валя, ну как ты могла спросить такое?

— Извините! С переляку, наверное.

После этого был заключен мир, и Валя побежала в кипятилку за кипятком, скрепить мир чаепитием.

В июле воркутинское лето в разгаре. Тундра изумрудно-зеленая, и дни стоят теплые, совсем как в Подмосковье. Не верилось, всего два месяца назад бушевала сумасшедшая пурга, поднимая жгучие вихри снега до самого неба. Вечерами в санчасть тянулись работяги за освобождением, сказывалась долгая, холодная зима. В туберкулезном отделении госпиталя все койки были заняты, кое-где появлялись признаки цинги и пеллагры. У Вали шатались передние зубы, и кровоточили десны. Надя старалась не просить из дому, зная, как нелегко матери собирать посылку и возить на почту в Люберцы, однако на этот раз написала: «Мамочка, дорогая! Очень прошу, пришли, пожалуйста, глюкозу с аскорбиновой кислотой для внутривенного, — для Вали.

Хлеборезка тоже обветшала за зиму. Штукатурка на стенах кое-где осыпалась, от бесконечных топок потрескалась печь, колосники прогорели, и краска на полу облезла. Требовался ремонт. Начальник ЧОС сразу заявил:

— Не надейтесь! Рабочих нет, и взять неоткуда.

И верно, те две женщины, штукатур и маляр, были нарасхват. Решили ремонтировать своими силами. Надя составила список и отправилась к начальству просить краски, кисти и временное помещение для хлеборезки. В приемной толклись несколько человек, ожидая вызова. Нина-аккордеонистка тоже пришла хлопотать:

— Надо аккордеон в ремонт сдать, две клавиши западают, — Список видела? — обратилась она к Наде.

— Какой?

— Тебя в совхоз отправляют на сенокос.

— А кто хлеб возить будет?

— Найдутся без тебя, не первый год, — сказала, подходя к ним высокая западнячка. — Я тоже в списке.

— И куда?

— Точно еще сама не знаю. Наверное, опять в совхоз «Горняк» или на «Мульду». Каждый год твоей кобыле сено заготовлять ездят в совхозы. Чтоб ей сдохнуть, старухе!

— Почему это моей! Она на всех работает. А сдохнет, на чем хлеб возить? А воду в зону? Сахар? — возмутилась обиженная Надя.

— Давно пора грузовик завести. Все боятся шофера-мужика в зону пустить.

— А как же? Бабы голодные, вдруг изнасилуют бедолагу!

— Пожалуй, запусти козла в капусту!

Дверь приоткрылась, и голова дневальной просунулась наружу.

— Тише, вы! Ржете, как кобылы!

— Давай, телепай отсюда!

— Не мешайте дневальной дремать, — понеслось ей в дверь.

Голова поспешно скрылась, но тотчас дверь распахнулась настежь, и вышел майор Корнеев, начальник ОЛПа, Черный Ужас.

— Приема не будет, — объявила дневальная.

Майор, нагнув голову вниз и ни на кого не глядя, вышел вон.

— Какие мы ему отвратные, даже смотреть на нас противно, — сказала, скорчив вслед ему рожу, маленькая кудрявая девушка из хористок.

— А ты еще ему «здравствуйте» прокукарекала. Старалась аж громче всех, как на концерте!

— Черт бы его взял! Третий день не могу попасть на прием,

как в Кремль, — злилась высокая зечка.

— Ступай, срок большой, еще успеешь не к одному сходить, — сказала, выпроваживая всех, дневальная и заперла дверь.

Через три дня ранним утром шестеро зечек-малосрочниц (до 10-ти лет) стояли с пожитками около вахты, ожидая свои формуляры. Совхозная машина уже пыхтела у ворот. Сопровождающий конвой — совсем молодой рыжий парень, ростом чуть выше своего автомата. Лицо его, густо усеянное крупными веснушками, было напряженно-строгим. Всем видом он старался показать, что понимает ответственность за порученное ему нелегкое дело. Наконец, с вахты вышел лейтенант с формулярами, без них никуда не денешься — это лагерные паспорта. Он окинул строгим взглядом собравшихся и вдруг весело рассмеялся.

— Смотри, сержант, пропадешь с ними! Ишь каких подобрал!

— Не пропаду, товарищ лейтенант! Мне бы только их до места довезть, а там как хочут.

Лейтенант передал формуляры, предварительно опросив всех присутствующих, и хотел еще что-то сказать конвою, но в это время шофер дал газ, и машина резко рванулась вперед так внезапно, что бедняга сержант не удержался и повалился в кузове прямо вместе с автоматом к Наде на колени.

Девушки подняли отчаянный визг и помогли подняться сконфуженному конвоиру, который тут же схватился за свой автомат, гордо выпятив грудь колесом.

— Эй ты! Потише там! — крикнул он и застучал прикладом по крыше кабины. Потом повернулся к зечкам и, все еще красный от смущенья, сердито гаркнул:

— Разговорчики! Отставить!

СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЧУМ»

Маленькая подкомандировка, куда привезли зечек, называлась совхоз «Красный Чум» и была расположена у самого подножья Уральских гор. Цепь гор, все еще покрытая грязно-белыми шапками снега, слегка дымилась на солнце клочьями прозрачного тумана. Что-то первобытное и пугающее виделось Наде во всей этой грозной и давящей красоте.

Само же хозяйство, наоборот, выглядело приветливым и покойным, а небольшая зона со знакомыми вышками и вахтой и подавно, уютно и гостеприимно.

В дальнейшем «Красный Чум» захирел, стал называться просто «Чумом», а хозяйство переместилось ближе к железной дороге и уже потеряло свое поэтическое название.

Впрочем, «Чумом» он назывался потому, что с десяток лет тому назад здесь располагалась стоянка коренных жителей тундры, ненцев-оленеводов. Со временем основной корм оленей — мох ягель — был съеден и вытоптан, и оленеводы вместе со своими чумами покинули стойбище, перекочевав дальше на север, за Хальмерю, к отрогам Пай-Хоя, к полноводной и рыбной реке Каре.

И еще одно немаловажное обстоятельство заставило ненцев покинуть насиженные места: близость лагерей с их бесконечными побегами, в основном опасных уголовников — рецидивистов не могла не беспокоить смирных и миролюбивых аборигенов.

Небольшая совхозная ферма, благодаря необыкновенно сочной и обильной траве, не знающей засухи, была круглый год в изобилии обеспечена кормами для скота, что давало возможность снабжать если не полностью, то хотя бы частично молоком и мясом вольнонаемное население Воркуты.

Кроме того, хозяйство выращивало для вольных горняков и шахтеров редиску, капусту и другие овощи, которые успевали созреть за короткое полярное лето.

Начальство, в основном из бывших зеков, как правило, не из политических, но и не из отпетого ворья, в горячую пору сенокосов не гнушалось просить подсобников из «политических» с небольшими сроками.

— Возни с ними мало, трудятся хорошо, не воруют, — сказал о них агроном совхоза, — Не то, что уголовники!

Попасть туда большое благо: режим не строгий и молока — пей от пуза. Работа, правда, не из легких — косить траву иной раз приходилось по колено в ледяной воде. Облепленные мошкой и комарами руки и лица к концу дня опухали.

Директор совхоза, сам из «бывших зеков», встретил приезжих на вахте и сразу же спросил:

— Бесконвойные есть? Надя подалась вперед:

— Я!

— Пропуск с собой?

— Да!

— Пойдешь со мной! Остальные в барак, ждать бригадира… Завтракали?

— Да! Нет! Н-е-е-т! — вразнобой ответили зечки.

— Вас понял! — усмехнулся директор. — Тогда так! Десять минут на завтрак, пять на размещение в бараке и прочие потребности, пять на перекур, и на работу! Чтоб быстро!

Работяги очень хвалили этого директора: «человек!»

— Где работала? — по дороге спросил он Надю.

— В хлеборезке, хлеб возила с пекарни.

— Лошадью править можешь?

— Могу! И запрягать могу!

— Запрягать можешь? Хорошо! Годится!

Надю определили в помощники к старому, хромому инвалиду, с лицом, точно сошедшим с учебника литературы, вылитый портрет Некрасова. Такой же высокий, с залысинами, лоб, большие, грустные усталые глаза и жиденькая бороденка. Звали его Алексей Константинович.

— Из «бывших академиков», — как потом представился он Наде, протягивая сухую руку со скрюченными пальцами. — Плохи наши дела, помощница моя! — высоким фальцетом проскрипел он. — Я ждал, мне мужчину пришлют.

— Откуда вам их возьмут с женского лагпункта! — не совсем вежливо покосилась Надя на хлипкого старика.

— Вот и я про то, — не обращая внимания на ее тон, кротко сказал он. — Тяжело тебе, дочка, будет.

«И для чего таких в лагере держат, старый, больной, того и гляди, рухнет», — подумала Надя, решив, что не она, а он будет ее помощником.

Ее направили возить с фермы молоко на центральную усадьбу. Старик сказал верно: это была тяжелая работа, на износ. Бидоны с молоком в 20 литров нужно было поднять на телегу, потом на центральной усадьбе снять с телеги для отправки по назначению в город или на шахты, рудники, обогатиловку или цементный. Алексей Константинович помогал, как мог, но что с него взять? У самого в чем душа держится. В основном его работа заключалась ставить галочки в тетради, количество отправленного молока. Зато уж молока доярки приносили пить вволю, сколько влезет. Директор разрешал. «Лучше сами возьмут,

чем воровать будут, все равно не уследишь, да еще воды подольют», — резонно рассуждал он. В бараке на столе всегда валялась редиска, «воркутское яблоко». Это тоже разрешалось.

Три раза в день ездила Надя к дойке на ферму на своей лохматой, но сильной лошади. Она давно заметила: все животные в Воркуте были покрыты особенно густой и длинной шерстью. Лохматые лошади, лохматые собаки, длинноволосые коровы и даже свиньи имели длинную, густую щетину.

Телега на автомобильных колесах ходила очень мягко, чтоб молоко не сбивалось в масло. Пустые бидоны легко катились по приставленным к телеге доскам, но полные были чрезвычайно тяжелы, к вечеру ноги ее не слушались, подкашивались, не держали. Поясница болела, а руки, дрожали и противно ныли. Девушкам, ее попутчицам, доставалось не меньше. Сгребать, ворошить, метать в стога сено не так уж трудно, но целый день на солнцепеке, и когда бы еще не бесчисленные полчища комаров и мошки. Здесь, в тундре, они были особенно злые, крупные, величиной чуть не с муху, укусы долго чесались, расчесанные в кровь руки, лица и шеи покрывались болячками. И было их такое множество, что казалось, тундра звенит от их гуденья. Еще хуже была мелкая мошка. Черным облаком вилась она над людьми и животными, забивалась в волосы, уши, нос, а уж если попадала в глаза, так не приведи Бог, кричи караул! Жгло, как огнем.

Неделя прошла, но директор не отпустил зечек, как было договорено. Оставил еще на неделю. Девушки завыли в голос. Искусанные, с опухшими лицами и расчесанными болячками, они мечтали попасть обратно, будто в дом родимый, а не в лагерный барак.

На исходе второй недели Надя отвезла вечернее молоко, распрягла и отвела лошадь попастись до утра. Несчастное животное страдало от мошкары не меньше людей, едва почуяв свободу, валилось на спину и, смешно дрыгая в воздухе всеми четырьмя ногами, каталось по траве с боку на бок.

За эти две недели Надя устала от круглосуточного солнца и непривычной работы и, едва передвигая ноги, поплелась в зону. Еще издалека она увидела, как со ступенек вахты спустился мужчина в военной форме, и возможно, в другой раз она посмотрела бы, кто именно, но сейчас ее интересовали только нары в ее бараке. Военный направился прямо к ней, и когда она подняла голову, то узнала Клондайка. Он шел навстречу дружелюбно и радостно, как хороший знакомый, улыбался ей.

— Здравствуй, — сказал он, нарушая устав.

Приветствовать начальство полагалось ей первой.

— Здравствуйте! — через силу улыбнулась Надя. Невозможно

было не ответить ему улыбкой, глядя на его такое сияющее и взволнованное лицо. — Как вы здесь очутились? — Она чуть было не сказала «Клондайк».

— Приехал за вами, завтра всех домой повезу.

— Домой? — не поняла Надя.

— То есть в зону, на Кирпичный!

— А-а-а, — разочарованно протянула Надя. — А почему вы? Нас сюда сержант вез.

— Некому больше, все в разгоне, а сержант ваш этап сопровождает.

— От нас этап? Большой?

— Пятьдесят человек.

— И куда их, горемычных?

— В Инту, в инвалидный ОЛП.

— До свиданья! — заторопилась Надя, скорей новость рассказать в бараке.

— Подожди! — остановил ее Клондайк. — Я хотел сказать тебе…

— Извините, гражданин начальник, «вам», — поправила его Надя. — Да, да, «вам», не «тебе». Меня в школе учитель истории на «вы» величал, я так привыкла! — насмешливо сказала она и тотчас отвернулась, чтоб не видеть вспыхнувшего его лица.

Клондайк замер от такой дерзости и с изумлением посмотрел на ее профиль.

— Так я слушаю вас, гражданин начальник.

— Да, конечно, «вам». Я и хотел сказать «вам», то есть просить предложить пройтись!

— Что? — не поверила своим ушам Надя.

— Пройтись, погулять. Какой вечер теплый! — в полной растерянности произнес неуверенно Клондайк.

— Погулять? Пройтись по тундре с заключенной? Да? Я так поняла? — засмеялась тихонько Надя, почувствовав, что усталость ее как рукой сняло.

— А что? Нельзя разве?

— Мне можно, я бесконвойная, а вам, гражданин начальник, не советую! Вам не положено. К тому же вы без автомата, а я бандитка.

— Сегодня я последний вечер «гражданин начальник», завтра уезжаю в отпуск и целых полтора месяца буду «товарищ», а с такой бандиткой, как вы, я, пожалуй, справлюсь, — лукаво и озорно засмеялся Клондайк, посмотрев на нее, — и без автомата!

Сердце Нади запрыгало, как заяц по кочкам.

— Ну, если не боитесь, тогда пошли.

«Что это со мной делается? Только что едва ползла, а тут на

тебе!»

Вечера в тундре особенные, нигде таких больше не бывает. Далеко в России в это время уже стемнело, зажглись фонари на улицах, в окнах свет. А здесь светло, как днем. Солнце низко, где-то над самым Нарьян-Маром играет своими лучами, переливается. Птицы, каких только нет! И все кричат, поют, свистят, гомонят на все лады. Комары и мошка еще пуще оживились, приходится от них косынкой отмахиваться.

— Далеко в отпуск? — первая, нарушая молчание, спросила Надя.

— В Москву! — охотно поспешил ответить Клондайк.

— В Москву? — встрепенулась она. — Домой?

— Нет, я питерский. В Москву еду документы в институт сдавать.

— В институт! — эхом повторила Надя. — Какой?

— В юридический. Факультет при Московском университете. Я до армии туда поступал, а потом призвали…

«Полтора месяца тебя не будет, Клондайк, а потом прощай, Воркута», — Так уж потом назад не вернетесь? — как можно небрежнее спросила она и чуть не вскрикнула от радости, услыхав:

— Нет, почему же, обязательно вернусь, я ведь в заочный…

У самой дороги огромный штабель бревен. На этих днях завезли. В совхозе электричество от тракторного движка, в долгие полярные ночи очень неудобно. Теперь будут ставить постоянный…

— Давайте сядем, — предложила Надя. — Дальше не могу идти, ноги не идут.

— Да, конечно! — с радостью согласился Клондайк.

Очень хорошо они устроились на бревнах: их с вахты не видать, а им все видно, и по дороге кто идет, и с вахты кто смотрит в окошко.

Впервые Надя видела его лицо так близко от себя. И правда, красивое. Глаза большие, сияющие, такие голубые, прозрачные, как родниковая вода, и все в мохнатых закрученных темных ресницах, густых-густых и длинных. А лицо чистое и свежее, как у девушки. И вообще что-то девичье есть в его лице, где-то в изгибе губ или тонко вырезанных ноздрях прямого, с легкой горбинкой носа. Вот только подбородок мужской, твердый, упрямый, с ямочкой посередине. «Дивное лицо — сочетание нежности и мужества», — невольно залюбовалась Надя и тут же вспомнила! «Палач с ангельским ликом», «овчарка», «сторожевой пес».

И чем дольше она смотрела в эти прекрасные глаза, тем явнее чувствовала неприязнь, зарождающуюся в самых потемках ее

души. Ей вдруг захотелось сказать ему что-нибудь злое, ядовитое. Острая до слез обида защипала глаза, обида на то, что вот сейчас она, усталая как загнанная лошадь, полуголодная, поплетется в зону, а он, свободный, может пойти, куда захочет, даже в театр, пусть не в Большой, но все же настоящий, Воркутинский, где теперь идет «Роз-Мари», и какая-то Маргарита Рейзвих выступает в заглавной роли. Или пойти с девушкой в кино, повести ее на танцы или — самое простое — в ресторан. И от сознания унизительного неравенства, которое отбрасывало ее незаслуженно ниже его, она кипела едва сдерживаемой яростью. Не слушая, о чем так оживленно рассказывал ей Клондайк, она думала, что вот сейчас надо встать и послать его горячим словом подальше, сказать ему что-нибудь оскорбительное. В карцер он не посадит ее, это точно, но обидится и уйдет, и это очень хорошо! И все закончится, не начинаясь!

Но, почему-то встать она не могла… то ли от усталости, то ли от чего-то другого, что накрепко привязало ее к бревну, и ядовитые слова тоже не находились. Сидела как завороженная, не в силах отвести глаз от его лица, не понимая ни единого слова, и молча злилась на себя и на весь мир за то, что думала одно, а чувствовала совсем другое, и это, другое, обдавало ее жаром, было опасное, «не положенное», смущающее душу, будоражащее тело.

«Кровь поганая взыграла», — говорила в таком случае тетя Маня. И Надя тотчас опомнилась, пришла в себя, очарованье пропало, улетучилось: «Охранник! Сторожевой пес! Надзиратель!»

— Как вы попали в это проклятое Богом место? — вырвалось невольно у нее. Спросила и испугалась: вдруг обидится, повернется и уйдет.

Но он нисколько не обиделся. Вопрос показался Клондайку вполне естественным.

— По мобилизации. Из армии в училище, а дальше… не спрашивают, куда пошлют.

— Понятно! — миролюбиво сказала она, но тут же не сдержалась, уколола: — И охота вам людей, как скот, караулить?

Клондайк очень внимательно посмотрел ей прямо в глаза и, понизив голос, сказал:

— Я ждал от вас этот вопрос. Кому-то надо и это делать, а человеком можно оставаться везде и всегда. В сущности, я такой же подневольный, — продолжал он, глядя теперь куда-то далеко вдаль, мимо Надиного лица. — Окутан уставами, завернут запретами, да пожалуй, и следят за нами не меньше вашего.

— Кто же?

— Все. И политрук, и тот же чекист, и со всеми ухо держать

востро надо.

— Что? Иль у вас тоже стукачи?

— А как же без них? А кто осведомит начальство о грехах их подчиненных? Бдят. У нас по Маяковскому: Стучать всегда, стучать везде, до дней последних донца…

— Стучать, и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца, — бойко докончила Надя. Маяковский попадался ей на экзамене.

Они посмотрели друг на друга, как заговорщики, и засмеялись:

— Какая великая польза учиться по одной школьной программе. Все знают все! Правда?

И от этого простого слова «правда», обращенного к ней так доверительно, стало легко и непринужденно, как будто были они давними друзьями, а вовсе не лейтенант войск МВД, начальник режима ОЛПа Речлаг, и уголовница-зечка, которым не только сидеть вот так рядышком на одном бревне, но на одном метре стоять вместе не положено.

— Я понимаю, у нас стучат, хоть корысть имеют, глядишь, опер полегче на работу устроит или еще что. Многие без посылок. Трудно ведь срок на общих, а у вас-то чего ради?

— У нас «не корысти ради», у нас бескорыстие, из чувства долга, высший дух патриотизма.

— И вы, патриот, стучите? — осмелев, спросила Надя.

— Патриот? Да! Но стучать не приходилось, со школы к доносам питаю отвращение.

— Значит, следователем будете? Прекрасная специальность, людям срока навешивать.

— Почему следователем? Я в адвокатуру пойду, защищать буду.

— Уголовников? — быстро перебила его Надя. — А политических?

— Тут сложнее, но надо постараться! — просто сказал Клондайк.

— Кто же вас допустит их защищать?

— Все течет, все изменяется, — уклончиво ответил он, явно желая переменить тему. — А между прочим, как вы попали в это проклятое место, да еще с такой статьей?

Надя передернула плечами и всем своим нутром съежилась, вспоминать не хотелось. Но Клондайк ждал, и не ответить она не могла.

— Зачем вам? — после минутного молчания спросила она. — Обо мне все в формуляре прочтете.

— Формуляр ваш я знаю, смотрел. Хотел бы услышать от вас… от самой.

— Если я скажу вам, что за глупую откровенность, вы мне не поверите. Мне никто не верит…

— Почему же? Я поверю, непременно поверю.

И тут случилось неожиданное… Надя вдруг взяла и рассказала все, что хранила на сердце эти долгие месяцы тюрьмы и лагеря. И про Дину Васильевну, и про глупого парня Гуськова, и о том, как предательски подло обвел ее вокруг пальца вежливый следователь, использовав ее рассказ против нее самой. И суд, и Красную Пресню, и даже помянула свой визит в маленький особняк на Собачьей площадке, свою мечту. Слезы градом капали ей в колени, но она боялась вытирать их, потому что руки вымыть не успела и лучше не размазывать по лицу. Потом она не раз думала, как могло случиться, что ее так прорвало на откровенность с человеком, о котором знала всего-навсего, что он режимник, а стало быть, враг, но волнующе хорош собой. Должно быть, под гнетом одиночества возникла простая человеческая потребность поделиться своим горем, услышать слова сочувствия и утешения. А возможно, это было в нем: умение сопереживать, что не могла не почувствовать Надя.

Однако утешать ее Клондайк не стал. Лицо его менялось по мере рассказа, пока не стало хмурым и злым. Он достал носовой платок и подал Наде.

— Не надо! — отмахнулась она, вспомнив свои нечистые руки.

— Нельзя так, — улыбнулся он тепло и нежно и сам вытер ей глаза.

— Вы смеетесь, не верите… я знала!

— Нет, я радуюсь, что не ошибся. Я был убежден, вы здесь случайно.

— Тут многие случайные, — Надя громко всхлипнула и потянула носом.

— Вам необходимо срочно писать в Верховный Суд.

— Что? Помилование? Просить и каяться в том, что я не сделала? Никогда! — с жаром воскликнула Надя.

— Нет, кто говорит о помиловании. Жалобу! Жалобу! И лучше в Прокуратуру, на неправильное ведение следствия.

— Наших жалоб там до скончания века хватит разбирать.

— Вы имеете в виду 58-ю статью? Верно! Отношение к ней иное!

— Почему же иное? Что? Убивать и грабить — это лучше, чем рассказать в кругу друзей анекдот про Сталина?

— Тише, Надя! Не нами это заведено, а для того, чтоб изменить законы, надо учиться и добиваться, чего хочешь. Для этого вам нужна свобода. Вы осуждены неправильно, незаконно!

Пишите, пусть ваша мама возьмет адвоката. Не сидите и не ждите амнистии. Амнистия — это массовое помилование. Вам нужны чистые документы, чтоб в них значилось «Дело производством прекращено за неимением состава преступления». Понимаете? — горячо убеждал ее Клондайк.

Но она уже была поражена неверием в справедливость правосудия. Бесчисленные рассказы о произволе и беззаконии убедили ее в том, что судейская машина сломалась или, что еще хуже, нужна даровая сила для работы в шахтах, рудниках, на лесоповалах, и все за пайку и черпак баланды, и упрямо твердила:

— Пустое это, перевод бумаги.

Однако Клондайк проявил не меньшее упрямство, он упорно опять и опять убеждал ее в том, что сам хорошо знал. Статья Нади подлежит пересмотрам, помилованиям, прошениям. Тогда как политические, с кем сравнивала она себя, совсем иное дело. Знаменитые адвокаты наотрез отказывались брать их дела, не соблазняясь никакими вознаграждениями, заранее зная, чем чревата защита политического.

— Хорошо, — наконец сдалась Надя, — я напишу, только что писать?

— Вот то, что вы мне рассказали, только коротко, ясно и быстро. Обещаете?

В зоне ударили в рельсу. Подъем! Надя быстро поднялась с бревна.

— Пора, спасибо вам, до свиданья, и счастливого пути!

— Подождите, Надя, я не сказал самого главного…

— Потом, потом, в другой раз, — отстранила она его горячую руку. — Не надо испытывать судьбу.

На вахте дежурный надзиратель забрал ее пропуск.

— С ночной смены, что ли? — хмуро спросил он.

— С ночной, точно угадал, — засмеялась Надя.

Первого, кого встретила в зоне, был Алексей Константинович. Увидев ее, он закивал головой и сморщил лоб в гармошку.

— Что, пташка ранняя моя, уже на ногах? Похвально, похвально!

«Знал бы, с кем ночку пташка прочирикала», — подумала Надя.

— Сегодня одной придется. Я в санчасть ковыляю, всю ночь нога покоя не дала, болит, впору ложись да помирай.

Надя посмотрела ему вслед, и от ее хорошего настроения не осталось и следа. Десять лет старый хромой профессор обречен скитаться по лагерям. За что? Статья у него 5810: агитация и пропаганда. Какая агитация? В чем и кого можно агитировать,

пропагандировать? Кому помешал несчастный старик? Припомнилось, как рассказывали зечки в этапе. Одного старика выживали из коммуналки, охотились долго, пока не обнаружили у него испачканный портрет вождя. Тут ему и конец пришел. Собрались жильцы, вызвали участкового, составили протокол и куда надо отправили. А когда за стариком пришли, дверь заперта, стали просить по-хорошему— не открывает, налегли плечом, зашли, а бедняга сидит себе в кресле мертвый. Освободил комнатуху. И много еще всяких историй наслушалась в этапе Надя. Но тогда она им мало верила, очень уж неладные, а порой и смешные, как анекдоты.

В свою хлеборезку она вернулась, как к себе домой. После комаров и неподъемных бидонов, вонючего барака и клопиных нар хлеборезка казалась землей обетованной. Зечки встретили Надю по-родственному, приветливо. Даже Пятница, по долгу службы обязанный держаться строго с зечками, увидев Надю на вахте, заулыбался, показывая гнилые пеньки прокуренных зубов.

— Приехала! Уж и губы накрасила, как мартышка гузно. В хлеборезке царил полный разгром. Надя пришла в ужас.

— Да у вас тут словно Мамай прошел!

Две вольняшки хозяйничали там вместо нее. Валя до изнеможения резала хлеб, а они, по ее словам, только и делали, что в ведомостях расписывались и сплетничали дни напролет. В воскресенье вовсе не работали, а в субботу хлеб на два дня выдавали. Полы затоптали, как асфальт, половиц не видно. Обрадованная Валя бросилась в кипятилку за горячей водой, и вдвоем они быстро ликвидировали следы пребывания вольняшек.

— Между прочим, Клондайк в отпуск уехал, сказала Мымра, даже попрощаться не зашел, — не без злорадства сообщила Валя.

— С какой же радости нам охранники должны?

— Так! Я думала: заходил, улыбался…

— Мне следователь тоже улыбался, да вот, видишь, чего их улыбки стоят!

Зашла в клуб, а там радость: Черный Ужас привез настоящее пианино. Сидит Нина, бренчит, переквалификацию проходит:

— Правая рука хорошо идет, клавиши как на аккордеоне, а вот левая! Беда! Повозиться придется, — вздохнула Нина.

Все работницы столовой на сцене торчат, и каждая, хоть одним пальцем, в клавишу норовит ткнуть. Увидели Надю, загалдели:

— Спой, спой, Надька, пианино теперь есть!

— Некогда, девочки! Я за письмом пошла, мне сказали, письмо на почте для меня.

— Не одно, а целых два письма! — сказала Нина Тенцер

почтальониха, подавая Наде письма.

— От мамы! Спасибо! — и выскочила на улицу. А другое, написанное каллиграфическим бисерным почерком, без обратного адреса, заставило Надино сердце заколотиться до дурноты. Такого почерка нет ни у кого. Надя узнала его. Писала Дина Васильевна. Конверт разрывать не надо, вскрыт в цензуре, и, хоть руки дрожали, но быстро вытащила, развернула.

> «Слава Богу!» — обрадовалась Надя, письмо начиналось: «Дорогая моя девочка! Винюсь перед тобой, страдалица моя. Прости, детка, за то, что поверила в такое зло. Но все лучшее у тебя впереди. Видно, сам Бог надоумил меня подойти к твоей маме в электричке, спросить ее, как ты? Она ехала в Москву, подавать прошение о пересмотре твоего дела. Оказывается, она получила письмо от этого негодяя, твоего однодельца. Он находится где-то в Мордовии, лежит в больнице, умирает от туберкулеза и слезно просит твой адрес, чтоб просить у тебя прощение в том, что подло оклеветал тебя. Пишет, что горько раскаивается, видишь ли, ревность его виновата. Не хотел, чтоб ты оставалась на свободе и училась петь. Каков мерзавец! Я до сих пор не приду в себя от возмущения. Я взяла адрес этого парня и тотчас написала ему, где прошу и приказываю, перед лицом смерти, если осталась в нем хоть искра чести, пусть немедля пишет в Прокуратуру СССР на имя тов. Руденко (копию мне). (Кажется, с Руденко нас знакомили на премьере «Красного мака», он еще тогда не был генеральным прокурором). Со своей стороны, я была у юриста, он сказал: если такое письмо будет, ты спасена! Мужайся, моя дорогая! Скоро, скоро ты вернешься к маме, и мы продолжим наши занятия. Скорблю безмерно,
>
> любящая тебя Д. В.
>
> P. S. Мама сказала, что ты поешь в самодеятельности. Избави Бог! Ни в коем случае. Категорически запрещаю! Ты ведь знаешь свой недостаток: короткое дыхание. Это порок, который исправляется только упражнениями, школой! Помни, тебе нужна школа. Береги голос, это твое будущее».

Мать почему-то совсем не писала о Сашке, видно, не хотела преждевременно волновать Надю. Выслала посылку. «Через полтора месяца получу». Письма и посылки шли очень медленно и нерегулярно. Некоторые письма доходили через месяц, полтора,

а посылки еще медленнее. Нина Тенцер объясняла тем, что цензоров мало, а заключенных не счесть сколько, и тут же подсчитала: сорок шахт, в среднем по 1000 человек на каждой, два кирпичных, цементный, известковый, обогатиловка да совхозов 3–4, пересылка, «РЕМЗ», «Предшахтная», «Капитальная», вот и считай сколько! Но Надя считать не стала. Помнила хорошо, что Манька Лошадь рассказывала. Достаточно для того, чтоб заселить большой город.

Три дня после письма Дины Васильевны ходила Надя как опоенная, ног под собой не чуя. Все валилось у нее из рук, работать не хотелось. Подолгу она стояла с широко раскрытыми глазами, уставившись в одну точку. Жалко умирающего Сашка, помочь ему нечем. Туберкулезников в лагерях полно. «Напишу ему, если он раскаялся, что я простила. Из ревности Отелло еще похуже сделал».

Однако, Валя привела ее в сознание очень быстро:

— Если так будет идти работа, то пойдете на общие, пока генеральный прокурор решит вашу участь.

Пришлось опомниться.

Наконец, после бесконечных просьб и уговоров, ЧОС отвез в город самодельный репродуктор-решето, а взамен вернулся с новым. Маленькая радость!

— Вот ведь до чего довели машинку, в ремонт не взяли! Выбросить- велели да еще на смех подняли! Пришлось новый купить! Двадцать пять целковых выложил.

— Спасибо, гражданин начальник! Освободимся, отдадим, верно Валя?

— Отдадим, обязательно!

ЧОС недоверчиво, с подозрением покосился на нее. Промолчал, что двадцать пять целковых выложил не своих — казенных.

— Ну, ладно, включайте! — и вышел.

— Наверное, подумал, долго ждать придется, — невесело засмеялась Валя.

В первый же вечер, разделывая хлеб, девушки услышали чеховский рассказ «Я люблю вас, Наденька!»

Зажимая усмешку в губах, Валя сказала:

— Специально для вас, мотайте на ус, Наденька!

И хотя рассказ не был грустным, обе приуныли и молчали До самой ночи.

День-деньской в суете-маете дни летели без оглядки, и казалось Наде, что живет она здесь, на ОЛПе Кирпичный, давным-давно, а на самом деле всего год. Дни бежали, а срок не двигался. В августе отметила свою печальную годовщину вдвоем с Валей,

чаем с коврижкой на маргарине.

Но как ни уставала она, все же, ложась на свой дощатый топчан с матрасом, шуршащим сеном, иногда, хоть ненадолго, предавалась сладким грезам: «приедет из отпуска Клондайк, а ее уже освободят к этому времени. Зайдет в хлеборезку, спросит Валю: «Одна?» — «Одна!» — печально ответит Валя. «А где же другая?» — «Освободилась и уехала». — «Уехала?!» — воскликнет, не сдержав себя, Клондайк, — «Куда?» — «Не знаю, обещала свой адрес прислать». Печальный пойдет он делать свой обход по зоне, загрустит… а может, и нет, давно забыл. «С глаз долой, из сердца вон». Ну и пусть, Бог с ним, так тому и быть». — уже сквозь сон думала Надя…

Кроме КВЧ (культурно-воспитательной части, призванной воспитывать культуру у зечек) была еще УРЧ (учетно-распределительная часть), которая ведала рабочей силой и содержала целый штат бухгалтерии, как их называли «лагерных придурков».

Бухгалтер на воле — незавидная специальность, в лагере — самая требуемая, выше даже, чем медики. Начальница УРЧ, пожилая, суровая женщина, по прозвищу «Чекистка» и «Макака», прислала свою дневальную за Надей в хлеборезку.

— Чего еще ей? — недовольно швырнув нож на стол, спросила Надя.

— Я почем знаю, велела срочно звать.

Делать нечего, придется идти, хоть и УРЧ, а все же начальство.

— Ты, Михайлова, как здесь оказалась? — с ходу начала допрос Чекистка, едва Надя переступила порог ее кабинета.

— Обыкновенно! По приговору суда.

— Тю, балда! Я спрашиваю: на этом ОЛП в Речлаге… Ведь ты осуждена по уголовной статье? Так?

— Да.

— Вот я и спрашиваю тебя, как? Тебе здесь находиться не положено!

«К чему клонит? — похолодела Надя. — Этап?»

— Меня начальник ЧОС с пересылки забрал. Я в театр наряд имела.

— Ну и чего? Почему не попала?

— Начальник сказал, что заключенных больше в театр не берут, какие и были, тех в зону отправили.

— Неправду он сказал! Отправили только 58-ю статью, а бытовых оставили, да, кажется, и из 58-й кое-кого оставили. Не всех, некоторых: Белоусову, Токарскую, Добржанскую…

— Как же так? Обманул меня? Зачем?

— Да ты сама подумай, откуда может ЧОС знать про театр? Нужно было узнать как следует самой! Но дело не в том, я тебя вызвала объявить: тебе зачеты… вот здесь распишись. Сто двадцать дней тебе зачетов. На четыре месяца раньше освободишься. За хорошую работу и примерное поведение.

Чекистка заметно потеплела и даже попыталась улыбнуться. «Интересно, а сколько Вале начислили?» Спросила, набравшись смелости:

— А можно узнать, сколько Шлеггер, помощнице моей?

— Еще что?! — вскричала Чекистка. — Шлеггер! Таким, как твоя Шлеггер, зачетов не положено. По пятьдесят восьмой зачетов нет! Они политические, а ты уголовница, поняла?

«Как не понять? Сказала «уголовница», как в морду плюнула»

— Спасибо! — проговорила Надя и потянула на себя дверную ручку. — Можно идти?

— Ступай! Если хочешь, я могу узнать про театр!

— Спасибо! — еще раз повторила Надя.

«Не скажу Вале, зачем Чекистка вызывала, не буду огорчать ее. Не правильно так. Выходит, уголовникам везде лафа? Эдак их расплодится, до самого правительства долезут». Мысленно, Надя давно причислила себя к политическим. «Я ничем не отличаюсь от них и думаю, как они, только помалкиваю из трусости. А театр? Еще надо знать, как на меня посмотрят вольные артисты, к примеру, та же самая Маргарита Рейзвих? Статью, как красный нос, не скроешь. Ведь для них я бандитка-убийца! Коситься будут… Здесь я на особом положении, вроде полувольняшка, а там пропуск заберут, не положено, жди, пока полсрока пройдет. И еще… конечно, глупости, не существенно, но все же… а Клондайк?»

К утру, когда ударил подъем, у Нади вполне созрело решение: не надо.

До письма Дины Васильевны она еще могла сомневаться: а правильно ли? Но теперь, когда все так убедительно было решено, она вспомнила и про письмо. «Порок у меня серьезный — короткое дыхание, природный недостаток, который не даст мне долгого звучания, что основное в пении. Без длинного, мощного дыхания не будет кантилены. Нужна школа. Ежедневные многочасовые упражнения…»

С последним этапом с Предшахтной прибыла настоящая артистка из Москвы, не молодая, но очень подвижная и энергичная, звали ее Елизавета Людвиговна Маевская. Она сразу же завоевала симпатии всех зечек своим веселым, неугомонным нравом.

— Будем ставить «Без вины виноваты», — объявила она.

Зечки переполошились: всем будут роли! На генералку и спектакль всех освободят от работы! Два дня дома, полеживай себе на нарах!

Один из трех женских ОЛПов «Предшахтная» в 50-е годы находился в 4-х километрах от города Воркуты,

Конечно, придется кое-кому играть мужчин, смешно но где же взять настоящих?

Елизавета Людвиговна, всегда готовая на шутку, сказала:

— Мужчин из тощих и длинных зечек я, пожалуй, сделаю, не стоит труда, а вот пышных женщин в духе прошлого столетия придется поискать!

— Можно подложить спереди, — посоветовала Нина.

— Можно, конечно, и спереди и сзади, а голодное выражение худого лица? А костлявые ключицы худых плеч? Мизерабль!

Елизавета Людвиговна свои эмоции выражала по-французски. Надю тоже пригласили, но Мымра, отозвав ее в сторону, не посоветовала:

— Ты к ним не лезь! Не нужно тебе лишний раз начальству глаза мозолить! Вот будет когда концерт, тогда…

— Что так вдруг? — поспешно перебила ее Надя.

— А то, про тебя и так каждый раз разговор идет: не место тебе в Речлаге!

— Пусть отправляют тогда! — раздраженно воскликнула Надя.

— Отправят, дай срок! Пока заменить тебя некому, а найдут, и отправят к твоей статье на лагпункт. — Но тут же добавила, заметив, как переменилась в лице Надя: — Не идет сюда никто! От города далеко, а здесь квартир нет. И работа нелегкая.

Перспектива попасть опять в царство Маньки Лошади так напугала Надю, что она и в зону стала бояться выходить, только в баню да столовую, и то чаще Валя бегала. При случае все же не преминула упрекнуть ЧОС:

— Что же вы, гражданин начальник, так меня обманули на пересылке? Сказали неправду про Воркутинский театр?

— Что знал, то и сказал, — недовольно отрезал ЧОС. — Чем тебе тут у хлеба плохо?

— Театр — моя специальность! — не моргнув глазом, соврала Надя.

— Освободишься, тогда хоть соловьем разливайся!

— Начальница УРЧ сказала, не место мне в Речлаге.

— Ей место! Много она знает. Пусть попробует найдет сюда человека. Не больно-то, кто пойдет на это жалованье, а твое дело работай! — прикрикнул он на Надю.

— Скорей бегите на почту, пока не закрылась, там вам

посылка с письмом, — встретила ее Валя в дверях хлеборезки.

— Наконец-то! — подхватилась Надя и что есть духу помчалась на почту. Письмо сунула в карман кофты, а посылку Нина выдала под свою ответственность — без дежурняка, что было большим нарушением: «не положено».

Среди всякой снеди и мелочей, как-то: зубная паста, мыло, чулки, рубашки — пришли две коробки с ампулами глюкозы и аскорбинкой для Вали.

— Не разбилась ни одна! — радостно воскликнула Надя, проверяя аккуратно завернутые в вату коробочки. — Держи, Валя, и. сегодня же дуй на вечерний прием в санчасть, коли свою глюкозу.

Наконец вспомнила про письмо. «Экая я дрянь, скорее за посылку, а про письмо и забыла. Нехорошо».

Мать писала, что была в Москве, в Московской городской коллегии адвокатов, что на Большой Молчановке, дом 1, у защитника Гавриила Львовича Корякина. «Выписали мне квитанцию, и уплатила я пятьсот рублей. Денег не жалко, был бы толк. Народу в приемной уйма! Большинство женщины. Выходят из кабинета все заплаканные. Я уж и не надеялась, а он дал согласие взять твое дело. Составил прошение на имя прокурора Вооруженных Сил СССР Титкова и такое же на имя Репнина рассмотреть дело и послать на переследствие с участием защиты. И еще одно, с тем же ходатайством на имя генерального прокурора СССР Руденко. В общем, надеюсь с какой-нибудь стороны, да откликнутся. Придется продать бабушкино золотое колечко с изумрудом. Ну, да Бог с ним…»

Надя отложила письмо, ощутив легкое разочарование и недовольство. Ей казалось, что совсем на днях или очень скоро она будет дома. Оказывается, этот день еще так далек! Потом ей представилось, как стоит ее мать в какой-то коллегии адвокатов, в толпе, и терпеливо ждет своей очереди.

Нетерпенье и злоба на лицах, а маленькая, худенькая женщина с огромными испуганными глазами, которую все толкают и теснят, это ее мать… «Господи! Что я наделала! Прости меня, мама, — горестно шептала Надя. — Ничего! Просидела год, подожду еще… Надо подумать, о чем-нибудь веселом». Но веселое как-то не находилось.

— Урожайный год, обильный отлов! — сказала Валя, когда принесли ведомость еще на 130 человек этапников.

— Совсем как у Некрасова: «Откуда этапчик, с России, вестимо! Одни, слышишь, ловят, а я развожу!» — грустно все это.

— Почему? Наоборот, жизнь в движении, в движении жизнь! Сейчас в Речлаг собирают со всех каторжанских ОЛПов со всего

света. Концентрация врагов. Где только разместят всех? Уже сплошняки понабивали не только наверху, но и на нижних нарах. Если только гамаки к потолкам подвесят…

— Тепло зато!

Теперь ей категорически запретили заходить в бараки. Даже разносить сахар-песок и это «не положено». ЧОС, изобразив на своем деревенском, простом лице свирепость, сердито заявил:

— Смотри! Будешь таскаться по баракам, отправлю!

— А как же репетиции, концерт?

— Миронова позовет, тогда пойдешь. Сама отвечать будет. Надя знала: Миронова — это Мымра.

Прибывали и убывали зеки по совершенно не известным никому причинам. Создавалось такое впечатление, что не хотело начальство, чтоб приживались долгосрочники-зеки на одном и том же месте.

— Чтоб не зажирели, мохом не покрылись, — сказала Валя.

Режим, уже и так достаточно суровый усиливался с каждым днем. Особенно строго следили за перепиской. Только с близкими, и одно письмо в полугодье. Во время развода дежурные смотрели на проходящих, как коршуны, и, если замечали отсутствие хоть одного номера на рукаве, шапке, юбке, ватных штанах, на спине или на рукаве телогрейки, сразу возвращали с развода в зону, а это уже невыход на работу, штрафная пайка, карцер! В бараках на ночь запрещалось гасить свет, и следили, чтоб после отбоя ни одна душа (зековая) не появлялась в зоне. На репетиции концертов ходили гамузом, в сопровождении дежурных.

Пришлось опять ставить в сушилках параши.

Конвоиры и надзиратели разговаривали с бригадами отрывистыми, односложными фразами, похожими на лай собак: «Встать!», «Подравняться», «Разобраться!», «Бегом!», «Марш!», «Пошел!» — и прятали глаза, встречая насмешливые женские лица. Иногда Наде казалось, что злятся они от стыда за свою работу, но это было неверно. Многим из них доставляло истинное удовольствие, заслышав в строю разговор или смех, скомандовать: «Ложись!» — прямо в грязь, в воду, в снег — и так держать строй, пока не надоест потешаться.

Зечки не оставались в долгу и передразнивали неграмотных вологодских конвоиров, когда те пыжились, коверкая их иностранные имена и фамилии. И все же встречались и такие, про которых можно было сказать: «человеком родился». Такой запомнилась зечкам Речлага надзирательница Шура Перфильева. Когда случалось дежурить по зоне старшине Перфильевой, режим заметно слабел. Бараки запирались поздно ночью, и зечки бегали

из барака в барак «в гости» друг к другу. В праздники Пасхи или Рождества, если дежурила Шура, можно было допоздна собираться и петь песни, которые так любили западнячки.

— Говорят, в мужских зонах режим еще более строгий. Начальство к мужчинам относится придирчиво, с презреньем.

— За что? — удивилась Надя. — Срока у всех одинаковые.

— Вот и презирают за то, что презирать их не за что! Ведь известно, самая стойкая ненависть, как и любовь, необъяснимы. Вражда между мужским полом — это в их природе, в их сущности. Будь то человек или животное, однополые всегда враждебны друг к другу. Отсюда и бесконечные войны, которые затевают мужчины под любым предлогом.

Надя призадумалась, а ведь верно «немчура» говорит. Вот хотя бы петухи, всегда приходится их разнимать. А коты! Как отчаянно дерутся, только шерсть клочьями летит. Кобели тоже не выносят друг друга. Даже воробьи, и те все время сражаются. Но ведь это животные, а человеку разум дан.

— Мужская дружба бывает очень крепкой. Фронтовая, например. Да и мало ли мы знаем великих…

— До первой женщины! — перебила ее Валя. — Соперничество разрушает любую дружбу. А у вас в стране все построено на соревновании, то есть на соперничестве. Кто больше, кто дальше, кто быстрее. Это и породило стукачей и доносчиков. Активно, быстро и много доносить.

— Это ты зря! — живо возразила Надя. — Плохо ты нас знаешь, тут дело полюбовное, а заставить никого нельзя силком.

— Можно, в лагере можно! Вы на общих ни дня не были? С кирпичным не познакомились? Тогда молчите!

Подъезжая к пекарне, уже издали, Надя уловила странные звуки. Ей почудилось нестройное пение мужских голосов. В самом деле, на пекарне шло застолье. Мансур хриплым басом пел какую-то песню, Мишаня блеял козлом невпопад.

«С хлебом, конечно, не успели! — огорчилась Надя. — Опять до подъема не сомкнуть глаз». — Хлеб давайте, пьянюги!

— К чертям хлеб, выпей с нами, Надюша! — завопил Мансур, едва она переступила порог пекарни.

— Что ты! Что ты! С ума спятил. Сроду не пила. Хлеб наш давайте!

Захмелевший Мишаня, зажимая в руке стакан, наполовину наполненный мутной жидкостью — брагой, подскочил к ней.

— Сегодня обязательно надо выпить!

— А почему пьете? Что за праздник?

— Освободиловку получил! Во! Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья! — пропел он фальшиво, затем

вытащил из кармана смятую пачку справок. — Во, на! Читай!

— Поздравляю, это правда праздник! — сказала Надя, искренне радуясь за него, и чмокнула в обе щеки.

Маленький, юркий Фомка, шнырял меж двух высоких мужиков горячо, но беззлобно убеждая их:

— Ребята, ребята работа надо! Хлеб надо, хлеб давай!

— Будет хлеб, куда денется! — гремел Мансур.

— Айн момент! Сейчас, айн минута! — лопотал Мишаня и пошатываясь, широко расставляя ноги, будто пол по ним качался, отправился к печи.

Как потом узнала Надя, Мишаня долго был в немецком плену, по старой памяти любил козырнуть иностранным словцом.

— Айн момент! — объявил он, заглянув вовнутрь необъятной печи.

— Куда же ты теперь? К себе? — спросила Надя.

— Не-а, дудки! Здесь останусь.

— На пекарне?

— Не-а, в город подамся, работенку присмотрел.

— Полторы тысячи рубчиков получать будет! — с доброй завистью сказал Мансур. — Эво сколько!

— А как же невеста твоя? — Надя вспомнила, что Мишаню забрали прямо со свадьбы.

— Невеста не будет без места! — засмеялся Мансур. — Она уже две недели в городе околачивается.

— Приехала? Ждет?

— Приехала! — смущенно и радостно сказал Мишаня.

Надя закусила нижнюю губу, потому что в носу защипало, верный признак мокрых глаз. «Пойти на улицу Ночке уздечку снять, пусть травы пощиплет».

— Вот ведь как мудро устроено наше государство! — услышала Надя и остановилась.

— За миску баланды — тебе уголек. За палочку-трудодень — хлебушек, мяско, молочко. В шахтах — зеки, на повалах — зеки. В колхозах — крепостные.

— Почему ж крепостные? — спросила Надя и даже вернулась от дверей.

— Потому по самому! Паспортов-то нет — и сиди себе, не чирикай! Копайся в навозе.

— Как это нет? — удивилась она. — А если кто учиться захочет, в город?

— Дашь на лапочку, получишь справочку. Председателю, — уточнил Мансур.

— Не больно-то! Не всегда! — возразил Мишаня. — Собрание проголосует «против» — и хана тебе, ройся в навозе дальше. Не

отпустят, и справки не получишь. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек!

— Так-то, милашка! Жила, небось, в своей Малаховке и радовалась: «цены значительно снижены», а что крепостные и зеки на вас горбят и знать не знала?

Надя молча направилась к двери.

«Как же я жила? Ничего этого не знала! А другие знали? Мама, папа, Дина Васильевна? Молчали или не знали? А я как попрыгунья-стрекоза! Недаром я всегда жалела стрекозу и ругала жадного кулака Муравья. Стрекоза — это я! Лето красное пропела. И, не попади сюда, прожила бы, как другие, жизнь и знать бы ничего не знала. Как тогда ЧОС на пересылке спросил: Политически подкована? А то живо обработают». Не подкована я, не подкована, против правды нет подков!»

Однажды Мымра, дежурившая в ночь, зашла проверить хлеборезку, да и застряла до полуночи. Чай пить отказалась. Побоялась. А когда вышла наружу, сказала Наде:

— Лучше уж на общие идти, там хоть поболеть можно, а вы как механизмы, спину не разгибаете.

Валя тоже выскочила послушать, о чем говорят.

— Я попробую попросить Корнеева, может, он тебя в КВЧ культоргом взять разрешит.

— Что вы! Что вы! Спасибо большое, — живо запротестовала Надя.

Культоргов при КВЧ должно быть по штату двое. В лагере это самая блатная работа. Одним из культоргов была Нина-аккордеонистка, другая штатная единица оставалась свободной, но начальство не спешило занять ее работягами. Работа — «не бей лежачего», для бездельников, ходить по баракам, почитывать неграмотным «политикашкам» газету или журнал «Огонек», просвещать неучей. Кое-когда написать им письмо домой или «помилование»… «Но, тогда прощай «берлога»! Жить придется в бараке, с лагерными придурками, а главное, Клондайк не зайдет. Хотя зря волнуюсь! Никто не разрешит уголовнице среди «политических врагов» жить. Режим не тот».

Однако глупая Мымра все же сунулась с просьбой.

Начальник ЧОС сразу поднялся на дыбы:

— Ей тут и быть не положено! С каким трудом ей пропуск, пробил! Кто хлеб возить будет? Из своей зарплаты возчика возьмешь? На всякий случай нажаловался на Мымру оперу.

— Нет! Ни в коем разе! — отрезал Горохов. — Она что, не знает, где работает? Иль от безделья голову потеряла? Объясним на партсобрании! Вон одних инструкций и приказов по Речлагу каждый день мне присылают!

Огорченная Мымра, печально опустив глаза с бесцветными ресницами, поведала Наде о своем поражении.

Надя тоже опустила глаза, стараясь скрыть радость.

— Вы бы, гражданка начальница, кого-нибудь из инвалидок нам попросили! Все равно по зоне ползают, носилки с мусором из стороны в сторону таскают, — вмешалась Валя.

— Попробую, — неуверенно пообещала Мымра. — У нас теперь новые сложности. Начальство новое прислали.

— А старых-то куда?

— Дополнительно! Режим ведь усиливается…

— Старых мало, конечно, — съехидничала Валя и

подмигнула Наде. — Что ж, теперь в кандалах ходить будем?

— Нет, не думаю, — с сомнением сказала Мымра. — А работать как же?

— И что за начальство новое, заплечных дел мастера? — допытывалась Валя.

— Нет, не мастера, — опять не поняла Мымра. — Горохов наш теперь будет старший оперуполномоченный, а новый — младший. И еще новый, начальник режима.

Надя почувствовала неприятный холодок: «Режима? А Клондайк?»

— А этого куда?

— Тарасов — лейтенант, а в Речлаге начальник режима не меньше капитана должен быть. Тарасов вторым остается.

Надя облегченно вздохнула.

— В отпуск кто уходит, лагпункт без начальства остается!

— Да, одного мало, конечно, — глубокомысленно подтвердила Валя. — Бедное государство, как же обходится дорого ему содержать преступников!

— Очень дорого, очень! — простодушно сказала Мымра.

— Бедная маменька, как она устала бить папеньку, — придав своей хорошенькой лисьей мордочке огорченное выражение, произнесла Валя, как только закрылась дверь хлеборезки за Мымрой.

К немалому удивлению девушек, ЧОС не отказал Мымре. Нужно было устраивать куда-нибудь старух и инвалидок. Не даром же кормить. Лагпункты их не принимали — везде требовалась рабочая сила, и только изредка удавалось спровадить десяток-полтора в инвалидные лагеря в Инту, Ухту или куда-либо в Россию. Так и кочевали они свой срок, умудряясь объехать полстраны.

Через несколько дней в хлеборезке появилась Антонина Коза. «Вечная каторжница», — как она себя отрекомендовала.

— Почему же вечная? Ничто не вечно, а тем более каторга! — подхватила Надя, радуясь новой «душе».

— Дай-то Бог не ошибиться! — живо ответила Антонина, и пока стаскивала с себя свой латанный-перелатанный бушлат, который давно было пора сактировать, добавила:

— А мне, пролетариату, промеж прочим, и терять нечего, кроме цепей и срока! Только вот когда потеряю их, не знаю!

Антонину тут же нарядили в старый Надин халат (без халата в хлеборезке нельзя), и пока она застегивала пуговицы, Надя с любопытством рассматривала ее. Почему прозвали Антонину Козой, было видно с первого взгляда. Она, как никто другой, оправдывала свое прозвище. Лицо ее, узкое, с благородным

овалом, в молодости, наверное, было прекрасным. Длинные, зеленые, до сих пор сохранившие блеск глаза, опушенные когда-то ресницами, теперь были голыми. Впалые щеки с обтянутыми скулами и губы, запавшие от беззубого рта, удивительно напоминали козью морду. На голове вместо волос — пух. Зная какое впечатление она производит на людей, Антонина сказала:

— Зубы, это хорошо, что нет, — не болят, и волосы неплохо, всегда промываю, только вот голове холодно!

— Что она сможет делать, такая немощная? — шепотом спросила Надя.

— Не волнуйтесь! Все сможет! Вон какое помещение столовой каждый вечер мыла.

Коза была не по-зековски открытой и не без юмора. Расспрашивать ее не приходилось, она охотно говорила о своем деле.

— За что сижу? Сама не знаю, за что!

— Ну, это старая песня, — заметила Надя. — А обвинение? В чем обвинялась?

— Жена врага народа! Осуждена «тройкой» в тридцать седьмом сроком на пять лет.

— Ну и чего? Почему еще здесь? — не совсем поверила Надя.

— В сорок втором расписалась до конца войны, в сорок шестом опять вызвали в спецчасть — и еще раз расписалась на десять лет, хорошо еще без поражения в правах и конфискации имущества, а то, глядишь, и платьишко последнее заберут! — со смехом сказала Антонина, открывая беззубый, как у новорожденного, рот.

— А муж где? — спросила Надя, в душе ужасаясь ее шутливому тону: «Юмор висельников».

— Муж на небесах, расстрелян.

— Большевичка, наверное? — мрачно спросила Валя.

— Была, как же! Но насильственно изгнали из партии.

«Не поймешь ее, не то шутит, не то серьезно», — подумала Надя.

За что боролась, на то и напоролась, так, что ли? — с презреньем воскликнула Валя и ловко рассекла последнюю буханку, потом разрезала на четыре части и, почти без довесков, сняла с весов.

— Злая ты, Шлеггер! Эх и злая! С таким злом в душе срок: свой не протянешь.

— А вы, святоши, живите и наслаждайтесь содеянным!

— Стыдись, Валя! Разве так можно! — закричала Надя. Но та уже схватила ведро и бегом в кипятилку. Не слышать, что ответит, и по дороге остыть.

— Не обижайтесь на нее. Такой срок, страшно подумать!

— Нет, за что же? Она права, злая только!

— Чем же вы живете? На что надеетесь?

— На Бога, только на него, — подкупающе просто и серьезно ответила Антонина.

— Но ведь вы-то ни в чем не виноваты!

— Сажать виноватых — это справедливо и не вызывает у людей страха, наоборот, справедливость торжествует. Но, чтоб люди жили в страхе, боялись друг друга, следили и доносили друг на друга, надо сажать невиновных, много сажать, и тем самым держать народ в узде и повиновении. Хитро и мудро придумано, — поучительно закончила Коза.

Надя, хоть и промолчала, но не согласилась с ней: «Очень уж с ног на голову поставлено, эдак и всех пересажать можно».

Впрочем, Коза немало помогала хлеборезкам. На кухне у нее, за время работы поломойкой, сложились добрые отношения с поварами. Посылая ее за обедом, можно было быть уверенным: котелок будет наполнен сверх нормы.

— Не вздумайте Козу конфетами угощать, — сказала Валя после очередной посылки, которую принесла Надя.

— Отчего же?

— Ей нельзя! Зубы испортит, а зубных врачей у нас на ОЛПе нет. Как тогда будет?

— Не обижай ее, — заступилась Надя.

— Я? Нет! Она сама себя обидела, большевичка, да и других заодно.

Короткое воркутинское лето на исходе, хоть по-старому, как говорила тетя Маня, все еще сентябрь, а Урал уже белеет снеговыми шапками, и ветер с Севера такой ядовитый, студеный. Скоро ждать зимы. В каптерке Надя получила валенки для себя и Вали и синее байковое платье для Козы. ЧОС было заупрямился, никак не хотел давать новые, 1-го срока вещи для Козы и Вали. «Нечего! — говорит. — В тепле бездельницы сидят». — Но Надя все же упросила. Понесла узел в хлеборезку, а сама думает: «Последние мои валенки, больше не будет казенной одежды! Освобожусь, оденусь во все свое, мама пришлет…»

Вернулась в хлеборезку и сразу на топчан присела — голова, как в карусели закружилась, верно, от голода. Такое с ней частенько случалось. Взглянула, а на столе пакет лежит. «Интересно, кто положил?» Стала разворачивать, а сердце, как бешеное, выпрыгнуть готово, вперед нее догадалось…

Коробка, а там духи. Прочитала: «Белая сирень». Фабрика «Северное Сияние». Ленинград. Цена 45 руб. Духи!

Вертела Надя коробочку с флаконом, не зная, что делать.

Первые в жизни духи, никогда у нее не было своих духов, да еще таких дорогих!

«Приехал, значит, заходил, дверь-то не заперта, хлеба нет, чего прятать? Не с урками живу. Потом она еще раз приоткрыла коробочку и понюхала: Совсем как сирень в саду у Дины Васильевны». И тут же вспомнила, что говорила она: «Надо уметь принимать подарки, не роняя своего достоинства, чтоб не чувствовать себя обязанной, не нарушая приличия.

1. Знакомый мужчина может дарить только цветы.

2. Мужчина, ухаживающий за тобой, цветы и конфеты.

3. Мужчина, к которому ты благосклонна, может подарить еще к тому же духи, твои любимые или просто дорогие.

4. Мужчина, имеющий серьезные намерения, предлагает руку и сердце и дарит состояние, это вполне прилично.

Тут она засмеялась и добавила: — Последнее редко бывает!» «Значит, — решила Надя после недолгого раздумья, — мужчина, к которому я слегка благосклонна, подарил мне духи, и я, не нарушая приличия, беру их и прячу в свой чемодан, подальше от шмонов. Цветов ждать в Воркуте не имеет смысла — долго можешь прождать».

Она совсем забыла, что было 30-е сентября, ее именины. День ангела Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

ТАК ЖИЛИ ЗЕЧКИ И КАТОРЖАНКИ НА 2-м КИРПИЧНОМ В ТЕ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ…

Каждый день к вечеру, после поверки, приходила Антонина Коза убирать хлеборезку, принося с собой целых ворох новостей — «параш».

— Сегодня опять три раза пересчитывали. Заводские под вахтой стояли, под дождем, ждали, когда поверка в зоне закончится. Орали так, я думаю, в городе слыхать их было.

— Еще бы не орать, постой-ка под дождем, после работы!

— Набрали неграмотных, считают пятерками, а нас много.

— Кретины, не понимают, никто тут о побегах и не помышляет, женщины смирнее овец.

— Не скажите так, Надя. Вы, наверное, не слышали, как на днях Черный Ужас воевал с баптистками, — сказала Валя.

— Адвентистки седьмого дня они, — поправила ее Антонина Коза.

— Это монашки, что ли? — заинтересовалась Надя.

— Ну, не совсем так. Но, в общем, служительницы своего Бога. Тоже, как и мы, православные.

— Да ведь они старые! Что с них возьмешь? — возмутилась Надя. — Как это мог майор Корнеев воевать с ними, не уронив себя!

— Ничего, что старые, помучился с ними гражданин майор изрядно! И народ распотешил, кто видел, до сих пор смеется.

— Он сам виноват, не нужно было заводиться с ними!

— Да в чем дело? Кто они такие?

— Это религиозная секта, их религия запрещает работать в субботу, и все дела тут, — пояснила Коза. — И вообще, если бригадир не дура, она всегда найдет способ оставить монашку в субботу в зоне… А новый начальник режима решил себя показать, справиться с непокорными. Не тут-то было! Вытащили всех троих за зону под руки волоком, а они на землю рядком улеглись и вслух свои молитвы бормочут. А тут, как на грех, Черный Ужас к вахте подходит, спрашивает:

«Что за цирк? — Да как заорет: — Встать!»

Они ни с места. Он командует конвою:

«Поднять их!» Двое их под руки подхватили, ставят, а они опять на землю валятся. «Перестреляю, как собак!» — кричит и за пистолет хватается.

Одна из них поднялась и к нему:

«Убей, анчихрист, убей меня! Мне на небе у Господа нашего

быть, а тебе, нечистая сила, в аду пекчись!»

Тут и другая за ней поднялась и тоже ему:

«Гони его, грешник, гони его, гони!»

Да так страшно, кто слышал, говорят, аж мурашки по коже…

«Кого гнать?» — не поймет майор.

«Беса гони, беса гони! Вон он, вон за спиной у тебя корячится!»

Все, кто был не разводе, смотрят на майора, беса ищут, а потом сообразили, что дурачит его старуха, и ну хохотать!

«Молчать!» — надрывается начальник режима, а поделать ничего не может.

Смеется весь развод, да и конвоиры отвернули морды, а самих смех душит. Наконец и сам майор догадался, что шутом гороховым его сделали, и начальнику режима приказал:

«Всех в карцер! Десять суток без вывода!»

Надо было видеть, как они обрадовались! Подхватились — и бегом в зону.

— Позавчера одну уже на Безымянку отправили. Очень уж громко псалмы свои распевали, — сказала Валя. — За зоной слышно было.

— Все же жалко их, оставили бы их в покое, какой прок от них! — пожалела Надя.

— А мне майора жаль, то-то колпаком его выставили. Теперь по всей Воркуте над дураком смеяться будут.

— И откуда сила в них такая? — удивлялась Надя.

— И… милая! За религию на костер шли, — сказала Коза.

С нетерпением ожидая известий из дома, Надя писала матери полные горечи и досады письма:

«Второй год, как я здесь, оглянуться не успела. Пожалуй, и срок пройдет, пока адвокат Корякин защитит меня…»

Но адвокат действовал, как сообщала в каждом письме ей мать: «Деточка, родная, если б ты только видела, сколько народу бьется у дверей прокуратуры на Пушкинской улице».

Надя знала, что всякие прошения и протесты, написанные зеками, остаются без ответа, тонут в мусорных корзинах у лагерных цензоров, в спецчасти или где-то там, в бездонной утробе под названием «Прокуратура». Очень редко получали зеки ответ: «Ваша просьба (о помиловании, о пересмотре или жалоба) нами получена». Радостный зек, не чуя ног под собой, летел в спецчасть, где надлежало расписаться в получении ответа. Полный надежды, ждал… Иногда освобождался сам, закончив срок, иногда Бог помогал окончить земные мытарства. Не ни разу, на Надиной памяти, по просьбе! Писали дедушке Калинину — этому добряку с такой сердечной улыбкой, но дедушка не спешил

откликнуться на призывы своих внучат… Видно, недосуг было.

За год своего пребывания в Речлаге Надя узнала и перезнакомилась почти со всеми зечками если не по фамилии, то уж в лицо обязательно. Некоторые были угрюмы, неприветливы, другие наоборот.

— И что это за нация такая «почикайки и хохлушки», всегда готовы петь и плясать. Идут с работы, 12 часов вкалывают, да под вахтами сколько простаивают, а только стоит одной запеть, глядишь, и тут же хором подхватывают. А уж хохотушки и насмешницы! Не приведи Бог им на язык попасть, — спрашивала Надя.

— Сало они в посылках получают, вот им и весело! — сказала Коза.

Посылок она не получала: — «Не от кого. Если только волк с Брянского леса притащит».

— Молодые они, вот и веселятся. Мало отбыли, всего ничего, посмотрим, что от их веселья останется лет через десяток, — добавила Валя.

— Да что ты, Валя! Иль в самом деле считаешь, что столько людей будут отсиживать такие срока? Никогда!

— Вот и я так считала, когда меня забрали, а вот сижу! И конца не вижу…

Одна зечка из бригады Ольги Николаевны Шелобаевой очень нравилась Наде. При случае она всегда урывала минутку-другую поболтать с ней. И не то чтобы она была хороша собой, нет, милое лицо ее всегда было приветливо, а манера говорить вежливая и деликатная. Работала ее бригада на кирпичном заводе, и Оля, красивая, статная москвичка, старалась поставить ее по возможности где полегче: на конвейер, выбирать из глины камни, чтоб в бегуны не попадали, или подсыпать опилки в глину, тоже одна из блатных работ, и пайка рабочая.

— Какая симпатичная интеллигентная девушка, правда? — сказала как-то Надя, закрывая оконце после раздачи хлеба. — Сразу видно, из хорошей семьи.

— Да уж, — засмеялась Валя, — семья у нее действительно хорошая, только, думаю, на воле вы были бы о ней другого мнения.

— Разве? Почему же? — удивилась Надя.

— Вы знаете, кто она?

— Знаю, что зовут ее Мери, и все. А чего еще надо?

— Мери — внучка атамана Краснова, — подсказала Коза.

— Атамана Краснова?.. Это имя ничего ей не говорило. Слово «атаман» было для нее таким же далеким и непонятным, как князь или граф, обозначавшее что-то, давно ушедшее в

прошлое. — Кто это?

— Послушайте! Да вы историю свою, я не говорю — Франции или Англии, свою, собственную, когда-нибудь учили? — не шутя, возмутилась Валя.

— Учила! — сказала пристыженная Надя. Ей в самом деле стало совестно: «Немка знает, а я пень дубовый».

— Вспомните! Юденич, Деникин, барон Врангель, атаман-Краснов!

— Враги! Против нас в революцию воевали, — подсказала опять Коза.

— А-а-а, помню, помню!

Действительно, Надя вспомнила, когда и где слышала об этом генерале. Было это вскоре после войны. Возвращались они с матерью из Люберец в полупустой электричке. Зинаида Федоровна была чем-то расстроена и всю дорогу молчала. Спиной к ним на соседней скамье сидели двое мужчин, один из них, слышно было, шелестел газетой, читал. Вдруг он громко хлопнул по газете рукой:

— Капут! Повесили!

— Кого? — осторожно спросил сосед. Насторожились и рядом сидевшие.

— Всех! И атамана Краснова, и Андрея Шкуро, и прочих… Пассажиры загалдели:

— Давно пора было!

— Теперь чего вешать? Раньше надо было!

— Раньше-то кишка тонка.

— Заманили старика! А так его нипочем не словили бы!

Надя была потрясена: «Врет мужик, нагло врет. У нас в стране смертную казнь отменили!» И не удержалась, соскочила с лавки, где сидела:

— Врете вы! Все врете, нет у нас такого, чтоб вешать!

— Читай! На, зассыха! — добродушно сказал мужчина и ткнул в нее газетой. Зинаида Федоровна схватила Надю за руку и поволокла к выходу.

— Зачем ты так, доченька? Разве можно пожилому человеку грубить! У него вон весь пиджак в орденах, фронтовик! А ты…

— А что он врет тогда! — чуть не плача, защищалась Надя.

— Не врет он, в газете написано.

Ночью во сне Надя долго уговаривала фашистского генерала не вешать старика, «стариков нельзя обижать».

Вот так вспомнила она атамана Краснова и сказала:

— Повесили его после войны.

— Его повесили, а родных его в лагерь загнали.

Валя помрачнела, хотела еще что-то сказать, да промолчала,

отвернулась, схватила ящик и ожесточенно заскребла по нему стеклом.

— Ты, Валюша, не сердись, он против нас воевал. Сама же говорила: «На войне как на войне», — примирительно сказала Надя.

— Я не сержусь, с чего вы взяли? Обидно, такого умницу, мудрейшего человека, обманули, как мальчишку.

— Наши?

— Нет, ваши бы его не обманули, не поверил бы. Англичане его вашим выдали. Проститутская нация!

— Верно! Испокон века в проститутках ходят! — подтвердила Коза.

Очень хотелось узнать Наде, что же произошло с атаманом Красновым, но Валя уже сделала «каменную лису», замолчала и замкнулась. В такой момент к ней лучше с расспросами не приставать.

Антонина Коза уже кончила уборку и стала собираться в барак, когда в окно тихонько постучали. Надя замерла: «Неужели он? Да зачем стучать?» В окно просунулась свежая мордочка Нины Тенцер:

— Я тебе, Надя, письмо принесла, шла мимо, дай, думаю, занесу, порадую!

— Спасибо, Нина, может, зайдешь?

— В другой раз как-нибудь, отбой сейчас ударят.

Валя с Козой тоже заторопились в барак до отбоя попасть, хотя Вале разрешалось «передвижение по зоне после отбоя», но после того, как запрут барак, надо было долго разыскивать дежурняков, чтоб впустили. Теперь, с приходом Козы, и если не задерживала хлеб пекарня, девушки успевали заготовить пайки до отбоя.

Письмо в кармане жгло, и, как только закрылась за Валей дверь, Надя поспешно достала его и с нетерпеньем извлекла из уже разрезанного конверта листок, исписанный неровным почерком матери.

«Доченька, дорогая моя! Пишу, а слезы глаза заливают, и не вижу белого света. Какое у нас горе! Хотела не писать тебе, скрыть, да все равно узнаешь. Нет больше нашей тети Мани. Похоронили мы ее три дня назад. Спешила, бедняжка, на работу, по подземному переходу не пошла, пошла по рельсам, да глуховата стала, не слышала встречной электрички. Задавило ее, и сама я раздавленной лягушкой лежу. Как пришла с похорон, в тот час и свалилась. Варя из Калуги приехала, тетя твоя, добрая душа, за мной ходит, посылку тебе собирает. Ты ее не помнишь, наверное? Она у нас всего раз, еще до войны, была. У тети Мани

кое-какие сбережения остались, она все тебе завещала, и машину швейную тоже. Все мне, бедняжка говорила: «Вернется Надюшка, ей одеться надо будет…»

Дальше дочитывать письмо Надя не стала. «Вот так всегда! Всю жизнь! К маленькой радости большое горе», — заплакала она, благо в хлеборезке никого, кроме нее, не было. Жалко тетю Маню, а еще больше мать! Как она там одна, больная, оплакивает своего единственного истинного друга тетю Маню. Милая тетя Маня, похожая на добрую морскую свинку — вспомнила Надя. И вся-то ее жизнь заключалась — утешать, ухаживать, служить людям. Вечерами за чаем из земляничных листьев, которые ворохами приносила она, Надя любила слушать ее рассказы о прошлом, о своем житье-бытье.

— И-и, милочка! — говорила она нараспев, прихлебывая пустой чай. — Как мы жили-то, в страшном сне не приснится. Колхозы-то, может, где и были, а у нас горюшко одно луковое. Сама-то я из-под Тумы. Слышала ты когда о таком месте? Город не город, село не село, в Рязанской области. Раньше губернией называлась Рязанская-то область. Не слышала? Да редко кто о Туме той слышал. Кто поближе к большаку, тому ничего, а наша деревня Малые Горки в стороне, верст десять от Тумы, совсем Тмутаракань.

Потом лицо ее светлело, озаряясь светом воспоминаний, и, вся сияющая, она продолжала:

— А места-то там, лучше на свете не бывает: дубравы, липовые рощи, сосны втроем не обхватишь. Грибы и ягоды разные, хоть косой коси. А птиц и зверья! И лисы, и зайцы, бобров полно, барсуки, а в стужи волки к самой деревне подходили! Глухарей и тетеревов, аж лес гудит весной. Чего душе желательно. И рыб в озерах полным-полно. Лови — не хочу… Комары, правда, сгребные, и земли никуда… бросовые. Песок один да болота.

— Как же вы в Малаховке очутились? — спрашивала Надя.

— На все Его святая воля.

— Ну а все же…

— Бились мы в нужде до колхозов, да и в колхозы согнали, лучше не стало. А в 29-то году вспыхнул в лесу пожар, страсть какой! Сколько деревень, как корова языком слизнула, скота, хлеба погорело. А пуще того, кого огонь не застиг, от дыма задохнулись. Ушли все, кто куда… Я с подружками в Москву подалась, грибами сушеными торговать, помню, больше полпуда везла, все один к одному боровички молоденькие. Приехали на Арбатский рынок, в самый центр попали, отчаянные такие были. Грибки свои я мигом продала, за ценой не гналась, и товар

хороший. Только я последнюю-то нитку достала, а меня милиционер хвать за руку и поволок в шестое отделение милиции. Как сейчас помню! Просидела я там часа четыре, говорю: «отпусти ты меня Христа ради», а он мне: «Вымой полы в милиции, тогда пущу». Полы я вымыла, старалась, чисто, с песком продрала, а идти мне некуда, ночь на дворе. Утром ихний начальник пришел, а я на скамейке в палисаднике сплю. Разбудил меня, завел в кабинет, «кто такая?»— спрашивает. Ну я ему, так мол и так, погорельцы мы. Он мне и говорит: «оставайся, будешь уборщицей работать, комнату дадим». Господи! Как я обрадовалась! И полы мыла, и рубашки им стирала, всем угождала, как могла. А потом вахтер за меня посватался, и стала я замужней. Только вот Бог деток не дал, — вздохнула с сожалением тетя Маня. — Прожили мы с Васей всего-то четыре годка. Простыл он на дежурстве, да и помер. Осталась я опять одна-одинешенька. Сестра у него в Малаховке жила, в этом, моем теперешнем дому, уговаривать меня стала: «Давай, давай меняться». Она в Москве работала, на вокзале Казанском в буфете, ей Москва-то нужнее, да и старше меня была, ездить каждый день несподручно. А мне все едино, где жить, на мои руки везде работа отыщется. Вот и обменялись. Да и участочек к дому очень привлекал — к земле мы, деревенские, по гроб жизни привязаны.

Еще одна беда — заболела Антонина, и хлеборезка осталась без уборщицы. Пришлось Вале опять, как раньше, браться за ведра и тряпки, а Наде резать хлеб по ночам. Чистота в хлеборезке проверялась каждый день, да и во всех пищеблоках тоже, остерегались эпидемий. Особенно боялись начальницы санчасти, жены опера Горохова. Всегда холодно строгая, без тени улыбки на лице, она молча кивала головой на приветствие и так же, высокомерно подняв голову, выплывала обратно. Только один раз она спросила Надю, почему нет мыла в рукомойнике. Надя ответила, что мыла в этот раз ей не прислали в посылке, а старое закончилось.

— При чем тут посылка? Что, вам не выдавали мыла? Здесь полагается каждый месяц кусок мыла.

Надя, страшась подвести ЧОСа, пробормотала что-то неубедительное. Не больше чем через час примчался ЧОС и принес два куска вонючего мыла.

— Нажаловалась! — с укором сказал он.

— Что вы! Она сама спросила, где мыло!

— Вот шельма! — неизвестно в чей адрес сказал ЧОС и вышел.

Вечером, перед самым отбоем, Надя забежала в барак, где

жила Антонина.

— В санчасть ее положили, — сказала дневальная.

— Что с ней? Не знаете? — спросила Надя.

— Не знаю, что-то серьезное, кто бы ее так-то положил?

Посещение больных в госпитале было категорически запрещено, все же Надя подошла к двери и позвала одну из ходячих больных.

— Антонину к вам положили, как она?

— Это Коза? — спросила женщина с сильным акцентом.

— Коза, Коза! — «Не русская», — подумала Надя.

— Я могу узнать сейчас, — с готовностью предложила женщина.

— Нет, нет, спасибо, вот, передайте ей, — и протянула завернутый в бумагу еще теплый колобок.

— Да-да, сейчас.

«Как хорошо жить среди этих людей, когда наверняка знаешь — она передаст, не слопает по дороге, как те…»

Не успела Надя надеть халат, как следом ввалился новый начальник режима. Старший и по званию, и по годам. Сразу сделал несколько замечаний. Спросил, почему у хлеборезок нет косынок на голове, почему не заперты двери в помещение, где хранится хлеб, почему нет лампочки в тамбуре. На все его вопросы Валя бойко отрапортовала.

— Гражданин начальник режима, косынки нам не выдали, своих купить не можем, денег нет. Двери запирать гражданин оперуполномоченный запретил. В тамбуре свет не горит — лампочек нет.

— Будут лампочки, — пообещал он.

— Это вам не Клондайк, — сказала Валя, как только захлопнулась за ним дверь тамбура. — Ни духом, ни рылом!

— Это каменная языческая баба с древних капищ, — поддакнула Надя, вспомнив картинку в учебнике истории.

— Зиккурат! Недооценивали мы Клондайка, даже имя его не потрудились узнать, — с притворным сожалением произнесла Валя.

Надя еще с лета знала, как его зовут, но промолчала, не выдала себя.

— А впрочем, нет, я слышала, его опер Александром Андреевичем величал. Александром нашего Клондайка зовут!

Валя уже закончила уборку и старательно, чтоб не обжечь руку, запихивала кастрюльку с кипятком в печь.

— Красивое имя, царственное, не правда ли?

— Да, ничего! Только мне, лично, оно приносит несчастье, — ответила, тяжело вздохнув, Надя.

— О! Какой вздор вы говорите! Удивляюсь на вас! Люди вы неверующие, Христа не признаете, а суеверны, как язычники.

Надя обиделась, но и на этот раз промолчала. Душа ее, отзываясь на зов предков, требовала Бога, чувствовала его присутствие во всем мироздании, во всех проявлениях жизни, но разум, кое-как усвоивший школьную программу, говорил ей: «Нет! Мир материален, и все мы — материя». Что она знала о Боге, о религии вообще? Только то, что сказал Ленин: «Религия — опиум для народа».

Валя прервала ее размышления, рассмеявшись весело и подкупающе искренне, что с ней редко случалось:

— Не сердитесь! Весталки из вас все равно не выйдет: темперамент не тот! Наблюдаю я за вами и удивляюсь! Неужели вам, такой молодой, красивой я сильной женщине, не хочется любви или просто мужчины, наконец?

Сам по себе вопрос, поставленный в такой форме, смутил Надю своим бесстыдством. Такое она не осмелилась бы спросить и у самой закадычной подруги. В суровые и тревожные годы войны, когда Надя превратилась из подростка в статную девушку, считалось, среди ее сверстниц, крайне неприличным, а главное, и не нужным муссировать подобные темы. Тогда еще не было откровенно-интимных фильмов, в которых слово любовь обозначало совсем другое, упрощенное. Девушка, потерявшая себя до замужества, становилась предметом всеобщего презренья малаховцев. То, что потом заклеймилось как предрассудок, ханжество, мещанство, старомодность, в те годы считалось «девичьей честью». Иного приданого не было и не требовалось. Потому и не нашлась, что сразу ответить.

«И не стыдно ей такие вопросы задавать», — сконфузилась Надя, а потом, подумав, сказала:

— Знаешь, Валя, и в будни и в праздники я мотаюсь за хлебом. Привожу больше двухсот килограммов, гружу одна, редко кто из ребят может помочь мне. Вот считай! В каждой буханке кило четыреста-пятьсот граммов, разгружаю тоже с тобой или одна, часов пять—шесть, а то и больше, не разгибая спины, режем, вешаем пайки с довесками, значит, проходит через мои руки за сутки полтонны хлеба. Как ты думаешь, мучит меня бессонница, когда б я могла думать и желать чего-либо, кроме еды и сна? Я засыпаю, не успев голову на подушку положить. (Это Надя слукавила, о мужчинах она не думала, а об одном… пока голова не коснулась подушки.)

— Вы хотите сказать, что физическая работа так вас изматывает, что превращает в животное, способное только есть и спать?

— Ну, положим, то, о чем вы меня спросили, тоже не интеллект!

— Любовь превыше всего, даже интеллекта — она двигатель, жизни на земле.

— Любовь? Согласна! Но только не то, что вас, фрау Вольтраут, интересует!

— Нет, не толкуйте «о снеге меж вил», как сказал король Лир, весталкой вам не быть!

«Кто это весталки? — силилась вспомнить Надя, — Не знаю, спросить?» и спросила, перешагнув через свое самолюбие. Валя ждала этого вопроса и с удовольствием объяснила:

— Весталки — служительницы храма богини Весты. Они обязательно были чисты и девственны. За потерю девственности их ждало суровое наказание — смерть!

— Мне это не угрожает, — пошутила Надя и пошла мыть ножи. Работа кончена, до подъема полно времени. — Ступай, Валюша, гимн проиграли, у нас пять часов отличного сна, если, конечно, не будешь о мужчинах мечтать.

— Не буду, обещаю!

Перед ноябрьскими праздниками зашагали один за другим в хлеборезку начальство. Даже Черный Ужас, и тот не прошел мимо. Ходили парами или по трое. Так положено на случай неожиданного нападения со стороны зеков. Для женских лагерей особых правил не писалось, вот и таскались вооруженные охранники по баракам к невооруженным, а подчас совсем раздетым женщинам. Усилили охрану и патрулирование даже в городе. На вахте тоже набивалось полно надзирателей. Отправляясь на конюшню за Ночкой, Надя поднялась по ступенькам к окошку спросить свой пропуск. У самого окна спиной к ней стоял опер Горохов и что-то строго выговаривал Клондайку. Увидел ее Клондайк, замер и опера, видно, слушать перестал. Вихрем пронеслась Надя через вахту, только пропуск успела у вахтера выхватить.

Не дай Бог, обернулся бы опер и увидал, кто виноват, что режимник онемел и глаза на зечку пялит.

Хлеб на пекарне уже готов, поторопились пекари в этот раз в зону скорее. У них тоже в мужской зоне концерт, и мужчины играют женщин. Мансур подал Наде пакет.

— Что это?

— Смотри!

— Спасибо! Дома посмотрю! — но не утерпела, развернула и даже ойкнула: целый пакет душистой оранжевой кураги. — Откуда, Мансур?

— Из дому посылка!

Фомка тоже подошел, сверток протягивает: «Бери, если на вахте не отнимут», — а в свертке конфеты шоколадные «Мишка на севере».

Валя тут же конфисковала курагу.

— Испечем пирог! Пойду на кухню, попрошу немного теста.

Вечером в клубе-столовке премьера «Без вины виноватые». В первый раз хлеборезки обе собрались на концерт. Сборы недолгие, надеть нечего, все та же шерстяная кофта: — «в пир, в мир и в добрые люди». Нина по поручению Елизаветы Людвиговны бегала к Клондайку узнать на всякий случай, нужно ли артистам номера на костюмы нацепить или без них можно играть. Нарочно, конечно, ради смеха, узнать, что Клондайк скажет. Он ответил:

— Если вам очень трудно, не обойдетесь без них, не могу запретить.

— С юморком режимник, — засмеялась Нина.

Пока собирались, пришли, а все места заняты. Пришлось стоять в дверях, но все равно было очень забавно смотреть, как «мужчины» говорят высокими голосами. Валя локтем слегка задела Надю.

— Обернитесь, — шепнула ей.

Надя обернулась, сзади нее стоял Клондайк и смотрел не на сцену, а на нее и улыбался одними глазами. Она почувствовала, что он нашел ее руку и слегка пожал своей горячей рукой. «Что это у него такие руки всегда горячие — холодное сердце?» Потом ей надоело смотреть на сцену, потому что она ничего не понимала, что там происходит. Она слушала сама себя и волновалась, ощущая каждой клеткой своего тела того, кто стоял за ее спиной.

— Валя, я пошла, надоело стоять, — сказала она тихо.

— Вас поняла, — так же ответила она и подмигнула своим лисьим глазом.

— Гадюка подколодная, — совсем уже на ухо сказала Надя и прошла так близко от Клондайка, обдав его запахом «Белой сирени», что задела рукой.

«Что это со мной происходит? Иль я с ума схожу? Чего добиваюсь! Ведь только заподозрит опер, полечу опять к блатнякам, как проштрафившаяся. Стыда не оберешься! А ему? Погоны сдерут, судить будут за связь с зечкой, и прощай учеба. Потом — доказывай, что связи-то и не было. Нет! Оставаться весталкой, ждать освобождения» — так лихорадочно думала Надя, пока бежала в хлеборезку, но, открыв дверь, не поспешила резать хлеб, хотя уже пора было, а подошла к зеркалу и стала рассматривать свое лицо, задавая себе вопрос: «Почему я, а не

другая, такая же красивая, а, пожалуй, и получше меня? Но те, политические, с такими сроками! Ждать состаришься!» — ответила сама себе. Из маленького осколка на нее смотрел большой, блестящий черный глаз с такими же черными, пушистыми ресницами.

«На кота похожа, — решила она. — Зато брови у меня, как однажды сказала Дина Васильевна, собольи.

— Почему собольи? — спросила тогда Надя.

— Так на Руси называли темные, ровные брови, как хвост у молодого соболя.

«Губы маленько толстоваты, — продолжала изучать себя она. — Зато зубы! На зависть! Один к одному, как жемчуг, и нос невелик, не обморожу. Спасибо маме, каждый раз в посылке зубную пасту со щеткой нахожу. Надо бы хлебом заняться, — вспомнила она, но взяла не нож, а зубную щетку и пошла зубы чистить. Беречь надо!»

Вскоре пришла Валя, веселая, довольная.

— Давно так не смеялась, — сказала она.

— Пьеса вроде не очень веселая?

— Что вы! Ужасно комично, женщины мужчин играют! Поздно ночью, когда покончили с хлебом и бригадные ящики с пайками ощетинились лучинками с довесками, Валя, отбросив нож, устало опустилась на табуретку и сказала:

— Все! Я выдохлась, теперь только чай с «Мишками» и коврижка могут подкрепить мой угасающий организм.

— Обязательно! Ведь сегодня праздник, седьмое ноября! — вспомнила Надя.

— Какая удача, что мы можем отметить установление Советской власти, которая избавила народы от гнета капиталистов, помещиков и прочих нечистот.

«Экая злыдень», — подумала Надя и уже приготовилась ответить таким же зарядом ядовитых слов в ее адрес, когда на крыльце послышались шаги и вошел Клондайк. Сердце Нади бешено заколотилось, пришлось уйти в комнатуху на минуту, чтоб приказать ему не прыгать.

Поздоровался, как обычно, вежливо, но строго, как предписывает устав, а сам весь светится, как именинник.

— С праздником вас! С великим Октябрем! — восторженно воскликнула Валя.

«Экая бессовестная, он же поймет, что она разыгрывает его», — испугалась Надя.

Но Клондайк только голову наклонил: «Вас понял!» — Спасибо! — О, да тут пировать приготовились! — воскликнул он, заглянув в комнатуху, где стояла на столе румяная коврижка и

«Мишки на севере» в консервной банке.

— Не откажите, гражданин начальник, чаю с нами выпить. Только за кипятком схожу.

«Ступай, ступай, ходи подольше», — подумала Надя, а ей сказала: — Долго, Валя, не ходи, поздно уж. Спать пора!

— Успею! — и губы в ниточку поджала, дескать, понимаю все, не глупее вас.

Как только перестало греметь за дверью Валино ведро, Надя повернулась к Клондайку:

— Как ваши успехи, гражданин начальник? — спросила она, желая официальным обращением подчеркнуть существенное различие между ними: он — офицер, она — зечка. — Можно поздравить?

— Можете! Зачислили меня!

— Значит, будущий адвокат!

— Ну, зачем же так официально!

И опять, как тогда, на бревнах, ей захотелось сказать ему что-нибудь злое и обидное, хотя уже знала, это ревность не давала ей покоя, ревность к его свободе, к успеху, к его радости.

— С вашей внешностью в артисты лучше бы податься, в кино! А?

— Таланта нет! — его улыбка сразу обезоружила Надю, и недоброе чувство мгновенно улетучилось.

Внезапно он наклонился и, взяв ее руку, поцеловал, и еще раз, в ладонь. Надя вспыхнула, почувствовав себя очень неловко, и поспешно спрятала руку за спину.

— Ни к чему это! — отвернулась она, чтоб он не видел, как запылали ее щеки.

— Прости, не обижайся, я от души!

— Не от души это, от тела! — сердито возразила она.

— Верно, и от тела тоже! — искренне и нежно улыбнулся он.

— Не посмел отказать себе в удовольствии.

«С ума сойти можно. Что за улыбка у него!» — смешалась вконец Надя, совсем сбитая с толку такой откровенностью. Потом с его лица улыбка сбежала, он сразу построжал и нахмурился:

— В прокуратуру написала, как договорились?

Надя, ни слова не говоря, молча нырнула в свой чемодан, достала письма матери и Дины Васильевны и протянула ему. Клондайк так долго читал, переворачивая каждое письмо по два раза, что ее охватило беспокойство—должна вернуться с минуты на минуту Валя. Возвращая ей письма, он сказал с грустинкой (или это ей почудилось?)

— Освободишься и уйдешь в другой мир, станешь знаменитой и забудешь все, что с тобой было.

Надя ждала, что он скажет: «и меня тоже», — но он не сказал этого.

— Нет, Саша! — впервые назвала она его по имени. — Нет! То, что я узнала и увидела за этот год, забыть невозможно. Разве можно забыть этапы и пересылки, тюрьму и маленький трупик на скамейке со стеклянными глазками. Я узнала жизнь с изнанки и не забуду до самой смерти.

Клондайк нагнулся к ее лицу и хотел, как ей показалось поцеловать ее, но она быстро отклонила голову и, прислушиваясь к звукам снаружи, протянула ему руку.

— Не нужно! Подожди, я скоро освобожусь! Ступай теперь, — поспешно добавила она, услыхав шаги в тамбуре, — Валя идет!

— А что, разве гражданин начальник чай с нами не выпьет? — спросила Валя, с лукавой искоркой в глазах.

— Непременно! В другой раз.

ГОД 1950-й, ПОЛВЕКА ВЕКА XX-го

Оглянуться не успели, как пролетел ноябрь. Снова самодеятельность готовилась к новогоднему концерту. Уже наметили программу. В первом отделении «Украинский венок». Небольшая сценка: девушки и парни разгуливают по сцене и поют грустную и мелодичную украинскую песню: «Ой, не ходы, Грыцю, тай на вечорныци», а затем еще одну, залихватскую: «Ой, лопнув обруч, тай коло борила», и, наконец, гопак: четыре пары танцуют, им подпевает хор. Второе отделение Таня Палагина должна читать стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». На репетиции Надя едва сдерживала слезы, ей казалось, это про ее Алешку написано. Потом две вещи будет петь она.

— Да ведь не отпустят, — засомневалась Мымра, — еще бы что-нибудь надо…

— А еще, пусть, что сами попросят! — предложила Надя и худсовет в составе Мымры, Нины и Елизаветы Людвиговны дал «добро».

Неожиданно перед самым Новым годом разразилась страшная пурга. Двое суток подряд бушевала обезумевшая стихия. Ветер валил с ног, устоять против его напора было совершенно немыслимо. Кое-как добрались бригадиры с помощницами до хлеборезки за хлебом. Довольные! На работу не идти. Местное радио передало в пять утра: сорок пять градусов мороза, ветер сорок метров в секунду. За зону вышли только горячие цеха. Им нельзя не идти; кирпич пережарится — брак. Остальным начальник гарнизона не дал конвой, не захотел рисковать своими солдатами. От бараков до столовой протянули канат, без него пройти по зоне невозможно, того и гляди, в запретзону снесет. Валя, пока шла из столовой, половину баланды расплескала. Пришел начальник ЧОС, просит:

— Выручай, Михайлова! Ехать нужно, без хлеба работягам оставаться нельзя. Пурга неделю мести может.

— Я-то что? Вот лошадь как? — засомневалась Надя. — Не любит она такую погоду, может не потянуть!

— Потянет! Я тебе экспедитора нашего на подмогу дам. Приказ начальника комбината товарища Кухтикова: всем вышедшим за зону по пятьдесят граммов спирта выдать. Собирайся!

Снаружи настоящее светопреставление. Огнем сечет лицо мелкая, колючая, как иголки, крупка. Дыхнуть нечем, глаза открыть невозможно. Идти, только подставив ветру спину, хотя к

полудню мороз заметно отпустил. Всегда кроткая и безотказная Ночка, заупрямилась, взбунтовалась и ни за что не желала тащить по переметам свой возок. Она артачилась и лягала сани, норовя сбросить хлебный ящик в снег. Никакие угрозы и уговоры на нее не действовали. Экспедитор, в гневе выхватив у Нади кнут, опоясал им бедную лошадь. Не привыкшая к такому грубому обращению, Ночка совершенно озверела и так поддала задними копытами, что у саней только щепки посыпались.

— Не бейте ее, хуже будет! — закричала Надя что есть силы, стараясь перекричать вой ветра.

Лошадь, услыхав ее голос, тонко и жалобно заржала, словно жалуясь на несправедливое обращение, и резко повернула обратно. Но не развернулась в сугробах — и хлебный ящик опрокинулся с саней в снег. Кроя отборной бранью, на чем свет стоит, и лошадь, и возок, и все Заполярье, экспедитор, согнувшись в три погибели, побежал просить подмогу в казармы. Одному нипочем не поставить ящик на сани — лошадь надо кому-то держать. Прибежал солдат, а за ним, застегивая на ходу полушубок, Клондайк. Втроем они одним махом водрузили ящик на место. Надя держала Ночку под уздцы одной рукой, другой чесала за ухом и, наклонившись к самой морде, шептала сквозь вой пурги: «Хорошая лошадь! Красавица! Самая умная на свете. Не надо сердиться!» Ночка прядала ушами, храпела и косилась на мужчин недобрым взглядом.

— Я ей, скотине проклятущей, дам! Завтра же на бойню отправлю! — негодуя, кричал экспедитор. — Вон руку пропорол гвоздем!

— Гвоздь ржавый — гангрена будет! — кричала ему в самое ухо Надя. — Я подожду!

Экспедитор, испугавшись заражения, рванул на вахту, где в аптечке был йод. Солдат в наскоро одетой одной телогрейке продрог и, сложив ладони рупором, спросил:

— Разрешите идти, товарищ лейтенант?

— Иди, иди! Ступай! — крикнул Клондайк и мигом очутился возле Нади.

— Как живешь? Замерзла? — И развернулся спиной к ветру, загораживая ее.

— А ты?

— Скучаю! — только и расслышала Надя.

— Я тоже.

Больше сказать ничего нельзя было, ветер сносил слова далеко в сторону, губы сковывал мороз. Так и стояли они, подставив полусогнутые спины ветру, пока не подошел экспедитор.

— Спасибо, Тарасов! Пурга вроде утихает и потеплее, чем с утра, — прокричал он.

Экспедитор уже на возрасте, неохота ему было тащиться на пекарню в такую стужу, да что поделаешь? В актированные дни он обязан сопровождать материальные ценности, а хлеба, больше двухсот килограммов.

— Может, теперь одна управишься? А? — стараясь заглянуть ей в лицо, крикнул экспедитор.

— Управлюсь!

— За лошадью смотри, норовистая, — он еще что-то крикнул ей, но она не слышала.

Пурга и в самом деле начала стихать, мороз послабел, и, уже подъезжая к пекарне, Надя могла снять один из многочисленных платков, навьюченных на ее голове, открыть нос и рот.

У ворот стояла упряжка оленей и длинные ненецкие сани. Ночка, почуяв оленей, зафыркала, раздула заиндевелые ноздри, всячески выражая неудовольствие. Надя завела ее во двор и развернула ящиком к крыльцу, как она всегда делала, чтоб сподручнее было загружать хлеб. На крыльце в малицах и пимах сидели двое ненцев и ели сырое мороженое мясо. Ловко и быстро орудуя маленьким ножичком у самых губ, ненец отрезал кусочки.

— Здравствуйте, — поздоровалась Надя.

Ненцы дружно закивали головами. «Вот кому и мороз нипочем», — подумала она и направилась в пекарню.

— Скоро, скоро! Не ругайся, сестричка, десять минут, не больше, — замахал руками Мансур.

— Ладно! — она приготовилась к большему. — Что ж вы гостей на морозе держите? Хоть бы в сени пустили!

— Не хотят они, жарко говорят, с самого Хальмерю гонят!

— Пойду, олешек посмотрю, никогда вблизи не видела!

Шестеро оленей с ветвистыми рогами смирно стояли, привязанные к электрическому столбу. Надя с удовольствием запустила руку в загривок одному из них. Пальцы утонули в плотном и густом, необыкновенном на ощупь мехе. «Даже носы у них, и те густым мехом поросли, хорошо одеты!» Олешек не дал потрогать нос, мотнул рогатой башкой и чуть не задел ее по лицу, недовольно покосился большим лиловым глазом и даже вроде засопел. Надя отошла от них: «Сердится, не желает». Опять надела рукавицу. На длинных и узких санях лежала поклажа, привязанная в несколько раз сыромятными ремнями. При свете фонаря в санях что-то тускло поблескивало, как кусочек стекла на земле.

«Что это они везут такое?» — полюбопытствовала Надя и нагнулась над поклажей. И тут же в ужасе отшатнулась. На нее

смотрел человеческий глаз. Взглянув еще раз, она увидела, что на санях лежат два человеческих тела. Не помня себя от страха, она бросилась в пекарню. Мансур широкой деревянной лопатой высаживал готовые буханки из печи.

— Кто это у них?! — завопила она, влетая в дверь.

— Что такое, сестренка? Тебя часом не олень зашиб? — удивился Мансур.

— Два человека там, у них в санях!

— Были два человека, а теперь два чурбана!

— Замерзли?

— А ты как думаешь? Сто тридцать километров от самого Карского по морозу перли связанных?

— Зачем их связали? Кто они? — вцепилась в волосатую Мансурову руку Надя.

— Пусти руку, хлеб уроню, — спокойно сказал Мансур.

Осторожно высадив последние буханки, он неспешно вытер влажной тряпкой деревянную лопату, прислонил ее к печке и повернулся к Наде лицом.

— Ну? Чего ты? Ква-ква-ква. Заключенные это. Беглые, поняла? Вышли на стойбище к чумам, обрадовались, домой пришли! А их поймали — теперь в милицию сдадут. Спирт, табак, чай, сахар получат. И денег дадут, мануфактуру. Неплохо?

— Как же можно! Они ведь живые люди! — воскликнула потрясенная Надя.

— Маленькая, глупенькая ты еще, сестричка! Сама подумай, кто пустится в побег? Долгосрочник, верно? А кто долгосрочник? Убийца, бандит, за тяжкие преступления, верно?

— Нет, неверно! Сколько у нас женщин сидят с большими сроками!

Мансур присвистнул:

— Скажешь тоже! Сравнила! То политические, люди образованные, знают хорошо, что за побег получат.

— Знают! — с горечью согласилась Надя. — Знают, что знакомые продадут из страха, родные откажутся, а кто не откажется, сам сядет!

— Эй, сестрица! Вредно тебе с политическими общаться. Крамолы нахваталась, ишь, как заговорила! — добродушно засмеялся Мансур, не то порицая ее, не то одобряя. — Забирай свой хлебушек и кати… айда!

Разгрузив хлеб, Надя поспешила рассказать Вольтраут, но та даже бровью не повела, сказала только:

— Правильно! Чего было лезть к дикарям, все они давно распропагандированы и знают, что до революции была одна лампочка Ильича, а теперь даже зоны днем и ночью освещены и

дышат народы Севера свободно. И все это дала им Советская власть, а зеки враги, и их надо отлавливать.

— Зачем же замораживать, пусть судят их по закону.

— Не надеялись, что сами пойдут сдаваться.

— Ты смеешься, Валя, а у меня от твоего смеха мороз по коже…

— Двое их только?

— Двое…

— Третьего, видно, съели по дороге.

— Что? — переспросила, не посмев поверить своим ушам, Надя.

— Съели! Бандиты всегда так делают, берут с собой в дорогу свежее мясо в виде дурачка, а потом убивают.

— Не надо, не хочу, не говори! — завопила Надя, почувствовав, как тошнота подкатила под самое горло.

«Немка она, конечно, немка, а я еще сомневалась!»

К концу декабря Надя уже серьезно забеспокоилась о судьбе пересмотра своего дела. И хотя мать регулярно писала, что адвокат Корякин очень толковый и умный, то изучает дело, то вникает в него, то проверяет факты, то сверяет, в душу закрадывалось сомнение: так ли, как пишет, успокаивая ее, мать?

Перед Новым годом она вручила Фомке целую пачку поздравительных писем от зечек и от себя, где, поздравляя мать с Новым годом, написала о своих сомнениях, прося ее ничего не скрывать. Фомка письма взял, но неодобрительно покачал головой.

— Много, осень много! Кому так писал?

Надя прочитала адреса:

— Два в Москву — это Кира и Оля, во Львов — это Зырька, в Станислав — незнакомая, мое — Малаховка и Паневежис — Лепоаллея, Кукурайтене для Жебрунас. Это Бируте! А я и не знала, что она здесь, завтра же разыщу Гражолю. Вот, и всего шесть штук, не так много.

— Не принеси больше.

— Спасибо, Фомка, не принесу.

Надя всех своих вольняшек (кому доверяла) использовала как почтальонов. Было это очень опасно, особенно для вольных. Зеку что будет? Ну, пойдет на общие, отсидит в карцере, а вольный лишится погон за нелегальную связь с преступниками, и, Бог знает, что выдумает больная фантазия опера. Всего этого не было бы, когда б разрешили писать зекам сколько угодно. Но два письма в год для женщин, вырванных из дома от семьи, близких, детей, было невыполнимо. Приходилось ловчить, искать обходные пути всеми правдами и неправдами. Надя, не колеблясь

ни минуты, безотказно служила почтальоном. Пряча письма в самых немыслимых местах, она проносила их за вахту, где вручала Фомке, шоферам, привозившим из города муку на пекарню, а один раз так обнаглела, что попросила самого Клондайка.

К новогоднему концерту Надя не готовилась и на репетиции не ходила. Едва успевали управляться с хлебом. Без Козы как без рук, народу прибавилось, а соответственно и паек тоже. На генералке пропела два раза с Ниной. Не выполнила она наказа Дины Васильевны, которая учила ее: «Настоящий артист должен не только развлекать публику, он должен прививать ей вкус к классической музыке, учить публику понимать ее. Никогда не иди на поводу у слушателей. Старайся петь так, чтоб донести до зала всю глубину и красоту классики». Этого Надя не исполняла. Она шла именно на поводу у зала. Пела по просьбе все, о чем ее просили: цыганские старинные романсы и популярные песни из кинофильмов, народные русские и украинские. Оттого и концерты с ее участием так любили и зеки и вольняшки. А ей было радостно лишний раз услышать похвалы своему голосу. В канун Нового года Валя сама сходила в прачечную, погладила знаменитое платье из тюлевых занавесок и атласной комбинации, привела в порядок чуть смятые розы.

Вернувшись из пекарни с хлебом, Надя даже вскрикнула от радости: все было готово, обо всем позаботилась ее помощница.

— Давайте я причешу вас на концерт, я хочу, чтоб вы были сегодня особенно красивой.

— Это почему же?

— Ваш последний Новый год в лагере. Мне будет очень не хватать вас, — и голос ее дрогнул. В тот же миг Надя простила ей все, даже немецкое воспитание. Она готова была расплакаться при одной мысли, что вся молодость этой женщины пройдет в заключении. Но Валя не терпела сантиментов и всякого проявления жалости. Минута слабости ее прошла, и она опять была собранной и деловитой:

— Не опоздать за ужином сходить надо, сегодня столовая рано закроется.

Еще не затихли Валины шаги и звон котелков, когда на пороге опять послышались шаги: «Валя вернулась?». Оказалось, нет, пришла Мымра.

— Михайлова, — сказала Мымра, и Наде показалось, что она сию минуту расплачется. Но нет! — Ты будешь петь в первом отделении, там программа изменилась.

— Почему это? — для пущей важности возмутилась Надя. Хотелось покобениться, ощутить себя важной, все ж —

примадонна! На самом деле ей было безразлично, когда петь.

— Так надо! Майор Корнеев приказал. У него из города «чин» какой-то приехал. Хочет на первое отделение остаться. Концерт у нас поздно кончается.

— Ну и пусть! А мне необязательно перед чином распинаться. Но Мымра не вступила в дальнейшее пререкание, сказала только: «Поторопись! Не опоздай!»

— Я боялась, ты откажешься, — встретила ее на сцене Нина.

— Скажешь, что горло перехватило или товарищу крепостная петь не пожелает.

— Плевать мне на него. Может, я в последний раз пою здесь.

А поразмыслив, она даже обрадовалась — поскорее освободиться и бежать в свою хлеборезку: «Клондайк хоть не дежурит, но на концерт явится и обязательно зайдет поздравить с Новым годом. Никого не будет, Валя нагреет чай, и мы посидим недолго».

Пела в тот вечер Надя две вещи, одну старинную цыганскую, из нот Дины Васильевны, «Что это сердце сильно так бьется». Единственная «цыганщина», против которой не возражала Дина Васильевна, потому что пела ее с громадным успехом Обухова. Зечки тоже оценили этот романс, судя по тому, как орали и топали «бис». Вторая вещь была современная, «советская — собаке кость», — сказала Нина, когда Мымра предложила песню из кинофильма «Моя любовь».

Важный «чин», полковник, сидел рядом с Черным Ужасом и благосклонно улыбался ей, а когда на «бис» спела «Калитку», даже слегка порукоплескал. Чуть-чуть, самую малость. На второе отделение не остался. Майор приказал Мымре задержать концерт до его прихода, а сам в сопровождении Горохова, нового режимника и ЧОСа пошел проводить «чина» до вахты, где уже пыхтела машина. Может быть, и не остался бы в ее памяти этот вечер: концертов было много за время ее пребывания в Воркуте, если б не событие, которое произошло позже.

Хотела Надя в хлеборезку идти, а навстречу ей Клондайк и две шмоналки-дежурнячки. Пришлось сказать:

— Здравствуйте, гражданин начальник!

— Здравствуйте, Михайлова, с Новым годом вас! — ответил Клондайк и еще хотел что-то добавить, но тут обе шмоналки заверещали:

— Иди же, Тарасов, начинается…

Надя повернулась и тоже пошла на сцену: «Теперь вонючки до утра на нем повисли».

«Почикайки[3]», как их тут называли, выглядели очень нарядно: все в веночках с разноцветными лентами, в вышитых

кофточках, на ногах сапожки, в; расписных передничках. «И где только раздобыли?». Голоса свежие, звонкие. Песни такие красивые, заслушаться можно. Нина не с аккордеоном, а за пианино, тоже в длинной юбке. «Хлопцы» навели себе усы и полотенцами груди утянули (у кого были). ЧОС не пожалел актированный драный полушубок, чтоб мохнатые шапки пошить. Все как настоящее. Гопак отплясывали так лихо, что у сцены одна половица затрещала и провалилась. Потом вступил хор, и девчата задорно запели:

Зажурылысь галичанки, тай на тую змину,
Що видходять усусуси, тай на Украину.
Хто ж нас поцилуе в уста малынови,
Кари, кари оченята да черненькие брови?

Вдруг майор Корнеев как заорет благим матом:

— Прекратить сейчас же! — и тотчас выскочил, нахлобучив шапку.

Мымра с помертвелым лицом встала: хлопает глазами, потом кинулась вслед за майором узнать, в чем дело. Нина хлопнула крышкой пианино и тоже ушла, потом вернулась и объявила:

— Расходитесь по-быстрому, концерт закончен.

Все переполошились, повскакали с мест, не поймут, что произошло. Кто-то крикнул: «Пожар!» — и все ринулись к двери. Клондайк встал в дверях:

— Без паники! Выходить по двое.

Зрители, так ничего и не поняв, стали расходиться кто куда, одни по баракам, другие на вахту, в казармы. Надя тоже не поняла, что случилось с майором. Все разъяснилось на следующий день, когда пришла Валя.

— Барак полночи не спал, все думали-гадали, что с майором приключилось. Наконец решили, что живот у него схватило, — подгулял с «чином». Тот вовремя уехал, а этого, видно, приспичило… Но оказалось другое. Утром пришла дневальная из конторы и рассказала, что майор так орал на Мымру, бедняжке со страху плохо сделалось.

— Да за какие грехи? — спросила Надя.

— А девчата песню пели «Галичанку».

— Ну и чего?

— «Галичанка» — песня украинских самостийников.

— Ну и кто знает?

— А вот майор наш знает.

Дневальная слышала, как он разорялся на весь свой кабинет: «Я сам командовал отрядом по ликвидации бандеровских банд в

Карпатах, и песни их знаю на своей шкуре!»

— Бедная Мымра, откуда ей было знать о таких вещах, — вздохнула Надя и стала собираться. Пора за хлебом.

— Идиот наш Корнеев, самодур! Сапог кирзовый, хоть и майор. Не знает, что «Галичанка» родилась давно, еще в первую мировую войну четырнадцатого года, ее пели сечевые стрельцы «усусусы», а теперь поет вся Закарпатская Украина и танцуют под нее гопак.

— Ну, ты сказала! Откуда ж нам знать про каких-то усусусов.

— Читайте больше и вы знать будете!

— Вот освобожусь и займусь своим образованием, — а сама подумала: «Сказать тебе, немчура, кое-что! Да обижать неохота».

Нину тоже таскали к майору, но она быстро и умно отбрыкалась, а что возьмешь с зечки-долгосрочницы?

— Больше бдительности надо проявлять в выборе программы, — сказал ей майор Корнеев, Черный Ужас.

— Я и так бдю, постараюсь еще больше бдеть.

После новогоднего концерта попала Мымра в немилость к начальству. Горохов написал на нее рапорт в Управление за потерю' бдительности и безответственность. Откуда было знать злополучной Мымре, что песня «Галичанки» была взята украинскими националистами из отряда «СС Галиция» на свое вооружение как походный марш.

— Если только кляузе будет дан ход, Мымре не сдобровать, — сказала Нина-аккордеонистка.

— А что ей могут сделать? — с тревогой спросила Надя.

— Снимут с работы, а с такой характеристикой ей трудно придется. На собраниях партийцы заклюют.

В Рождество опять разбушевалась вьюга, угрожая снести все вышки и крыши. За хлебом пришлось ехать в сопровождении двух солдат. Одной нипочем не управиться бы. Подъехали обратно, с хлебом, а около вахты жбан со спиртом стоит. Вахтер и комендантша зоны, здоровенная бабища Анька Баглючка, спирт выдают бригадам, которые за зону выходят в актированный день. Приказ самого товарища Кухтикова!

— Давай и нам с Ночкой, — пошутила Надя, — мы тоже за зоной работаем!

Пошутила, а Баглючка — всерьез:

— Неси банку или кружку, не в подол же наливать тебе!

Спирт выдают по сто граммов, а Баглючка налила Наде полную кружку, граммов триста, не меньше. Все же хлеборезка, расконвоированая, глядишь, и пригодится когда-нибудь.

— Ты чего ей так много! — завопил вахтер.

— Им на троих: две хлеборезки и лошадь!

— Я те дам на троих! Остальным не хватит, еще две бригады за зону в ночь выходят!

— Хватит, всем достанется, водички подольем, вреда меньше, — балагурила Баглючка.

— Водички! Ишь ты! — забрюзжал вахтер.

Но Баглючка дело туго знает. Спирт доверил ЧОС разливать ей, а у кого спирт, у того и сила. Поэтому вахтер быстро замолк. Он знал, ему тоже достанется, не обидит его.

Валя по совету Нади быстро обменяла часть спирта на сало и сахар, а малую толику все ж себе оставили. Вечером открыли, «бычки в томате» и сало из Дрогобыча тонюсенько порезали..

— Давай, Валь, тяпнем по маленькой, узнаем, за что люди черту душу продают.

— С удовольствием, да и праздник, помянем сегодня Рождество.

Развели наполовину водой, попробовали — гадость. Добавили еще воды.

— Фу, мерзость, — сказала Надя. — Я его туда, а он обратно, хуже касторки!

У Вали лучше получилось, разом махнула, только глазами похлопала.

— Ну и спирт — лихое зелье! — Надя попробовала встать и тут же снова завалилась на топчан, и совсем неожиданно, вроде и не она, а кто-то другой, сказала:

— Валька, а ты не темни, что немка, русская или полячка, а, может, украинка, вот кто ты!

— Еще выпейте, и не то покажется!

— Нет, правда, не темни! — опять повторила Надя, едва ворочая языком.

— Откуда вы взяли?

— Потому я думаю, что не может немка так наш язык выучить, я выражения-то у тебя самые что ни на есть наши, и повадки…

— Все! С пьянством у нас покончено навсегда, — засмеялась Валя и унесла остатки спирта в тамбур.

Целые сутки страдала Надя головной болью.

— Зарубите себе на носу, пить вам нельзя. Могут черти показаться. Да-да! Не смейтесь, — вполне серьезно предупредила Валя.

Пекарня очень подводила хлеборезок своей неаккуратностью. Но что было делать? Ругаться с пекарями — без толку, они были не виноваты, да и ссориться с ними Наде не хотелось. Все-таки пекари относились к ней по-товарищески, часто подбрасывали кое-что из хлебного.

Однажды, возвращаясь с пекарни с большим опозданием, огорченная Надя обдумывала, как бы поскорее разделаться с хлебом и отправить Валю в барак. Этой ночью дежурил Клондайк с ЧОСом и обещал зайти после обхода попозже. Валя, конечно, ей не помешала бы, но было одно обстоятельство, которое требовало величайшей секретности и полной тайны. На днях ее слезно просила одна зечка отправить за зону письмо в Киев. Зечку она знала мало и побоялась сама тащить через вахту, поэтому решила, полюбовавшись вдосталь на прекрасные Клондайковы глаза, попросить его взять письмо. Зная его самолюбие, она была уверена: не откажет ни за что на свете. Валя тоже в последние дни очень худо себя чувствовала, сказывалась пятилетняя отсидка, без посылок и пока без надежды на улучшение. Отправить ее в барак было вполне оправдано.

Не успел вахтер закрыть за лошадью ворота, как к ней быстрым шагом шла дневальная опера Горохова.

— Михайлова! К оперу тебя…

— Вот не вовремя! Скажи ему, хлеб разгружу и лошадь, в конюшню сведу, тогда…

— Скорей давай! Там следователь с города приехал, два часа тебя ждет!

Сердце у Нади так заколотилось, спине и затылку жарко стало.

— Что там?

— Не знаю! Не знаю! — уже издалека кричала дневальная. Она спешила скорее караулить кабинет Горохова, не зашел бы кто без вызова. А то и под дверью подслушивать станет!

— Вас тут два раза дневальная опера спрашивала. — встретила Надю Валя.

— Знаю, знаю, там следователь приехал…

Быстро разгрузили хлеб и скорее Ночку на конюшню. Бросила ей две охапки сена:

— Ну, Ночка, молись за меня своему лошадиному богу!

И дальше бегом. Подошла к оперскому кабинету и вспомнила:. «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!» Постучала.

— Заходи, заходи, Михайлова, — крикнул Горохов.

«Ишь, паразит, через дверь видит, насквозь». С испугу не догадалась, что он ее в окно видел.

— Вот, Михайлова, не хочешь, чтоб тебя вызывал, а приходится! Товарищ по твою душу приехал.

Сидит на гороховском месте за столом майор, а сам опер маленький, сутулый, как мартышка, к уголку притулился. Поднял майор взгляд от стола и на Надю вперил. Глаза недобрые, не то

озабочен чем-то или от роду такой тяжелый, а может, недоволен, что из города к черту на кулички приехал допрашивать.

— Ваши родственники заявление в прокуратуру СССР подали, просят назначить переследствие, мотивируя тем, что якобы следствие велось неправильно. Вы лично как считаете, есть основание для пересмотра вашего дела?

«Вот тебе на! Я домой собралась, а тут еще и не начиналось!?

— Я считаю, что у меня вообще дела никакого нет! — бойко ответила Надя, сама удивляясь, как смело получилось.

— Как так?

— А вот так!

Майору, видимо, не хочется вступать в пререкания. Он уже немолод, на левой груди орденская колодка — фронтовик, негоже ему с девчонкой воду в ступе толочь. Голос у него усталый.

— Вы, Михайлова, вспомните, а я запишу. Как вы познакомились с вашим однодельцем Гуськовым, и как получилось, что он запутал вас?

Теперь Надя была опытная. Слова лишнего из нее клещами не вытянуть. И за этого охламона Сашка тоже заступаться не будет. Посидела, подумала с минуту и все, как было, выложила. Но в конце все же добавила, что не убивал Сашок старуху, потому что во всем доме не было топоров, а кочерга тоненькая, из шомпола согнутая. Все-все, до единого слова записал следователь. Потом велел Наде прочитать и расписаться.

— Ну как? — спросила Валя, едва Надя переступила порог хлеборезки.

— Никак, Валюша, пока с тобой!

И прошла прямо к рукомойнику: пора браться за хлеб.

— Завтра надо обязательно нашу Козу навестить. У нас что-нибудь из посылки осталось?

— Вы что, хотите Антонине отнести?

— Конечно! Не с пустыми руками в больницу идти.

— Дело ваше, — поджав тонкие губы, сказала Валя, — вы бы лучше узнали, кто там дежурит. Если Горохова — лучше не пытайтесь, а если доктор Ложкин, может пустить.

Доктор Ложкин, или, как его прозвали зечки, «Джек Потрошитель», был единственный хирург-мужчина, допущенный в женский лагпункт. Редко-редко проходил он по зоне, опустив глаза и не глядя ни на кого. Боялся разговоров, затрагивающих его безукоризненную репутацию. Это и понятно. В мужских ОЛПах врачей-хирургов, было полно, выбирались угодные начальству, а здесь, на женском, он был незаменим. Здесь у него один начальник — доктор Горохова, уважавшая его, как хорошего специалиста, не забывая притом, что доктор Ложкин — зек с

десятилетним сроком.

— Вот конфет тут немного осталось, «Коровки», возьмете? — спросила Валя, протягивая бумажный пакет.

— Больше ничего? Без зубов нашу Козу оставить хочешь! — Больше ничего, ждите посылку…

— Ладно, Валюша, не жадничай! Вот освобожусь, пойду за тебя хлопотать, а вдруг да помилуют! Вот загуляем!

— Никто меня не помилует, не нужно мне милости, я не раскаиваюсь в содеянном… — с горечью сказала Валя.

В такие минуты очень хотелось поговорить Наде по душам с немчурой. Спросить откровенно, как на духу, что такое с ней приключилось. Но Валя была скрытная, замкнутая и вовсе не расположена к откровенности. Она никогда не говорила о своем прошлом. Сколько раз, движимая простым чувством любопытства, пыталась Надя узнать, за что и почему такой ужасный срок — 25 лет. Высшая мера наказания (расстрел) отменен. Однако, она всегда отшучивалась или уводила разговор в сторону, оставаясь некою загадкой, повторяя часто: слово — серебро, молчание — золото.

— Я и не надеялась до ночи закончить, — сказала Надя, отправляя на полку последний лоток с пайками. — Видишь, как полезно общаться мне с тобой: язык болтает, а руки-то работают. Ты, Валя, завтра поспи подольше, в три я на пекарню, а там просижу Бог знает сколько.

— Задержат?

— Да нет, парень там новый вместо Мишани. Еще не научился быстро работать.

Закрывая дверь на засов за Валей, она прикинула, что теперь до подъема можно часа четыре поспать. Клондайк наверняка не придет, и письмо надо перепрятать пока под матрац. Тоже не очень надежно, если шмон, но все не на виду. Она прислушалась: ей показалось, заскрипел снег под осторожными шагами, потом подергали запертую дверь. Надя набросила платок и отодвинула засов.

— Почему запираетесь? Не выполняете приказ оперуполномоченного? — на пороге стоял новый начальник режима. Надя пропустила его вперед.

— Хлеба много, боюсь, не зашел бы кто из посторонних.

— А почему не спите? Ждете кого?

Надя обернулась ответить, он смотрел на нее изучающим взглядом, пристально и недоверчиво.

— Странный вопрос, гражданин начальник.

— Я спрашиваю, — строго перебил он ее, — ждете кого? Да или нет?

— Конечно, нет! — возмутилась Надя. — Кого я могу ждать? Хлеб только кончила развешивать.

Вдруг он неожиданно улыбнулся и подошел к ней совсем близко. От него пахнуло спиртным.

«Если только он посмеет коснуться меня, я так заору — вся Воркута проснется!»

— Ты скажи, где так петь научилась, а? — спросил он, заглядывая ей в глаза.

Надя, не ожидая такого вопроса, несколько растерялась.

— Я вот почему спрашиваю. Я ведь тоже петь учился… правда, недолго… неудачно. В училище музыкальное намеревался поступать.

— В училище? В какое? — оживилась Надя.

— Ты в Москве была когда?

Надя кивнула.

— Как же, я сама в Гнесинском училась, — не задумываясь, соврала она.

— А-а! Вон что! Нет, я в другом. Есть в Москве такое музыкально-театральное училище имени Глазунова. Может, знаешь, в Гороховском переулке, дом особнячком стоит. Двухэтажный… Номер четырнадцать…

— Закончили?

— Где там! В сорок третьем после ранения в госпитале под Москвой отлеживался…

— Не в Малаховке? — не переставая удивляться, перебила его Надя

— Нет! Ребята, из госпиталя подначили, иди, говорят, будешь, как Лемешев. Я и пошел. В молодости я оперетту любил. Страсть моя! Все деньжата, какие зарабатывал, все на билеты просаживал. Всех артистов знал: и Ярона, и Лебедеву, и Клавдию Новикову, даже Татьяну Бах помню!

— Знакомы были?

— Зачем? Видел их, слышал, как пели. Какие артисты были!

Ударившись в воспоминания, грозный режимник, видимо, совсем забыл, что перед ним зечка-уголовница со сроком за соучастие в убийстве.

— Ну и чего? А дальше? — допытывалась Надя. Она тоже совсем упустила из вида, что перед ней недруг и думала, слушая его: «Почти как у меня».

— Дальше пришел в училище, — с охотой продолжал он, — говорят, прием закончился, но для фронтовика сделали исключение. Послушали. Там у них профессор был, преподавал, немолодой уж… Барышев Никифор Михайлович, между прочим, в свое время в Большом пел. Вот он мне и говорит: «Я вас в свой

класс беру. Не теряйте время, завтра же приходите прямо ко мне домой, начнем петь». Так и сказал. Я застеснялся, говорю, извините, мне платить нечем. Он даже рассердился, я, — говорит, — со своих учеников денег не беру, пишите адрес». До сих пор помню. Брюссовский переулок, дом вроде восемь. Там артисты Большого театра живут.

Надя слушала, затаив дыханье… «Все как у меня…»

— А как занимались?

— Да никак! Два раза сходил, на третий пришел, открыла жена, плачет навзрыд, заливается. «Забрали его, — говорит, — ночью». Куда? Кто? Думал, в больницу. «На Лубянку, гепеушники». Как я услышал такое, извините, говорю, за беспокойство, и бегом, давай Бог ноги!

— И все? Вы ж говорили, немолодой профессор, за что его?

— А кто знает? Война шла… может, болтнул лишнее…

Надя хотела спросить еще кое-что про этого профессора, но на пороге затопали, отряхивая снег, и вошел Клондайк.

— Товарищ капитан, там вас жена по телефону второй раз спрашивает.

— Иду, спасибо! — и повернулся к Наде, сказав очень строго: — Когда есть хлеб, можете запирать на ночь дверь. Скажите, я приказал, — и пустился к вахте. Клондайк задержался в дверях.

— Чего он так долго у тебя торчал?

— Понравилось!

— Еще бы! — хмыкнул Клондайк. — Мне бы тоже понравилось. Сижу на вахте, как гвоздь, жду, когда все уберутся восвояси.

— Ваше дело такое, гражданин начальник!

— Как следователь? Что сказал?

— Ничего, протокол писали!

— И все?

— Пока, сказал, все, — а про себя соображала, как бы ей письмо похитрее всучить Клондайку, и как будет неловко, если попросит, а он откажется.

— Так ничего мне не скажешь? Хоть бы как Ночке: «Хорошая лошадь, умница» — или еще что-нибудь ласковое…

— Может, и за ухом почесать?!

— Это — мечта! Не надеюсь! — с сожалением сказал Клондайк и тут же очутился рядом с ней. Совсем близко, так близко, что Надя увидала лукавые искорки в его глазах и уловила едва ощутимый запах овчины от его белого полушубка и незнакомый запах чужого человека.

— Дорогого стоит такого коня чесать! — сказала Надя, глядя прямо ему в лицо смеющимися глазами.

— За ценой не постою! Все отдам, не пожалею!

— Ну, тогда для начала…

Надя нырнула в комнатуху, быстро сунула руку под матрац и достала письмо.

— Проявите свою щедрость, оправдайте доверие народа, — сказала она, передавая ему письмо.

Клондайк мельком взглянул на адрес:

— Жовтоблакитнице? Бандеровке? — и сунул в карман гимнастерки.

— Надежда! Хватит спать, открывай, давай хлебушек! — послышались в тамбуре голоса и топот ног.

Надя поспешила открыть окошко. Пришли сразу два бригадира с помощниками за своими лотками.

— Подъем? Давно? А я и не слышала!

Маша Есина, бригадир бригады бучильного цеха, просунула голову в окно:

— Где уж тебе! — пошутила она, увидев Клондайка. — Не до хлебушка!

«Ему бы отойти в сторонку, чтоб из окошка не видать, а он, как нарочно, у всех на виду стоит, теперь пойдут разговоры!»

— Ступайте-ка с миром, гражданин начальник, бригады идут.

— Когда поговорим? Мне нужно серьезно поговорить с тобой, — с несерьезным лицом сказал Клондайк, поймав ее руку.

— Давно, еще с лета! В следующий раз, если не забудете, о чем! — сказала Надя, потихоньку освобождая руку. Но Клондайк руки ее не отпустил, а, наоборот, схватил и другую, слегка привлекая ее к себе.

— Как ты пела! Неужели это ты там стояла на сцене? Даже наш майор; расчувствовался…

— Сорвал весь концерт от великих чувств, на нервной почве.

В тамбур зашли люди, и Надя настежь распахнула окошко.

— Здравствуйте! Бригаде Либерис хлеб, пожалуйста, — попросила Эльза, та самая эстонка, которая так напугалась коменданта Ремизова на пересылке.

— Здорово, Эльза, как дела? — приветствовала ее Надя, подавая хлеб.

— Ничего, ничего! Бывало хуже, — невесело засмеялась Эльза, наверное, вспомнив этап.

За ней следом пришла за пайками Мэри Краснова.

— Здорово, Мэри, как живешь?

— Прекрасно! На работу не иду, у меня освобождение.

— Заболела?

— Да, вчера вечером, сама начальница Горохова освобождение дала.

— На вечернем приеме Горохова была?

— Да, спасибо, до свиданья, — сказала Мэри.

— Не обижает тебя Ольга Николаевна?

— Что вы! Очень хорошая женщина… — Она еще что-то хотела сказать, но, заметив Клондайка, осеклась и, еще раз попрощавшись, ушла.

— Пора и мне, — сказал Клондайк.

— Давно пора, — подтвердила Надя.

Но вместо того, чтоб идти к двери, он бесцеремонно, по-семейному, чмокнул ее в щеку. От неожиданности Надя смутилась и отодвинулась подальше.

— Превышаете свои обязанности, гражданин начальник!

— Прибавка к жалованью почтальона за работу в сложнейших условиях Крайнего Севера! — улыбнулся Клондайк весело и задорно.

«Господи! Какой он начальник режима! Глупость какая-то. Мальчишка!»

Началась круговерть рабочего дня, и ей некогда было даже подумать о нем. Ее пылкой и живой натуре совсем не свойственна была холодная чопорность, когда так хотелось поцеловать его, как в кинофильмах, прямо в губы. Но нельзя ни в коем случае торопить события, уступая желаниям. Неосторожной поспешностью можно навлечь на себя беду и несчастье Клондайку.

Уже были розданы все лотки с хлебом, когда пришла Валя с котелком не очень жидкой овсяной каши. Завтрак.

— Вам посылка, на столбе висит, — сообщила она радостную весть.

— Ой! — вскрикнула обрадованная Надя. — Пируем-гуляем! Так кстати, а я к Козе собралась перед пекарней. Горохова вчера на вечернем приеме дежурила, значит, после утреннего обхода домой ушла. Я сейчас подкреплю «угасающий организм» и залягу в берлогу до трех поспать, я ночь не спала. Печку подкинь, я чистила.

— Кто мешал? — хитро подмигнув, спросила немчура.

— Новый начальник режима, — и, пока раздевалась, умывалась, рассказала Вале о ночном посетителе. — Что скажешь, Валь?

— Ничего хорошего. Еще раз повторю вам, остерегайтесь! Это вам не Клондайк! Будьте предельно осторожны с ним.

— А что? Что он может мне сделать?

— Все, что захочет! Раз он приперся в зону пьяный…

— Не пьяный, выпивший, пахло от него, нюх у меня собачий.

— Держитесь с ним построже.

— Ладно уж, учту твое пожелание.

— Нина Тенцер сегодня посылок не выдает, я узнавала для вас.

— Спасибо, Валя! А почему?

— Ей определили два дня в неделю на выдачу посылок: вторник и пятницу.

— Вот досада!

— Ничего, обойдется Коза «Коровками».

Коза встретила Надю в коридоре, радостно ощерив беззубый рот.

— Коровки! Я их лет пятнадцать не видела. Забыла, что такие есть на свете. Спасибо за пончик, мне передали.

— Не пончик это, колобок.

Пойдем, я их в тумбочку положу, — и потащила Надю в свою палату.

В коридоре пахло отвратительно: смесью хлорки, лекарствами и грязной уборной. Зато в палате, где лежали шестеро старух, несло такими миазмами, что у Нади запершило в горле и дыханье перехватило.

— Давайте выйдем в коридор, — сказала она Козе, — я на минуту, узнать, как вы, когда выпишут. Мы соскучились.

— Ну уж! — с сомненьем покачала головой Коза. — Ты-то может быть, а уж Шлеггер твоя… Выпишут в пятницу, да вряд ли разрешат у тебя работать!

— Почему?

— Анализы плохие. На свалку пора меня.

Из соседней палаты вся в слезах, вышла Альдона.

— Ты что, Альдона? Что стряслось?

— Бируте, Бируте! — зарыдала она, уткнув лицо в плечо Надиной телогрейки.

— Пойдем! — Надя поспешно вошла в палату.

У окна, натянув одеяло до самого подбородка, лежала до предела исхудалая женщина. Она была такой тонкой, что казалось, будто из-под одеяла на подушке покоится одна голова, без тела. Надя подошла к постели.

— Боже мой, неужели это она, — горестно прошептала пораженная Надя, с трудом узнавая в этих живых мощах некогда великолепную красавицу, которой любовались исподтишка даже одеревенелые охранники.

— Бируте, Гражоля! Гражу ману мергале![4] — она нагнулась над ней и с испугом увидала, как капли ее слез упали на лицо и одеяло спящей. Бируте, не поворачивая головы, чуть приоткрыла свои огромные глаза, еще более большие от провалившихся коричнево-лиловых глазниц. На скулах обострившегося лица

краснели два пятна. Она узнала Надю и даже попыталась улыбнуться, но уголки ее губ поползли вниз в скорбной гримасе.

— Узнала! Она меня узнала! — прошептала Надя и, не удержав рыданий, всхлипнула громко и горестно, на всю палату. Бируте чуть повернула голову и, расширив глаза, тихо, но отчетливо сказала:

— Аш не норе,[5] — и еще повторила: — Аш не норе! — Лицо ее внезапно побледнело, стало прозрачно-восковым. — Лабас[6] … — прошептала она, потом голова ее покатилась набок, к окну, и она затихла.

Альдона, повернув лицо к стене, уже рыдала, не сдерживаясь. Коза вытирала глаза рукавом халата. Надя, как безумная, повторяла: «Нет, не может быть, нет, это несправедливо, за что?» — и тоже плакала от бессилья и жалости.

— Ну! Что тут за плач у стены Израиля! — громко сказал, входя в палату, доктор Ложкин.

— Всем, всем вон, вон пошли отсюда! — но никто не двинулся с места. Да он и не очень настаивал и больше напускал на себя строгий вид. На самом деле был добр и отзывчив. Под нарочитой грубостью пряталась страдающая душа, способная к жалости. Он подошел к Бируте, взял ее прозрачную, как былинка, руку и послушал пульс, потом повернулся к женщинам и крикнул:

— Кому сказано, вон пошли! Все! Finito! — нагнулся и закрыл ей глаза.

Не помня себя от горя, Надя добралась до пекарни, не успевая вытирать рукавицей распухший нос и красные глаза. Почему ей было так жалко именно Бируте? Сколько таких же прекрасных молодых девушек и женщин погибало там от туберкулеза, от производственных травм, от плохого лечения и просто от тоски и безысходности, но ни одна из них не вызывала у Нади такой глубокой печали и скорби. Ей было безумно жаль светлую и кроткую красоту Бируте, ее тоскующие глаза, полные укора и молчаливого страданья, и долго потом слышался голос Бируте: «Человеком надо родиться».

— Да! — задумалась Вольтраут, словно вспоминая что-то далекое из памятного. — Жалость — чувство паскудное, по себе знаю. Его надо уничтожать в себе, бороться с ним, вырывая, как гнилой зуб. Гниль способна отравить жизнь, расшатать нервы, — с ожесточением добавила она.

Надю поразила горячность, совсем не свойственная холодной, рассудительной Вале: «Что это так ее задело? Совсем на нее не похоже». В Надиной семье никогда не обсуждался вопрос, есть Бог или нет, ее учили доброте на примерах старших: жалеть,

помогать, сострадать жаждущему, не пройти мимо просящего помощи, будь то птенец воробья или спившийся калека, какие бродили после войны по электричкам.

— Не смотрите на меня, словно оборотня увидали! Знаю, Евангелие учит другому, но все это выдумка людская. Жалость, прежде всего, ударяет по тому, кто жалеет. Не убив змею, вы можете оказаться ее жертвой. Простив убийцу, обрекаете на смерть других.

— А если убийство случайное и человек раскаялся?

— Это не убийство. Убийца зарождается еще во чреве матери. У каждого человека существует невидимая черта, как бы барьер, через который он может переступить или нет. Тот, кто может, и будет убийца, тот, кто не может, не станет им никогда.

— А как же на войне? Или, скажем, обороняясь.

— Не путайте, то вынужденное, искусственно сломанный барьер. Подав просящему, вы унижаете человека, если он горд, и он вас ненавидит, если ж это низкий приспособленец, он будет, как гиена, почуяв добычу, вертеться около вас, но все равно завидуя и ненавидя в душе.

— Страшно ты, Валя, говоришь, что же, третьего быть не может? Да меня совесть замучает, если я откажу, не уважу просящего.

— Надеюсь, это вы, весталка, не о мужчинах?

— Дрянь ты, Валька! Все к одному сводишь! — добродушно засмеялась Надя.

— Уж такая я! — и тут же деловито добавила: — Комиссия завтра с Управления, в бараках, предупредил Клондайк, чтоб полы блестели. К нам зайдут обязательно.

После отбоя зашел Клондайк. Хлеборезки, как по команде, воскликнули:

— Знаем, знаем, полы должны блестеть!

— Все верно! Молодцы!

— И занавески постираем, а еще что? — спросила Валя.

— Награждать буду не я, — улыбнулся Клондайк.

— Мы бескорыстные! — закричала Валя. — Работаем на благо отечества!

Клондайк нахмурился, сделался режимником, повернулся, бросив: «До свидания», — и вышел.

— Если б всех так выпроваживать быстро!

Надя неодобрительно, молча стала стаскивать занавеску с окна. Ей не нравилось бесцеремонно-фамильярное обращение Вали с Клондайком.

— Пуганет он тебя когда-нибудь за твою наглость!

— Нет! — уверенно сказала Валя. — Никогда! Он знает, что я

знаю: «ковбой влюбился выше своих ушей».

— Это еще надобно доказать!

— Опер узнает, докажет сразу! — с недоброй усмешкой сказала Валя.

Опять весна слепила глаза, опять, как и в прошлом году, зачастили проверочные комиссии. Никто точно не знал, зачем они ездят, ходят гуртом по зоне, что-то проверяют, о чем-то говорят с начальством, отдавая распоряжения, которые никто не спешил выполнить, судя по тому, что ничего в лагере не менялось. Менялись только зечки, уходя на этапы и прибывая с этапов. 8 марта, женский день, по приказу Корнеева не отмечали, словно и не было женщин, одни зечки под общим названием «заключенные».

В середине апреля повалил мокрый, липкий снег с дождем. Падая на землю, он немедленно превращался в жидкую кашицу. В сушилках не успевали высохнуть телогрейки и бушлаты, не говоря уже о мокрых насквозь ботинках. В санчасти врачи на приемах работали долго еще после отбоя. Освобожденных, с высокой температурой, было так много, что некоторым приходилось лежать в бараке на сплошняке. Надя тоже возвращалась с пекарни промокшая до нитки, радуясь, что по совету Вали не сдала старую телогрейку. Годилась на смену.

Неожиданно «человеком» проявила себя доктор Горохова. Несмотря на грозные приказы майора Корнеева сократить до минимума освобождения, она заявила ему, что за смертность в ОЛПе отвечает она и, если кого это не устраивает, может немедленно сложить с себя обязанности начальницы санчасти. Пищеблоку, в том числе и Наде, было приказано во время работы надевать марлевую повязку на рот и нос. Особенно плохо приходилось работягам, работавшим на улице. Телогрейки и бушлаты намокали в первый же час. Вечером поверка в зоне часто совпадала с окончанием рабочего дня на кирпичном заводе и, пока надзиратели считали зеков в зоне, ворота не открывались. Так и стояли бригады под вахтой в стужу, в дождь, в мороз, ожидая конца вечерней поверки.

— Если такая погода продлится недели две, можно закрывать кирпичный, — сказал ЧОС.

Уже болели не только зечки, но и многие вольняшки. Мымра приходила в клуб с опухшим красным носом, непрестанно чихая, пока ее не прогнал домой Черный Ужас. Не видно было Макаки Чекистки и некоторых шмоналок. Весна, любимая пора всех людей, для зеков была наказаньем божьим.

В один из таких поздних вечеров, когда снаружи хлестал дождь пополам с мелкими, колючими льдинками, угрожая

высадить раму, сорвать крышу, и вся хлеборезка сотрясалась, как во время землетрясения, Надя заметила, что помощница ее едва держится на ногах.

— Ступай, Валюша, ложись, на тебе лица нет. Я и одна справлюсь, тут немного осталось, — посоветовала Надя.

Радио еще не окончило передачи, и артистка Софья Вермель пела выходную арию Марицы. Репродуктор в хлеборезке не выключался ни днем, ни ночью, и утром, когда просыпалась Москва под бодрящие звуки гимна, зечки уже стояли на разводе около вахты, ожидая своей очереди на выход. Их будили ударами в рельсу в половине пятого утра. Не прошло и часа, как Надя уже управилась с хлебом. Теперь ей хватало меньше минуты разрезать буханку на пайки и почти без довесков снять с весов. Предстояло еще вычистить печь. Дело нехитрое, но крайне неприятное и грязное. Наука, которую постигла Надя еще в этапе. Шлак сваливали в кучу невдалеке от хлеборезки, но она так и не донесла ведро до места. Резким порывом ветра шлак разнесло по зоне быстрее, чем она сообразила прикрыть ведро совком. «Как они там работают на улице при такой ужасной погоде, — думала она о тех, кто сейчас мокнул под дождем, отрабатывая свои пайки, и, конечно, о нем, о Клондайке. Виделись они почти каждый день, но даже словом перекинуться не могли. Только украдкой наблюдая за ним, она видела, как мгновенно озарялось улыбкой его лицо, встречаясь с ней: «Господи! Зачем он так, ведь увидят!»

В ту ночь Надя не торопилась ложиться спать, она знала, что он дежурит, и ждала его, загадав, если он, несмотря ни на что, найдет возможность зайти в хлеборезку, значит… это любовь? И когда заржали ржавые петли на двери тамбура и, весь осыпанный искрящимися каплями талого снега, появился Клондайк, она сказала себе: «Легок на помине!»

— Почему не заперта дверь, когда такие материальные ценности без охраны? Придется применять строгие меры!

— Без подписи Черного Ужаса ваш приказ силы не имеет, гражданин начальник! — так же шутя, ответила Надя.

— Кто это Черный Ужас?

— Неужели не знаешь? — удивилась она.

— Что-то мистическое? Не знаю!

— Партийная кличка вашего и нашего майора Корнеева.

— Вот чего не знал! А что, у других тоже есть клички?

— А как же! Обязательно! Не можем же мы между собой называть вас: «гражданин начальник ЧОС» или «гражданка начальница УРЧ»! Правда? Мы говорим: «Жеребец», иногда «Стоялый»,

или «Старый жеребец», или «Чекистка», или «Макака».

Клондайк закатился таким громким смехом, что Надя серьезно испугалась, не услышали бы с вахты.

— И у меня кличка? — сквозь смех спросил он.

— А как же? Ваша партийно-подпольная кличка «Клондайк».

— Как? Клондайк? — удивился он. — Это по Джеку Лондону? Клондайк — это отлично. Польщен до крайности! Могло быть хуже! Какой счастливый день выдался мне сегодня.

— Чем? — спросила Надя, стараясь не выглядеть чрезмерно любопытной. Она уже управилась со всей своей работой: печь весело потрескивала, засыпанная свежим углем, ножи и руки чисто вымыты. Она подошла к маленькому огрызку зеркала и, вынув приколки, распустила волосы. Испытанный прием, против которого не может устоять и остаться равнодушным ни один влюбленный. Волосы ее за время отсидки сильно отросли и теперь темными волнами разбежались по плечам и спине.

— Почему счастливый день? — еще раз переспросила она, заметив, что Клондайк замолк и с восхищеньем воззрился на ее волосы.

— Во-первых, потому, что меня наградили самой достойной кличкой из всего начальства! Так?

— Ну! А во-вторых?

— Во-вторых, я застал тебя одну. Удача редкая.

— Сомнительная! Ладно, а дальше?

— А дальше? Дальше я влюблен в самую красивую и талантливую девушку на свете! — быстро проговорил Клондайк.

— Неужели? Действительно удача! Где ж ты откопал такое сокровище? Не в зоне Речлага, надеюсь?

— Готов немедленно показать! — шагнул к ней Клондайк и даже шапку снял.

— Не интересуюсь чужими находками! — ловко увернулась из-под его руки Надя, чувствуя, как зардели ее щеки, и, чтоб остудить чрезмерную торопливость Клондайка, прошла в комнатуху снять рабочий халат. Клондайк кинул шапку на колченогий стул и тоже проследовал за ней. Она обернулась и хотела сказать ему, что входить в комнатуху ему не следует, но замолчала, пораженная переменой в его лице. Только что веселые и задорные его глаза смотрели на нее внимательно, серьезно и даже строго.

— Послушай, Надя, я давно ищу случай поговорить с тобой. Боюсь, другой такой возможности нам может не представиться долго.

— О чем? Ах да, помню! С лета прошлого собирался! Не забыл?

— Прошу тебя, не шути! Ты знаешь, о чем! Это очень важно для меня, — быстро и взволнованно заговорил Клондайк, поймав ее руку своей горячей рукой.

Надя руки не отняла, стараясь выглядеть как можно спокойнее, но в ее душе все трепетало и звенело, как натянутая до предела струна, а сердце прыгало, как кузнечик.

— Со мной по-настоящему приключилась беда. То, что для других зовется счастьем, для меня в моем положении… катастрофа. Я всегда считал себя неуязвимым, гордился этим, дурак! И вот наказание…

— Не надо! — поспешно перебила его Надя. — Только без драмы! Я не хочу быть бедой. Ничьей. Мне хватит своей…

— Теперь уже поздно! Я люблю тебя, и никто и ничто не может изменить это. Ты же видишь, что со мной творится! Я шалею, как щенок, увидев тебя!

— Ты придумал меня и свою любовь! — едва слышно прошептала Надя и замолчала, смешалась от неправды своих слов, но она искренне не хотела такого откровенного и скорого признания, такой распахнутой настежь души, требующей немедленного ответа. Когда-нибудь потом, не сейчас. Пока она заключенная, а он охранник, ей вполне хватило бы этих невысказанных, но волнующих отношений, не навлекая на себя беды. Теперь ей уже было сказано то, чего она боялась, но втайне ждала, и уже нельзя было прятаться за шуткой из боязни оскорбить Клондайка. Обдумывая, как ответить ему, не обижая, но и не разрушая дистанцию, она подошла к печке и кочергой разворошила шапку тлеющего угля. Огонь вырвался и заполыхал ярко и дружно. Потом повернулась и протянула ему обе свои руки.

— Подожди, Клондайк! Все твое будет. Я должна быть свободной.

Снаружи творилось настоящее светопреставление. Зима яростно дралась с весной, а в трубе так завывал ветер, слоено сотни чертей бились и ревели там, желая напугать и предостеречь от необдуманного. Клондайк забыл, что он начальник режима ОЛПа «Речлаг» — для особо важных политических преступников, и держал в своих руках руки бандитки, и, если случилось бы, что кто-нибудь из начальства увидал его, такого расхристанного, без шапки, в расстегнутом полушубке, несдобровать им обоим. Но тогда судьба была милостива к ним. Никто не зашел и не постучал в окно, а Надя узнала, что она самая красивая, у нее самые прекрасные (как вишни в шоколаде) глаза, а ресницы такой длины и густоты, каких вообще на свете не бывает. А волосы просто диво-дивное. И все это прекрасное, если даже не слышать,

как она поет, а уж тогда и слов не хватит. Надя слушала и млела, душа ее уносилась куда-то высоко в поднебесье. Она искренне верила всему, что он говорил ей. Да и невозможно было не верить ему, его таким чистым и правдивым глазам, полных преданности и обожанья. Как же тогда жить на свете, если не верить тому, кому так хотелось верить всей душой? И если только на время забыть, кто ты есть, как было чудесно сидеть в жарко натопленной берлоге, на жестком топчане, протянув обе руки Клондайку, глядеть в его глаза и без конца слушать несравненную музыку его признанья. Думать о том, что не все еще в жизни потеряно, потому что они еще молоды и, даже сложив их возраст, не наберешь и сорока пяти лет. Но очнувшись от сладостного наваждения, Надя опять вспомнила, что дверь в тамбуре не заперта и в любой момент могут зайти опер или еще кто-нибудь из надзирателей, а запирать дверь еще хуже, значит, вызвать подозрение. Почему заперлись вдвоем? Она осторожно высвободила свои руки.

— Я верю тебе, хочу тебе верить, но сейчас все, что ты говоришь, звучит для меня красивой сказкой. Пока еще ты можешь посадить меня в карцер, в бур, а то и вовсе застрелить при попытке к побегу.

— Не говори так, ты же знаешь, я никогда не сделаю этого, — помрачнел Клондайк и поднялся с колченогого табурета.

— Ну, а если все же придется, выстрелишь?

— Выстрелю себе в сердце, оно мне больше не пригодится.

Надя никак не ожидала такого ответа. «Так мне и надо! На глупый вопрос глупый ответ». И, чтоб загладить неприятный осадок от бестактного вопроса, сказала:

— Скоро подъем, не нужно, чтоб тебя тут видели.

— До подъема еще полтора часа! — взглянув на часы, живо возразил Клондайк.

— Нет, иди, Саша, — мягко, но настойчиво повторила Надя. — Допустим скромный «братский» поцелуй на прощанье, — и сама потянулась к нему губами. Однако «братского» не получилось, вышел, как в кинофильмах, такой долгий, что у Нади перехватило дыханье.

Клондайк засмеялся, но не отпустил ее от себя, а сказал:

— Поешь прекрасно, а вот целоваться ты не умеешь!

— Подумаешь, какая наука! Научусь! — обиженно сказала она. — Да и не очень хотелось! Не этому учиться старалась!

— Обещаю! Торжественно клянусь быть тебе отличным педагогом! — воскликнул Клондайк, после чего был выпровожен за дверь.

Полтора часа можно поспать до подъема. Не проспишь, когда

заколотят в окно бригадиры.

«Страшись, Офелия, беги любви взаимной», — сказала она себе, засыпая.

Утром пришла Валя с котелком завтрака.

— Вот наши корма, и еще два кусочка какой-то рыбы дали, неизвестного происхождения, но точно не осетрины.

Уплетая за обе щеки кашу «жуй-плюй», Надя поинтересовалась:

— Чего нового в зоне, Валюш? Я тут сижу, как сыч, ничего не знаю, кроме пекарни, может, уж по домам пускают, а я все кобыле хвост кручу.

— Во-первых, Козу встретила, выписали ее.

— Ой, как хорошо! Когда придет?

— Нет, пока бюллетенит, а потом, как анализы. А еще новая аккордеонистка прибыла из Каргополлага, пока в нашем бараке поместилась, потом к придуркам переселят, в двадцатый барак.[7]

— Срок большой?

— Кажется, десять лет. В немецкой оккупации была в одной концертной группе с Печковским. Знаете такого певца?

— Как же! Часто по радио слышала, да ведь он вроде в Ленинграде пел?

— Пел, а теперь сел!

— Да за что же?

— Я же вам объясняю, в окружение попал и пел у немцев, работал! И эта аккордеонистка с ним вместе, — теряя терпенье, объяснила Валя.

— Работали…

— Ну да! Работали. Есть-пить надо было? Не повеситься же им, если родная армия не спасла.

Вечером Надя на минутку забежала в клуб. Ужин уже кончился, и уборщицы мыли заляпанные баландой столы. На сцене полно народу. Увидали Надю, зашумели:

— Надька, Надя пришла, давай, спой чего-нибудь. Аккордеонистка новая.

— Ты Надя? Я тебя почему-то сразу узнала, — дружелюбно протянула руку новенькая. — Я Наташа Лавровская. Вот, хочу «Половецкие пляски» с хором поставить. Начальница КВЧ меня поддерживает.

Надя вежливо слушала, опустив глаза от недоумения, не зная, что сказать. «Половецкие пляски» она слышала по радио с самого раннего детства, очень любила эту необыкновенную музыку, и ей казалось святотатством трогать такие вещи.

— Потом поставлю «Кармен».

— Что? — переспросила Надя, в полной уверенности, что

перед ней ненормальная. — А кто петь будет?

— Петь? Зачем петь? Нет, я вокалом не интересуюсь. Балет! Балет на музыку Бизе «Кармен», — она посмотрела пристально на Надю и воскликнула — Ты настоящая Кармен, внешне, я имею в виду.

— Я не танцую. Я пою!

— У меня все танцуют, кроме начальства, — безапелляционно заявила Наташа. — Кстати, у тебя контральто?

— Меццо.

— Как раз у меня в хоре не хватает меццо. Подошла Нина.

— Надя не станет петь в хоре, она солистка.

— Почему же? Максакова пела в хоре.

— В хоре Большого театра!

— Ну, она еще не Максакова, может попеть и здесь!

— Пока не Максакова, но будет не меньше.

Мымра, услыхав разговор на повышенных тонах, быстро подошла к ним. В ее обязанности входило, кроме всего, и слушать, о чем говорят зечки. Узнав, в чем дело, сказала:

— Ты, Лавровская, на Надю не рассчитывай, освободиться может в любой день.

Наташа тут же потеряла к Наде весь интерес и повернулась к Нине:

— Я думаю, в два аккордеона будем играть. Я поведу верхний голос, а ты…

— На Нину тоже не рассчитывай!1

— Освобождаешься? Поздравляю!

— Нет, она по наряду на Предшахтную поедет, — не без злорадства сказала Мымра.

Надя отправилась к себе. Пора хлебом заняться. Там Валя одна трудится.

Навстречу Зырька бежит, тоже в клуб.

— Зырька! Слышала? Нину отправляют на Предшахтную.

— Знаю! Это Мымра ей устроила, за все Нинкины закидоны.

— Ай, Мымра! Знать она сильна!

— Еще бы! Старший лейтенант, не смотри, что завалеха немытая! А Нинка на общих не будет! Устроится!

Только разошлись в разные стороны, Кира Покровская догоняет.

— Надя! Кланяюсь до земли, возьми письмо на волю, меня в больницу кладут, срочно матери написала, чтоб лекарства прислала, паск или пенициллин, если достанет. Подозрение на тубик у меня!

— На что? — не поняла Надя.

— Туберкулез.

Надя поморщилась, кому отдать? Кого просить? Фомка отказался, жена ругает, Клондайку неудобно. Недавно выручал…

— Ладно! Уж давай! Только в сторонку, за столовую зайдем, не здесь же. «Попробую шофера попросить», — решила она про себя, а если не застану, оставлю в пекарне, спрячу. Мансура попрошу отдать.

… И С КАРЦЕРОМ ПОЗНАКОМИЛАСЬ

Не делай добра — не увидишь и зла.

(Народная поговорка)

На следующий день, проглотив овсянку «жуй-плюй», Надя заторопилась после обеда на конюшню. «Письмо бы не забыть! Повезет если — застану еще вольняшку-шофера, что муку на пекарню привозит. Конверт с маркой есть, адрес: Москва, Последний переулок, дом 10. Где это? Не знаю», — и переложила во внутренний карман старой телогрейки. Новую берегла…

На вахте в послеобеденное время всегда торчат надзиратели. Курят так, что не разобрать, кто есть кто. Все же увидела: опер Горохов, экспедитор, ЧОС, дым коромыслом! «А Клондайка моего нет, занимается, грызет гранит науки», — с теплом подумала Надя и постучала в окошко.

— Пропуск Михайловой!

Опер в момент обернулся, лицо его сразу помрачнело, он нахмурился и что-то сказал дежурнячке Перфильевой. Саша вышла в проходную и тихо сказала:

— Оперуполномоченный приказал тебе на вахту зайти.

— Чего ему?

Надя смело переступила через порог и поздоровалась. Кое-кто ответил.

— Обыскать! — кивнув на нее Перфильевой, сказал опер.

Надя похолодела. Ноги и руки ее вмиг стали как ватные. «Все! Спеклась!»

Дежурнячке, старшине Перфильевой, не стоило большого труда вытащить из кармана телогрейки Киркино письмо.

— Еще есть? Говори сразу, — строго спросил опер. Он не злился, не кричал. Он торжествовал, глаза его зажглись злорадством.

— Нет, — ответила, покачав головой, ошеломленная Надя.

— Ступай! Отдайте ей пропуск.

В предчувствии беды все в ней сжалось в единый комок, но выручил «бес», ее «бес», который всегда учил ее: не сдавайся, сопротивляйся, защищайся, не падай духом! «Как спокойно и тихо он выждал момент, чтоб прижать меня! Теперь никто за меня не заступится, ни Мымра, ни ЧОС, и тем более Черный Ужас, о Клондайке и говорить нечего».

— Лететь тебе на общие, сестричка дорогая, — с сочувствием

сказал Мансур. — А то, пожалуй, и на этап! Так-то вот!

— Смотря что в письме, а то и срок мотанут, — «утешил» Толян.

— Засем письмо таскал, знал, сто нельзя! — побранил ее Фомка.

— Не обыскивали меня никогда, это опер на меня зуб имеет.

— Один зуб опера страшней всей пасти крокодильевой. Чем не потрафила?

— Черт с ним, пойду на общие с лопатой, — в сердцах воскликнула Надя, — зато совесть чиста.

— Эге! — присвистнул Мансур. — Да никак он тебя в подручные сватал, да? Да, что ли?

Надя молчала. Обещала не говорить, надо помалкивать, но Мансур и так догадался, не дурак и не первый год в лагере. Система известная!

— Так держись, молодец! — поцеловал он ее в щеку.

— Держись, не робей! — поддакнул Толян.

— Дерсись, дерсись, — подбодрил Фомка.

— Спасибо, ребята, — сквозь слезы проговорила Надя. Она и не ожидала такой дружной поддержки.

Около хлеборезки стояла испуганная Антонина.

— Шмон у тебя был.

— Началось! — обозлилась Надя.

В хлеборезке Валя прибирала разбросанную Надину постель и распотрошенный сундучок.

— Как свиньи, рылись!

— Кто был?

— Две шмоналки, опер, ЧОС. Духи твои забрали и фотографию.

— Пусть подавятся, гады, — шепнул бес, а она повторила вслух: — Пусть!

Зашла Коза-Антонина. Обе, и она, и Валя, казалось, искренне огорчены Надиной оплошностью.

— В ботинок бы заложила, Перфильева не стала б искать. — сказала Коза.

— Ах, Надя! Наделали себе неприятности.

— Ну, хватит! — гневно крикнула Надя. — Заткнитесь, не себе несла, не убьют меня, а общие? Все ходят, пойду и я.

На следующий день после развода прискакала дневальная опера.

— Иди, вызывает.

— Злой? — спросила на всякий случай Валя.

— Не сказать! Как обычно, «здравствуйте» сказал, значит, не злой.

Надя, высоко задрав свой короткий нос, с бесом на плече отправилась к оперу. В коридоре из оперского кабинета ей навстречу выходила в слезах Кирка.

— Не бойся! Ничего в моем письме нет, лекарство просила, — скороговоркой сказала она.

— Точно?

— Еще носки шерстяные и сахару кускового.

— Проходи быстрей! — Дневальная открыла дверь. — Разрешите гражданин начальник? Михайлова пришла… — нежно пропела она.

Надя переступила порог кабинета и вздрогнула. Рядом с Гороховым сидел Клондайк. Лицо его было бледно и сумрачно.

— Ну что, Михайлова, судить тебя будут! — просто и беззлобно сказал опер.

Если б не Клондайк, она, наверное, щелкнула бы по носу своего беса и притворилась «овечкой», но теперь она чувствовала себя, как Зоя Космодемьянская, когда та крикнула в лицо своим палачам: «Да здравствует товарищ Сталин!»

— Ваше право, — сказала она, — попытайтесь! — и еще выше вздернула голову: «Пусть видят, я не боюсь!»

— И попытаемся! — грозно воскликнул опер. — Ты письмо через вахту, нарушая режим, тащила, а знаешь, что в нем?

— Я чужих писем не читаю!

— Не читаешь? Порядочная, да?

— Так меня учили! Читать чужие письма грязно и подло.

«Даже я подскочила за дверью, как он бухнул кулачищем по столу», — рассказывала потом в бараке его дневальная.

— Тебя мама учила, а теперь я выучу. Посидишь в буре, сразу профессором станешь!

— Зачем вы нарушаете режим, Михайлова? Когда вам давали пропуск на бесконвойное передвижение, вас ведь предупредили об ответственности? — строго спросил Клондайк, а глаза смотрели так нежно, так ласково, что Надя едва сдержала улыбку.

— У Покровской открылся туберкулез, ей очень срочно нужны лекарства, которых здесь в санчасти нет. Что же ей теперь умирать оттого, что разрешено два письма в год? Это же бесчеловечно! — ответила она, глядя прямо в глаза Клондайку.

— Вот как повернула, а? Выходит, все мерзавцы, а она хорошая! — обратился опер к Клондайку.

— Насколько мне известно, вас никогда не обыскивали, вы пользовались полным доверием у нас, — сказал Клондайк.

— У людей я всегда буду пользоваться доверием, — запальчиво воскликнула Надя, напирая на слово «у людей».

Опер понял ее и опять завелся.

— Ты недаром сидишь здесь, Михайлова! Значит, мы не люди?

Бес уже нашептывал свое: «Обзови его гадом! Скажи — он овчарка! пес! Не бойся! Ату его!» Но Надя сдержалась, не послушалась беса-искусителя. Спросила только:

— Можно идти?

— Видел? — опять спросил опер Клондайка. — «Допрос партизанки»? Я ей покажу, где раки зимуют. Я ее научу свободу любить! Артистка!

Надя пошла к двери, обернулась:

— До свиданья!

Клондайк глядел ей вслед, и глаза его были грустными и задумчивыми. Ей почему-то стало жалко не себя, а его. «Какая собачья работа — судить любимую! (В том, что она любима, не сомневалась нисколько.) И даже не иметь возможности защитить ее!»

— Постой, Михайлова, еще не все! Письмо я передаю в следственный отдел!

«Врет гад, стращает, не бойся!» — шепнул бес.

— Ваше право, гражданин начальник.

— Знаю, что мое, а ты свои права забыла, так мы тебе напомним, а не вспомнишь, заново научим! (Это уже Клондайку.) — Покровская в своем письме сведения сообщает антисоветского характера.

Надя чуть не прыснула со смеха: «Ври больше, мартышка!» — Неужели? Своей матери? Нине Аркадьевне? Я этого не знала.

Но опер додумал, что она его разыгрывает. Закипел, завозился…

— Срок получишь по 58-й, через 17 узнаешь!

— Как скажете, гражданин начальник!

— Да ты что, в самом деле, издеваешься! В карцер, без вывода! — завопил Горохов, окончательно теряя терпенье.

Но, переступив порог гороховского кабинета, Надя сразу весь свой кураж потеряла и приуныла.

Карцер без вывода на 5 или 10 суток — ничего хорошего. Это 300 граммов штрафных, и больше ничего. Дуреха, и верно, дуреха, нечего и обижаться!

В темном, холодном карцере под самым потолком чуть светилась грязная, вся в пыли лампочка. Не вытирали ее, видимо, нарочно, чтоб темнее и непригляднее выглядел карцер, да и некому вытирать было. Кому нужна тюрьма в тюрьме?

— Привет, подружка! — услышала Надя. К ней из темноты поднялась с нар Кира Покровская. — Я уже здесь квартирую, а это Рег, знакомьтесь! Регина Берсеньез — старожилка!

«Значит, не Кира стукнула оперу».

— Давай к нашему шалашу!

— Холодно здесь, будь здоров! — простуженным голосом прохрипела с верхних нар Рег.

Спали все втроем, под тремя телогрейками, поворачивались по команде. Утром Регу увели на работу, остались вдвоем с Кирой.

— Ты не бойся, я ничего особого не писала.

— А чего плакала? — спросила Надя.

— От обиды! Дерьмо ведь, мартышка сраная! А тоже туда, с оскорблениями!

— Там их двое было, а режимник тоже ругался?

— Нет, тот только спросил: «Почему вы Михайловой письмо дали? Зачем так подводить человека?»

— А ты чего ответила?

— А что я могла ответить? Сказала, в следующий раз другой отдам.

В завтрак дали по миске баланды.

— А хлеб? Мои кровные триста? Почему не отдаете, что положено! — спросила Кира.

— Хлеба нет, не знаю! — ответила дежурнячка и быстро захлопнула дверь.

Спали до вечера, аж бока заболели от голых досок. К вечеру вернулась Рег.

— Последнюю ночь с вами, завтра иду в барак, — и повалилась ничком на нары. — На подъемке путей работали, будь они неладны.

Опять загремел ключ. Ввели Стасю (фамилию ее Надя никак вспомнить не могла).

— За что тебя, Стась?

— Режимник! Я ему сказала, что без хлеба работать не пойдем!

— Это кто, «Красюк», что ли?

— Нет, новый кретин.

Надя знала, что «Красюком», «Красавчиком» в бараках женщины звали Клондайка.

— За что же все-таки?

— А хлеба не было, а без хлеба попробуй на одной баланде целый день!

Перед отбоем принесли полбуханки на всех. Кира застучала ногами в дверь, но никто и не подумал ей открыть. На следующий день вместе с дежурнячкой ввалился ЧОС.

— Давай выходи, на работу пойдешь, — сердито приказал он Наде. — А ты, Покровская, еще с письмом сунешься, смотри у

меня, пеняй на себя, — и погрозил кулаком. — Обе выметайтесь! — Стер вы! Всю зону без хлеба оставили. Я ужо разберусь, кто виноват!

Но ЧОС хоть и ругался, а был вполне безвредный, деревенский мужик. Он по чину тоже капитан, как и Горохов, но за ним водились грешки по части выпивки, а потому побаивался опера. На зечек он смотрел как на рабочую силу. Лошадь или вол, например, и заботился, чтоб его скотина была накормлена и по возможности в тепле.

Однако Горохов себя победителем не почувствовал, решил, что наказание карцером недостаточно, так как Михайлову пришлось выпустить на работу, чтоб не оставить опять работяг без хлеба, а поскольку у хлеборезки день не нормирован, водить ее в карцер после работы не представлялось возможным. Больше всего его злило, что Надя не испугалась, как ему показалось, знала, что скоро освободится — не по пересмотру, так по зачетам. Зачеты! Вот что действенно. И тут же, вызвав к себе Макаку Чекистку — начальницу УРЧ и Спецчасти, немедленно приказал снять с Михайловой зачеты. Чекистка засомневалась, нужна была подпись начальника ОЛПа Корнеева и начальника режима. Черный Ужас спорить не стал: «нарушила — получай!» — и безоговорочно подписал приказ, после чего подписей остального начальства и не понадобилось. Хватило двух. Утром на разводе приказ был зачитан перед строем новым начальником режима.

— За нарушение лагерного режима Покровскую Киру Николаевну и Михайлову Надежду Николаевну водворить в карцер на пять суток с выводом на работу… (У Киры в ночь поднялась температура, и ее положили в госпиталь).

Молча выслушали зечки приказ о снятии зачетов с Михайловой. Наказание не произвело особого впечатления на зечек со сроками десять, пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет.

— Подумаешь, на четыре месяца раньше освободиться — это при наших-то сроках детский лепет, — сказала Галка Шиманович.

— У нас вообще никаких зачетов, и то не плачем.

Огорчился только один Клондайк. Встретив ее у вахты с осунувшимся и бледным лицом, он подошел к ней. «Не побоялся», — отметила Надя.

— Ну, зачем ты? Отдала бы мне.

— Ты у нас для ЧП.

Но Клондайк осуждающе покачал головой.

— Ничего! — пошутила Надя. — И через это надо пройти. Как же в лагере побыть и в карцере не посидеть?! — а у самой кошки душу скребли. Так было жалко зачеты!

Дежурнячка Перфильева, пропуская лошадь с хлебом через вахту, тоже сказала:

— Ну и дура же ты, вот не думала!

— Кто-то из мудрых людей изрек: «Не радуйся, завтра придет горе. Не печалься! За горем придет радость», — сказала Валя.

И верно. Радость в виде посылки пришла прямо к празднику 7-го ноября. Черный Ужас не утвердил программу, где Надя должна была петь.

— Нечего, проштрафилась! — сказал Мымре и вычеркнул Надину фамилию. Хлеборезки совсем не расстроились, а решили «загулять» дома. По радио обещали большой праздничный концерт после торжественного собрания.

— Вот нам и музыка!

На почте Надя слегка огорчилась, увидев такую обильную и дорогую снедь. Была даже маленькая банка икры и копченая колбаса в серебряной обертке. «Зачем она так тратится, напишу, пусть скромнее, не надо мне этого», — решила она, но, когда дежурняк извлек шифоновую кофту цветом как спелый абрикос, Надя все поняла. Часть продуктов и вещей от Дины Васильевны. И абрикосовая кофта, и икра, и чулки-паутинки — от нее. Кофта все еще пахла духами Дины Васильевны, а в пачке сахара под синей оберткой Надя обнаружила записку и деньги. Дежурняк не нашел, а то отобрал бы обязательно. «Соловушка моя! Наберись терпенья, все идет хорошо, но медленно. Много сложностей. Храни тебя Бог. Д.», — и все. Валя оживилась и захлопотала. В посылке были мука и дрожжи.

— Будет настоящий пирог, а не убогая коврижка! — довольная, восклицала она. — Я-то с вами тоже стала революционные праздники отмечать!

— А я религиозные, о которых раньше только от тети Мани слышала.

А через два дня пришло письмо от матери. Хоть почта была закрыта, добрая Нина Тенцер решила порадовать Надю и принесла сама. Мать писала: «… Знаю, доченька, как ждешь и страдаешь, сердцем чую, болит душа о тебе. Еще пришлось заплатить в кассу адвокатов. Дело осложнилось, умер Гуськов, твой одноделец. (Позже узнала Надя, что избили Сашка в этапе не то блатные, не то конвоиры. Отбили почки, и долго болел он в лагере, борясь за свою никому не нужную жизнь). Пришлось адвокату ехать в Малаховку, разыскивать тетку Гуськова, Ячменеву, и просить письма заключенного для «идентификации» почерка, иначе все замыкалось на его смерти на долгие времена, потому что написать в прокуратуру Сашок не успел. Писем его никаких не оказалось, какие и были, тетка поспешила сжечь.

Адвокат не остановился и поехал в Потьму, в Явас, где обнаружилось заявление Гуськова на имя начальника лагпункта с просьбой разрешить свидание с тетей Фросей, сестрой его матери. Тетка на свиданье не поехала, и заявление с разрешением не было востребовано. «Денег не было, на какие шиши ехать?» — сказала она адвокату. Что ж, понять можно.

Праздник не удался, несмотря на «Лукуллов пир». Дежурил ЧОС, а не Клондайк, а он, наверное, гулял где-то с кем-то. Надя терзалась ревностью. Еще ей было очень жалко несчастного Сашка, так глупо загубившего свою жизнь.

На обходе ЧОС спросил:

— Ты, Михайлова, слышь, освобождаешься скоро?

— Не знаю. Сама не знаю, а что?

— Может, захочешь у меня работать остаться, а? Оклад хороший, в России такой не получишь, отпуска большие, северные надбавки, а?

Надя невесело рассмеялась:

— Спасибо, что вы! Я учиться поеду!

— Ну да, на артистку! — понимающе сказал ЧОС и потянул носом в надежде обнаружить запах спиртного.

— Вот ослятя, знает, какой у вас голос, и предлагает такое! — возмутилась Валя, едва стихли в тамбуре его шаги.

— Кому что, а ему хлеборезка нужнее.

— Радуйтесь! Завтра придет Коза, — объявила Валя.

— Радуюсь, но не сильно, завтра жду неприятностей, по вашему мудрецу. Кстати, у меня сегодня нож упал на пол — примета, что придет неожиданный гость.

Валя презрительно фыркнула:

— Все-таки вы, русские, больше язычники от природы, чем цивилизованные христиане.

— Приметы слагались народом веками, Валечка, — миролюбиво возразила Надя, чувствуя, что немчура не в духе.

— А что ваш народ видел и знает? Одно самомнение. Те, кто действительно знал и видел, перебиты, уничтожены, как класс. Мы! Мы! Закидаем шапками!

Надя почувствовала беса:

— Ну, вам-то, немцам, хорошо известно, на что способен наш народ!

— Это вы о войне? Гордитесь победой? Вам не гордиться надо, а пеплом голову посыпать. Вы не победили, вы утопили в крови Германию. В своей, русской, крови, причем самого высокого качества, которая еще оставалась у вас. Хитрый Грузин знал, кого похвалить: «Спасибо русскому народу», а вы и рады, отец родной похвалил!

В прежние времена Надя бросилась бы опрометью защищать вождя. И Бог знает, что наговорила бы, одержимая «бесом». Теперь было другое. Уже не могла она думать о великом, непогрешимом отце, как думалось раньше. Многое увиделось по-другому. Но все же не сдалась:

— Русских он похвалил потому, что нас было большинство, — и обиделась, с каким сожалением посмотрела на нее Валя. — И не смотри на меня так ядовито, сказала тебе Коза: будешь злиться, срок не протянешь.

Спорить с Валей, старше и образованнее себя, и даже старой, умудренной жизнью Козой она считала делом нестоящим. Последнее слово всегда оставалось за ними. Поэтому, тряхнув головой, отгоняя беса, весело сказала:

— Хватит разговорчиков в пользу бедных и сирот! «После сытного обеда по закону Архимеда» мой котелок, а я на конюшню. Опять Ночка-попрошайка в руки глядеть будет: «чего принесла?»

— Дайте ей сахару, — предложила Валя. — Она тоже любила всякую тварь. — Не обеднеем.

В тот 1950 год зима наступила как-то внезапно и рано. Сразу похолодало. Пришлось снова надевать валенки и теплый платок на голову. Телогрейки вообще не снимали целое лето. ЧОС готовил к выдаче бушлаты. Уже к ноябрьским праздникам выпал обильный снег. После скрипучей и разбитой телеги сани скользили легко и быстро. Ночка охотно слушалась вожжей, и даже хлеб в тот день не запоздал. Дома, в хлеборезке, ждала еще одна приятная неожиданность. Вернулась Коза. Обрадованная Надя быстро разгрузила с Валиной помощью ящики с хлебом и повела в конюшню лошадь.

— Сейчас вернусь, заводи самовар, Валя, — уже с порога крикнула она.

Ночка всю дорогу старалась заглянуть ей в рукавицу, не осталось ли еще куска сахару. В прошлое лето совхозы не востребовали политических зечек на сенокос по режимным соображениям, и Надя боялась, не придется ли голодать лошадям в зиму. В хлеборезке царили порядок и чистота. В полураскрытой печке шипела черная кастрюля с кипятком.

— Вот это и есть счастливое и радостное детство, за что возблагодарим товарища Сталина, — сказала Валя и отмерила из пачки не две ложки чая, как обычно, а целых три, для заварки. Надя благоразумно пропустила мимо ушей Валин выпад: «Лучше не заводиться с ней, а то, пожалуй, такое услышишь!»

— Да! — поддержала ее Коза. — Чаепитие для зеков очень важный жизненный процесс, — и взяла кусок колбасы,

нарезанной так тонко, что через него можно было любоваться на Божий свет…Валя постаралась, хотя и такой призрачный ломтик она проводила неодобрительным взглядом.

— Чем жевать будете такую колбасу? — не выдержала она.

— А ты, Вольтраут, не переживай! Я один кусочек, много не съем!

— Валя! — одернула ее Надя, — не жадничай!

— Разве я о себе? — хитро подмигнул ее лисий зеленый глаз. — Я, как Ленин, о народе беспокоюсь!

«Это слишком!». Атмосфера накалилась, и Надя с трудом сдерживала себя, но Валя, почуяв угрозу, быстро переменила тему.

— Между прочим, завтра вашу аккордеонистку Нину на этап отправляют. Я слышала, просила девчат собраться после ужина в клубе. Проститься. Вы пойдете?

— Конечно, обязательно, если отпустишь.

К вечеру большая часть хлеба утренней смены была готова.

— Идите же, — напомнила Валя. — Антонина до отбоя мне поможет, успеем. Да, пожалуйста, оденьтесь поприличнее. Снимите свой свиной чехол! (Так Валя называла казенные халаты).

Пришлось надеть новую абрикосовую кофточку. Коза даже руками всплеснула.

— Красотка ты, Надежда, хоть куда!

— Хоть куда, да некуда! — с сожалением сказала Валя.

В столовой еще шла уборка после обеда ночной смены, а на сцене уже собрались зечки — Нинкины хористки — со всех бригад. Нина, веселая и оживленная, хоть и с красными подпухшими глазами, попросила задернуть занавес, но повариха и раздатчицы, а с ними и уборщицы шумно запротестовали:

— Мы тоже хотим слушать!

Пришлось оставить сцену открытой. Маевская, подтянутая и стройная, прочитала какое-то незнакомое Наде стихотворение. Все загалдели, зашумели, заохали:

— Что за стихи? Кто автор? Кем написано?

— Это Волошин, «Суздаль да Москва», — сказала Елизавета Людвиговна и посмотрела по сторонам. — Крамольное, — шепнула она Нине.

— Давайте еще «Капитанов!» — так же тихо, сказала ей Нина.

«Зачем это ей? Про каких-то капитанов-лейтенантов или мало мы их видим!» — разочарованно подумала Надя. Но едва Маевская прочитала первые строки, душа Надина встрепенулась и понеслась навстречу дивным словам. «Кто же это написал такое? Кто знал о флибустьерском дальнем синем море?», — хотелось ей

спросить, но стихотворенье-музыка закончилось, и свет в Надиной душе померк. Опять перед ней была холодная, грязная столовка и грустные, задумчивые зечки.

Вытирая влажные глаза, подошла Нина.

— Надюша, спой мне напоследок, может, и не увидимся больше.

— Чего? Что тебе спеть? — с готовностью спросила Надя.

— Мою любимую, ты знаешь! «Что это сердце…»

Никогда больше Надя так не пела, ни раньше, ни потом. В темноте полупустой столовой не торчали перед ней надзиратели, не блестели погоны начальников, не улыбались кисло-сладкой улыбкой их жены, — и она, чувствуя себя свободной, вложила всю душу в этот бесхитростный романс, а последние слова:

Пусть в чаду любви сердце пылкое

Бьется радостно в молодой груди… — пропела так, что сама осталась довольна. Наташа подошла:

— Я слышала, что у тебя хороший голос, но ты! Освобождайся скорее, мы о тебе еще услышим.

— Прощай, Нина, счастливо тебе найти таких же любящих тебя, друзей, — давясь слезами, сказала Надя. — Счастья тебе!

Пора было вспомнить о хлебе. Надя прыгнула со сцены в зал и пошла к выходу, но не успела она дойти до двери, как навстречу ей ввалилась целая толпа надзирателей во главе с опером Гороховым.

— Что тут происходит? Что за сборище? По какому поводу? — обратился он к Наде.

— Провожаем нашу аккордеонистку, гражданин начальник.

— Кто разрешил? Где начальница КВЧ? Почему одни? — и, отстранив рукой Надю, как мешавшую ему вещь, прошел в зал.

Надя не рискнула стоять и слушать дальнейшее. Уже за дверью она услышала, как вопил опер:

— Разойтись немедленно!

«Сраная мартышка, — вспомнила она Киру, — и еще вдобавок злая».

— Гниды на теле общества эти опера, — высказала свое мнение Валя, выслушав, чем закончились проводы.

— Хорошо с таким сроком, — заметила Коза, — чего хочу, то и говорю, кого хочу, того ругаю.

Надя поспешила погасить взрыв, почуяв опасность.

— А вы, королевские псы-флибустьеры, хранившие золото в темном порту, — пропела она так полюбившиеся ей слова.

— ГУМилев! — сказала Коза. — Сам расстрелян, а сынишка где-то по лагерям скитается, да и жив ли еще?

Надя притихла: «Опять! Отец расстрелян, а сын в лагере, за

что же?» Так хотелось спросить! Но не осмелилась…

Хлеборезки управились только к полуночи, и Валя с Козой отправились искать дежурную шмоналку, чтоб открыла барак. По радио диктор сообщал, что к 33-й годовщине Октября какие-то шахтеры выдали на-гора столько-то угля, а металлурги выплавили столько-то чугуна, стали… И все это было Наде совсем не интересно, она думала о том, какое важное значение для пения имеет хорошая акустика, даже если это просто пустой зал зашварканной столовки. Размышления ее были прерваны шагами за дверью. Она отлично знала эти шаги и не ошиблась, когда зашел, сияя улыбкой, Клондайк.

— Встать надо, когда входит учитель!

— С самого утра на ногах, гражданин учитель, с ног валюсь и ученье воспринимать не готова, отупела!

— Нет уж, позвольте, больше откладывать нельзя! Тупость не глупость, и время самое подходящее!

— Для тех, кто прекрасно отдохнул и выспался.

Лицо у Клондайка вытянулось обидой.

— Это клевета! Я целый день учил английский, паст перфект, старался запомнить, что пишешь одно, а говоришь другое, и прочую муру. Ты несправедлива ко мне!

Надя, не спеша, подкинула в печь угля, сняла халат и, аккуратно расправив рукава, чего никогда не делала, повесила на гвоздь. Потом пересчитала лотки с хлебом, чтоб как-нибудь скрыть волнение и замешательство, которое охватило ее. «Уж лучше бы сразу подошел и поцеловал меня, чем так столбом стоять и смотреть. Я все равно не скажу ему — начинайте!»

— Отойди от окна, могут увидеть тебя! — сказала она совсем не то, что думала.

— Пускай! Я сегодня дежурный офицер, мне по должности полагается проверять хлеборезку, кипятилку, столовую и даже баню, — насмешливо и озорно сказал Клондайк.

— Баню, во время мытья женщин?

— Если понадобится, и во время мытья!

— Прекрасная должность! — внезапно рассвирепела Надя, представив себе, как он входит в баню, полную нагих визжащих, женщин. — Нашел, чем похвалиться! — В таком случае проверяйте, гражданин начальник, пайки, вот они, перед вами, — Надя откинула занавеску, — и шагайте дальше! В столовую, наверное, в баню нет интереса, никто сейчас не моется.

Но Клондайка рассердить было немыслимо, не за тем пришел, чтоб от ревнивых выпадов обидеться и уйти.

— В столовой я уже был, проверял кухню и слушал, как ты пела, млел и даже глаза закрывал от удовольствия.

Продолжать злиться дальше было бы смешно и глупо, поэтому она сказала себе: «Какого черта я злюсь, сама не знаю. На мне красивая шифоновая блузка, и я хорошо выгляжу…»

От Клондайковых уроков у Нади очень скоро закружилась голова и черти запрыгали в глазах. Ей стало стеснительно, неловко и очень не по себе, когда она поняла, что дело заходит непозволительно далеко. И она не может освободиться от его настойчивых рук. «Не то я делаю, — мелькнуло у нее в сознании, — кофта расстегнута, волосы рассыпались в беспорядке. Стоп, Надя, остановись, умерь свой пыл, иначе будет поздно!» Но ее искуситель-бес, сопровождавший ее всю жизнь, нежно и ласково шептал: «Надя, Надя, ведь ты его любишь, не оттолкни своего счастья, не думай ни о чем, тебе так хорошо, забудься на время…»

— Нет, не надо, не здесь и не сейчас, — решительно сказала она и усилием воли поломала сладостный плен, оттолкнув его жадные руки.

— Надя, любимая, ведь ты любишь меня! — шептал, стараясь обнять ее снова, Клондайк. Но она уже полностью овладела собой. Голова ее все еще слегка кружилась, она подошла к умывальнику и плеснула в лицо ледяной воды. Потом застегнула помятую блузку и привела в порядок волосы. «Когда он успел снять полушубок?»— ужаснулась она, сообразив, как далеко позволила увлечь себя.

— Все, гражданин учитель, урок окончен, я все поняла, — сказала Надя слегка опешившему Клондайку. Он явно не ожидал такого решительного сопротивления.

— Что ты поняла? Что? Что я люблю тебя и схожу с ума, да? И испугалась?

Надя подсыпала в печь, вымыла руки и, сама не зная зачем, взяла брусок и поточила без того острый нож. Она молчала так долго, что, задетый за живое ее молчанием, Клондайк, наконец, сказал:

— В излишней пылкости тебя не обвинишь…

— Нет! Я весталка и пока ей останусь!

Клондайк накинул на плечи полушубок и, молча, направился к двери. «Сейчас он уйдет и все», — с болью подумала она, но не остановила. В дверях он круто обернулся и сказал с горечью и сожалением:

— Я тоже понял. Не любишь ты меня. Я ведь не мальчик, я знаю, что такое любовь. Самозабвенная и безрассудная. Ты просто меня не любишь, — повторил Клондайк.

Надя вспылила, оскорбленная до глубины души. «Как он смеет! Как может после всего, что я позволила ему…»

— Да! Той сиюминутной любви на полчаса, когда ты уверен, что никто нас не потревожит, у меня нет, и быть не может! Я не скотина валяться на соломе! — гневно выкрикнула Надя.

Клондайк остановился и в изумлении посмотрел на ее пылающее лицо, потом быстро подошел и обнял за плечи.

— Прости, это я скотина, я обидел тебя. Прости, — еще раз повторил он, целуя ее руки.

Надя взяла его руку в свои и просто, уже без гнева, сказала:

— Выслушай меня и постарайся понять. Никогда не сомневайся, я люблю тебя и, счастьем своим клянусь, никогда и никого не полюблю так, как тебя. Если мне скажут отдать за тебя жизнь, я не задумываясь скажу — да! Но у человека есть больше, чем жизнь. Его душа, его честь и достоинство! Иначе не было бы героев…

Клондайк порывался сказать ей что-то, но она нетерпеливо перебила его:

— Подожди, я не все закончила. Я знаю, что ты ждешь от меня, чтоб я сказала то, что говорят все влюбленные на свете: «твоя», «твоя», — но я этого не скажу, хоть сердце мое рвется на части от любви к тебе. Видит Бог, добираясь до своей постели, вдрызг усталая, я не могу заснуть, вспоминая твои глаза. Я… — тут она замолкла, увидав, как лицо Клондайка, такое строгое и серьезное минуту назад, осветилось страдальческой улыбкой:

— Надя, Надя, ты меня разума лишаешь, — прошептал он, сжимая ее руку. — Ну, говори, продолжай!

— Поверь, я не могу тебе сказать: «твоя». Это слово слишком многое обозначает для меня, обязывая к невыполнимому. Я не принадлежу ни тебе, ни себе. Я государственная, я рабыня! И пока такие, как Корнеев и Горохов, и ты в том числе, будете распоряжаться мной, гонять по этапам, приказывать, где мне работать, на каких нарах спать и сидеть по бурам, я буду только зечкой, государственной преступницей. Но, кроме тела, рук и ног, у меня есть сердце и моя душа, мои чувства, свободные от всяких запретов и законов. Если ты поймешь меня, тогда вся моя любовь, на которую я только способна, всегда и навечно, до конца дней моих принадлежит тебе одному. Не поймешь — я не осужу, так тому и быть. Ты молод и свободен. И я хочу свободы… У Чайковского в одном романсе есть прекрасные слова: «Но я любить могу лишь на просторе! Мою любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега». И пока я не буду свободной, другого от меня не жди, а теперь решай сам…

— Я люблю тебя! И все будет так, как ты скажешь, как захочешь! — воскликнул Клондайк с глубокой печалью в голосе, целуя ее мокрые глаза. — Я боюсь потерять тебя, ты

освободишься и уйдешь, а я не могу уйти отсюда до времени. Я не меньше тебя раб и тоже прикован. Мне нужно учиться! А для этого…

— Нужно! — согласилась Надя.

— Но если, как ты говоришь, даст Бог, я буду свободен раньше, я буду ждать тебя здесь, сколько надо.

— Не обещай того, что сделать не в твоих силах, — растроганно сказала она, легонько отстраняя его от себя. — Да и стоит ли делить шкуру, когда медведь еще в лесу.

— Ты только ответь мне, ты даешь мне надежду на будущее?

— С легкой душой, даже две. Одну на будущее, другую на сегодня, перед тобой. Теперь уходи, пора и честь знать, зечки разбегутся!

— Будет ли мне разрешен холодный братский поцелуй на прощанье?

— Не нужно! Без эмоций, пожалуйста!

— Тогда я не уйду! — и уселся на колченогий стул. Надя забеспокоилась, скоро подъем, бригадиры пойдут, увидят опять!

— Ну, ладно! Только один и самый холодный!

Но за холодным последовал еще один, и еще, пока не получилось горячего, и Надя опять поправляла блузку и растрепанные волосы.

— Выметайтесь немедленно, гражданин начальник! Кто-нибудь обязательно заметит, что вас нет целую ночь!

И когда Наде, наконец, удалось выпроводить своего пылкого учителя, она еще долго смотрела в окошко, как шел Клондайк к вахте, мысленно посылая ему тысячи самых добрых пожеланий.

До подъема оставалось совсем недолго. Часов в хлеборезке не было, но она уже научилась безошибочно определять приблизительное время. Спать не имело смысла, залечь можно после раздачи хлеба, а пока написать письмо домой, матери. Она бережно сняла с себя шифоновую блузку, одна из пуговиц была вырвана с мясом: «Однако!» Поискав ее недолго, Надя нашла и поспешила пришить на место. Потом подошла к зеркалу и потрогала пальцем вспухшие от непривычных поцелуев губы.

«Нехорошо это, ни мне, ни ему. Все равно, что ходить наперегонки по рельсам, как в детстве. Когда-нибудь да оступишься».

Она давно собиралась попросить Зинаиду Федоровну прислать что-нибудь в подарок Антонине Козе. Например, платок или недорогую теплую кофту, пусть не новую, Коза не обидится. Она очень мерзла в казенном байковом платье, которое от частых стирок не только село, но и вытерлось. Голова ее, покрытая редким серебристым пушком, тоже нуждалась в теплом платке.

«Не обязательно новое, — подчеркнула жирной чертой Надя, — лишь бы теплое».

После завтрака, который теперь в котелке приносила Коза, Надя побежала на почту бросить письмо. Переписку ей, как уголовнице не ограничивали, но все равно, она писала редко, и то в каждом письме «спасибо за посылку или пришли, мамочка, пожалуйста…» По дороге обратно ее остановила Шура Перфильева или, как ее прозвали зечки — «идеальная шмоналка».

— Там из города майор приехал, тебя спрашивал!

— Следователь! — догадалась Надя. — Спасибо, Шура.

— Не Шура, а гражданка надзирательница, — поправила ее с улыбкой Перфильева, и Надя с удивлением отметила про себя, какие светлые, доброжелательные у нее глаза и особенно милая улыбка. Двое их таких на весь ОЛП, а может, и на всю Воркуту».

Опять тот же самый, что и в прошлый приезд, следователь — майор в этот раз был совсем другим. Вежливо поздоровался, назвал себя и помогал Наде наводящими вопросами. Напоследок сказал вполне дружественно:

— Ну, наверное, теперь все. Жди, уже скоро.

Бежала обратно в хлеборезку окрыленная, не помня себя от радости, перепрыгивая по лестнице через две ступеньки. И остановилась как вкопанная, навстречу поднимался к себе Горохов.

— Здравствуйте, гражданин начальник!

— Здрасс! — буркнул опер. — Майор еще там?

— Там!

— Ну, чего?

— Сказал, что все. Скоро домой!

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — хмуро произнес он, неприязненно посмотрев на Надю.

«И что за человек, вечно раздражен и злой! Если не за что в бур посадить, то хоть настроение испортить. Фигу ему с маслом, отпустит скоро, никуда не денется».

Ночка, добрая старая кляча, словно почувствовала приподнятое настроение своей возницы, тыкалась мордой ей в плечо и дышала в лицо, щекоча ее щеки колючими усами. «Вот кого мне будет жаль здесь оставить», — и поцеловала Ночку в мягкую тёплую ноздрю.

Выбираясь из конюшни на дорогу, она заметила, что пришел 3-х часовой автобус из города. Человек пять-шесть, не больше, сошли здесь, на конечной остановке, и среди них она узнала Клондайка.

Саша! — хотелось ей громко крикнуть ему. Но нельзя! Не положено! Только тихо совсем про себя сказала: «Саша!» И вдруг

произошло настоящее чудо. Клондайк обернулся, поглядел по сторонам и увидел Надю. «В город ездил, счастливый!»

От основного шоссе, ведущего из города до конечной остановки «Кирпичный завод № 2» и одновременно к лагпункту, на пекарню шло ответвление. Узкая, грунтовая, плохо очищаемая дорога, которая к концу зимы вообще превращалась в тоннель. Шоферы, возившие из города муку и отруби, всякий раз бунтовали, угрожая прекратить доставку. Но шоферы менялись, а дорога продолжала существовать в первозданном виде. С пекарни шла дорога на 6-ю шахту, где размещался громадный мужской лагпункт из одних «политиканов». Но та дорога всегда поддерживалась в идеальном порядке. Много раз Надя видела, как темные массы людей работали, лопатами и ломами.

— Доходяги колупаются, — говорил о них Мансур.

— Какие? — допытывалась Надя.

— Всякие, сестричка: власовцы, бандеровцы, просто болтуны…

— Наверное, мужья наших женщин, — догадывалась Надя.

— Бывшие мужья, бывшие. Мужчина, просидев с десяток лет в таком «санатории», мужем уже не станет, только другом!

Конец ноября и декабрь — самое темное время года в Воркуте, и сумерки уже сменились темнотой, когда Клондайк догнал сани.

— Здравствуйте, дорогая ученица! Куда так спешите? Тесто еще не подошло! — приветствовал он Надю.

Она еще во власти завистливой ревности приготовилась надуться и покапризничать, да не смогла. Заслышав его голос, тотчас сменила гнев на милость.

— Ты знаешь, я шел к себе, вдруг слышу: «Саша»… смотрю, ты!:

— Я не звала, я видела тебя… но не звала…

— Нет? Я тоже удивился. Галлюцинация! Ночка свернула на дорогу к пекарне.

— Может, мы все-таки поздороваемся, как полагается ученице с учителем?

— Не могу, губы болят от твоих уроков, — не выдержав, засмеялась Надя.

— Если тебя утешит, мне тоже не лучше было!

— Отсюда вывод: обучение прикончили!

— Наоборот! Учиться надо. Переменим систему обучения.

— Фигушки! Сегодня следователь был. Сказал: теперь все!

— Отлично! — и тут же на радости попытался обнять Надю; Но сделать это совсем было непросто. На ней бушлат, под ним телогрейка и теплая кофта, а снизу под толстенными байковыми

лыжными штанами, заправленными в валенки, еще бог весть сколько навьючено.

— Попробуй, обними мешок с отрубями!

— Всенепременно, только не здесь. Природа не располагает к неоправданным действиям! — пошутил Клондайк, оставив попытку обнять ее.

Зато на голове у Нади белый пуховый платок, купленный на малаховской толкучке специально для Севера. Подарок покойной тети Мани. Все в один голос говорили, как он идет к ее темным глазам и молодому свежему лицу. Этого Клондайк не мог не заметить. Пришлось без долгих уговоров подставить опухшие губы и повторить урок. Но! Только один раз. Холодно. И оба согласились, хоть мороз для Воркуты невелик, всего —17°, но целоваться лучше в тепле.

— Чего в городе делал?

— Всякие дела накопились, отпуск оформлял в управлении.

— Отпуск! — неприятно поразилась Надя. — Как отпуск? — и замолчала, прислушиваясь к бесу, который, тут как тут, зашептал: «Ну что, дура! Будто не знаешь, что он вольный и у них большие отпуска? Теперь на Новый год будет гулять с нарядными девушками. Разве оставят такого одного? Повиснут пиявками». Но Надя властно остановила его болтовню: «Пошел прочь».

Невдалеке уже чернели трубы пекарни.

— Ну, ладно, — сказала она усталым от борьбы с бесом голосом. — Ты не ходи дальше! Увидимся! — и хлестнула вожжей лошадь по спине.

— Нет, погоди, Надя! Я же вижу, что ты расстроена и понимаю почему. Но мне действительно надо ехать. Хоть заочник, но раз в году нужно появиться. Ты ведь не против…

— Нет, конечно, я понимаю, — и, окончательно наступив бесу на горло, с горьким вздохом сказала: — Я буду все время думать о тебе. На Новый год мне будет очень тоскливо, ты помни это!

— Тогда я вообще не поеду, — упавшим голосом сказал Клондайк.

— Не говори ерунды! — строго прикрикнула на него Надя.

— Я еще дежурю в последний раз перед отпуском, зайду проститься.

— Обязан зайти проверить хлеборезку.

— Как твой учитель? — и дотронулся своей теплой рукой до ее щеки.

— Как дежурный офицер, начальник режима, — и, еще раз стеганув Ночку, пустила ее во всю прыть.

«Ведь это не я, это опять мой бес ему так ответил. Мой бес— моя ревность, моя злоба, моя гордыня, моя ненависть. Разве я

могла бы так? Я сказала бы: приходи, любимый мой, желанный мой, единственный. Я буду ждать тебя. Но бес заартачился!»

На следующий день ее ждало большое разочарование. На пекарне, куда она отправилась пораньше, надеясь до отбоя управиться с хлебом и отправить своих помощниц в барак, с утра была санитарная чистка, и, когда подъехала Надя, тесто только разделывали. Пекарня пополнилась двумя новыми рабочими: появился кочегар, молчаливый и насупленный эстонец Эльдар Уго, и водовоз, но все равно работа была очень напряженной. Поговаривали, что контингент заключенных непомерно разрастался, и пекарня справлялась с трудом. Хлеб придется возить с хлебозавода из города. Надя мало прислушивалась к таким разговорам, уверенная, что скоро будет свободной.

Случилось так, как она и опасалась. Хлеб она привезла поздно, и, когда ударили отбой, у хлеборезок еще был непочатый край работы. Коза-Антонина тоже помогала из последних сил. Втыкала лучинки в довески и считала пайки, которые со скоростью автоматов швыряли с весов девушки. Вскоре Валя заметила, что Коза стала ронять на пол довески, ее прогнали отдыхать в комнатуху. Радио уже давно смолкло, когда застучали в тамбуре ноги, и три начальника ввалились в хлеборезку. Коротенькая мартышка-опер, новый режимник и Клондайк.

Хлеборезки отложили ножи и встали по стойке «смирно». Опер настороженно и недоверчиво посмотрел на них, окинул взглядом хлеборезку и, оставляя следы на полу, ринулся в комнатуху, будто там могли прятаться беглые каторжники или, по крайней мере, ждала засада.

— Кто здесь лежит? — спросил он, увидев спящую мертвым сном Козу. Валя немедленно подскочила к нему и начала бойко объяснять. Коза проснулась и, увидев рядом с собой грозную физиономию опера, поспешила встать. Позже, открывая свой беззубый черепаший рот, она, покатываясь со смеха, рассказывала: «Открыла глаза и не соображу сразу, где нахожусь, увидала Кума и решила: попала в ад и сам черт меня к ответу призвал, за мои земные грехи».

Оставив Козу в полуобморочном состоянии, он вернулся к лоткам и провел рукой по полкам, проверяя пыль. Потом положил на весы несколько паек и внимательно проверил гири.

— Почему работаете по ночам?

Надя ответила.

— Громче отвечайте, пожалуйста, не цедите сквозь зубы.

Бес уже водрузился на левое плечо и бросил в ее глаза горсть таких злобных искр, что опер повернулся к улыбающейся Вале, не стал связываться с бандиткой. Обхамив его, она оказалась бы в;

карцере опять, но с такими злобными глазами могла наговорить, такое, что сделало бы его посмешищем среди своих сослуживцев и зечек. Наконец, вдоволь наследив, они направились к двери. На Клондайка она даже не взглянула ни разу. Только спину его обдала горьким презреньем. Бес пропал, сказав напоследок: «А ты что вообразила себе? Охранник, пес!» Стоя навытяжку, соляным столбом перед своим возлюбленным, Надя еще раз испытала жгучее чувство унижения, подогреваемое бесом, и мысленно поклялась себе: «Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах, пока я за проволокой, я не буду унижена, как женщина. Только на равных! Никакой слабости». Дина Васильевна сказала ей однажды:

— Ты уже взрослая, Надя, и девушки в твоем возрасте мечтают о мужьях. Но тебе предстоит выполнить другое назначение в жизни. Бог дал тебе голос и подчини свою жизнь исполнению его воли. Я научу тебя заклинанию, которое спасет тебя от ненужных, опустошающих душу и тело связей. Повторяй за мной: «Я высшее создание, человек! Мною руководит великий разум. Я в совершенстве владею своими поступками. Мое тело подчинено мне, и только мне. Первородный инстинкт мой молчит». Сказав так, ты сразу почувствуешь себя сильной, и это поможет тебе освободиться от пагубной слабости.

В то время ей не нужно было никаких сдерживающих заклинаний. Наоборот, больше чувства в пении, больше страсти! Но теперь было другое. Она полюбила всем сердцем, всей душой, всем своим существом не вопреки разуму, а прекрасно сознавая за что: за доброту, за волнующую красоту, сочетавшую в себе нежность и мужество. За то, что, избрав ее из сотни других, не менее красивых, оценил ее гордость и достоинство и, уважая ее волю, разрешил быть госпожой положения. Теперь она нуждалась в надежной защите от самой себя, от своих непредсказуемых поступков.

Перед самым подъемом Клондайк бросил своих спутников и еще раз прорвался в хлеборезку. Надя была вежливой и холодной весталкой, ледяным голосом пожелав ему счастливого пути. А он не рискнул при Вале и Козе сказать ей, что можно было быть поприветливее, поласковее.

— Он ее за муки полюбил, она его за состраданье к ним, — с насмешкой сказала Валя ему вслед.

— Фрау фон Шлеггер, прекратите подавать реплики с галерки, — рассердилась Надя.

А Коза, так и не успев очерстветь за время своей долгой отсидки, мечтательно сказала:

— Он похож на молодого Байрона.

Коза была счастливой находкой для хлеборезок. Услужливая и доброжелательная, всегда с улыбкой на своем беззубом, козьем рте, появляясь утром с котелками из столовки, она вносила с собой веселое оживление. Глядя на нее, Надя часто задавала себе вопрос: «Какая же должна была быть Коза, когда называлась Антониной Васильевной Смирновой и было ей 20 лет, как мне?» Благодаря ее помощи хлеборезки успевали нарезать хлеб до полуночи, а иногда даже до отбоя, если не было мелких штрафных паек. Но теперь Наде не хотелось рано отпускать их и оставаться одной со своей тоской. Она никого не ждала, никуда не спешила.

Незадолго до Нового года Надя получила посылку из дому, о чем радостными возгласами оповестила ее Коза. В посылке, кроме продуктов, кое-какие вещи и цигейковая шапка с длиннющими ушами. «Это для Козы, — сразу решила Надя. У нас таких никогда не было. Дина Васильевна прислала». Шапок меховых она не носила и вообще старалась одевать голову легко, следуя тети Маниной поговорке: «Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле — и здоров будешь». В обертке шоколадной плитки была записка от Дины Васильевны, всего несколько строк:

> «Дорогая девочка! Пересмотр закончился. Дело на днях пойдет на подпись к Генеральному прокурору СССР Руденко. Вот до каких верхов долез твой маэстро. Целую. Д.».

Два дня пировали и ели от пуза «Московские хлебцы» с маслом и пили цейлонский чай. Два ее школьных платья и юбка с кофтой оказались малы. Надя и не подозревала, как выросла за эти полтора года. Платья отдала Вале, она ростом пониже, а кофту с юбкой, пахнущие домом, напялила сама.

— Ты в этом одеянии выглядишь как девочка, — сказала Коза, оглядывая Надю.

— Она и есть девочка-студенточка академии имени товарища Сталина, — не удержалась от насмешки Валя.

В этот раз на почте дежурил старший режимник и очень пристально рассматривал и расспрашивал Надю, откуда посылка? Что и как и чего. Записки не нашел, но он и не смотрел в ящик.

— Вечером зайду, проверю, как у тебя там…

Надя взяла посылку и скорее поспешила к себе обрадовать своих. Не успела она скинуть платок и телогрейку, как следом явился режимник. Где-то он уже проявил себя непорядочно, так как получил кличку Сладострастный павиан, или просто Павиан. Надо отдать должное, в отношении Нади он не делал никаких попыток оправдать свою кличку. Наоборот, стоял и смотрел, как

хлеборезки, переговариваясь и шутя, быстро расправлялись с хлебом. Они демонстративно не обращали на него никакого внимания. Наконец он ушел.

— Послушайтесь меня хоть раз! — воскликнула Валя, едва дверь закрылась за ним. — Я вас еще раз предупреждаю, Надя! Это очень опасный тип. Не зря Фира Лейзерова назвала его Павианом. Он уже присватывался здесь ко многим!

— Какая досада! — засмеялась Надя. — Значит, я из последних, а я вообразила себе, что он мои таланты оценил…

— Не смейтесь, это плохие шутки. Такие павианы способны на все!

Иногда в свое дежурство он являлся на сцену, куда бегала Надя попеть с Наташей Лавровской просто так, для себя, что-нибудь старинное вроде «Снился мне сад…». Надя злилась и тихонько ругала его: «Павианище поганый, как он смеет смотреть на то, что принадлежит другому». Она очень скучала о Клондайке и, ложась спать, мечтала: «Хоть приснился бы!» Но он не снился ей. Ни во сне, ни наяву о нем не было известно ничего. Снов Надя вообще не видела. Спала, погружаясь в небытие, тяжелое и непробудное, как смерть. Но однажды она увидела себя неясно, как размытую тень, и голос чужой, незнакомый сказал ей: «Это ты, Михайлова? Бери письмо и иди домой». И сейчас же она увидела и себя, и свой дом в Малаховке. Ее забор, с выдранными планками, Стадо знакомых собак бесшумно пронеслось мимо, и многих она узнала. Вот Флерка — дворняга соседей, вот благородная Хекса-доберманиха Курилки, бобики, шарики, тузики. Все бежали куда-то, не обращая на нее внимания. Она направилась к дому, но его не оказалось. Вместо него стояли три огромные сосны. Оглядываясь с удивлением, она подошла к соснам и на одной из них увидела дупло. «Вот где, должно быть, для меня письмо, — догадалась она. — В дуплах всегда письма и записки. Их туда кладут влюбленные». Надя протянула к дуплу руку и почувствовала острую боль. «Меня кто-то укусил!» — вскрикнула она и проснулась.

— Все-таки вы дикари! — верите в приметы, в сны, — раздраженно сказала Валя и пожала плечами в знак презренья.

Но Коза отнеслась к Надиному сну серьезно: — Сходи в пятнадцатый барак, там живет румынка или болгарка, точно не знаю, Росица, она ведь ведунья, сон твой сразу разгадает.

— Правильно! Научите ее по баракам ходить! Мало ей карцера, — строго оборвала Козу Валя. — Руки у вас от работы болят, вот вы и чувствуете во сне боль.

Руки у Нади и в самом деле болели по ночам. Особенно весной и осенью. В санчасти врач Горохова посмотрев, сказала:

— Ничего страшного, мышечная боль от физической нагрузки. Велела дать мазь, делать массаж. Никакого массажа Надя, конечно же, не делала, времени не было, а мазь по совету Вали бросила в печь. На том и закончилось лечение. Но по ночам руки ее продолжали ныть противной тягучей болью.

ВРЕМЯ БЕЖАЛО, А СРОК НЕ ДВИГАЛСЯ…

Новый 1951 год наступил неприметно, ничем не порадовав зечек. В новогоднем концерте Надя не принимала участие и была рада остаться в праздничный вечер с Валей и Козой.

Настроение было отвратное. Она устала от работы, хотя теперь хлеборезка не казалась ей такой тяжелой как раньше.

Коза, чтоб развеселить ее, рассказывала всякие смешные и забавные истории из своей лагерной жизни, но Наде они не казались смешными, ей было жаль бедную Козу.

В Рождество Валя испекла красивый торт, украсив его всевозможными загогулинами. Черные крошки ржаного хлеба, немного муки и самую малость маргарина — вот и весь рецепт. Украшения и загогулины из сахара.

— Теперь нужно его остудить, чтоб он затвердел, — сказала Валя и вынесла торт в тамбур, предупредив:

— Выходите осторожно, не заденьте табурет с тортом!

Она уже вынимала закопченную кастрюлю с кипятком из печки, чтоб начать священнодействовать с заваркой, когда в тамбуре послышался грохот опрокинутой табуретки и в хлеборезку зашли старший надзиратель Гусь и Мымра. На валенке у Гуся красовался лепесток розы с Валиного торта.

— Ай! Торт! — вскричали одновременно все три зечки, а Валя стремглав вылетела в тамбур.

— Что с ней? — удивилась Мымра.

Но когда Валя внесла раздавленную тарелку с лепешкой — бывшим тортом, Мымра сказала:

— Ой, как жалко! Надзиратель засмеялся:

— Ничего, и так съесть можно.

— Майор Корнеев спросил, почему ты в концерте не участвовала. Я не знала, что и сказать, — провякала Мымра.

— Почему это вы не знали? Вы же сами сказали мне, что майор, вычеркнул меня из списка, — возмутилась Надя.

— Ну, — махнув рукой, сказала Мымра, — когда это было. Вот ко дню Красной Армии ты подумай, чего петь.

Обиженная до слез Валя, реставрировала свое изделие, посылая тысячу проклятий вдогонку неуклюжему надзирателю.

— Сволочной Гусь нарочно сшиб табуретку! — кипела яростью Валя.

Место, где его валенок раздавил розы, пришлось удалить вовсе. К счастью, тарелка раскололась на две части без осколков, но, в общем, он был прав. Торт все равно съели, не переставая хвалить Валины кулинарные способности. Ночью по радио

передавали «Сильву», и Надя с удовольствием слушала прелестную музыку Кальмана, сожалея, что Дина Васильевна была так глубоко предубеждена против всякой оперетты. Но не успел Ярон закончить свои куплеты, как в тамбуре загремело ведро, видимо, нарочно оставленное Валей (чтобы гады ноги перебили), и вошли дежурные, Сладострастный павиан и две шмоналки. Шмоналки застряли в дверях, а Павиан начал перевешивать пайки. Надя с нездоровым любопытством посматривала исподтишка на него. «Почему его называли Сладострастный павиан?» Значение этого слова она не очень хорошо понимала. Помнила по школе, у Достоевского не то глава, не то рассказ назывался «Сладострастники», и слово это в ее понимании обозначало развратного, грязного человека. В его лице она не находила ничего такого, что говорило бы о разврате. Самое простое, и даже не противное. Обыкновенный деревенский мужик, если снять погоны.

— Освобождаешься скоро? — спросил он, исподлобья взглянув на Надю.

— Как будто…

— Небось, замуж сразу выскочишь?

— И не подумаю. Учиться буду.

— Опять у Гнесиных?

— Не знаю, где возьмут.

— Ну, тебя-то везде возьмут, — уверенно сказал Павиан, вздохнул и пошел к двери. Шмоналки затопали за ним. Из тамбура послышались визг и хохот. «Наверное, Павиан руки распустил», — догадалась Надя.

Утром Коза пришла с известием:

— Комиссовка, и будут проверять на беременность!

— Что? — не поверила Надя.

— На беременность, всех до сорока пяти лет.

— Как так?

— Так же, как на вшивость, только с другого конца, — объяснила Вольтраут, и отвернулась, чтобы скрыть насмешку.

— Я и не подумаю идти!

— Поведут с конвоем! — невозмутимо сказала она.

— Хоть с конницей Буденного, ни за что! Неужели, Валя, вы пойдете?

— Почему нет? Если хотят, пусть полюбуются!

— Не горюй, Надя, я пойду вместо тебя! — заявила Коза.

— Да вы что? Сговорились, что ли, смеяться надо мной!

По приказу Гороховой за ней пришла дежурнячка Перфильева.

— Хорошо же, я пойду! — закричала Надя. — Только штаны с

меня будет стаскивать или сама Горохова, или доктор Ложкин.

— Ну и нечего было воевать, — сказала Валя, когда Надя вернулась с комиссовки.

— Я была тверда и непоколебима. Горохова спросила меня, как себя чувствую, я сказала: я не беременна и моего слова должно быть достаточно. Тогда она сказала:

«Покажи грудь». Я говорю: «Это можно, если доктор Ложкин отвернется». Он обозлился и плюнул, говорит:

«Надоели вы мне, двустволки, хуже каторжной жизни!» И выскочил вон. Ведь, гады, ни одной беременной не нашли, а такое затеяли!

— Так ведь это затевается для того, чтоб какого-нибудь вольняшку опорочить. Предположим, найдут беременную, будут таскать по операм, пытать, начнут запугивать, пока не сознается, вот тут и попался, голубчик! — объяснила Коза.

— Сколько же способов, кроме срока, унизить заключенного! — злобно сверкнув глазами, воскликнула Надя.

— Много, ой как много! — сказала Коза. — Ты, Надя, смирнее будь, легче переносить неволю, а ты, как норовистая лошадка, сразу на дыбы. Научись приспосабливаться к обстоятельствам да благодари Всевышнего, что в такой лагерь попала. Считай, что на курорте.

— Хорош курорт! — возмутилась Надя. — Стоит взглянуть, как девчата с Кирпичного возвращаются, сразу вспомнишь… и вздрогнешь!

— Ты не возмущайся! — перебила ее Коза. — Теперь лагеря совсем не те, что были раньше.

— Что? Иль не скупятся? Охраны и проволоки побольше? — съязвила Валя.

— Не в этом дело! — терпеливо продолжала Коза. — Раньше лагеря создавались для уничтожения зеков, а теперь сообразили: врагов надо использовать, как рабов. Оттого и зеки другими стали помоложе, да посильнее. В тридцать седьмом со мной в этапе одни старики да старухи, троцкисты, ехали в Унжлаг, а в сорок седьмом — одна молодежь. Фронтовики да из немецких концлагерей, бывшие узники — наши враги.

— В пятьдесят седьмом, надо полагать, поедут дети, — политические озорники, а урки и блатняки их конвоировать будут, — сказала Валя, насмешливо взглянув на Козу, но Антонина не обиделась, и даже, понимающе, улыбнулась ей.

— Ну, блатные, ни при каких правителях работать не будут. Шахты эти да дороги выросли на костях политических и бытовиков, а ворье если и погибали, то потому, что резали друг друга, хотя, иной раз и начальству попадало от них. А еда какая

была? Слезы горькие! Вы думаете, почему я так облезла — ни зубов, ни волос? А ведь мне и лет не так уж много!

— Не от излишеств, верим! — согласилась Валя. Только насчет зубов — разрешите не поверить! Следователь ваши зубки на допросах пересчитал… Почерк знакомый! Так ведь?

Коза, было, дернулась, но не ответила ей, а продолжала:

— Вот я и говорю: сиди, Надюша, смирно, пока свои посылки сама получаешь, да нас угощаешь, а то с почты до барака донести нельзя было. Блатняки у дверей шайками стерегли.

На следующее утро за хлебом вместе со своим бригадиром пришла Зырька. Среди западнячек Надя всегда отличала хорошенькую студенточку из Львова, Зырьку. Кто она была? Бандеровка-самостийница? Возможно. Да не все ли было равно здесь, где все равны? Говорили про нее, что была она членом организации «За самостийну Украину», за что и арестована. Должно быть, Зырька вела себя на следствии достойно, как «человек», не оговорила и не выдала своих товарищей, судя по тому, что получила срок 20 лет каторги, с отбыванием в лагерях «особого режима» и дальнейшей высылкой в отдаленные места. На Капитальной, откуда прибыла Зырька, она работала в шахте, здесь, на 2-м кирпичном, начальство загнало маленькую почикайку в гофманку, в обжиг, выгружать раскаленный кирпич из огненных печей. Друзья Зырьки и родичи не бросили ее в беде, трусливо не отказались от каторжанки, наоборот, чуть ли не каждую неделю на столбе, где висел список посылок, красовалась Зырькина фамилия. Посылки с сахаром, салом, мукой и разной домашней снедью поддерживали ее в немыслимо тяжелых условиях работы на кирпичном заводе.

Валя называла Зырьку и ее друзей непонятным словом: ОУНовки. Хорошо это или плохо — Надя не знала, но, прожив с ними бок о бок за проволокой несколько лет, зауважала этих девчат за неиссякаемый оптимизм и веру в Бога, за юмор и красивые песни, а еще за честность и добросовестность даже в каторжном труде.

Антонина Коза как-то рассказывала, что письма, которые писали Зырьке друзья через ее родных, читались западнячками вслух, при запертых дверях барака, после отбоя, и все, как одно, заканчивались словами: «Спаси вас всех Христос, мы за вас молимся и не оставим вас…»

Надя слушала и удивлялась, однако, самым главным достоинством Зырьки считала, что была Зырька очень симпатичная, пела свои украинские песни и лихо отплясывала гопак. Забирая свой лоток с хлебом, Зырька спросила:

— Ты одна?

— Одна. Мои еще не пришли.

— Может, тот свинский блондин у тебя?

— Какой? — притворилась удивленной Надя. — Да режимник, «Красючёк».

— Что ты, Зырька, окстись, чего он тут забыл?

— А может, что и забыл, кто знает? — лукаво подмигнула Зырька и улыбнулась, показав перламутровый ряд зубов. — На тебе записку, с шестой шахты передали. Держи!

— Кто передал?

— А я почем знаю? Мы дорогу чистили, а их мимо вели, кто-то бросил.

— Спасибо! Зря взяла. Найдут на вахте во время шмона, в бур попадешь!

— У меня не найдут. Я старый конспиратор.

— Устаете сильно?

— Ой, не спрашивай! — Зырька махнула рукавицей и потащила с бригадиром свой ящик. В записке не было объяснения в любви, какие обычно передавали с шахт Наде. Это были ноты на аккуратно разлинованной бумаге. Песня со словами и несколько строчек, написанных печатными буквами: «Прошу исполнить эту песню в своем концерте как литургию по автору». И все. В тот же вечер, поручив хлеборезку Вале, Надя забежала в столовую, на сцену, где вечерами сидела Наташа Лавровская, разучивая оперный клавир «Кармен».

— На-ка, Наташа, взгляни, что мне прислали, — попросила Надя, подавая листок.

Наташа нехотя сняла с плеч аккордеон и взяла записку. Бегло прочитав ее, она подошла к пианино и одной рукой проиграла мелодию. Потом подумала и проиграла двумя руками. Мелодия была совсем незнакомая и грустная, вся в миноре.

— Знаешь, а мне нравится! Пойдет тебе к двадцать третьему февраля. Только куплет про лагерь надо пропустить.

Перед днем Красной Армии был грандиозный шмон, или, как называла Маевская на французский манер, «гран-шмон». Обыскивали все, что могли. На нарах и под нарами, сумки, мешки, ящики, чемоданы, выворачивали карманы, трясли даже лагерные журналы.

— Жаль, что я белье свое перестирала, шмоналкам приятней было бы в грязном возиться, — убирая раскиданные вещи, с досадой ворчала Надя.

В такие дни она особенно остро чувствовала, что стоят они с Клондайком «по разные стороны баррикад». На сцене тоже был шмон, и записку с песней забрали. Не положено. Но уже прошло несколько репетиций и в ней не было нужды. Весь смысл песни

сводился к следующему: двое фронтовиков, он и она, клянутся не потерять друг друга после войны. Но он попадает в плен, а потом в лагерь. Верная своей клятве, подруга ищет его в Воркуте, но он погиб. Когда Надя спела в последний раз припев, а она знала, как надо спеть, чтоб «слеза прошибла»:

Ванюша! Друг сероглазый мой,
Ванюша! Ласковый, родной,
Где тебя найти,
Если все пути

Замела полярная пурга, — зечки устроили такую овацию с топотом и ревом, что пришлось повторить еще раз, а потом «Ганзю», потому что Наташа больше ничего не знала. Во втором ряду рядом с Шурой Перфильевой сидел Клондайк и тоже хлопал, но сдержанно, как и подобает начальнику. Надя уже знала, что он вернулся, и заприметила, как только вышла на сцену, а потому из кожи лезла вон, чтоб петь хорошо.

— Сама себя перепрыгнула, — сказала ей Наташа после концерта. — Надо мне что-нибудь тебе с танцем поставить, легкое, из оперетты, или танго Годэ — успех обеспечен.

— Неужели мне еще придется здесь выступать?! — взмолилась Надя. — Где этот чертов прокурор, у кого мое дело на подписи!

Не доходя немного до хлеборезки, она увидела Клондайка, он ждал ее. Валя на концерте не была, послушала генеральную репетицию, а Коза сразу же отправилась в барак.

— Здравствуй! — сказал негромко Клондайк и протянул ей обе руки, без варежек. — Ты меня уже забыла, моя строптивая ученица?

Ей очень хотелось для начала быть строгой и слегка выдать холод, но, увидев его протянутые, дружелюбные руки, раздумала и сказала: — Заходи позже, у нас еще полно работы.

— Ты так ласкала своего Ванюшу, что я готов был возревновать.

— А ты так нежно ворковал со шмоналкой, что я тоже почти обиделась.

— Послезавтра дежурю, можно к вам зайти, моя недотрога?

— Если не будете шмонать со шмоналками, заходите, гражданин начальник!

На следующий день, с утра, после поверки прибежала дневальная опера.

— Иди, вызывает, гневается!

Надя схватила телогрейку и, бранясь скверными словами, пошла в «оперсосную». Уже с порога было слышно, как он орал по телефону. Надя прислушалась, не смея постучать в дверь. В этот

момент приковыляла дневальная.

— Чего стоишь? Нечего подслушивать!

— Больно надо! — огрызнулась Надя. — Он по телефону говорит!

— Иди, иди, раз звал, — и, чуть приоткрыв дверь, пропела: — Гражданин начальник, Михайлова пришла!

— Зови, — и в трубку: — Я рапорт подам. Всего! — и Наде:

— Заходи!

— Здравствуйте, — вежливо поздоровалась она и встала «овечкой», руки по швам.

— Ты что пела вчера?

— Фронтовую песню, — сделав круглые глаза, ответила Надя.

— Кой черт фронтовую! Откуда записка?

Она еще больше распахнула глаза и брови подняла, а сама судорожно соображала: записку отобрали, она у Горохова.

— Нашла!

— Нашла! — ощерился опер, — Баба шла, шла, пирожок нашла, так?

— Да, нашла, — кивнула Надя.

— Где?

— Около пекарни. Смотрю, бумажка лежит, аккуратно свернута, а там ноты, я и взяла, — беззастенчиво врала Надя, впрочем, понимая, что он ей не верит.

— И кто же, по-твоему, положил ее туда? — источая елей, спросил опер.

— Не знаю!

— Не знаешь? А как ты думаешь, давно она там валяется? Надя мигом сообразила: скажи «давно», она от снега бы разлезлась, бумага плохая, скажи «недавно», могла видеть, кто вблизи крутился, подложил.

— Не знаю, — опять нудит она, — должно быть, пока я за хлебом в пекарню ходила.

— Хватит мне дуру валять, ты с кем разговариваешь? Забыла? — заорал, не выдержав, опер;. — Вот! — бросил на стол смятую бумажку.

— Отдайте, пожалуйста, там ноты песни записаны. Чем она вам не угодила? Всем так понравилась!

— А ты не знаешь? Дурочкой прикидываешься! — и вдруг сразу, как после сердечного приступа, обмяк и тон переменил. Вспомнил, видно, что не политическая она, своя, уголовница.

— Писака этот из РОА, на шестой шахте содержится.

— Откуда мне знать? Первый раз слышу!

Поверил ей Горохов или нет, неизвестно, но только сказал:

— Из армии Власова. Тоже не слышала?

— Нет! — тут она не солгала, она действительно не знала ничего о РОА и решила сегодня же спросить у Вали.

— Предатель он, Власов этот. Своих предал! И армию свою в яму завел. Вон они теперь на шахтах отдуваются! — задумчиво, вроде и не ей, сказал Горохов, потом опомнившись, опять стал грозным опером.

— Осиное гнездо развели на шестой шахте. Сочинитель этот, кроме песен, прокламации додумался сочинять… А тебя, Михайлова, я давно собираюсь проверить: о чем ты все поешь? О каких-то калитках, о любви, понимаешь ли, заходишься… Какая тебе здесь любовь? Вас сюда исправляться прислали, вину свою перед Роди ной и советским народом искупать, работать, а не о глупостях думать, тем более петь. А вы, как свиньи, везде грязь найдете!

«Несчастный! Для него любовь — грязь», — пожалела его Надя.

— Впредь, что петь будешь, мне на проверку, на стол положите вместе с начальницей КВЧ. Ясно?

— Ясно, гражданин начальник! Только, к сожалению, я лично таких песен не знаю, не учила, чтоб об исправлении или об искуплении… Если только сама начальница КВЧ знает, а заключенные вряд ли, может, монашки, они, — с сомненьем сказала Надя голоском совсем-совсем «овечьим», но вовремя замолчала, догадавшись, что Горохова ей не провести…

Недаром он был направлен в лагерь усиленного режима работать среди особо важных политических заключенных.

Он «стреляный воробей» и таких «овечек», как Надя, видел насквозь, и даже глубже, а потому уж приготовился было напомнить ей о том, что зачеты зарабатываются трудно, а снимаются легко, махом! Но тут, на ее счастье, в дверь постучали.

— Гражданин начальник, к вам можно? — пропела дневальная…

— Пусть зайдет! — сказал Горохов кому-то. — Заходи, я готов, сейчас поедем!

Надя стояла спиной к двери и не видела, кто зашел.

— Что у вас, товарищ капитан, опять «допрос партизанки»? — услышала Надя за спиной голос Клондайка, но не обернулась, а лишь выше вскинула голову:

— Отдайте, пожалуйста, там песня! Слова и ноты.

Горохов медленно изорвал бумажку в мелкие клочки и кинул кусочки в урну.

— Иди — врать не будешь!

Вся кровь в ней вскипела и бросилась в лицо, да еще бес подначил: «Скажи, скажи ему пару ласковых, ты умеешь!» Но

Надя сдержалась, сказала только:

— Песню не изорвешь, она у нас на слуху, мы ее помним, а кто писал, напишет еще!

— Не напишет, на твое счастье, — злорадно сказал Горохов, — а то получил бы «песенник» вдобавок к своей десятке. А тебе я вижу, Михайлова, освобождаться неохота, бур и карцер нравятся! Зачеты надоели!

Надя молча стиснула зубы. Прикусила своего беса.

— Ступай!

Если б взгляд, которым она посмотрела на опера, обладал мощной силой, провалился бы бедный Горохов вместе с Клондайком и кабинетом в тартарары!

Дня через два Надя забежала в столовую и поднялась на сцену, откуда, из-за закрытой занавеси, слышались громкие голоса.

— Иди, иди скорее, — позвала ее Наташа Лавровская.

— Что случилось?

— Сейчас начальница КВЧ придет, велела собрать самодеятельность, кто не на работе.

На сцене уже ожидали несколько зечек — Маевская, Кира Покровская и кое-кто из хористок. Всех очень заинтриговало: чего еще такое важное скажет им Мымра? Вдруг амнистия?!

Ждали долго, уже и расходиться хотели — девчата-хористки с ночной смены. Отдохнуть пора, да и Надю тоже время поджимало. Наконец пожаловала Мымра.

Лицо ее, всегда унылое, на этот раз было озабоченно и деловито.

— Здравствуйте, кого не видела, — провякала она. — Товарищ оперуполномоченный порекомендовал нашей самодеятельности включать в концерты больше производственной тематики. — И достала из сумки небольшую не то брошюрку, не то книжку. — Вот тут, — сказала она, указывая на книжку, — я подобрала кое-что, то, что вам нужно. Кто хочет прочитать? Читайте вы, — протянула Мымра Маевской потрепанную книжонку.

Елизавета Людвиговна пробежала глазами первую страницу, и Наде показалось, что челюсть ее отвисла — Маевская явно онемела на миг.

— Да-а! — протянула она. — Это нечто! Ну, слушайте: «Современный водевиль или сцены из шахтерской жизни». Действующие лица: девушки, парни, шахтеры. Хор.

— Гениально! Именно то, что надо! То, что доктор Вахтер прописал! Надо полагать, что шахтеры — не парни?

— Не мешай, Покровская! — сердито одернула Киру

Мымра. — Продолжайте!

— Сцена первая. Общий хор, — прочитала Маевская.

Заполярная сторонка
Твоя слава велика,
О тебе поем мы звонко,
О работе горняка!

Хористки негромко захихикали… Мымра неодобрительно взглянули в их сторону.

— Выходит девушка в белой косынке…

— Умилительно! — вставила Зырька. — Косынка нам по плечу. Осилим!

— Девушка поет:

Каждый год с весенними лучами
Выполняет план любимый мой,
Он своими черными очами
Девичий смутил покой!

(Уходит.)

Выходит шахтер. Он в каске, в руке отбойный молоток.

Я в забое на проходке
Выполняю план двойной,
Эй вы, девушки-молодки,
Выходи плясать со мной!

Маевская замолчала и, с трудом сдерживая смех, заикаясь, произнесла:

— Извините! У меня нет слов, я потеряла дар речи…

Душещипательно! А кто будет шахтер? Какая роль! — Реплики неслись со всех сторон. — Это сильнее «Фауста» Гете![8]

— Читайте дальше, — неуверенно сказала Мымра, она уже почувствовала, что может возникнуть напряженность.

— Выходит девушка, на ней красная косынка…

— Роли пойдут нарасхват! Чур, я девушка! — опять не выдержала Кира. Маевская, кое-как собравшись, продолжала:

— Девушка поет:

Вы, шахтеры-ухажеры,
План перевыполняете,

Только очень горды стали,
Нас не замечаете…

Дальше Маевская читать не смогла: плечи ее задергались от смеха, и она вынуждена была замолчать.

— Это классика! — с задумчивым выражением лица сказала Наташа Лавровская. — Редкая находка для самодеятельности. Только она одна могла сдержать себя и не смеяться. Остальные буквально катались от смеха, рискуя вызвать немилость Мымры.

— Ну, в чем дело? — наконец спросила она.

— Я думаю, эту поэму надо рекомендовать на шестую шахту, там ее, безусловно, оценят, боюсь, что мы просто ее не осилим, — без тени улыбки сказала Наташа.

Но Мымра уже сообразила сама: что-то не вязалось…

— Как хотите! — сказала она. — Я не настаиваю. Товарищ капитан… — Она выразительно пожала плечами.

— Случайно, это не его произведение? — спросила «овечкой» Надя, припомнив свой последний разговор с ним.

Внезапно Мымра рассердилась и, выхватив книжку из рук у Елизаветы Людвиговны, направилась к двери.

— Я доложу, что вы отказались! — гневно воскликнула она.

— Нет! Что вы! — спохватилась Наташа. — Просто мы не уверены, что наших талантов хватит! А какие костюмы?!

Долго еще потом смеялись зечки в бараках и на разводе, вспоминая слова «поэмы», рекомендованной опером.

Но Мымра, по-видимому, не доложила ему. Побоялась.

Пользуясь неограниченной перепиской, Надя повела атаку на мать, забрасывая отчаянными письмами. Ей казалось, что Зинаида Федоровна недостаточно активно подгоняет этого адвоката Корякина, что можно было самой сходить к Руденко поторопить с подписью. Ей даже хотелось написать Дине Васильевне, но та ни разу не изъявила желания получать от Нади из лагеря письма. «А кто мне обязан? Никто! — отвечала она себе. — Сиди и не чирикай!»

В припадке бессильной тоски она нахамила старой, больной Козе по нестоящему пустяку. Но мудрая Коза не обиделась, сказала только с укором:

— Эх, Надя, я и хуже слышала, мне не стать-привыкать…

Надя расплакалась и тотчас попросила прощенья. На второй день все еще под впечатлением своего разговора с опером она металась от сознания своего бессилия, плакала, что лучшие годы ее жизни проходят, а она талантлива и могла бы многого достигнуть, пока еще не поздно, не ушло время. В таком

отчаянном настроении ее застал Клондайк, когда зашел днем «для профилактики», и Надя, не сдержав себя, в порыве исступленного гнева закричала:

— Неужели нет больше чести и совести в нашем народе, неужели навсегда превратили его в бесправное, молчаливое быдло, и меня с ним!

Она видела, как сжалась в комок Коза и юркнула в комнатуху. (Вали не было, она понесла в прачечную халаты — свиные чехлы и полотенца). Клондайк, не успев поздороваться, резко повернулся и вышел. Перепуганная Коза сердито сказала:

— Я не верила, что в тебе «бес» сидит, когда ты сказала нам, но теперь вижу, так оно и есть. Разве так можно? Они сгноят тебя в лагерях! Он же начальник режима!

На минуту ее охватил панический страх, но не из боязни наказания. Если он способен предать, зачем тогда вообще жить на свете? Она боялась, что оскорбленный Клондайк не вернется к ней, и ждала. Он пришел поздно, далеко за полночь, когда она уже не надеялась. Постояв немного в дверях, он после некоторого раздумья сказал строго и властно, совсем как начальник режима:

— Надя! Не ставь меня в глупое положение. Говорю тебе со всей серьезностью. Я еще не освобожден от присяги и имею свои обязанности. Я отношусь с уважением к твоему понятию о чести и совести, прошу отнесись и ты к моему. Я все-таки еще офицер. — Но, увидев ее растерянное лицо, смягчился и совсем уже без гнева добавил:

— Ведь ты же не хочешь, чтоб я попал под трибунал? Мне будет хуже, чем тебе!

На его прекрасном, мужественном лице не было и тени обиды и недовольства. Он взял Надю за руку и, заглянув ей в глаза, спросил:

— Ты ведь не желаешь мне этого, верно?

Надя молчала, потому что зла ему она, конечно, не желала, но право выражать свои мысли, даже такие, крамольные, оставляла за собой.

Движеньем, полным любви и нежности, он взял ее за подбородок и с грустью сказал:

— Я все думаю о тебе, как о взрослой, а ты еще, по сути дела, ребенок, взбалмошная девчонка, бунтарка! Не понимаешь, куда тебя занесла судьба.

От его слов злость сползла с нее, как кожа со змеи, осталось только желание быть ласковой и доброй, какой она была на самом деле. Клондайк, быстро распознав в ней эту перемену, уже без всякого на то разрешения целовал ее сияющие, умиротворенные глаза, нашептывал слова, от которых ей

становилось жарко, и она, краснея до корней волос, позволила себе слегка забыться, совсем немного, под жадным касаньем его ненасытных, горячих губ.

«Ха-ха! — сказал бес-искуситель, — что ж дальше?

Наверное, Клондайк услышал беса и, превозмогая себя, отстранился от нее.

— Любимая моя, я не дам тебе повода жалеть о случившемся. Ты для меня пока «табу».

«Табу»! — Надя помнила это слово «табу» из все той же книги «Дети капитана Гранта», когда Алешка, оставляя яблоко или конфету «на потом», кричал Наде: «Это табу! Не тронь!»

— Табу, — повторила она, охваченная внезапно горестным воспоминанием о доме, о прошлом… — Табу это ты для меня, вот только надолго ли? Одному Богу известно, — она почувствовала приступ жгучей обиды за свое унизительное, рабское положение и, чтоб скрыть нахлынувшие слезы, быстро вышла в тамбур, дернула наружную дверь, распахнув ее настежь. Неподалеку спали бараки, освещенные ярким светом прожекторов. Совсем рядом, позади хлеборезки, лаяли сторожевые собаки и переговаривались на вышках вертухаи.

«Полезно вспомнить, что ты зечка и твое место за проволокой, сразу отпадает охота к поцелуям с начальником режима».

Постояв недолго на пороге, она замерзла и вернулась.

Клондайк сидел на колченогом табурете и задумчиво вертел в руках свою шапку.

Когда Надя вошла, он поднял голову и спросил:

— Ты стихи любишь?

— Стихи? — переспросила удивленная Надя. — Конечно! Кто же не любит стихов? Это музыка слов.

— Знаешь, я очень люблю Тютчева. У него есть одно стихотворение, называется оно «Люблю глаза твои».

— Ну, и… что?

— Раньше я не совсем понимал слова:

… Сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

Мне по глупости казалось, что «огнь желанья» должен быть радостным, торжествующим, сияющим. Сегодня я узнал, он действительно угрюмый, мерцающий, сосредоточен весь в себе…

— Что ты говоришь, опомнись! — возмутилась не на шутку обиженная Надя. — Замолчи немедленно! Клятвенно заверяю тебя, больше тебе не представится случая!

— Но ты же любишь повторять слова романсов!

— Но не смотреть на «огнь желанья», вспоминая слова романсов, я с Богом говорю. Понятно?

— А я земной, до разговоров с Богом не допущен! — сокрушенно, как бы извиняясь, сказал с виноватой улыбкой, Клондайк, в которой Надя без труда почувствовала иронию и обиделась.

— В таком случае, — сказала она, притягивая его к себе за распахнутые борта полушубка, — тебе следует избрать более подходящий и доступный объект для изучения: например, шмоналок!..

Клондайк осторожно снял ее руки со своего полушубка.

— Что мне теперь делать, скажи? Продолжать выслушивать тебя или уйти?

Надя поняла, что в своей необузданной ревности занеслась, сама не зная куда, и оскорбила его. Но бес не унимался, и она ответила:

— Я могу только сказать тебе, что бы я сделала на твоем месте.

— Что?

— Обиделась бы и ушла.

Клондайк надел шапку и направился к двери.

«Нельзя, чтоб он ушел!» — заволновалась Надя. «Недалеко уйдет», хихикнул бес. В тамбуре она все же догнала его.

— Я сказала, что я бы оскорбилась и ушла, это вовсе не значит, что и ты так должен поступить.

— А как мне посоветуешь? — и тотчас вернулся следом за ней в хлеборезку.

Надя прошла к окну, и, слегка раздвинув занавески, посмотрела на огоньки вахты и дальше, за вахту, где перемигивались и дрожали в вихрях танцующих снежинок фонари кирпичного завода. Там во всю мочь работала ночная смена: горячие цеха, выгрузка, погрузка, формовка и конвейеры.

— Что я могу ответить тебе? — помолчав недолго, сказала Надя. — Тебе, вольному и свободному. Ты можешь обидеться и уйти, если вдруг тебе покажется обидным то, что я скажу. А то, что скажешь ты, любую твою насмешку, я должна выслушать, мне некуда деваться, я рабыня!

— Прошу тебя, Надя… — перебил ее Клондайк.

— Но у меня есть защита! — горячо продолжала она. — Держаться от тебя подальше, гражданин начальник! И запомни! Ни тебе, ни кому другому никогда, никогда я не стану временной забавой, а если такое и случится против моей воли, я убью себя! Я не буду жить! Больше она не выдержала и от великой жалости к

самой себе расплакалась навзрыд.

Потом они еще долго, до самого подъема, стояли в тамбуре, завернувшись в полы его полушубка, изводя друг друга недоступной близостью, и расстались как влюбленные, но не любовники.

Коза ходила за завтраком к концу раздачи и приносила полный, доверху, котелок, обильно политый каким-то жиром, и, если давали рыбу, то не три, как положено, а целых четыре кусочка. Как ей это удавалось, секретом не было: после раздачи завтрака Коза ходила в столовую и помогала уборщице и посудомойке мыть посуду, столы и пол. Иногда в хлеборезках просыпалась совесть и они, смущенные и пристыженные, в один голос увещевали Козу не ходить побираться».

— Девочки мои! — оправдывалась Коза, качая лысой головой. — Мне ведь нетрудно часок-другой поработать, хочется тоже внести свою лепту в общий котел. Вот ты, Надя, добрая, и я тоже хочу быть доброй.

— Я тоже хотела бы, — сказала мрачно Валя.

— Посмотри на себя, ты таешь изо дня в день, а почему? — продолжала Коза. — Глаза запали, под глазами синяки, что с тобой? Какой недуг тебя грызет?

— Вы спите ночью, когда я ухожу? Ведь до подъема можно поспать! — строго спросила Валя.

— Мне снятся тяжелые сны, меня мучают кошмары, — заплакала Надя, стыдясь своей лжи, и еще оттого, что нужно было скрывать и таить в себе свою любовь. Ей казалось, эти политические такие суровые, никогда не поймут и не оправдают ее. Для них он был враг, режимник!

— Плохо, что нет у вас ни Бога, ни религии.

— Один «бес», — тяжело вздохнула Коза.

— Сам дьявол с усами заменил вам его, апостолов — шайка убийц и воров, а иконы — их портреты.

— Замолкни, Валя, прошу! — взмолилась Надя.

— У нее все впереди, она придет к Богу, это неизбежно, мы все были такие и верили только в призрак «коммунизма», который ходит по Европе, а к нам не идет.

Когда Валя вышла на минуту в тамбур выплеснуть воду, Коза шепнула:

— Я твой сон румынке-гадалке рассказала, она настоящая ведунья. Это она Еве Браун нагадала, что та на весь мир знаменита будет.

Надя знала, кто такая Ева Браун, но сейчас ее интересовала только собственная судьба.

— Что она сказала? — быстро спросила она, оглядываясь на

дверь.

— Сказала, что плохой! Получишь удар там, где ждешь радость.

— Никакой радости я и не жду, — мрачно сказала Надя.

— И еще она добавила: «Сто лет вам радости не видеть, а пребывать в горестях и смуте, народ-цареубийца!»

Клондайк в свое дежурство, делая обход зоны с надзирателями, мог видеть Валю, когда та искала дежурняков, чтоб ей открыли барак и уже точно знал, что ее напарница оставалась одна. Но ему хотелось видеть Надю не только в свое дежурство, каждый день, всегда, а это было небезопасно.

Надя просила его не рисковать, но он отвечал ей шуткой:

— Кто не рискует, тот не выигрывает, — и, сияя улыбкой, заявился в тот же вечер в дежурство Горохова.

«Ишь возрадовался, не боится, опер попутает, погоны сдрючит, а меня к блатнякам шуганет», — сердито подумала Надя и поспешно застегнула свой халат — свиной чехол до самой верхней пуговицы, затем, встала по стойке «смирно, входит начальство!» как и полагалось зечке в Речлаге, нарочно подчеркивая, она — заключенная, он — офицер охраны.

— Ты ошиблась, моя любимая, халат надо снимать, работа закончена. Разреши помочь тебе, — весело сказал Клондайк.

Надя отстранилась и слегка шлепнула его по уже протянутой руке.

— Это вы ошиблись, гражданин начальник! — сказала она недовольно, явно не одобряя его действия. — Когда вы входите, надо срочно надевать телогрейку, а сверху еще бушлат. Жаль, что нет ЧТЗ,[9] а то и их не мешало бы, колени прикрыть!

— Чем же я так испугал тебя? — спросил, с притворным недоумением, Клондайк, отступая от нее на шаг.

— Все, Саша! Я твердо решила, поцелуи и объятья отменяются.

— И за что же мне такое наказание?

— Просто я поняла, что за этим следует.

— Вот и отлично! Не понимаю только, чем же это плохо, то, что за «этим» следует? — воскликнул Клондайк.

Надя тотчас уловила иронию его слов.

— А то, что от таких поцелуев дети получаются! — покраснев, заявила она и быстро отвернулась, сообразив, что в запале сказала не то, что нужно.

— Что? Я не ослышался? Повтори, пожалуйста…

— Я сказала, что от таких поцелуев дети рождаются, — упрямо, с досадой повторила Надя и сердито передернула плечами, глядя, как Клондайк заходился от смеха. —

Развеселился! Ишь, зубы, как у крокодила, полна пасть!

— Ты уморишь меня, любимая! Я-то знал другое… Конечно, ты учила биологию позже меня, возможно, изменилось…

— А ты что знал, с ветра?

— Нет, зачем же! Ну, скажем, аист принес или в капусте найти можно, если поискать! — произнес, давясь от смеха, Клондайк, но не удержался и упал на колченогий табурет.

— Прекрати сию же минуту говорить гадкие пошлости! — гневно закричала Надя. — Это подло!

«Поддай пошляку» — шепнул бес.

— Конечно, я подлец! — искренне согласился пристыженный Клондайк, взглянув в ее разгневанное лицо. — Подлец! Я обольщаю ребенка, который еще не знает, что такое любовь, да еще говорю черт знает что! Прости меня!

— Запомни раз и навсегда, Саша! Одно пошлое, циничное слово может разрушить большую любовь, лишить ее музыки и красоты, превратить в обыкновенную связь.

— Наверное, только не мою! — сказал Клондайк и, поцеловав обе Надины руки, вышел.

«Наконец-то и тебе будет стыдно, Клондайк, любовь моя!» — ликовала Надя. — «Так и надо, знай наших!» — поддержал бес.

Но не успела она закончить свои размышления о том, как правильно преподала урок своему возлюбленному, ей показалось, что кто-то заглянул в окно. Пугаться здесь было некого, ОЛП не воровской, но, послушав внимательно, она насторожилась. Снаружи ясно различался скрип снега под ногами, а затем послышались сильные удары в дверь. «Дверь заперта! — вспомнила Надя. — За Клондайком закрыла». Она тихо вышла в тамбур и спросила: — Кто там?

— Открывай, обход!

«Видно, Бог мне помогает!» — подумала она, когда, оттолкнув ее к стене, ворвался опер Горохов, за ним старший надзиратель и дежурный по вахте.

— Одна?

— С Богом, не одна, — как заправская ханжа, «овечкой» ответила Надя. А сердце покатилось в пятки. Вот если б десяток минут раньше!

— Почему дверь заперта? — спросил Горохов. А сам, как охотничий пес, весь настороженный, обшарил глазами всю хлеборезку.

— Начальник режима приказал запирать дверь, когда в хлеборезке хлеб.

— Какой начальник? — пытливо заглядывая ей в глаза, осведомился Горохов. — Тарасов?

— Я их по фамилии не знаю. Капитан, новый!

— Ты ему сказала, что это мое распоряжение?

— Конечно! Он ответил, что оперуполномоченный за материальные ценности не отвечает, и приказал запирать дверь.

Горохов едва заметным движением кивнул старшему надзирателю на комнатуху — и тот сразу направился туда. Надя встала в дверном проеме.

— Наследите мне, только что полы вымыли.

— А ну двинь! — скомандовал Гусь и, оттеснив ее, прошел в комнатуху.

— Ты нагнись, под топчан посмотри, может, там кого найдешь! — шепнула ему ехидно Надя.

— Надо будет, найду! — обозлился Гусь.

— Скажите, что ищете, может, я могу помочь?

— Встань, как положено! — резко оборвал Горохов.

Надя немедленно встала по стойке смирно, но не сдержалась и взглянула на опера насмешливо и, как показалось ему, дерзко.

— Чего лыбишься?

— Рада! Гости пришли.

— Ну-ну, поговори еще! — а сам уселся на колченогую табуретку и закурил.

— Ступайте, я догоню, — приказал Гусю. — Так что, Михайлова? Не различаешь начальников, так, что ли?

— Мое дело хлеб вовремя нарезать!

— Это ты мне уже говорила, помню, а теперь меня послушай, что я скажу! Ты мне очки не втирай и голову не морочь. Тарасова ты знаешь очень даже хорошо! И все вы тут знаете. Бабы мокрые ходят, как увидят его! — вдруг сорвался на крик опер.

— Надя побледнела, почувствовав беса: «Стерпишь?» Но промолчала и отвернулась, стала смотреть в окно на далекие огни кирпичного завода, потом, чтоб улегся бес, взяла нож и начала точить о брусок.

— Чего молчишь?

— А что сказать? Я и не такое слышала от блатных, рецидивистов. Но от капитана в первый раз!

— Что ж не скажешь, «стыдно за вас»?

— Вы и сами знаете, что стыдно!

— Ты меня не стыди! В буре сидела? Еще посидишь!

— Сидела за нарушение режима, письмо несла, а ведь майор Корнеев не похвалит, что офицеры его, как блатняки, разговаривают.

«Жди взрыва», — сказал бес. Но взрыва не последовало. Горохов тяжело поднялся и пошел, прихрамывая, к двери. На полпути он остановился, постоял, как бы обдумывая что-то, потом

посмотрел на Надю сурово и сказал:

— Вот что, Михайлова! Ты, видимо, скоро домой пойдешь, там и гуляй, сколько влезет, а пока парня этого не завлекай! Сама знаешь, о ком говорю! — сразу пресек ее попытку сделать большие глаза. — Не завлекай! По-хорошему тебе говорю. Его в этом году повысить должны, так не переходи ему дорогу. Вот я тебя предупредил, не послушаешь, отправлю вон! На пересылку. Пока документы пришлют, походишь по этапам! Понятно говорю?

Надя стояла красная, растерянная, не зная, что ему ответить. Помог бес:

— Вот и ясно мне стало, как людям сроки навешивали, ни сном, ни духом…

— Молчи лучше! Предупредил, значит, знаю! — и, хлопнув дверью так, что штукатурка посыпалась, заковылял прочь.

Гораздо позже она уже могла бы ответить оперу колюче и ядовито, однако от неожиданности так опешила, что только стояла и хлопала глазами. Потом опомнилась и струсила: «Откуда ему известно о Клондайке? Кто так пристально следит за посетителями хлеборезки?» И тысячу раз была права Коза, когда сказала, что вольняшками интересуется опер, за ними следит. Им, а не зекам нужно опасаться опера.

А утром за завтраком, просто, без зла, спросила:

— Кто ж из вас, друзья, на ночь ко мне опера пригласил, а? Горохов с надзирателями приперлись Клондайка ловить.

— Вот мерзость, — искренне возмутилась Коза.

— Гадкие людишки! — поддержала Валя. — Теперь будете путаться в догадках, думать на своих…

Надя встретила Клондайка, направляясь в конюшню за Ночкой, в этот же день и рассказала о ночных посетителях. Клондайк совсем не испугался или виду не подал. Только пожал плечами.

— Пусть ловят, работа не из простых.

Она очень боялась, что их могут увидеть из казарм и заторопилась…

— Завтра дежурю, зайду обязательно, а двери действительно запирать надо, — лукаво усмехнулся он, — когда я захожу и мы вдвоем.

Надя дернулась и пошла, не оглядываясь. Лучше бы и он не оглядывался тоже, нечего смотреть, как движется кочан капусты.

Вечером, закончив с хлебом, Надя поспешила выпроводить своих помощниц, затем тщательно вымыла лицо и руки, надела шифоновую кофту и даже волосы распустила. Уселась ждать, а чтобы не выглядеть уж очень ожидающей, взялась писать домой письмо. Радио давно смолкло, и письмо было написано, а его все

не было. Утром, когда застучали о порог ноги, Надя проснулась и не сразу сообразила, что проспала ночь, положив голову на стол.

Подавая бригадам лотки с хлебом в узкое окошко раздачи, она, не переставая, думала о том, почему он не пришел.

Нельзя было, что-то помешало? Или испугался опера? Но нет, это напрочь исключалось.

С того дня Клондайк надолго пропал, и даже Валя перестала ехидно улыбаться и только раз спросила:

— Интересно, куда подевался Клондайк? Давно его не видать. Уж не сбежал ли от ласковых женщин и злых оперов?

— Да что ему на себя неприятность навлекать, когда такие слежки и стуки, — буркнула Коза и покосилась на Валю сердитыми глазами.

Надя промолчала, будто и не слышала. По дороге в пекарню она опять думала, о том, что могло случиться, а потом пришла к согласию сама с собой: «И к лучшему, и хорошо, меньше возможности попасть к ссученному уголовнику Боре Ремизову. «Что Бог делает, все к лучшему, ему виднее!» — так говорила тетя Маня», — так повторила теперь себе она, стараясь унять чувство тревоги и страха за его судьбу, что росли в ней с каждым днем и, чем дальше, тем сильнее.

Доходили слухи, что майор Корнеев сделал грандиозный разгон и нахлобучку Павиану — старшему начальнику режима за нерадивость и леность его подчиненных. Мимоходом досталось и старшине Перфильевой со старшим надзирателем Гусевым, по прозвищу Гусь и еще Гусь лапчатый, что было совсем несправедливо по отношению к грубому, злобному и придирчивому надзирателю

— Капитан, оперуполномоченный Горохов, на них нажаловался, — сказала по секрету своей соседке по нарам дневальная Черного Ужаса.

Но Валя с ее великолепным слухом все же услышала, (а возможно, и соседка по нарам не хранила секрет) — и тут же доложила в хлеборезке.

Надя похолодела: «Все! Так и есть, отправили его в другой гарнизон!» Но и тут смолчала. А что могла сказать? Только стихами любимого Клондайком Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.

Валя, полная ликующего злорадства, продолжала:

— Неймется Мартышке, хочется всем нагадить — и врагам, и друзьям, и зечкам, и вольняшкам, всех на рога поднять, чтоб

чувствовали, где находятся.

Надя приготовилась поддержать ее в том же духе, — злобы и обиды на опера, но замолкла, первая заслышав шаги Клондайка. Только он один отряхивал снег на пороге тамбура, остальные вольняшки перлись, как попало: «Уберут, авось, не барыни». Сердце ее бешено заколотилось, она метнулась поискать брусок наточить нож.

— Ножи наточены, сегодня на кухню носила, — насмешливо сказала Валя, сверкнув лисьими глазами. Она тоже знала его шаги.

Дверь распахнулась, и на пороге появился Клондайк, внося с собой облако сверкающей морозной пыли. После обычного «здравствуйте» и стояния по стойке «Смирно! Входит начальство» он приветливо улыбнулся и, даже не взглянув на пайки, спросил:

— Разрешите у вас погреться? Не дайте пропасть живой душе!

Валя засуетилась, схватила тряпку, быстро вытерла табурет и подставила ему.

«Ишь, хозяйка нашлась!» — шепнул бес, и Надя, вздернув нос, гордо прошагала в комнатуху.

— Что это вас давно не видно было? — продолжала щебетать Валя. «Штаны не обмочи!» — злобно напомнил бес.

— А вы заметили? Надеюсь, не скучали? — шутливо осведомился Клондайк.

— Как же, как же, и заметили, и скучали! — Надя не выдержала, вышла…

Клондайк стянул рукавицу, и она увидела, что левая рука у него забинтована далеко за манжет гимнастерки.

— Что с вашей рукой? — в один голос воскликнули обе.

— Пустяк! Дрова рубил, топор соскочил с топорища.

— Рубили дрова? — с сомненьем спросила Надя.

— Да! — обращая к ней свое оживленное лицо, сказал он.

(Чуть позже Надя узнала от Мымры, что Клондайк был послан начальником конвоя сопровождать этап уголовников «в законе» с пересылки на ОЛП Цементного завода, где правили ссученные воры.

Едва законники переступили порог вахты, как их уже ожидали ссученные хозяева. Увидев такое дело, прибывшие кинулись обратно на вахту. Завязалась драка не на жизнь, а на смерть, однако никто из охраны и местных надзирателей и не подумали остановить бойню. И только глупый Клондайк полез разнимать урок, за что и получил по руке отрезком водопроводной трубы. «Так ему, дураку, и надо, не лезь!» — сказал опер).

— Царь ваш, расстрелянный Николай Второй, тоже вынужден

был колоть дрова в минуту жизни горькой и трудной, — язвительно сказала Валя.

— Сравнение не в мою пользу, — сдержанно заметил Клондайк, — спасибо за информацию.

Надя уловила недовольство и холодок в его голосе и толкнула незаметно Валю, но та с удовольствием продолжила:

— Да, а небезызвестный вам летчик Герман Геринг в своем охотничьем домике умудрялся нарубить за вечер дров на целую зиму.

Надя похолодела. «Жди взрыва», — шепнул бес. Но «милый, добрый», как про себя подумала Надя, Клондайк никак не выдал себя ни гневом, ни шуткой.

— До свиданья, — так же вежливо сказал он и вышел из хлеборезки.

— Чего это он? — притворно удивилась Валя.

— А кому охота выслушивать твои познания о фашистах? Ты бы раньше поинтересовалась, кто хочет слушать о них!

— Не сообразила! Конечно, эти люди ему как серпом по одному месту. Интересно, доложит он оперу, что я его к нацисту приравняла.

— А что ему докладывать? Он и сам мог тебя в карцер упрятать! — живо возразила Надя.

— Мог, мог! — согласилась Валя. — Но не сделает этого по известным причинам, — с ехидным лукавством сказала она.

— По каким же причинам? Тебя побоится?

— О нет! Чего ему меня бояться? Вас он побоится, уронить себя в ваших глазах. Не так разве?

— Пользуетесь моей добротой, госпожа Валивольтраут, это неблагородно! — и обе рассмеялись, думая одно и то же, но по-разному.

Хлеб разделали быстро, и Валя ушла в барак. Можно было поспать до подъема. Только разденешься, приляжешь, а он пожалует. Нехорошо, может подумать, нарочно разделась. Прилегла, только тапочки скинула. И едва закрыла глаза, как тотчас вспомнила Клондайка. Обиделся на то, что сравнили его с царем или нацистом? А может быть, и вообще не обиделся? Да и что обидного — сравнение с царем? Ее много раз называли царицей, когда она стояла на сцене в тюлевом, из занавесок, платье и ничего обидного она в этом не находила, наоборот! Торжествовала. Царь! Что о нем знала Надя? Ничего, хотя нет! Вспомнила. Однажды Дина Васильевна пошла с ней на второй этаж, где была библиотека, и там между окном и шкафом с книгами Надя увидела портрет молодого, красивого мужчины с прозрачными, ласковыми и чуть насмешливыми глазами. Он был

одет в военную форму, в медалях и орденах. Точь-в-точь как полковник в фильме «Чапаев».

— Кто это? — не удержалась и спросила Надя, пораженная внешностью мужчины.

Дина Васильевна оставила ноты и подошла к портрету. Любовно обмахнув рукавом слегка запылившееся стекло, она сказала:

— Это один очень несчастный и непонятный человек. Неудачи преследовали его всю жизнь. А рисовал портрет знаменитый художник Серов. Помнишь? Внизу висит репродукция с портрета «Девушка с персиком».

Надя кивнула: — Помню!

— Эта девушка — молодая Мамонтова. Так этот портрет тоже кисти Серова, репродукция, конечно.

— Это ваш родственник?

— Нет, что ты! Я только издали видела его. Он погиб насильственной смертью, поруганный и оплеванный.

«Ей тяжело и неприятно, — подумала Надя, — а я пристала, как клещ, с глупыми вопросами».

Но оттого, что Дине Васильевне не был безразличен этот красавец на портрете, она, все еще заинтересованная, решила узнать, кто же он. И, дождавшись удобного случая, когда помогала Нюре на кухне чистить картошку, сказала нарочито небрежно:

— А красивый у Дины Васильевны знакомый.

Нюра так удивилась, что и нож отложила в сторону, которым картошку чистила.

— Красивый знакомый? Какой такой? Где ты видела у нее красивых знакомых? Старичье да старухи одни.

— А тот, на портрете, наверху в библиотеке, между окном и книжным шкафом висит.

— Тю, анчутка глупая! Какой же это знакомый? Царь это, Николашка расстрелянный, вот кто. Скажешь тоже, знакомый! — и тут же пожалела, что сболтнула лишнее: — А ты поменьше распространяйся, — что видишь, что слышишь…

«Наверное, Валя сравнила Клондайка с царем, вспомнив его светлые и ласковые, чуть-чуть насмешливые глаза, впрочем, не для всех, — всем хорош не будешь! — решила про себя Надя.

Предупреждение Горохова подействовало на нее отрезвляюще. Ей указали на место, как собаке. «Всяк сверчок знай свой шесток» и не забывайся! Не люби зечка вольняшку, не переходи дорогу, где тебе не положено, не порть вольняшке жизнь, не губи его карьеру и будущее. Что ж, и понятно, и по-доброму. Предупредили, а ты

думай сама!

Если б она любила его меньше, проще, назло всем операм и режимникам ГУЛАГа, закружилась бы без оглядки, в вихре своих чувств, ни о чем не размышляя. Будь, что будет!

Но она думала о будущем, она строила в своих мыслях грандиозные планы, и во всех ее мечтах был он, Саша Клондайк, всегда и повсюду, рука об руку по жизни вместе.

Для этого нужно всего-навсего подождать, ни в коем случае не дать повода «этим» испортить и без того подпорченную жизнь. Власть у них — и они могли все: навесить срок за антисоветчину, придравшись к пустяку, отнять непосильной работой молодость и здоровье, как у Козы или, что еще ужаснее казалось Наде, упечь к блатнякам, в тот страшный уголовный мир насильников и убийц, о котором она была столько наслышана во время своего путешествия в Воркуту.

Поэтому, когда зашел Клондайк, она первым делом спросила:

— Дежуришь?

— Завтра!

И тогда она поспешила выпроводить его побыстрее за дверь, ограничившись шуткой:

— Ступай с миром, здесь не подают!

Клондайк, оберегая ее от зорких глаз опера, без сопротивления зашагал обратно.

— Я и не надеялся!

На следующий день, как и сказал ей Клондайк, он дежурил сутки по зоне и днем со старшим надзирателем Гусем зашел в хлеборезку. Пока Гусь проверял точность веса паек, хватая их грязными руками, затем подошел к полкам, куда старились хлебные лотки и водил пальцем, пытаясь обнаружить пыль, Клондайк с интересом наблюдал, как Надя с величайшим отвращением следила за действиями Гуся. Она собиралась на конюшню и, стоя перед зеркалом, которое ей подарил к 8-му марта Фомка от себя и своей жены Кати, причесывала волосы. (Тащить зеркало пришлось в сене, чтоб не забрали на вахте.) Утром она успела обегать в баню, и ее волосы, все еще влажные, слегка завивались на лбу и висках темными колечками.

Гусь, с укоризной взглянув на нее, неодобрительно покачал головой и сердито сказал:

— Такой волос с хлебом съешь, из задницы тянуть будешь!

Надя резко обернулась ответить ему то, что бес надоумил: о грязных лапах Гуся, но, заметив предостерегающий взгляд Клондайка, смолчала, только нос свой повыше задрала. Она всей душой ненавидела и презирала Гуся, впрочем, как и все зечки ОЛПа. Тупая, беспричинная злоба, его отталкивающее, угрюмое

лицо, придирчивость, делали его самым ненавидимым начальником, хуже Черного Ужаса, хуже даже опера. Он платил зечкам таким же ядом нелюбви и презрения, не упуская случая проявить свой зловредный нрав. Поговаривали, что от него сбежала жена с освободившимся зеком. Вполне вероятно: Гусь жил один.

Верно угадав готового к бою Надиного «беса», Клондайк поспешил увести Гуся от греха подальше.

Надя надела свой белый платок и бушлат, — телогрейку можно было не поддевать. Март был на исходе.

— А в России грачи прилетели, — сказала Коза с такой унылой грустью, хоть плачь.

Но уже и в тундре днем пробивались из подо льда струйки талой воды, хоть все еще изредка Заполярье напоминало о себе сумасшедшими ветрами и снегопадами. Прекратился конъюнктивит, зато туберкулезно-легочный стационар пополнялся не по дням, а по часам. Коза, этим утром, пришла довольная, улыбаясь, и Надя. догадалась: она несла очередную новость.

Шлепнув на стол котелок с баландой, она скинула с себя телогрейку и ушастую шапку и тотчас начала:

— Не к завтраку будь сказано, девчата вчера из Даркиной бригады в санчасти до отбоя просидели, изблевались все как есть, бедняжки!

— Отравились! Вчера в завтрак рыбу тухлую дали, — сказала Валя, брезгливо сморщив свой остренький носик.

— Нет! Даркина бригада на подъемке пути работала, Сыч их с Гиеной конвоировали, так они этой рыбы наелись и в обед давай канючить: «Веди пить, конвой! Пить хотим, нас соленой рыбой нарочно кормят!» А Сыч им: «Не поведу, хоть треснете, вон с пригорка вода течет, идите, да напейтесь!» Девчата обрадовались, побежали и напились из ручья, а когда вернулись, Гиена их спрашивает: «Ну как водица? Вкусная?» Дарка пошутила: «Вкусная, да больно мокрая!» А Гиена ей и говорит: «Ну-ка, ты, бригадир, подымись на бугор по ручью наверх, глянь, что там!» Дарка, недолго думая, пошла вдоль ручья, да вдруг, как взвизгнет и бегом, с криком, назад. «Погост это, мертвецы из-под снега торчат, а мы с них воду пили!» Тут кто пил, всех наизнанку повыворачивало! Дарка говорит, оба гада до самого съема ржали, на всю тундру слыхать было. «Напились, — гогочут, — девки чаю с мясом!»

— Почему же мертвых не захоронили? — ужаснулась Надя.

— Кому охота мерзлоту долбить? Отойдет к лету земля, начнут разлагаться, тогда и закопают, — равнодушно сказала

Валя. — Не приведи Господь зимой в тундре околеть, живых дохлятиной отравить!

На пекарне хлеб пришлось ждать целый час. Мука сырая, тесто долго не подходило. Резали тоже долго, за полночь, но Надя; знала, Клондайк не придет, пока она не будет одна. Больше она уже не надевала свою шифоновую блузку, опасаясь, что та очень быстро расстегивается на груди. Теперь у нее была другая кофточка, попроще, но с надежной застежкой сзади. Правда, кофта ей показалась немного узковата, слишком обтягивала неизвестно когда подросшую грудь и, взглянув на себя раз-другой в зеркало, надела сверху «свиной чехол», но, когда явился Клондайк, он сразу же протянул руки и стал расстегивать пуговицы на ее халате.

— Вы не имеете права касаться зеков без санкции начальника лагеря, — отбивалась Надя.

— Я и говорю как ваш начальник режима. Надо беречь казенное имущество! Работа закончена, и халат должен быть снят, вот так! — и сам повесил на гвоздь.

Потом оглядел Надю:

— Это уже лучше, хотя…

— Гражданин начальник, я буду жаловаться на незаконные действия и сопротивляться.

— Тебе никто не поверит, я человек раненый и могу только любоваться издали…

— Не снимай верхней одежды, — быстро предупредила Надя, увидев, что он начал расстегивать пуговицы своего полушубка и уже снял шапку, — и не пытайся искушать меня. Я напугана гражданином Гороховым!

— Это обо мне заботится капитан! Чтоб ты не смела меня соблазнять, и где только научилась! — решительно протянул здоровую руку Клондайк, намереваясь обнять ее.

— Я? Тебя соблазняю? — искренне возмутилась Надя. — Чем же?

— Вот, например, как ты смотришь на меня?

— Обыкновенно, как на всех! — слукавила Надя.

— Неправда! Глаза у тебя темные, бездонные, непроглядные, так и зовут заглянуть в них, прыгнуть, не раздумывая, в пропасть.

— Действительно опасно! — сказала Надя и с трудом увернулась от его цепкой руки.

— И улыбаешься мне такой зазывной, манящей улыбкой, обещая так много…

— Послушайте! Я серьезно обижусь. Терпеть не могу анализов, — сердито нахмурилась она и прошла в тамбур задвинуть щеколду, потом задернула занавески на окне.

«Надо еще раз попытаться объяснить ему…» Вернувшись в комнатуху, она увидела, что он стянул с себя полушубок и забился в угол, положив руку на стол. «Ему неможется, рука болит, — подумала Надя. — Самое время поговорить по душам без «огня желанья». И села рядом на топчан.

— Будешь искушать? — с притворным испугом поднял руку вверх Клондайк.

— Я вижу, ты так меня и не понял, — с сожаленьем прошептала Надя.

— В чем же, любовь моя? — спросил Клондайк, обняв ее за плечи здоровой рукой.

Она осторожно сняла его руку и отодвинулась.

— Если и дальше мы не поймем друг друга, то, как бы мне не было больно, мы разлетимся в разные стороны, — она взглянула ему в лицо, и в ее глазах он не увидел и тени насмешки.

— Этого никогда не случится, я не отпущу тебя до самой смерти, — уверенно сказал Клондайк, — а понять тебя в самом деле трудно, для меня ты загадка, тайна: не ребенок, не женщина, кто ты? Ты позволяешь себя целовать, и я чувствую в тебе зовущую женщину, а стоит мне сделать шаг к тебе, ты пугаешься, как ребенок.

Надя глубоко вздохнула, как бы собираясь с духом объяснить ему то, что так легко поняла Дина Васильевна, когда сказала: «У тебя другое призвание, будь свободной от иссушающих связей».

— Послушай меня внимательно, постарайся вникнуть в мой мир, в то, чем я живу и чего жду от жизни. Не со своей колокольни, а с моей, — страстно и порывисто заговорила Надя. — Я хочу быть певицей, большой, великой. Я чувствую в себе эту силу. У меня уже теперь… я свободно беру две с лишним октавы, но у меня по мощи моего голоса не хватает дыханья, оно короткое, и это только учеба и годы тренировки, упражнения, годами арпеджио и вокализы…

— Я все это понимаю! — сказал Клондайк, целуя поочередно обе ее руки, — и уверен, так оно и будет. Но чем же тебе помешает моя любовь к тебе?

— Любовь никогда не помешает, наоборот, она мне нужна, как воздух. Но ведь ты хочешь другое, мой «огнь желанья», а это не обязательно любовь в моем понимании, иначе не было бы, — тут Надя осеклась, потому что постыдилась сказать, шлюх и проституток, а сказала: — легкодоступных женщин.

— Черт возьми! — слегка досадуя, воскликнул Клондайк. — А я-то земной, и вовсе не ангел во плоти, и люблю тебя земной любовью. Не я, а Тютчев, этот великий певец, сказал:

… Но есть сильней очарованья
Глаза потупленные ниц,
В минуту страстного лобзанья
И сквозь опущенных ресниц,
Угрюмый тусклый огнь желанья

Надя приумолкла, пораженная чувственной страстностью этих строк, потом тихо сказала:

— Его любимая была не зечка! Она была свободна! Ей не приходилось стоять навытяжку по стойке смирно перед полуграмотными болванами, ничтожествами, призванными только стрелять по беззащитным. Получать удовольствие от издевательств над ними, укрываясь законом. Наверное, ей не приходилось выслушивать мерзости, какие мне говорил опер, а я, как жалкая овца, не имея возможности не слушать его, вынуждена про себя глотать горькие слезы. Я хочу, чтоб никто, никогда не имел права так говорить со мной! Пугать меня бурами и карцерами, шмонами и стукачами, проверять на беременность, я не хочу прятать от чужих глаз свою, любовь и в «минуту страстного лобзанья» прислушиваться к шагам, не застанет ли меня опер с моим любимым. Пойми же меня, наконец, я хочу быть сободной! — в бессильной тоске заплакала Надя.

— Глупый мой маленький ребенок, — сказал Клондайк, с такой искренней грустью, глядя на нее, что у нее защемило сердце: «Да права ли я?»

— Тебе кажется, что я свободен? Это иллюзия, обман, мираж. Моя свобода дает мне право только на то, чтоб пьянствовать и бегать за юбками. Ты ведь была в зоопарке? Видела вольеры с птицами. Вот представь себе, что в этом вольере еще маленькая клеточка и ты в ней, а я в вольере. И различаемся мы только размерами клеток, и корма в вольере получше. Мы оба живем в неволе. Мы не свободны. Мы не можем лететь куда хотим. Даже куда летят на зиму свободные птицы.

— Что ты хочешь сказать, что вся моя свобода — перепорхнуть из клетки в вольер? — с недоумением спросила Надя.

— Вот именно! Ласточка моя, мы никогда не улетим на зиму в Африку, мы обречены жить в своем вольере, в своем раю.

— Коммунистическом? — невесело рассмеялась Надя, вспомнив Вольтраут.

— Если б еще в коммунистическом, а то…

— Нет, нет! — воскликнула с отчаянием она. — Так не может быть всегда, ты говоришь о сегодняшнем дне и не можешь знать

того, что будет завтра. Помнишь? «Грядущие годы таятся во мгле», — и совсем про себя добавила: — Алешка-зубрежка.

Тогда она особенно остро почувствовала, как глубоко любит Клондайка! Он доверился ей, открыл перед ней душу и мысли, — и она знала, что никогда, ни при каких жизненных обстоятельствах не предаст его. Он не пожалеет о своей откровенности.

— Вспомни, как говорила Багира: «Мы с тобой одной крови, ты и я», — напомнил ей Клондайк.

Надя читала и хорошо помнила Маугли и очень любила маленькую красную книжечку Киплинга, особенно отважного Рики-Тики-Тави, на которого в детстве так хотела быть похожей.

— Не грусти, не надо, если не думать об этом, как живут и не думают миллионы наших людей, можно постараться быть счастливым, оберегая нашу любовь!

— Любовь воробьев в клетке, — с горечью заключила Надя. Потом он целовал ее расстроенное лицо и грустные глаза, и там, где начинали виться на висках маленькие, нежные колечки волос, а она позволила себе чуть-чуть забыться, но не совсем, а прислушиваясь чутким ухом, что творилось за дверью снаружи: не скрипит ли снег под ногами опера, не дергает ли дверь Павиан, Гусь или кто-либо из шмоналок. И, когда губы ее запылали огнем от его поцелуев, неистовых и жадных, она послушалась беса, который спросил: «Что ж дальше?»— и сбросила его теплую ласковую руку со своей груди.

— Не здесь и не время! — сказала она себе и ему и отвернулась, чтоб не видеть умоляющих глаз Клондайка.

То, что он раскрыл перед ней душу и мысли, она оценила несравнимо выше всех его признаний в любви. Там говорило за себя его молодое тело, а тут — душа и разум, доверенные только ей одной. И внезапно, повинуясь неведомому порыву, она нагнулась и припала губами в долгом поцелуе к его забинтованной руке.

— Жди, теперь уж скоро.

Клондайк дернулся:

— Душу ты мою разбередила, Надя, — прошептал Клондайк и, накинув на одну руку свой полушубок, быстро вышел из хлеборезки, даже не сказав обычного «до свиданья».

Страх перед побегами делал многие распоряжения начальства глупыми, до смешного, а подчас и трагичными. Так, по подлости начальника конвоя погибла Ася Скринник и две зечки. Веселая, несмотря на свой 25-и летний срок, бригадир Ася, неизменная участница лагерной самодеятельности, погибла смертью жестокой и нелепой. Ее бригада работала на расчистке

железнодорожных путей от снега, и конвой для полной страховки от побегов заставлял зечек ставить переносное заграждение из колючей проволоки на участок дороги, где предстояло чистить снег с путей. Начало апреля принесло с собой такие снежные заносы, что Асиной бригаде приходилось по два раза в сутки расчищать один и тот же участок пути, таская за собой, кроме лопат и кирок, мотки колючей проволоки для установки запретзоны. Каждый раз конвоиры не ленились читать «молитву»: «Выход за запретзону считаю побегом, стреляю без предупреждения!» Их отупевшим от безделья головам и невдомек было, что ни одна политическая заключенная и не помышляла о побеге, хотя для этого стоило только перешагнуть через проволоку. Они добросовестно горбили, отрабатывая свои пайки и черпак баланды.

В ту роковую ночь бригаду Аси Скринник вызвали далеко за полночь. Нужно было срочно расчистить участок дороги для товарного состава. Бригада быстро расставила колья и натянула колючую проволоку. Подгоняемые конвоем, который мерз со сна на ветру, прослушав «молитву», зечки спешно приступили к работе. Первая услышала далекий паровозный гудок Асина помощница и забила тревогу:

— Аська, снимайте оцепление, паровоз идет! — закричала она и бросилась предупредить конвой, чтоб он распорядился немедленно освободить рельсы от проволоки. Но тот, желая покуражиться над зечками, сделал вид, что не слышит криков бригады, и начал соображать только тогда, когда женщины самовольно кинулись выбираться из оцепления. Паровоз, не переставая, гудел, как сумасшедший, на всю тундру, но остановить тяжелый состав машинист не мог. Под истошные крики несчастных паровоз зацепил проволоку и, как в сетях, поволок тех, кто не сумел выбраться.

Асю протащило по мерзлым надолбам полотна весь тормозной путь — больше шести километров. Кое-кому удалось выпутаться из проволоки, пока волочилось по тундре заграждение, а тело бедной Аси превратилось в бесформенную массу.

Хоронили ее ночью, чтоб никто не видел ее, изуродованную обезображенную.

Нелепая смерть Аси из-за тупости конвоя взбудоражила смирных и покладистых зечек. Наутро вся бригада не вышла на развод, самовольно объявив траурный день по погибшим, и потребовала снять проволоку, ограничив охрану конвоем.

Слава Богу, у начальства хватило ума не объявить отказчиц ни саботажницами, ни забастовщицами, а бригаду нарядчица по

приказу Макаки Чекистки провела выходным днем, не лишая их рабочей пайки.

Время было тревожное. Доходили слухи о волнениях на «Пятьсот первой стройке», где зеки прокладывали железную дорогу от Сейды через Урал на Лабытнанги — и дальше, до Салехарда. Скопление политических в таких больших количествах не сулило ничего хорошего. Тот, кто непродуманно отделил их от уголовников, не учел, что большая часть этих «контриков» состояла из зеков, прошедших фронт, узников немецких лагерей, власовцев, бандеровцев, бойцов Сопротивления из Литвы, Латвии, Эстонии со сроками до двадцати пяти лет. Статья 58-я грозила задавить воровскую «империю».

Светлой, лунной ночью хлеборезки стояли, затаившись, на крыльце, и смотрели, как из никогда не пустующего морга солдаты во главе с Гусем вынесли за зону три гроба.

— Еще одни голубые глаза не увидят света, — сказала Валя.

— И не постучит в окно за хлебом веселая бригадир Ася Скринник, — сказала Надя, вытирая глаза рукавом «свиного чехла».

Однако не только побегов боялось начальство ОЛПа (во всяком случае того, где находилась Надя), но и вспышек эпидемий.

Зечка могла, сколько угодно, болеть ревматизмом, желудком, почками, диабетом, гипертонией, женскими болезнями — и пусть себе корчится от боли, освобождения от работы ей все равно не видать. Санчасть ни за что не даст. Нужна только высокая температура, да еще с двумя термометрами, для полной проверки: а вдруг симулянтка? Закосить[10] хочет!

Вспышки гриппа, дизентерии, инфекционной желтухи и других заразных болезней вызывали настоящую панику.

Это было и понятно. Заболеют зечки из горячих цехов или формовки — встанет завод, заменить некем. Не всякая зечка потянет адову работу горячего цеха, попадают туда те, кому не повезло — получили на комиссовке ТФТ — тяжелый физический труд, а таких совсем немного.

Не выйдет на работу по болезни половина бригады погрузки — останется стройка города без кирпича.

А уж, не дай Бог, перекинется хворь на вольняшек, тогда… «Шабаш», — говорил Мансур.

Зато, если зечка простудится, да заболеет, да еще к тому же с высокой температурой, как радостно плетется она к себе в барак, предвкушая денек-другой, а то и третий поваляться на нарах (в госпитале мест нет), вдосталь поспать, на поверку не вставать, не

идти на работу, на проклятущий завод: «Чтоб ему провалиться, сгореть ясным пламенем».

К концу пятидесятого года женские лагпункты усиленного режима под кодовым названием «Речлаг» были вполне укомплектованы политическими зечками — долгосрочницами и каторжанками. Таких лагпунктов для особо важных преступниц образовалось три: «Предшахтная», 1-й и 2-й кирпичные заводы.

Существовало еще одно лагподразделение, небольшая подкомандировка от 2-го кирпичного, — Безымянский карьер, или попросту Безымянка, Богом забытое, людьми проклятое место.

К этому времени каторжанки содержались только на 2-м кирпичном и на Безымянке, подальше от города. Их не пригоняли, как других, этапами, привозили отдельно по троечетверо, не больше, с пересылок, с шахты «Капитальной», со 2-й шахты и еще Бог ведает откуда.

В сущности, они ничем не отличались от прочих зечек — речлаговок, даже сроками. Политическим зечкам давали десять, пятнадцать и двадцать пять лет с поражением в правах и прочими «прелестями», каторжанкам — пятнадцать и двадцать лет без «прелестей», которые, кстати сказать, назывались еще рогами. Очевидно, надеялись судьи, что не доживут каторжанки до освобождения, и рога им не понадобятся.

Часто, встречая такую троицу-четверку под вахтой в сопровождении конвоя, Надя говорила себе: «Опять в нашем полку прибыло».

2-й кирпичный разрастался, в бараках пришлось еще потесниться, еще добавить сплошняку на нижние нары, Наде — возить хлеб с пекарни в два рейса, а в зоне — начать строительство новой бани и прачечной.

Старая баня была уже не в состоянии обеспечить горячей водой все разрастающееся население ОЛПа. Бригады работали в две смены днем и ночью, и стройка продвигалась довольно быстро. Дольше всего пришлось долбить в мерзлом грунте котлован для фундамента. Иногда озябшие зечки парами ныряли погреться к Наде в хлеборезку, и тогда Козу ставили к окну наблюдать за действиями начальства.

Как писала мать, отвечая на Надины слезные письма, дело все еще находилось на подписи у прокурора. Наде прокурор виделся как зарытая в бумажном стогу одинокая голова, которая не в силах справиться с бумажным потоком заявлений, все время прибывающих со всех сторон великой страны.

Теперь Клондайк мог заходить в хлеборезку только как дежурный офицер по зоне в сопровождении шмоналок или

начальника ЧОС. Надя считала свое положение крайне унизительным: стоять по стойке смирно, пока шмоналки нечистыми руками хватали пайки, злилась и кусала губы.

Наконец наступила настоящая весна, без дождей, теплая, с голубым, безоблачным небом. По реке Воркуте поплыли с севера льдины, и однажды все бригады с конвоирами, которые работали поблизости, бегали смотреть маленького медвежонка на льдине. Грязно-белый зверь плыл, оглашая воздух визгливым криком, взывая о помощи. Конвоиры открыли беспорядочную стрельбу по несчастному медвежонку. На счастье опер, находившийся поблизости, услышал выстрелы и коршуном выскочил с вахты. Увидев, чем развлекаются конвоиры, вместо того, чтоб стеречь зечек, он разразился площадной бранью и быстро восстановил порядок. Медвежонок уплыл в Печору вместе со льдиной. Надя была поражена до крайности: такой злобный человек — и вдруг проявил себя спасителем медвежонка! Но Мымра объяснила просто, без лирики:

— Совсем не из жалости. А вдруг побег? Стрелять придется, а патроны выпущены в воздух. Заряды беречь надо для более нужных дел!

Неожиданно Надю вызвали в спецчасть, и Макака Чекистка велела расписаться за зачеты.

— Ты уж веди себя как следует, а то капитан оперуполномоченный опять…

— Покровская валяется в госпитале с туберкулезом, а мать ее так и не получила письма с просьбой о лекарствах! — перебила ее Надя. Но Макака и ухом не повела, а продолжала:

— И рот еще, деньги тебе, тоже распишись!

— Какие?

— Такие, заработанные, сто сорок рублей! Итого у тебя на счете… — Макака водрузила на нос очки.

— Зачем они мне, в лагере-то?

— Как зачем? А домой как поедешь? Одеться на первый случай, не в казенном же домой заявишься!

— А вот ларек за зоной, там можно что-нибудь купить?

— Нет, на руки тебе денег никто не даст, только при освобождении, а сейчас пока на лицевом счете пусть полежат!

— Спасибо, до свиданья! — сказала Надя и направилась к двери, а про себя решила: «Обязательно проскочу в магазин, сегодня же, что-то голодно стало, и посылок давно нет».

Собираясь на пекарню за хлебом, она порадовала своих:

— Ну, девчата, ждите! Зайду в магазин, чего-нибудь к ужину куплю вкусного.

— Колбаски купи, только не жесткой, — попросила Коза.

Валя метнула в нее колючий взгляд:

— Смотрите, Надя! Не попадитесь на глаза оперу Горохову, а то опять у вас зачеты снимут.

У самой вахты навстречу попался ЧОС:

— За хлебом? Ну, давай, давай! Теперь в две ездки придется. Лошадь не потянет.

— Опомнились! Я уже давно по два раза езжу, — не очень-то вежливо сказала Надя. Но ЧОС к вежливости и не привык.

— Молодец, жми! — сказал он одобрительно.

Следом за ним встретился Клондайк. Надя хотела прошмыгнуть мимо, но он остановил:

— Почему не по форме приветствуете начальство?

— Я сказала, здравствуйте! Чего же вам еще?

— Мало этого, мало! Стоять надо, руки по швам держать и в сторону не отворачиваться, смотреть в глаза начальнику.

— С «огнем желанья?»

— На это уж потерял надежду! — сокрушенно вздохнув, сказал Клондайк.

— У меня к тебе просьба, Саша!

— Какая? — обрадовано спросил он.

— Зайди в магазин, посмотри, нет ли там Горохова или еще кого.

— Зачем тебе?

— Хочу зайти туда кое-что купить.

— Чего ты хочешь? Говори скорее, я сам куплю.

— Нет, ты денег не возьмешь, а мне так не подходит. А потом я и сама давно хочу заглянуть в ваш магазин.

— Стой смирно, сюда идет мой капитан, — быстро сказал Клондайк. — Можешь изобразить на лице огорчение…

— Ты что, Тарасов? В чем дело? — строго спросил Павиан, подходя к ним.

— Да вот, в претензии, товарищ капитан. Михайлова не по форме здоровается.

— Ты что же это, Михайлова, а? Нельзя так с начальством! — отчитал ее Павиан, а сам доволен, аж глаза блестят, и очень поощрительно звучат его слова, вроде как: «так его и надо!»

— Ступайте, Михайлова! — сказал, отпуская ее, Клондайк и направился с Павианом к вахте.

Надя без промедления нырнула в ларек. «Если поймают, — скажу, что ищу ЧОС а».

Магазинчик маленький, полы грязнущие, селедкой или какой-то рыбой провонял, на полу окурки валяются.

«С нас чистоту спрашивают, платочком по полкам проводят, а у самих как в свинарнике!» — брезгливо поморщилась она.

Продавщица Груня сразу узнала Надю. Видно, посетительница лагерных концертов.

— Артистка наша пришла! — приветливо сказала она. — Чего тебе?

— Колбасы, пожалуйста, и сыру.

— Сыр колбасный, не очень, того…

— И банку крабов, побыстрее, а то мне еще за хлебом ехать надо.

— Начальства боишься, так, что ли? Понимаю! Сама, года нет, как под конвоем ходила! — сказала Груня и улыбнулась Наде ободряюще и дружелюбно.

Надя схватила пакет — и бегом на конюшню, пока не застукало начальство или надзиратели, нырявшие туда то и дело за водкой. Около конюшни уже вертелся Клондайк.

— Я видел, как ты в магазин зашла…

— Ну и грязища у вас там! У нас платочками пыль по полкам вытираете, ищете, к чему придраться, а сами!..

Но Клондайк не был расположен обсуждать торговлю. Пока Надя умышленно долго и тщательно запрягала Ночку, он совсем не по-братски поцеловал ее.

— Тоже приятное место для любви! — недовольно сказала она, отстраняясь от него. — В отпуск скоро?

— С первого числа капитан, а потом я. Кстати, велел не очень проявлять к тебе строгость, говорит: «Все же артистка, когда-нибудь и знаменитой станет! И не политическая, своя!»

— Ишь, Павианище, нашел свою!

— Кто? Не понял, — переспросил Клондайк.

— Сладострастный павиан. Подпольная, партийная кличка твоего капитана.

— Как? Сладострастный павиан? — Клондайк ухватился за оглоблю, чтоб не свалиться со смеху. — Надо же додуматься до такого! Кто же его так прозвал?

— Ты лучше спроси, почему так прозвали!

— Чего же спрашивать? Павиан — слово понятное, а сладострастный — тем более. Кто ж такой остряк? Не ты ли?

— Гражданин начальник режима, не трудитесь меня выспрашивать: кто сказал? кто сделал? Все равно не скажу!

— Я только в зоне «гражданин начальник», а в конюшне начальница ты! — слегка обиженно сказал Клондайк.

— А я и здесь, в конюшне, и в зоне зечка Михайлова. Привет и воздушный поцелуй! — и тронула вожжей Ночку на выход.

На обратном пути из пекарни она опять встретила ЧОСа.

— Вторая ездка? — спросил он.

— Первая.

— Что так долго копалась? Ты когда отправилась, еще до обеда, а сейчас уже четыре.

Надя хотела соврать, что хлеб был не готов, но побоялась свалить на пекарей.

— Лошадь тихо ходит. Устала, корма плохие, одно сено!

— А у тебя хорошие? А работаешь! Вот и она пусть трудится, а нет, так на колбасу, в мясокомбинат наладим!

— Да вы что, гражданин начальник, разве можно такую лошадь! — воскликнула возмущенная Надя.

— Ну, когда освободишься, хлопочи, чтоб в дом престарелых взяли, — предложил ЧОС и посмотрел на Надю так, словно сомневался в ее умственных способностях.

Подъезжая к вахте, Надя забеспокоилась, вспомнив, что в сене, под ящиком, лежит ее покупка. Но начальству было не до нее. Со ступенек вахты один за другим выскочили: опер, Черный Ужас, Павиан и Клондайк, старший надзиратель и шмоналка. Пока вахтер отворял ворота, начальство уже неслось к кирпичному заводу.

— Что у них, кросс? Бег на дистанцию? — спросила с невинным взглядом Надя.

— А ты меньше пялься, — буркнул вахтер, пропуская в зону лошадь.

— Валюша! Ставь чай, — скомандовала Надя, передавая ей пакет с провизией. — Я быстро обернусь. Хлеб уже ждет.

Когда она вернулась, все было на столе порезано тонко, «благородным» способом, «как в лучших домах Парижа и Жмеринки», — любила говорить Маевская. Пировали долго. Валя успела сходить на кухню открыть крабы. Досталось понемногу, а Коза выпила сок из-под крабов.

— Не торопитесь смолоть сразу все, — сказала Валя и унесла остатки в тамбур на полку.

Надя в лицах изобразила, как неслось мимо нее начальство, но Коза строго одернула ее:

— Не смейся, это ЧП, кому-нибудь ночевать в буре!

Перед отбоем в обход зашел Клондайк и две шмоналки. Потолкались для вида — и на выход.

— Гражданин начальник, разрешите обратиться? — с трудом сдерживая насмешку, спросила Надя.

— Разрешаю! — важно и строго сказал Клондайк. Он быстро сообразил, что Надя приготовилась сказать какую-нибудь пакость.

— Можно узнать, кто победил в кроссе? Мы ставили на вас!

— Заключенная Михайлова! Не трудитесь спрашивать меня кто, куда и чего! — повелительно и резко ответил Клондайк, а глаза его смеялись торжествующе и весело, но это видела только

Надя.

— В бур ты, Михайлова, захотела? — прошипела в дверях шмоналка.

— Давно не была! — поддакнула другая. «Так мне и надо! Всяк сверчок знай шесток».

Секретов в лагере держать невозможно. Все рано или поздно становится известно. Утром начальнические бега объяснились. Оказалось, что не в первый раз на штабелях кирпича, который предназначался для отправки в город, кто-то рисовал фашистский знак. Несколько раз вольный прораб находил и стирал намаранную то углем, то мелом ненавистную свастику. Наконец из города поступил сигнал: «На 2-м кирпичном неблагополучно, работает антисоветская организация». Администрации завода и лагерному начальству пришлось выслушать много неприятных слов. На погрузке работало несколько немок из Германии. Пришлось перевести их срочно на другой объект, решив, что кроме них тосковать о свастике некому. В течение долгого времени знак больше не появлялся, но вот опять, во всю высоту штабеля, красовался фашистский знак. Начальство срочно поспешило на завод изловить по горячим следам виновных. Обыскивать бригады не имело смысла, — кусок мела валялся тут же, у штабеля. Опрос ничего не дал, окрики и угрозы не помогли. Предупредив строго-настрого бригадиров об ответственности, ушли ни с чем.

По каким-то неведомым причинам улучшилось питание в столовой. Одни говорили, что страна поднимается из разрухи и может позволить себе такую роскошь подкинуть кое-что в питание зекам, другие, как Мансур, уверяли, что начальство боится лагерей, которые сами настроили в несусветном количестве, и теперь затыкают зекам рты лишним куском.

— А иначе сидеть бы вам на пустой баланде и не петюкать.

КОГДА КРОКОДИЛЫ ЛЬЮТ СЛЕЗЫ

И рабство — разве ты не видишь,
злом каким оно само уж по себе является.

Еврипид.

Кроме побегов и эпидемий начальство в лагерях страшилось массовых отказов от работы, невыходов за зону без уважительных причин. Любое неповиновение каралось строго: карцер, бур, штрафная пайка, лишение переписки, а на мужских ОЛПах были случаи расстрелов за саботаж. Любыми путями нарядчики и коменданты старательно выталкивали работяг за зону.

В конце 40–50 годов Воркута начала усиленно строиться. Улицы покрылись траншеями под водопроводы и канализации, которые копались зеками. Женские бригады водили с Предшахтной, но дело продвигалось плохо. Нормы никто не выполнял. Кайловать вечную мерзлоту было очень тяжело. Кусочки мерзлой глины, не больше дубового листика, отлетавшие при каждом ударе кайла, в течение всего рабочего дня не могли покрыть и четверти нормы. Не помогали никакие коэффициенты на мерзлоту, на категории грунта. Бригадиры измышляли всевозможные способы приблизить выработанное за день к норме, заряжая немыслимую «туфту». Прорабы не хотели закрывать наряды на несуществующую работу, как подноска инструмента к рабочему месту, уборка инструмента с рабочего места и тому подобную чушь.

— Почему не пишешь: «разгон воздуха лопатой или ловля снега решетом»? — кричал вольняшка-прораб бригадиру Ольге Николаевне Шелобаевой.

Строительство продвигалось медленно, а город заселялся быстро. Ехали со всех концов Союза охотники за «длинным рублем», освобождались зеки, временно оставаясь на годы административной высылки. (Уголовников в Воркуте старались не прописывать). Пополнялась охрана лагерей, впрочем, как и самих охраняемых. Все нуждались в жилье.

На помощь «Предшахтной» пришлось вызывать бригады со 2-го кирпичного. Два старых, довоенных грузовика должны были возить зечек в город. С водителями было сложнее. Но и эта проблема решилась. Нашлись в гарнизоне два солдата, знакомые с тракторами. Для зечек годились и такие шоферы.

О водителях с правами не могло быть и речи. Все, кто только имел право крутить баранку, работали в городе или на шахтах. Вольнонаемные без охоты шли работать на 2-й кирпичный — далеко от города, скучища…

Дорога до города пустынна, рейсовый автобус ходит редко, встречных машин тоже мало. Ежедневно две бригады стали выезжать на рытье траншей для канализации и водопровода.

К концу июня земля в траншеях начала оттаивать и оползать, появилась вода. Зечки, приезжая на объект, долго вычерпывали воду, прежде чем приступить к основной работе — рытью. Тяжелая, вязкая глина налипала на лопату, становилась неподъемной. Работяги возвращались в ОЛП измотанные до предела. Только благодаря обходительности и красоте обоих бригадиров наряды кое-как закрывались и прорабы-вольняшки наскребывали на рабочие пайки. Шоферы-солдаты приезжали за бригадами в шесть вечера, к съему. Обратно летели как угорелые. Один конвоир лез в кабину, с шофером, другой — в кузов с зечками. На две машины — четыре автомата. Проходившие мимо них жители Воркуты не удивлялись, глядя, как молодых красавиц стерегут угрюмые конвоиры с грозными автоматами наперевес. Многие из них сами недавно были в таком же положении.

В один из дней теплого июля, возвращаясь с работы, шофер, лихо разогнав машину, хотел проскочить переезд под носом у паровоза, тянувшего за собой груженый состав. В последний момент он все же сообразил, что не успеет, и резко затормозил у самого полотна железной дороги. Желая отодвинуть назад машину, он забыл включить заднюю скорость, и грузовик двинулся вперед. Первый же вагон зацепил подножкой бампер машины и потащил ее за собой. Грузовик накренился — и все, кто был в кузове, посыпались под вагоны. Шофер успел выпрыгнуть, а конвоиры и двадцать зечек оказались под колесами поезда. Кажется, один из конвоиров остался жив.

Прибывшие на место происшествия майор Корнеев с лагерным начальством были потрясены жутким зрелищем: на откосе насыпи полотна валялись изуродованные тела, головы, руки, ноги. Тем, кому не повезло умереть сразу, бились в агонии предсмертных мук. Чудом уцелели несколько зечек, те, что находились в кузове с левой стороны. Они успели выпрыгнуть, когда поволокло машину. Бригада Ольги Шелобаевой, следовавшая на второй машине, оказалась невольной свидетельницей этого кошмарного зрелища. Женщины кричали и бились в истерике от ужаса и полной беспомощности помочь несчастным.

— Даже Черный Ужас заплакал, когда увидел своих

работяг, — сказала Коза. Бригада Стецко жила в ее бараке, и рассказы передавались свидетельницами этого происшествия.

Утром за хлебом пришла сама Ольга Николаевна.

— Да, верно, заплакал, — подтвердила она. — Остановился, закрыл лицо руками и заплакал: «Девочки, девочки мои, что с вами сталось!»

— Крокодилы тоже плачут, когда пожирают свои жертвы, — сердито сказала Валя. — Скольких рабынь лишился сразу!

— А шофер? Что с шофером? Ведь он спасся, — допытывалась Надя. Ей было искренне жаль этого дурака. — Ведь не нарочно же он…

— Судить будут, срок дадут, — равнодушно сказала, пожав плечами, Валя.

— Судить не его надо, а тех, кто деревенского парня, толком и трактора не видавшего, сажают за руль людей возить!

— Многого захотела, Надюша! — возразила Коза.

— Политические зеки не люди, а рабы, — рабов и в лучшие времена за людей не считали, — угрюмо добавила Валя.

(Некоторое время спустя до зечек дошел слух: шофера осудили на пятнадцать лет, а он взял да повесился).

В ту же ночь, задолго до подъема, Надя вычистила печь, подсыпала мелкого угля, чтоб не жарко было, но и без сырости, и потащила ведро со шлаком наружу.

Солнце, хоть и светило по ночам, но тепла от него было мало. От реки и из тундры тянуло холодом и сыростью, и время от времени приходилось слегка протапливать, чтоб не заводилась плесень. За углом барака, где помещалась санчасть и хирургическое отделение, Надя увидела женщину в синем халате, какие носили санитарки, она мыла щиты с нар.

«Опять клопомор!» — с досадой поморщилась Надя. В хлеборезке клопов не было, но ее все равно, каждый раз, заставляли варить в котле свой топчан.

Она подошла, намереваясь спросить санитарку, будет ли клопомор повсеместно, на всем ОЛПе или только в санчасти, как это уже не раз бывало. Подойдя ближе, Надя обратила внимание, что вода в ведре и тряпка, которой санитарка мыла доски щита, были бледно-розового цвета.

«С марганцовкой моет», — решила Надя.

— Тебе чего? — неприветливо спросила женщина.

— Я думала, опять клопомор, ведь на днях был, — начала она и замолкла, напряженно всматриваясь в желтоватые, похожие на желе, кусочки, прилипшие к доскам щитов.

— Что это? — шепотом спросила Надя, пугаясь своей догадки.

— Мясо это, вот чего! Я говорю, проходи, пока Гусь не вышел. Щиты, видишь, хирургические замываю! Кровь…

— А это что? — с ужасом показала Надя на клок длинных, рыжих волос, прилипший к доске щита.

— А это, то самое! — хмуро произнесла санитарка, желая отделаться от назойливых вопросов Нади, но тут же передумала и уже вполне добродушно пояснила:

— Головы ихние туточки лежали, опознавались, кому — чья! Насилу разобрались! А это Пелины волосья, — сказала она, отдирая от щита рыжий клок. — У Пели такие рыжие были, больше ни у кого. А ты, шагай, куда шла! Не положено посторонним на такое смотреть. Кум предупредил!

Надя, чувствуя непреодолимую тошноту, поспешно подалась назад и, подхватив все еще полное ведро со шлаком, кинулась со всех ног обратно в хлеборезку. До подъема еще оставалось время и можно было часок-другой вздремнуть, но до того ли было? Перед глазами стояла маленькая, рыжая украинка Пеля, какой ее часто видела Надя, а теперь от Пели остались налипшие на щите кусочки ее тела и клок длинных, рыжих волос.

Утром Коза сказала:

— Да, верно! Отмывать головы от грязи пришлось. Пока с насыпи катились, пыль, земля да песок на кровь налипли.

Вскоре об этом случае замолчали, стали забывать. Подумаешь, два десятка зечек! Сколько их ежегодно гибло в шахтах, на повалах, от туберкулеза, дистрофии и пеллагры.

В такие дни Надя особенно остро чувствовала свое рабское положение, и любовь ее на время гасла, сменяясь отчуждением и тоской.

Мужские ОЛПы переживали свою неволю острее женских, труднее мирились зеки со строгостями режима, и случай этот очень возмутил и без того излишне взбудораженных шахтеров. Большинство зечек, работающих за зоной, состояла в тайной переписке с зеками близлежащих шахт: с шестой, Капиталкой, Обогатиловкой, где иногда обнаруживались знакомые, однодельцы, родственники, а то и просто завязывались знакомства.

Начальство через своих стукачей знало об этом, но ни разу за все пребывание Нади в лагере, им не удалось поймать виновных в «преступной переписке».

Запомнилось Наде, когда после этих событий приехала она за хлебом, Мансур и Толян гудели как рассерженные шмели. Они набросились на нее с расспросами, и, когда она рассказала им, что знала сама, они еще больше разъярились и, гневно угрожая кому-то, шумели:

— Скоро доберемся! Всех перевешаем!

Кочегар, эстонец Эльдар Уго, рычал себе под нос, как медведь. Даже Фомка сморкался и вытирал платочком слезящиеся глаза, приговаривая:

— Ай-ай, как нехоросо, осень плохо!

До Нади доходили упорные слухи, что на Ремзе, на Капиталке и еще кое-где потихоньку изготовлялось оружие.

— А зачем? — удивлялась она. — Все равно лагеря треснут по швам, когда вольных останется меньше, чем зеков.

Накануне ноябрьских праздников Наде пришлось зайти в бухгалтерию выяснить недоразумение с хлебным реестром. Ожидая старшую нормировщицу, она разговорилась с Танечкой Палагиной, которая работала калькулятором. Прелестное лицо и интеллигентность Тани всегда, еще с этапа, вызывали у Нади желание поближе познакомиться с ней.

— Значит, скоро освобождаешься? — спросила Таня.

— Когда рак свистнет! Затянулось мое освобождение до неизвестного времени.

— Да! Наберись терпения и жди. Ничего не поделаешь! Я вот когда на Лубянке сидела, следователь мой, Сидоров, в каких только гнусностях меня не обвинял! Днем и ночью на допросы таскали. Первое время я с ума сходила, а потом, — он болтает всякий вздор, а я сижу и про себя гекзаметр читаю.

— Что читаешь? — поинтересовалась Надя.

— Гекзаметры — это размер стиха в древнегреческом стихосложении.

— И помогало?

— О! Да еще как! Начинает Сидоров меня допрашивать: — «Расскажите о вашей преступной деятельности в пользу иностранных разведок» — Ну что ему сказать? Дурак? Идиот? Кретин безмозглый? Так за это он меня в карцер посадит! И вот начинаю я молчком, про себя, читать из Гомера:

> Только Терсит еще долго бранился болтливый без меры.
> Множество слов беспорядочных в мыслях своих сохранял он
> Чтобы царей оскорблять, говоря, что случится, без толку,
> Лишь бы он думал, что греки найдут его речи смешными.
> Был он косой и хромой, и его искривленные плечи вместе сходились к груди,
> Да еще заостренною кверху, он головой отличался…
> И редкий торчал на ней волос!

Смешно, правда?

— Очень!

— Это я когда в Театральном институте училась, Гомер мне на экзамене попался, да, кстати, и на Лубянке пригодился, — пояснила Таня.

«Красивая и образованная! Срок у нее десятка с рогами. Когда же она вернется в свой Театральный институт!» — с сожалением думала Надя, глядя на фарфоровое лицо Тани.

— Понимаешь, — продолжала она, — Прочту я себе этого Терсита и становится мне смешно и покойно. Срок мне обеспечен, отец и брат уже находились в лагерях, как контрики. Мне только оставалось «догнать и перегнать отцов». Что я и сделала. У папы пять лет сроку, у меня десять. Вот выучи такой гекзаметр — и никогда не будешь дерзить начальству…

— Как заклинание?

— Да, читай про себя, как заклинание.

— Не очень-то мне помогают заклинания, — с сомненьем сказала Надя. — Но попробую!

Перед праздниками пришла посылка в простом ящике без мешковины. Адрес написан не маминой рукой. В посылке записка, которую тотчас забрал Гусь — старший надзиратель.

— Ну, хоть сами прочтите мне, пожалуйста, — попросила Надя.

— Не положено, — равнодушно ответил Гусь, но, пробежав ее бегло глазами, отдал Наде.

> «Деточка, милая! Прости, я слегка прихворнула. Пришлось попросить соседку отправить посылку из Люберец. Скоро поправлюсь, напишу. Мама».

Надя в сердцах швырнула ящик. О деле ни слова.

Зима в тот год наступила ранняя и очень снежная. Даже старожилы-долгосрочники, пробывшие не один год на севере, удивлялись такому обилию снега в начале зимы. Грейдер не успевал расчищать дорогу, и плохо приходилось бедной Ночке таскать возок дважды в день, в снегу по самое брюхо. Из старых актированных бушлатов Надя попросила в пошивочной мастерской смастерить лошади что-то вроде попоны по собственному чертежу. Одежка накидывалась Ночке на спину и привязывалась лямками к дуге, а еще две лямки завязывались под брюхом, чтоб не съезжала на бок.

В таком виде их встретил капитан ЧОС и заорал для порядка:

— Это еще что за пугало огородное?!

— Зябнет она, старая, а дорога тяжелая, пока второй раз съездим, вся в мыле, простудится, как тогда будем? — объяснила

ему Надя.

— Ты ей еще и валенки схлопочи, смешнее будет! — и совсем уже по-другому спросил: — Слышь, Михайлова, ты, часом, случайно не из деревни будешь?

— Почти.

— То-то, я вижу, скотину любишь!

— Скотину! — обиделась Надя. — Жюль Верн лошадь благородным животным называл! А много ли людей благородными назовешь? Разве это скотина? Все понимает! Человек!

Капитан только головой покрутил и засмеялся.

— Ну, ты даешь! Надо же! Человек!

К концу декабря снегу намело столько, что дорога оказалась как бы в тоннеле.

— В феврале будешь ходить меж гор, в ущелье! — пообещал Мансур.

Но вдруг снегопады внезапно прекратились, сразу показались звезды и луна. Тундра стала серебряная, и светло, как днем. Морозы небольшие, совсем как дома, в Малаховке. В такую погоду ее иногда провожал Клондайк. Это были чудесные дни, хоть в четыре часа уже темно. По дороге можно было болтать, о чем угодно. Надя слышала от Мымры, что на партсобрании опер ругал обоих режимников. По зоне ползали слухи, что Павиан был попутан опером с дамой в кипятилке.

— Чего тебя на собрании ругали?

— Пустяки, капитан Горохов…

— Зуб опера страшнее пасти крокодила, — вспомнила Надя Мансура. — За что он на тебя взъелся?

— Наоборот! Сказал: «Парень он хороший, не спорю, только, здесь ему делать нечего! Слабак, субтильный интеллигентик!

— Вот гад! — не выдержала Надя.

— «Дисциплину в зоне ослабил. Полно нарушений, а бур пустует. Я ему, — говорит, — зла не желаю. Пусть едет и учится». А после собрания отозвал в сторонку и говорит: «Тут не все, как Михайлова, не думай, такие зубры-бизоны есть, дай им волю — с кистенем средь бела дня по зоне ходить будешь».

— А ты бы ему сказал, что из самых зубров самую-самую бандитку выбрал…

И пока Клондайк заливался смехом, озабоченно спросила:

— Ну и что теперь?

— В общем, до замены пока остаюсь…

— А пришлют, уедешь?

— Уедем вместе.

— Куда?

— Ко мне в Ленинград.

— Нет! Я только в Москву, к Гнесиным, там меня ждет моя преподавательница Вербова Вера Александровна.

— Ну, в Москву! Купим машину, в ней будем жить.

— Почему это в машине, можно у меня, целый дом пустой стоит. Мама рада будет. А зачем машина? Лучше рояль!

— На рояле вдвоем не поместимся! — продолжал смеяться Клондайк. — А на пианино не согласна?

— Согласна, но лучше рояль! Звучнее и звук красивее, особенно «Шредер», — больше она никаких марок роялей не знала, у Дины Васильевны стоял «Шредер».

— Пианино у меня дома… а, может, все же о машине подумаем? — от таких разговоров им обоим становилось весело и радостно. И как здорово было идти по искрящемуся, скрипучему снегу, держа с обеих сторон под уздцы Ночку, без тревожных поцелуев и объятий, вообще не чувствуя тела, одну душу. Они могли не только делиться своими задумками, но и узнавать друг о друге. В сущности, она совсем ничего не знала о своем возлюбленном. Только одно, как сказала Маевская, — красив, как Аполлон, — да это она и сама знала. Еще, что вернулся из отпуска — на погонах еще с одной звездочкой и сдал на отлично за второй курс. А дом? А родные? Почему-то о них Клондайк говорил мало. Правда, однажды вскользь упомянул: «Мама у меня очень красивая, даже слишком, во вред себе…»

— А моя мама очень добрая и ласковая, наверное, тоже во вред себе, — поспешила заметить Надя. — А отец?

— Отец как отец! — пожал плечами Клондайк. — Обыкновенный! Полковник!

Надя поняла, что говорить ему об отце не хотелось. Но такие дни им выпадали редко, чаще бывали метели, и Надя прогоняла Клондайка домой. Говорить на ветру все равно нельзя было (можно голос простудить!), и, поцеловав ее кинематографическим, долгим поцелуем в холодные губы, Клондайк отправлялся учить какое-то «Право» или еще что-нибудь. Иногда Надю охватывало сомнение: «А что скажет красавица мать своему Саше, любимому сыночку, когда представит он ей невесту из лагеря? Тогда он должен сказать ей так: «Мама, Надя — будущая знаменитость!»— и она смирится»….

С вечера Наташа сказала ей, что Мымра привезла из города целый ворох нот, пьес, клавир оперетты «Вольный ветер» Дунаевского. (Конец года, надо было осваивать положенные для КВЧ деньги). Наде очень хотелось взглянуть: что за ноты? Но, приехав в пекарню, она к огорчению узнала: хлеб недавно посадили и ждать придется не менее часу.

Фомка, хотя это категорически воспрещалось, открыл кладовку и сказал:

— Здесь ходи, спать мосно! Селый сяс мосно. Тихо сиди, молси!

Надя поправила мотузочки на попоне лошади и устроилась вздремнуть на мешках. Дощатая перегородка кладовки рассохлась и разошлась, образовав щели, через которые ей хорошо было видать, что делается на пекарне, правда, интересного мало, лучше прикорнуть с полчасика. Еще ей хорошо была видна часть окошка, заботливо очищенная от снега и льда, и часть крыльца, где ярко горела лампочка над входом и вились бесконечные редкие снежинки. «Ночку бы в сарай завести, все потише там будет, да сенца ей подкинуть», — решила Надя и тихонько вышла на крыльцо. Откуда ни возьмись, прямо перед ней вынырнул опер Горохов. Он шел по дороге с 6-й шахты, слегка припадая на левую ногу, в правой руке небольшой не то портфель, не то чемоданчик. Не ожидая ничего путного от такой встречи, она хотела прошмыгнуть незамеченной обратно в пекарню. Но Горохов уже увидел ее. От его глаз не скроешься.

— Ты чего здесь, Михайлова, болтаешься без дела? — сердито нахмурив озябшее лицо, спросил опер.

— За хлебом приехала.

— Вижу, не за водкой, чего не грузишь?

— Хлеб наш не готов, гражданин начальник.

— А зачем не ко времени приехала?

— Пекарня задерживает, у них мука из-за пурги вовремя…

— Проверю, — перебил ее объяснение он и, насупившись ещё больше, спрятал озябший нос в поднятый воротник полушубка.

Надя, показав его спине язык, вернулась на свое место в кладовку. Там между мешками тепло и мягко, можно хоть капельку вздремнуть. Но едва она прислонилась головой к мешку, как почудился ей скрип шагов и тут же несколько пар ног застучали по крыльцу, отряхивая снег. Надя втиснулась, как можно плотнее, между мешками и притаилась. «Кто это?» В любом случае ее не должны здесь видеть.

— Эй, рожа! Ты здесь, что ля? — прохрипел голос.

— Вам что, ребята? — послышался рокочущий бас Мансура.

— Брага есть? Пить охота!

— Откуда брага? Квас есть.

— Давай, тащи квас, — загалдели несколько голосов.

Их не меньше трех, сообразила Надя. Она тихонько повернулась к перегородке и увидела их в щель. Точно, их было трое. Один их них, тот, что стоял поближе к стене, был хорошо виден. Все трое в бушлатах, валенках и одинаковых ушанках.

— Зеки, — решила Надя и еще больше сжалась.

Вошел Мансур с ведром, все трое по очереди стали долго с жадностью пить. Тот, кто стоял ближе к перегородке, пил последним. Он взял ковш, и Надя заметила, что фаланги большого пальца на правой руке у него не было. Левой он сдвинул ушанку на затылок. Голова его не была обрита. «Этот не зек! Только бы лошадь не заржала! — испугалась еще больше она. — Хорошего тут ждать нечего».

— Далеко собрались, ребята? Куда? — спросил Мансур, забирая ведро.

— Куда да откуда, будешь знать, состаришься, паскуда… — развязно, совсем по-блатному произнес один из них.

— Ну, ты, огарок! — Поостерегись, — ощетинился Мансур. — Тебе, как человеку…

— Брось! — резко оборвал беспалый и повернулся к Мансуру лицом так, что Надя могла рассмотреть его как следует. Злое, как высеченное из камня, застывшее лицо беспалого было бледно, и на этом бледном, хмуром лице особенно выделялись огромные темные глаза под черными бровями, прямой хищный нос делал его похожим на ястреба или орла.

— Ты лучше скажи, синяк тут не проходил? Упустили, черти!

— Вроде прошел.

— Давно?

— Только что.

— Не заметил, пушка при нем?

— Ни к чему мне!

— Айда, ребята, зараз нагоним, — скомандовал беспалый, и они двинулись к выходу. По тому, как беспалый произнес «зараз нагоним», она без труда узнала выходца с Украины. Ей хотелось взглянуть, не заметили ли они лошадь, и она поспешила выбраться из кладовой. Мансур стоял у окна и смотрел им вслед. Лицо его было напряженным и тревожным. Ужасная мысль мелькнула у Нади.

— Мансур! Про какого синяка они тебя спросили?

— Кто-то шел…

— Это Горохов, капитан с нашего лагпункта.

— Разве? Я не заметил.

— А какую пушку?

— За пистолетом охотятся!

— За пистолетом? — ахнула Надя. Зачем же ты им сказал?

— Во дуреха! Они его давно стерегут, да, видно, кружили, прямо не шли — и потеряли…

— Как же ты мог! — сорвалась на крик Надя, ударяя кулаками по волосатой Мансуровой груди. — Это же бандиты,

они убьют его! Он не отдаст им пистолет, а их трое!

В следующий момент она выскочила на крыльцо и, ломая ногти, бросилась открывать ворота. Лошадь, запорошенная снегом, застоялась и радостно дернула возок. Надя налегла плечом на ящик, но он не поддавался. Тогда она взяла Ночку под уздцы и круто развернула ее почти на одном месте. Сани накренились, и ящик тяжело свалился в снег. Мансур сообразил, наконец, чего она хочет, и закричал не своим голосом:

— Вернись, сумасшедшая, они тебя в клочья подерут!

Он кинулся с крыльца удержать сани, но оступился и упал в снег, ругаясь последними словами. Надя, что есть силы, стеганула Ночку кнутом, и обиженная лошадь рванула с места так, что она не удержалась и свалилась в сани. Кое-как встав на колени, она, не переставая, нахлестывала бедную Ночку.

— Только бы не опоздать! Только бы сани не опрокинулись, — шептала она себе, полная ужаса и смятения.

В пекарне остались ее рукавицы, и очень скоро она почувствовала, как деревенеют на ветру от холода ее руки.

— Господи! Помяни царя Давида и всю кротость его! — взмолилась Надя. — Помоги проскочить мимо них. Хотя бы Ночка не испугалась. Поворот, потом дорога пойдет под гору.

— Но-о, милая! Но! — покрикивала она, и Ночка как будто понимала, что сейчас все зависит от быстроты ее старых ног. Пустые сани неслись подгору, поднимая вихри колючего снега. Надя натянула рукава бушлата до самых кончиков озябших пальцев. У поворота она хотела попридержать Ночку, но лошадь, как ошалелая, понеслась, не слушая вожжей. На самом повороте сани занесло вбок, и она чуть не вылетела в снег. Сразу же за поворотом, совсем близко она увидела три темных силуэта.

— Ну, Ночка, давай же, выручай! — понукала ее Надя, но уже чувствовала, лошадь стала уставать. — Не дай Бог, встанет, как не раз бывало, — похолодела она от страха.

Уже совсем близко видно этих троих. Услыхав лошадь, один обернулся, за ним остальные.

«Если они встанут поперек дороги, лошадь непременно остановится, тогда мне конец!»

Но, видимо, в их расчет не входило заводиться в пути. Они шли точно к назначенной цели. До казарм еще добрый километр с лишним пустынной тундры. Они успеют сделать, что задумали, и благополучно скроются. Они уже почти догнали свою жертву. Увидев сани, бандиты, сошли с дороги и гуськом, не переставая двигаться, прижались к снежной стене. Надя еще раз хлестнула Ночку, и та, напрягая последние силы, промчалась мимо. Обнаружив, что в санях женщина, а Надя была в своем белом

платке, который и в темноте был виден, бандиты заулюлюкали, зашикали ей вслед. Один даже бросился догонять сани, и она уже нацелилась ударить его лопатой. Остро отточенную штыковую лопату Надя всегда возила с собой на всякий случай. Через минуту она почти догнала Горохова и натянула вожжи, осаживая лошадь. Утомленная Ночка быстро перешла на рысь, и еще немного — сани поравнялись с опером. Он недовольно посторонился и что-то сказал ей, когда остановились сани.

— Скорее, скорее садитесь! — прокричала ему Надя.

— Ты что, пьяна? — с возмущением обозлился он.

— Садитесь! Они убьют вас! — истошно завопила она.

— Кто? Ты что, рехнулась? — вышел окончательно из себя Горохов.

— Это бандиты, садитесь!

Было видно, как двое вышли на середину дороги и побежали вперед.

— Я их сейчас, как собак, перестреляю! — в ярости крикнул опер и схватился за кобуру, но в следующий миг он, как бы замер, словно опешил, и вдруг повалился в сани и закричал:

— Гони!

Последний километр Надя не помнила, как они доехали. Ночка словно издевалась над ними. Она то шла шагом, давая возможность бандитам почти настичь их, то вдруг рвала с места, будто хотела вытряхнуть седоков. Подъезжая к казарме при свете вахтенных огней, Горохов спрыгнул с саней на ходу.

— Пистолет-то у меня в сейфе! — только и сказал он.

Следующий свой рейс в пекарню Надя проделала совместно с солдатом.

«Так Горохов распорядился», — сказал ЧОС, но в дальнейшем была обещана машина.

В Новый год был устроен небольшой загул. Коза принесла с кухни белые булочки, и вместе с маслом и сладким чаем проводили никому не дорогой 1951 год. Валя вспомнила, что где-то в тамбуре оставалось с полстакана недопитого спирта. Нашли спирт, сильно разбавили водой, и всем по разу хватило хлебнуть. Коза тотчас задремала и чуть не свалилась с колченого табурета, Надя едва успела подхватить ее. Остатки выпили вдвоем с Валей, пожелав друг другу скорейшего освобождения. Когда все разошлись, и Надя осталась одна, ей стало так мучительно тоскливо, что она не выдержала и заплакала. По радио шел праздничный концерт, и артистка Эльфрида Пакуль пела прелестный вальс «Я влюблена, я влюблена, жизнь стала так хороша!»

— Ничего подобного, жизнь совсем не стала хороша, а хуже с

каждым днем, — ответила ей Надя.

Она вышла в тамбур запереть дверь, ей все чудились те трое, — и столкнулась носом к носу с Клондайком. Он, ни слова не говоря, схватил ее в свой полушубок и потащил в хлеборезку.

— Подожди, я дверь закрою, — вырывалась от него Надя, стараясь дышать в сторону.

— С Новым годом, моя любимая! — обнял ее Клондайк, запечатлев чисто братский поцелуй на ее лбу. — Я знал, что люблю самую красивую, самую талантливую, смышленую девушку, а теперь ко всем титулам добавляю: и самую мужественную, самую храбрую на свете…

— Что, опер рассказал?

— Облава была, гарнизон поднят был.

— Поймали?

— Убили одного, двое скрылись. Ты будь осторожна…

— У меня теперь сопровождающий!

— На него особо не надейся…

Ей очень хотелось поцеловаться с Клондайком, но боялась, спиртом пахнет, нехорошо, что он подумает! Пришлось сослаться на головную боль и проводить поскорее.

— Когда дежуришь? — спросила уже на крыльце.

— Послезавтра.

— С кем?

— С моим капитаном.

— С капитаном Павианом? — засмеялась Надя. Проводи его в кипятилку и приходи. Зайдешь?

— Обязательно, недовес в пайках обнаружу! Спокойной ночи, пьяница!

Но, как оказалось, многие не одобрили ее спасение опера. В частности, Вольтраут. Через два дня, когда уже вся зона знала об этом происшествии, она сказала:

— Нашли, кого спасать. Никто вам орден не повесит и срок не снизит. И даже не вернет ваши зачеты.

— А я и не думала ни о каких наградах. В тот миг я думала только, чтоб лошадь не остановилась. Человек все же!

— Курица не птица, опер не человек!

— Ну, это ты брось. Спокойно смотреть, как убивают при тебе человека, это не для меня.

— Мало он вас в карцере подержал!

— Подержит еще! Когда освобожусь, не знаю, не раз еще посидеть придется, — засмеялась Надя, обратив все в шутку. Но душа ее не была спокойна, она с нетерпением ждала письма из дому, обещанного Зинаидой Федоровной. От постоянной тоски и ожиданья, что вот-вот ее вызовут в спецчасть расписаться за

уведомление в получении… она погружалась как бы в тину равнодушия ко всему, даже к Клондайку. Равнодушно она выслушивала рассказы Козы о новоприбывших студентках из Ленинграда, которые затеяли опасную игру с самым-самым, и в другое время прицепилась бы с расспросами, но теперь ее волновало только одно: «Почему Руденко не подписывает ее дело». Даже известие о том, что в ОЛП приехал начальник управления Воркутлага генерал Деревянко и будет вести прием зечек, не вызвало в ней ничего, кроме вопроса: «Может ли он поторопить там, в Москве?» И тут же ответила себе: «Пообещает, в лучшем случае, и ничего не сделает. Это их система». Кое-кто из зечек записался на прием к солидному генералу. Бригадир Ольга Шелобаева отправилась к нему с целым списком жалоб: на плохое питание, непосильные нормы и еще много чего накопилось. Генерал принял Ольгу Николаевну весьма ласково. Улыбался ей своей широкой и доброй улыбкой. Обещал разобраться во всех нарушениях.

— Пишите, пишите, не стесняйтесь, обо всем лично мне.

К изумлению зечек и вольняшек, толпившихся за дверью кабинета, даже проводил Ольгу до самых дверей. А ей и невдомек было взглянуть, как позеленел майор Корнеев, увидев такое.

Было Ольге в ту пору двадцать семь лет, и естественно, увидав такую красавицу, генерал игриво вороша свою седую шевелюру, молодцевато поблескивая светлыми глазами, расчувствовался, наобещал много… Но не успела машина с генералом доехать до города, как уже был готов приказ майора Корнеева: «Шелобаеву Ольгу Николаевну, осужденную Московским Военным Трибуналом войск МВД по ст. ст. 58-1а, 58–10 часть 11… отправить в штрафной лагпункт «Безымянку» на общие работы».

— Кажется, я первый раз в жизни поступила разумно, — сказала Надя Козе, радуясь своей «дальновидности».

Ночью в обход зашел улыбающийся Клондайк, вызывая в Наде недоброе чувство. Ей сразу захотелось испортить ему настроение. «И чего радуется?»

— Это вашему дому к Новому году! — сказал он и положил сверток на край стола. Надя даже не взглянула и спасибо не сказала-

— Ты не хочешь взглянуть, что там? — удивленно спросил Клондайк. — Разверни!

— Нет, зачем разворачивать? Все, что там, пойдет обратно с тобой.

— Это почему такая немилость? За что?

— Потому. Только духи можно принимать от мужчины, к

которому имеешь благосклонность. Духи во время шмона заберет Перфильева, а я не хочу. Значит, ничего…

— Знаешь, Надя! — сказал обиженно Клондайк, и радостная улыбка его погасла, что с удовольствием отметила Надя. — Может быть, будет лучше, если ты не будешь такой гордячкой. Попроще. В семейной жизни это очень тяжело.

— В семейной — да! Я буду проста и липуча, как муха! Но здесь я зечка!

— Один мудрый человек написал нам с тобой письмо. «Не давайте гордыне овладеть собой. Из-за нее вы откажетесь от полезного совета и будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за гордыни вы откажетесь от дружественной помощи»,[11] — закончил Клондайк и слишком быстро подошел вплотную к Наде.

— Кто же этот мудрый человек? Надеюсь, не ты решил уговаривать меня не быть гордой? «Щелчок по моему бесу!»

— Не я! Сразу видны твои пробелы в учебе. Это академик Павлов прислал тебе письмо, а ты не потрудилась даже прочитать его.

— Павлов резал собак, и я с его письмом считаться не намерена!

На самом же деле все было гораздо проще. Надя не хотела, чтоб о посещениях Клондайка знала Коза, и особенно Валя, она, с ее циничным, недоверчивым умом, могла подумать о том, чего не было и быть не должно. Беззлобная болтовня в бараке неминуемо дойдет до гороховских ушей, а этого Надя опасалась больше всего. Ее предупредили! Конечно, было любопытно бы взглянуть, что там, в свертке, и по-настоящему огорчать Клондайка она и в мыслях не имела. Он понял это и, скинув шапку прямо на пол, уселся на хрустяще-шуршащий топчан, привлекая ее к себе за руки. И, пожалуй, Надя разрешила чуть больше, чем ей позволяло собственное убеждение о дозволенном, но вспомнив Горохова, с трудом оторвала себя от его губ:

— Все, табу Саша!

— Да-да, я знаю, — прошептал он, с сожалением отпуская ее, — Может быть, мне лучше пока уйти? Он ждал, что она скажет «нет», но она этого не сказала, она тоже обиделась.

— Конечно! Разговаривать со мной ведь не о чем…

Если б только она могла понять, чего стоило Клондайку это ее табу! Но, и поняв его, не поступилась бы своей клятвой, она свято верила, что, нарушив свой обет, навлечет на свою голову большое несчастье. Какое? — она не знала. Это мог быть тот младенец с открытым ротиком и застывшими, остекленевшими глазками, могла быть мать, повисшая на проволоке с

окровавленными руками и истерзанным сердцем, а мог просто генеральный прокурор не подписать ей освобождение. Даже опер Горохов мог сослать в

Магадан, на Колыму и куда «Макар телят не гонял», разлучив навсегда с Клондайком. Снять с него погоны, выгнать из партии, обвинив в преступной связи с заключенной-речлаговкой. Да мало ли способов сделать несчастную зечку еще более несчастной?

— Вам действительно лучше уйти, гражданин начальник, и, подавая ему с полу брошенную шапку, не забыла запихнуть в карман сверток.

— И все? — спросил Клондайк, заглянув в ее опущенное лицо.

— Нет, не все! Еще рекомендую вам перечитать «Дети капитана Гранта», вспомнить, что обозначает слово «табу».

— Зачем? Я и так знаю! Не пойму только, почему это пресловутое табу должно существовать между любящими людьми?

— Между любящими людьми — да, не будет, но между начальником режима и зечкой Михайловой — навеки вечные.

— Но ведь ты скоро освободишься…

— Да, да, — перебила его Надя, — а пока я зечка, а вы, держитесь как рыцарь. Не часто вам в вашей профессии предоставляется случай поступать благородно. Проявите себя!

— Одно извинение тебе: маленькая ты и глупая! — с сердцем произнес Клондайк и направился к двери.

— «Только Терсит еще долго бранился, болтливый, без меры!» — сказала вслед ему Надя-

— Что? — спросил, обернувшись, Клондайк.

— «Множество слов беспорядочных в мыслях своих сохранял он, чтобы цариц оскорблять!»

— Что это?

— Это гекзаметр. «Говоря, что случится, без толку!» Гекзаметр — это древнегреческое стихосложение, — спесиво сказала Надя и гордо задрала нос.

— А ну, еще раз! — попросил Клондайк.

И она с большим удовольствием прочитала ему то, что выучила у Танечки Палагиной. И когда Клондайк рассмеялся весело и совсем не обиженный, она подумала: «А ведь действует! Только заменить пришлось царя на цариц».

— К твоим титулам я прибавляю: самая красивая, самая талантливая, самая храбрая и еще самая образованная.

Клондайк, конечно, не ушел сразу, а еще постоял бы в дверях, Бог ведает сколько времени, но, на пороге раздались шаги и ввалился Павиан, Надя тотчас встала по стойке «смирно»,

приветствуя начальство.

— Здравствуй! — ответил строго Павиан, но видно было по его лицу, что из кипятилки он шел довольный.

В зоне ничего не утаишь, все уже знали, что Павиан влюблен в хорошенькую, голубоглазую полячку, не какую-то ясновельможную пани, а простую, из-под Львова, которая, видимо, Жюля Верна не читала и не мучила Павиана «табу».

Дня через два после счастливого спасения опера Горохова Надя вернулась с пекарни уже со второй ездкой и увидела, как из тени, которую отбрасывала на дорогу вахта, выплыла ей навстречу маленькая фигурка женщины. Надя узнала ее и, решив, что та хочет сказать ей что-то по секрету, отпустила солдата, который сопровождал ее теперь в каждой ездке.

— Давай, до завтра!

Как только солдат скрылся, женщина тотчас подошла к Наде. Это была вольняшка с водокачки, крымская татарка Бейсабе Хузина.

— Стой минутку!

— Ты чего? — удивилась Надя.

— Богом прошу, пройди со мной на водокачку, — озираясь вокруг, взволнованно попросила Бейсабе.

— Не могу сейчас никак, хлеб разгрузить надо, лошадь отвести-

— Ой-ой-ой, — застонала, раскачиваясь из стороны в сторону, заплакала Бейсабе. — Ой, пропала моя голова.

— Да говори ты толком, что случилось? Я ведь в вашем деле ни гу-гу!

— Смотреть надо! Туда идти! Приди, пожалуйста, ждать буду.

— Кто здесь? — спросил с вахты сержант.

— Открывай ворота, хлеб привезла!

— А!.. Давай! — и пошел вперевалочку, не спеша, пропустить лошадь.

— Я приду сейчас! — на ходу шепнула Надя Бейсабе и поторопилась скорее закончить работу.

Водокачка находилась тут же, рядом, за зоной, только перейти через рельсы железнодорожного полотна, на самом берегу речки Воркуты, и поила проходящие мимо паровозы. Три вольняшки работали там на обслуге в три смены. Работа «не бей лежачего». Паровозы ходили редко — один-два раза за смену, а зарплата приличная. Небольшое строение состояло из тамбура и двух смежных комнат. В первой помещались два мощных мотора, крепленных на цементированной площадке, с насосами, в другой топилась зимой печь с вмонтированным водогрейным котлом.

Там же находился телефон, по которому на водокачку заранее сообщалось о прибытии паровоза. Надя несколько раз бывала на водокачке, когда Мансур просил ее передать записочку для Галин, второй работнице. Это было совсем безопасно, потому что не надо тащить через обыск. Еще издали, подходя к водокачке, Надя увидела маленькую фигурку Бейсабе, та стояла, прижавшись к углу водокачки, испуганная и озябшая.

— Что случилось, Баська?

— Идем, идем скорее! — потащила ее за рукав Бейсабе. Она толкнула ногой незапертую дверь и хотела пропустить вперед себя Надю, но та, почуяв недоброе, остановилась.

— Я не пойду, пока не скажешь, зачем позвала.

Бейсабе отчаянно вцепилась в Надину телогрейку и с неожиданной силой толкнула ее в тамбур. Не выпуская из рук Надин рукав, она распахнула дверь водокачки настежь, и обе очутились в комнате. Тут было тепло и очень чисто, мерно гудел вентилятор, подгоняя печь.

— Ну, какого ты лешего, — громко начала ворчать Надя и осеклась. Кто-то в соседней комнате негромко застонал.

— Кто там? — шепотом спросила она.

— Не знаю, сама не знаю, — дрожащими губами, мертвенно-бледная, сказала Бейсабе.

— Один?

— Один!

— Тогда чего бояться? Пошли, — и смело переступила порог другой комнаты. На полу, между печью и столом, привалившись спиной к стене, сидел мужчина. Его бритая наголо голова свесилась набок, одна рука неудобно подвернута назад, за туловище, другая судорожно скребла пол, словно хотела ухватить доску. Ноги были вытянуты, и на ватной, стеганой брючине у самого паха — большое бурое пятно. На полу, где он сидел, растеклась лужица крови. Тошнотворный запах исходил от него, заполняя всю маленькую комнатку. Рукава и полы бушлата были истерзаны в клочья.

— Кто это? — спросила перепуганная Надя и выскочила к моторам, в другую комнату.

— Не-не-знаю, — едва слышно пролепетала Бейсабе.

— Как он сюда попал?

— Паровоз пришел, я воды накачала, к речке пошла воду с храпка спустить, чтоб не замерзла. Прихожу, а он здесь…

— Беги на вахту или отсюда позвони, — вспомнив про телефон, сказала Надя. — В больницу его надо.

— Ни за что не пойду, хоть убей, не пойду, — затрясла головой Бейсабе.

— Почему?

— Кто его сюда привел? Не сам пришел. Товарищ его или кто? Придет за ним, меня убьет! А таскать меня будут? Зачем дверь открыто оставила? Права не имела, моторы тут, телефон.

— Что ж ему, умирать теперь? Скажешь все, как было, ты не виновата!

Человек снова застонал, и девушки, превозмогая дурноту от вони, подошли к нему. Он поднял голову и приоткрыл глаза, тяжелые и тусклые.

— Пить, пить, — попросил он.

Бейсабе бросилась за кружкой. «Это один из тех, — узнала его Надя. — Точно, он! И ушанка его. Значит, один все же скрылся, ушел, а, чтоб хлеб охранять, солдата мне навязали». Бейсабе нагнулась к нему, поднося кружку с водой к его губам. Внезапно тело его задергалось, судорожно затрепетало, стало медленно сползать набок и затихло. Яростно затрезвонил телефон. Бейсабе схватила трубку.

— Водокачка! Прошел или нет? Хорошо! Паровоз заправляться на подходе. Что делать будем? — спросила она Надю.

— Не знаю, заявить надо!

— Нет, нет, ему теперь все равно, а меня отвечать потянут. Давай его к реке стащим, в прорубь толкнем!

— Что ты, Баська! Разве можно! Надо, чтоб его нашли и похоронили, как полагается!

Дело оказалось непростое, пришлось волоком, на мешке, протащить наружу и там, привалив к электрическому столбу, оставить.

— Теперь беги, я пол мыть буду, — дрожа от отвращения и страха, сказала Бейсабе. — Спасибо тебе, Надя, век не забуду!

Надя побежала в зону. На ее счастье никто не спросил ее, где была. Только Валя недовольно покосилась.

— Долго гуляете, Надежда Николаевна, хлеба еще вон сколько!

— Ой, девочки! Чего я вам скажу, очумеете!

— Наверное, что-то важное, раз я в девочки угодила, — пошутила Коза.

Прикорнув перед подъемом на часок, она увидела во сне, как подошла Мымра и погрозила ей пальцем! «Разве можно так человека бросать, надо было заявить!» — «Он умер», — оправдывалась Надя. «Нет, не умер, он живой был! Нехорошо, он еще с тебя спросит!» — А я при чем? — крикнула Надя и проснулась. Скверный осадок не проходил целый день, и настроение, как говорила Наташа Лавровская, «нос на квинту».

Через несколько дней она увидела Бейсабе и подошла к ней.

— Ну как?

— Все, все, — зашептала Бейсабе и оглянулась вокруг.

— Чего все-то?

— Ну все! Машинист подъехал на заправку и нашел его, а я и знать не знала, дверь на засов заперла.

— А кто он, не узнала?

— Ладно, ступай, милая. Не знаю, кто он! Не нужно, чтобы нас вместе видели.

ОНИ МОГЛИ И ПЛАКАТЬ И СМЕЯТЬСЯ, НО СЛЕЗ БЫЛО БОЛЬШЕ!

Где-то на воле праздновали веселый май, а для зечек Речлага мая не было. Начальник гарнизона, недовольный своими солдатами, не поскупился на конвой, и 1 Мая был объявлен «трудовой вахтой», где зечки искупали свою вину перед отечеством, под усиленным конвоем. Правда, вечером предполагался концерт. Частушки, которые очень лихо писала Наташа Лавровская, призывая увеличить производство кирпича и высмеивая нерадивых работяг. Во втором отделении был поставлен Наташей балет «Бахчисарайский фонтан», где заглавную партию исполняла татарка из белоэмигранток Соня Ходжиева. Хан Гирей был очень смешон и грудаст, но это могли знать те, кто был знаком с настоящим ханом, а, поскольку таковых не оказалось, был принят зрителями и такой. Зато Мария-Соня была прелестна. Надя на концерт не пошла, только на генералку. Она считала, что высмеивать себе подобных в угоду начальству гадко, и даже имела неприятный разговор с Наташей.

И еще. Она надеялась втайне, что не увидев ее в зрительном зале, Клондайк поспешит в хлеборезку. «Не торопится», — съехидничал бес и был прав. Целый вечер она резала пайки, а пока были заняты руки, думала о том, как бы больше накопить денег, чтобы брать уроки только у самых лучших преподавателей.

Утром пришла Коза с котелками и пропела под дверью:

— Козлятушки, дитятушки, ваша мать пришла, вам кашу принесла…

Как тут было не полюбить Козу, такую добрую, веселую, несмотря на все ее мытарства.

— Девчата, что скажу вам, обхохочетесь. Новый опер у нас!

— Вместо Горохова? — обрадовалась Надя.

— Ах, если б вместо, а то вторым.

— Верно, верно, Мымра, когда еще, говорила, что будет два.

— Вечером дневная смена пришла и ну намываться перед концертом, разделись и ходят, едва телеса прикрыв, а в это время новый опер с Красюком заявились. Девчата моются раздетые по пояс, титенки голые, а ему нет чтоб отвернуться, так встал посреди барака и спрашивает: «Граждане заключенные, какие вопросы ко мне? Я оперуполномоченный!» Хохлушки наши, резвушки, палец в рот не клади. Выходит Рузя, в одной коротенькой юбчонке, рубашонку с плеч спустила, говорит: «Гражданин оперуполномоченный, как вас звать?» Отвечает:

«Можете называть меня гражданин начальник», а сам Рузьке за пазуху глаза запускает.

Надя, услыхав такое, губы искусала, ложку бросила на стол. Ей страсть как хотелось спросить: а второй-то как, тоже глаза пялит? Но стойко молчала. «Не спрошу, хоть умру!»

А Коза, как нарочно, дальше рассказывала:

— Так вот, Рузя ему и говорит: «А если я завтра освобожусь и мы с вами в кино сходим, мне же надо имя ваше знать». — «Освободитесь, тогда подойдете, познакомимся. Дальше вопросы?» Тут Данка Калишевская выплывает: «У меня вопрос к начальнику режима.»

Но Надя дальнейшее уже не слышала. Ее бурной фантазии ничего не стоило представить себе, как первая красавица ОЛПа Данута Калишевская стоит полураздетая перед Клондайком, и еще Валя масло в огонь подлила:

— Эта кого хочешь с пути истинного совратит…

«Как бы их замолчать заставить, — тоскливо соображала Надя, — ведь этак и рехнуться можно!» Но не тут-то было. Коза, как нарочно, разболталась, не унять.

— Новый опер красавчик! Молоденький, лет двадцати пяти не больше. Девчата про него уже всё узнали. Приехал с женой из Москвы. Жена нарядная, как кукла. Он ее «бульдожкой» зовет.

— Да хватит вам о мужиках болтать, — не выдержав, взорвалась злобно Надя. — Вот освободитесь, тогда и пускайтесь в загул.

— Пока мы освободимся, у тебя уже внучат куча будет, — миролюбиво сказала Коза.

— Неизвестно! После таких уборных, как у нас, когда струя на лету замерзает, способны ли будут женщины вообще иметь детей! — резонно заметила Валя.

— Мне этого узнать не придется, меня вперед ногами на погост отволокут к этому времени, да еще по черепу молотком шарахнут, чтоб и на том свете знали, что зечка.

— Это почему ж молотком?

— А так зеков хоронят, — пояснила Коза. — К ножкам — бирочку, а прежде чем за вахту вывезут, молотком по черепушке угостят на прощанье!

Надя вздрогнула, будто прикоснулась, как в детстве, к штепсельной розетке, и затряслась от страха и отвращения.

— Да будет вам об этом! Освободитесь скоро, вот увидите!

— Не раньше, чем вождь ваш великий свою кожу чертям на барабан подарит, — со злобным смехом сказала Валя.

— Скоро, скоро! Не два века лиходею на свете жить!

— Упыри и вурдалаки бессмертны! Они человеческой кровью

питаются! — злорадно продолжала Валя, поглядывая на свою начальницу.

— В каждом бараке зечки на ночь молятся, чтоб скорей Господь землю освободил от кровопийца, — не унималась Коза.

— Кончайте болтать! — сурово прикрикнула на них Надя. — Еще мне не хватало, чтоб к моей семерке еще десятку довесили за болтовню или пятерку за недонос!

Хлеборезка затихла. Окрик подействовал. Еще не выветрилось из памяти зечек, как судили одну москвичку, Наталью Лебедеву, за «антисоветскую пропаганду среди заключенных». «Дело» возникло быстро и оперативно, под чутким руководством опера Горохова. Во время одного из шмонов у Лебедевой забрали листок с записанным на нем стихотворением. Опер быстро сообразил, что это производство местных поэтов, и, хотя Лебедева упорно настаивала, что не она автор, ее стали допрашивать, где, у кого списала. Неизвестно, была ли она действительно автором или нет, она точно знала, что, назвав имена, потащит за собой цепочку с непредсказуемым концом под следствие, а это уже групповщина, организация — и десятка по статье 58 пункт 10, пункт 11. Выездная сессия на основании материала, собранного оперуполномоченным капитаном Гороховым, при свидетельских показаниях зечки Елизаветы Кирилловой судила Наталью Евгеньевну Лебедеву, добавив к ее десяти годам еще пять лет исправительно-трудовых лагерей, которые, кстати сказать, никого не исправляли, а только еще больше усиливали ненависть и злобу. Буквально через несколько дней весь лагпункт уже знал это злосчастное стихотворение. Теперь, после суда, Лебедева не считала нужным скрывать, за что ей вкатили срок… Полетели записочки в другие места заключения, на шахты (а их больше сорока), на заводы — везде, где работали зеки. Опер Горохов летал, как грозовая туча, извергая гром и молнию. Ему вкатили выговор за недостаточную оперативность (после суда пустил опять Лебедеву в зону). Докатилось и до пекарни. Мансур сграбастал Надю в охапку и, как горилла, открыв пасть, смеясь, допрашивал, не ее ли это произведение искусства. Надя отбивалась от мохнатых лап и протестующе верещала:

— Не я, не я! Отпусти, горилла, сейчас же! Я только исполнитель, а не творец. Я неграмотная, и по-русски с натяжкой имела «посредственно»! Я не пишу стихов.

Мансур разжал свои ручищи и, подняв мохнатый палец кверху, завопил:

— Послушайте только, это же конгениально!

Тиран душой,
Сапожник родом,
Себя вознес на пьедестал,
И стал народ «врагом народа»,
А он один народом стал,
И подхалим, и льстец бесстыжий…

— Хватит, Мансур, хватит, не хочу срока за недонос. Не хочу Воркуты! — исступленно закричала Надя. — Я знаю это стихотворение, но слушать не буду!

— Испугалась! Испугалась! — злорадно захлопали в ладоши Мансур и Толян.

— Да, испугалась! А зачем? Отдать жизнь за правое дело, за убеждения — это одно, а за болтовню, за зубоскальство, ерничанье? Не хочу! Обидно!

Мильоны расстреляв людей,

Зато был знатоком марксизма,

А это ведь куда важней! — не унимался Мансур, — Из искры возгорится пламя!» — победоносно закончил он.

— Смотри, как бы эта искра не опалила твою лохматую шерсть!

Через некоторое время, когда поутихло это событие, Надя спросила Козу:

— А где теперь Лебедева, что-то не видно ее в зоне?

— Отправили! Избавили нас от антисоветчины! — открыв свой беззубый рот, сказала со смехом Коза.

— А вы не знаете, за что она сидела?

— Легко сказать, сидела! Всю дорогу на общих пахала! Как и все ее одноделки, вон, Палагина Танюшка, Ольга Шелобаева…

— За то, что своевременно не отказались от своих отцов, а по библии, за грехи отцов, — сурово пояснила Валя.

— На Лубянке в камерах еще в то время, в тридцать седьмые года, говорили: «Была бы голова, а срок найдется!»

Надя приумолкла. Валя сказала, «за отцов». Какая же чудовищная жестокость — поставить и без того поруганного человека перед выбором: жизнь твоего отца или то, через что она уже прошла, суд, пересылка, этапы, комендант Ремизов и муки матери. А для них, политических, неведомая Лубянка с ночными допросами, Лефортово, Сухановка и военный трибунал, где перед мордатыми, широкими полковниками стояла тоненькая фигурка почти ребенка Танечки Палагиной! Потом она стала думать, как сама поступила бы. И это было так страшно, что она положила нож и перестала резать хлеб. Признать такого доброго, веселого,

любящего отца врагом? И, глядя в его светлые глаза, сказать: «Папа, ты враг!» — как бы он засмеялся! Сказал: «Что ты, доченька! Ну какой же я враг?» И можно ли жить на свете, если откажешься от отца?

— Надя, мечтаете? — спросила Валя. — Нож берите.

Утром с бригадой Эльзы Либерис пришла Альдона, просунула голову в окошко:

— Можно к тебе? Я на минутку!

— Заходи! — пригласила Надя.

— Надя! Я знаю, как ты пострадала за чужое письмо… «Ну — вот, опять!» — с досадой догадалась Надя.

— Я бы никогда, не осмелилась просить тебя, но родители Бируте до сих пор не знают, что она умерла. Мы уже отправили два письма им, одно через нашу почту, другое девчата в карьере бросили, а вчера от матери ее опять пришло письмо.

— Не возьму.

— Дочь Бируте у них на руках, совсем малышка.

— А муж?

— Нет мужа давно, погиб в перестрелке. Малышка без него родилась.

— Надя! Бригада Иры Палей! Наш хлебушек! — крикнули в окно.

— Давай! — Надя быстро схватила письмо, еще не зная, кому отдаст, но пока под матрац. «Еще одни зачеты снимут, а у меня их уже больше полгода». А как было отказать? И в хлеборезке тоже держать нельзя, вдруг шмон! Но правому делу Бог помогает! И что делать, надоумит.

Подойти к Клондайку и просто попросить: «Возьмите письмо!» — исключалось напрочь. Нужно было хитрить. Отправляясь на конюшню, пришлось надеть туфли на каблуках, чулки паутинку и вместо телогрейки — единственную, парадную шерстяную кофту.

— Куда это ты так вырядилась? — свирепо выпятив нижнюю 1 губу, спросил старший надзиратель, подавая пропуск.

— Генеральная репетиция сегодня, не успею переобуться, — не задумываясь, соврала Надя, схватила пропуск и бегом за вахту. А дальше пошла медленно, как вольняшка. В конюшне чисто. Солдат от нечего делать заставляли летом конюшню вычищать не хуже, чем казармы.

Запрягла Надя Ночку, села спереди, ноги набок свесила, юбчонка короткая, едва колени прикрыла, но другой не было. Не очень-то прилично, но для дела чем не поступишься? И не прогадала. Не успела телега с грохотом мимо дома, где офицеры жили, проехать, Клондайк выскочил.

— Михайлова! — остановил ее.

Надя с телеги не спрыгнула, не побежала, как положено, не стала стоять на стойке «смирно», а лошадь развернула и подъехала.

— Слушаю вас, гражданин начальник!

— Куда это вы в таком виде?

— На пекарню, гражданин начальник!

— А почему так оделись?

— Как «так»? — спросила и ногу за ногу закинула. Чулки-паутинки с черной пяточкой — красота! Пусть полюбуется!

— Не по форме за зону выходите, — а сам на ее ноги смотрит. — Вас что, разве боец не сопровождает, как распорядился капитан оперуполномоченный?

Если бы не на виду у всех, Надя бы смеялась до упаду, но со всех сторон ее видать было и приходилось делать «постную морду».

— Никто меня не сопровождает, а зачем? Сейчас светло, я не боюсь!

Но на этом начальнический тон Клондайка иссяк.

— Значит, едешь пекарям голову кружить?

— А что делать, гражданин начальник? Практика нужна, а то забуду, чему училась!

— Не успеешь, я напомню, — пообещал Клондайк.

— Поторопитесь! Свято место не пустует! — и, пряча улыбку, поехала на пекарню, весьма довольная собой. «Вот как попалась моя рыбка, возьмет письмо, как милый! Главное, как говорила Кира Покровская, «невинность соблюсти и капитал приобрести!»

— Это что же за праздник такой? — удивился Мансур, увидев Надю в туфлях, да еще на каблуках.

— Для практики, Мансур, для практики! А то освобожусь, как в туфлях ходить буду? Разучилась совсем!

— А ну пройдись! Отменно! Сам бы ел, да хозяин…

— Вот погоди! Я твоей Галие скажу, какие ты разговорчики позволяешь себе!

Недавно Надя узнала, что Галия с водокачки была по уши влюблена в Мансура и вечерами забегала к нему «в гости» на пекарню, — не с пустыми руками, с гостинцами. На следующий день Мансур угощал Надю «из посылки».

— Скажу твоей милашке, кого ты угощаешь, — пугала его Надя.

— Моя Галия знает, что ты не в моем вкусе.

— Это почему же? — в шутку обиделась Надя.

— Я человек восточный, я люблю женщину мягкую, чтоб кругом «восемь» было! Чтоб усталую голову можно на грудь ей

положить и чтоб еще было, за что уцепиться, не упасть!

— Да! — уныло согласилась Надя. — Чего нет, того нет! А я люблю, чтоб мужчина голову прямо на шее держал, не старался ее приткнуть, где помягче.

Ночью, как только ушла Валя, тотчас явился Клондайк. Надя ждала его и ни туфель, ни чулок с черной пяткой не снимала, хотя и боязно было зацепить чулком за корявую мебель,

— Гражданин начальник режима не боится капитана Горохова? — ядовито приветствовала его Надя.

— Гражданин начальник ничего не боится, это во-первых, а, во-вторых, капитан Горохов со вчерашнего дня в отпуске!

— В отпуске! — просияла Надя. — Уехал далеко-далеко! Надолго? В Крым или на Кавказ?

— В Кисловодск!

— Подумать только! Как осчастливит город Кисловодск! — и разрешила Клондайку помочь ей снять «свиной чехол», а потом поцеловала его сама, по всем правилам, так, что Клондайк слегка обомлел, отодвинулся от нее и сказал:

— Кажется, я поступаю к тебе в ученики. Роли переменились и можно повторить!

— Нет уж, повторенье опасно для здоровья! — и тут же проскользнула в комнатуху.

Приободренный Клондайк, Бог весть что вообразив себе, поспешил за ней. А там уже стояла Надя, смущенно улыбаясь, с письмом в руке.

— А я-то думал! — разочарованно протянул он.

— Саша, мой единственный и неповторимый! Ведь ты не хочешь, чтоб я снова в бур или карцер угодила? Зачеты у меня сняли? Ведь не хочешь?

— Почему не хочу? Бур — это самое твое место! Но, к сожалению, оперуполномоченный Арутюнов тебе его не выпишет! Давай письмо! — Клондайк глубоко вздохнул. — Куда? Ну, точно! Подведешь меня под Трибунал! «Зеленые сестры зеленым лесным братьям».

— Нет, нет, что ты! — поторопилась успокоить его Надя. — Это родителям Бируте, той, что умерла, а им никто не сообщает о ее смерти. — И чтоб прыти у него поубавить и не вздумал компенсацию потребовать, тотчас спросила: — А правда, что, когда зеков хоронят, прежде чем за зону вывезти, им черепа молотком разбивают?

— Зачем тебе?

— К тому, что и хоронить нас будут по-разному. Мне голову пробьют, а тебе нет.

— Может, не будем об этом сейчас?

— Ты же говоришь, что я трусиха, прячусь от жизни.

Клондайк резко поднялся.

— Я тебя понял, Надя!

В тамбуре она прижала его к двери, и они еще долго целовались до дрожи в коленях, но в тамбуре это было не страшно, и Надя держала «ушки на макушке».

— Подожди еще, Саша, теперь уже скоро!

Встречаясь в зоне, Клондайк время от времени спрашивал:

— Что, писем для меня нет?

— Пишут, скоро будут! — сдержанно отвечала Надя.

Потом он пришел на конюшню попрощаться с ней. Опять в отпуск. И Надя почувствовала, что между ними что-то сломалось, а что? Этого она точно не знала. «Мы оба устали ждать! Я своей свободы, а он меня», — мнилось ей.

Когда Клондайк уезжал в отпуск, время для Нади как бы останавливалось. Не двигалось совсем. И пусть он мог редко к ней заходить, зато в любой момент она могла его видеть хоть издали — в зоне, на вахте, за вахтой, могла зайти к нему в кабинет, предварительно выдумав любую причину, и даже, если осмелится, заглянуть в окно его комнаты, крайней слева на первом этаже дома, где жило лагерное начальство. Но ей было достаточно того сознания, что она могла так сделать.

В один из таких дней, когда тоска зеленая совсем заела ее, она не выдержала и побежала в УРЧ к Макаке Чекистке.

— Тебе чего? — спросила ее Макака.

— Узнать хочу, мне из дому давно написали, что дело мое пересмотрено и находится на подписи у прокурора, а ответа все нет и нет!

— Был запрос на твою характеристику, дня два тому назад я сама посылала.

— Значит, долго еще?

— А это как повезет! — сказала начальница УРЧ и спецчасти. — Ведь не сам генеральный прокурор тебе подписывать будет, а к кому попадет, там их пропасть сколько. Иному попадет — сразу и ответ, а другой положит подальше и будет лежать.

— Вот и моя бумага лежит где-то. Такая я невезучая!

— Глупости, невезучая!

— Да ведь обидно сидеть ни за что, ни про что, когда уже все разобрались.

— Обидно тебе? А что ты думаешь, тебе обидно, а другим нет! Да тут большинство ни за что, ни про что сидят.

«Господи, уж коли Чекистка так говорит… — обомлела Надя, — тогда конец света.

— Ты с какого года рождения? С тридцатого? Значит, двадцать два тебе всего?

— Уже двадцать два!

— Иди и не околачивай пороги, когда придет ответ, не беспокойся, вызовем!

В такие дни одно спасенье от сумрака печали была Наташа с ее аккордеоном. Ей тоже особой милостью было разрешено оставаться на сцене после отбоя, и тогда она долго играла Наде всю «Кармен» наизусть, не заглядывая в клавир. Иногда к ним из госпиталя вырывалась Кира. Ей прислали из дому скрипку, и они вдвоем играли целый вечер. Не было Горохова, сидел, как сыч, на вахте старший надзиратель, а Черный Ужас очень редко оставался в зоне после отбоя. Приходили Павиан и новый опер, Анатолий Гайкович Арутюнов. Один раз он взял у Наташи аккордеон и тоже попробовал играть, но скоро отдал обратно.

— Пальцы не идут, а когда-то играл! — с сожаленьем сказал он.

Часто приходила маленькая каторжанка Алла Пирогова. Очень талантливая и хорошенькая девушка, неизменная участница всех постановок, и с одинаковым успехом во всех ролях — от озорного Труффальдино до «Дочери русского актера». За что у Аллы был срок 20 лет каторжанского ОЛПа, никто не знал, знали только, что она профессиональная артистка из Симферопольского театра, а, значит, попала «под немцев» (была в оккупации).

Наташа затеяла грандиозную постановку балета на музыку «Кармен».

— Когда? Когда будет готов!

Участников было так много, что, казалось, зрители будут только вольняшки. В свое время Наташа заявила:

— У меня танцуют все! Кроме начальства!

То, что зеков в публике может не оказаться, ее волновало мало. Часто, заканчивая свою «Сегедилью» с кастаньетами, Надя со страхом думала: «Дина Васильевна в обморок бы упала от такого моего пенья». Скрипка нещадно фальшивила. Наташа старалась заглушить ее аккордеоном, Надя резала поперек тактов и делала паузы в неположенном месте. Но все равно было смешно и весело, кое-как скрадывалась неприглядность их убогого существования. И вот однажды по дороге в пекарню, прямо за поворотом от большака, она увидела Клондайка. Ночка тоже, увидав на узкой дороге человека, остановилась, как вкопанная. Надя не стала понукать ее, а спрыгнула с телеги и ждала, пока подойдет Клондайк, улыбающийся, как всегда, с чуть виноватым лицом. Когда он подошел, она закрыла лицо руками и заплакала.

Почему? Она и сама не знала. В последнее время с ней так часто случалось. Она могла заплакать ни с того, ни с сего. Видимо, сказывалось напряженное ожидание известий по ее делу, да и просто усталость от работы ежедневно, без отдыха за эти годы. Так и стояли они, обняв друг друга, позабыв, что их могут увидеть.

— Я уже устала ждать своей свободы. Я знаю, что уже потеряла все права на твою любовь, но, если ты женишься, я повешусь, клянусь тебе, слово мое — закон для меня, помни! — сказала Надя с таким мрачным убеждением, что Клондайк, зная ее непоколебимое упрямство, испугался.

— Что ты! Не смей так говорить, ты же знаешь, как я люблю тебя, и надеюсь, что ты тоже.

— Я совсем не хочу пугать тебя, я знаю — это подло, просто хочу сказать, — тут губы ее задрожали, и, чтобы успокоиться, она помолчала, потом с ожесточением воскликнула:

— Ты знай и помни, что без тебя я жить не стану, вот! — и украдкой вытерла слезы тыльной стороной ладони.

— Договорились! Мы не живем друг без друга.

— Как Ромео и Джульетта, — уже успокаиваясь, еще раз, всхлипнула Надя.

— Верно, не живем! — подхватил Клондайк и все же умудрился поцеловать ее в соленые от слез губы.

Они почти дошли до пекарни, и их наверняка могли увидеть.

— Ступай, обратно, Саша, тебя заметят!

— Я еще в отпуске. Приехал пораньше, чувствую, ты тут неспокойна. Горохов вернулся, если смогу, забегу вечером.

— Да! Совсем забыла сказать тебе. Характеристику мою из Москвы запросили.

— Это хорошо, значит, дело в работе. Поздравляю! — и еще раз нагнулся поцеловать ее.

— Ну что ты, Саша! — недовольно одернула она его. — Ведь видно нас с пекарни.

— Что я могу поделать? Когда я вижу тебя, мне все время хочется дотрагиваться до тебя, проверять, настоящая ты или мне снишься! — и улыбнулся искренне и виновато.

— Кто ж это тебя так обжимал-целовал? — спросил Мансур, когда Надя зашла и поздоровалась с пекарями.

— Поздравляли меня с освобождением, — пошутила она. — А вообще, Мансур, какое твое дело? Я не подсматриваю, что ты делаешь, когда приходит твоя возлюбленная, Галия!

— Мы гордо удаляемся, мы не можем себе позволить целоваться при всех.

— Мне некуда удаляться, я вся открыта перед людьми, —

шутя сказала Надя, — тем более не могу отказать, когда поздравляют.

— А что, правда, освобождаешься? — уже серьезно спросил Толян.

— Запрос на характеристику пришел, — ответила Надя.

— У-у-у, — загудел Мансур, — это не скоро!

— Да, не меньше месяца, — с сожалением согласилась она.

— Месяца! А полгода, год, не хочешь? — засмеялся Мансур.

— Не хочу, не хочу! — завопила Надя.

— Так приготовься и не дергайся зазря! — посоветовал Мансур.

— Нина Тенцер была, письмо тебе, — сказала Коза, когда Надя вернулась.

— Спасибо Ниночке, — обрадовалась Надя и прошла в комнатуху, собираясь прочитать внимательно, не упустив ничего. Но, перевернув конверт с адресом, забеспокоилась. Письмо написано было не материнской рукой и не из дома, а из Калуги от папиной сестры. Ее охватил панический страх, когда еще раз перечитала обратный адрес: г. Калуга, ул. Огарева, дом 28 Варваре Игнатьевне Михайловой. Это о ней писала мать, что «тетя Варя ходила за мной во время болезни». Сердце Нади тревожно заколотилось в предчувствии недоброго. Ей вдруг стало так плохо, что она вынуждена была сесть на топчан. Она поспешно разорвала конверт и прочитала:

«Здравствуй, Надя!

Пишет тебе тетя Варя из Калуги. Ты меня, наверное, не помнишь, я приезжала к вам, когда ты была совсем маленькой. Жалко мне тебя, в твоем положении и писать не хотелось, но надо, ничего не поделаешь. Не считаю возможным скрывать от тебя. 30 августа с. г. схоронила я Зинаиду, твою мать и мою золовку. Последние месяцы она почти не вставала, болела ишемической болезнью сердца — и вот отмучилась». Тут Надя остановилась, потому что почувствовала, как пол под топчаном закачался, а потолок стал стремительно надвигаться на нее. Стены комнатухи вытянулись вдаль длинным коридором, а голова запрыгала из стороны в сторону. Она закрыла глаза, темнота наступала на нее со всех сторон.

— Надя! Надя! Надюша! — звали ее издалека чьи-то звонкие голоса. Ей необходимо было откликнуться. Она напряглась и открыла глаза. Перед ней стояла Антонина со стаканом воды, а рядом Валя держала ее руку и пробовала найти пульс.

— Как вы нас напугали! — сказала она тихо. — Я, пожалуй, за сестрой сбегаю.

— Плохо тебе, Надюша? — озабоченно спросила Коза. — Вот

воды выпей-ка!

— Не надо, не заботьтесь, все в порядке, — едва слышно проговорила Надя и, уронив голову и руки на стол, заплакала горько, неутешно, навзрыд. Жаль было мать безумно, и больно, что никогда уже теперь не увидит ее, не попросит прощенья за те обиды, что причиняла ей вольно и невольно. Казнила себя за то, что и ее доля участия в преждевременной смерти матери.

— Нет больше моей мамы, и никогда не поцелую я ее большие, измученные глаза и рано состарившиеся от работы руки. Чужие, незнакомые люди были около нее в ее последний час… Хоронили торопливо и безразлично.

По ночам она, не зная покоя, плакала, уткнув лицо в подушку, пока сено в ней не намокло от слез и стало пахнуть затхлым. Пришлось сушить. По дороге в пекарню она тоже плакала и просила у матери прощенья, а слезы, падая на воротник бушлата, повисали прозрачными бусинками.

— Вас тут начальник режима спрашивал, какого вы Клондайком величаете, — стараясь утешить Надю, сказала Коза.

Но Надя не обрадовалась, как прежде бы. В душе ее царил непробудный мрак тоски. Как будто задернуто все черным покрывалом. Все — и чувства, и помыслы, и разум. Ночью зашел Клондайк. Надя сама в одиночестве закончила резать хлеб и села в угол на топчан. Ей все время было холодно, не спасал накинутый на плечи пуховый платок — подарок тети Мани.

Клондайк сел на край топчана и взял ее холодную руку.

— Надя! Любимая моя. Мне так хотелось помочь тебе…

— Не говори! Прошу тебя, не надо ни утешать, ни помогать… Пустое это! Потом когда-нибудь. Только не сейчас. — Отрешенно смотрела она с полным безразличием, как он целовал ее руку. — Для меня это уже слишком, уже перебор. Я кажусь себе раздавленной лягушкой на дороге. Когда оживу, тогда буду петь. Ты услышишь — знай, я жива.

— Ты очень любила маму, — в раздумье сказал Клондайк.

— Как я ее любила, я и сама не знала. Да и можно ли узнать меру любви, пока не потеряешь… Прошу тебя, уйди, пожалуйста, сейчас.

«Милый, чуткий Клондайк! Как он послушно, без обиды поднялся и ушел. Знает, мне плохо — а помочь нечем».

Больше недели лицо и глаза ее не просыхали от слез. Пока наконец Валя не прикрикнула на нее.

— Хватит, Надя, придите в себя! Нельзя так убиваться! Взгляните, на кого вы стали похожи! Вы голос потеряете…

Это подействовало. Потерять голос — потерять жизнь!

Понемногу горе стало забываться, жизнь шла своим чередом,

вытесняя большое несчастье маленькими радостями, и, наконец, был Саша — Клондайк. Конечно, никто и никогда не мог заменить мать, как нельзя вычеркнуть из памяти прошлую жизнь, дом.

Мать на свиданье на Красной Пресне, ее заботливые посылки, собранные так умело и мудро. Где не съесть кусок самой, а приберечь, где сэкономить для будущей посылки, потом с первой утренней электричкой отвезти на почту, где принимают посылки для зеков: в Люберцы, в Мытищи или еще куда-нибудь — и успеть обратно, на работу. Кто, кроме матери, способен из года в год, каждый месяц на такое?

За получением посылки Наде иногда приходилось стоять в очереди, и надзиратель, поворачивая ящик адресом к себе так, чтоб получатель не мог видеть, спрашивал: от кого посылка? Ответ был неизменный: от матери, иногда от сестры, но ни разу Надя не слышала, чтоб сказали: от мужа. Возможно, мужья тоже посылали женам, но так редко, что ей не встречалось, а скорее всего, они оказывались в лагерях раньше своих жен и чаще.

Наконец-то был выполнен приказ Горохова: хлеб возить на машине. Днем, когда Надя приготовилась идти за Ночкой на конюшню, за ней явилась дежурнячка по кличке «Васька», прозванная так за поразительно некрасивое, лишенное всякого подобия женственности, лицо.

— Иди, давай на вахту, зовут, — приказала она.

Для начала старший надзиратель Гусь распорядился обыскать Надю, а потом быком промычал:

— Машиной поедешь за хлебом.

«Тьфу, бестолочь!» — ругнулась про себя Надя.

— Чего же сразу не сказали? Ведомость взять, рукавицы, халат одеть надо. Хлеб ведь!

— Дуй, одевайся! — и лениво боднул головой на дверь.

Прежде, чем попасть за зону, Надю еще раз обыскала Васька.

— Охота тебе?

— Охота — неохота, приказ капитана Горохова! — злобно проворчала, сверкнув щелочками глаз, Васька. — А твое дело — помалкивай!

У вахты стоял обшарпанный, помятый грузовичок со знакомым хлебным ящиком. Но Надя к нему не подошла, а побежала на конюшню, где стояла одинокая и, как ей показалось, грустная, понурая Ночка. Она отдала ей кусок хлеба, густо посыпанный солью («Подарок от всех нас», — сказала Валя, отдавая Наде кусок), и поцеловала в мягкие теплые ноздри. «Кому теперь нужна несчастная старуха, загонит ее ЧОС на мясокомбинат».

Шофером грузовика оказался щуплый, разбитной парнишка, Надин ровесник или, может быть, чуть постарше. Едва разглядев свою попутчицу, он тут же нарушил приказ начальства: «не положено» вступать в разговоры с заключенными». Оживленно поблескивая прищуренными глазами и крепкими зубами, он спросил Надю:

— Дорогу знаешь?

— Знаю, не первый раз, — нехотя ответила Надя. Ей совсем не хотелось говорить. Надо было срочно придумать, как убедить ЧОСа оставить Ночку на всякий случай! С утра прочистили бульдозером дорогу, и грузовичок бойко подпрыгивал на уже образовавшихся ледяных надолбах.

Помолчав немного, парень опять заговорил.

— Когда концерт у вас?

— К ноябрьским, наверное.

— Петь будешь? Я приду. А хор ваш и пляски, два притопа — три прихлопа, не уважаю. У нас на селе любая девка так пляшет, а еще и почище.

Надя хотела было обидеться, но раздумала:

— Ты сам-то откуда?

— Я-то? Владимирский! — не без гордости ответил парень. — Город Владимир, слышала?

Надя кивнула:

— Знаю!

— Так вот там село есть — Ляхи.

Надя не сильна была в географии и знать не знала, что село Ляхи отстоит от Владимира на добрых двести километров.

— Красивое? — спросила она.

— Лучше быть не бывает! Река там Ока широченная, стерлядка водится.

— Чего же сбежал от такой благодати?

Парень насупился, посерьезнел, недобро покосился на Надю.

— А чего же? Мы в колхозе за палочки работаем! Вы вот жалитесь, кормят плохо, а мы такой хлеб, как вам дают, во сне видали!

Надя хотела сказать ему, что согласна была бы жить впроголодь, только чтоб на воле, если б к тому же лес был, река, яблони цвели, сирень…

— А лес у вас есть?

— А как же! — встрепенулся парень. — Леса-чудеса!

— Вот видишь! И сады есть?

— Сады-то у нас такие! — он закрутил головой. — Иной год яблони ломает от яблок!

— Здесь хоть бы осинку увидеть, — с сожалением сказала

Надя.

— Это конечно. Климат хуже не придумаешь! Ветры да пурги! Да я что? Надолго, что ли? Подзаработаю на домишко — и ялямс!

— Теперь разворачивай и подавай задом в ворота, к тому крыльцу, приехали!

В следующий раз, не успела Надя залезть в кабину, Валек, так звали паренька, положил ей на колени кулек с конфетами.

Надя, ни слова не говоря, тотчас сняла кулек с колен и положила обратно ему на сиденье.

— Чего так?

— Спасибо, не надо!

— Чего это ты?

— А так! У вас отношение к нам какое? Сегодня на колени конфеты положил, а завтра и руки положишь!

— Ты что? Окстись! Я от души! Угостить хотел, — покраснел Валек.

Очень обиделся тогда этот владимирский паренек, надулся, не разговаривал всю дорогу и из кабины не вышел помогать, как в прошлый раз.

«Зря я его так, может, он и правда от души, а я очерствела, как шмоналка», — пожалела Надя.

Погрузив хлеб, она захлопнула дверь кабины и, как ни в чем не бывало, спросила:

— А где мои конфеты? — и достала одну из кулька. Парень заерзал на сиденье и заметно повеселел. И, когда Надя захрустела «Раковой шейкой», сказал с довольным видом:

— Так-то лучше! Давно бы!

— Ладно, только в следующий раз не траться, копи на новую избу. И учти, подношения мне не окупаются!

Как же он улыбнулся тогда, этот губастый парень! Когда бы не уши, то вокруг головы такая улыбка. Не могла же серьезно рассердиться она на него за желанье сделать приятное хотя бы кульком «Раковых шеек».

Дни стояли все еще светлые, но с севера уже надвигалась полярная ночь. Еще одна Надина зима за полярным кругом. Река Воркута у берегов уже покрылась льдом, и только на быстрине середина чернела густыми чернилами. Вода казалась тяжелой. В России копали картошку, а Надин беспризорный участок зарастал бурьяном. Каждый вечер, когда заканчивая работу, Валя с Козой собирались в барак, — Надя начинала плакать, вспоминая мать.

— Ты, Надя, вместо того, чтоб плакать, когда ложишься, лучше помолись за упокой души ее — и тебе будет легче, поверь мне, старой!

В прежнее время Надя подняла бы на смех Козу, сказала бы

что-нибудь про «опиум для народа». Но теперь было другое. Чувство собственного бессилья и беспомощности заставляло просить милосердия свыше, у Всемогущего, Всесильного — не у людей. Поэтому она ответила:

— Я бы с радостью, не умею!

Слова, которым научила ее Коза, были непонятны — о царствии небесном, об упокоении души. Повторяла она их, мало понимая смысл, но, как ни странно, они приносили облегчение, успокаивали.

— Можете меня поздравить, я тоже получила посылку, — сказала Коза, когда Надя вернулась с хлебом. На полу стояли ненецкие сапожки-пимы.

— Откуда такая прелесть?! — воскликнула Надя.

— Подруга прислала, да, видно, мой номер успела забыть, малы мне, такое огорченье. Померяй, Надя!

Мохнатые оленьи пимы, расшитые разноцветными кусочками камуса, опушенные мехом песца, легкие и необычайно удобные, пришлись Наде впору, словно для нее были шиты.

— Чудо, какие, — сказала она и тут же вернула Козе.

— Нет, ты возьми их себе, мне они не годятся.

— Продайте! — посоветовала Валя, — можно обменять на продукты.

— Подарки не продают!

— Ну и не дарят! — заметила Надя.

— Прошу тебя, Надя, пожалуйста, возьми их, я же взяла шапку и кофту, которые прислали тебе! — резонно заметила Коза.

— Не могу и не просите! — наотрез отказалась Надя.

Неизвестно, сколько времени пререкалась Надя с Козой, пока не вмешалась Вольтраут.

— Удивляете вы меня, Надя! Я уверена, вы плохо учились в школе. У вас отвратительная черта отторгать все, что вам предлагается.

— Все, кроме любви, — пропела Надя и, поцеловав Козу в морщинистую щеку, взяла пимы. — Спасибо, Антоша, освобожусь, я этого не забуду!

На следующий день она нарочно долго постояла на порожке машины, разговаривая с Вальком, чтоб все видели, как ладно сидели пимы на ее стройных ногах. Ей казалось, что Клондайк обязательно должен видеть ее. На пекарне Мансур тут же заметил обновку.

— Купила?

— Подарили!

— Ну! Царский подарок! — одобрил Толян.

— В горторге такие двести рублей стоят, — сказал Фомка.

— А ты почем знаешь? — удивилась Надя.

— Зене Кате покупал.

«Интересно, где подруга Козы их отхватила, — подумала Надя. — Не в Воркуте же…»

Незадолго до ноябрьских праздников в зоне каждый год проводился «грандшмон», или, как еще назывался, «шмональный рейд». Это когда обыск проводился не в одном бараке, по стуку, а во всех одновременно. В этот раз в последних числах октября, сразу после утренней поверки, чуть не целый взвод приперся в зону. По три шмоналки и надзиратель пошли в каждый барак. Одновременно обыскать всю зону не представлялось возможным, потому что бараков 20, да еще различные службы: баня, хлеборезка, кипятилка, кухня — словом, всего полно. Надзиратель или офицер вставал в дверях и никого не выпускал на улицу, чтоб никто не прорвался в чужой барак, не предупредил зечек о шмоне или, не дай Бог, не успел вынести и спрятать не положенные — письмо, деньги, нож, наконец, или спирт. Насмешницы-почикайки толпились в дверях, уверяя надзирателя, что страдают животом или недержанием мочи, причем если он выпускал по одной, то она тут же возвращалась к двери обратно и канючила:

— Ой-ой, гражданин начальник, не можу бильш! Вид тяжкой праци завелась разруха в сраци!

В то утро Надя долго прождала своих помощниц и, заподозрив неладное, побежала в барак, где проживала Коза. Распахнув дверь, она увидела Клондайка. Он стоял спиной к ней и разговаривал с надзирателем по прозвищу Козел (зечки, увидев его на разводе, пели ему: «Жил-был у дедушки старенький козлик»).

— Куда! — рявкнул на Надю Козел.

— Нельзя туда, обыск! — тихо сказал ей Клондайк.

— Мне Смирнова нужна, в хлеборезку! — сказала Надя и, слегка отстранив Клондайка, заглянула в барак.

На верхнем сплошняке прямо в сапогах стояли на коленях две шмоналки и потрошили нехитрые узелки зечек. Третья лазила внизу между нар, заглядывая под сплошняк. Бес немедленно оседлал плечо: «Не молчи!»

— Хоть бы сапоги сняли, в постелях ведь ковыряетесь, люди там спят! — на весь барак крикнула Надя.

Бригада зечек с ночной смены, согнанная в сторону на время шмона, услыхав Надю, заволновалась, отпуская недвусмысленные реплики в адрес шмоналок.

— Что она себе позволяет! — завопила с верхних нар

шмоналка.

— Прошу вас уйти, — строго приказал Наде Клондайк.

— Смирнова на работу нужна, — повторила Надя.

— Вызовите Смирнову, — приказал Козлу Клондайк.

— Что же вы не скажете, чтоб в сапогах по постелям не лазили, гражданин начальник, для вас это норма? Так положено?! — набросилась на Клондайка Надя.

Клондайк молча взял Надю за плечи и осторожно выставил за дверь. Около хлеборезки ее догнала Коза.

— Ты что, в самом деле, Надя, на рожон прешь!

Надя злобно молчала, полная гнева и обиды. Ей было мучительно стыдно за себя, что не могла вырвать с корнем свою любовь из своего сердца.

«Пес, охранник!». — «Да не тужься, увязла глубоко!» — язвил бес.

Ночью, она знала, непременно придет объясняться Клондайк, будь хоть сам опер на дежурстве. Гнев ее не утих, а даже, наоборот, разжигаемый бесом, бушевал, как огонь в горниле.

— Не устали, гражданин начальник, исподнее у женщин трясти? — встретила его Надя, едва он закрыл за собой дверь.

— Наверное, сперва нужно поздороваться, а потом поговорить не проявляя необузданного нрава, — подчеркнуто вежливо сказал Клондайк.

— А можно ли спокойно смотреть, зная, как нашим зечкам трудно достается чистота? Они работают без выходных, по вечерам вместо отдыха и сна бегут в прачечную постирать свое бельишко, а вы стоите и равнодушно смотрите, как ваши шмоналки ерзают грязными сапогами по их подушкам и постелям?

Кровь бросилась в лицо Клондайку. Щеки его и уши мгновенно покраснели, он явно смутился.

— По этому поводу уже есть указание майора: сапоги и валенки, а также обувь будут снимать.

— Я понимаю, что работа у вас такая неблагодарная, не ведь вы сами сказали: человеком можно оставаться везде.

Клондайк не прошел, как обычно, в хлеборезку, а стоял в дверях и только снял шапку и мял ее в руках, светлый, в своем светлом полушубке, слегка сконфуженный и совсем не грозный начальник режима. Взгляд его был сердитым и ласковым одновременно, каким он один умел смотреть. Сердце Надино дрогнуло и начало таять.

— Я рад, что ты наконец поняла это. Но у меня не было возможности выбора, я был так же мобилизован, как и ты! Но вот сейчас у меня появилась такая возможность перевестись в город,

в Главное управление, и я дал согласие.

Такого удара Надя не ожидала. Вся неприязнь ее мгновенно улетучилась, и, не зная, что сказать, она стояла ошеломленная.

— Но дело не в этом, — продолжал Клондайк. — Я вижу, как ты начинаешь ненавидеть меня, завидев в зоне, на работе, и я отлично понимаю тебя, наверное, на твоем месте я чувствовал себя так же. Но я не хочу раздражать тебя, поверь, мне это больно. Поэтому я и принял решение уехать на работу в город, — мягко закончил он.

— Что же вы будете делать в городе? Там ведь зечек не держат?

— Попытаюсь обойтись. Зато тебе будет спокойно не видеть меня начальником режима.

— Спасибо за заботу! Счастливого пути! — быстро сказала Надя и отвернулась к окну, хотя на улице было темно и смотреть нечего. Ей нужно было срочно скрыть слезы, которые, как на зло полились ручьями. Она знала, что стоит ей сказать: «Не уезжай, мой любимый», — и он никуда не поедет, но она не могла произнести этого. Не могла зечка Михайлова, переступив через свою гордость, просить начальника режима. Клондайк понял ее, как, впрочем, они отлично понимали друг друга, потому что, несмотря на внешнюю несхожесть, бытовую разницу и противоположные характеры, в жизни руководствовались одними принципами: доброта и милосердие к людям. Все понять, все простить.

Очевидно, что не только Надя, но и весь оперчекистский отдел вместе с Гороховым понимали, что начальник режима старший лейтенант Тарасов человек случайный в системе Гулага и ему там не место.

Он подошел и обнял ее за вздрагивающие плечи.

— Ну, зачем ты так? Ты же любишь меня, я знаю!

— Какое тебе дело до моей любви и до меня вообще!

— Что ты говоришь! Прошу тебя, успокойся! Я понимаю, что на тебя навалилось тяжелое бремя. Нервы сдали. Но это временно. Пройдет! Возьми себя в руки, не мучай себя и меня заодно.

От его слов, таких теплых и дружественных, Надя почувствовала себя глубоко несчастной, обиженной несправедливой судьбой. Ее совсем развезло, и она судорожно шарила у себя по карманам в поисках носового платка.

— Платок не ищи, ты их не держишь. Вот, возьми мой, — с доброй насмешкой сказал Клондайк, целуя ее в мокрую щеку.

— Нет, нельзя, чтоб ты уезжал, я просто не смогу жить, не видя тебя, — не выдержала наконец Надя.

— Почему? Мы будем видеться, ты будешь приходить ко мне в гости!

— Но ты же в город уедешь!

— Только работать. Квартиры мне пока не обещают. Кстати пропуск твой кончается, продли, а лучше попроси ЧОСа, пусть зайдет к нам, мы заменим.

— И когда ты уедешь? — тяжело вздохнув, спросила Надя.

— С двадцатого ноября мне приступать к работе.

— Горохов, мразь, устроил! — мрачно произнесла она.

— Никакого отношения! — поспешил заверить ее Клондайк. Потом живо добавил: — Он, правда, нажаловался косвенно на меня, когда прислали лейтенанта Арутюнова. Сказал: «Запустил козлов в огород капусту стеречь!»

— Вот свинья! — рассмеялась Надя. Уж очень верным показалось ей определение опера: и точно, когда эти двое молодых красавцев по зоне расхаживали, не одно девичье сердце начинало учащенно биться.

— Тебе тоже скоро предстоит хлеб с города возить. Пекарня ваша закрывается не то на ремонт, а может, и вообще…

— Господи! — взмолилась Надя. — Да сколько же мне еще здесь сидеть! Я уже не могу больше ждать, я выдохлась, иногда мне хочется биться головой о стену! Боюсь, стена развалится, не выдержит.

— Побейся об меня, я выдержу! — с доброй иронией прошептал ей Клондайк, привлекая к себе, и долго не отпускал от себя, покрывая ее лицо легкими, нежными поцелуями, пока она не затихла и не перестала плакать.

— Почему ты захотел обязательно в город из-за меня?

— И из-за тебя тоже! Но в основном потому, что, как ты говоришь, «перебор». Шахты волнуются, и это как лесной пожар. Вчера «Пятьсот первая стройка», Лабытнанги, Салехард, Вожеель и Известковый, а завтра перекинется на все шахты. Люди выйдут из повиновения, и меня пошлют стрелять в них!

— Ну и стреляй, стреляй в меня первую! Ты же учился для этого, готовили тебя «работать с заключенными»! — язвительно и резко произнесла Надя.

— Нет! К этому я не готов, да и не буду никогда! Одно дело дисциплина и режим, совсем другое — стрелять в безоружных людей за то, что протестуют против нечеловеческих условий! Это разное! — сердито сказал Клондайк и направился к двери, но не дошел, а опять вернулся к Наде. — Понимаешь, я пока не могу уйти из этой системы. Мне учиться надо, я и так потерял массу времени, — с сожалением сказал он, глядя куда-то поверх ее головы. — Торопиться надо выплывать отсюда, «на простор

речной волны» иначе тут пожизненно застрять можно, сопьешься с тоски!

— А ты хочешь как Стеньки Разина челны, на стрежень?

— Да, именно! Пока они всю интеллигенцию не пересажали К тому идет!

Надя хотела спросить его, кто это «они», но не осмелилась, такое суровое и чужое лицо было у Клондайка.

— Ты ведь придешь послушать наш концерт седьмого? — спросила Надя, разглаживая пальцем его нахмуренную бровь. Клондайк поймал губами ее палец.

— Обязательно! И седьмого, и всегда, когда ты будешь петь.

На крыльце послышались торопливые шаги, и Надя поспешно отдернула руку. В дверь торопливо вошел опер Арутюнов. Кивнув Наде головой, отвечая на ее приветствие, он, ни слова не говоря, указал глазами на дверь Клондайку, и оба поспешно вышли.

Все же Надя измыслила, как сделать, чтоб ЧОС оставил Ночку в покое и иногда с Клондайком на конюшне пообниматься. План был прост и доступен, как все истинно великое.

Через несколько дней после первой своей поездки с Вальком она спросила его:

— Ты что же, так без выходных и ишачишь?

— Приходится, хлеб-то вы едите каждый день, — недовольно пробурчал он.

— Чего же ты сравниваешь? Мы зечки, нам и положено каждый день вкалывать, а ты вольный казак, шофер с правами, таких тут раз-два и обчелся! Требуй себе выходной!

— Что же вы, хлеба есть не будете в выходной? — попытался состроить Валек. — Бригады работают, хлеб запросят!

— Ну и что же? — невозмутимо ответила Надя. — Жили без тебя, не вымерли, как мамонты, и день обойдемся!

— Как это? — заинтересовался Валек.

— А так! Я могу в твой выходной на лошади съездить, не развалюсь. Четыре года бессменно ездила.

Валек просиял и оживился:

— Это было бы куда, как хорошо! Я из-за вашего хлеба в город не могу съездить, с ребятами своими повидаться!

— Вот и требуй себе выходной. Стучи кулаком, угрожай расчетом. Шоферов нет, никуда не денутся, уступят! — подзадоривала его Надя.

— Это ты мне мыслишку дельную подкинула, магарыч с меня будет!

Дня через два зашел ЧОС.

— Ты, Михайлова, по воскресеньям опять лошадь бери за хлебом.

— Это с какой радости? — притворилась возмущенной Надя.

— А ни с какой! Делай, как приказал! Зачеты получаешь за работу!

— Да что случилось, почему?

— Почему, почему, по кочану! Шофер твой разбухтелся. Положено выходной, говорит, и все тут.

— Ладно! — смиренно сказала Надя. — Только сани мне подготовьте. — А сама рада-радехонька. Мимо Клондайковых окон в новых пимах как приятно прогуляться!

В первое же воскресенье Надя отвела Ночку на конюшню, а следом пришел гражданин начальник режима.

— Ты что? Опять на лошади? — обрадовано спросил он.

— Только по выходным, когда ты дома и можешь слегка обнять меня, — сказала Надя, но и огорчилась, когда Клондайк равнодушно скользнул взглядом по ее ногам в роскошных пимах.

Кому пришлось встретить новый, 1953, год на Воркуте, наверное, запомнили удивительную зиму. За все время декабря 52-го января 53-го морозы не опускались ниже -30 °. Зечки горевали, что не было актированных дней, приходилось «вкалывать» без отдыха. Даже в Крещенье было сравнительно тепло. Ждали, что скажет метельный февраль, самый пуржистый месяц в Заполярье. Поговаривали, что климат Воркуты заметно изменился в связи с бесчисленными терриконами, что выросли, как грибы, по всей округе, некоторые из них горели гигантскими факелами, освещая по ночам тундру. Они-то, якобы, и задерживали холодные ветры с Ледовитого океана. Наде Новый 1953 год запомнился, как один из самых светлых и веселых дней, проведенных на Воркуте. В последнюю ночь декабря дежурил новый опер, «веселый армяшка» Арутюнов и Павиан. Павиан, уже не стесняясь, в открытую, навещал свою паненку. Горохов писал на него рапорты о «недостойном поведении», а Павиан, когда был вызван «наверх», сказал, что польская пани — его осведомительница. Опер; ничего не мог больше предпринять, как выгнать паненку на общие работы. Павиан быстро договорился с прорабом объекта, вольняшкой Пушковым — и прекрасная панн стала работать истопником в прорабской. Иногда, возвращаясь после репетиции, Надя видела, как из кабинета режимников выходила пани с заметным утолщением за пазухой. Оперу регулярно доносили, но что он мог поделать? Чины у них с Павианом одинаковые, оба капитаны. Попробуй поймай! Дверь у Павиана заперта, а что он делает там с пани? Бог весть! Читает ее донос или ласкает ее атласные, округлые коленки. Попробуй докажи! Но с опером шутки плохи, и судьба паненки уже была предрешена. Первый же этап — и прощай, Павиан! Однако

пополнения не приходили, а значит, и дальних этапов не предвиделось. Черный Ужас был в отпуске, где-то далеко в санатории лечил свою больную печень. Опер Горохов болел (говорили, что молитвами зечек). На вахте дежурил полупьяный Козел. Не иначе, как со злым умыслом, Козла угостили с утра, потому что, когда Надя спросила у него свой пропуск, он послал ее матом, она засмеялась и не обиделась. Чего обижаться на дураков, тем более на пьяных. Валек попросил Надю отпустить его на 31-е декабря. Где-то в гостинице «Север», в ресторане, с компанией своих друзей он тоже встречал Новый год. Надя пошла на конюшню пораньше, надеясь, что хоть в этот день пекарня не подведет с хлебом. И верно, хлеб был готов, и вдобавок Надя получила кучу подарков от Фомки, от Мансура, и даже Толян, не имея ничего за душой, подарил Наде очень красивый крестик, сделанный из ручки зубной щетки, темно-алый, как кровь.

— Носи на шелковой нитке — на счастье, — сказал Толян, и Надя подставила ему щеку вместе с благодарностью.

После второй ездки она еще забежала в магазинчик и на последние остатки денег купила за восемь рублей банку крабов для Козы и сыр для Вали, а себе триста граммов душистой колбасы. Выходя из конюшни, она увидела Клондайка, он спешил ей навстречу. Остановиться и поговорить им было нельзя, и, поравнявшись, она быстро спросила:

— Придешь на концерт?

— Обязательно постараюсь!

Клондайк уже больше месяца работал в городе и возвращался не с 5-ти часовым автобусом, как надеялся, а с 7-ми. Работы было очень много, как он сказал Наде, когда она спросила, чем он там занимается.

— Много? А чего делаешь? Бумажки перекладываешь или чернильные точки пускаешь?

— Да вроде этого! — отговорился Клондайк.

Пользуясь случаем, что вахтер, не имея четких указаний по режиму, пропускал всех без разбору на концерт, вечером пришло столько вольняшек, что зечкам пришлось сидеть рядом с ними на одних скамейках, что было вовсе «не положено», а жены бросали рассерженные взгляды на крепостных красавиц (тщательно отмытых и принаряженных, хоть и с номерами), негодуя, почему зечкам разрешали красить губы. Мымра из казенных денег КВЧ купила Наде для сцены материал на платье: самую дешевую ткань, какую ей позволял ее вкус и понятие о торжественном туалете. Корсетный атлас, видимо, предназначался для пошива бюстгальтеров, но Мымру прельстил цвет: ярко-розовый.

— Какой ужас! — расстроилась Надя.

— Ничего другого не было, — уверенно врала Мымра.

— Я же просила что-нибудь темное…

— Не было темного! Зачем тебе темное? — внезапно рассердилась Мымра. — И так, как кошка драная, а в темном совсем глиста будешь.

— Что вы! У Нади прекрасная фигура, — возразила Наташа и, желая утешить Надю, сказала: — Знаешь, атлас недурно выглядит со сцены… конечно, цвет сомнительный, но под ярким освещением он потеряется!

— Цвет ужасный! — не унималась Надя.

— Цвет, по-моему, очень шикарный и пойдет тебе! Правда? — обратилась Мымра к Елизавете Людвиговне.

Маевская наморщила лоб, что всегда служило предзнаменованием: она приготовилась сказать очередную хохму.

— Чудо! Цвет редкой красоты! В переводе с французского этот цвет носит название «цвет бедра испуганного поросенка», прошу не путать с другим оттенком, известным под названием «цвет бедра испуганной нимфы», что был в моде в начале прошлого столетия.

Когда же платье было готово и Надя надела его на генеральную репетицию, все бросились утешать ее.

— Это уже не поросенок, а кое-что! — сказала Елизавета Людвиговна. — Почти Ренуар.

— А знаешь, Надя, неплохо! Я думала, будет хуже, и идет тебе, — утешила Наташа.

— Замечательно! Я же говорила! — восторгалась Мымра.

— Чего замечательного? Молодит меня что ли?

— И молодит тоже, поскольку цвет для бэби, — сказала Алла.

— Срочно нужны цветы, и все будет в порядке, — посоветовала Наташа.

И опять выручила немка «из гардероба Евы Браун». За одну ночь были выкрашены старые дамские шелковые трусики, и Аннелизе смастерила золотую хризантему величиной с чайное блюдце. Медсестра Дуся одолжила «жемчужное» ожерелье. Из мыла и черного гуталина с сажей получилась неплохая тушь для ресниц, и Надя с удовольствием намазала свои ресницы. Елизавета Людвиговна, оглядев ее перед выходом на сцену, сказала:

— Как в лучших домах Парижа и Жмеринки. На такие ресницы можно поддеть не одного, а сразу двоих мужчин!

В первом отделении был веселый водевиль с Аллочкой Пироговой. Во втором Таня читала стихотворение, какое Надя не слышала, потому что в последний момент Мымра принесла «бриллиантовую» диадему из театра напрокат, и все были заняты,

водружая ее на Надину голову. В этот раз она выбрала Булахова, веселый и радостный романс, и, когда она вышла на сцену в своем платье цвета «бедра испуганного поросенка», Павиан неприлично громко захлопал, а за ним и остальные.

«И нет в мире очей и темней и нежней, чем его», — запела она, игриво и томно поглядывая на Павиана. А в последнем куплете: «Мне его не любить, мне его позабыть, никогда…» — Павиан млел и улыбался и первым захлопал. После концерта Наташа задернула занавес — и, кто хотел, полез на сцену потанцевать. Надя танцевать совсем не умела, но в длинном платье ног не было видно и она тоже повертелась с Наташей.

— Танцевать ты не умеешь, — сказала Наташа? — я тебя обязательно научу. Уметь танцевать вальс и танго так же необходимо для каждой культурной девушки, как знание иностранных языков!

И когда Надя засмеялась, Наташа сказала:

— Это не мои слова! Когда я работала в труппе Дудко, он всегда говорил нам и сам выучил меня.

Павиан, «Веселый армяшка» — опер Арутюнов и Клондайк тоже пришли на сцену вроде как следить за порядком, а на самом деле посмотреть нарядных, красивых зечек.

— Поп — в гости, черти на погосте, — громко сказала, увидев их, Маевская.

Но они даже ухом не повели и продолжали пялить глаза на танцующих. «Какая немудрая голова собрала в один Речлаг столько молодых, красивых зечек, надеясь, что страхом можно удержать их охрану от соблазнов — подумала Надя, заметив, как совсем «не положено» светились весельем глаза у начальников. — Они и не думают сейчас о том, что перед ними «враги народа», а только молодые, красивые женщины. Им и самим бы сейчас потанцевать, да не положено!» Однако когда она узнала, сколько времени, подхватила подол платья — и бегом в хлеборезку. С виноватым видом прошмыгнула в комнатуху и, быстро сбросив «поросячий визг» (Так Валя назвала ее платье), переоделась в свою единственную юбку и кофту. На счастье, ни Валя, ни Коза не рассердились на нее, а ждали с накрытым столом. Чай был заварен, и яства разложены на аккуратно вырезанные из бумаги салфетки.

— Эх, жаль, вина не купили, — сказала Валя.

— Какое тебе вино, денег и так едва хватило, уж жди, на воле выпьем.

Только принялись жевать, как явились начальники: Павиан, Веселый армяшка и Клондайк.

— Сидите, сидите, — милостиво разрешил Павиан. — С

Новым годом вас! — поздравил он всех.

Веселый армяшка подошел к Наде.

— Мне сказали, вы у Гнесиных учились?

— Да, — ответила, смело соврав, Надя.

— Я тоже там начинал, в музыкальной школе. Вы с какого года?

— С тридцатого.

— А я с двадцать восьмого, — сказал Веселый армяшка.

Клондайку, видимо, не понравилось такое панибратство, и он поспешил открыть дверь, приглашая на выход.

— Вы заприте дверь, — приказал Павиан, и все двинулись наружу.

Надя пошла накинуть крючок и задвинуть щеколду, а в тамбуре ее схватил Клондайк и расцеловал в оба глаза.

— Ты как двуликий Янус, обалдеть можно!

— Какой тебе больше нравится?

— Оба, оба! Одного люблю, другого обожаю.

Надя, боясь простудиться в тамбуре, быстро вытолкала его за дверь.

— Надя! Что с вашими глазами? — в ужасе спросила Валя.

— А что? — Надя взглянула в зеркало и обомлела. Ресницы на ее глазах были слеплены и размазаны. Она бросилась к умывальнику и постаралась ликвидировать остатки туши. Но не тут-то было. Пришлось отмывать горячей водой, и все равно темные круги еще долго оставались под глазами.

— Когда красишь ресницы, надо не забывать о них ни на минуту, а уж тем более не разрешать целовать глаза, — не без ехидства заметила Валя.

«Тушь» Надя тут же кинула в печку.

Первый январский день ей запомнился пригожим. Валек с ресторанных торжеств лежал в лежку не в силах поднять головы и прислал солдата сказать, что машина испортилась, он будет ее ремонтировать. Надя сразу догадалась.

— Что? Вместо бензина спирт залили?

— Видно, что залил!

Пришлось опять идти запрягать Ночку. На обратном пути, недалеко от пекарни, ее встретил невеселый и усталый Клондайк.

— Что с тобой?

— Черт меня попутал выпить вчера с капитаном. Анатолий домой пошел к жене, а мы, как два холостяка, незаметно бутылку усидели.

— Какой же он холостяк, у него жена!

— Давно в Смоленск отправил, домой.

— Ну, чего теперь? Голова болит? — спросила Надя.

— Теперь уже лучше, а с утра голову повернуть не мог.

— Не умеешь пить, не переводи добро, — резонно посоветовала Надя.

Дорогу перед Новым годом не чистили, но снегу было немного, и они шли, болтая о всякой ерунде. Клондайк сказал, что уже выбрал две темы для будущего диплома, а Надя заявила, что к Гнесиным не пойдет, а будет стараться попасть в консерваторию, и мечта ее вовсе не Кармен, а Марфа из «Хованщины» и Флория Тоска.

— Ты будешь в Ленинграде, обязательно послушай эти оперы!

Клондайк, как всегда, ответил: «Вместе послушаем!»

— Смотри-ка! — остановилась Надя. Внезапно звезды померкли, стало бархатно-темно. Миг — и все вокруг преобразилось. Словно кто-то там, наверху развернул во всю небесную ширь разноцветное покрывало, сотканное из миллионов цветных иголок, и колышет его по небу, ни секунды не оставляя в покое, меняет местами цвета — от фиолетового пурпура до изумрудной зелени.

— Это ведь северное сияние! — догадалась Надя, и оба замерли на месте, как зачарованные. Даже Ночка остановилась.

— У тебя искры из глаз сыплются! — вскрикнула она, взглянув на Клондайка.

В его светлых глазах отражались все цветные переливы неба, оттого они казалось, светились разными огнями.

— У тебя тоже! — сказал Клондайк. — В такую ночь надо, как язычники, молиться на чудеса природы.

На следующий день Надя сказала Вальку:

— Спасибо, Валек, что опился, как поросенок. Я с Ночкой ездила и такое видела!

— Чего?

— Северное сиянье! Первый раз за все годы!

— Да! — пожалел Валек. — А я не видел никогда!

Напрасно думалось Наде, что с появлением машины у нее будет больше свободного времени. Старый газик постоянно ломался и вставал в самых непредвиденных местах, угрожая заморозить хлеб. Валек измучился с бесконечными ремонтами. Старик был капризен и прихотлив, как всякая старость. Постоянно приходилось ждать его под вахтой. Первое время Надя злилась и ругала шофера за опоздание, потом смирилась, как с неизбежным злом, и только просила, когда дежурили «человеческие» вахтеры, вызывать ее из хлеборезки.

Настоящая зима пришла в последних числах января. Два дня не прекращался снегопад, и хлеборезкам приходилось трудно.

Дорогу к домику расчищали два раза в день, широко, для проезда машины. Спасибо Валек помогал. Надя приезжала усталая и злая. Бранила всех прокуроров, судей и адвокатов. В зоне ей встретился новый начальник режима. Хмурое и недоброе лицо, настороженный взгляд. «И откуда только выкапывают таких». Павиан вот уже больше недели тому был отправлен на 1-ю капитальную, Горохов, вернувшись после болезни в зону, сразу навел порядок. «Хоть и жаль Клондайка, но вовремя он убрался отсюда», — порадовалась за него Надя. Однажды она вернулась с пекарни измученная и голодная. Машина забуксовала в снегу, пришлось откапывать, она хотела есть и согреться, не испытывая больше никаких чувств. Но уже с порога ей послышались возбужденные возгласы Вали. «Опять перепалка Вали с Козой», — решила она.

— А я говорю, стерва эта Тимошук, не дала хорошим врачам вылечить ваше правительство хоть стрихнином! — подбоченясь с тряпкой в руках, ораторствовала Валя.

— Вы же не любите евреев, а там их большая часть, если не все…

— Уважаю! Если это правда, что они затеяли, я готова простить им Христа!

— В чем дело? — спросила Надя и пошла переодеться.

— По радио передали указ о награждении Лидии Тимошук орденом Ленина за раскрытие заговора врачей Кремлевской больницы.

— Ну и что? А тебе-то что за дело?

— А я говорю, стерва, доносчица, не дала вылечить членов правительства и «дорогого друга заключенных»!

— Но они же признали себя виновными! Сознались! — попробовала возвразить Коза.

— А вы! Вы — не признались? А кто не признался? Да и какое имеет значение? Признался, не признался. Нужно убрать кого-то, и все!

— Я представляю, как им досталось это признание… Били, наверное, — понизив голос до шепота, сказала Коза. — По себе знаю!

— Девушки! Закруглили беседу! Я хочу освободиться подчистую, а не как болтушка, — усмирила их Надя, а сама подумала:

«Что же это за люди такие вместе со Сталиным, если даже врачи-целители людских болезней ополчились на них?»

В воскресенье она встретила Клондайка и первым делом спросила про врачей.

— Не нужно тебе! Не лезь не в свое! — сказал Клондайк

строго, совсем как начальник режима.

Но Наде было важно узнать, а как он относится к разоблачениям «врагов».

— Опять космополиты? Боюсь, наш вождь не празднует "евреев, а?

— Наш вождь не празднует никого, и тебя в том числе.

— Любил бы ты меня! — возразила Надя, — а уж вождя нелюбовь постараюсь пережить.

На пекарне по поводу награждения Лидии Тимошук молчали. Но Надя все же спросила Мансура:

— Святое дело разоблачать врагов. Один донос — и орден, и почет. Не хочешь разоблачить кого-нибудь?

Мансур посмотрел на нее неодобрительно и хмуро. Лопата, которой он высаживал из печи хлеб, замерла в его руке.

— Я бы этих врачей сам передушил!

— За что же?

— За то! Зачем сознались!

— А ты веришь, что они…

— Конечно, нет! Очередная провокация! — и вдруг улыбнулся широко и весело. — Наш старый маразматик отроду был трус, а теперь, пересажав столько народу, со страху с ума сходит!

В начале марта небо расчистилось от туч и из-за гор выпрыгнуло солнце. Опять заслезились глаза и начался повальный конъюнктивит. С наступлением темноты Надя начинала плохо видеть. В санчасти ей дали розовые круглые шарики — витамины «С». Но больных было много, а витаминов мало.

— Это «куриная слепота» — определила Коза. Авитаминоз.

— Безобразие и свинство с твоей стороны, что ты не хочешь моей помощи. — Рассерженно сказал Клондайк, встретив ее.

Надя повернулась к нему спиной, не желая слушать, стеганула лошадь и поехала на пекарню.

— Ну в чем дело, — спросил, догнав ее, Клондайк.

— Никогда не смей на меня повышать голос! Иначе ты для меня будешь только начальник режима! — с глазами, полными слез, проговорила Надя.

Клондайк, рискуя быть увиденным, пошел с ней рядом. Никогда еще ему не приходилось преодолевать такое сопротивление.

— Надя, ты жестокая! Подумай сама, каково мне видеть, что ты таешь с каждым днем, ты ослабнешь и потеряешь голос!

— Не растаю, другие уже по десятке отсидели, не растаяли. Счастливо оставаться! — сказала она и тронула вожжей Ночку.

«БЕЗЫМЯНКА» — ОЛП ЗАГАДОЧНЫЙ!

На следующий день Валек приехал вовремя, и они отправились за хлебом в надежде пораньше освободиться, но на обратном пути у вахты ее остановил ЧОС. Ткнув в нее пальцем, он озабоченно сказал:

— Ты вот что, Михайлова, хлеб разгрузи и еще раз на пекарню съездишь, возьмешь хлеб для Безымянки, отвезешь им. Там возчик заболел. Завтра заменим, а сегодня давай, поезжай. Возьми накладные и трогай, а то они без хлеба останутся. На лошади поедешь. Машины туда не ходят. Да не мешкай, поторопись!

— Я и дороги туда не знаю, гражданин начальник! — попыталась отбиться Надя.

— Я сказал поторапливайся! — прикрикнул на нее ЧОС. — Видишь, ветер поднялся, пургу нагонит.

— Как туда ехать-то? — недоумевала огорченная Надя.

— Выедешь из конюшни, направо, через реку, дорога одна, накатанная. Мостом не езжай! По льду дорога хорошая до самой Безымянки. И хватит! Давай по-быстрому!

«Хорошо ему, давай! А я там сроду не была», — возмущалась про себя Надя, но понимала: ехать надо, никуда не денешься. Работяг без хлеба не оставишь. Три бригады, в среднем по 30 человек, да дневальные, повариха. Всего по ведомости сто десять человек.

— Тебе, Валя, с Козой одной хлеб резать. Меня на Безымянку гонят, — и, быстро выгрузив хлеб, опять поехала на пекарню за безымянским хлебом.

С Вальком быстро перегрузили ящик с хлебом на лошадь, и Надя отправилась в путь. Застоявшаяся Ночка, перебирая узловатыми ногами, потащилась было налево, к пекарне. Но Надя взяла ее под уздцы и свернула к речке, направо, по укатанной дороге, где уже, как по гигантской трубе, змеилась колючая поземка, предвестница пурги. Вдоль реки ветер крутил снежные вихри и дул с такой силой, что Надя стала опасаться, не опрокинуло бы с саней ящик с хлебом. Идти пришлось боком, высоко подняв воротник, подставляя спину.

— Как обратно пойдем? В лицо будет дуть, а, Ночка? — спросила Надя и еще больше надвинула платок на лоб. Впереди, через речку, замаячила канатная дорога, по которой скользили вагонетки. Пустые на Безымянку, а полные глины — в цех, на завод. Ветром их раскачивало из стороны в сторону, особенно пустые, и было удивительно, как они вообще не сорвутся вниз.

Завод и канатную линию строили пленные немцы. Строили надежно и добросовестно, вспомнилось Наде, что говорили в зоне.

Дальше дорога пошла в гору по крутому берегу реки, и, добравшись до верха, Надя увидела знакомые вышки и зону, окутанную рядами колючей проволоки. Вот она — таинственная Безымянка, куда ссылались самые отчаянные и проштрафившиеся зечки, каторжанки с чудовищными сроками и неугодные начальству. Работа там тоже каторжная, без хлеба таких не оставишь. Вагонетки убегали по подвесным рельсам в дощатый тоннель и скрывались из вида, чтоб потом вынырнуть на дне котлована, где копошились люди, нагружая вагонетки глиной. Затем, груженные доверху, они пускались в обратный путь, к кирпичному заводу. «Всего три барака, а вышки и вахта как в большом лагпункте, как будто можно бежать из этого ада», — с неприязнью подумала Надя. С вахты вышел знакомый дежурный Пятница.

— Что? Иль проштрафился, сюда попал? — поинтересовалась Надя.

Но Пятница не склонен был шутить, вид у него был угрюмый и озабоченный.

— Что приехала? — неприветливо спросил он.

— Хлеб привезла.

— А-а-а! — и пошел, важно, не торопясь, отпирать ворота. — Пропуск сдавай! — приказал.

«Что-то с ним? Сердитый какой!» — удивилась Надя. С кухни выбежали две зечки и быстро помогли разгрузить хлеб. С опаской взглянув на небо, она поспешила обратно, к вахте. За какой-то час пурга разыгралась во всю мощь. Снежные вихри заслонили солнце, стало совсем темно.

— Снизу звонили, день актируют, ветер, температуря минус тридцать семь. Видишь, вагонетки в ангар загнали, — сказал Пятница, когда Надя с трудом дотащила упирающуюся Ночку до вахты.

— Не могу я оставаться! — отчаянно закричала она. — Мне хлеб резать надо.

— Кто за тебя отвечать будет? Я? Ступай в барак! Откуда-то из-за печки вылез, зевая во весь рот, надзиратель.

— Что за шум? Не хочет в барак, проводим в бур.

— А лошадь куда? Тоже в бур? — не унималась Надя. — Пурга неделю продолжаться может, я тут застряну, весь ОЛП без хлеба будет.

— Сказал, не пущу, и все! Ступай!

— Незаменимых нет, глянь, что делается! — подтвердил

надзиратель, взглянув в окно.

В самом деле, за вахтой все кружилось, кипело, кувыркалось. Дороги и следа не было видно. Надя знала, что пререкаться и грубить Пятнице нельзя. От дерзости он зверел. Всю жизнь подвергаясь насмешкам за свою уродливую внешность, в чем совсем не был виноват, Пятница был крайне чувствителен к почтительному отношению и ласковым словам.

— Вы же добрый человек, я знаю, понимаете, люди с работы голодные придут и утром без хлеба пойдут опять, — завела свое Надя.

— Иди, иди, не разводи китацию (агитацию).

— Ступай в зону, тебе русским языком говорят, — теряя терпение, обозлился надзиратель.

— Нельзя идти, пропадешь! Кто петь будет? Завтра пурга кончится, пойдешь, я провожу, дежурство закончу.

«Вот тебе и свирепый Пятница! Два добрых слова — и уже не дикарь-людоед, а вроде даже человек. Натравливают их на зеков, как собак. Клондайк говорил, каждый месяц из города начальство приезжает проповедь читать, чтоб не вздумали охранники заключенных за людей принимать!» Еще припомнилось Наде, как однажды, в свое дежурство, Мымра зашла проверить хлеборезку и решила посмешить зечек, хоть и «не положено», рассказав им, что когда прислали нового опера, молодого лейтенанта Арутюнова — Веселого армяшку, он вздумал в гарнизоне конвоирам и надзирателям внушение сделать. Говорит: «У меня имеются сведения, что имело место сожительство с заключенными, забывая, что перед вами враги народа!» Вдруг, Пятница вскочил с места и говорит: «А мы их, товарищ лейтенант, и «то-то», как врагов!» Начальство и весь гарнизон с надзирателями, неделю ржали не переставая. Все знали, какой «успех» у зечек имел Пятница. Дня через три, когда Веселый армяшка мог без смеха смотреть на Пятницу, он вызвал его и, желая позабавиться, дружелюбно спросил:

— Сознайся, а которая твоя? Я никому не скажу! Не Калишевская случайно? Красавица! Ничего не скажешь!

Бедняга Пятница издевки не понял.

— Нет, — говорит, — эта и коленку голую нашему брату не покажет.

Насмешницы-почикайки, завидев Пятницу на разводе, кричали ему, издеваясь над маленьким уродцем:

— Ходи до мэне, мий коханий, мрия моя!

Едва Надя высунула голову из двери вахты и сразу задохнулась.

— Вот тебе раз!

С бесовским воем и ревом снег валил не с неба, а с разных сторон одновременно, сталкиваясь и свиваясь в громадные завихренья.

— Ну что я говорю? — выскочил следом Пятница. — Лошадь в галерею поставь, где вагонетки, там теплее, да распряги, сани-то не тащи!

— А есть ей что? Она ведь голодная!

— На кухне скажи, я приказал!

«Ишь! Он здесь за главного! Приказывает. А там, внизу, в зоне, его и за человека никто не считает. Пятница, и все».

Унылая, занесенная снегом лошадь понуро ждала своей участи. Окоченевшими руками Надя с большим трудом распрягла Ночку. В санях под ящиком валялась в сене старая попона, осмеянная ЧОСом.

«Как пригодилась!» — обрадовалась Надя. В дощатой галерее было тихо, а около рубки, где помещалось все управление канатной дороги, и совсем тихо. На кухне дородная хохлушка Ксюша Загорулько сразу прониклась участием к бедной скотине, дала ведро теплой воды. С кормом было сложнее. Хлеба не дашь — самим в обрез!

— Овсянку жрать будет? — спросила Ксюша.

— Овес любит, будет и овсянку, — заверила Надя.

Ксюша насыпала больше полведра овсянки, предназначенной для корма заключенным.

— Ругать не будут? Ничего?

— Кто? Я сама себе хозяйка, — пошутила Ксюша. — Делов куча! Кашу пожиже заведу, только и дела. Ты сама как?

— С утра! — ответила Надя.

Ксюша щедрой рукой наложила полную миску овсяной каши и обильно полила каким-то маслом. Туда же кинула кусок рыбы.

— Ешь!

Надя хотела было отказаться, но есть так хотелось, что протянула с благодарностью руку за миской. Помощница Ксюши, Степанида, подала кусок хлеба.

— С хлебом ешь, без хлеба не сытно, не наешься!

— Кто у вас хлеб развешивает?

— Двое, сейчас придут, а что?

— Давай я помогу, — предложила Надя. — Все равно до отбоя делать нечего.

— Сами управятся! Ты отдыхай, лучше скажи, как там, на главном?

Новостей оказалось немного, и те Ксюша знала.

Зечек с Безымянки иногда приводили в главную зону, на концерты, в баню или в санчасть больных. И тогда Надя,

рассматривая их, с удовольствием отмечала про себя, что они не производили впечатление доходяг, а многие были просто красивые. «Еще надеются на что-то!»

Закончив мытье котлов и пола, Ксюша сказала:

— Пошли в барак! Нас с девяти запирают.

В бараке было тепло и чисто, как, впрочем, и везде, где жили и хозяйничали украинки и западнячки.

— Располагайся! — показала Ксюша на нижние нары. — Тут Машка спит, она в кипятилке до утра работает, завтра только придет.

Зечки окружили Надю: интересно, что там, внизу? Как новый опер? Павиан? Горохов? И о знакомых. Не предвидится ли этап?

Маша Емчик из местных красавиц без обиняков и намеков прямо спросила:

— Слышно, к тебе Красавчик захаживает?

От такого вопроса у Нади даже нос покраснел.

— Ко мне каждый день по двое, по трое заходят, нас проверяют…

— Темни, темни!

— Будет тебе! — добродушно одернула ее Ксюша. — Лучше скажи, к Восьмому марта концерт готовите?

— Готовим! — охотно переменила скользкую тему Надя. — Ой, да кстати, кто знает песню «Ой, не свиты мисяченьку»?

— Да кто же не знает? Все.

— А ну, девчата, скажите слова, я ее на концерте спою.

В барак зашли две дежурнячки.

— Все дома? Барак запираем!

— Все, все!

— А что Михайлова здесь?

— Хлеб привезла, да начальник не пустил обратно.

— А вниз сообщили? А то там поверка не сойдется!

— Ксюша, скажи, а Ольга Шелобаева в каком бараке? — шепотом спросила Надя.

— На этап ушла, сразу после Нового года, — так же тихо ответила Ксюша, но шустрая Маша услышала:

— На Предшахтную! С приветом от генерала Деревянко!

Все засмеялись, далеко разнеслось по ОЛПам, как генерал девушке помог. Барак заперли, и все расползлись по нарам. Только в одном углу еще бренчала плохо настроенная гитара, а девушки пели:

Хлопци, пидемо,
Боротися будемо,
За Украину, за ридни права.

«С кем это они хотят бороться за Украину, когда война давно кончилась?» — недоумевала Надя.

— Эй, вы там, в углу! Кончайте свою бандеровщину разводить, а то в буре ночевать придется! — прикрикнула Ксюша.

Утром Надя проснулась и никак не могла сразу сообразить: где она? Все были на ногах и одеты, а дверь все не открывали.

— Забыли начальнички про нас!

— Надрались вчерась ради хорошей погоды! — сказала чернявая татарка Алмаса.

— Который час? — спросила Надя, — проспала?

— Да кто ж его знает? Подъема не было, радио три дня молчит, барак заперт, и на поверку не идут! — возмущалась Ксюша. — Когда завтрак готовить буду?

— Анчихристы бесовскую литургию правят! — пробормотала с верхних нар зечка в черном платье и таком же черном платке, надвинутом на самые глаза.

Надя узнала свою знакомую монашку, ту, что дала воды больной Космополитке.

— И вы здесь? — удивилась она. — Здравствуйте!

— Бог в помощь, где же мне еще-то уготовлено?

За дверью послышались мужские голоса и лязг отодвинутых затворов.

— Идут! — разбежались по местам зечки.

— Фарисеи и седуккеи порождения ехидны, — громко сообщила монашка.

В барак быстрыми шагами, не отряхнув снега с валенок, ввалились четверо начальников — Черный Ужас, опер Горохов, новый режимник, что прислан вместо Павиана, и старший надзиратель Гусь.

— Постройте заключенных! — приказал майор Гусю необычно тихо, несвойственным ему тоном. Было в его голосе и во всем поведении что-то такое, что сразу насторожило зечек. Все встали около своих нар, замерли в ожидании. Что-то будет?

— Заключенные! — обратился майор. Голос его задрожал, и он всхлипнул. Тут только Надя заметила, что на сизом, баклажанном носу майора, на самом кончике, повисла слеза, и он не вытирает ее. Все обомлели, затихли, не дышат: Черный Ужас плачет! Что случилось?!

— Заключенные! — еще раз повторил майор. — Нашу страну постигло страшное горе!

Стало так гробово-тихо, что слышно было, как снаружи разводящий менял вертухаев на вышках, окликая их. Зечки не

смели дыхнуть, притаились: ему горе — нам радость, только бы не война!

— Умер наш всеми любимый, родной отец товарищ Сталин!

— Слава Богу, преставился анчихрист, унесли нечистые сатану, — с радостью объявила, перекрестив себя широким крестом монашка.

Майор даже не взглянул на нее. Он вытирал глаза и сморкался, делая вид или действительно не замечая, как радостно загудели на разные голоса зечки.

— А-а-а, у-у-у, и-и-и, — неслось по бараку. Опер кидал огненные взгляды по сторонам, новый режимник изо всех сил старался изобразить лицом отчаяние и страданье. В конце барака, где вчера бренчала гитара и пели бандеровки, кто-то крикнул:

— Ура!..

У-у-у — опять прокатилось волной по бараку. Черный Ужас вихрем вылетел в дверь, вон из барака, за ним потрусили остальные.

Надя почувствовала что-то вроде жалости к майору, он показался ей в этот раз совсем не грозным и старым.

— Нашел, зверюга, у кого сочувствия искать, плакать в жилетку, — с негодованием сказала высокая дивчина, не то латышка, не то литовка.

— Ну уж и зверюга! — попробовала заступиться было Надя.

— Зверь, чистый зверь, — вернулась от дверей уже одетая Марыся. — Мы-то знаем, когда здесь немцы пленные были, канатку строили, их ссученные уголовники караулили, топили несчастных в котловане, в жидкой глине, лопатами забивали. А он все знал и морду отворачивал. А чем виноваты пленные?!

— Потому его к бабам и засунули, чтоб лютовал поменее, — поддакнула Валя Бутько.

— Душегуб настоящий, люди мерли здесь как мухи. Вон, за зоной, кладбище, одни бугорки, ни креста, ни надписи!

Вошла дежурнячка.

— Вы что, развода не слышите, быстро! — скомандовала она, но никто с места не тронулся.

— Мы не завтракали! Хлеб давай! — взбунтовались зечки.

— Вы думаете, ему Сталина жалко? Хренушки! Он о себе печется, знает, гад, что скоро без кормушки останется, — продолжала выкрикивать Марыся.

Надя спешно обувала валенки, все еще влажные со вчерашнего дня.

— Лагеря распустят, что жевать, гад, будет?

— До колхозу поедет, — весело смеялись украинки.

— Быкам хвосты вертеть, — вторили литовки.

Надя не разделяла общего веселья. Смерть Сталина потрясла ее до глубины души. Конечно, годы, проведенные в политическом лагере, не прошли для нее даром. Очень многое было переосмыслено, переоценено и понято. Многие тысячи километров колючей проволоки никак не говорили, что великая партия подвела к отрогам коммунизма, где до вершины рукой подать. И все же это был человек, сопровождавший ее всю жизнь. Его глаза следили за ней со всех газетных фотографий и журналов, портретов на стенах школы. С победным кличем «За Родину, за Сталина!» погибли, наверное, ее отец и брат. А лозунг: «Слава КПСС и ее вождю!» чуть не первые слова, которые научилась читать маленькая Надя.

Вольтраут с Козой прекрасно справились с хлебом одни, и еще успели помыть полы.

— Я пойду в барак, посплю немного, с ног валюсь от усталости, — сказала Валя, едва закончили завтрак. — Коза уже ушла, не стала вас дожидаться.

— Конечно, иди спи, отсыпайся! Я думала, вы тут с Козой пляшете от радости.

— С какой? — удивилась Валя.

— Вам что, не сообщили? Сталин умер!

— А… — равнодушно протянула Валя, — еще вчера вечером. Все древние большевички горькими слезами заливаются друг перед другом. Радости не вижу никакой. Свято место пусто не бывает, найдется и другой. Русские без хозяйской палки не могут. Еще не выветрилось крепостное право.

Вспомнилось Наде, как однажды сказала Дина Васильевна: «Терпелив и многострадален русский народ, но уж как поднимется! Не удержит никакая сила». Значит, не нашлось еще, кому поднять голос в защиту армии безвинных.

В день похорон, ровно в полдень, загудели все шахты, заводы, паровозы и все, что могло гудеть и свистеть. Небо над тундрой задрожало от рева.

— Как же так, где справедливость? — недоумевала, вытирая непрошеные слезы, Надя. — Умер деспот, искалечив и умертвив миллионы своих сограждан, а оставшиеся воздают ему царские почести, оплакивают преждевременную смерть старика?

Пользуясь всеобщим замешательством, в зону забежал Клондайк — и прямо в хлеборезку.

— Я на минуту, — сказал он, целуя Надю.

— Ищу следы слез и страданья в твоих глазах! Хочу тебя утешить, — с легкой иронией сказала обрадованная Надя.

— Утешимся очень скоро! — пообещал он и, чмокнув ее еще раз в щеку, побежал дальше.

НАЧАЛО КОНЦА БЕСОВСКОЙ ИМПЕРИИ РЕЧЛАГ

В первое время казалось, что ничего не изменилось со дня смерти Сталина. Все так же ходил по зоне, свесив сизый нос, быком Черный Ужас, торопливо кидал настороженные, хмурые взгляды опер Горохов, шныряли надзирательницы-шмоналки и вертелись на вышках вертухаи, но по радио уже заметно перестали оплакивать великого вождя. В ОЛП просочились слухи, что в день похорон передавили друг друга и затоптали более полутысячи ополоумевших людей.

— Как на Ходынке, — сказала грустно Коза, — тогда тоже много народу погибло.

— Кровавый хвост тащится за извергом до самой могилы, — добавила Валя.

Теперь Надя молчала, не обрывала сердито, как раньше, их разговоры, опасные и притягательно-интересные. Она уже познала на своем горьком опыте, что нескончаемые, как осенние тучи, шеренги голодных, усталых зеков — это не только руки даровых рабочих, но еще и головы ученых, певцов, музыкантов, художников, физиков, химиков, цвет советской интеллигенции, сливки общества, оставшиеся от повального геноцида со времен Великой революции.

Через неделю после похорон Надя случайно услышала по радио, что на пост Председателя Президиума Верховного Совета был избран Ворошилов. Пожилые и старые зечки оживились. Первый маршал страны, прославленный командир времен гражданской войны не мог остаться бесчувственным к бедам своих сподвижников. Опять Надя стала засовывать письма под сиденье машины, вывозя за зону в адрес Верховного Суда жалобы, прошения о пересмотре, о помиловании. Все Клименту Ефремовичу. Обнадеженные корреспонденты мнили себе, что письма, посланные через «волю», обязательно дойдут по назначению. Вечером в хлеборезку ввалились дежурняки проверять хлеб. Старший надзиратель Гусь и Шура Перфильева. Покидали, выбрав из лотков, пайки на весы и, не глядя, потопали обратно. В тамбуре Шура, пропустив вперед Гуся, шепнула Наде.

— Дневальная ваша в списке на этап!

— Коза! — вскрикнула от неожиданности Надя.

Поутру она с трудом дождалась прихода начальницы спецчасти.

— Откуда ты знаешь? — ответила вопросом на вопрос

Макака.

— Мне сказали! Она нам очень нужна. Мы без нее просто пропадем, — голосом, который мог разжалобить и крокодила, заплакала Надя. Но Макака была не крокодил, второе имя ее было Чекистка, поэтому строго сказала:

— Этапы назначаю не я, и отменить тоже не могу без уважительной причины. Иди к оперуполномоченному, он может, а я нет!

Вездесущая дневальная опера пристально, с подозрением посмотрела на Надю, спросила:

— Зачем он тебе?

Наде очень хотелось ответить ей дерзостью, как науськивал бес: скажи — какое твое собачье дело, такая-сякая, — но смолчала, сказала вежливо:

— По личному делу.

— Нет его, — важно подняв голову вверх, гордясь своей должностью, сказала дневальная.

— А когда будет?

— Партконференция у него сегодня в городе, — и захлопнула дверь.

Надя заметалась. Куда идти? Кого просить, чтобы оставили Козу?

— Попробуйте уговорить Горохову положит.» ее в санчасть. А мы ее крепким чаем напоим, устроим сердцебиение, — посоветовала Валя.

Быстро закончив с кашей «лагерные перлы» (перловка), Надя ринулась в санчасть. «Хоть бы не нарваться на обход», — с опаской думала она, входя в вонючий коридор больницы, где, как ей было известно, по утрам бывала главврач Горохова. Несколько зечек в больничных, линялых халатах стояли под одной из дверей палат.

— Скажите, где Горохова?

— Тут, — кивнула немолодая зечка на дверь.

— Давно начался обход? — опять спросила шепотом Надя.

— Какой, утренний? Давно закончился!

— А что ж она там? Надолго?

— Кто знает! Женщина умерла!

— Наша? Зечка?

— Сестра артистки Зои Федоровой. Знаешь такую?

— Конечно, знаю! А как она здесь очутилась? — с недоверием спросила Надя.

— Очень даже просто! — вмешалась высокая москвичка Рая. — Зою Федорову посадили, и сестру тоже.

— А заодно и мужа сестры, Николая Синицина. Он тут в

театре пел, — добавила немолодая.

— Господи! Уж и до них добрались! За что же всех?

— У Зои роман был с американцем, — ответила с охотой москвичка, ей, наверное, хотелось еще что-то сказать, поделиться, чего знала о Зое Федоровой, но больше ее никто не спрашивал, и. она умолкла. Наде, конечно, хотелось бы уточнить у москвички;, почему роман с русским мужчиной — это любовь, замужество, а с американцем— шпионаж, враждебные действия. Но было некогда. «Видно, главврача теперь не дождешься, может, Коза что-нибудь, придумает?»

Но Коза ничего не придумала. Им уже зачитали список, и она была в бараке, собирала вещи.

— Куда этап, вы знаете? — спросила огорченная Надя.

— Говорят, в Потьму, а там кто знает. — Коза тоже была расстроена, ей вовсе не хотелось уезжать с Воркуты, хотя Потьменские лесные лагеря с хорошим климатом, для зеков были намного легче, переносимее.

— Адрес свой пришлите. Там ведь не речлаг, может, и переписка не ограничена, — говорила Надя, помогая Козе увязывать небольшой узелок.

А в полдень все уже стояли с вещами около вахты. Среди этапниц Надя заметила Мери Краснову, много знакомых девушек и женщин из Прибалтики, немок и румынок.

— Похоже, вас, иностранок, с Воркуты убирают по неизвестным причинам, — сказала комендант Баглючка, сопровождающая этапников до вахты.

Надя обняла Козу и заплакала. Ей было очень жалко Антонину Козу, но утешало то, что в Мордовии старые, уже обжитые лагеря и интруд (больных и старых) не заставляют тяжело работать.

— Недолго нам шагать по этапам, скоро закончится их царствие. Вельзевул загнулся, а эти долго не протянут, — громко сказала Альдона при одобрительных возгласах зечек.

К Наде подошла Мери Краснова:

— Не плачь Надя, скоро увидимся, приедешь ко мне в Париж. Адрес помнишь? Париж, Пятнадцатый рандисман, улица Лурмель, дом шестнадцать.

С крыльца вахты спрыгнул Гусь с формулярами в руке. Рядом-с ним как из под земли вырос новый режимник, что вместо Павиана, зыркнул на Надю, но не прогнал, а мог: стоять около этапников строго запрещалось, «не положено».

— Проходи по одному. Статья, срок, год рождения… Давай, быстро, через вахту!

Надя повисла на шее у Козы.

— Будет уж, не с матерью родной! — зашипела Баглючка,

— Виновата я перед тобой, ты уж прости, — быстро зашептала Коза. — Пимы эти не мои были. Это Красюк тебе подарил.

— Давай проходи, — подтолкнула Козу Баглючка.

— С Богом, Надюша! Ты уверуй. Он тебе поможет! — уже с вахты крикнула Коза.

— Поможет, жди! — злобно усмехнулся Гусь.

Однако Надя отметила про себя, что грубый и резкий Гусь, обычно не церемонившийся с зечками, на этот раз был смирен и совсем не дерзок с этапницами. Не покрикивал, не подгонял. Неужели смерть «отца родного» пришибла его? Она была так расстроена уходом на этап Козы, что толком и рассердиться на Клондайка не могла. «Что ж теперь? Не отдавать же обратно, когда столько носила их. Не знала раньше и теперь не буду знать!»

Многие говорили, что со смертью Сталина ничего не изменилось. Но это было неверно. Изменились в первую очередь сами зеки. На сцене при всем честном народе Елизавета Людвиговна сказала:

— Черная и страшная скала свалилась в воду, круги от нее будут долго расходиться по воде, и чем дальше, тем слабее. Наберемся же терпенья!

И режим заметно ослабел. Уже вежливо отвечали на приветствие зечек Черный Ужас, опер и надзиратели. Случалось, что дежурнячки забывали запирать на ночь барак и многие зечки выходили за зону без номеров на юбках. Встречаясь за зоной с мужскими бригадами с 6-й шахты, зечки успевали перекинуться записками, а то и поговорить. Новостей много: шахты волнуются, кипят, требуют пересмотра дел. В конце марта, подъезжая к вахте, она увидала Клондайка. Делать ему там было нечего, и она поняла, что он ждал ее.

— Пропуск не сдавай, срочно выйди обратно, — сказал он, когда Надя спрыгнула с машины, пошла просить открыть ворота.

Пока вахтер открывал ворота и заглядывал в кузов, Надя старалась сообразить, зачем так срочно понадобилась Клондайку. Выгрузив лотки с хлебом, она отпустила Валька и пошла через вахту.

— Куда? — окликнула ее надзирательница Васька.

— На конюшню, рукавицы забыла! — быстро ответила Надя и, едва Васька приоткрыла дверь, прошмыгнула наружу.

Она и правда пошла на конюшню, где ее уже дожидался Клондайк.

— Указ об амнистии подписан вчера! — быстро проговорил

он, совершенно ошеломив Надю.

— А я? — испуганно спросила она.

— Идешь по двум пунктам: по статье и как малолетка. Пока в зоне не распространяйся, на днях объявят!

И приложился к Надиной щеке, пока она замерла, как пораженная громом.

Через неделю объявили официально. Да! Амнистия! Да, только кому? Из всего ОЛПа ей одной.

— Известно кому! Своим собратьям уголовникам, ворью, спекулянтам, бандитам. Родным и близким по духу! — открыто, не стесняясь в выражениях, ругались политические зечки.

Потом втихаря добавка: политическим тоже, до пяти лет.

— Да у кого же пять лет? Таких и сроков на ОЛПе нет!

Принимая поздравления, Надя чувствовала себя очень неловко — вроде бы освобождалась незаслуженно.

А еще через неделю она услышала по радио, что кремлевские врачи выпущены на свободу, как сразу и определил Мансур: «подлая провокация!»

После объявления ей амнистии пришлось съездить в город сфотографироваться на справку, но фотографии получились такие гадкие, что, не пожалев трех рублей, изорвала в мелкие клочки и выбросила. Наутро поехала сфотографироваться еще раз.

Затем ей выдали на руки деньги. Целую кучу денег.

— Откуда столько? Не ошиблись ли?

— Нет, тебе все время шли переводы, — сказала старший бухгалтер Нина Яценко.

— Это от Дины Васильевны, — догадалась Надя. — Дай ей Бог здоровья!

Теперь она совершенно свободно ходила по Кирпичному, заходила в магазин и даже заказала продавщице привезти себе платье 46-го размера, черное, крепдешиновое, в белый горошек. Продавщица быстро выполнила поручение — привезла не черное, а синее, в белый горох, что было гораздо красивее, с белым пикейным воротником. Дорогое, целых 460 рублей, но что поделаешь? Зато красиво! С великим удовольствием сняла старую юбчонку и одела крепдешиновый горох.

— Космы еще остригла бы, а то обросла, как туземка, — посоветовала Галка Козлова, местная парикмахерша.

Срок Галка получила потому, что в оккупации работала, немцев брила и стригла. Все зечки с оккупированных территорий говорили одно и то же: «Что же нам, с голоду подыхать было?

Надя недолго раздумывала:

— Стриги, Галка. Только не очень коротко! Галка одним

махом обкорнала Надину гриву.

— Иди теперь в баню, мой голову. Валя не одобрила Надину прическу.

— Нарядно, ничего не скажешь, но проще, дешевле! Длинные волосы — привилегия женщины, они придают лицу индивидуальность и женственность.

ЧОС уговорил Надю остаться работать до получения всех документов и обучать новенькую вольняшку из немецкого поселка «Берлин», что стоит, не доезжая километра два до города, и населен высланными из Поволжья немцами, «фольксдойч».

День после Первого мая был на редкость теплым и ясным! Отпустив «до завтра» Валька, она дошла до дому, где находились квартиры офицеров охраны. После праздников Клондайку была обещана квартира в городе, а пока он продолжал жить здесь.

«Что, если я зайду к нему? Совсем это неприлично или ничего, можно? Главное, нет никакого предлога, вот так свалиться как снег на голову! «Подумаешь, какие реверансы!» — сказал бес-искуситель. «А если у него гости? А вдруг женщина? Скажу ошиблась». — решила Надя и, потянув на себя дверь, зашла в длинный, неопрятный коридор. «Если крайнее окно на первом этаже его, — значит, комната в конце коридора направо», — быстро сообразила она и постучала в дверь.

— Открыто! — услышала она голос Клондайка и, помянув царя Давида, нажала ручку двери. Клондайк сидел за столом, заваленным бумагами и книгами, без кителя, с расстегнутым воротом сорочки. Домашний и очень уютный, как мальчишка-десятиклассник перед экзаменом. Таким его Надя не знала…

Увидев ее он быстро вскочил из-за стола.

— Ты? Не может быть! Глазам своим не верю! Неужели? Надя встала у порога, дожидаясь приглашения.

— Да заходи же! Какой счастливый ветер тебя занес?

— Вольный ветер! Можно к тебе?

— Конечно, можно! Раздевайся! — и помог снять телогрейку. — Проходи, садись!

Как только Надя сняла телогрейку и села, весь кураж ее исчез, осталось чувство неловкости и смущенья: «Зачем пришла?»

— Незваный гость… — начала она.

— Лучше татарина, лучше, — поспешил ее заверить Клондайк. — Тем более такой красивый и нарядный, — любуясь ее несколько худощавой, прогонистой фигурой, с улыбкой сказал Клондайк. И, в тот же миг, заметил: —А где наши чудесные волосы?

— В печке! — Надя тряхнула кудрявой головой.

— Ну, ладно, смирюсь, ты же все равно бы не послушалась

меня. Давай пить чай!

— Нет! — забеспокоилась Надя. — Я только взглянуть, на минутку, как ты живешь. Вот книг у тебя сколько! — Она посмотрела на корешки книг, аккуратно расставленных на двух полках. — А «Дети капитана Гранта» у тебя есть? — почему-то спросила она.

— Здесь нет, а дома, в Ленинграде, есть. Ты даже представить себе не можешь, как я рад, что ты зашла! Как осмелилась!

Потом они пили чай с конфетами «Чио-Чио-сан», и Клондайк не сводил с ее лица сияющих, влюбленных глаз, как будто все вернулось, как тогда, в Чуме, на бревнах, и Надя так же чувствовала себя смущенно, «не в своей тарелке».

— Я считал раньше, что глаза и очи — это одно и то же, просто поэтическое выражение, — сказал Клондайк, внимательно рассматривая ее лицо, словно видел впервые. — Но теперь я знаю; глаза—это глаза, а у тебя очи. «Очи черные», про которые поются песни.

— Которые «грусти полные»? Но «огнь желанья» горит в глазах, а не в очах, — озорно улыбнулась Надя.

— Разожгем! Постараемся! Не труднее же это, чем разжечь пожар всемирной революции!

— Ну и что еще скажешь, первый парень из Клондайка? — уже совсем освоившись, спросила его Надя.

— Мой Клондайк — Ленинград, и там я, к сожалению, не первый, а где-то в хвосте.

— Так уж, как будто! — возразила она. — Унижение паче гордости!

Они еще долго говорили о машинах, что было ей совсем не интересно, но она слушала из вежливости, о роялях и пианино, о своих мечтах, и Надя еще раз сказала, что сцена гаданья Марфы из «Хованщины» Мусоргского, это вершина, о которой можно только мечтать. Ему, наверное, тоже было неинтересно слушать о том, что ария Тоски может быть и более выигрышная, но Марфа, это глубина, ни с чем не сравнимая. Однако Клондайк тоже слушал, не прерывая ее. Она уже давно поняла, что ей надо уходить. Пора! Сидеть вот так, запросто, она могла без конца. Но только Клондайк не мог. Руки его тянулись к ней обнять ее за плечи, придвинуться к ней поближе, а глаза перестали сиять весельем и смотрели ожидающе и затаенно.

— Я пойду, пожалуй, поздно уже, — Надя встала со стула и еще раз, сама не зная зачем, посмотрела книги. — Спасибо вашему дому!

Неожиданно Клондайк обнял ее сзади за плечи. «Ну, вот, досиделась!» — обозлилась она на себя.

— Останься, — шепнул он ей в самое ухо и поцеловал в шею, где начинали виться темные колечки ее волос.

Она уже знала, что теперь он так скажет, и ее охватил страх, она не была готова перепрыгнуть через табу.

— Прошу тебя, — еще горячей и настойчивее повторил Клондайк и уже совсем не по-братски перехватил ее губы, когда она» ответила: «Не могу».

— Неужели вот так — повернешься и уйдешь? — с грустью спросил он.

— Вот так! Надо идти! — вздохнув, ответила Надя.

— А я не пущу тебя! Не пущу, и все тут! — решительно заявил Клондайк, привлекая ее к себе.

Сквозь вырез его расстегнутой сорочки она увидела золотистые волосы на его груди и быстро отвернулась в смущении, как будто подсмотрела что-то «неположенное» и очень тревожное. Клондайк заметил, и чуть виноватая улыбка тронула его губы. Он. подошел к двери и повернул ключ в замке.

— Что хочешь делай, а я тебя не пущу!

— Нет, пусти пожалуйста, не заставляй меня жалеть, что я пришла к тебе, — упрямо нагнув голову, горячо заговорила Надя. — У нас еще полно хлеба, и Валя одна не справится. И вообще, мне надо было предупредить ее, что я приду поздно.

— Что ты вернешься рано, любимая! Утром!

— Нет, нет, нет! У меня язык не повернется сказать такое!

— Ты что, не сможешь ей сказать, что собираешься стать моей женой?

— Терпеть не могу слов «жена и муж». Чем-то унылым, скучнообязательным, повседневным веет от этих слов, — поморщилась Надя.

— А кто же ты мне будешь?

— Возлюбленная! Единственная, самая-самая, плюс мои титулы. Но их необязательно произносить каждый раз!

— Согласен, на всю жизнь! Только штамп в паспорте придется поставить. Никуда не денешься!

— Теперь открой! Я приду к тебе завтра.

— Не придешь! Обманешь! Я чувствую, что ты боишься меня, как зверя.

— А ты и есть зверь. Сколько ты охотишься за мной?

— Четыре года! С ума сойти можно от ожиданья!

— Приду, даю честное слово!

— И будешь стоять в дверях или рассматривать книги?

— Это как ты скажешь!

— Надя! Ты правду говоришь?

— Счастьем своим клянусь! Вот! — Надя сняла с себя

красный крестик, подаренный ей Толяном, искусно вырезанный чьей-то мастерской рукой. — Мой залог тебе, завтра я за ним приду.

За дверью послышались голоса и шаги, удаляющиеся по коридору.

— Кажется, я пожизненно буду вздрагивать от шагов за дверью.

— А я хвататься за сердце при слове «табу», — рассмеялся Клондайк. — Ну, коль скоро ты так решила, идем, я провожу тебя.

— Зачем? Я добегу одна!

— Когда мне ждать тебя?

— Завтра с утра я еду за фотографиями для справки…

— Одну мне! — сразу заявил Клондайк.

— Потом привезу хлеб, часам к семи, не раньше, освобожусь. И приду, — понизив голос, сказала Надя.

— Любимая моя! После семи «я жду вас, как сна голубого». И, пожалуй, даже встречу. Как?

— Ни в коем случае, просто сиди и жди! Я приду со справкой, как вольняшка. Хоть и воробьиная, но все же! Выброшу пропуск! Свободная! А ты готовь шампанское — отметить мое освобождение…

— От «табу»! — подхватил Клондайк, и за это получил по губам.

На улице заметно похолодало, изморозь покрыла землю ледяной коркой. Стало очень скользко, и Надя в туфлях скользила, как на коньках.

— Возьми меня под руку! — подставил локоть Клондайк.

— По закону подлости нас должен обязательно встретить майор Корнеев или Горохов.

— Все сидят по домам, боятся. Уголовников выпустили, теперь они толпами бродят по Воркуте, пока обратно не попадут.

— Ну, тебе бояться нечего, сам с бандиткой, — весело сказала Надя и поковыляла к вахте. — До завтра!

— Жду, моя любимая, — ответил Клондайк, и Надя радостно; отметила, что он никого не побоялся, проводил ее до вахты да еще произнес слова любви, громко! Если бы кто был поблизости— услышали бы. Солнце все еще гуляло по небу, окруженное плотной вуалью из вихрей снега… Закон подлости не оправдал себя, и она благополучно добралась до своей хлеборезки. Валя уже нарезала гору паек, а новенькая втыкала лучинки в довески. Увидев Надю, счастливую и виноватую, Валя, тут же, вполголоса запела: — «Мой совет, до обрученья ты не целуй его!» Новенькая в изумлении покосилась на нее, а Надя, быстро скинув туфли, переодевшись в юбку с кофтой и напялив свиной чехол,

поцеловала Валю в щеку и прошептала в ответ: «Не брани меня, родная, что я так его люблю».

На следующий день уже с ночи поднялась настоящая пурга, к утру снегу намело по колено. Непредсказуемая погода Заполярья! Ехать за фотографиями пришлось в пимах и бушлате. На вахте долго объяснялась с надзирателем о просроченном пропуске. Пока Надя доказывала ему, что она уже вольная, указом от 27 марта об амнистии, в окно увидела, что пришел восьмичасовой автобус. Следующий, как она знала, будет только в 11 часов, а ей хотелось вернуться пораньше, чтоб уже сегодня ей пришлепнули фотографию на справку об освобождении, а вечером пойти к Клондайку вполне вольняшкой, не озираясь боязливо по сторонам. Наконец надзиратель, вдоволь помучив ее, открыл дверь и выпустил на улицу. Она едва успела вскочить в автобус, как он тронулся. Вожатая, продававшая билеты, поглядела на ее бушлат и понимающе улыбнулась. «Из бывших», — определила Надя и тоже улыбнулась ей. Народу было немного: три женщины и несколько офицеров. Среди них она узнала Клондайка. Он сидел спиной к ней и разговаривал со своим соседом, сидевшим напротив, немолодым уже майором.

— Пройди вперед и сядь, — велела ей вожатая, — до города далеко.

Надя, не желая быть замеченной, вернее, не желая ставить Клондайка в неудобное положение своим присутствием, прошла немного вперед и села на пустое место. Майор перестал говорить с Клондайком и уставился на нее. Надя повернулась к окну и стала усердно смотреть, но там ничего интересного не было. Пустынная тундра и терриконы вдали. Краем глаза она увидела, что майор нагнулся к Клондайку и сказал ему что-то. Клондайк обернулся и увидел ее. Его скучающее лицо мгновенно озарилось улыбкой.

— Надя! — вскочил он обрадовано с места и подошел к ней. — В город?

— Здравствуйте! — вежливо, но сдержанно поздоровалась она.

— Можно мне с тобой сесть?

Надя продвинулась к окну.

— Как твои планы, не переменились, а? — заглянув ей в лицо, спросил Клондайк. Его несколько озадачил холодный тон ее приветствия.

— Пока нет.

— Надолго в город?

— Только за фотографией для справки.

— И для меня!

— Посмотрю, возможно, обойдешься оригиналом.

— Одно другому не помеха, — и он еще что-то сказал, но Надя не расслышала, потому что вожатая очень громко объявила:

— Конечная! Попрошу! Побыстрей освобождайте салон.

Все двинулись к выходу. На улицах снегу было мало, резкий, порывистый ветер засыпал в глаза мелкую угольную пыль. Клондайк взглянул на часы.

— У меня еще есть немного времени, я провожу тебя?

— Спасибо! — отказалась Надя. — Здесь недалеко.

— Да что с тобой сегодня? Почему такая? — с недоумением спросил обиженный Клондайк.

— Какая?

— Ну такая, совсем чужая, — искренне огорчился он.

— Нет же, — поспешила успокоить его Надя, — просто я считаю, что тебе, офицеру, неловко вот так идти по улице с вчерашней зечкой в бушлате.

— В самом деле? Только и всего? Пустяки! Было бы тебе известно, что к пиратам однажды попал сам Цезарь!

— До вечера! — заторопилась она. Ей совсем не хотелось, чтобы он шел с ней в фотографию. «Если опять такая рожа, то лучше я сперва сама посмотрю», — решила она.

— Я жду тебя и буду подгонять стрелки часов быстрее к семи!

На углу улицы, где сразу за поворотом была фотография, Надя обернулась. Клондайк стоял на том же месте и смотрел ей вслед. Она помахала ему обеими руками.

— Шампанское не забудь!

«Шел бы лучше, чем вот так стоять и смотреть на мой зад в бушлате», — недовольно подумалось ей.

На этот раз фотографии были вполне приличные, и она сразу отложила две, Клондайку и Вальку, как обещала. Очень мило выглядело платье в горошек, и она осталась довольна своим изображением. «Гожусь!»

— Давайте я вам сделаю хороший портрет, — предложил молодой фотограф.

— Обязательно! В следующий раз! — пообещала, улыбнувшись ему, Надя, не замечая, как уже восприняла манеру Клондайка вежливо отказываться.

— Я работаю до шести, — сказал ей фотограф, провожая до двери.

— Спасибо! Я запомню, — и еще раз улыбнулась ему.

Автобус на «2-й Кирпичный завод» отправлялся в десять тридцать, и у нее еще оставалось время посмотреть город. Она прошла немного вперед, опасаясь заблудиться, и вышла к бульвару с небольшой эстрадой в виде раковины. «Недаром им

платят высокие северные зарплаты, ни кустика, ни деревца», — посетовала Надя. Двухэтажные домики, унылые и безобразные, и только дом «Партпроса» выглядел более-менее пристойно. Дальше она вышла на Комсомольскую улицу, по которой когда-то на грузовике вез ее начальник ЧОС к «новой жизни». Гостиница «Север» с причудливыми колонками и претенциозной надстройкой, со шпилем наверху, и еще одно такое же здание, с колоннами и шпилем, выглядели как плохие декорации, с облупившейся штукатуркой и краской. «Почему тогда эти дома, мне не показались такими смешными в своих потугах быть похожими на какие-то дворцы?» — спрашивала себя Надя, разглядывая здание с названием «Горный техникум». Потом она зашла в гастроном и купила полкило колбасы и сыр для Вали и отправилась на автобусную остановку. С вахты сразу прошла в спецчасть отдать фотографии.

— Зайди к начальнице, — сказала ей помощница и секретарша Макаки, зечка Люба, которой она отдала «положенных» три фотографии.

Начальница УРЧ и спецчасти, Макака Чекистка, встретила Надю улыбкой, поднялась ей навстречу, протягивая руку.

— Поздравляю, Михайлова! Пришел ответ из Верховного Суда. Ты оправдана пересмотром твоего дела и пойдешь домой не как амнистированная, а как равноправная гражданка нашей страны! Освобожденная решением коллегии Верховного Суда за неимением состава преступления, — на одном дыхании произнесла Макака.

— Как же долго я ждала! — с трудом удерживая готовые брызнуть слезы, прошептала Надя. — И паспорт у меня будет чистый? Будто я и не сидела?

— Конечно! Получишь по месту жительства, — с удовольствием пояснила Макака. Не часто ей приходилось радовать людей такими сообщениями.

— Спасибо, спасибо! — повторила вконец обалдевшая от радости Надя.

— Спела бы нам напоследок, а? Праздник скоро, День Победы!

— Обязательно, вашу любимую «Калитку», — пообещала Надя вне себя от счастья.

Первая мысль ее была о Клондайке. Как он обрадуется! Как счастливы они будут оба! — пела Надина душа. Срочно надо написать Дине Васильевне! Где она теперь? В Ленинграде? Надя прошла в бухгалтерию. Там уже все знали, что она идет «по чистой», и вручили ей обходной лист, где было обозначено, что она должна сдать из лагерного имущества и не дай Бог унести с

собой валенки или еще какую-либо ценность. Чувствуя на себе завистливые взгляды, чтоб укрыть свою радость, она с опущенной головой, словно была виновата за свое счастье, подошла к столу старшей бухгалтерши Нины, чтоб узнать адрес Дины Васильевны по переводам денег.

— Скажи, пожалуйста, Нина, можно мне узнать, кто переводил мне деньги, с какого обратного адреса?

— Что ж ты, адреса родных не знаешь? — удивилась Нина.

— Нет у меня родных!

— Сейчас посмотрим твой лицевой счет. Я его пока не аннулировала без обходного листа… Так! Тебе, кроме зарплаты, было три перевода. По пятьсот рублей, и все из Ленинграда. Первый в августе сорок девятого, второй в пятидесятом и в декабре пятьдесят первого.

— Мне нужен обратный адрес!

— Ни обратного адреса, ни фамилии отправителя тут не указано.

Озадаченная Надя пошла в хлеборезку, рассуждая по дороге.

— Это не Дина Васильевна! — пришла она к выводу. — Если б это была она, то поинтересовалась бы, получила ли я перевод. Но она писала мне о встрече с мамой и словом не обмолвилась о пере воде. Тогда зачем ей было тайком, в пачке сахара прятать деньги? Да и зачем ей летом бывать в Ленинграде, да еще каждый год? И оттуда делать переводы? И вдруг ее как молнией озарило: — Клондайк это! Точно, он! Как раз в это время он бывал в отпуске и мне, как жалкой нищенке, посылал переводы, зная, что я никогда не приму от него денег! Спрашивается, а кто его просил? И по какому праву он так смел унижать меня подачками! Выскажу ему сегодня все! И пимы, и переводы. — Бес подначивал: «Врежь ему! Чтоб не думал, что все покупается и продается». Но чем дальше шло время, тем больше она остывала. А когда сняла в хлеборезке свой бушлат и увидела в углу, за занавеской, гороховое платье, купленное на его деньги, то и совсем поостыла: «Все равно я этого так не оставлю, скажу ему: «Никогда не делай того, о чем тебя не просят». А он обязательно ответит: «Дождешься от тебя просьбы». — «А письма просила?» — «Так это для других, а для себя самой?» Тут мне и сказать ему будет нечего, но я скажу: Люби меня, Саша, как я люблю тебя, больше жизни, больше всего на свете! Ничего другого мне не надобно! Что он мне ответит на эту просьбу?».

К обеду пришла Валя с котелками.

— Кашу почему-то дали пустую, без никому, — рассерженно сказала она, шлепнув котелки на стол.

— Стой, Валя, стой! Стоять смирно! — Надя вспомнила про

свою покупку и достала из оттопыренного кармана бушлата пакет с сыром и колбасой.

— Хорошо бы колбасу в кашу поджарить, а? — предложила Валя.

— Это, Валюша, айн момент, как говорил Мишаня.

Надели на электрод, которых полно валялось после постройки бани, и в печь. Аромат пошел такой, что слюной изойти можно.

— Что же ты, Валя, меня поздравить не хочешь?

— С чем? — округлив свои лисьи глаза, спросила Валя.

— Я же не по амнистии, по чистой» иду. Прислали из Москвы решение освободить «по чистой».

— От такого решения плакать надо, а не поздравлять. Отсидеть пять лет ни за что ни про что, и еще радоваться?

— Ну, знаешь! Тут больше половины таких «ни за что ни про что», и рады были бы освободиться! — сказала Надя, а в уме своем держала: «И не встретила бы я никогда такого Сашу Клондайка, потерялись бы мы на этой большой земле, и прошел бы мимо меня, где-то стороной, ясноглазый мой Клондайк». — А может, за счастье надо вперед платить, авансом?

— Пожизненным заключением или расстрелом? Не велик ли аванс? — с горькой иронией спросила Валя.

Был пятый час вечера, а Валек все не объявлялся. Давно пора было ехать за хлебом, все допустимые сроки прошли, и Надя начала серьезно тревожиться.

— Опять колымага его испортилась! Когда теперь с хлебом разделаемся!

Приехала новенькая хлеборезка с пятичасовым автобусом резать хлеб, а хлеба и нет еще. Так хотелось спросить, не видела ли она в автобусе голубоглазого старшего лейтенанта. Да ведь глупо! Мало ли на свете голубоглазых лейтенантов. Это для нее он один на целом свете. Наконец на крыльце послышались шаги.

— Валек приехал! — Надя вскочила с места и схватила по-быстрому ведомость на получение хлеба с пекарни.

— Почему опять опоздал? — обрушилась на него она. — Опять со своей колымагой?

— Черт бы ее опрокинул в преисподнюю, — выругался Валек. — Понимаешь! Попала вода в бензобак и замерзла. Я только со двора, а она тыр-пыр, и встала! Бился, бился с ней, не пойму, в чем дело, и все. Вчера ходила, а сегодня встала! Спасибо, сторож на дежурство пришел в гараж, подсказал: ты, говорит, бензин-то слей, в бензобак вода попала да замерзла, обычная история. Вот пока туда-сюда, и опоздал.

— Да, — с сожалением, сказала Надя, — пожалеешь еще о

лошади. Та хоть старая, а безаварийная была.

— По нашим дорогам да с этим климатом лошадь или олень — лучший вид транспорта, — согласился Валек.

На пекарне тоже огорчение. Фомка Катю свою с ребенком в горбольницу повез, а без него закваску перестоявшуюся положили, тесто долго не подходило. Первая выпечка как кирпичи, хлеб тяжелый, сырой. Отдали на 6-ю шахту. Опять ждать пришлось. Валек взбунтовался:

— Сегодня в клуб картину хорошую привезли, а тут изволь ждать!

У Нади тоже испортилось настроение: «Обещала быть после семи, а где там? Дай Бог до отбоя управиться!» О том, что произойдет, когда она придет вечером к Клондайку, Надя старалась не думать. «Скорее всего, рассоримся! Скажу ему: «Чем переводы посылать, лучше вставил бы новое стекло в свои часы или вовсе выбросил». Хотя выбросить он не может, — вспомнила Надя. — Часы даренные ему за отличное окончание училища. Такие не выбросишь! Только ссоры не получится, — продолжала мечтать дальше Надя в ожидании своего хлеба. — Засмеется Клондайк, глаза свои сощурит так, что одни ресницы закрученные видать, густые, как щетки. И до чего ж красивый парень! Даже не нужно мужчине быть таким красивым. А главное-то, добрый, незлобивый, не пустяшный, серьезный». Дальше помечтать не пришлось.

— Хлеб забирайте, кирпичники! — крикнул Мансур.

Быстро покидали свои лотки с хлебом, укрыли ящик и скорей обратно.

— Может, еще успею на последний сеанс, — с надеждой сказал Валек.

— Какая картина? — поинтересовалась Надя.

— «Первая перчатка». Смотрела?

— Ты что, с печки упал? Я пять лет почти, кроме хлеба да лошади, за зоной ничего не видала!

— Забыл я! Ну теперь вместе в кино ходить будем! — улыбнулся ей ободряюще Валек. — Когда пойдем? В город, конечно!

— Обязательно! В следующий раз!

Солнце почти коснулось длинными лучами горизонта, но передумало уходить на ночь и опять поползло вверх. Крупные звездочки снежинок ни с того ни с сего вдруг закружились в хороводе, ударяясь о стекло и прилипая к нему. Валек включил дворники, но работал только один, на его стороне, он хотел выйти поправить его, но Надя остановила:

— Не надо, так доедем, не теряй зря времени…

Вдруг Валек резко затормозил, и Надя чуть не врезалась носом в стекло.

— Ошалел, что ли! — крикнула она и осеклась.

Валек напряженно всматривался во что-то темное, метрах в двадцати от дороги, где был утоптан снег.

— Что это? — стараясь разглядеть через его плечо, спросила Надя.

— Человек!

— Пьяный, должно быть?

— Не знаю. Скорее всего.

— Остановись, возьмем в машину.

— Нельзя! Сейчас «скорую» вызовем, а то подумают, мы его сшибли, неприятностей не оберешься! По милиции затаскают.

— Тогда быстрей давай!

— Быстрее… нашла самолет, хорошо, если и так не встанем.

— Замерзнет он, взять бы его надо…

— Не замерзнет, сейчас не холодно.

С чувством тревоги и озабоченности они подъехали к воротам ОЛПа.

Валек бросил машину и стремглав кинулся к вахтеру. Сквозь окно вахты Наде было видно, как горячо и взволнованно говорил Валек. Вахтер схватил телефон, а Валек вернулся и проехал в открытые дежурняком ворота.

— Сколько времени? — первым делом спросила она.

— Только что передали: семь тридцать, — ответила недовольная Валя.

Валек быстро покидал лотки с хлебом прямо на крыльцо. «Надо предупредить Клондайка, что я не смогу прийти сегодня. Рассердится! Ну что делать! Хлеб нам резать до утра», — с огорчением подумала Надя, перетаскивая лотки с хлебом на полки в хлеборезку. — Я сейчас вернусь, начинай резать, на минуту к вахте сбегаю.

— Долго не гуляйте, надо поужинать, — бросила ей вслед Валя.

К вахте мимо нее пронесся опер Горохов, на ходу застегивая шинель, а следом за ним майор Корнеев, оба с лицами не то сердитыми, не то испуганными. «Опять в ОЛПе чепе», — догадалась Надя, уступая им дорогу. На вахте был один Гусь, он уже знал, что Надя освободилась, и пропустил ее, не спросив даже справки об освобождении, которая служила теперь вместо пропуска. Все остальные надзиратели и начальство высыпали на крыльцо и к воротам, где уже стояла «скорая помощь». Два санитара вытаскивали из машины носилки. На Надю никто не обратил внимания, и она тоже встала рядом с двумя

шмоналками.

— Как свинью, ножом зарезал, — говорила одна другой, вытирая кончиком белого кашне слезы, — в сердце угодил, подлец!

— Тебе что нужно здесь, Михайлова? — строго спросил за ее спиной начальник ЧОСа.

Она повернулась к нему и стала объяснять, сочиняя на ходу, что на конюшне остались в телеге ее казенные рукавицы, которые по обходному листу надлежало сдать.

— Давай уматывай! Ты теперь вольная, и делать тебе тут нечего. Хочешь работать? Оформляйся, ищи квартиру, а в зоне тебе оставаться нельзя. Сдавай казенное и топай!

— Хорошо! — ответила Надя и пошла, да задержалась на минуту посмотреть, как санитары укладывали на носилки кого-то, закрытого простыней. Это был, по-видимому, высокий мужчина. Ноги его в сапогах оставались неприкрытыми. Одна рука его свесилась с носилок и беспомощно болталась из стороны в сторону. Санитар отворил дверь машины, и свет из кузова ударил прямо на страшную ношу, осветив руку с металлическим браслетом и часы со стеклом, треснутым в виде звездочки.

— Нет! — душераздирающе закричала Надя, когда узнала эту руку. Она бросилась к машине, но санитары уже заталкивали носилки во внутрь. Край развевающейся простыни зацепил за дверку и обнажил на миг светлые волосы лежащего человека.

— Нет, не может быть! — закричала Надя как сумасшедшая; не помня себя и ничего не соображая, она начала биться головой о дверь машины с одним желанием разбить голову и умереть на месте, чтобы не чувствовать ужаса, который раздирал ее мозг на части.

— Оттащите же ее, — грозно прорычал Черный Ужас.

Машина тронулась, и Надя свалилась в грязное жидкое месиво растопленного снега, больно ударившись о бампер головой. Холод воды привел ее в чувство, но тут же, вспомнив все, она опять забилась, потеряв всякую власть над собой, обезумев от неожиданного несчастья, свалившегося на нее.

Чьи-то добрые руки подняли ее, потерявшую рассудок и сознание, и отнесли в санчасть. Этого она не помнила. Ночью сестра, которая дежурила в санчасти, слышала, как, приходя в сознание, Надя говорила сама с собой:

— Так не бывает! Это перебор! Это уже слишком! — и кричала, будоража всех больных. Успокоилась только после того, как сестра сделала ей укол.

Первое, что увидела Надя, открыв глаза, был белый потолок изолятора, куда ее положили, и белый халат на главвраче

Гороховой. Она сразу вспомнила вчерашнее происшествие и громко застонала, дернув себя за ворот рубашки, который, как ей казалось, душил ее.

— Лежи спокойно! — приказала врач и взяла ее за руку проверить пульс.

— Доктор, скажите, Богом прошу, не обманывайте меня, кто это был?

— Не понимаю, — ледяным голосом сказала Горохова.

— Он? Точно? — И ловила врача за руку.

Горохова встала.

— Приказываю вам лежать тихо! Вы мне мешаете! Будете буйно себя вести, отправлю в психбольницу.

Она и не думала отправлять Надю, но работа среди заключенных, как ей казалось, требовала известной строгости и выдержки.

Вошла медсестра. Горохова шепотом приказала ей что-то, сестра тут же выбежала и через несколько минут вернулась со шприцем.

— Давай правую руку!

Надя послушно протянула руку.

— А может, это был вовсе не он, а я бьюсь здесь, — упавшим голосом сказала Надя с такой глубокой скорбью, что у медсестры слезы навернулись на глаза.

После укола она долго спала, а когда проснулась, еще не открыв глаза, услышала рядом с собой: говорили двое. Голос главврача Гороховой, ее резкий повелительный тон нельзя было ни с кем спутать.

— Не просите! Ни о каком допросе сейчас речи не может быть.

— Мне нужно задать всего несколько вопросов, — гудел низкий баритон.

Надя открыла глаза и увидела незнакомого мужчину в форме майора. Он тоже увидел, что она открыла глаза, и подошел к постели.

— Как вы себя чувствуете? — приветливо спросил он.

— Завтра, завтра, — проговорила доктор Горохова и бесцеремонно выпроводила его за дверь. Вечером пришла сестра и опять сделала укол. Надя закрыла глаза, ей вдруг стало хорошо и покойно. На постель, в ногах ее, присела женщина с милым и добрым лицом.

— Мама! — узнала ее Надя.

Мать улыбнулась ей ласково и очень нежно, как в детстве, когда Надя болела. Потом взяла ее за руку своей большой и теплой рукой. «Рука это не ее, это рука Клондайка», — догадалась

Надя, а мать тихо сказала: «Надюша, тебе сейчас будет чрезвычайно трудно определиться: захочешь ли ты остаться здесь или пойдешь со мной? Что ты думаешь?

— Мам! Я сама не знаю, что ты мне посоветуешь?

— Нет, нет! — с тихой печалью сказала она. — Это твой, и только твой выбор… Одно я могу тебе сказать, что там совсем не страшно, тихо и мирно. Ну, я пошла, мне торопиться надо.

Она подошла к Наде и потрепала ее по щеке. Мать так никогда не делала.

«Это не она!» — сказала себе Надя.

Потом мать шлепнула ее по обеим щекам раз и еще раз. Надя почувствовала боль и крикнула:

— Хватит! Мне больно!

— А ты открывай глаза, если не спишь, — сказала медсестра Дуся. — Вот, выпей лекарство.

— Дуся! Я буду жить?

— Жить? Да ты что? Тебя в понедельник выпишут, домой поедешь! Скажет тоже! Жить! — улыбнулась ей Дуся.

После завтрака пришел следователь. Он искал главврача спросить разрешение задать Михайловой несколько вопросов. Доктор Горохова была на утреннем приеме, и он заглянул к Наде.

— Ну как? Лучше вам?

Надя кивнула головой и повернулась лицом к стене.

Следователь протиснулся боком в дверь и сел на стул около Надиной койки.

— Он умер? — спросила она, не поворачивая головы.

— Да! Рана смертельная!

— А-а-а, — застонала опять Надя, схватила себя за волосы у висков и истерично зарыдав, ткнулась лицом в подушку.

— Успокойтесь, Михайлова, нельзя так. Контролируйте себя, так и с ума сойти можно! Чего хорошего! — Вы мне лучше скажите, почему Тарасов мог очутиться в районе пекарни? Помогите следствию, надо найти бандитов!

— Не знаю! — покачала головой Надя. — Как я могу помочь?

— Ведь это в стороне от его обычного маршрута в рабочий день, верно?

— Да! — осипшим голосом сказала она и повернулась.

— А что вы можете предположить?

— Что я могу предположить? Без всякого предположения, я точно знаю, он шел меня встречать.

— Так, так! — проявил интерес следователь. — Говорите!

— Больше нечего.

— Какое время?

Надя пожала плечами: «Не знаю!»

— Приблизительно, когда вы договорились?

— Мы не договаривались. Я просила его не встречать меня.

— Ну а все же? Когда?

— Между семью и восемью вечера!

— Так, так… — Следователь задумался на минуту и, внезапно нагнувшись к самому ее лицу, спросил: — Скажите, было у него оружие с собой?

Дверь отворилась и вошла главврач Горохова. Строгая, холодная…

— Кто разрешил? — сердито спросила она. — Немедленно освободить палату!

— Всего один вопрос! — попросил майор.

— Нет, сегодня нет! — и повернулась к Наде, — Ну как?

— Хорошо, спасибо!

Приказав Наде раздеться, она тщательно выслушала ее.

— Так, ничего, — сказала она в раздумье. — Только уж очень худа, выйдешь на свободу как из Освенцима или Майданека.

Надя попыталась улыбнуться, но углы ее губ поползли вниз, она не сдержалась и заплакала горько, обиженно.

— За что меня так? Чем я прогневила свою судьбу?

— Немедленно успокойся! — приказала Горохова и вышла. Следом за ней пришла медсестра Дуся со шприцем наготове.

— Давай левую, правую всю искололи!

Надя протянула руку.

— Майор Корнеев приказал тебя в горбольницу отправить, ты ведь вольная теперь. Горохова не разрешила; говорит: «Куда ее в таком виде, как из немецкого концлагеря!»

— Какой сегодня день? — спросила Надя.

— Пятница! В понедельник домой поедешь! Счастливая!

— Слишком много счастья, перебор! И все одной мне! Дуся неодобрительно покачала головой.

— Глаза у тебя красивые, только на мокром месте! В палату зашел доктор Каримов.

— Что здесь так шумно, девушки?

Он совсем недавно прибыл с какой-то шахты, как хороший специалист по легочным заболеваниям. ОЛП Кирпичный был перенасыщен «тубиками». Пришлось допустить еще одного мужчину.

— Я говорю, глаза у нее на мокром месте, не пересыхают от слез.

Каримов, или Каримчик, как называли его зечки, по-видимому, был человеком добрым. Он посмотрел на Надю так ласково, таким милосердием засветились его восточные глаза, что Надя не выдержала и громко разрыдалась.

— Ну, ну, ну, перестали плакать, перестали! — положив свою легкую руку ей на голову, приговаривал Каримчик, пока Надя не успокоилась.

— Нервы, нервы это! — пояснил он Дусе.

— Уметь надо держать себя, — назидательно сказала Дуся.

— Верно, да кто умеет у нас!

После завтрака пришла Мымра. Глупая, добрая Мымра.

«Зачем мы ее так обижали!» — с раскаянием думала Надя, пока Мымра доставала из старенькой потрепанной сумки банку каких-то консервов.

— Ешь, Михайлова, это ананасовый компот, вкусный! Язык проглотишь!

— Спасибо, зачем вы! — прошептала Надя совсем осипшим от слез голосом. Она, не слушая Мымру, думала о своем и глядела, как, испуганно вращая большими серыми глазами, та говорила ей что-то очень важное. Наконец Надя сделала над собой усилие и начала слушать.

— Ты так билась и кричала, я испугалась — голос сорвешь и петь никогда больше не сможешь! Да, да, не смотри так, мне врач сказала…

— Мне все равно теперь!

— Ты вот что скажи! — понизила голос до шепота Мымра. — Ты случайно не того? Есть такой слух… — на самом деле ей поручил опер узнать по возможности такой щекотливый вопрос, на который, он точно знал, сама Надя ему ничего не скажет, хоть убей ее. — Уж больно ты убивалась, — едва слышно закончила Мымра.

— Что, что? — переспросила Надя.

— Ну… сама знаешь, может, ты ждешь кого?

— Кого я могу ждать, некого мне, — в бессильной тоске криво усмехнулась Надя.

— Вот бестолочь! — возмутилась ее недогадливостью Мымра. — Ребенка ждешь, беременна!

Надя замерла от одной только мысли, что такое могло быть.

— Ребенка? «Маленького, голубоглазого Клондайка? Какое было бы счастье, если б так и было!» — Нет, нет, — истошно закричала она. — С ветра буйного, что ли, у меня ребенок будет?!

Мымре стало не по себе — и совестно, и по-женски жаль было обезумевшую Надю. «Чертов опер, сам бы спрашивал!» Она поднялась со стула.

— Я не хотела, не обижайся, так спросила, не подумала, — оправдывалась Мымра. — Выздоравливай! Жалко, конечно, что все; так получилось. Я-то мыслила, проводим тебя с концертом, попела бы нам на прощанье, — улыбнулась своей жалкой

улыбкой Мымра.

— Спела бы с радостью, у меня и песня готова, — неожиданно с глазами, полными исступленного гнева и слез, сказала Надя, приподнимаясь на койке. — Слушайте!

> О детстве счастливом, что дали нам, веселая песня, звени!
> Спасибо товарищу Сталину за наши счастливые дни!

— громко, на всю палату-изолятор, запела охрипшим голосом Надя. Мымра растерялась, заморгала часто-часто.

— Хорошая песня, я знаю, только сейчас тебе петь не надо, и голос у тебя осип, — и направилась к двери.

— Нет, погодите! Разве вам не нравится? Слова-то какие! Спасибо товарищу Сталину! За наши, то есть мои, счастливые дни! — закричала Надя.

— Успокойся сейчас же, — зашипела испуганная Мымра.

— Разве не трогательно? Даже вам кажутся эти слова фальшивыми, а как нам, «счастливым детям»?

— Замолчи сию же минуту, — в страхе заметалась Мымра. — Пойми, глупая, ты думаешь, он умер? Он жив, как Ленин, и будет еще долго жить и мстить тем, кто его предал, — злобно исказив лицо, шепотом выговаривала Мымра.

— Я его не предавала! Я любила его! Он был вместо иконы в моем доме. Я его узнала теперь, здесь, в лагере.

— Ты что? Освобождаться не хочешь? — гневно, с явной угрозой, перебила ее Мымра.

— Вы правы, я готовая зечка, бери меня голыми руками и снова сажай, но уже не как бандитку, а то меня опять амнистируют! Я заболела ужасным недугом, мой мозг поражен «антисоветчиной» от всего, что я здесь узнала!

— Она с ума сошла! — вскрикнула Мымра и выскочила, не закрыв за собой дверь.

А бес надоумливал: «Крикни ей вслед еще: «Это твое воровское государство отпустило своих на волю! Это вы виноваты, что погиб лучший из лучших. Да разве место ему было среди вас, подлых приспешников убийц и жулья!» Но она замолчала, еще не совсем погас ее рассудок, еще жив был спасительный страх. Она прогнала беса. «Да! Я боюсь опера Горохова, майора Корнеева, надзирателей: Гусей, Хмырей и всего того, что они могли сотворить со мной. Я всегда боялась сама себя, зечки Михайловой, не бандитов, а всего, через что я прошла и что видела. Не боялась я только светлых ласковых глаз твоих, Клондайк. Веселые, чуть насмешливые, чуть озорные, но всегда

бесконечно добрые. Мне они, утешая, говорили: «Наберись терпенья и учись, так не будет всегда, потому что так не может быть!» И от одной мысли о том, что все останется таким же и она, и небо, и все люди, даже уродливый Пятница, а его не будет никогда, она завыла, как бездомная, побитая собака. Дверь отворилась и вошла санитарка.

— Ты чего вопишь? — Больных тревожишь! Вот тебе, передать велели с вахты…

— Что это? — спросила Надя и развернула пакет.

Коробка печенья «Московские хлебцы» и «Раковые шейки». На коробке от руки корявым почерком написано: «Выздоравливай скорее!»

«Валек это», — догадалась она.

Санитарка, убирая пол в изоляторе, ворчала:

— Я-от врачу скажу, нечто можно, все полы вытоптали, целый день к тебе шастают.

— Не ходит ко мне никто, кроме врача!

— Не ходит, потому не пускаю, не велено никого пускать. Вона! Сколько натаскали!

Надя взглянула на столик у окна. На нем уже горкой громоздились свертки.

— Возьми себе, тетя Настя. Я есть не буду.

— И-и-и! — махнула тряпкой она. — И не проси. Тебе на ноги вставать надо, и не обижай подруг, они от себя отрывают!

Надя поднялась и, ощущая противную дрожь в коленях и головокружительную слабость, подошла к столику.

— Это все от западнячек, хористок наших. Сало от Галки, она посылки получает из Дрогобыча, а колбаски домашние — это, конечно, от Зырьки из Львова. Еще немного конфет и кусок сухого кулича, с запиской: «Кулич свищеный». Что за свищеный? Потом догадалась. В церкви святой водой кропленный. Пасха ведь недавно прошла! Она и не подозревала, как хорошо относились к ней зечки. А за что? Что она им сделала хорошего? Ничего! Хлеба и того грамм лишний дать не могла. Все в обрез, все по норме.

Только пела.

— Возьми, тетя Настя, пропадет ведь… — еще раз попросила Надя.

— Сказала, не проси, и все!

«За что она здесь? Вроде говорили, при немцах бандершей была, «веселый дом» держала. А тоже политическая, двадцать лет каторги, как Сталин в Туруханском крае…»

Потом проскочила мимо запретов Валя. Улыбнулась лисьей мордочкой:

— Как вы, Надя?

— Ничего! Как ты, Валюша?

— Завтра на этап. Горохов отправляет!

— За что? — воскликнула пораженная Надя.

— За вас! Вызвал, кричал как ненормальный, все спрашивал, как я могла не знать, что Тарасов с вами в связи!

— А как ты могла знать, если этого не было? — вспылила Надя.

Хитрый, насмешливый огонек блеснул в зеленых лисьих глазах Вали. «Не поверила», — обиделась Надя.

— Я так приблизительно и сказала… что не знаю, не видела…

— Куда этап?

— Сказали, в Казахстан, Караганду или Экибастуз.

— Валюша, просьба у меня к тебе. Вот эти продукты забери себе и сдай, пожалуйста, по моему обходному листу все мое казенное. Валенки, телогрейку, бушлат, матрац, ну, словом, все барахло их. А листок обходной в кармане бушлата. Сделаешь?

— Конечно, какой труд!

— Сало и колбаски с собой возьми да конфеты раздели, как раньше с тобой делили.

Попрощались, как сестры, обе всплакнули. Шутка сказать! Четыре года вместе из одного котелка баланду хлебали.

Не успела Валя закрыть за собой дверь, как пришла Дуся со следователем.

— Ты можешь отвечать спокойно, без рева? — спросила она. Надя оскорбилась:

— Если ты выйдешь вон, за дверь!

— Ну, я вижу, тут все в порядке. Располагайтесь! — по-хозяйски предложила она следователю.

— За что вы ее так? — улыбнулся он, намереваясь создать «доверительную атмосферу». Но Надя прошла хорошую школу и знала, что стоит улыбка следователя в доверительной атмосфере.

— Потому что она такая же зечка, какой была я, а ведет себя как главврач, а ей надо помнить: всяк сверчок знай шесток. Что вы от меня еще хотите?

Но следователь не обратил внимания на ее задиристый тон.

— Скажите, когда началось ваше знакомство с Тарасовым?

— Мы попали в Речлаг почти одновременно.

Следователь удивленно поднял брови.

— Он как начальник режима, я как заключенная по статье семьдесят четвертой через семнадцать.

— Так! — произнес он, обдумывая, как бы поделикатнее задать ей щекотливый вопрос.

— Чтобы сразу избежать ваших оскорбительных вопросов,

скажу: он считал меня своей невестой и ждал четыре года.

— Вы хотите сказать…

— Да, я хочу сказать; если вы знаете разницу между любовницей, сожительницей, женой и невестой, то все поймете. И погиб он накануне нашей свадьбы. Все ясно?

— Вы сказали мне, что он вышел вас встретить на дорогу к пекарне.

— Не уверена. Но боюсь, что так и было, хотя я просила его не встречать меня.

— Почему?

— Не знала точно, когда освобожусь.

— Теперь еще вопрос, и я вас избавлю от своего присутствия, чувствую, что вы устали.

— Ничего! — сказала через силу Надя. Она действительно устала сдерживать себя, казаться холодной, равнодушной, когда в душе все кипело, рвалось наружу.

— Не знаете ли вы, было у него с собой оружие?

— Не знаю, но думаю, что было.

— Почему вы так думаете?

— Потому что накануне, провожая меня, он сказал, что начальство боится выходить вечерами, стало опасно из-за того, что выпустили уголовников.

— Ну что же, это убедительно. А документы? Были у него с собой документы. Военный билет, партбилет?

— Этого я не знаю, могу только предположить.

— Мне очень важно, что вы думаете! Говорите…

— Я думаю, что были, он возвращался с работы, а там пропускная система. Вы узнайте, если он вернулся с пятичасовым автобусом, то мог переодеться.

— Он ушел из управления в восемнадцать пятнадцать.

— Тогда все! — хрипло сказала Надя и откинулась на подушку, чувствуя, что еще немного — и она начнет выть и биться головой о стену.

— Спасибо! Вы очень помогли мне: умно и толково. Разрешите, я все быстро запишу с ваших слов.

Потом Надя расписалась у него на протоколе допроса Михайловой Н. Н. так же, как много лет назад, не потрудившись прочитать, что там, в протоколе. Ей было все равно, что будет дальше, какое еще испытание заготовлено судьбой. Сейчас ее интересовал только один вопрос, который задать было неимоверно тяжело, и она долго внутренне готовилась к нему, собирая все силы, чтоб услышав, не сойти с ума окончательно.

Следователь встал и протянул ей руку.

— Наслышан, вы были незаконно осуждены и теперь

восстановлены в правах! Поздравляю!

— Скажите! — глухо спросила Надя и замолчала, собирая в комок всю себя, чтоб произнести остальное.

— Слушаю вас!

— Скажите! — еще раз повторила она. — Когда хоронят Тарасова? Простите, мне больше не у кого спросить…

— Гражданская панихида была пятого мая. Приезжали его родители, на самолете забрали в Ленинград. — Еще раз благодарю за помощь. До свиданья! — Следователь поспешил выйти догадываясь, что сейчас произойдет с Надей, и не ошибся.

После его ухода, уже не сдерживая себя, она долго выла, стонала и плакала, до крови искусав свои губы, уткнув лицо в подушку, чтоб не было слышно ее. И так, вздыхая и всхлипывая, незаметно задремала. Очнулась от того, что кто-то сильно тряс ее за плечо. Над ней стояла сменная сестра Паша со шприцем в руке.

— Лежи тихо, сейчас укол сделаю, — сказала Паша.

— Не надо! — слабо запротестовала Надя. Она до смерти боялась уколов.

— Я говорю, не двигайся, а то больно будет. Это глюкоза с аскорбинкой.

— Вроде ведь не было у вас глюкозы?

— Для зеков нет, для вольных нашлась.

— Посиди, Паша, со мной, а? Так муторно одной здесь лежать.

— Некогда! Вот обход сделаю, лекарства раздам, приду.

— Обманешь?

— Я в ночь дежурю, приду!

И действительно, после ужина, вскоре как прозвучал отбой, в дверях показалась щуплая Пашина фигурка и, прежде чем затворить за собой дверь, внимательно просмотрела коридор, прислушиваясь к голосам из палат.

— Вроде утихомирились! — сказала она, присаживаясь на кровать в ногах у Нади. — Не спала?

— Нет! Садись удобнее. Надя продвинулась к стене.

— Посижу трохи, намаялась! Ноги гудом гудят! Утром, на пятиминутке, главврач говорила, что подчистую тебя освободили, по пересмотру! Счастливая!

— Не приведи Господь и избавь от такого счастья! — мрачно пробормотала Надя.

— Ты о Красюке? Уедешь и забудешь, — заверила ее Паша.

Надя промолчала. Разве могла она объяснить кому-либо, кем был этот Красюк для нее?

— Куда поедешь? Домой?

— Куда же еще! Домой, конечно…

— А мне еще три года трубить!

— А всего сколько?

— Десятка да пять по рогам.

— Ой! — удивилась Надя, — За что тебя так? — Спросила, чтоб поддержать разговор, хотя знала наперед, что услышит обычное «ни за что ни про что!» или «сама не знаю!»

— С немцем в оккупации путалась, дитё прижила. Немецкими овчарками нас, таких, называли, — без тени сожаления и даже весело сказала Паша.

Надя оторопела. Добрые люди скрывают такое, а эта вроде гордится. И добро бы красивая была. Нос картошкой, морда блином, одни только косы!

— С фашистом? — поразилась она. Каждый немец для нее был фашист, убийцей ее отца и Алешки. Ей уже расхотелось говорить с этой толстогубой, толстоносой бабешкой, с такой циничной откровенностью обнажающей свою подноготную.

— Какой он фашист! Простой солдат! Ты думаешь, так уж все немцы и были фашисты? А у нас-то что? Все, кто с партбилетами, то коммунисты? Полно проходимцев!

— У нас другое дело! У нас беспартийным нельзя быть, им и ходу нет, если только артист какой великий или ученый… — Надя вспомнила свой задушевный разговор с Клондайком.

— Погнали на войну по приказу фюрера, вот и весь фашизм, и пошел!

— Рассказывай! Это они потом овечками прикинулись, когда им вломили. На весь мир прославились своими зверствами, майданеками да бухенвальдами.

— Ну, это они против евреев и коммунистов…

— Против народа они воевали! И не говори!

— Да ты-то что знаешь? Ты что, в оккупации была?

— Не была, все равно знаю, весь мир знает, что они творили! — обозлилась Надя.

— Не была! А я три года под немцами была и скажу, хоть ты режь меня, что хуже наших прихвостней около немцев никого не было! Они лютовали хуже всяких немцев, те хоть враги, чужие, а эти! — Паша, не подобрав нужного выражения, только руками развела… — Да вот далеко ль ходить? Твоя дневальная.

— Кто? Немка моя, Вольтраут? — Не поверила.

— Какая она немка? Какая Вольтраут? Тварь она, а не немка! Сколько душ загубила, сколько на тот свет отправила, не счесть!

— Путаешь ты, Пашка! Зря оговариваешь! Немка она, и фамилия и имя у нее немецкие: Шлеггер фон Нейштадт. Валивольтраут. Я сама в картотеке у ЧОСа видела.

— Ты мне про ее фамилию не рассказывай. Верно, Шлеггер

она, да только чья она, фамилия-то? Чья? Знаешь?

— Чья? — оробев от неожиданности, спросила Надя.

— Муж-ни-на! — по слогам выкрикнула Паша. — Муж у нее немец Шлеггер фон Нейштадт.

Надя с сомнением покачала головой.

— Что-то просто не верится! Не ошибаешься ты?

Но Паша уже загорелась, глаза свои вытаращила, раскраснелась, так и кипит.

— Анька Вейгоца, по кличке «Выдра», вот кто она!

— Ты, Паша, не путаешь? Ведь ошибиться легко!

— Да нет же! — запальчиво крикнула Паша и, спохватившись, оглянулась на дверь, а потом уже полушепотом продолжала:

— Со Львова она! Знаю я ее как облупленную, учились вместе, на одной улице Шлейкой жили. За год или побольше до прихода Советов она в тюрьму угодила. Я ее тогда из виду потеряла, училась в медицинском, мать болела, и только слышала, что вроде она с любовником ювелира ограбили и убили. Отец ее, Стефан Вейгоца, при Польше бакалейку держал, а как Советы в тридцать девятом году пришли, так утек, — говорили, в Канаду с любовницей драпанул, а Анку и мамашу ее бросил. Точно не знаю, врать не стану. Советы тогда пришли, всех из тюрем повыпустили, тут она за немца, этого самого Шлеггера, и выскочила.

— Постой, постой, путаешь ты все! Говоришь, наши в тридцать девятом пришли, так откуда там немцы тогда? Война с немцами в сорок первом году началась!

— А я тебе говорю, были у нас немцы, полно их было, всякие «фольксдойчи», «рейхсдойчи». Им Советы разрешили, кто хочет, может в Рейх убираться. Помню, приехала из Германии комиссия, на вилле разместились, самой шикарной во Львове. «Француска» называлась, «Французская» — по-нашему будет. Сразу и флаг свой повесили. Я, между прочим, и Шлеггера-то самого помню, он с этой комиссией приехал. Высокий, тощий такой, как ботян.

— Кто? — не поняла Надя.

— Ботян, аист по-нашему. Пошли тогда у нас по ресторанам танцы-шманцы, музыка всю ночь. Тут его Анька быстренько охомутала, она тогда гарненька была, а потом с ним, как его жена, в Рейх и смоталась.

— А ты, Паша, кто по нации, не украинка?

— Нет, кацапка, всю жизнь нас там кацапищами называли, русская я.

— А как туда, на Украину, во Львов попала?

— Львов — город всех мастей: и русских, и украинцев, и

молдован, и румын. Евреев полно, венгров, немцев, кого захочешь, — засмеялась тихонько Паша. — Ох, и красивый же Львов! Костел какой! Театр! Немцы его Лембергом звали, на свой лад. Рестораны какие! Одно слово — Европа!

— Значит, все же ее в Германии арестовали, она правду говорила. Ну, а при чем тут наши «прихвостни»?

— Вот ты слушай! — Паша, забыв об осторожности, пересела с кровати на стул, ближе к Надиному лицу, и, пылая возмущением, гневом и ненавистью, продолжала вспоминать: — Летом сорок первого года ОУНовцы… знаешь, кто они?

— Нет, — поддавшись Пашиному настроению, тревожным шепотом ответила Надя.

— Это украинские националисты, во Львове объявили свое государство. Мы все — русские, поляки, евреи — перетрусили, ну, думаем, конец нам, вырежут всех. А немцы-то взяли и их главарей всех поарестовали, и Степана Бандеру, и Мельника, и еще каких-то» там…

— Так против кого они, эти ОУНовцы, шли?

— Против всех! И Советов, и немцев. За свободную Украину! Самостийники!

— А! Знаю! «Хлопци, пидемо, боротися будемо за Украину, за ридни права!»

— Вот, вот! Они самые, знаешь их! А в сорок-то четвертом, когда советские немцам хвосты поприжали, так они всех повыпустили: и Бандеру, и Мельника, чтобы против Советов им помогали, и даже специальный батальон образовали, вернее, дивизию СС «Галичина».

— А! Вот почему нашему Черному Ужасу так не по вкусу пришлась песня, помнишь, на концерте: «Зажурились галичанки, тай на тую змину!» Что ж, понять их можно, за свое дрались!

— Так! Если бы не зверствовали! А то НКВДэшники придут — жгут, палят, расстреливают. ОУНовцы приходят по ночам — то же самое, немцы того хлеще, всех подряд! Да все по простым, по беззащитным, вот беда! Но ты дальше слушай! Как немцы нас в начале войны, заняли, — глядь, и Выдра тут как тут, с немцами прискакала.

— Какой же ей смысл был обратно из Германии возвращаться? У нее там муж был, — все еще в глубоком сомнении спросила Надя. — Она мне говорила, что была с ним в Париже, в Италии, в Берлине…

— Это наверное даже! Да все дело в том, что у нее любовник был во Львове, еще с гимназии. Все львовские девицы и дамочки по нему разум теряли, а достался он одной Анне Вейгоце, из-за него она и во Львов с немцами вернулась. А он бандит! Красивый,

сатана! Ни одна перед ним устоять не могла.

— Бандит?! Валин возлюбленный! И она его любила? — спросила Надя. Ее больше всего поразило, что Валя, холодная, рассудительная Валя, могла испытывать те же чувства любви, как и она!

— Любила? С ума сходила! Василием его звали, по кличке «Козырной», «Козырной Туз». Ох и красив, каналья! Глазищи огневые, кудри черные до плеч, не хуже твоих, румянец во всю щеку…

— Не люблю черных, с темными глазами, сама такая, — нахмурилась Надя, пресекая всякие описания мужских красот, потому что была уверена, у нее был эталон мужчины — Клондайк! Ни с кем не сравнимый, единственный!

— Да мне, как говорят поляки, «шистко едно», я не к тому. Зверь он был, а не человек. Знали их во Львове чуть не через одного, и они всех знали. Вот и стали сводить счеты, у кого родня в Красной Армии, кто с Советами ушел, кто еврей или еврейка, не щадили никого, особо почему-то преследовали комсомольцев. Ну, тебе скажу! Хуже немцев были. Ни старых, ни детей, никого не щадили. На кого Выдра пальцем укажет — того к стенке!

Слушала Надя, раскрыв рот от изумления, как рассказ о ком-то совсем ей не знакомом человеке, никак не связывая Валю с этой Анной Вейгоцей, страшной и злобной женщиной. Паша догадалась, какое сомнение одолевает Надю: «не ошиблась ли она!», и поэтому с еще большим жаром доказывала свое.

— Ты не смотри, что она в лагере такая занюханная была, приубожилась! Ты бы ее в то время посмотрела! С немцами на машинах раскатывала, переводчицей у них работала, на всех допросах присутствовала, ни один без нее не обходился. Боялись ее больше головорезов из СС «Галиции» или «Нахтигальских» сорванцов. А по ночам со своим Козырным Тузом в ресторане «Бристоль», что около оперного театра, отплясывала. Тогда ей немцы и кожу ее змеиную помогли заменить, гадине, на Валивольтраут Шлеггер фон Нейштадт.

— А ты почем знаешь про рестораны? — попыталась обуздать Надя взбесившуюся от злобы, как ей думалось, Пашку.

— Сестра моя в то время там посудомойкой работала, нас с матерью подкармливала, так рассказывала; — «Целым рестораном немцы за ее здоровье шампанское пили. До одури орали «зиг хайль, мадам фон Нейштадт!». Уж порезвились…

Пашка умолкла, задумчиво перебирая конец своей толстенной косы, потом закинула через плечо за спину косу и продолжала:

— В сорок четвертом, Красная Армия снова захватила Львов,

ОУНовцы в Карпатах попрятались, однако не разбежались, как многие рассчитывали, а быстрехонько собрали новую армию — УПА, и все, кто с немцами сотрудничал, примкнули к ним. И Козырной туда же! Он было и в СС «Галицию» приткнулся и в ОУН пристроился, да не задержался. Были там, конечно и бандюги, где их не бывает? Да видно, он изо всех бандюгов бандит был. Поговаривали тогда, что Тур его самолично чуть не расстрелял за грабежи да убийства населения. Где-то в лесах за Старым Самбором его видали…

— Наши чуть не расстреляли? Тур это наш?

— Зачем ваши? Тур это командующий УПА, кличка Романа Шухевича. Еще его генералом Тарасом звали…

— А что такое УПА?

— УПА это как раз то, за что здешние почикайки срока похватали: «Украинская повстанческая армия».

— Не пойму я, а причем здесь Вольтраут? Она-то в Германии была! Откуда ее и арестовали!

— Это точно! Жареным запахло — так она с немцами в Рейх драпанула, только взяли-то ее не в Германии. Зырька говорила, — она врать не станет, — знаешь Зырьку, в хоре у вас пела?

— Знаю, знаю! — поспешила заверить ее Надя.

— Она эту суку на дух не переваривает, говорит, что из-за таких, как эта гадина и ее уголовник, всех бандеровцев бандитами зовут. Так вот, Зырька наша, львовская, в Университете училась, она мне сама говорила, что Выдра сбежала в Австрию, в Лиенц… сдается мне Оберостеррейх.

— В Линц? Где это?

— Не Линц, а Лиенц! Линц тоже такой город есть, на Дунае стоит и тоже в Австрии, а это Лиенц, на реке Драу.

— Чего ее туда занесло?

— Она у генерала Доманова в Казачьем корпусе переводчицей была. Думала, небось, с казаками в Америку иль в Англию протыриться, а как к Союзникам попала, верно, что сама не рада была.

— Путаешь ты все, Пашка! — не выдержала наконец Надя, — Наши ее судили. Пятьдесят восьмая статья у нее, первый пункт «б»! Я точно знаю…

— И я знаю! Их в конце мая сорок пятого англичане в Юденбурге Советам передали, под охраной, из рук в руки. Весь Казачий корпус — и атамана Краснова, и Доманова, и Шкуро!

«Подлая нация»! — Так вот откуда у нее такая ненависть к англичанам!

— Надо думать! — согласилась Пашка.

— И об этих генералах я тоже слышала, помню. Предатели

они. Повесили их — и атамана Краснова, деда нашей Мери Красновой, и Шкуро…

Неожиданно Пашка рассердилась:

— Никакой он не предатель! Не хотел ваших коммунистов у власти, кому они снились!

— Не хотел? А у нас народ и партия едины! У нас каждый гражданин коммунист, комсомолец, пионер и октябренок! Если уж совсем никчемный, тогда не возьмут…

— Так, так, — с улыбкой согласилась Пашка, — С самой люльки, с пеленок, по дороге в коммунизм шагаете! И, внезапно рассвирепев, злобно сказала: — А вот Андрей Григорьевич Шкуро не пошел с вами. Ему не по пути, нельзя было! Его англичане в революцию своим орденом «Бани» наградили. Понадеялся на них, да промахнулся.

— Все это тебе Зырька сказала? А откуда она знает? Откуда ей известно? — с сомнением спросила Надя.

— Парень у нее знакомый был, во Львов пробрался, к Зырьке повидаться, а от нее выходил и прямо в руки смершевцам попал. Расстреляли, Зырька говорит, пытали зверски!

— Не надо про это! — вздрогнув попросила Надя. — Ты-то откуда все узнала? И про Выдру, и про Козырного?

— Говорю, значит знаю! А Зырька кое-чего и побольше знает! — Дальше, осторожная Пашка не стала углубляться в «политику». Работой дорожила. Знала: уши у опера повсюду. — Ладно, пошла я, — сказала она, поднимаясь со стула. — Скоро подъем. Всего тебе!

В дверях Пашка внезапно остановилась и обернулась.

— А знаешь, чего я вспомнила? Года два или поболее того, Марийка Остапенко мне говорила, их на рентген в ОЛП на шахту Капитальную (Шахта Капитальная или 1-я Капитальная — одна из первых шахт Воркуты.) водили. Под вахтой долго держали, не хотели в мужскую зону пускать, так она там Козырного Туза видела. Он-то ее не знает, а она его сразу узнала, хоть похудел, гад. Их тогда Рыжий водил, а он на Марийку всегда посматривал. Марийка его спросила: «А кто этот чернявый, на брата моего похож», сбрехнули Рыжему. Тот взял и на вахте спросил: «Почему у вас зеки без конвоя гуляют?» А ему ответили: «Это у нас вольный бригадир вскрышной бригады». Марийка пришла и Анке сказала: «Видела Козырного». Марийка тоже львовская. А твоя сучка ей говорит: «Обозналась ты, быть этого не может. Его немцы расстреляли». Марийка так и села. «Ты кому брешешь? Какие немцы, он им верой и правдой служил!» Только я думаю, опер не за то на нее взъелся! Кто-то ему стукнул, что она не Шлеггер, а Вейгоца! Дневальная опера как-то говорила, что опер и Корнеев с

бандами в Карпатах воевали, может, и слышали о ней. Вот и избавился поскорее, на этап. А что ей сделаешь? Вышка у нее! А расстрелы тогда были отменены. Ну! Всего тебе! Завтра зашагаешь!

— И тебе, Паша, желаю освободиться пораньше и к своему ребенку… Мальчик у тебя?

— Дочушка! Да пригожая! Красавица, в этом году в школу пойдет!

— С кем она?

— С мамой моей.

— А немец твой?

— Убили его, хороший Гансхен был, у нас таких не бывает, — с сожалением сказала Паша.

— Бывают! И получше бывают!

Днем она еще кое-как могла держать себя, но ночью, когда наступала тишина, не бегали нянечки и сестры, не гремела ведрами тетя Настя, Надю охватывали, как клещами, страх и отчаяние. Страх за то, что, получив свободу, она не чувствовала себя счастливой. Горечь потери потраченных лет, разочарование в идеалах, веры в счастливое будущее, и самая главная потеря — ее любовь — Клондайк, наполняли душу отчаянием.

«Тот мрачный опыт, которым я обогатилась за эти годы, не даст мне никогда уже больше быть такой, какой я была. В самые светлые минуты моей жизни, если они и выпадут на мою долю, я буду помнить о вас, черные тучи зечек под вахтой в дождь, мороз и в пургу, на дне котлована в Безымянском карьере, растерзанную Асю, Бируте, длинную прядь огненно-медных волос, прилипшую к доскам топчана, одинокий силуэт на свежевыпавшем снегу безжизненной тундры.

Господь сохранил мне жизнь, я прошла через все испытания, не уронив себя, и все еще молодая, но сердцем чувствую, не для того, чтоб позабыв о прошлом, беспечно наслаждаться своей «воробьиной» свободой, а чтоб не забыть, не похоронить, и, при случае, всегда и везде донести до людей, о том, что видела, что знаю, через что прошла сама.

В ПУТИ К «ВОРОБЬИНОЙ» СВОБОДЕ

Свободно рабскую
Судьбу неси; тогда рабом
Не будешь ты.

Менандр

Макака Чекистка, с торжественным выражением лица, подала Наде бумагу, где несколькими строчками ей сообщалось о том, что заседание коллегии Верховного Суда Союза ССР пересмотрело приговор Люберецкого суда, отменило его по вновь открывшимся обстоятельствам, и делопроизводством прекратило за неимением состава преступления.

Маленькая бумажка, меньше половинки листка из школьной тетрадки, таила в себе целый огромный мир. Свободу!

Это был тот самый документ, о котором ей говорил Клондайк. Теперь его не было, была только «воробьиная свобода». Она перелетела из маленькой клетки в большой вольер.

Удивленно, с недоумением смотрели провожавшие ее зечки, как равнодушно она согнула вдвое драгоценный листок и небрежно засунула в карман, без тени улыбки в запавших глазах и осунувшемся лице, она попрощалась, с дорогими ей, зечками, не испытывая никаких чувств, кроме тоски и одиночества. Не было на свете друга, кто бы искренне порадовался за нее, так думалось ей, прощалась с лагпунктом «2-й Кирпичный завод» Речлага, где отбыла она ни больше ни меньше как четыре года восемь месяцев, «ни за что ни про что»!

Первого, кого встретила Надя, перешагнув за вахту, был Валек. Смущенно улыбаясь, он подошел к ней и взял из ее рук чемоданчик с пожитками.

— Я тут случайно, вот! — начал оправдываться Валек. — Подумал, может, в город тебя забросить? Машина вот! Готова!

Стоял Валек спозаранку, рискуя навлечь на себя гнев начальства, в новой гимнастерке с чисто выбритым лицом, ждал… И Надя догадалась: «Не случайно».

— Спасибо, Валек, — стараясь удержать слезы, прошептала она.

Тундра за эти несколько дней совсем освободилась от снега, и ничто не напоминало о недавнем снегопаде и морозах. Не теряя ни минуты драгоценного тепла, уже зазеленела мелкая поросль травы, а солнце светило так ярко и приветливо грело, как будто хотело оставить по себе приятную память о Заполярье.

— Остановись здесь, Валек, — попросила Надя.

Около того места, где они увидели распростертого Клондайка, оба сошли с машины и молча постояли. Напрасно всматривалась в землю Надя в надежде отыскать хоть признак крови или какое-либо напоминание о нем. Ничего! Мелкая, густая, как щетина, трава уже пробивалась из земли. «Может, политая его кровью». — Она стиснула зубы и поспешила вернуться к машине.

— Поехали, Валек!

— А знаешь! Я тогда его сразу узнал, не хотел тебя пугать. Ребята мне сказали, оружье у него забрали и документы.

— Кто это был? — застонала Надя.

— Ищут! Уголовников полно освободилось, но поймают обязательно, — заверил ее Валек.

— На пекарню проститься бы заехать.

— А там новые все. Китаец в городе комнату получил, а остальных на шахту отправили.

— За что?

— Да вроде говорили, оттуда пришли… эти… Не повезло Тарасову, только новые лычки прицепил, поздравляли к Первому мая.

— Замолчи! — в отчаянии воскликнула Надя. — Не хочу! Не надо! — и выдержала, не разревелась.

— Куда ты теперь? — через некоторое время спросил Валек.

— Домой, к себе…

— Адрес оставь, напиши, где будешь. Лады?

Так далеко от города всегда казался ей кирпичный завод, и тогда, когда она ехала в одном автобусе с Клондайком, вдоволь успела насмотреться на его оживленное лицо и сияющие глаза. Но доехали очень быстро. Валек подрулил к самому вокзалу.

— Ты тут, в машине посиди, я сбегаю, уточню, когда поезд на Москву. Не то 17.45, не то 17.30, — сказал Валек.

Надя с удовольствием осталась в кабине. Ей совсем не хотелось идти, толкаться у вокзальной кассы, где стояли кучками молодые, с вороватыми, наглыми глазами, парни.

— Давай скорее документы, справку об освобождении, — сказал, подбегая к машине, Валек.

— Зачем? Я сама билет возьму! — попробовала протестовать Надя.

— Быстро сюда давай! Там кассирша знакомая. На этот раз Валек пропал надолго, а когда вернулся, скомандовал:

— Давай сюда манатки, пошли, скоро поезд. Семнадцать тридцать — московский. Воркута — Москва, пятьдесят второй.

— А билет? — заволновалась она.

— Держи свой билет, справки, и все твои «пионерские атрибуты».

— Подожди, Валек! Возьми деньги за билет, — засуетилась Надя, подавая ему деньги.

— Не возьму, нипочем не возьму, не суй! — и отпрыгнул, когда Надя попыталась затолкнуть ему деньги в карман гимнастерки.

На перроне сновали десятка три людей, не больше. В основном все военные, полярные летчики, провожавшие кого-то, штатских мало, и те женщины. Подошли к двенадцатому вагону. «Мягкий» — написано в углу, где вход.

— Зачем мягкий, я же хотела простой.

— Садись! Не было простых, одни непростые, — Валек протянул проводнице билет.

— Кто из вас отправляется? — с подозрением оглядела проводница по очереди обоих.

— Вот сестра моя, вы уж позаботьтесь о ней, — весело сказал Валек.

— Оно и видно, что сестра! — хитро улыбнулась ему проводница. — Брательник нашелся!

В вагоне ковры на полу, неяркое, мягкое освещение и тишина показались им обоим неслыханной роскошью.

— Ух ты! — заметно оробел Валек. Проводив Надю до купе, он постеснялся войти в него, боясь запачкать ковры.

— Я пойду, пожалуй! Ты вот что, адресок оставь!

Писать было не на чем, и она достала старый конверт, оторвав от него обратный адрес.

— Вот читай: «Московская область, Ухтомский район, пос. Малаховка, ул. Тургеневская, дом 17».

— Это я запомню, — сказал Валек, запихивая клочок конверта в карман. Ну, прощай или до свидания, скоро увидимся. Я ведь тоже отсюда днями слиняю. Пойду в отпуск и рассчитаюсь.

— Чего так? — удивилась Надя.

— А! Не хочу! Я думал, тут и правда преступники, враги, а выходит, — понизил голос Валек, — преступники-то на воле. Повыпускали их, к своим поедут. А тут девки одни несчастные, половина деревенских, вроде наших, смотреть на них — и то заболеешь!

— Спасибо, Валек! — растроганно сказала Надя и поцеловала в обе щеки обомлевшего от неожиданности Валька. — Я помню, что у тебя в долгу, увидимся…

— И-и! — свистнул Валек. — Не говори, обижусь! — и быстро зашагал к выходу.

«Если подойдет к окну — увидимся, нет, значит, не

увидимся», — загадала она. Валек пошел вдоль вагона и остановился у окна, где стояла Надя.

— До свиданья, Валек, спасибо тебе! — прошептала Надя. Все равно он не услышал бы.

Валек снял кепку и помахал ей. Его мягкие русые волосы поднялись и зашевелились от ветра. Наде показалось, что в глазах у него стояли слезы, а возможно, это были ее слезы, сквозь которые она прощалась с Воркутой. Валек повернулся и пошел к двери вокзала, где была надпись «Выход в город». Проводив взглядом Валька и пожелав ему много счастья и радости в жизни, она вернулась в купе и села на свое место внизу. Вагон постепенно заполнялся. По коридору шли, разговаривая и смеясь, люди. В чуть приоткрытую дверь просунулась женщина.

— Это какое купе, шестое? — спросила она и, не дожидаясь ответа, сказала кому-то за своей спиной: — Саша! Вот наше купе!

При слове «Саша» душа Надина встрепенулась: кто-то носил это имя! Женщина дружески улыбнулась Наде.

— Будем соседями! — сказал невысокий брюнет в летной форме с погонами майора и пропустил женщину вперед. — Вот наши места, Лёлечка!

Надя еще взглянула на свою соседку, потому что не могла не взглянуть. Эти голубые, чуть навыкате, глаза и нос, слегка вздернутый на самом кончике, а главное, голос были ей знакомы. Но кто это? Она вспомнить не могла.

— Вы одна? — спросила женщина, и Надя еще раз убедилась — голос этот она слышала раньше.

— Да, одна!

— Хорошо бы никого больше не посадили, — обращаясь к летчику, капризно произнесла женщина.

— Уже и не посадят, через минуту тронемся, — взглянув на часы, успокоил он ее.

Она уселась напротив Нади, стала доставать из сумки разную снедь и ставить на стол, время от времени взглядывая и улыбаясь ей.

— Я пойду покурю в коридор, не возражаешь?

— Ступай, Саша, я пока переоденусь!

Как только за ним закрылась дверь, женщина встала и заперла ее, потом быстро села рядом с Надей.

— Я сразу догадалась, что ты меня узнала. Когда ты освободилась? — спросила она.

И Надя действительно узнала ее, несмотря на золотые часы, пальцы рук, унизанные кольцами, прическу и духи «Красная Москва». Вспомнила! Это же Лысая, ее глаза, ее нос, ее пухлые, алые губы. Только не было тогда этих красивых каштановых

кудрей.

— Сегодня, три часа назад, а ты?

— Я давно, уже два года. Ты молодец! Я боялась, что узнала меня и полезешь с расспросами! Чего доброго, скажешь «Лысая», по старой памяти.

Надя вспомнила, что не знает ее имени, помнит только «Лысая», и все.

— Ты и виду не показывай, что знаешь меня. Он ведь моего «революционного прошлого» не знает, сказала Лысая. — Куда ты теперь?

— Домой, а вы?

— Мы в Гагры, в санаторий РККА.

«Нигде ворью такой лафы нет, как у нас», — вспомнила Надя изречение Светки Корытной.

— А где подружки твои — Манька Лошадь, Амурка, Пионерка?

Лысая пожала плечами:

— Точно не знаю. Говорили, вроде Маньку на «капиталке» ссученные в карты проиграли, порезали. Амурка — в Сивой Маске, а Пионерка… Да на черта они мне сдались! — резко возмутилась она, и лицо ее, такое безмятежное и добродушное минуту назад, стало таким, как помнила его Надя, сражаясь за Космополиткины туфли.

— У меня теперь другое общество, другие знакомые. Ты смотри не проговорись! — приказала Наде. — А про сифилис мой Манька со злости тогда наболтала. Нет у меня ничего и не было. Поняла?

Но Надя и в мыслях не допускала «открыть глаза» этому славному парню, с таким дорогим ей именем. «Жаль, если не наврала Манька Лошадь, будет бегать по врачам ни в чем не повинный летчик», — пожалела Надя.

Дверь подергали, и Лысая поспешила открыть.

— Что это вы, девушки, заперлись?

— Да вот соседка моя переодеться хотела, — живо нашлась Лысая.

— Ах, пардон, пардон, я выйду, — извинился летчик.

— Нет, нет! — поспешно поднялась Надя. — Я уже переоделась… Пойду у окна постою. Ей и правда хотелось не пропустить, увидеть, как покажутся первые деревья, которых она не видела так давно. Допоздна простояла у окна и прозевала. Вышел из купе летчик и пригласил Надю.

— Там Лёлечка вас закусить приглашает, — любезно улыбнулся он.

— Спасибо, я не хочу, — отказалась она, хотя уже давно

намеревалась спросить, в каком вагоне ресторан.

— Нет уж, не обижайте нас! — И, решительно взял ее за локоть. Пришлось пойти, ломаться нехорошо.

— Ты с нами местами не поменяешься? — игриво поблескивая глазами, спросила Лысая. — Сама понимаешь, дело семейное!

— Конечно, конечно, сказала Надя. — Мне все равно. Я люблю на верхних местах.

— Это смотря в каких вагонах, пряча усмешку, сказала Лысая, видимо, вспомнив этап в Воркуту!

— Вот и отлично! — весело сказал летчик и откупорил бутылку со смешным названием «Спотыкач».

— Извините, я не пью, — сразу предупредила Надя.

— Это почему же? — удивился летчик.

— Голос берегу, учиться в консерваторию еду…

— А! — с уважением посмотрел на нее летчик.

— И не приставай в таком случае, — поддержала Лысая.

Посидев немного, Надя, сдерживая свой аппетит, позволила себе съесть яйцо и небольшой кусочек курицы, хотя могла бы и больше, но стеснялась. Хотелось скорее постоять в коридоре у окна, а если не занято откидное место, то и сесть. Уже выбежали навстречу поезду острые, как веретена, ели, а на следующее утро где-то под Абезью или подальше — и совсем высокие, настоящие, таежные. Абезь, Инта, Ухта, все знакомые названия. Где-то тут, совсем рядом, за стеной из елей и сосен, протянулись километры колючей проволоки, за которой все еще томились ее вчерашние знакомые зечки: Антонина Коза, учительница Зубстантив, собирательница местного фольклора Наташа Лебедева… «Как же мне теперь жить? — опять задавала сама себе без конца один и тот же вопрос Надя. — В стране, где у власти преступники, при которых всему уголовному миру живется вольготно. И кто скажет мне теперь, что молчаливые свидетели арестов невинных людей — порядочнее и честней, чем воровка Манька Лошадь? А те, кто измышлял клеветнические доносы, кто давал им ход, выступал свидетелем на процессах, обвиняя в несуществующих грехах, кто пытал и расстреливал, чем лучше бандита Бори Ремизова? А те, кто в порыве квасного патриотизма кричал на всех перекрестках: «Смерть врагам народа!» и спешил занять их еще не остывшие квартиры и места? Разве они лучше, чем урки? Как встречусь я с ними, теперь, когда мне открылась великая правда, поразив мой мозг «антисоветчиной»? Осмелюсь ли при случае сказать: «Вы все знали и не могли не знать, но вам было удобно получать из преступных рук земные блага»! Счастье ваше — умер тиран, а то и до вас добрались бы щупальца гигантского спрута. Земля наша

большая, сколько еще лагерей можно было бы построить! Но, «так не будет, потому что не может быть», — сказал ей Клондайк, и не я, жалкая зечка, вынесу вам приговор, — вас осудят ваши же дети, для сомнительного блага которых, вы подличали, доносили, предавая друг друга и прятались за портреты вождей».

Рассвет третьего утра Надя встретила все у того же окна, на откидном сиденье. В прозрачной дымке занимающегося дня, она увидела, как навстречу ей побежали, чуть начинающие распускаться березки, свежие, молодые, стройные белоножки все в изумрудных кружевах. И провожая их, убегающих вдаль, она сама себе ответила: «Надо верить! Верить в то, что Бог поможет многострадальной моей земле очиститься от скверны и он же, Всемогущий, сотрет с лица земли вышки, проволоки с предзонниками, вахты и бараки дьявольской империи Воркутлаг — Речлаг, л/к, п/я, 223/33 «Р»».

Конец первой книги.

КНИГА ВТОРАЯ
ЗЕЧКА-ВОЛЬНЯШКА

ОБИТАТЕЛИ «БОЛЬШОГО ВОЛЬЕРА»

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной.

Батюшков

Москва встретила Надю теплым проливным дождем, и, пока она, путаясь подземными переходами, добралась, наконец, с Ярославского вокзала до Казанского, дождь прекратился, и кое-где проглянуло голубое небо. Электрички ходили часто, и, купив билет, она ждала недолго. Прошла по платформе вперед, к первому вагону и села у окна. Промелькнули станции со знакомыми названиями: «Новые дома», «Фрезер», «Сортировочная»… Как будто вчера это было, когда в последний раз она ехала этой дорогой, прижимая к груди аттестат, полная светлых задумок и надежд. Перед своей остановкой Надя вышла в тамбур, где уже стояли на выходе трое мужчин и разговаривали о чем-то своем, перемежая простые, примитивные слова отборной матерщиной. Они не ругались, просто мат органически вписывался в речь каждого из них. «Кто это? Бывшие зеки?» — удивилась она. Но они не были похожи на зеков. Одеты вполне прилично и не пьяны. Майор Корнеев, будучи сам отменным матерщинником, не зная, чем заполнить бур и карцер, приказал нещадно сажать зечек за мат. Но и бур, и карцер не пополнялись сквернословами, никто из зечек не попал туда за мат, а, возможно, его просто не замечали?

Мало изменилась Малаховка за эти годы. Чуть почище на платформе, лучше одеты жители, зато подземный переход совсем заплошал от сырости недавней зимы. Дачники, а их сразу отличишь, с авоськами и сумками, набитыми провизией, спешили, обгоняя друг друга к своим дачам. В общем, все как и прежде, «большой вольер» жил. Не ощущая особой радости от встречи со знакомыми местами, Надя пошла к своему опустевшему дому. Но дом ее оказался обитаем. Не обрадовалась приезду Нади и ее соседка Клава. Уже успела Клава занять ее дом и расселиться с подросшими детьми. Митька, здоровый парнина, косая сажень в плечах, набычился, наблюдая исподлобья за Надей, не ответил ей на приветствие. Комод мамин с зеркалом задвинули в угол, шкаф зеркальный, купленный здесь же, в сельпо, перед самой войной, поставили вместо ширмы, зеркало в шкафу разбили, а за шкафом старый Надин неубранный диван.

— Ты теперь насовсем иль на время? — озабоченно спросила

Клава.

— Насовсем!

— Ну да, ну да! Амнистирована! — неопределенно протянула она. — Ты уж извини, ребята подросли, тесно в одной комнате, не умещаемся! Чего там двенадцать метров на четырех!

— Вещи где?

— Какие?

— От мамы остались!

— Какие вещи, хомут да клещи! Тетка твоя из Калуги увезла.

— Все?

— Что получше взяла! Да что у вас было-то? В одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи!

Надя согнала беса, готового к бою. Но и Клава догадалась, что может возникнуть серьезное осложнение. Давно была продана кожаная на меху куртка отца, выданная на аэродроме перед войной, старый «Зингер», завещанный тетей Маней, перебита посуда и куда-то исчезли Алешкины книги. Поэтому Клава поспешила заверить Надю:

— Да ты не думай! Мы дом освободим, мы так, временно, пока тебя не было. И дом сохранили, а то растащили бы, опомниться не успела бы, только держись!

Надя вышла в сад, но и там не нашла ничего радостного. После морозов в финскую войну отец посадил две яблони. Мать, любя отца, с особенной заботливостью ухаживала и оберегала их, как память о любимом, радуясь первым цветам и с детским восторгом срывая первое яблоко. Теперь Надя и следа их не обнаружила. Хотела спросить, да что толку? Знала, все равно наврет Клава с три короба. Вечером за тонкой перегородкой, которая стеной делила небольшой дом надвое, было слышно, как спорили и ругались Клава с мужем. Поджарый, лядащий мужичок визгливо возражал ей, в чем-то не соглашаясь. Дородная Клава, или, как е называли в округе, «Клаушка», до войны бойко торговала в «кооперативе» и пользовалась уважением малаховцев, всегда готова ответить, чего привезли, что давать будут, и почем. В войну Клав овдовела и оказалась с двумя детьми на руках. Но оставалась одинокой вдовой недолго. Вышла за инвалида и держала его в «черном теле».

Долго ворочалась с боку на бок Надя на своем скрежещущем диване, который без охоты ей уступила дочка Клавы Аня, угрюмая бесцветная девушка, прозванная в детстве «немой пехтиль» за то что до пяти лет не говорила ни слова. И опять Надя подумала, что безрадостно ее возвращение в отчий дом. «Ни себе, ни людям с моего приезда. Уж лучше бы остаться там, попытаться устроить в театр или в культбригаду». Только под

утро заснула, полная тревоги и сомненья.

Проснулась от шепота, шепелявила Клава: — Я те сказала, не разбрасывай деньги, где попало, сам знаешь, кто в доме, не маленькие.

— Пусть попробует только тронуть, я ей лохмы-то живо повыдергаю, — басил Митька.

«Лучше по морде б меня стеганули! — подскочила с дивана Надя и села. — Вот я какая! Люди деньги от меня прячут! И кто? Известная на всю Малаховку жуликоватая торговка Клава!» А Клава догадалась, что ее было слышно, и поспешила за шкаф, виляя необъятным задом:

— Тут о тебе справлялись, будить не стала, сказала, спишь…

— Кто?

— А участковый наш…

— Филька, что ли?

— Что ты! Филимон Матвеевич большой начальник теперь. Трушков, участковый наш, велел тебе в милицию срочно прийти.

— Зачем? Не сказал? Не знаешь?

— А я почем знаю? Все, кто из тюрьмы вернулись, на учете ведь!

И опять сдержала беса Надя. А так хотелось треснуть кулаком по рыхлой, дебелой заднице. Она не знала, что Клава чуть свет сбегала в милицию доложить, что приехала из тюрьмы «эта». Но Надя поняла: хотелось Клаве скандала, чтоб опять побежать с воплями пожаловаться в милицию, чтоб выселить, занять дом на законном основании, осудить хулиганку! Сказать: «Я предупреждала, сигналила!»

Поэтому не унималась:

— Подурнела ты здорово! — вроде как сочувствуя, пожалела она. — Тощая какая! Кожа да кости! И то сказать, тюрьма не красит!

— Верно! Ты молодец, тогда вовремя из кооператива смоталась, а то и тебе растрясти жир побольше моего пришлось бы… — ядовито заметила Надя и отправилась в милицию. Есть хотелось зверски. Она вспомнила, что ела вчера в последний раз утром в вагоне-ресторане с Лысой и ее мужем. На ступеньках универмага, что напротив станции, стояла женщина с корзиной ватрушек и пирожков. Надя купила ватрушку и два еще теплых пирожка с капустой. Быстро затолкала их в рот и направилась в милицию. Пирожки, жаренные на несвежем масле, были омерзительны, квашеная капуста в начинке пахла детскими пеленками, а творог в ватрушке — тухлыми яйцами. «Господи! И зачем я только освободилась? — подумала Надя. — Теперь мне понятно, почему уголовники сидят по два, три срока. Такая

тоскливая встреча со свободой немногим лучше, чем за проволокой!»

Полная горьких дум и размышлений она незаметно подошла к милиции. Взглянула, а на ступеньках сам Филя стоит, как гриб, шляпка-фуражка большая, только на ушах держится, чтоб на нос не свалиться, полнехонек рыжих веснушек. Ничуть не изменился… Увидел Надю и в сторону конопатый нос отвернул, вроде не видит, а может, ей просто показалось, не узнал…

— Здравствуйте, товарищ начальник милиции, — степенно поздоровалась Надя, налегая на слово «товарищ», столько лет запретное для нее. Филя обернулся.

— Здравствуй, Михайлова, вернулась, значит? — просто сказал Филя, словно на днях виделись. — Ну, проходи в кабинет, потолкуем…

Кабинет у Фили все тот же, что и раньше, и стол, где сидел симпатичный следователь, и портрет Ленина на том же месте, над столом, только вместо Сталина портрет строгого мужчины в пенсне. «Берия», — догадалась Надя.

— Садись! — предложил Филя, указывая на стул против себя. — Рассказывай, где была, что делала?

— В Воркуте в хлеборезке работала.

— В Воркуте? Эта на Крайнем Севере? Далеко! Ну и как, лихо досталось?

Совсем забыла Надя, что и Филя к ее судьбе руку приложил, а то не сказала бы ему так откровенно:

— Очень лихо!

— Да… — задумчиво произнес он, затем, достал пачку папирос и закурил. — Какие документы выдали? — И, пока Надя доставала свои справки об освобождении: одну — решение Верховного Суда, другую со своей фотографией, Филя толковал ей: — Паспорт надо получить, прописку… без прописки на работу не устроишься нипочем!

— Вот! — сказала она, подавая ему обе справки.

Филя долго, внимательно изучал листок, выданный Наде на Воркуте для предъявления по месту жительства, особенно протокол заседания Верховного Суда, который, видимо, произвел на него сильное впечатление.

— Дело производством прекращено… — вслух прочитал он. Освобождена за неимением состава преступления! Не по амнистии? Что же, выходит, зря тебя осудили? Так надо понимать? Он окинул Надю недоверчивым и строгим взглядом, словно она была виновата, что ее «зря» осудили…

— Сами знаете, что зря!

— Как же так? Хорошо помню, депутат звонила,

Симанженкова, что ли? Нет, не она, или как его там черта? «Осудить со всей строгостью», и, выходит, напрасно? Я еще тогда засомневался… А ну, давай по порядку, выкладывай все!

Очень не хотелось Наде объяснять, как и почему ее освободили, но Филя не успокоился, пока не расспросил ее обо всем, подробно. Слушал внимательно и то качал головой, сердито щуря глаза — не одобрял, то, одобряя, прыгал на стуле, ударяя кулаком по столу:

— От ведь как! А?

Выслушав Надю, он долго молчал, переживая. На его конопатых щеках перекатывались желваки. Помолчав, Надя спросила:

— Что мне теперь? Куда?

— Иди быстро сфотографируйся на паспорт, пиши заявление. Получишь паспорт, пропишешься, тогда подумаем…

Обе фотографии лежали у нее в кошельке. Одна для Клондайка, другую забыла отдать Вальку…

— Такие годятся?

— Они самые, с уголком! Теперь еще вот! Сберкнижка Марии Мешковой. Тут тебе в сберкассе по ее завещанию деньги получишь. Да на кладбище сходи… У матери не была?

— Нет еще! — покачала головой Надя.

— Как же так? Надо, надо! Вместе они с Мешковой, рядышком схоронены.

«Господи! Какой он! И живых, и мертвых — всех помнит!» — удивилась про себя Надя.

— Отправляйся, давай! В четыре зайдешь за паспортом. Если на месте буду, ко мне загляни!

— Хорошо, спасибо!

— Как жить-то думаешь? Работать надо!

— Сама еще не знаю. Дом наш заняли, Гордеевы с детьми поселились, косятся на меня.

— Об этом не тужи! Скажу Клавдии, дом мигом освободят. Это не задача. А что косятся, тут уж ничего, милок, не поделаешь. Так люди устроены: в чужом глазу соринку видят, в своем и соломины не чуют. Ты иди! Иди пока на кладбище, а к четырем приходи. Есть у меня кое-какие соображения, — сказал Филя и подмигнул рыжим глазом, отчего веснушки на его щеке дружно запрыгали.

Не к такому разговору приготовилась Надя. Ждала, что будет заносчиво и дерзко говорить, а получилось по-другому.

Два небольших, едва заметных песчаных холмика, полуразмытых весенними водами, — вот и все, что осталось от дорогих ей матери и тети Мани.

«Хорошо еще, чья-то добрая душа воткнула колышки с фанерными дощечками, где были указаны их имена, а то и не узнала бы, где схоронены». В горестном раздумье Надя присела на уголок скамьи, посидела, поплакала, благо слезы еще с утра не успели просохнуть, а потом взяла у сторожа лопату и подправила обе могилы. «Разбогатею, поставлю ограду и памятник», — пообещала себе она. Возвращая сторожу лопату, дала ему двадцать пять рублей.

— Вы уж присмотрите за могилками, теми, что у канавы крайние, — попросила она. — Я приеду, ограду и памятник поставлю скоро.

— Ограду у нас закажи, ребята сварганят, только плати, а памятник не раньше года, жди, земля осядет, — сказал сторож, пахнув на нее винным перегаром.

На соседнем еврейском кладбище шли похороны. Кто-то рыдал, вопил, причитая по-еврейски.

— Чур меня! Чур не мое горе! — прошептала Надя и пошла.

На станционных часах было два, идти в милицию рано. Побродив еще немного, она вышла к дачному поселку, где жила Дина Васильевна. У знакомого зеленого забора, приподнялась на носках и заглянула в сад. Кусты сирени сильно разрослись и скрыли своими ветвями окно дачи. Двое малышей играли в песке, что был насыпан горкой у дорожки к дому. Как будто все было знакомое, а в то же время чужое. Откуда дети? Чьи?

— Вам кого? — внезапно спросил женский голос за Надиной спиной. Она быстро обернулась. Перед ней стояла миловидная молодая женщина, с полной сумкой продуктов в руке.

— Мне Дину Васильевну!

— А вы кто? — с подозреньем спросила женщина, оглядев ее.

— Я? Я ее ученица, — неуверенно ответила Надя.

— Михайлова, что ли, Надя? — нелюбезно произнесла женщина и поставила на землю сумку. — Я бы на твоем месте не беспокоила бы ее, ты ей и так очень трудно досталась, в ее ли возрасте по прокуратурам ходить.

— Я хотела сказать ей спасибо, — в полной растерянности от такого неожиданного приема прошептала Надя.

— Вот я и говорю, самая большая благодарность будет Дине Васильевне, если ты оставишь ее в покое! — сердито сказала женщина, подняла сумку и толкнула ногой калитку, которая оказалась не запертая. — В Новосибирске она, у сына, и очень тяжело больна, — добавила она и заперла за собой калитку на задвижку, как бы давая понять, что говорить не намерена.

— Пожалуйста! — крикнула ей вслед Надя. — Если увидите ее, — женщина остановилась, — передайте ей мою навечную

благодарность, за все, что она для меня сделала!

— Так сразу и надо было, чем со шпаной путаться! — бросила через плечо женщина и пошла к дому не оглядываясь.

Не сразу пришла в себя обескураженная Надя, и даже бес не помог, молчал. «Так мне и надо!» — прошептала она и побрела прочь, обратно, в милицию.

Кто эта женщина, которая так жестоко и резко, видимо, оберегая покой больной Дины Васильевны, не только отчитала ее, но и указала ей, как надо быть ей скромнее, не лезть, куда не просят?

«Должно быть, родственница или жена сына», — подумала Надя и тотчас припомнила, что Дина Васильевна в последнее время совсем не подавала о себе вестей. «Не меня, маму мою она жалела добрым сердцем. А меня чего жалеть, путалась со шпаной. Так мне и надо!» — еще раз повторила себе она.

От голода, а возможно, и от пережитой обиды у нее слегка кружилась голова, и в маленьком ларьке, по дороге в милицию, она купила двести граммов колбасы, булку и бутылку лимонада.

Больше, кроме темных макарон и гороха, там ничего не было Тут же, на скамейке, быстро поела, запивая прямо из горлышка бутылки под насмешливые взгляды проходящих мимо мужчин, на ей было все равно, что подумают о ней какие-то малаховские прохожие. Кое-как проболталась по улицам, вокруг милиции, до четырех часов и ровно в четыре постучала в дверь Филиного кабинета. Никто не ответил. Она подергала дверь, но та была заперта.1

Из соседней комнаты высунулась голова в милицейской фуражке: I

— Чего стучишь? Видишь, заперто! Нет начальника! По какому вопросу?

— По личному!

— Тогда жди! К пяти будет.

Надя села на лавку и задумалась. Мысли ее были горькие, как хина. Она потеряла след Дины Васильевны, на которую надеялась, хватаясь, как утопающий, за соломину. До сих пор ей виделось, что придет она к ней с чистым паспортом и скажет: «Спасибо вам, за вашу помощь и хлопоты. Я пробыла почти пять лет в «Сталинской академии Речлаг», но они не прошли зря. Меня окружали умные и образованные женщины, осужденные порой за несуществующие преступления. От них я узнала многое, что было скрыто от меня великой ложью великих лжецов! Они указали мне, неверующей пионерке, путь к Всевышнему, научили молиться, уверовать в Бога! Узнав истину, я стала такой же, как они, но не нашлось среди них, кто предал бы меня, хоть и был мой мозг

«поражен антисоветчиной. Я работала там, как каторжная, за кусок хлеба и черпак баланды, но дай мне Господи и здесь, на воле воробьиной встретить таких же людей!» Теперь это сказать было некому.

Погруженная в свои размышления, она и не заметила, как пришел Филя.

— Давай, заходи! — приказал он.

Филя долго усаживался, шелестел бумагами, перебирая их на столе и по тому, как он озабоченно морщил свой низенький лоб и шевелил бровями, Надя поняла: он готовил себя и ее к нелегкому разговору.

— Садись! — сказал он, увидев, что Надя все еще стояла у дверей. — К матери ходила?

— Ходила!

Филя еще некоторое время шмыгал носом, сморкался в нечистый платок, потом, как бы решив что-то про себя, хлопнул по столу ладонью.

— Так вот! — начал он. — Был я у Гордеевой. Дом ваш она заняла незаконно, и выставить семейку можно в одночасье. Теперь слушай, что я тебе скажу: уезжать тебе отсюда надо.

— Куда? — испуганно спросила Надя.

— Хоть куда угодно! Ничего хорошего тебе здесь не будет. На каждый роток не накинешь платок, и всем не объяснишь, что зазря пять лет отбарабанила. Многие еще помнят ваш суд. Чуть что, оскорблять тебя будут, обижать! Кто ты для них? Темная лошадка! Девушка с сомнительным прошлым!

Слова Фили поразили ее в самое сердце злой своей правдой.

— Я бы уехала, только куда?

— Дом по закону принадлежит тебе, как единственной наследнице, и выставить их труда нет. Да ведь их вон сколько! Опять в одну комнатенку полезут, крику на всю Малаховку не оберешься. Начнут буянить, жилплощадь требовать, а где ее возьмешь?

— Что же мне делать?

— А вот! Клавдия тебе деньги за дом отдаст. Деньги у нее есть, сама сказала.

— Какие еще деньги?

— Какие-какие? Бестолковая! — рассердился Филя. — Известно какие — за дом.

— А я где жить буду?

— В Москву поедешь! — потом, после некоторого раздумья, добавил: — К моему брату. Он в Черемушках начальник стройучастка. Там определит тебя куда-нибудь, к делу приучит!

— Дом жалко! — всхлипнула Надя.

Продать дом, где родился и вырос, где каждое бревнышко, каждая половица знакома с детства, жалко, до слез жалко. Но Филя был непреклонен, считая самым лучшим выходом для нее выбранный им план. Он предвидел: в случае если Надя поселится по соседству с «Клаушкой», от скандалов житья не будет обеим. То, что Надя была признана невиновной, тоже в его мнении сыграло немаловажную роль. Он помнил, что сам тогда помогал следователю допрашивать ее, и чувствовал что-то похожее на угрызения совести. Кроме того, он не видел, чем она могла заняться в Малаховке. Филя считал, что для молодежи здоровый дух рабочего коллектива — лучшее воспитание советского человека.

— Уедешь, где тебя не знают, начнешь все сначала. О прошлом напрочь забудь, как и не было. Ты молодая, глядь, и судьбу свою найдешь!

— Дом жалко! — опять вздохнула Надя.

— Заладила Жалко, жалко — теряя терпенье, прикрикнул на нее Филя. — Жалко, знаешь, где? У пчелки, а пчелка на елке! Себя жалей!

Надя опустила голову и смотрела, как по половице нахально шагал большой черный таракан.

Ты «Капитанскую дочь» читала? От такого неожиданного перехода она с недоуменьем посмотрела на него.

— В школе проходили, а что?

— А то! Что там написано? «Береги честь смолоду»! Вот что там написано, поняла?

Надя промолчала. Сказать было нечего, слов этих она не помнила и честь свою не уберегла, — прославилась на всю Малаховку. Теперь впору бежать без оглядки.

— Ну, так решай! Не тяни резину!

— Я решила.

Через три дня Надя закончила свои дела в Малаховке. Получила паспорт, оформила продажу дома, получила в сберкассе деньги и взяла у Фили письмо для брата в Москву… А в дороге все вспоминала: откуда ей помнилось такое название «Черемушки»? И, уже подъезжая к Москве, вспомнила «Да ведь это Манька Лошадь говорила: «лагерь там был, ОЛП № 3 Спецстрой МВД, и/я 175/3, где она срок «тянула» — и еще вспомнила, что называла тогда начальника лагеря, капитана Ганелина, который им «гужеваться» давал, а два опера, Сафонов и Леонор, гады!

На многие годы сохранила Надя теплую благодарность к рыжему капитану Филимону Матвеевичу, так верно определившему ее место под солнцем.

Брат Фили оказался полной противоположностью ему. Высокий, плечистый здоровяк с обветренным и загорелым лицом. Раза два, пока читал письмо, он взглянул с любопытством на Надю из-под темных густых бровей и закончил читать совершенно с другим выраженьем лица. Хмыкнул, покрутил головой, свернул письмо и засунул в карман спецовки.

— Работать будешь? Или так, шаляй-валяй? — и, не дожидаясь ответа, обратился к женщине в спецовке и грязных сапогах:

— Ну-ка, Галка, быстро мне Аню давай, с четвертого…

— Какую? — нехотя спросила женщина. Ей, видно, не хотелось уходить из конторы, где она удобно уселась на подоконнике с алюминиевой кружкой и бубликом.

— Бригадира плиточниц — вот какую!

— Сидоренко, что ли?

— Да, Сидоренку, да пошевеливайся быстрее, нечего здесь прохлаждаться!

Женщина недовольно фыркнула и не спеша слезла с подоконника, а затем так же спокойно выплыла из конторы.

— Работнички! — зло произнес он ей вслед. — Как там наш Филимон, все воюет со шпаной?

Но Надя не успела ответить на его вопрос: в комнату ввалились мужчины, все в спецовках, у некоторых на голове были каски. Они направились прямо к столу Степана Матвеевича и стали что-то горячо требовать, кого-то ругать и даже угрожать, при этом все нещадно дымили и не стеснялись в выраженьях. Из их шумной брани Надя ничего не поняла и только узнала, что Степан Матвеевич обязан доставать, писать, обеспечивать и еще много чего делать. Тут пришла та женщина, Галка, и привела с собой другую, помоложе и очень хорошенькую, тоже с платком на голове до самых бровей. Совсем как повязывались девушки из горячих цехов и на погрузке кирпича на кирпичном заводе. От ее такой знакомой внешности Надя почувствовала себя покойно и на месте.

— Звали, Степан Матвеевич? — продвигаясь к столу и расталкивая мужчин, спросила она.

— Вот, Аня, возьмешь к себе девушку! — приказал Степан Матвеевич.

— На что она мне? — с ходу возмутилась Аня. — Она что, плиточница? Ты плитку класть можешь? — обратилась она к Наде.

Надя не совсем поняла, о какой плитке идет речь, и покачала головой.

— Нет!

— Мне плиточницы нужны, плитку класть некому. Сама целую неделю кладу! — раздраженно воскликнула она.

— И клади! За то тебе деньги платят!

Мужчины засмеялись, наперебой забалагурили:

— Подумаешь, академик! Сама плитку кладет! Артистку эксплуатируют!

— Возьми, возьми красивую девушку, у тебя в бригаде такой нет, одни рожи!

— Ну, будет, кончайте базар! — гаркнул Степан Матвеевич. — Иди и Алене скажи, чтоб к вечеру в общежитие устроила, ей жить негде.

— Еще чего! — взвилась Аня. — Может, ее к нам четвертой запихнуть?

Мужчины, уже повалившие было к двери, остановились и с интересом прислушивались к перепалке, но, не выдержав, со смехом загоготали:

— К нам ее в общагу давай, к нам! Мы не обидим!

Аня посмотрела на них и неожиданно рассмеялась:

— Ну и охламоны! — и совсем уже по-доброму сказала: — Ладно уж, как-нибудь устроимся!

— Ты, Сидоренко, к Тоне ее поставь, скажи, я велел, пусть обучает ее. Не боги горшки обжигают!

Бригада плиточниц, куда определили подсобницей Надю, работала по отделке жилых домов нового квартала Черемушки. Очень хотелось ей спросить, где здесь находился, а может, и сейчас находится лагерь с зеками. Но не у кого было. Большинство девушек бригады были из соседних Москве городов и деревень и, конечно, знать не могли.

В переполненном общежитии, или «общаге», как его называли обитатели, найти место оказалось делом непростым. Но Аня почему-то сразу прониклась симпатией к новенькой и после небольшого скандала, пригрозив заведующей устроить проверку прописки жителей общежития, схлопотала ей место в своей комнате, у самой двери.

— Деньги в тумбочку не вздумай класть, тяпнут, оглянуться не успеешь! Поняла? — предупредила Аня.

Пришлось носить свои сокровища с собой, но, как только была получена прописка в «общаге», Надя немедленно оформила себе сберкнижку в ближайшей сберкассе, следуя мудрой пословице: подальше положишь — поближе возьмешь. Денег оказалось около тридцати тысяч, сумма огромная, но не для пустяшных трат, а для исполнения честолюбивых замыслов. Конечная цель — консерватория. Тяжелой работы она не боялась. Москва не Заполярье, не лагеря. Рабочий день восемь часов,

вечера свободные, и воскресенье тоже твое. Спи хоть весь день-деньской, если хочешь. Да и после работы можно переодеться, сходить в кино или так, побродить по городу, и никто не скажет, студентка ты или плиточница. Так что, когда ей говорили: «стройка работа тяжелая, не женская», она улыбалась про себя: «Знали бы они, что такое тяжелая работа!»

Незаметно пролетела первая неделя, а уже в следующую Надя сама ловко шлепала на стену раствор и аккуратно накладывала плитку. Тоня, лучшая плиточница в бригаде, к которой направили помощницей Надю, тихая, скромная женщина, не могла нахвалиться понятливостью своей ученицы. Сама Тоня работала ловко и быстро, с удивительно точным глазомером, никогда не пользуясь ни линейками, ни рейками, как другие. «Глаз — алмаз», — говорили о ней в бригаде.

— Я даже вижу иной раз, какие у нас дома косые получаются, — тихонько смеялась она.

— Как там новенькая? — спросил на летучке Степан Матвеевич Аню-бригадира.

— Ничего! Пойдет дело, молодец она.

Работа хотя и грязная, а подчас и тяжелая, нравилась Наде тем, что именно от ее умения и старания зависели качество и даже красота ее работы. Это не то что резать бесконечные пайки изо дня в день.

В бригаде были женщины почти все молодые, всего тринадцать с Надей, но встречались только утром, перед работой — все были разбросаны по этажам, по подъездам, по квартирам многоэтажного дома. Часто, закончив облицовку ванной, туалета или кухни к концу рабочего дня девушки мылись и стирали там же свое бельишко и уже чистые шли домой. Бывали и срывы, но только не по вине бригады. Не подвезли вовремя цемент, песок или плитку — и бригада вынуждена была простаивать. Срывался план, терялись прогрессивки, и падала зарплата. Аня ходила грозная, как львица, рычала и бросалась на всех, и даже на Степана Матвеевича. Но это случалось не часто. Новые дома росли, как грибы, и Надя не без гордости думала, что частичка ее души и рук воплотилась в многоквартирный корпус. Освоившись с работой, она вскоре так наловчилась, что уже не уставала и не валилась с ног на кровать, как в первые дни. Природная сообразительность и сноровка, с Тониными советами, подсказали, каким образом надо работать, теряя меньше сил, делать больше. Кроме нее и Ани в комнате проживали еще две девушки из малярной бригады. Встретили новенькую они злобными протестами. Но хозяйка «общаги», заведующая Алена, женщина крутая и властная, быстро угомонила их:

— Тут полагается проживать четырем, и все! Меньше с мужиками якшаться будете!

— Не твое дело! — попробовала огрызнуться одна из них, но тотчас получила сдачи:

— Как выставлю с милицией ваших хахалей, так сразу узнаешь, чье! Мое или не мое!

Протесты тотчас смолкли. Но, как только заведующая ушла, одна из них, заметив нехитрый Надин скарб, с явной ехидцей спросила:

— Из какой деревни будешь, село?

— Из твоей, соседка, не узнала?

— В нашем селе таких не держат!

— В нашем тоже, всех в Москву отправили! — бойко парировала Надя. На том разговор был окончен.

К девушкам-маляркам ходили по вечерам парни, и появление молодой и красивой Нади было ими расценено, как конкуренция. Первые заработанные деньги жгли ладони, хотелось купить так много! Но кончилось тем, что, поразмыслив, она решила строго следовать намеченному плану, а именно: съездить к тетке в Калугу, забрать письма, альбом с фотографиями и Алешкины книги, увезенные, по словам Клавы, Варварой Игнатьевной. Обязательно нужно поставить ограду на кладбище в Малаховке. И еще одно тяжкое свидание предстояло ей — поездка в Ленинград, к матери Саши Тарасова, Тамаре Анатольевне, узнать, где похоронен Клондайк, поклониться его могиле, и вернуть ей деньги, которые он перевел Наде в лагерь.

При одной мысли об этом свидании сердце ее начинало болезненно сжиматься, и надо было до боли кусать губы, чтоб не полились слезы, потому что глаза у Нади были на мокром месте, и ни думать и ни вспоминать Клондайка без слез она пока еще не могла. Тогда, в санчасти, Пашка сказала ей: «Уедешь — забудешь!» Но нет, не получалось. Спасаться от тоски можно было только в работе, на людях.

Дружила Надя со всей бригадой, однако близких подруг у нее не было, не хотела вопросов, избегала задушевных разговоров. Правда, Аня полюбопытствовала однажды:

— Ты сама откуда будешь?

— Издалека, с Воркуты.

— Где это? — Аня о таком городе и не слышала.

— На дальнем Севере, за Полярным кругом.

— Чукча?

— Нет, я русская, просто жила там!

— Замужем не была?

— Нет!

— А парень у тебя есть?

— Нет у меня никого! — отрезала недовольно Надя.

— Так уж и нет! — не поверила Аня, но, заметив, что Наде неприятен этот разговор, миролюбиво добавила: — Ну, этого добра всегда найдешь, если захочешь!

В один из выходных дней Надя отправилась в Калугу. Накануне на Арбате она купила торт «Сказку», недорогой, но очень красивый, украшенный розами и цукатами, и коробку конфет «Вишня в шоколаде». Когда-то Клондайк так называл ее глаза. Ехать надо было около шести часов поездом и еще где-то разыскивать улицу Огарева. Чтоб вернуться в тот же день, пришлось встать пораньше, добраться до Киевского вокзала и поспеть на первый «паровичок».

— Сразу бери обратный билет, да не забудь, взгляни на расписание, когда обратно, а то просидишь у тетки до утра! Да книжку возьми почитать в дороге, — сбесишься шесть часов сидеть на одном месте.

Книг у Нади не было, и Аня взяла у соседей, обернутую в газетный лист.

— Смотри, не утеряй, библиотечная!

В переполненном вагоне Надя забыла о чтении. Стоя на одной ноге, думала, как сохранить торт, не смять в лепешку. Но после Обнинска освободились места, и она с удовольствием села у окна. Накануне шел проливной дождь, и окно было так заляпано потоками грязной воды, что смотреть в него не имело смысла, все равно ничего не видать. Она вспомнила про книгу, достала из сумки и прочитала заглавие: «Русские поэты XIX века» — это был учебник. Почувствовав некоторое разочарование, она открыла книгу посередине, наугад, и прочитала: Федор Тютчев (1803–1873)… «Я очень люблю Тютчева», — сказал ей Клондайк, а дальше стихотворение, от которого у нее перехватило дыханье:

Люблю глаза твои, мой друг…
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

Она быстро захлопнула книгу. «Господи! Неужели я никогда не освобожусь, неужели на всю жизнь я прикована к своим воспоминаньям! — взмолилась она. — Ведь нет его, нет и никогда не будет!» Она отвернулась к окну, чтоб унять готовые слезы, на ее счастье в дверь вагона, толкая вперед ящик, прошла мороженщица, и Надя с радостью купила эскимо, чтоб хоть как-нибудь отвлечься, чего в другое время никогда не позволила бы себе: мороженое — враг голоса.

На часах вокзала «Калуга» было около часу дня, когда она сошла с поезда на перрон. Пройдя с толпой через вокзал, она вышла на привокзальную площадь, где огибали маленький сквер автобусы, и остановилась в раздумье, в какую сторону направиться или лучше спросить кого-нибудь из местных, кто знает улицу Огарева. Рядом остановилась зеленая «Победа», дверь растворилась, и шофер пригласил:

— Садитесь, девушка, если недалеко, подвезу.

В Надины расчеты не входило разъезжать на машинах, но, сообразив, что Калуга не Москва и дорого не запросят, уселась на переднее сиденье.

— Куда вас отвезти? — весело спросил паренек, чем-то напомнив ей Валька.

— Сама не знаю, где-то есть у вас улица Огарева, может, знаете?

— Улица Огарева? Рукой подать! — И точно, не прошло и десяти минут, как он бодро объявил: — Вот она самая, улица!

Живописные, одноэтажные, старые домики в три-четыре окна, такие вроде одинаковые и в то же время совсем разные, расположились по обеим сторонам улицы. Каждый по-своему украшен наличниками с кружевной резьбой и всякими замысловатыми загогулинами. В маленьких двориках, за высокими сплошными заборами, в щели можно было увидеть клумбы, сады и крошечные огородики. Вдоль всей улицы огромные старые тополя, смыкаясь высоко вверху своими могучими кронами, создавали как бы естественный шатер, полный тенистой прохлады.

— Улица какая допотопная! — не удержалась Надя, хоть дала себе слово не вступать в разговоры с посторонними.

— Да, домишки еще до революции строились, — охотно отозвался шофер. — Скоро все на слом пойдут, многоэтажки будут строить.

— Жалко! Красиво тут, — Надя вздохнула, вспомнив безликие, однообразные дома, какие ей приходилось отделывать.

— Хо! Жалко! А людей не жалко, зимой воду на коромыслах таскать? А печки да керосинки топить? Скажешь тоже! — разошелся было парень, но тут же резко затормозил у тротуара. — Вон он твой дом! Тебя подождать иль как?

— Зачем? — удивилась Надя, протягивая ему три рубля. — Хватит?

— Вижу, что не здешняя, может, Калугу посмотреть захочешь? — спросил он, пряча деньги в карман.

— А чего здесь интересного?

— В Калуге-то? — искренне удивился он. — Да ты о

Циолковском когда-нибудь слышала?

— Слышала!

— Так он у нас тут жил и работал, и дом его тут! Гимназия, где преподавал. Да здесь Ока одна что стоит! И так, по городу поездить можно!

— Спасибо! Машина-то у тебя чья?

— Машина? Машина директора! Директор с женой в Москву поехал. Теперь до вечера, к восьми, к поезду за ним поеду.

— Ладно, как-нибудь в следующий раз!

— Ну, как знаешь! — обиделся он и на полной скорости с ревом пронесся по улице.

Небольшой дом, в четыре окошка, встретил Надю негостеприимным молчанием. Несколько раз она с силой надавливала кнопку, звонка, напрасно стараясь извлечь из него хоть какой-нибудь звук… Пришлось пустить в ход кулаки. В маленькое оконце ей был виден коридор, где на столе горела керосинка с кастрюлей. Значит кто-то все же был дома. Побарабанив еще, она наконец добилась своего. Откуда-то издалека послышались шаркающие шаги, затем дверь отворилась ровно настолько, насколько можно было увидеть часть лица и стекло очков.

— Кого надо? — спросил приглушенный голос.

— Мне Варвару Игнатьевну Михайлову нужно!

— По какому делу?

— Я Надя Михайлова, племянница ее! — уже начиная сердиться, ответила Надя.

— Батюшки! — За дверью послышалась негромкая возня, и дверь со скрипом распахнулась. На пороге показалась пожилая женщина, отдаленно похожая на отца высоким ростом, худощавостью и густыми, с сильной сединой, русыми волосами. Она выглянула на улицу, как бы проверяя, не видел ли кто ее посетительницу, и без видимой радости произнесла:

— Заходи, раз пришла!

Две смежные комнаты, разделенные аркой на двух деревянных колоннах, нарядная печь из цветных старинных изразцов и высокое черное трюмо, украшенное резными гирляндами роз, придавали дому облик той старины, что видела Надя на картинах передвижников. Варвара Игнатьевна же, наоборот, была одета опрятно, вполне современно и даже с некоторой претензией на моду. Надя поставила торт и коробку на маленький столик и встала, ожидая приглашения хозяйки.

— Ну-с! Зачем пожаловала? — спросила Варвара Игнатьевна низким, глуховатым голосом, пристально разглядывая Надю из-за стекол очков недобрыми глазами. Надя, никак не ожидая такого

приема, несколько растерялась, не зная, что ответить. «Действительно, зачем я пожаловала?» — Вы тогда писали мне, когда мама умерла, что вещи…

— Какие вещи? — быстро перебила ее тетя Варя. — Все вещи ваша соседка прибрала, у меня не было возможности взять вещи.

— Простите, я не так выразилась, — поспешила исправиться Надя. — Письма там папины и альбом с фотографиями. Мне больше ничего не нужно!

— Почему же? — заметно потеплела и изменила тон Варвара Игнатьевна.

— Я не живу больше в Малаховке, теперь я в Москве, и мне их просто девать некуда, кроме папиных писем и фотографий.

Убедившись, что Надя не претендует на вещи, Варвара Игнатьевна и совсем смягчилась.

— Дай Бог мне память, куда я все подевала? — сказала она, сморщив свой невысокий лоб.

Письма оказались у нее в комоде, и, постояв несколько минут, она достала из нижнего ящика сверток, обернутый пожелтевшей газетой.

— Вот, смотри! Что тебя еще интересует?

Надя вцепилась в бесценный пакетик и аккуратно стала развертывать. Узенькая бархатная тесемочка, которой были обвязаны письма, оказалась не что иное, как лоскут от платья американской миллионерши.

— Кормить мне тебя нечем, а чаем угостить могу, — скосив глаза на столик, где лежал торт с конфетами, сказала Варвара Игнатьевна.

— Что вы! Я сыта, я совсем не хочу есть! — отказалась Надя, чем еще больше расположила к себе тетку. Она взяла со стола чайник и прошаркала с ним за дверь, а Надя устроилась на диване разбирать содержимое пакета.

Первое, что попалось ей на глаза, было наградное удостоверение и две вырезки из газет со статьями о подвиге ее отца. Затем шли его письма к матери. Все они, как одно, начинались словами: «Родная моя Зинуша…» — дальше о детях, о своих фронтовых делах, и заканчивались все тоже одинаково: «Целую кр. кр. до встречи» или «до скорой встречи, твой Николай».

Одно недоконченное письмо на листке без начала. Надя узнала руку матери: «А вчера Воздвиженье было, и журавли летели низенько так. Две стаи небольшие и все кричали, жалобно! Все останавливались и смотрели на них. Многие плакали, и я тоже. Думала, где ты теперь, мой родной». Дата 13 сентября 42 года. И тут же лицо матери, кроткое, маленькое,

большеглазое, с бескровными губами, вспомнилось Наде. Такая хрупкая пичужка, всегда в хлопотах о детях, о семье. За что ж судьба была так несправедлива, жестока к ней? Люди любили ее за то, что зависти она ни в ком не вызывала, а только сочувствие, желание помочь ей. Несколько писем Нади с Воркуты. Читать их она не стала. Стыдно! Одни просьбы. «Мама, пришли, пожалуйста» то мыло, то чулки, то лекарство. Не подумала дурной головой, а где было матери взять все это.

— Вот еще что-то ваше, — сказала Варвара Игнатьевна и подала небольшой кожаный мешок.

Надя сразу узнала его. В нем мать держала всякие принадлежности для шитья. Нитки, иголки, наперстки, пуговицы и крючки. Называли мешок ласково: — «торбочка».

— Пригодится чего поштопать или зашить, — сказала тетя Варя и пошла за чайником.

Надя высыпала содержимое «торбочки» на диван просто так, вспомнить о той, кто держал ее, пользовался ею. Среди катушек с нитками и штопкой она увидела крохотный узелок из марли и развязала его. Там оказались маленький золотой крестик и колечко с изумрудом, подаренное матери бабушкой в день рождения Нади. Зинаида Федоровна никогда не носила их и берегла «пуще глаза». Только один раз, как писала она в лагерь Наде, хотела продать кольцо на «адвоката», да, видно, не понадобилось. Зеленый камень был невелик, чуть больше чечевичного зернышка, и два белых прозрачных по бокам, зато кольцо было настоящее, золотое. На внутренней его стороне стояла цифра 96. Надя примерила и осталась довольна — кольцо пришлось ей впору на безымянный палец. «Носить буду, не сниму теперь, а разбогатею, куплю цепочку на крест и тоже буду носить».

— Еще альбом должен быть, желтый, бархатный такой, с фотографиями, — спросила Надя.

— Альбом? Не помню, может, в кладовой где, я посмотрю. Ты адрес оставь, я напишу, как найду.

Чай у тети Вари был очень вкусный, душистый, с липовым цветом, с малиновым вареньем.

— Малина у меня своя. Садик там, за домом, с гулькин нос: две сливы, клубничка. Только сил уже нет ухаживать.

— Если можно, письма я с собой возьму и вырезки из газет тоже, где о папе написано, хочется подругам показать.

— Возьми, конечно, все твое, и отцом гордиться не грех. В роду у Михайловых до третьего колена все герои были.

— Неужели? — удивилась Надя.

— Да! — с гордостью сказала тетя Варя. — Твой прапрадед

Михайлов за Шипку Георгия имел, прадед Михайлов в японскую за Порт-Артур отличился, а мой отец, дед твой, Андреем Первозванным в германскую награжден был, и в гражданскую за Перекоп Миронов самолично орден приколол. Про отца своего сама знаешь, — тетя Варя взглянула на Надю осуждающе. — Так-то, милая, Михайловы-мужчины все герои были. Она замолчала, но через некоторое время начала снова. — Вот мать твою я, по правде сказать, не любила.

— Отчего же? Она очень хорошая была, — обиделась Надя.

— Да уж чего там хорошего? Ни красы, ни радости, и семья её тоже…, поповская!

— Как это поповская?

— Поповна она была, мать-то твоя! Дед твой до революции попом в Инсаре был — служитель культа, как теперь называют.

— Главное, не воры, не грабители, не убийцы, не предатели! — возразила ей Надя, а про себя добавила: «и служили Богу, а не дьяволу в лице Сталина».

— Николай, отец-то твой, красавец был писаный! Все мои подружки в него влюблены были. И руки золотые, все умел, за что ни возьмется, все горит. Кабы не мать твоя, из поповской-то семьи, он в большие люди вышел бы. А то так и захряс!

Воспоминания, видно, очень рассердили тетю Варю. Брови ее сошлись на переносице, рот стал жестоким, а глаза сверкали из-за стекол очков, как два уголька.

— Попа-то, деда твоего, в революцию будто бы в Соловки сослали… там и сгинул…

Этого Надя уже выдержать не могла: «Хватит с меня старую чертовку выслушивать!» — и решительно поднялась.

— Мне пора!

— Что же, я не задерживаю. Пора так пора!

— Спасибо за чай!

— Ты где сейчас? Чем занимаешься?

— Работаю, скоро учиться пойду.

— Так, так, а где работаешь?

— На строительстве.

— Хорошо получаешь? Смотрю, кольцо у тебя дорогое. Изумруд, что ли? Да еще с двумя бриллиантиками!

— Да, бабушкино.

— Осталось, значит, припрятала! Их в революцию хорошо растрясли. Учти, изумруд — камень майский, счастье приносит только тому, кто в мае рожден!

— Значит, мне принесет!

— Ну, пока-то не больно осчастливил, — насмешливо сказала она, взглянув на Надю из-под очков. Проводив ее до наружных

дверей, предупредила: — Ты часто-то без надобности не приезжай! Соседи у меня гадкие, завидущие, увидят, начнут пытать, кто такая да откуда? Объясняй им! Ты пиши, если что понадобится. А лучше свой адрес оставь.

— Я, может, комнату получу, — соврала Надя.

Услыхав о комнате, Варвара Игнатьевна оживилась:

— Разживешься добром, не забывай тетку, а то пенсия у меня маленькая, учительская, едва концы с концами свожу.

— Обязательно! — пообещала Надя.

До отхода ее поезда оставался добрый час, и от нечего делать Надя зашла в привокзальный буфет. Чай у тети хоть и вкусный, но сытности в нем мало. Бутерброды с позеленевшей колбасой, и скрюченным сыром могли возбудить аппетит только лишь у доходяги-зека или голодающего с Поволжья, зато очереди не было, и полки гнулись под тяжестью красочных бутылок всевозможных названий со спиртными напитками.

— Возьми лучше винегрет и яйцо, свежее! — пожалела Надю буфетчица.

«И почему это у нас все такое недоброкачественное, недобросовестное», — посетовала Надя, уминая винегрет, где преобладала картошка с ослизлыми солеными огурцами.

В выходной день с вечерним поездом из Калуги мало кто ехал в Москву, и вагоны отходили от платформы полупустые. Надя заняла место у окна, недалеко от выхода и опять достала книгу со стихами. Нашла Тютчева, набралась духу и прочитала все стихотворение, которое когда-то так смутило ее своей откровенностью.

«До чего же я была глупа! Не поняла, как удивительно красиво можно сказать стихами о сокровенном».

А другое стихотворение Тютчева «Я очи знал — о, эти очи!» уже не могло обойтись без слез.

«Я считал, это просто поэтическое сравнение, а у тебя не глаза, у тебя очи!» — сказал ей Клондайк.

Хорошо, что никто не сидел с ней рядом и напротив тоже никого не случилось. «Наверное, смешно я выгляжу со стороны, ведь не объяснишь всем, что глаза у меня на мокром месте».

Только после Нары начали появляться дачники, а уже ближе к Москве народу набилось до отказа, не то что читать, рукой пошевелить нельзя было. В тамбуре расположилась веселая компания парней с двумя гитарами. Играли скверно, но очень громко, насколько позволяли струны, и горланили знакомую Наде песню, которую пели блатнячки в этапном вагоне.

А на дворе чудесная погода,

В окно сияет месяц молодой,
А мне сидеть осталося три года,
Душа болит, так хочется домой!

«Кто они? Мои ровесники? — старалась угадать Надя. — Бывшие зеки или будущие, на очереди? Отчего из всех наших прекрасных песен они выбирают блатные? Поэзию урок и уголовников. Почему не поют о «Бригантине»? И почему эти «Мурки», «Централки», «Таганки» так живучи? А ей весь этот уголовный фольклор всегда внушал непобедимое отвращение. Неужели правы были те, кто говорил ей «там, в тех местах»: «Потомки уголовного элемента, выпущенные на свободу волной революции, посеяли свое адское семя, прихватив с собой из тюрем и каторг песни и воровской жаргон, и образумить их мог не деспот, такой же уголовник как и они, а Христос, отвергнутый и поруганный ими.

ПОЛКОВНИК ТАРАСОВ

«Где лебеди — А лебеди ушли.
А вороны? — А вороны остались».

«Лебединый стан».

М. Цветаева.

Следующий рейд, задуманный Надей, был Ленинград. Но к этой поездке надо было не только отработать день, но и получить зарплату. В сберкассу залезать не хотелось.

Как ее встретит мать Клондайка, Тамара Анатольевна, она представления не имела. «Вдруг спросит: «Чем обязана?» — скажу — «Ничем! Это я обязана вернуть вам Сашины деньги». Клондайк сказал тогда между прочим: «Мама красивая, во вред себе». Как это понять? А отец? Сказал: «Обыкновенный». Какой же? Пьяница? Потаскун? Или просто: обыкновенно — хороший? В то время Надя почувствовала в его нежелании говорить о своей семье что-то «не то». Возможно, семья нуждалась и полторы тысячи были бы очень кстати в связи с непредвиденными расходами.

На уголке носового платка, единственного, с которым она заявилась незваной гостьей так смело к Клондайку, был записан химическим карандашом его Ленинградский адрес. Впрочем, адрес этот она давно знала наизусть. Получив вторую зарплату, Надя решила: «Теперь пора, можно ехать».

Дни стояли теплые, солнечные, что тоже было очень кстати, так как в ее скудном гардеробе значилось одно — единственное приличное платье, синее в белый горошек, «воркутинское». Уже была отработана неделя без выходных, когда она подошла к бригадиру Ане с просьбой.

— В Ленинград мне съездить нужно, знакомых повидать и долг вернуть.

Аня, не задавая лишних вопросов, понимающе кивнула головой:

— Валяй, поезжай, выходной у тебя в загашнике есть. Обернешься за два дня? А чтоб девчата не ворчали, привези всем капрон с черной пяткой, там его навалом, а у нас нигде нет. Деньги вернем тут же. И чтоб вовремя была, как штык! В конце той недели объект сдаем, на другой дом переходим, — и отпустила Надю на полчаса пораньше.

Пока в переполненном автобусе она добралась до своей «общаги», помылась, привела себя в порядок и надела гороховое платье, пока добралась с двумя пересадками до Ленинградского вокзала, часы в метро показывали без четверти одиннадцать. Еще четверть часа ушло на поиск билетной кассы и когда, наконец, она протянула руку с деньгами в окошко, билетов на «Красную стрелу», как водится, уже не было. Два поезда, с небольшим перерывом шли на Ленинград, но ни на один билетов не оказалось. Грубая, толстая кассирша с шестимесячной завивкой «Папуас» раздраженно отчитала Надю:

— Опомнилась! Ты бы еще утром прискакала!

Огорченная Надя попыталась объяснить ей, что ехать пришлось после работы с двумя пересадками, с другого конца Москвы, но кассирша «Папуас» не снизошла до выслушивания и перед самым ее носом демонстративно захлопнула дверку кассы. «И чего это они все такие обозленные, хуже блатнячек», — вконец расстроилась Надя и уже собралась вернуться домой, когда к кассе подошла целая ватага молодых людей. Две девушки и трое парней. Один из них постучал согнутым пальцем в окошко.

— Чего стучишь? Нет билетов, — ответили ему из глубины.

— Я сдать хочу, товарищ заболел, не может ехать!

— Хватился сдавать! Поздно! Раньше надо было, — ответила «Папуас», не открывая окошка.

— У вас случайно не до Ленинграда? — робко спросила Надя.

— До Ленинграда, вам нужно?

— Ой! Очень! — не веря своей удаче, Надя с готовностью протянула деньги.

— Давайте скорее, а то через пять минут… — но Надя не дослушала, что будет через пять минут. Наскоро сунув парню в руку скомканные деньги, она схватила билет и помчалась по перрону, отыскивая свой вагон.

Компания попалась очень беспокойная. Молодые люди непрестанно курили, спорили и смеялись, напоминая своим смехом лошадиное ржание, которое можно было услышать на другом конце вагона.

От непривычки к табачному дыму и духоте у Нади очень скоро разболелась голова. О сне думать не приходилось, и она вышла в коридор. Проводник, пожилой мужчина, разнося чай по вагону, зашел в купе и напомнил веселой компании, что час поздний. Надя прошла следом за ним и была неприятно удивлена. На ее верхнем месте, задрав ноги к потолку, и дымя сигаретой, лежал здоровенный детина, двое других подхватили полотенца и прошмыгнули мимо нее в коридор.

— Извините, пожалуйста! — начала она как можно

вежливее, — кажется, вы заняли мое место!

— Разве? А я так удобно устроился! А вы ложитесь на мое, внизу! Как? Решили?

— Хорошо! — согласилась Надя.

Парень свесил голову вниз и с любопытством стал рассматривать ее. Потом воскликнул:

— О-о! Давай знакомиться! — и не успела Надя ответить, как он протянул ей руку.

— Вадим! А ты?

— Меня зовут Надежда Николаевна! — представилась она, умышленно добавив отчество, рассчитывая, что этим поставит излишне бойкого молодого человека на место, но ничуть не бывало!

— Великолепно! Надежда Николаевна! А ты совершеннолетняя? Тебе восемнадцать-то есть?

Надя со всей строгостью, на какую была способна, посмотрела на парня и сказала:

— Я предпочитаю, чтоб меня называли на «вы».

В ответ он громко захохотал, так что в стенку постучали.

— Ой! Не могу! Ну, насмешила! Может, у тебя и титул имеется?

— Обязательно! И не один!

— Нельзя ли поинтересоваться, с кем имею честь? — Надя собралась ответить, но в это время вернулись те двое.

Вадим спрыгнул вниз и, изогнувшись крючком, торжественно воскликнул:

— Разрешите рекомендовать, ее высочество Надежда Николаевна, заметьте, Николаевна! Поняли? Просьба называть на «вы». Недоумкам вопросов не задавать! Кретинам и дебилам близко не подходить! — Тут он стукнул по руке своего приятеля, который уже протянул Наде руку. Она не выдержала и улыбнулась. Уж очень все просто, и совсем не обидно произошло знакомство. Как выяснилось, все они были студентами архитектурного института и ехали знакомиться с архитектурой Ленинграда.

— Я не была в Ленинграде! — чистосердечно призналась Надя.

— О! Я тебе, то есть простите, вам, — насмешливо поправился Вадим, — завидую! Первое знакомство с красотами Санкт-Петербурга — великое наслаждение!

«Почему они называют Ленинград Петербургом? Вот и Клондайк тоже сказал тогда: «Я питерский». — Почему вы говорите Санкт-Петербург? Это же Ленинград! — полюбопытствовала Надя.

— Видишь ли, я будущий архитектор, то есть человек творческий, и для меня интересен Санкт-Петербург и все, что в нем создано, а не в Ленинграде. Поняла? Хотите, я буду вашим гидом?

— Почему именно ты? А не Андрей или, скажем, я? — запротестовал третий спутник, Сергей.

— Я в гиды не гожусь, у меня жена Горгона! — печально подняв глаза к потолку, заявил Андрей.

— Это серьезно! Тогда конкурентов двое… Ваше высочество, кого вы выберете своим гидом?

Надя перестала улыбаться, игра начала ей надоедать.

— Или гид ждет вас в Ленинграде? Встречает с утра с цветами на вокзале. Тепло волнуется, затаив дыханье, смотрит вдаль?

При воспоминании о том, что ждет ее в Ленинграде, она заметно погрустнела. «Хорошо им балагурить».

— Пред испанкой благородной двое рыцарей стоят! — произнес с пафосом Андрей.

— Так кто же? Не мучьте нас!

— Я только на один день, сегодня же и обратно, — грустно сказала Надя.

— Неприятная миссия? — уже без тени шутовства спросил Вадим.

— Очень! — ответила Надя и отвернулась, стала стелить постель. И сразу все угомонились.

— Тогда гуд-бай! Спать!

Однако спать она не могла. Потихоньку вышла в коридор и села на откидное место. В окно можно было видеть только бегущие навстречу темные силуэты и редкие освещенные станции. Но ей и не хотелось ничего смотреть. Она опять вернулась к разговору с матерью Клондайка — капитана Александра Андреевича Тарасова. «Если спросит меня Тамара Анатольевна, зачем пожаловала, скажу: вернуть деньги. А если она мне скажет: «Можно было по почте переслать, раз адрес знаете!» Что тогда? Тогда я скажу, что мне нужно знать, где похоронили Сашу, а если она не пожелает говорить со мной, что тоже вполне вероятно, я брошу деньги, повернусь и уйду».

Погруженная в свои размышления, Надя и не заметила, как белая ночь сменилась ярким солнечным днем. Из купе стали выходить люди. Вышли и две девушки из компании Вадима. Увидели Надю:

— Вы, наверное, спать не могли с этими обормотами? — шутливо сказала одна из них, повыше ростом.

— Представляю себе, какой храп там стоял! Святых выноси!

Будить их надо, они так до обратного рейса проспать могут!

— Хорошо, Ленка, мы отпочковались от них, хоть выспались, правда? — и постучала в дверь.

— Вы заходите, там не заперто! — посоветовала Надя.

Уже через полчаса вся молодежь была на ногах, одета, умыта и чисто выбрита. А еще через полчаса по радио объявили: «Поезд подходит к городу-герою Ленинграду. Состав ведут машинисты… Поезд следует без опозданий». Прощаясь с Надей, ребята наперебой извинялись: девушки уверили их, что они не дали ей спать своим храпом. Вадим долго не отпускал ее руку.

— Когда обратно?

— Сегодня вечером!

— Жаль! Я бы мог быть хорошим гидом!

— Что поделаешь, знать, не судьба, — в тон ему ответила Надя.

— Вадик! Где ты там застрял? — недовольно окликнули его девушки. — Ждать не будем!

На улице Надя сразу почувствовала биение пульса огромного города. Народу полно, как и в Москве. Машины, автобусы, троллейбусы снуют во все стороны. Столица, и все тут!

«Такси брать не придется, дорого! Ленинград не Калуга, всю зарплату прокатать можно!» — Вы случайно не знаете, как доехать до Боровой улицы? — обратилась Надя к прохожему.

— Не знаю! Вон за тем углом справочная, — посоветовал он. «Верно! Какое удобство». Вскоре она уже держала в руках клочок бумаги, где четким почерком было указано, как и на чем проехать до Боровой улицы.

Небольшой дом, когда-то, видимо, принадлежал одному хозяину и не бедному. Широкая мраморная лестница и большой прохладный вестибюль все еще хранили следы былого благополучия, несмотря на побитые витражи, явно не жертвы артобстрелов. Теперь грязные и запущенные, они плохо пропускали дневной свет, и от этого меж этажами царил полумрак. На площадке второго этажа Надя остановилась, сердце ее болезненно сжалось. «Вот по этой лестнице маленький Клондайк, тогда еще мальчик Сашенька, в коротких штанишках пошел первый раз в школу. Потом учительница сказала ему, что надо вступить в октябрята. «Октябрята, Ильича внучата». Он хорошо учится и должен стать пионером. «Пионер — всем пример». Затем студента-комсомольца Тарасова призывают в армию и направляют в училище, которое готовит «сторожевых псов», и не откажешься, обязан! Ты комсомолец! Какая дьявольская ошибка — бросить нежную, чуткую душу в самое горнило, в пекло, какой была Воркута, подлая смесь из невинных

людей и отпетых преступников. Какой злодей-расстрига обучал их, натравливая на себе подобных, ослепляя бессмысленной и лживой пропагандой злобы и ненависти?»

Где-то совсем рядом хлопнула дверь, и Надя поспешила подняться выше, на третий этаж. «Вот его квартира». Высокая двустворчатая дверь со старинной медной ручкой. «Сколько раз его рука коснулась ее». Надя слегка дотронулась и погладила ручку, словно еще хранила холодная медь тепло его горячих рук. На двери табличка: Тарасов А. А. Не с первого раза удалось извлечь звонок. То ли он был не в порядке, то ли предательски дрожала рука. Дверь тотчас распахнулась, словно ждала гостью. На пороге стояла молодая черноглазая девушка с большим некрасивым ртом.

— Вам кого? — спросила она.

«Это не мать, слишком молода и вовсе не красива», — замешкалась на минуту Надя.

— Мне нужна Тамара Анатольевна!

— Мама! — крикнула девушка вглубь квартиры. — К тебе гости! Проходите, я вас провожу. Сюда! — сказала она, отворив одну из дверей.

«Сестра! Он не говорил о ней».

Надя прошла в комнату и остановилась, как вкопанная. Навстречу ей из-за стола поднялась Тамара Анатольевна. Сомненья быть не могло: на Надю смотрела женщина с глазами Клондайка, такие, как должны были быть у него много лет спустя.

— Вы ко мне? — тихим, мелодичным голосом спросила она.

— Да! — ответила Надя, и слезы, как горох, покатились одна за другой по щекам, по шее, прямо за белый пикейный воротник. Пришлось срочно доставать носовой платок с химическими иероглифами.

— Проходите же! Слушаю вас! — любезно, но нетерпеливо предложила Тамара Анатольевна. Внезапно лицо ее помертвело, в светлых глазах вспыхнуло выражение боли и страданья, и она вынуждена была опуститься обратно в кресло.

— Вы… вы с Воркуты? Надя?

— Да! — еще раз повторила Надя и, тяжело вздохнув, ухватилась рукой за грудь, стараясь унять готовое выпрыгнуть сердце.

— Боже мой! Вы приехали… Идите же, садитесь, дайте, я погляжу на вас. — Она усадила Надю в кресло, на свое место, а сама примостилась рядом на стуле. — Саша много говорил мне о вас, я хотела тогда еще видеть вас, но мне сказали, что вы были тяжело больны… — Она что-то тихо говорила Наде, взяв ее за руку своей холодной рукой. Глаза ее, полные слез, были в таких

же мохнатых, бесчисленных ресницах, как у сына. Надя перестала плакать и только, как зачарованная, смотрела на ее лицо, узнавая в нем дорогие ей черты. Что говорила ей Тамара Анатольевна, она не понимала и не могла заставить себя прислушаться к ней. Она думала свое. «Счастливые мальчики похожи на мать, счастливые девочки — на отцов», — говорила ей когда-то тетя Маня. Наконец ей удалось скинуть с себя оцепенение, и она перебила Тамару Анатольевну на середине фразы.

— Я приехала узнать, где похоронен… — тут голос ей изменил, губы задрожали и она быстро закончила: — И еще мне надо отдать деньги!

— Деньги? Какие, деточка?

— Которые он мне в Воркуту переводил!

— Переводил? Зачем? Разве он не мог просто отдать?

— Нет, не мог, он знал, что я никогда бы не приняла от него денег! — с этими словами Надя достала из сумки небольшую пачку сторублевок и положила на стол.

Тамара Анатольевна отвернулась от денег и небрежно рукой отодвинула от себя пачку обратно к Наде.

— Возьми себе, это твои.

— Нет, мне не нужно, он сделал это без моего согласия!

— Полно, милая! Какие могут быть счеты? — устало проговорила Тамара Анатольевна, укоризненно покачав головой. Глаза ее, обведенные темными кругами, смотрели на Надю с такой невыразимой тоской, что Надя смешалась и изругала себя: «Чего я лезу с какими-то деньгами в такое время».

— Я должна сходить на его могилу, — нервно теребя платок, сказала она.

— Не надо пока! Там ничего еще нет, мы только памятник заказали.

«Теперь надо попрощаться и уйти, наверное?» — соображала Надя, продолжая терзать свой платок. Она было хотела подняться, чтоб попрощаться с Тамарой Анатольевной, но та вдруг подняла голову и заговорила.

— Мне так легко понять тебя, понять, что ты сейчас чувствуешь! Я сама пережила в свое время потерю безумно любимого человека. Чуть постарше тебя была. Если б не маленький Сашка на руках, удавилась бы, наверное. — В ее словах Наде почудился такой непроглядный сумрак печали, что она с изумлением посмотрела на Тамару Анатольевну.

— Ты удивлена? Не знала… — жалобно и трогательно улыбнулась сквозь слезы она. — Разве Саша не говорил тебе об отце?

— Говорил, но больше о вас!

— Ну да! Конечно, он отца едва помнил. Ты же знаешь, он говорил тебе, что Тарасов ему неродной отец, — уверенно сказала она. Но этого Надя не знала, однако промолчала, сказала только неопределенно:

— Да!

— А что Саша тебе говорил о родном отце?

Надя ни за что на свете не очернила бы память Клондайка ложью, она опустила голову и едва слышно прошептала:

— Ничего!

— Я знаю, он осуждал меня, упрекал не раз. Он ничего не желал понимать, — неожиданно разрыдалась она.

Надя сидела ни жива ни мертва, ей было бесконечно жаль Тамару Анатольевну, и совсем не хотелось быть невольной свидетельницей ее страданья. Постепенно плечи ее перестали судорожно вздрагивать, она успокоилась и вытерла глаза кончиком кружевного платка.

— Что я могла сделать? Я осталась с ребенком на руках. Квартира была конфискована. Я скиталась по родственникам, но и они боялись, прятали меня. Друзья не отвечали по телефону, знакомые не узнавали меня. Он должен был быть благодарен, что нашелся такой человек, как Тарасов, не побоявшийся взять меня замуж с ребенком.

— Наверное, Саша и был благодарен, — робко заметила Надя.

— Благодарен? Он?! — с горечью вскричала Тамара Анатольевна. — Последние годы он, приезжая в отпуск, старался не встречаться с ним, так презирал Андрея Алексеевича! А за что? За что?

— Я не верю, — живо возразила Надя, — что Саша мог возненавидеть кого бы то ни было ни за что. Тут другое!

— Другое! Он тебе и это сказал! — с глубоким сожалением сказала Тамара Анатольевна. — Наслушался сплетней завистников Андрея и вбил себе в голову, будто по доносу Андрея был арестован и расстрелян мой муж! Это дикость! Они были друзья!

— Какой ужас! — невольно вырвалось у Нади. — Надеюсь, свои подозрения он держал при себе?

— Если б при себе! Он ничего не держал «при себе». Андрея тоже можно понять!

Тут она встала с места и подошла к двери.

— Извините, это Андрей Алексеевич пришел, — сказала она и вышла из комнаты.

«Есть ли в нашей стране хоть одна семья, кого не коснулось бы «это»? Или мне так везет на встречи? Даже у меня в роду, и то

предков «растрясли», как выразилась тетя Варя».

За креслом с высокой спинкой, где она сидела, Надя увидела пианино. То самое пианино, которое предложил ей Клондайк, а на нем его портрет. «Как же я сразу не разглядела!» Фотография была сделана чуть вполоборота, но он смотрел прямо. Живые блестящие глаза его улыбались ей. «Единственная в мире улыбка, какой уже не может быть больше для меня ни у кого». Надя взяла фотографию в руки и прикоснулась губами к милому лицу. Как будто фотограф запечатлел его, спросив: «Что же ты ожидаешь от жизни?» А он ответил: «Счастья». Надя поставила фотографию обратно на пианино и села на свое место. Душа ее была переполнена мучительной и тягостной скорбью. Нечаянно ей пришлось заглянуть в чужую жизнь, где таилось плохо спрятанное горе. «Конечно же не из лучших побуждений жестокий и низкий человек отравил душу Клондайка, «открыв ему глаза» на отчима. В любом случае, была это правда или клевета, поступок подлый», — мысленно возмутилась она.

Было слышно, как где-то совсем рядом разговаривала Тамара Анатольевна с мужем. Слов она не разбирала, да и не прислушивалась. Она думала о своем. «Вот почему он тогда так горько сказал о ней: «красивая во вред себе». Красивая, ничего не скажешь: высокая, стройная, подтянутая, с девичьей талией и целым овином прекрасных светло-пепельных волос, с серебром на висках. С удивительно благородными чертами нежного лица. Красавица, несмотря на свои сорок семь лет.

— Извините, Надя, я оставила вас одну! — сказала, возвращаясь, Тамара Анатольевна.

— Я уже ухожу, мне пора! — заторопилась Надя.

— Подождите, скоро обедать будем, — и, понизив голос, шепотом сказала: — Андрей Алексеевич с вами познакомиться хотел!

— Вы не могли бы мне… хоть самую маленькую, — тут губы Надины задрожали, задергались и она никак не могла произнести «фотографию».

— К сожалению, у меня остались только детские, да вот эта, — она указала на ту, что стояла на пианино, — а любительские Галя потаскала.

— Галя?

— Да, сводная сестра Саши, дочь Андрея от первого брака. Саша сказал мне, поете вы замечательно, как теперь?

— В консерваторию буду поступать.

— Ах, даже так? — удивилась она. — Желаю удачи… Не плачьте, не надо, вы молодая, свободная, еще полюбите, выйдете замуж, дети будут…

— Нет, нет, никогда! Никогда такого в моей жизни не будет! — воскликнула Надя, вытирая ненужные здесь слезы.

— Я тоже так думала однажды…

— Тамара! Я готов! — сказал Андрей Алексеевич, приоткрыв дверь. — У тебя гости!

«Чего притворяться, он же знает, что я здесь!» — неприязненно подумала Надя.

— Зайди, Андрюша! — сказала Тамара Анатольевна, — у меня Надя с Воркуты. Сашина невеста!

— Здравствуйте, Надя! — важно и медленно проговорил он, не подавая ей руки. — Значит, вы будете воркутинская знакомая Саши?

— Я не знакомая, я его невеста. Жаль, если он не нашел нужным вам сказать об этом, — чувствуя себя уязвленной, обиделась Надя. Она прекрасно поняла, как захотел унизить ее этот седой, плотный полковник с глазами, точно оловянные пуговицы, так похожий лицом и осанкой на генерала Деревянко.

— Нет, нет, он говорил нам, он даже с Воркуты переводиться не захотел, — живо возразила Тамара Анатольевна.

— Вот и свалял дурака! — сурово осадил ее Андрей Алексеевич, — Сейчас был бы жив!

Бес одолел Надю, хлестнув ее по лицу так, что щеки ее запылали, а глаза от бешенства сразу высохли.

— Он и там был бы жив, когда бы наше добренькое правительство не выпустило на волю убийц и воров!

— Ну! Зачем же вы так? Вам же тоже повезло попасть под амнистию, — широко и добродушно улыбнулся он.

— Ошибаетесь! — ядовито поправила его Надя. — Я освободилась по пересмотру, за неимением состава преступления, подчистую! — и направилась к двери.

— И вы ошибаетесь! Саша погиб от руки вольнонаемного, и правительство наше тут ни при чем!

— Как? — резко повернулась к нему Надя.

— Я сказал, вольнонаемного! — Он отвернулся от Нади, не желая больше продолжать разговор. — Томочка, как там насчет обеда? — спросил и вышел из комнаты.

— Я провожу вас, — сказала Тамара Анатольевна, прикладывая кружевной платок к глазам.

Когда за Надей закрылась дверь, она остановилась на площадке, подошла к перилам и взглянула вниз. Голова ее кружилась, Щеки пылали, глаза ломило, и вся она была как бы разобрана по частям. Она прислонилась к перилам, чувствуя потребность постоять, собраться с мыслями. «Я шла утешить мать, опасаясь быть затопленной слезами, но эта женщина подкована

несчастьями на все «четыре копыта», как говорили в лагере, не хуже моего, а, пожалуй, и побольше». Внезапно дверь квартиры отворилась и темноглазая девушка, сводная сестра Клондайка, торопливо вышла на лестничную клетку.

— Вы еще здесь! — обрадовалась она. — Хорошо! Меня мама послала вернуть вам деньги.

— Я не возьму! — пряча руки за спину, решительно сказала Надя.

— Как же?

— Вы пойдете к Саше на могилу, купите ему цветы, пожалуйста!

— На все деньги?

— На все! — сказала Надя и побежала вниз по лестнице.

— Постойте! Подождите! — крикнула ей с верхней площадки Галя.

Надя остановилась: «Что ей еще надо!» Она устала, сказалась бессонная ночь, и очень хотелось что-либо пожевать.

— Мама велела вас вернуть к обеду…

— Спасибо, я найду, где поесть, — резко обрезала ее Надя в полной уверенности, что Галя обидится и уйдет.

— Я так и думала! Я даже ей сказала! — оживилась Галя ничуть не в обиде. — Хотите, я вас провожу! — предложила она.

— Вас ждут к обеду!

— Ничего! Не умрут с тоски! — засмеялась она и придержала ногой тяжелую парадную дверь на улицу, давая пройти Наде первой. Приветливая улыбка, непосредственность и простота, с которой Галя обратилась к ней, не могли оставить Надю равнодушной, нельзя было не ответить на дружелюбный призыв и она тоже улыбнулась, впервые прямо взглянув Гале в лицо. Чуть полноватое, еще по-детски округлое личико и небольшие, блестящие, как у зверька, темные глазки понравились Наде.

— Здесь на Невском, совсем недалеко, отличное кафе! Зайдем? — предложила Галя будто давней знакомой. При слове «кафе» у Нади засосало под ложечкой, есть захотелось нестерпимо.

— Не могу! — со вздохом сказала она. — Мне еще на вокзал за билетом надо… и вообще, я бы лучше на кладбище сходила к Саше.

— Ой, что вы, я ни за что не найду этого кладбища, оно новое, далеко, мы туда на машине ехали. Мать знает, а я нет!

Прекрасная, широкая улица, куда они вышли, называлась «Невский проспект». Очень знакомое Наде название, еще со школы. Помнилось, что-то связанное со знаменитыми людьми. «Кафе Норд», — прочитала она, когда Галя подвела ее к дому со

ступеньками вниз. Народу было немного, помещение небольшое и скромное. «Много не истрачу», — решила про себя Надя, усаживаясь за столик у окна.

— Знаешь, я тебя почему-то другой представляла, — сказала Галя, быстро переходя на «ты».

— Какой же?

— Более красивой! Сашка уж так тебя расхваливал матери, просто распинался! — весело рассмеялась она. — Не то что красивее, а более стильной, модной! Сейчас короткие волосы в моде, такие гривы никто не носит!

Надя хотела ответить, что не любит стандартов, быть «как все». Она артистка! Но к их столику подошла с блокнотом в руках щегольская официантка в белоснежном переднике и такой же наколке на светлых кудряшках, и, Галя, как заправский завсегдатай, скомандовала:

— Сбитые сливки с меренгами, черный кофе, торт «Север»! — потом опять повернулась к Наде и стала бесцеремонно рассматривать ее.

— Ты здесь не была?

— Я вообще первый раз в Ленинграде.

— Специально к матери приехала?

— Деньги вернуть и узнать, где похоронили…

— Приезжай на будущий год. Памятник готов будет, все нормально. А сейчас там! — она сморщила короткий плоский носик и махнула рукой.

— Я хотела у вашей мамы фотографию Сашину попросить, она сказала, они все у вас, я уж и не стала…

— Были у меня, но все подружки растащили… Мать тебе про фотографии сказала, да? Они до сих пор думают, что я с Сашкой лямурничала! — хитро засмеялась она.

— Ошиблись? — пытливо насторожилась Надя, чувствуя, как важно было для нее то, что скажет сейчас Галя.

— Конечно! Дело прошлое, совсем не то!

Надя промолчала. Сказать ей было нечего, а спросить хотелось. Но Галю и расспрашивать не приходилось, она с удовольствием продолжала.

— У меня в то время «жгучий» роман был с одним морячком. Он в загранку ходил, всегда мне что-нибудь притаскивал, одних нейлонов по две дюжины! Красивый мужик! Одевался с иголочки, стиляга! На гитаре играл, пел обалденно!

— Ну и как?

— А так! Влипла я с ним, а когда узнала, он в рейсе был. Бегала по подругам, не знала, что делать, матери сказала, попросила ее, как человека, помочь мне, а она все отцу выложила.

Нарочно, чтоб ему доказать, какая я плохая, а сыночек у нее хороший! Я это сразу усекла! Хорошо, что не сказала ей, с кем.

Официантка поставила заказ и попросила рассчитаться. Кафе закрывалось на обед. Надя с готовностью потянулась к сумке…

— Нет, не надо, я сама! — остановила ее Галя и взяла счет. «55 рублей! — Надя едва сдержалась, чтоб не вскрикнуть. — Подумать только! За что дерут такие деньги!» Но, когда Галя кинула на стол сто рублей и не взяла сдачу, Наде стало не по себе от такой расточительности. Теперь она была уверена: Галя, придя домой, скажет, что вернула ей деньги. Когда официантка отошла, Галя перегнулась через стол, понизила голос до шепота и продолжала:

— Отец тогда в ГеБе работал. Я думала, он меня убьет или с живой шкуру спустит: так орал! Все допытывался: кто? с кем я?

— А вы?

— Молчала, как мертвая! Я знала: скажу, значит, моего Ленечку с заграничных рейсов снимут и на Дальний Восток или в Главсевморпуть отправят. Я слегка только намекнула на Сашку. Он Сашку любил, в свое училище после армии устроил, я и подумала, ничего ему не будет, ничего не сделает.

Надя никогда не пила черного кофе. Густой, как деготь, напиток показался ей горьким и невкусным. В войну по карточкам на сахарные талоны давали «какавеллу». Но ее старались не брать. Еще был кофе «Желудевый», — «радость свиней», — называла его тетя Маня и такой же овсяный кофе «Здоровье». Но эти аристократические напитки простые люди старались избегать, заменяя хотя бы липовым чаем или из брусничных листьев на худой конец. Галя отстранила от себя пустую вазочку и принялась за торт.

— А папа сделал? — Надя впилась в нее глазами и затаила дыханье в ожидании ответа.

— Неужели не сделал? Сразу после училища на дальний Север через своих приятелей отправил…

— А Тамара Анатольевна знала?

— Конечно знала! Да что она? Пустое место! Отец ей сказал: «Пусть проветрится, остынет немного, горячий чрезмерно. На пользу ему пойдет».

— И даже после этого вы смолчали? — оторопевшим голосом спросила Надя. Так бесстыже говорить о себе, ей еще не приходилось слышать, если только от блатнячек!

— Ты нашего папочку не знаешь!

— Вашего не знаю, но подобных встречала много, — сумрачно сказала Надя, чувствуя на себе тяжесть беса. — Значит, вы предпочли, чтоб шкуру спустили с него!

— Мне тогда все равно было, я свою спасала…

— А Саша? Он знал?

— Нет! Откуда! Я с отца слово взяла, чтоб он не распространялся, а иначе я бы ему не сказала. Не убил бы он меня, побоялся! — весело закончила она, довольная собой.

— Здорово, лихо придумано! Ничего не скажешь!

Бледная от бессильного гнева Надя поднялась со стула, но вдруг выдержка изменила ей. — Будьте вы все прокляты! — с ненавистью прошептала она и быстро направилась к выходу.

«Скорее, скорее домой! Забыть! Вычеркнуть из памяти, как и не было! Постараться не думать о том, что пустая, глупая девчонка с лягушачьей мордой оболгала чистого, хорошего парня, папочка, обиженный за свое необузданное чадо, отправил пасынка «сторожевым псом», а мамочка, овца, не удосужилась выяснить истину, так боялась потерять своего солдафона».

В гневе Надя припустилась стремительным шагом, сама не зная куда. Нужно было срочно попасть на вокзал.

— Скажите, как мне попасть на вокзал? — остановила она пожилую, интеллигентного вида женщину, «Старожилка», — подумалось ей.

— Какого вокзала, душечка? — спросила женщина.

— Мне в Москву надо!

— «Московский»! Можно на троллейбусе одну остановку, а лучше пешочком, ножки молодые! — приветливо ответила она.

— Спасибо! — прошептала оттаявшая от такой неожиданной ласки Надя и пошла пешком. На этот раз она, постояв недолго в очереди, купила билет, и кассирша, вежливая, молодая женщина тоже с шестимесячной завивкой «Папуас», уважила ее просьбу и выдала билет на нижнее место. Большие башенные часы показывали четыре часа, когда, положив в сумку билет, она отправилась побродить по городу. До отхода поезда оставалась масса времени. Около столовой она остановилась, вспомнив, что сбитые сливки с меренгами и торт были вкусные, но почему-то голода не утолили и хорошо бы съесть что-либо более существенное. В Пассаже она купила себе и всей бригаде по паре чулок, капрон с черной пяткой. В Москве таких не достанешь, да и времени не будет. В парфюмерном отделе стояли малиновые коробочки с духами «Белая сирень», те самые, которые она нашла в день своих именин на колченогом столике. Удержаться не было сил, пришлось купить, несмотря на цену: сорок пять рублей. Аня советовала зайти в Эрмитаж и обязательно посмотреть крейсер «Аврору» на Неве. У Эрмитажа протянулась такая очередь, казалось, до самой ночи не попадешь, но проходили быстро, и уже через полчаса она стояла в зале, оторопевшая и ослепленная

его роскошью и великолепием. Часа через полтора она вышла из Эрмитажа и сказала себе: «Спасибо тебе, Клондайк! Это ты, сделал мне такой царский подарок. Когда бы еще я могла увидеть все это богатство, если б не приехала к тебе, в твой любимый город».

Крейсер посмотрела, но ей показалось, что в кино он более впечатляет, а тут ненатуральный какой-то. Наверное, нужно было его смотреть перед Эрмитажем. Кончилось тем, что забралась на Исаакиевский собор и посмотрела панораму Ленинграда. Потом тихо побрела к вокзалу. Купила два пирожка с мясом, журнал «Огонек» и села в зале ожидания ожидать свою «Стрелу». Настроение было отвратительное. «Не надо мне было ехать, глупость сделала». Теперь к одной великой скорби и жалости — гибели Клондайка прибавилась еще одна — его поруганная юность. Что-то пошлое и некрасивое виделось Наде во всей истории, что рассказала ей его сводная сестра, похожая на черноглазую лягушку. Горький осадок досады и презренья остался у нее от посещения семьи Клондайка. «Я никогда не приду больше в этот дом, и мне уже не суждено будет узнать, где захоронен он, но память о нем не исчезнет из моего сердца, и я не устану повторять: «Господи, упокой душу его!».

— Надежда Николаевна! Вот ты где, а я тебя ищу! — Весело скаля зубы, к ней направился Вадим. Надя вздрогнула от неожиданности и не сразу узнала его.

— Почему вы меня ищете? Что случилось?

— Вы мне лишние деньги за билет дали, целых восемь рублей.

— Пустяки какие! Не стоило беспокоиться!

— А если серьезно, я из-за денег не побежал бы, но мне просто хотелось проводить вас и проверить заодно, правду ли мне сказали. Обычно девушки случайным знакомым всегда врут!

— Ну, это вам просто не повезло с девушками.

До отправления оставалось минут двадцать, и они еще погуляли по платформе.

— Откуда ты такая, Надежда? — спросил Вадим. — Грустная и загадочная, как сфинкс! Скажи, ты замужем?

— Я просила вас называть меня на «вы», мне так удобнее! — напомнила ему мягко и вежливо Надя.

— Удобнее отделиться великой китайской стеной! Понял! — он вошел с ней в купе и уселся на ее место.

— Я, пожалуй, поеду с вами, не возражаете?

— Хватит шутить, скоро отправление!

— Тогда говорите, где я вас найду в Москве, адрес, телефон. Семейное положение можете умолчать, мне без разницы.

Надя, чтоб отвязаться, оторвала от последней страницы «Огонька» клочок и записала телефон общаги.

— Фамилия ваша или мужа?

Нахальный и развязный юноша несколько развеселил ее своей напористостью, отвлек от грустных дум. Она дала ему свой телефон в полной уверенности, что он тут же бросит клочок бумаги в урну. Поезд тронулся, а Вадим все шел рядом с вагоном, посылая ей воздушный поцелуй, но сердце Нади не дрогнуло, не забилось быстрее. Оно было сковано ледяной корой безразличия. Для нее существовал только один, а его больше не было. Попутчиками оказались двое пожилых людей, третий подсел где-то совсем ночью. Но Надя не слышала, она спала крепко, без снов, до самой Москвы.

«ВОРОБЬИНАЯ СВОБОДА МНЕ ДАНА, ЧТОБ ПЕТЬ!»

Исцели мне душу Царь Небесный,
Ледяным покоем нелюбви…

Анна Ахматова.

Дальше потянулись дни до такой степени однообразные, что вспоминать о них было нечего. Работа, обеденный перерыв, общага. Были, правда, и драки, и скандалы на почве ревности или пропаж между обитателями. Иногда массовые походы в кино, но редко. Сказывалась усталость рабочего дня. А в выходные дни стирка, баня. Иногда Наде начинало казаться, что жизнь ее ничем не отличается от «той» «там», на Севере, а, пожалуй, еще и скуднее. Там была сырая, холодная столовая, иногда превращавшаяся в сцену, музыка, концерты и даже постановки, пусть смешные и жалкие, но веселые. А какие люди попадались! Интересные, умные, талантливые. Они умели смеяться даже над своими несчастьями. И не было этих опустошающих душу разговоров о деньгах, выпивках, гулянках, о мужчинах, абортах, о том, что купил, где достал.

И все же это была хоть «воробьиная», но свобода. Появились книги из районной библиотеки, которые радостно заполняли серятину однообразных вечеров. К ним-то и пристрастилась Надя. В наследство от Клондайка ей досталась любовь к стихам. Стихи и книги, никогда ранее не интересовавшие ее, неожиданно стали незаменимыми друзьями, почти как хлеб насущный. В них она с волненьем узнавала знакомые слова романсов, удивляясь их красоте, и с грустью думала, как мало ей пришлось говорить с ним о прекрасных, возвышающих душу стихах, потому что понятия о них не имела тогда, а все больше о житейских мелочах, время от времени посматривая в окно хлеборезки, не ворвется ли опер, или Гусь, или шмоналки с Павианом.

Зато теперь можно было купить билет и поехать в отпуск, чего Надя никогда не знала, в Сочи, в Гагры, куда направилась Лысая с мужем, и вообще не прийти домой ночевать, никто не запретит.

Иди, куда глаза глядят, а куда они глядят? Глядеть было не на кого, и не хотелось. Однако, несмотря на непобедимую тоску, грызущую душу, тело ее наливалось спелым соком молодости. Сытная, без всяких излишеств пища и спокойный образ жизни делали свое. И однажды она достала свою абрикосовую блузку,

где «тяп-ляп» была пришита пуговица, оторванная «с мясом», и не могла застегнуть ее на груди, к большому огорчению. Если б ей было отпущено хоть чуть больше тщеславия, то, наверное, увидела бы, как оборачивались, глядя ей вслед, молодые люди и нескромно провожали взглядами ее высокую, стройную фигуру.

Наконец, как-то в субботу Надя осуществила свою давнюю мечту и вырвалась на улицу Герцена в нотный магазин, что рядом с консерваторией. Магазин изменился с тех пор, как она покупала здесь «Жаворонка» Глинки. Помещение как бы расширилось, в просторном зале появился блестящий новенький рояль. Несколько человек у прилавка рассматривали стопку нот. Надя тоже подошла, но это было не то, что ей нужно: органные, скрипичные, фортепьянные, для духовых инструментов.

— Вы что хотели? — спросила пожилая вежливая продавщица.

— Мне для пенья.

— Пожалуйста, вон к тому прилавку.

Долго, с наслаждением Надя рылась в нотах, перекладывая аккуратно стопочку. Потом купила сборник романсов Чайковского и Булахова. Зачем? — и сама не знала. Просто так, когда-нибудь понадобятся.

— Девушка с персидскими глазами, вы еще и поете? — услышала она над самым своим ухом приятный баритон. Она подняла голову — около прилавка, рядом с ней, стоял высокий, уже не первой молодости мужчина. Надя была в умиротворенном настроении и не захотела «послать» его, а сказала, чуть улыбнувшись:

— Да! — и направилась к выходу.

— Где можно вас послушать? — продолжал ей вслед «приятный баритон».

Она быстро вышла на улицу, баритон за ней.

— Нигде! Я готовлюсь в консерваторию, — и направилась мимо памятника Чайковскому к Манежной.

— В консерваторию? Ну да, конечно! Мне следовало догадаться, вы еще так молоды, — с восхищеньем произнес он. — А знаете, я могу вам составить протекцию.

Надя резко повернулась к нему: «Уже пора «посылать», — и холодно сказала:

— Если я не попаду в консерваторию за свой голос, тогда мне лучше работать на стройке!

Незнакомец весело и, казалось, от души рассмеялся.

— Ах, девушка, милые персидские глазки! Как мало вы знаете, что такое путь артиста!

— А вы знаете?

— Знаю, деточка! Потому что сам имею честь им быть!

Надя сбавила шаг и задиристый тон.

— Вы поете? — мигом насторожилась она.

— Нет, я артист драмы, и даже заслуженный. Моя фамилия Токарев. Валерий Токарев. Я артист Московской филармонии, — сказал он не без гордости, явно наслаждаясь Надиным замешательством. — Сейчас я готовлю новую программу, буду читать Гомера.

— Гомер? «Только Терсит, еще долго бранился, болтливый без меры!» — вспомнила Надя и весело засмеялась.

Баритон оживился: — О, это место потрясающее! Я сам, когда читаю, едва сдерживаюсь, чтоб не рассмеяться! Но вы, вы-то откуда знаете о Терсите? Вот что удивительно!

Они уже дошли до угла, где кончалась улица Герцена, и свернули на Моховую.

— Я очень тороплюсь, — сказала Надя, решив по-хорошему избавиться от своего спутника.

— Вы убегаете от меня, как быстроногая газель, и я не узнаю вашего имени, — кокетливо играя глазами, под которыми уже хорошо обозначились мешочки, проворковал «красивый баритон», — а я так мечтал послушать вас.

— До этого еще долго, мне нужен хороший преподаватель, — откровенно призналась Надя.

— Есть ручка, карандаш? — деловито спросил он.

— Ни того, ни другого, ничего!

— О Боже! Чем же вы записываете телефоны своих поклонников? — лукаво блеснув глазами, воскликнул он.

— Даже не стараюсь запомнить их имена! — в ответ ему так же улыбнулась она, опустив глаза «овечкой».

— Тогда придется мне, — он достал из кармана пиджака очень красивую ручку с золотым пером и таким же золотым колпачком,

— Говорите ваш телефон…

— Мне это неудобно.

— Грозный муж?

— Ах, если бы! А то злой отец! — с удовольствием соврала Надя.

— Ну что с вами делать? Хорошо! Записываю телефон преподавательницы, кстати, она живет здесь рядом. Мы только что прошли ее переулок. Брюсовский — напротив консерватории.

«Брюсовский, Брюсовский!» — напрягая память, старалась вспомнить она, когда и где слышала это название, но не вспомнила.

— Так как же вас зовут все же?

— Надежда Николаевна! Я…

— Какая прелесть! Надежда! Обожаю русские имена — Вера, Надежда, Любовь. Я сразу назначаю вам свиданье. Буду ждать вас у входа в консерваторию в шесть тридцать. Будьте точны, не опаздывайте! — совсем по-хозяйски, словно она уже дала свое согласие, распорядился заслуженный артист. — И помните: точность — вежливость королей. Так не забудьте, сегодня в половине седьмого.

— Обязательно! — и улыбнулась ему своей самой очаровательной улыбкой — «овечкой», чуть прикрыв глаза длиннющими ресницами, но, отойдя несколько шагов, сказала вслух, поморщив нос:

— В следующий раз!

Она спешила в Большой мосторг купить подарки. В последних числах сентября у бригады предполагался загул. У двух девушек Верочек, у одной Любы, у Нади-маленькой и у нее именины — 30-е сентября. Когда-то в этот день там, в Заполярье, уже вьюжила пурга и она, тогда еще зечка, обнаружила на одноногом столе подарок. Берегла, прятала и все равно забрали во время шмона, а ее отправили в карцер, но ненадолго. Работать было некому. Забастовала пекарня, Валя, и даже трусливая многострадальная Антонина Коза, сказалась больной. У вахты Клондайк напустил на себя строгий вид и, запрятав улыбку в глубину своих голубых глаз, назвал ее «ушкуйницей». — «Кто это «ушкуйница»? Хорошо это или плохо?

— «Ушкуйница»? — спросила Маевская. — Как бы тебе короче объяснить? — Но короче не получилось, и Надя с восторгом выслушала некую лекцию по истории об ушкуйницах. Оказалось, вроде речных пираток-женщин.

Решено было собраться вскладчину у одной из Верочек. Совсем недавно она вышла замуж за веселого, бесшабашного гуляку, электросварщика, с лукавыми, нерусскими глазами.

Степан Матвеевич добился им однокомнатной квартиры, чем привел всю бригаду в состояние крайнего возбуждения. Целую неделю девушки рвались на работе, перевыполняя норму чуть ли не в полтора раза.

Только шестеро из бригады жили в «собственных» квартирах. Остальные «остро нуждались». Остро нуждалась и Надя, и хоть работала не хуже других, а, пожалуй, и получше, но недавно, и рассчитывать на такое счастье ей не приходилось. На очереди первой была бригадир Аня. Где-то в Рязанской области, в поселке Шилово у нее осталась на материнских руках маленькая дочь. Аня была без ума от своей малышки, не могла говорить о ней без слез и львиную долю своей неплохой зарплаты отсылала домой, в

Шилово.

Вечером в маленькой пустой квартире собрались отпраздновать именинниц, а заодно и новоселье.

— Мебель купим после, — деловито объясняла Вера всем своим гостям, — а то напьются, стулья переломают, как у… — и тут она пускалась рассказывать, что ее соседи по лестничной клетке так «гуляли», — хрустальные фужеры с балкона покидали, а новый дорогой сервиз почти весь переколотили и в мусоропровод сбросили. Народу набилось «до черта и больше», как сказала Аня. Было шумно и весело, и даже Надя, обычно молчаливая и серьезная, смеялась от души, чего не случалось с ней с давних пор. Пришел ненадолго Степан Матвеевич, поздравил именинниц и новоселов, потом отозвал к окошку Надю и спросил:

— Ну как?

— Ничего! Спасибо!

— Замуж собираешься?

— Что вы!

— А чего? Долго ли? Потом лицо его стало серьезным, построжало. — Это ты верно, учиться тебе надо! И привет тебе от Филимона Матвеевича!

— Как он? — живо спросила обрадованная Надя.

— Был проездом из отпуска. Майора получил, брюшко отращивает!

— Ну, до брюшка ему еще далеко! — пошутила она, вспомнив объемистый живот полковника Тарасова. Стол ломился от нехитрых закусок. — Ешьте, ешьте! — подбадривала всех Верочка. — Винегрету целый таз наворочали.

Основную закуску составляла колбаса трех сортов, целый отряд селедок с луком, обильно политых подсолнечным маслом. Соленые огурцы и помидоры из деревни привезла Аня и огромную бадью квашеной капусты. Были еще соленые грибы, но мало. Ведро вареной картошки было встречено громовым «Ура!». Спиртного тоже оказалось маловато, и то больше по мужчинам разошлось. Надя свой стакан быстро и незаметно перелила соседу, а себе налила какой-то минералки. Рядом с ней, справа, сидел молодой широкоплечий крепыш с загорелым лицом, очевидно, шофер, потому что пахло от него смесью одеколона «Шипр» и бензина, а под короткими ногтями чернели полоски неотмытого мазута. Первое время, проявляя неумеренную симпатию к ней, он норовил под столом положить свою руку Наде на колени, но, получив несколько звучных шлепков, а руки у нее были не по-женски сильные, обиделся, повернулся к ней спиной и стал обсуждать с соседом текущие международные

события. По мере того, как пустела бутылка, подвинутая им к своей тарелке, он возбуждался все более и наконец взорвался и завопил:

— Да рука бы моя не дрогнула, не только Берию расстрелять, а и всех, кто там остался. Дайте мне Анку с «максимом»! — После такого выпада он обессилено шлепнулся обратно на свое место и махнул целых полстакана залпом себе в рот.

Надя похолодела: «Берия… самый главный после того, дьявол во плоти! А этот парень не боится, перепил, должно, а завтра, может… Как девушки пели «там»:

Я хулил его по пьянке,
А проснулся на Лубянке.
Феля, Феликс дорогой,
Отпусти меня домой!

— Чего это он? — шепотом спросила через стол Надя.

— А! У мужиков только и разговору о врагах народа. Уж сообщили, что расстреляли его, а они все не угомонятся!

— Кого? — еще тише спросила Надя, — кого расстреляли? — Да ты что, с луны свалилась? — уже громко, во всю комнату крикнула Аня. — Берия расстреляли, вот кого! Село-деревня!

Но Надя даже не обиделась, до такой степени была поражена. Ей припомнился ажиотаж у газетных киосков, обрывочные фразы по радио: «Наймит иностранных разведок», «народный гнев» и еще какие-то громкие трескучие слова о врагах, к которым она давно привыкла и не проявила любопытства. «Подумаешь! Одним врагом больше, одним меньше, какая разница?» Если б она тогда прислушалась! Глаза ее на «мокром месте», наверное, высохли бы тотчас. Ей сразу расхотелось сидеть здесь, она незаметно прошла между курильщиками в прихожей и понеслась в общагу. Найти нужную газету, прочитать и убедиться. Еще хотелось узнать: как же теперь с лагерями? Должны начать выпускать! Не могут же, уничтожив хозяина, оставить его хозяйство нетронутым!

— Тут тебя целый вечер паренек симпатичный дожидался, — встретила Надю Алена, хозяйка общаги. — Телефон взял, звонить будет. Я ему сказала, что поздно будешь!

— Какой хоть из себя? — спросила Надя, теряясь в догадках. «Вадим, наверное», — без всякого интереса и радости подумала она, и, только успела раздеться, как в дверь постучали и Алена позвала:

— Иди, опять пришел этот парнишка, тебя спрашивает.

Надя наскоро накинула пальто, вышла на улицу и при свете фонаря над дверью подъезда увидела мужчину.

— Вы меня спрашивали?

— Надя! Не узнаешь?

— Валек! — вскрикнула она. — Валек! Откуда ты?

— Здравствуй! С Воркуты я, уж три дня как в Москве, все тебя разыскивал!

— Здравствуй, Валек! Нашел меня, а как? — искренне обрадовалась ему Надя.

— Пойдем посидим куда-нибудь, я все тебе по порядку расскажу.

— Сейчас, только сумку возьму!

Надя забежала к себе, схватила из-под подушки сумку и выбежала обратно.

— Ночевать придешь? — крикнула ей вслед Зойка.

— Приду!

Такси поймали по-быстрому. Надя не ездила на такси, только в Калуге, и озабоченно следила за счетчиком, который стрекотал «как бешеный». Валек знал Москву лучше нее. Он уверенно скомандовал шоферу:

— Давай, шеф, к Никитским воротам, со стороны бульваров, там к шашлычной.

Народу было не очень много, час поздний, и два места сразу нашлось. Официант в форменной тужурке, грязной и заляпанной каким-то соусом, долго шнырял мимо, но они и не торопились.

— Рассказывай! Что, где, как?

— Работаю, видишь, живу в общежитии. Из Малаховки уехала…

— Я думал, тебя в Большом театре искать придется, а ты что же? Не поешь?

— Буду, Валек, обязательно буду! В Большом петь — поучиться мне лет пять-шесть.

— Так долго? Состаришься…

— Ты лучше о себе рассказывай. Мобилизовался или в отпуск? — поторопилась переменить тему Надя, считая, что говорить с Вальком о пении — пустая трата времени, когда есть вопросы поважнее.

— Совсем рассчитался! Там такая каша заварилась, давай Бог ноги!

— Что так? — заинтересовалась она.

— Я ведь, как ты уехала, совсем расчет попросил, да в управлении уговорили, упросили, говорят, хоть месяц еще отработай, ну, я, дурак, согласился и меня на двадцать девятую шахту направили. А там такое началось… Тоже спецлаг…

— Это еще при мне на шахтах волнения начались.

— Между прочим, начальство у вас все сменилось. Начальник

ОЛПа новый, тоже майор, Пупышев фамилия его, опер новый.

— А Арутюнов, Анатолий Гайкович?

— Вроде пока там. Девчата хвалили, вроде ничего, новое начальство лучше прежнего.

Наконец подошел замызганный официант. Скосил глаза куда-то на стену и скороговоркой произнес:

— Шашлыки кончились, харчо нет, сулугуни нет, сациви тоже кончилось.

— Ладно, говори, что есть! — рассердился Валек.

— Можно люля, лобио осталось.

— Давай, тащи, и воды…

— Какой?

— Какая есть? Боржоми, Нарзан, Джермук?

— Только Ессентуки номер семнадцать.

— Какого же лешего спрашиваешь, какой? Тащи, что есть!

Надя слушала всю эту тарабарщину с непонятными названиями и удивлялась осведомленности Валька. Официант, записав заказ, не спеша, покачиваясь, как на палубе корабля, удалился.

— А пить что будем, за встречу? — спросил Валек.

— Нет, что ты! — замотала головой Надя.

— Тогда он долго не появится. Надо взять чего-нибудь…

— Ладно! Говори дальше, — нетерпеливо перебила она.

— Так я и говорю, — продолжал Валек, — такая там катавасия началась, не приведи Бог! Шахты, одна за другой, на дыбы поднялись. Тоже и ваша соседняя — шестая. А на нашей — настоящее восстание! Срочно комиссия из Москвы заявилась, Руденко…

— Генеральный прокурор? — поразилась Надя.

— Он самый да не один! С ним командующий войсками МВД генерал Масленников, начальник Речлага Дерерянко, офицерья, охраны натащили с собой! — Валек ненадолго задумался, вспоминая что-то. — Ох, и дундуки же, я тебе скажу! Видят, шахтеры на рогах стоят, нет, чтоб поговорить по-человечески…

— А чего хотели шахтеры? Какие требования?

— Известно! Ослабить режим, снять номера, разрешить переписку и назначить пересмотр дел. Многие задарма сидели. Короче, пообещать, успокоить надо было, а они — запугивать: «Саботаж!», «Забастовщики!», «Судить будем!», «Шахты встали!». Да разве их запугаешь? Там половина с каторжанскими сроками — сила! Шахтеры как взяли их в оборот, так вся комиссия дула к вахте, только пятки сверкали! На том бы и кончилось, ан нет! Кто-то из них, Масленников, не то Деревянко, с похмелья, видать, приказал пулемет на вышку поставить. «Разойтись!» —

приказывает, а зеки не расходятся, столпились, он солдатам команду дает: «Огонь!», а вертухай — дурак вдобавок, с вышки из пулемета очередью резанул по людям.

— Убил? — в ужасе вздрогнула Надя. Подошел официант с подносом.

— Вино какое у вас?

— Коньяк, пять и три звездочки, «Рислинг», «Мукузани», «Саперави», «Твиши», — начал загибать нечистые пальцы официант,

— Неси «Твиши»!

Официант оживился, повеселел и бодро направился к себе.

— И убитые были? — опять спросила Надя.

— Были, много, больше полусотни, и раненых полно было.

— Когда же это случилось?

— Вот летом, месяца два назад. Да, точно! Первого или второго августа.

Вино было легкое и очень приятное. Надя выпила целый фужер. Но есть не хотелось. Сыта была или от рассказов Валька разнервничалась, аппетит пропал. Вспомнила все комиссии, которые появлялись в зоне, и слова Клондайка: «Шахты готовы к взрыву, как пороховая бочка».

— Ну и как ты теперь?

— А никак! Отработал месяц — как отравы нажрался, и домой!

— На дом заработал? — улыбнулась ему Надя, вспомнив их первый выезд за хлебом.

— Заработал! Да к чему они… есть у меня дом.

Вспомнила и последний день…

— Я все думаю, чего мы тогда не остановились, может быть, он еще живой был. Спасти можно. — закончила она шепотом, уже глотая слезы.

— Нет, — покачал головой Валек, — нельзя, в сердце угодил… — он еще что-то хотел добавить, но вовремя сдержался, заметив, как побледнела и замерла с широко раскрытыми глазами Надя, в которых застыл немой ужас.

Валек нашел ее руку и крепко сжал:

— Не надо, он не мучился, смерть пришла мгновенно…

— Я мучаюсь, я буду мучиться! Ходит по земле его убийца, и никто не ищет его!

— Приезжали! Следствие велось, допрашивали пекарей!

— А их-то за что?

— Точно не знаю, вроде оттуда свидетель был. Потом заварухи на шахтах начались, забастовки. Седьмая поднялась, ваша соседка— шестая встала, наша двадцать девятая,

«Цементный», ТЭЦ, много… Вот все следователи и при деле оказались. Ну, будет об этом! — Помолчав немного, он пригубил свой фужер и, как бы застеснявшись, сказал:

— Похорошела ты здорово, Надя. С кем встречаешься?

— С двумя! С рассветом и закатом! — невесело усмехнулась она. Ей стало томительно и тяжело, не то от выпитого вина, не то от горестных воспоминаний, но не хотелось уходить, обижать Валька. Он очень недурно выглядел, в сером костюме, при галстуке. Ни за что не скажешь «село». Его густые пепельные волосы отросли и были красиво зачесаны со лба и висков назад, и весь он как-то повзрослел за это время и не выглядел мальчишкой, как раньше.

— Как ты меня отыскал?

— Запросто! Приехал по адресу в Малаховку, сказали, что ты там больше не живешь. Женщина посоветовала в милицию зайти, кстати, привет тебе передала.

— Клава!

— Я в милицию, а там майор, знакомый твой, спросил: «Кто такой?». Я документы показал, говорю, вместе Заполярную кочегарку осваивали. Он мне, правда, без охоты, но на ваш стройучасток телефон дал, а там я у прораба адрес вашего общежития взял, а потом и телефон раздобыл. Да целый день звонил, все нет, да нет. Ну, думаю, наберусь терпенья, придет когда-нибудь.

Надя благодарно улыбнулась:

— Хороший ты, Валек, душа у тебя добрая.

Валек насупился:

— Ничего хорошего во мне нет и не было сроду. Просто ты не догадалась, значит. Не до того тебе было. Люблю я тебя, Надька! Вот как в первый раз увидел на концерте, так и почуял: погиб во цвете лет, — невесело и виновато улыбнулся Валек широким ртом. — А потом мне, приказали с тобой хлеб возить, но не допускать разговоров, а я тогда конфеты какие-то от радости купил… во дурак!

Надя почувствовала, как все в ней оборвалось и затрепетало от жалости и беспомощности. «Что тут скажешь, чем ответить? А если и в самом деле, любовь?»

— Не надо пока, Валек, не нужно об этом. Ведь ты же все знаешь. Сейчас я ни о чем и думать не могу. В душе у меня волки воют и сердце грызут. Учиться мне надо, а с любовью покончено, и говорить о ней я не могу.

— Да нет, я так! Разве я не понимаю! Вот и проводница мне тогда на вокзале сказала: «Не по себе, парень, сук рубишь».

— Какая глупость, — смутилась Надя.

— Но если надумаешь, в любое время дня и ночи жду… Только дай знать. Адрес помнишь? Дай еще запишу!

Надя открыла сумку и нашла листок из блокнота. «Что это? Телефон! Чей? Ах да, преподавательницы пения! Завтра же позвоню» — решила, а на другой стороне записала адрес Валька.

— Ты где ночевать будешь? — спросила она, желая отвлечь его от своей особы.

— Товарищ у меня неподалеку живет… Красивая ты! — вздохнул Валек и полез в бумажник расплачиваться по счету. — Я, конечно, и не надеялся никогда, но знаешь, сердцу не прикажешь!

— Прикажи, Валек, прикажи пока… — с теплом и очень задушевно сказала ему Надя.

— Да кабы знать, что пока!

На следующий день в бригаде только и разговоров было: «К Надьке парень приезжал!» Это объясняло многое «темное», что таилось в ней: не курит, не пьет, мужчин не водит, вечерами сидит с книжкой, а из себя ничего — не уродина, а даже наоборот. Верность — чувство, всегда уважаемое в народе. Пришлось всем желающим дать краткое объяснение в искаженном виде.

— Кто это? Возлюбленный? Жених? Просто знакомый?

— Просто знакомый с видами на будущее.

В обеденный перерыв Надя добежала до ближайшей телефонной будки и позвонила. Из общаги говорить не хотелось. К телефону долго не подходили, и Надя уже решила, что известный чтец Валерий Токарев сыграл с ней такую же шутку, как она с ним. На всякий случай набрала номер еще раз, и сердце ее забилось быстрее, готовое выпрыгнуть, когда услышала:

— Слушаю вас!

Голос немолодой женщины. Надя взяла себя в руки, спокойно, без дрожи в голосе и в коленях, обстоятельно объяснила, что мечтает заниматься пением именно у этой преподавательницы, Елизаветы Алексеевны Мерцаловой, рекомендованной ей артистом Валерием Токаревым. Имя артиста Токарева не произвело никакого впечатления на Елизавету Алексеевну. Она коротко и сухо сказала:

— Ничего обещать заранее не могу. Приходите, если мне будет интересно с вами работать, я вас возьму. Адрес знаете? Запишите! В пятницу к четырем приходите. Прошу не запаздывать и захватите свои вещи, какие думаете мне петь.

Надя хотела сказать, что работает до пяти и никак не может поспеть, но в трубке уже загудел отбой, а перезвонить еще раз она не посмела. «Отпрошусь у Ани, в крайнем случае отработаю

день».

— Ладно, — согласилась Аня, — отпущу в три. И вот чего я хочу тебе сказать, только не обижайся! Девчонка ты видная, красивая, не хабалка какая-нибудь, а одеваешься, смотреть стыдно.

Одно платьишко, и то скоро до дыр заносишь. Куда ты деньги деваешь?

Надя вспыхнула и покраснела. Уткнулась в работу, стала кусачками плитку обравнивать. Если б не Аня, ответила бы по-свойски: «Какое твое собачье дело?», но Аня искренний друг и к тому же бригадир, ей так не ответишь!

— Есть у тебя деньги? Иль мужика содержишь, алкаша?

— Есть деньги, на памятник матери берегу.

Аня сразу смягчилась и уже по-дружески сказала:

— Памятник подождет, дело хорошее, но ждать может. В воскресенье наши девчата гамузом в ГУМ затеялись идти. Вот ты с ними ступай и прибарахлись, пока я твое старье в мусоропровод не сбросила, ладно?

— Хорошо, пойду! — пообещала Надя.

Дома, пересмотрев свой гардероб, она пришла в ужас от его убогости. Одно платье с Воркуты, юбка едва до колен, кофта на груди не сходится и ситцевый халат — и все…

Бригада встретила решение Нади приодеться с одобрением. Каждая предложила свой вариант. Но самая большая наряжёха в бригаде, Надька-маленькая, стиляга, авторитетно заявила:

— Дерьма в ГУМе накупит, а денег истратит кучу. Два платья и юбка с красивой шелковой кофтой — больше не надо. Туфли только импортные: итальянские или ФРГ!

— Можно чешские, — робко вставила Вера.

— Ты что! Колоды, каблуки немодные! — воскликнула, подавив всех своим авторитетом, Надя-маленькая. — Дорого да мило, дешево да гнило! Мы не так богаты, чтоб покупать плохие вещи! — победоносно оглядела она присутствующих. — Я отведу тебя куда надо, оденешься, как кукла будешь!

Пришлось срочно идти в сберкассу и взять пять тысяч. С зарплатой должно хватить одеться и платить за уроки.

— На Кировской, не доходя до метро, слева, первоклассное ателье полуфабрикатов, выберешь, что нужно! И к лицу и к фигуре! — щебетала Надя-маленькая, направляясь с Надей-большой в ответственный рейд, чтоб прибарахлиться.

Надя-маленькая хоть и была по плечо Наде-большой, но вошла в ателье так важно, с таким апломбом, что приемщица тут же прониклась к ней уважением и поспешила показать им всю наличность ателье. Сообща, после долгих размышлений были

выбраны два платья: одно цвета «беж» из чудесного французского шерстяного крепа, с большими светло-коричневыми пуговицами и плиссированной юбкой, другое — ярко-алое с целым рядом маленьких черных пуговиц и черным лаковым поясом.

— Креп-твил, очень моден в этом году, — сказала закройщица. — Приходите во вторник, будут готовы.

Когда Надя подошла к кассе и взглянула на счет, который ей выписали, в глазах у нее на минуту потемнело: одна тысяча четыреста пятьдесят рублей, да еще сто рублей подгонка по фигуре. Надя-маленькая стояла рядом, не давая никакой возможности к отступлению.

— Тряси, тряси мошной, не жадничай! — командовала она. — Пальто можно и не очень дорогое купить.

— Не нужно мне пальто! — заартачилась было Надя.

— Как это не нужно? Зима на носу! Ты что? В Ташкент приехала? Или надеешься всю зиму в своем еврейском лапсердаке проходить?

— Домой пора! — запротестовала Надя.

— Успеешь! Семеро по лавкам не ждут! Давай, тут, в Орликовом, магазин одежды хороший, его мало кто знает, а нет, так в комиссионке пошуруем. Да ты не жмись: с нового года спецобъекты пойдут, там и расценки другие. Степан Матвеевич обещал. Высотки отделывать будем!

Надька-маленькая, пока шли остановку пешком, бесстыже переглядывалась со всеми парнями и улыбалась им. Надя-большая посмотрела на красный кирпичный дом и вдруг остановилась. Улица Кирова, дом 41, Главная военная Прокуратура СССР. Вот она — геенна огненная! Здесь обивали пороги сотни жен и матерей зеков. Сюда, по этому адресу, отослали они с Клондайком не один десяток писем.

— Ты чего? — удивилась Надя-маленькая.

— Знакомый тут работает!

— Полезное знакомство, что и говорить!

Вышли к Красным воротам. «А вон там, под башней с часами, стояла мать, когда по Москве вели пленных немцев. Жестоко обиженная ими, а все же пожалела пленных».

В Орликовом магазине оставили еще три тысячи пятьсот рублей за пальто. Сердце Надино заныло, уходят без оглядки деньги, предназначенные совсем для другого дела. Пальто купила Надя под натиском и давлением Нади-маленькой. Слишком дорогое и, в общем-то, ничего особенного, совсем простенькое, черное, из мягкой, пушистой шерсти, с большим шалевым воротником из меха черно-бурой лисы. Красиво, сказать нечего, но уж очень дорого!

Тут же, на углу Садовой, сели на троллейбус, и Надя-маленькая деловито объявила:

— Теперь туфли!

— Нет, давай домой! — тревожно воскликнула Надя-большая так громко, что пассажиры в троллейбусе стали оборачиваться на нее.

— Двигай к выходу! — не давая опомниться, потащила ее Надя-маленькая. — Зайдем в Щербаковский универмаг!

На втором этаже очередь. Что-то дают! Чего-то выбросили!

— Немецкое белье! За бельишком встанем!

— Зачем тебе? — взмолилась Надя-большая.

— Как зачем? Красивое бельё для женщины все! Одну пару обязательно нужно для «греховной жизни!»

Пришлось еще раскошелиться на кружевное розовое белье. Но после этого Надя-большая решительно дернулась к выходу.

— Стой! — остановила Надя-маленькая. — А туфли?

— Черт с ними! Обойдусь, и денег уже не осталось!

— А, ну, глянь, сколько есть?

Надя открыла сумку:

— Семьсот пятьдесят рублей, с зарплатой, а на что жить полмесяца?

— Ничего, провертишься на молочке с булочкой, все так живут! — засмеялась Надя-маленькая и потащила упирающуюся Надю-большую в обувной отдел. Увидев полупустые полки с тряпичными босоножками, Надя-большая заметно повеселела.

— Нет ничего! Пошли домой! — обрадовано воскликнула она.

Через дорогу, прямо против универмага, комиссионный магазин.

— Идем туда! — нырнула Надя-маленькая.

Молодая продавщица в обувном отделе лениво, в полусонном забытьи зевала в кулачок. Покупателей было мало, старых обносков полные полки. Надя-маленькая перегнулась через прилавок.

— Можно вас! — позвала она продавщицу. Та нехотя подошла. Надя-маленькая, блестя шустрыми глазками, стала шептать ей что-то на ухо. Та покосилась на Надю-большую, спросила:

— Какой размер?

— Размер какой у тебя? Говори быстро!

— Тридцать шестой!

— Не малы? — она подошла к концу прилавка и стала с большим вниманием рассматривать поношенное старье, чем до отказа были забиты полки. Продавщица небрежно взглянула по

сторонам и нырнула за занавеску.

— Сейчас принесет, подожди!

Через некоторое время вышла продавщица с туфлями в руках.

— Пройдите на примерку, — сказала она. Надя-маленькая толкнула в спину Надю-большую.

— Иди же, зовет!

Туфли и в самом деле были прелестные: черные лаковые лодочки с замшевым черным бантиком, перехваченным в середине блестящей пряжкой. Нарядные, глаз не оторвешь, но чуть тесноваты, впритык!

— Ничего! Разносишь, не. на работу ходить в них. Выписывайте! — и к Наде: — Тряси мошной! Шестьсот пятьдесят и полтинник сверху.

— За что ж полтинник сверху? — попробовала протестовать Надя-большая.

— Как за что? А за что тебе такие лакировки перепали? За прекрасные глаза?

Нагруженные покупками, они отправились к площади Дзержинского по Сретенке.

— Много истратила? — спросила вечером Аня. От нее не укрылось огорченное лицо Нади.

— Много! Почти шесть тысяч рублей!

— Ой! Что так много?! — поразилась Аня.

— Так получилось! Цены такие… Одно пальто три тысячи.

— С ума ты, девка, спятила, зачем такое дорогое? — Надя виновато молчала.

— Как жить-то будешь?

— Залезу в памятник еще раз!

Аня нагнулась и выдвинула из-под кровати обшарпанный чемодан, достала из-за пазухи цепочку, на которой вместе с медальоном висел маленький ключик, и открыла замок.

— Вот, возьми пятьсот до получки, получишь, отдашь.

— Не надо, — попробовала отказаться Надя, ей было неловко и стыдно. «Деньги-то есть у меня, только до сберкассы добежать!»

— Бери! Лучше не украдут, — пошутила Аня. Малярки загалдели:

— Двери нужно запирать!

— Двери не запираете обе! Расхлябенят настежь и пошли!

И верно! Надя привыкла жить в лагере с открытыми дверями и забыла совсем, что Зойки-Мухи, Амурки и Пионерки здесь, у нее под боком, на воле гуляют.

В назначенную пятницу, уже с обеда, она начала умоляюще посматривать на Аню: «Не забыла ли?»

— Рано еще, часок поработай, в три уйдешь.

— Ступай! — шепнула ей Тоня. Она клала плитку на кухне и знала, что Наде срочно нужно «оторваться».

— Иди! Анька теперь до конца не придет, в другой подъезд пошла.

— А вдруг?

— Иди, говорю, я докончу, коли что…

Нужно было еще забежать в общагу помыться «под большое декольте», захватить ноты: сборник Чайковского и Булахова, больше у нее ничего не было.

Темно-серый дом в глубине небольшого палисадника, построенный добротно, без претензий, но и не детище новостроек, настоящее жилище солидных людей. Просто зайти в такой дом без душевного трепета и волнения нельзя было. Здесь жили артисты Большого театра. В одном из четырех подъездов доживала свой век великая Нежданова. Надя не воспользовалась лифтом. Куда приятней было подниматься медленно по лестнице пешком, читая таблички со знакомыми именами. И пусть она слышала их только по радио, зато голоса их знала не хуже своего собственного. Дверь ей открыла явного вида прислуга, в переднике и по-деревенски повязанная белым платком.

— Меня Елизавета Алексеевна пригласила, — сказала Надя.

— Проходите, пальто на вешалку…

На больших бронзовых часах с амуром пробило ровно четыре, когда Надя вошла в комнату. Маленькая полная женщина с седыми букольками и румяным свежим лицом встретила Надю сухо и строго поглядела на нее.

— Здравствуйте, я вам звонила, и вы мне назначили на четыре часа, — почтительно сказала Надя, вложив в свой голос всю вежливость, на какую была способна.

— На четыре? — Елизавета Алексеевна взглянула на часы и, видимо, осталась довольна. — Пойдемте, я вас послушаю! — и направилась в другую комнату.

В просторной и светлой комнате было мало мебели. Здесь все предназначалось для занятий пением. Большой рояль, очень красивый книжный шкаф со стеклянными створками, набитый доверху клавирами и нотами, несколько стульев из того же дерева, что и шкаф, да мраморный столик с лампой на изящных, гнутых ножках — вот и вся обстановка. Даже занавеси, не тяжелые драпировки, поглощающие звук, а легкие тюлевые. Ни ковров, ни картин. Стены около рояля и напротив увешаны зеркалами, без рам, крепленные к стене тонкими рейками. Ничего лишнего.

Елизавета Алексеевна пододвинула поближе к роялю круглый вертящийся табурет и села. Надя встала к роялю, на свое место,

на секунду закрыла глаза и приказала себе: «внимание», и тотчас, все, что не музыка, было забыто, оставлено далеко. В пении она могла быть собранной, сосредоточенной и предельно внимательной, и в этом была заслуга Дины Васильевны. Елизавета Алексеевна долго гоняла ее по двум октавам.

— Я могу выше, — робко предложила Надя.

— Я знаю! Не нужно, — кивнула головой Елизавета Алексеевна. Она некоторое время сидела, задумчиво шевеля губами, потом спросила: — Я так полагаю, вы занимались пением?

— Да, немного.

— Ну, так! Я вас возьму, но при одном условии!

Надя, возликовав душой, насторожилась: «Каком?»

— Все, чему вы учились раньше, нужно будет забыть. У меня свой метод, и я начну с вами с азов.

Она взглянула на маленькие золотые часики на своей руке.

— Сейчас придет концертмейстер, и вы мне споете свои вещи. Между прочим, сколько вам лет?

— Двадцать три!

— Прекрасный возраст! Но можно было начинать и раньше. Вы не играете хоть немного?

— Нет, к сожалению, нисколько!

— Это действительно к сожалению, а ноты читаете?

— Ноты — да! Читаю.

— Ну и это хорошо. Учитесь?

— Я работаю…

— Если не секрет, где?

— На строительстве…

— Что? На строительстве? — удивилась она. — А что же вы там делаете?

— Я плиточница, плитку кладу… Отделочные работы…

— Простая рабочая? — на ее непроницаемом лице холодное и чужое выражение сменилось явным любопытством.

— Да! — ответила Надя, вовсе не уверенная, что такая профессия придется по душе Елизавете Алексеевне.

— А как родители относятся к вашему желанию заниматься пением? Будут помогать?

— У меня нет родителей, я одна.

— Как? Сирота? — с недоверием спросила Елизавета Алексеевна. — А где они?

— Папа погиб на фронте, а мама год назад умерла, — сказала Надя едва слышно.

Елизавета Алексеевна поднялась со своего крутящегося стульчика и подошла к Наде, совсем близко, как бы изучая ее с

близкого расстояния. Потом повернулась спиной и подошла к окну задернуть занавес.

— А как вы думаете платить за уроки? — внезапно спросила она.

— У меня есть сбережения.

— Сбережения? У такой молодой девушки? Откуда? — с недоумением произнесла она, снова поворачиваясь лицом к Наде.

— У меня от родителей оставался дом в Малаховке, так я его продала.

— А где живете?

— В общежитии. У меня хорошее общежитие, — сказала, не покривив душой, Надя.

— И бережете деньги для того, чтоб заниматься пением у дорогого преподавателя? Так я вас поняла?

— Да! — «Вот дотошная!»

В дверь позвонили.

— А вот и Рита, ваш концертмейстер. Два раза в неделю вы будете заниматься со мной по часу исключительно постановкой голоса, и один час — с концертмейстером. Кроме того, для разучивания своих вещей и вокализов вам надо будет ездить на час к Рите домой. Устраивает вас такая программа?

— Вполне, — ответила Надя, холодея от мысли, в какую копеечку ей это обойдется.

Концертмейстер Рита оказалась миловидной молодой женщиной не старше тридцати лет. Она очень деловито, без лишних фраз сказала:

— Что у вас там? Ставьте ноты на рояль!

Из всего сборника Чайковского Надя пела одну-единственную вещь, свою самую первую. «Я ли в поле да не травушка была». И, как назло, пела из рук вон плохо. Спасибо, Рита подбодрила улыбкой.

— Что еще? — строго спросила Елизавета Алексеевна.

Надя поставила на рояль Булахова, вещь, которую она учила с Наташей Лавровской и была уверена, что это будет еще хуже. Небольшой проигрыш, и она запела: «И нет в мире очей и черней и милей, чем его». Она видела, как нетерпеливо потирала руку об руку Елизавета Алексеевна, и догадалась: «Ей не нравится!»

— Ну, а что-нибудь еще?

— Со мной больше ничего нет! — извинилась Надя.

— Как же так, девушка, милая, идете показать себя, а показывать нечего! Это несерьезно! — неодобрительно сказала Елизавета Алексеевна.

— Я не была уверена, что вы согласитесь со мной заниматься.

— Хорошо! — смягчилась она. — Что вы еще поете? Может

быть, у меня найдется?

— Еще Римский-Корсаков «О чем в тиши ночей», — предложила перепуганная Надя.

— Пой! Я помню, — сказала Рита. — Смотри на меня, я покажу, когда вступать!

Но Наде не нужно было показывать, она хорошо помнила этот романс, хоть прошло пять лет с тех пор, как Дина Васильевна учила ее петь, во злостях топала ногой, ругая Надю: «Дубиус, дубина-с».

— Итак! — сказала Елизавета Алексеевна, вставая со стула, когда Надя кончила петь. — Найдите в своем сборнике Чайковского две вещи, раз уж он у вас существует: «День ли царит» и еще одну, — она задумалась. — Вот! «Не ветер, вея с высоты…» Вы их не пели?

— Нет!

— Хорошо! Будете учить с Ритой. Все свои старые вещи забудьте. Теперь купите в нотном вокализы Зейдлера, первую и вторую тетради. Запомнили? Гаэтано Зейдлер! Начнем все сначала. Заниматься будет… Ах, да! Я забыла! Вы ведь работаете. Тогда давайте так. Во вторник вы у меня в половине седьмого, в четверг к Рите, в субботу у меня к шести, с Ритой и без опозданий. С Ритой о времени договаривайтесь сами. За свои уроки я беру сто рублей, Рита — пятьдесят. Есть у вас такая возможность?

— Есть, — сказала слегка оторопевшая Надя и с готовностью взялась за сумочку.

— Нет, нет! — остановила ее Елизавета Алексеевна своей рукой унизанной перстнями и кольцами. — Сегодня урока не было. Платить будете со следующего раза и сразу за каждый урок.

— Когда тебе удобно? — спросила Рита.

— Если можно, после работы.

— Конечно, — согласилась Рита, — но не позже семи.

— Тогда к семи?

— Договорились, прошу, не опаздывай!

Такие расходы были не предвидены. «Сколько же я выдержу? Триста рублей в неделю?» — соображала Надя, направляясь по Брюсовскому к улице Герцена в нотный магазин с опасением встретить там «приятный баритон».

С первых же уроков у Елизаветы Алексеевны Надя поняла разницу между профессиональной преподавательницей высшего класса и Диной Васильевной, в прошлом просто певицей. Хорошо отработанная методика, ни одной не заполненной минуты для разговоров не по существу. Двадцать минут на гаммы мажорные, минорные, хроматические, двадцать — на всевозможные

арпеджио, двадцать — на вокализы с замечаниями, поправками, объяснениями, повторениями — всего час. Сухо, холодно, по-деловому — работа над голосом, а не просто приятное пение.

С Ритой было проще. Когда Надя в первый раз приехала к ней на занятие на улицу Чаплыгина, Рита еще в кухонном чаду дожаривала котлеты.

— Ты не смотри, что Елизавета Алексеевна такая суровая с виду, добрее и отзывчивей я не знаю людей, — сказала Рита и принесла на блюдечке горячую котлету Наде: — На, попробуй, по новому рецепту!

Надя хотела отказаться, но надо было похвалить хозяйку, а котлета по новому рецепту действительно была вкусной. В крошечной комнате у Риты едва помещались тахта, пианино «Красный Октябрь» и обеденный стол со стульями. В другой такой же небольшой комнате виднелся в открытую дверь шкаф, большая кровать и детская. Свою пятилетнюю дочь Рита на время занятий отправляла к соседке.

— Не дает заниматься! Подходит к пианино, начинает петь и пальчиками по клавишам ударяет! — пожаловалась Рита. Но было видно, она довольна, что девочка любит музыку.

Муж Риты, виолончелист, играл в большом симфоническом оркестре не то в филармонии, не то в Радиокомитете. Тысячу раз слышанные романсы Чайковского учились, как повторение хорошо знакомого, легко и быстро. Прощаясь, Надя положила на пианино 50 рублей.

— Если можешь, ты мне сразу побольше отдашь, — попросила Рита. — Купить надо кое-что для дома, для семьи.

«Вот она, «воробьиная свобода», оба работают, а живут в квартире не больше моей хлеборезки, — посетовала Надя, спускаясь па лестнице домой. — И, между прочим, без всякой надежды на лучшие условия. А со временем еще будет хуже, когда подрастет девочка. Голодная норма, семь метров на человека, соблюдена с лихвой».

За готовыми платьями пришлось ехать в среду после работы, иначе она опоздала бы к Елизавете Алексеевне, а это было невозможно. В первый же урок были получены серьезные замечания:

— Надо научиться петь тихо, но так, чтоб тебя слышали последние ряды и галерка, а это намного труднее, чем в полный голос. Начинай с самого тихого piano и постепенно расширяй звук. Не старайся оглушить слушателя мощью звука, заставь его слушать твой музыкальный шепот. Убирай звук, убирай, убирай! Работай диафрагмой, обопри звук! — И чего только не услышала Надя в первый урок, потеряв всякую уверенность, что у нее

вообще

что-либо получится.

— Тембр голоса у тебя красивейший, но петь пока еще ты не умеешь. Напеваешь, а не поешь. Голос сильный, красивый, но…

— «Поешь ты хорошо, а целоваться не умеешь», — вспомнила она Клондайка. — Оказалось, что и петь не умею.

В первое посещение Брюсовского переулка Надя припомнила, откуда ей было памятно название «Брюсовский переулок», и дом, где живут одни артисты. Конечно, она знала о нем. Павиан! «Сладострастный Павиан» там, в далеком Заполярье, ночью в хлеборезке рассказал о том, как был арестован его учитель в этом самом доме. И тут же вспомнила даже фамилию: Барышев Никифор Михайлович, артист Большого театра!» Узнать бы у кого-нибудь, жив ли? Вернулся ли? Жаль, что не знаю, в каком подъезде, в какой квартире, а то зайти бы, спросить».

В суете бытовщины: работы, занятий, беготни по магазинам — Надя приходила домой усталая, валилась с ног, как подкошенная, спала без сновидений, непробудно, до утра. Но однажды ей приснился сон. Она была «там», не в хлеборезке, а на пересылке, и на руках у нее была маленькая девочка Катя. Почему Катя? Она не знала, не знала также, была ли это ее дочка или чья-то, но Надя очень любила Катю. Новый начальник лагеря майор Пупышев, не в пример Черному Ужасу, вежливый и обходительный, сказал Наде: «Твоей девочке год, надо немедленно сдать ее в приют для детей репрессированных, а тебе пора работать», — и быстро выхватил ребенка из ее рук. За вахтой, она знала, ждал автобус, специально присланный за ее девочкой. «Нет! Вы не смеете, я свободная, я не репрессированная!» — закричала Надя и бросилась за ним, на вахту. Но дверь вахты уже захлопнулась за Пупышевым, и старший надзиратель Гусь столкнул ее со ступенек. «Отдайте мне девочку!» — Надя кинулась на проволоку предзонника и, раздирая в кровь руки, стала трясти ограждение. «Сейчас меня убьют и я умру», — испугалась она, но выстрелов не последовало. «Рука моя не дрогнула бы из «максима» их всех!» — услышала она за спиной знакомый голос, обернулась, сзади стоял Клондайк и с искренним сочувствием смотрел на нее. «Поздно, поздно, Клондайк! Раньше надо было, пока они еще в силу не взошли!» — закричала Надя и проснулась.

Утром, одеваясь на работу, Зойка-малярка спросила ее:

— Чего тебе снилось? Металась, стонала.

— Руки в кровь порезала во сне, — ответила Надя.

— Кровь во сне видеть хорошо! К кровному знакомству.

— И еще, девочку на руках держала.

— Девочку тоже хорошо. Дивиться будешь новому знакомству «кровному», учти! — захихикала Зойка.

Но никаких знакомств, ни кровных, ни бескровных, не произошло, а угнетенное настроение не покидало ее целый день.

Перед ноябрьскими праздниками Надю посетила редкая гостья-удача, и даже не удача, а счастливый случай. Дело было на исходе рабочего дня. Девушки, отмытые и одетые, уже собрались кто куда. Одни домой, другие, как Надя и Аня, в общагу, когда из конторы прибежала нормировщица Валя и, отозвав в сторону бригадира, шепнула ей на ухо что-то такое, от чего лицо Ани покрылось красными пятнами и она, как бешеная, мигом сорвалась с места и, бросив сумку с вещами, помчалась в контору. Девушки из Аниной бригады подходили одна к другой, в недоумении пожимали плечами: «Что это с ней?» — и, сгорая от любопытства, не расходились по домам. Решили ждать. Через некоторое время с искаженным от ярости лицом влетела Аня и, сотрясая все этажи новостроящегося дома отборной бранью, объяснила все:

— Два с лишним года стою на очереди, как строитель-передовик, ишачу, как вол, сами знаете! И вот! — тут она обвела бригаду взглядом, полным ярости и злобы. — Подходит очередь и предлагают квартиру, знаете где?

— Где? Где? — всполошились плиточницы.

— Где контора! Контора переезжает в другой дом, а квартиру отдают нам строителям-очередникам. Видите ль, горящий ордер! На первом этаже, загаженная всеми, кому не лень. И решетки на окнах, как в тюрьме! А?.. За что же мне такое? Маляры отказались, паркетчики на смех подняли! Видите ль, ордер горящий! Да сгори он, этот ордер, совсем! Кому нужно отстоять в очереди и лезть на первый этаж!

Девушки побросали спецовки и собрались вокруг Ани, высказывая сочувствие ей и неодобрение начальству.

— Первый этаж, дверь на улицу день и ночь хлопает!

— Все в окна заглядывают.

— Унитаз заделали хуже, чем на вокзале.

— Вечно живи, как на улице.

— Машины под окнами день и ночь воняют.

— Страшно на первом!

— Всегда первые этажи обворовывают.

— В парадное войти нельзя, вонь стоит, оправляются мужики? Долго еще горячилась и возмущалась вся бригада, переживая, как личное оскорбление, предложение строителям такой квартиры. Внезапно появился Степан Матвеевич. Злые сплетницы поговаривали, что у него с Аней «роман взахлеб», но в

этот раз он был решителен и суров.

— Так! — начал он. — Ты, Сидоренко, два года живешь в общежитии, так?

— Не два, а два с половиной, почти три! — живо возразила Аня.

— Тем более! Сейчас ты вне очереди получаешь ордер на хорошую квартиру…

— Хорошая квартира! — завопила возмущенная Аня. — Каталажка какая-то с решетками на окнах.

— Тьфу! Ну и дура! — сплюнул на пол Степан Матвеевич, теряя терпение.

— Прошу не оскорблять! Я вообще могу уйти с вашего участка!

— Так вот, мое последнее слово! Не хочешь, не надо, другие найдутся, а ты жди-пожди еще год!

— Уж лучше еще год перебиться, чем всю жизнь маяться!

— Лучше, лучше! — загудела бригада на разные голоса.

— Значит, оказалось, никому не нужна квартира, лучше общежитие?

Степан Матвеевич зловеще насупил брови и в гневе застегнул доверху пуговицы на спецовке.

— Нужна! Нужна! Только не на первый этаж!

— Не хотите, значит? Не надо! Так перебьетесь. А ты, Анна! Жди, когда в цековский дом высшей категории пригласят жить! — С этими словами он решительно направился к двери, но тут же круто обернулся и подошел к Наде, одиноко стоявшей у окна. В общий спор она не вмешивалась, на очереди не стояла и работала недавно.

— И тебе, Михайлова, не нужна прекрасная однокомнатная квартира?

— Прекрасная, замечательная!

— Булганину или Микояну предложите!

— Квартира хуже сортира! — голосили наперебой девушки. Надя, боясь нарушить негласный договор или, как сказали бы в Воркуте, «саботаж», молчала.

— Ну, говори же! — прикрикнул на нее Степан Матвеевич.

— Нужна! — робко произнесла она. — Только я ведь не на очереди…

— Иди за мной в контору, — приказал Степан Матвеевич и победоносно взглянул на Аню. Та тотчас отвернулась.

Девушки бросились уговаривать Надю не брать ордер, подождать.

— Стоит еще потерпеть немного и можно получить хорошую! Строителям все время понемногу выделяют жилплощадь, —

уверяли они Надю.

Но она, сказав «да», уже никогда не отреклась бы от своих слов. Кроме всего, ее совсем не страшила жизнь на первом этаже.

— Ну и дура! — заключила Люба. — Учти — это на всю жизнь.

— Я привыкла жить на низу, — возразила Надя, еще не веря до конца своему счастью. Только Надя-маленькая, которая ходила с ней по городу и часто забегала на этажи, где работала Надя-большая, улыбнулась лукаво и хитро:

— Что вы, девчата! Спорю, года не пройдет, улетит она от нас.

На седьмом небе от радости почувствовала себя Надя, получив ключи от крохотной, изувеченной квартиры. «Бот что значит «общее — ничье», — подумала она. Выщербленный паркет, облупившиеся обои, побитый кафель в санузле и на кухне. И все же это была радость! Можно было запереть дверь и не сказаться дома. Можно было в воскресенье лечь с вечера и проспать до утра, не натягивая на голову одеяло, чтоб не слышать любовных игр Зойки-малярки и не вдыхать курева дешевых папирос «Бокс», или, как их еще называли, «Казбек в трусиках». Не прятать в бюстгальтер ключи от чемодана с нехитрым барахлом, со сберкнижкой. Можно было, наконец, купить свои собственные книги, зная, что их не уведут.

— Что будешь делать в такой разрухе? — спросила Аня.

— Кафель сама поправлю, плитку в ванной комнате заменю, на кухне тоже. Обои, сама знаешь, — пустяк, переклею. Паркетчики обещали кое-где паркет заменить. И все!

— Правильно! Вместо того, чтоб с парнями гулять, весь праздник будешь чужую грязь таскать! Ладно, отремонтируешь, дашь ключ на вечерок! — засмеялась Аня и покраснела, как маков цвет, увидев удивленные глаза Нади.

— Первым делом нужно купить занавески плотные, для ночи, и тюль на день. Тогда нижний этаж потеряет свое пугающее свойство, — посоветовала Надя-маленькая. Она всегда выражала свои мысли витиевато, но точно.

Вечером, после работы обе Нади отправились за покупкой занавесок. Из общаги Алена разрешила взять облупленную кровать.

— Зато матрац новый! — сказала она.

В тот же вечер Надя выкрасила ее в кастрюльно-голубой цвет, — другой краски под рукой не оказалось.

— Ты не вздумай новоселье устраивать, денег трахнешь много, а тебе вон сколько всего надо, — поучала Надя-маленькая, помогая вешать занавески. — Да не думай! Я не зря стараюсь,

когда-нибудь пустишь в гости «без хозяев», — с озорной улыбкой сказала она. — У меня тоже «тузик» водится.

— Что это, Надя, ногти у тебя синие? — спросила Елизавета Алексеевна.

Пришлось объяснить, что квартиру получила и красила кровать. Елизавета Алексеевна посмотрела строго, и вдруг лицо ее озарила такая добрая и ласковая улыбка, что Надя почувствовала, как тепло передалось ей, согрело душу. После урока Елизавета Алексеевна попросила Надю задержаться и ушла в другую комнату, но вскоре вернулась с коробкой в руках.

— Вот тебе на новую квартиру, — сказала она, подавая Наде коробку. — Осторожно, не разбей!

Надя растрогалась до слез. Подарок не хотела брать, но Елизавета Алексеевна прикрикнула на нее:

— Бери! Не ломайся! Мне самой подарили, а девать некуда, посуды полно!

Едва дотащив до дома подарок, Надя тут же развязала коробок. Там оказался чайный сервиз «Незабудка».

— Зачем такой дорогой купила? — отругала Аня. — Все равно гости переколотят, нужно подешевле было!

— Подарок это!

— Подарок? — недоверчиво протянула Аня. — Ну, если подарок, тогда… Дареному коню в зубы не смотрят.

Пока шел ремонт, Надя ночевала в общаге. Холостые девушки скинулись в складчину погулять на праздник по пятьдесят рублей. Надя отказалась, пожалела денег, да и что интересного? Вечером ее позвали к телефону.

— Кто? — испуганным шепотом спросила она.

— Парень!

«Валек приехал», — решила Надя.

— Что у вас за квартира? Человек сто проживает?

— Поменьше! — ответила Надя, тотчас узнав Вадима.

— Я тебе который раз звоню, всех знакомых и друзей на мелочь обобрал. Как живешь?

— Превосходно! Лучше быть не может!

— Замуж не вышла?

— Кто же превосходно живет замужем? Только в веселом девичестве и счастье.

— Вот я и вижу, что вечерами дома не бываешь.

— В бегах! Объявлена в розыске. Поболтав еще минут пять, Вадим спросил:

— Чего на праздник делаешь?

— Сама еще не знаю, — честно созналась Надя. У нее никогда не было праздников, когда бы совсем нечего делать. Не работать

целых два дня.

— Может быть, сходишь со мной в компанию, потанцуем, ребята хорошие.

— Ты хочешь сказать, приличные?

— Выше всех похвал! Одни ученые и академики!

— То-то скукота где!

— Гарантирую, не соскучишься!

— Ну, тогда приглашай!

Пока трудящиеся всей страны ходили с лозунгами, транспарантами и портретами вождей, Надя закончила выносить мусор после ремонта, отдраила полы и, счастливо улыбаясь, полезла в ванну, заведомо зная, что никто не поторопит ее. Сиди себе сколько душе угодно.

В новом красном платье и пальто, Надя сама себе понравилась, что с ней случалось нечасто. «Хоть не блондинка, но все же очень ничего. Пришлось на минутку забежать в общагу, показать новое платье Анне.

— Окосеть можно, какая девушка! Смотри, не ободрали бы где-нибудь в темном переулке, а то придешь, яко наг, яко благ, яко нету ничего! — предупредила Аня. — Ты хоть телефон оставь, куда идешь!

— Я и сама не знаю!

— Ключ от квартиры дай на вечерок, — попросила Зойка-малярка.

— Не давай, не давай, нагадят и не уберут, — шепнула Аня.

Сама она, уже одетая, шла в ресторан тоже с «кем-то», хотя все знали — со Степаном Матвеевичем. Шила в мешке не утаишь. В первый раз Надя видела ее такой красивой. Черное кружевное платье с золотой брошью, губы накрашены, ресницы тоже, аж до бровей достают, лицо слегка попудрила — красавица, да и только! Надя достала помаду и тоже губы накрасила. «Как мартышкам гузно», — вспомнился ей Пятница, когда он ловил на разводе женщин с крашеными губами и заводил их на вахту, чтоб там вытереть им губы вонючей солдатской портянкой, которые сушились тут же, у печки.

Встретились у входа в метро на Маяковской. При ночном освещении Вадим не сразу узнал ее. Стоял, вертелся по сторонам, а Надя подошла сзади.

— Не меня ждете, молодой человек? Он быстро обернулся:

— Надя!

— Надежда Николаевна! — поправила его она. Вадим, не скрывая радостного восхищения, осмотрел ее.

— Точно! Она! Надежда Николаевна!

Было холодно, но сухо, и Надя надела свои новые туфли,

однако чувствовала в них себя совсем неуютно, были велики каблуки, к которым она не привыкла, и к тому же слегка тесноваты.

— Куда идем? — спросила она.

— Тут рядом!

«Слава Богу, как-нибудь доковыляю!»

Приход Вадима был встречен радостными воплями. Здесь его знали и, видимо, любили. Мужчины подходили, знакомились с Надей, называя себя, девушки критически оценивали быстрыми взглядами, но были приветливы и оживлены. Надя тоже исподтишка изучала их туалеты, побрякушки и очень короткие стрижки. Одна из них была знакома, ее ленинградская попутчица, но та не проявила особой радости при виде Нади, а, окинув ее слегка насмешливым взглядом, капризно промяукала:

— Вадик! А где же Лена?

— Была Лена, да вся вышла, — не очень любезно ответил Вадим, дав понять, что считает вопрос исчерпанным. Но девушка продолжала наседать на него.

— А как же она? Будет скучать?

— Не суетитесь, она при деле и утешилась! — недовольно отрезал Вадим и повернулся к Наде, подавая ей стул к столу, где уже шла оживленная кормежка. Вадим прицелился налить ей в стакан вина.

— Или водку? — спросил он.

— Не хлопочи, Вадим, я не пью!

— Как, совсем ничего? — разочарованно протянул он.

— Вот так, совсем ничего, кроме воды и чая, — улыбнулась ему Надя.

— Удивлен!

Впрочем, он был внимательным кавалером и не давал ее тарелке пустовать. Еда была отменная, и Надя с удовольствием пристроилась к какому-то вкусному месиву под названием «сациви». В соседней комнате, как сигнал воздушной тревоги, сиреной взвыл магнитофон, и девушки, опережая друг друга, опрокидывая стулья, помчались с возгласами:

— Танцевать! Танцевать!

Откровенно прижимаясь к своим кавалерам и виляя бедрами, они показались Наде верхом неприличия. Потом темп музыки убыстрился и все пары запрыгали, задирая ноги, как молодые лягушата в Малаховском озере. Особенно смешными выглядели мужчины. «Козлы, да и только!».

— Пойдем? — предложил Вадим.

Наде хотелось сказать: «Не с ума я спятила — семисотрублевые туфли калечить и чтоб меня за все места

хватали», но побоялась прослыть старомодной, сказала:

— Подожди, попозже.

У стены, как раз за ее спиной, она давно, еще как только вошла в комнату, заметила пианино, а на нем раскидана целая куча нот. Ноты были Надиной «слабостью». Стоило ей увидеть их где-нибудь, как сразу же возникала охота посмотреть. А какие? И если для голоса, то для какого?

— Как ты думаешь, если я посмотрю ноты, ничего? — спросила она Вадима.

— Ноты? — удивился он. — На кой черт тебе они? Смотри, конечно!

Надя подошла к пианино и взяла в руки «Сборник для колоратурного сопрано» Катульской. На страницах пометки. Кто-то пел «Жаворонка», только не ее, с которого она начинала Глинки, это был другой Жаворонок, композитора Беттинелли. Среди гостей она обратила внимание на одного молодого человека. Он, как показалось вначале, чем-то напомнил ей Клондайка. Взглянув на него повнимательней, она убедилась, что не ошиблась, и загрустила. Тоже голубые глаза и, чуть светлее Клондайковых волнистые волосы. Как будто похожи, а в то же время нет! У Клондайка лицо «с милостью Божьей», со «славянской грустинкой глаза», — сказала как-то Антонина. А у этого хоть и милое лицо, да попроще, поскуластее, и сам он плотнее, коренастая фигура, пониже ростом. Все проще, второй сорт, но все равно хорош собой. В глазах и в помине нет грусти. В подвижном лице один задор и веселье. Видно, что грустить ему не о чем. Благополучен! Девушки так и заливаются смехом от каждой его реплики. И все у него так натурально, так естественно, безо всякой рисовки. Очень симпатичный парень. «Володя», — назвал он себя, подавая ей руку, когда знакомился, и чуть дольше положенного задержал ее руку в своей и, может быть, чуть ласковее, чем требовала простая вежливость, с теплой улыбкой заглянул ей в глаза. Но всем им до Саши Тарасова далеко, и рядом не поставишь! Он тоже несколько раз заглядывался на Надю. Она почувствовала его заинтересованный, полный симпатии взгляд, но не смутилась, не взволновалась. Приятно, когда на тебя обратил внимание общий любимец, но и все на этом.

Теперь, когда она узнала безрадостную судьбу Клондайка, ей часто приходило на ум, как не права и не справедлива была она, называя его «овчаркой», «сторожевым псом», и с неприязнью вспоминала его красавицу мать, с отвращением — Галю с лягушачьим ртом и с ненавистью — отчима, полковника, получившего лычки не за оборону Ленинграда, а за пополнение

ленинградских тюрем зеками. Настоящего пса, без подделки.

Хозяин дома, круглолицый коротышка Гриша, с черными, живыми глазками, увидев Надю у пианино, тут же подскочил к ней:

— Вы играете? — Он с готовностью приоткрыл крышку над клавиатурой.

— Нет, к сожалению, нет!

— Почему к сожалению? Я лично считаю, что при теперешней технике учиться игре на фортепиано — абсурд! Пустая трата времени! Лучше послушать хорошую запись с какой-нибудь знаменитостью, чем самому тыкать пальцем «Чижик-пыжик»! Не согласны?

— Ну, уж если совсем нет таланта, — с сомнением оказала Надя.

— Талант — понятие растяжимое! — и уже протянул к ней пухлые короткие ручки. — Идемте танцевать!

— Талант, Гришефишенька, это как деньги, — вмешалась бойкая, очень модная девушка Маша, которую Надя окрестила «крысюгой», за острый нос и чрезмерно смелое платье, а больше за то, что Маша все время висла на шее у Володи, пока тот не ушел курить на лестничную площадку.

— Если есть, то есть, а нет, так нет, и взаймы никто не даст! — довольная своей шуткой, улыбнулась Маша и потащила упирающегося Гришу танцевать в другую комнату. Там уже погасили свет, зажгли свечи и музыка была приглушенной и томной.

«Какие они все бойкие, говорливые, так и сыплют остротами, цитатами, анекдотами друг перед другом. Не скупятся на неприличные слова, совсем как наши малярки, «хабалки», — оказала бы про них Аня».

— Вам скучно?! — услышала около себя Надя. Сзади, заглядывая ей через плечо, улыбаясь, стоял Володя.

— Нет, нисколько! Почему же?

— Мне так показалось.

— Я впервые вижу всех… В незнакомой компании…

— Ну, Вадима-то вы знаете…

— Постольку поскольку, второй раз вижу.

— Будто? Хотите вина?

— Нет, спасибо!

— Тогда я вам принесу апельсин!

— Пожалуйста, не надо! — взмолилась Надя. Ей не хотелось, чтоб он уходил. Пусть бы еще постоял около нее, чтоб можно было отыскать в его лице любимые черты, сравнить с «тем».

У него была не совсем обычная манера спрашивать — чуть

наклонив голову к плечу и заглядывая прямо в глаза, как бы стараясь поймать взгляд собеседника. Будто хотел спросить: «Правду говоришь?»

— Ничего вы не хотите! Такого быть не может! Все же какое-нибудь желание у вас есть?

Он оказался совсем рядом, и Надя увидела вблизи его глаза. «Голубые? Да! В мохнатых ресницах? Да! Красивые? Да! Лукавые, насмешливые? Да! Но ничего нет похожего на прекрасные глаза Клондайка. Требовательный вопрос избалованного вниманием кумира». Как любила Надя «щелкать по носу» таких самоуверенных хлыщей! «Пижонишка!»

— Есть у меня желание, — сказала, понизив голос, она и одарила его самой лучезарной своей улыбкой. Уж постаралась!

— Поделитесь секретом, не томите душу! — с легкой иронией попросил он.

— По секрету скажу, — шепнула ему на ухо Надя. — Хочу домой!

Володя был явно озадачен, такого он никак не ожидал и даже слегка обиделся:

— Так в чем же дело? Скажу Вадиму, он проводит вас.

Надя едва успела поймать его за рукав:

— Нет, нет! Прошу вас, пожалуйста, не делайте этого! Ему весело, зачем портить человеку вечер?

Володя осторожно снял ее руку со своего рукава и задержал в своей. Заметив на ее пальце кольцо, он уже без улыбки, вкрадчиво, спросил:

— Окольцованная?

— Обрученная! — таинственно прошептала Надя.

— Пойдемте танцевать! — внезапно повеселев, сказал он, все еще не выпуская ее руки из своей.

— Я не умею!

— Не верю! Это отговорка!

— Правда! — чистосердечно призналась Надя.

— Быть этого не может! Вы же с цыганской кровью, а все цыганки прирожденные танцовщицы.

— Я давно покинула свой табор! — рассмеялась Надя.

— Идемте, я научу вас, это очень легко!

— Мне трудно даются ритуальные пляски дикарей! Володя понимающе засмеялся и отпустил наконец ее руку.

— Вы хотите уйти! — вздохнул он с притворным огорчением. — Хорошо же! Чего хочет женщина, того хочет сам Бог. Едемте я отвезу вас!

— Неудобно, наверное? — стараясь скрыть радость, неуверенно возразила Надя.

— Пустяки! Уйдем по-английски, не прощаясь. Ну как?

Надя заколебалась.

— Ведь вы сюда больше никогда не придете! Правильно я угадал?

— Как знать! А вдруг?

— Держу пари, никогда!

— Почему вы так уверены?

— Биологическая несовместимость, видовая нескрещиваемость!

Надя понятия не имела, что это такое. «Надо будет спросить у библиотекаря».

Подавая ей пальто, он слегка дольше, чем того требовалось, задержал свои руки на ее плечах. Надо было чуть шагнуть вперед — и руки его сами упали бы с ее плеч, но она этого не сделала. Почему? Она и сама не знала. Туфли на ней новые, поэтому, нисколько не стесняясь, она прошла по лестнице вперед, предоставляя своему спутнику полюбоваться своими стройными ногами. У подъезда она остановилась, и застегнув пальто на пуговицы, подняла воротник.

— Сюда! — сказал Володя, указывая на машину у подъезда.

Надя приуныла. «Да! Этот мальчик не для нашей девочки! Ему не больше двадцати шести-семи лет, а уже машина… а может, он шофером на казенной, как Валек? Вроде не похож!»

— Вы и машины не любите? — спросил Володя, усаживаясь с ней рядом.

«Мог спросить чего-нибудь поумнее…» — разочарованно подумала Надя, но, не желая обидеть его, так любезно согласившегося отвезти ее домой, сказала:

— Я мало ездила, еще и полюбить не успела.

— Хотите прокатиться? — Куда?

— Куда хотите!

— Если только ненадолго, — неуверенно сказала Надя.

— Вы не возражаете, если я включу радио и закурю? Как прикажете!

— А вы всегда такой почтительно-смиренный?

— Как? Как вы сказали, почтительно-смиренный? Какая прелесть! Это я-то! — он нашел Надины слова забавными, от души засмеялся и включил радио.

… «Слова Исаковского, исполняет Виктория Иванова», — услышала Надя голос диктора, и дальше такая до боли в сердце знакомая мелодия растеклась по машине.

«Лучше нету того цвета,

Когда яблоня цветет…» — запела невидимая Виктория Иванова молодым и свежим голосом. Совсем так же, как пела

когда-то Надя, вглядываясь в темноту зала, а в дверях она видела высокую стройную фигуру. «Как вы пели!» — восхищенно сказал он, называя ее уважительно на «вы».

И вот уже перед ней замелькали отрывки воспоминаний. Так же она ехала в старом грузовичке в тот последний роковой день, а липучие, крупные снежинки кидались навстречу ей и липли на стекле. И она не разглядела, кто лежал на снегу, а сердце ничего не подсказало ей. Поглощенная своими воспоминаниями, она не чувствовала, как слезы градинами катились по ее щекам. Она не вытирала их. Мысли ее были за Полярным кругом, где сейчас уже вовсю бесновалась пурга над зоной кирпичного завода. Они еще оставались там, ее знакомые зечки, и утром, когда москвичи слышали бой кремлевских курантов и гимн во славу партии, они уже стояли на разводе у вахты. И все оставалось такое же, как тогда, но не было ее и старшего лейтенанта Тарасова, которому надели на новый китель погоны капитана уже в гробу. Оказалось, все еще так живо, болезненно, прямо по живому резало.

— Вы так и не ответили мне… — заметил Володя.

Но она и не могла ответить, потому что не слышала его вопроса, а переспросить тоже не могла. Стоило ей открыть рот, как она разрыдалась бы на всю машину, а потому она опустила голову и стала искать в сумке спасительный носовой платок, которого там и в помине не было. Платок, единственный, взятый ею у Клондайка, с его адресом, лежал опять на дне чемодана.

Но Володя — совсем не такой черствый, как ей думалось — уже заподозрил неладное. Он свернул на обочину, остановил машину и включил свет.

— Что с вами? — испуганно спросил он, увидев залитое слезами Надино лицо. — Я обидел вас?

— Нет, что вы! Не обращайте внимания, сейчас пройдет! Извините меня. Отвезите меня домой, пожалуйста!

— Нет уж, нет уж! Пожалуйста! — решительно сказал Володя. — Вы должны мне сказать, о чем плачете? Я буду думать, что обидел вас. Меня будет мучить совесть! — с неожиданным теплом и очень дружелюбно проговорил он.

«Милый, благополучный юноша, разве посмею я рассказать тебе, что выпало на мою долю? Не стану смущать твою душу рассказом о том, что видела и узнала. Не разочарую тебя в твоих надеждах на светлое будущее, обещанное тебе твоей коммунистической партией, в которую ты рвешься вступить или уже вступил. Я буду тихо нести свой крест, не переваливая его ни на чью спину».

Он нетерпеливо хлопнул рукой по рулю. — Я жду!

Надя повернулась к нему лицом и, тяжело вздохнув, сказала:

— Это панихида! Я хороню свою несостоявшуюся любовь.

— И совсем безнадежно? — с участием спросил он. — А как же обручение?

— Обручение состоялось, свадьбы не будет, — сквозь слезы сказала она и попыталась улыбнуться ему.

— Кто же повинен в этом?

— Злой рок! — Надя уже пришла в себя, решив обратить все в шутку. — Прошу вас, поехали, поздно уже.

Проводив ее до подъезда и, видимо, желая сказать приятное, он задумчиво заглянул ей в глаза.

— Слезы портят лицо, а вот ваше нет, наоборот, в мокрых ресницах глаза как звезды. Мы не потеряемся? Дайте ваш телефон!

— У меня новая квартира, телефона еще нет.

— Тогда возьмите мой! — он тут же оторвал клочок бумаги от объявления на подъезде. — Не потеряйте! Я вас все равно найду.

— Зачем? — улыбнулась ему Надя.

— Этого я еще не знаю. Неосознанная необходимость.

После праздников, в первый же рабочий день, Надя, возвращаясь с работы, замедлила шаг у телефонной будки.

«Позвонить или нет? Нет! Не для меня этот паренек с машиной в стильных узких брючках. Всяк сверчок знай свой шесток», — и прошла мимо, пустив по ветру бумажку с телефоном.

Дома ей пришло в голову проверить свои финансовые дела, и, как ни скромно вела она свое хозяйство, все время приходилось тянуть со сберкнижки. Тысяча двести рублей за уроки в месяц — это было больше, чем ее зарплата. В новую квартиру, хочешь, не хочешь, пришлось купить в комиссионном на Арбате

старинную, очень красивую мебель: стол, четыре стула с резным ореховым шкафом, без стекол. Стекла в тот же день ей вставили стекольщики. Старую, немодную мебель, продавали за бесценок. Богатые москвичи обставляли свои квартиры мебелью в стиле «модерн», на простых тонких ножках, лишенную всяческих украшений. Во дворах, на помойках, можно было найти брошенные старинные буфеты и гардеробы, которые уже не принимались на комиссию в магазины. Там же, на Арбате, продавались «трофейные» вещи, вывезенные из Германии. Великолепные картины, авторов которых не всегда могли определить искусствоведы. Фарфоровые и хрустальные безделушки заполонили полки комиссионок.

— Барахла много, а денег у людей мало, — глубокомысленно

изрекла Надя-маленькая, помогая Наде-большой разгружать мебель, и тут же посоветовала: — Выбрось кровать и купи себе тахту, когда нет отдельной спальни, кровать в одну комнату не ставят!

— А сколько она стоит? — осторожно спросила Надя на всякий случай.

— Сколько бы ни стоила! Думаю, что можно рублей за пятьсот не первой свежести купить, — уверенно произнесла Надя-маленькая.

На следующий же день утром она встретила у входа в контору Надю-большую и сообщила «радостную» весть.

— Договаривайся с шоферами, пусть постелют в кузов брезент, едем за тахтой.

— Сколько стоит? — испуганно спросила Надя-большая.

— Новая такая на все восемьсот потянет, но я договорилась за триста пятьдесят.

«Свой» шофер, со стройки, не постыдился заломить пятьдесят рублей, но зато помог затащить в квартиру и поставить на место. Тахта была вполне приличная, а голубую кровать отволокли на помойку.

— Ну, вот! Теперь и мужичков приглашать не стыдно! — заявила Надя-маленькая.

— Некого мне! Без мужичков тошно!

— Поэтому и тошно, что одна!

После ее ухода Надя подсчитала убытки и пришла к выводу, что денег ей хватит до будущих вступительных экзаменов в консерваторию, а дальше думать нечего, что будет, то будет. В крайнем случае можно продать кольцо.

— Там парень какой-то твой адрес спрашивает, — сказала утром Аня.

— Не давай, не давай, ни в коем случае1

— А я уже дала!

— Зачем же! Не нужны мне никакие парни!

Вечером она прилаживала новый оранжевый абажур с кистями, купленный в Большом мосторге за сто семьдесят пять рублей. Дешевых уже не было. За дешевыми нужно было ехать с утра, а она могла только после работы. Надя уже ввернула лампу и хотела спрыгнуть со стола, где устроилась, поставив стул на стол, когда в дверь постучали. Звонка еще не было. Приходившие барабанили кулаками.

— Сейчас открою! — крикнула она и спрыгнула со стола на пол. Она никого не ждала, но все же успела снять по дороге к двери передник и косынку с головы.

— Выйди, пожалуйста! Разговор есть, — сказал хмуро Вадим,

когда она распахнула дверь. Надя почувствовала себя несколько виноватой за «английское» исчезновение. Быстро накинув пуховый платок и пальто, она вышла на улицу.

— Так не поступают, Надя! Это, знаешь, как называется? — гневно спросил Вадим.

— Почему же? Это уход по-английски, не прощаясь.

— По-английски! — возмущенно воскликнул Вадим. — Ты же пришла со мной!

— Мне не хотелось беспокоить тебя, ты был так занят с хорошенькой девушкой, а мне было так скучно! — с насмешкой произнесла она.

— Скучно? Чем же тебе показались скучными девушки с нашего курса?

— Наверное, потому что они с твоего курса, а я со стройки. Это называется «биологическая несовместимость». А потом они так вращали бедрами в темноте при свечах, а я так не умею! — трогательно улыбнулась ему Надя. — Уж ты извини!

— Однако ты не нашла несовместимым Володю, а он тоже пришел не один!

— Это его забота! А мне так хотелось избавить тебя от проводов в такой отдаленный район Москвы. Видишь, ты этого совсем не оценил! И не могла же я отказаться от машины, подумай!

Вадим быстро сообразил, что взял неправильный тон, и все его упреки разлетаются о ее иронию и явные насмешки.

— Надюша! Ты себе не представляешь, кто этот Володя! — Вадим взял Надю за руку, — Тебе известна фамилия Субботин?

— Первый раз слышу! Кто он, певец?

— Вот видишь? Это один из наших ведущих ученых.

— Ну и что? Какое мне дело до него! — начиная мерзнуть и раздражаться, злобно оказала Надя.

— Так Володька его единственный сын!

— И все? Только что сын?

— Он и сам заканчивает аспирантуру и будет работать у отца. Его пасет для себя Маша, внучка…

Но Надя резко оборвала его:

— Да какое мне дело до всех их! Оставь меня в покое, мне неинтересно, у кого какой отец, дедушка, бабушка и внучки!

Вадим предпринял последнюю попытку убедить ее в тщетности ее притязаний:

— Глупая! Он бросит тебя! У него таких, как ты…

Он из лучших побуждений покривил душой, изобразив друга неким донжуаном, хоть никаких оснований для этого не имел, однако, наблюдал не раз, что слабый пол питал определенную

склонность к Володе, возможно не только из-за его обаятельной внешности, но также и ореола отцовской известности в ученом мире.

Надя нетерпеливо дернулась и даже топнула ногой.

— Ступай Вадим, ради всех святых! Мне завтра рано вставать! — сказала она, устало зевая.

— Знаешь что? — вскипел рассерженный не на шутку Вадим. — Твое самомнение превыше твоих возможностей!

— О, Боже! Да уйдешь ты, наконец! — теряя терпение, с досадой крикнула Надя, повернулась и ушла в подъезд.

Полный обиды и гнева, Вадим ушел.

И в самом деле, какая-то плиточница строительной бригады, простая работяжка, которую он необдуманно ввел в компанию своих друзей — «золотой молодежи», нагло посмела пренебречь им, вообразив себе, что может соперничать с внучкой самого…! Отвергнуть его, будущего архитектора! Утешало одно: как она пожалеет потом. Но будет поздно!

Больше он Надю не беспокоил, не звонил, и вообще, «выбыл в неизвестном направлении», как сообщалось из лагерей о выбывших на этап.

«На этом все! Отныне никаких гулянок, вечеринок и прочих забав, — решила Надя. — Строгий режим, голос должен звучать свежо, без малейших признаков усталости». Кроме того, придирчивая и строгая Елизавета Алексеевна требовала, чтоб Надя всегда была в форме не только для пения, но и своим внешним видом.

«Ты артистка и должна не только сама знать об этом, ты должна быть образцом культуры во всех смыслах этого слова». Попробуй, будь образцом, таская ящики с плиткой и бадьи с раствором!

Труднее всего было держать в порядке руки. От цемента и постоянных работ с мокрыми тряпками, которыми затиралась и мылась плитка, руки покрывались цыпками, кожа трескалась и саднила. Надя-маленькая, Аня и еще три-четыре плиточницы работали в резиновых перчатках, предварительно смазывая руки обильно кремом. Получив от своей сварливой преподавательницы нагоняй, Надя на следующий день забежала в аптеку и купила сразу несколько пар резиновых перчаток и крем «Метаморфоза, самый дешевый, какой был. После некоторых неудач она приспособилась работать в них. Перчаток хватало не более как на неделю, что тоже увеличивало статью расходов, зато не стыдно было пойти в парикмахерскую и сделать маникюр.

К зиме пришлось еще раскошелиться на зимнюю обувь. Повезло купить «по случаю», через Надю-маленькую, озверелой

дороговизны меховые полусапожки на молнии под названием «румынки». Для начала от цены Надю качнуло в сторону, но, примерив их, она уже не могла отказаться, очень уж ладно сидели меховые «румынки» на ноге.

— Бери, не раздумывай! — тихо увещевала Надя-маленькая. — Импорт, Италия! Где еще такие купишь?

И Надя дрогнула, не выдержала. Наборный каблучок пробил еще одну брешь в сберкнижке. Пришлось отсчитать тысячу сто двадцать рублей! Надя-маленькая по вечерам успевала «халтурить» в каком-то цековском доме на Арбате, в Староконюшенном переулке, и всегда была в курсе последних «криков моды».

— Хозяйка свинья свиньей, но одевается «шикозно», стиляга, модница. Сам где-то в ЦеКа работает, на черной машине вечерами подъезжает, с шофером! А она целый день по магазинам чешет и по телефону треплется. «Биздилюшки» в комиссионках покупает, — придав хорошенькой мордочке таинственное выражение, рассказывала Надя-маленькая. — Она его Зуем зовет, за глаза, конечно. Подружке своей докладывает: «Мой Зуй опять рано приперся».

Несколько раз она приглашала с собой на «халтуру» и Надю-большую.

— Платят, как скажешь, плитка не наша горбатая, а чешская или польская. Знай, ляпай на стену.

И Надя, наверное, пошла бы подработать, но совмещать не получалось. Елизавета Алексеевна дала ей учить с Ритой еще две вещи: Серенаду Векерлина и Перголезе, совсем простенькие вещи, но просила петь по-итальянски.

— Рита поможет выучить, надо немного освободить язык для гласных, — объяснила она тоном, пресекающим всякие возражения, просьбы или сомнения. Как хорошо бы звучали по-русски эти слова:

«Кто хочет купить прелестную птицу жаворонка, который поет с раннего утра до самого вечера?» Рита, добрейшая, милая женщина, с удовольствием вспомнила полузабытые слова, которые когда-то учила, будучи студенткой музыкального училища при консерватории.

— А почему дальше не пошли, в консерваторию? — полюбопытствовала Надя

— Дура потому что! — Замуж выскочила, девку вон родила, не знаю, зачем, вот и вся учеба закончилась. А способности были! Заруби себе на носу: хочешь достичь чего-нибудь в жизни, будь свободной! — Рита улыбнулась и смахнула с ресниц слезы. — Тебе, конечно, нелегко придется, одолеют мужики. Но, ты

держись! — с искренним сочувствием сказала она.

— Мне это очень легко! — вздыхая, прошептала Надя и мысленно добавила: «За кого бы я хотела, хоть сейчас, по битому стеклу босыми ногами бежать, его уж нет…»

«ТОПИ КОТЯТ, ПОКА СЛЕПЫЕ» ИНАЧЕ БУДЕТ ПОЗДНО…!

По четвергам муж Риты возвращался домой заполночь, и Рита после занятий усаживала Надю непременно «чаевничать». Надя забегала по дороге на Кировскую за небольшим тортом или пирожными, чтоб не быть «нахлебницей», Рита брала от соседей свою Машутку, и втроем они долго засиживались за чаем.

Иногда Рита была «в ударе» и играла своего любимого Грига, а Надя пела грустные песни Сольвейг, пока не начинали стучать в стену рассерженные соседи.

Потом она летела домой, озираясь по сторонам, пугаясь собственной тени, плохо освещенными улицами Москвы. И не напрасно. Подонки человеческого общества, освобожденные по самой «ГУМанной» амнистии, не все еще вернулись обратно и разгуливали на свободе, особенно свирепствуя в новостроящихся районах. В одну из суббот, подходя к своему подъезду, она увидела мужчину. Он стоял к ней спиной и смотрел в другую сторону. Надя замедлила шаг. Слабый свет одинокой лампочки над дверью подъезда не давал возможности рассмотреть его, но силуэт показался ей знакомым. «Опять Вадим, выяснять отношения», — с досадой поморщилась Надя и потянула на себя ручку двери, надеясь проскочить незамеченной. Но он живо обернулся.

— Девушка, не боитесь ходить без провожатых?

— Володя! — узнала она его, не сразу сообразив, радоваться или «ни к чему».

— Вы не пригласите меня? Я уже давно жду, замерз, как цуцик.

Надя не одобряла такие экспромты «на огонек» и стояла, не зная, что ему ответить. Володя по-своему понял ее замешательство.

— Вы не одна? Вам неудобно?

— Как вы меня нашли? — спросила она в свою очередь, не отвечая на его вопрос.

— Память сердца! — улыбаясь, сказал он.

— А все же? Серьезно?

— Я вас вычислил! Дома все такие одинаковые, что и днем не сразу найдешь, но выручило объявление с оторванным хвостом!

— Вот оно что! А квартира? Как узнали, что меня нет?

— Я, когда вас провожал, посмотрел на дом, в котором окне зажжется свет, то и ваше. А сейчас постучал в дверь, смотрю,

никого, значит, там!

— Послушайте! Вы, случайно, не из органов безопасности? Уж очень все ловко у вас, а если б я домой не вернулась?

— Когда-нибудь бы вернулись!

— Ну что с вами делать? — сказала Надя. — Обещайте вести себя прилично, приглашу! — Она уже и сама почувствовала, что озябла.

— А, как это прилично? Я забыл…

— Руки по швам.

— Тяжко! Но попытаюсь!

— Тогда пошли.

— Минутку! — сказал Володя и подошел к машине.

Надя не заметила, что чуть в стороне, у тротуара, стояла его «Победа». Вернулся он со свертком, в котором без труда угадывалась бутылка. Надя нахмурилась и закусила губу. Бес заерзал: «Ха-ха! Сейчас он у нас схлопочет!»

— Что это? — спросила Надя «овечьим» голоском с самым невинным видом.

— Очень вкусный ликер, к чаю. Вы же угостите меня чаем?

Кажется, он догадался по ее глазам, что сейчас последует.

— Я правда замерз, пока ждал вас, — закончил он, виновато оправдываясь.

Ей захотелось отчитать его так, чтоб «зубы запотели», но почему-то не получилось. Все же довольно ядовито прошипела:

— Вы куда собрались, молодой человек? Кому вы вино несете, мне? А ну быстро, махом (чуть не сказала: «на цырлах!») обратно в машину, и чтоб я больше таких подношений от вас не видела!

— Только от меня? — с улыбкой спросил он.

— Ну, пожалуйста, не тратьте время или ступайте пить чай к маме с папой! — Надя огорченно посмотрела ему вслед. «Он меня за гулящую принял, пусть катится ко всем чертям».

Но Володя швырнул сверток в машину и, еще не захлопнув дверь, спросил:

— А конфеты можно?

— Цветы и конфеты разрешаю!

Не очень беспокоилась Надя, приглашая гостя в свое сверхскромное жилище. Ей было все равно, что подумает о ней этот Володя. Она уже успела забыть его милую улыбку и все еще была под впечатлением своего разговора с Ритой: замужество — враг, а неизбежные дети — гибель для женщины, посвятившей себя пению.

— У вас очень уютно! — оказал Володя, когда они зашли в крошечный коридорчик и он помог ей снять пальто, но был

награжден таким ироничным взглядом, что осекся и продолжать не рискнул.

— Будет уж вам! Чего тут уютного? Проходите, сейчас чай будем пить.

— И вы одна живете? — спросил он, когда Надя, уже переодетая в гороховое платье, ставшее теперь домашним, вернулась с двумя чайниками в руках. Заварки не пожалела.

— Не одна, а с Богом! — улыбнулась наконец она, сменив гнев на милость.

— И не скучно одной?

— Нет! Я не знаю, что такое «скучно», — ответила Надя, доставая из «антикварного» шкафчика чашки, блюдца и все, что полагалось к столу.

— Вы хотите сказать, что к вам и гости не ходят?

— Какие гости вас интересуют?

— Ну, разумеется, сильный пол!

— Вы первый, если причисляете себя к сильному полу.

— А Вадим?

С ее лица не сходила улыбка, и она весело ответила:

— Вадик пытался выяснять со мной отношения неделю назад, у подъезда, — подчеркнула она, — но недостаточно вежливо, пришлось его слегка огорчить! По-моему, он обиделся.

— Это правда? — заглядывая ей в глаза, живо спросил он и накрыл своей ладонью ее руку на столе.

Лицо Нади вспыхнуло и зарделось обидой. Она резко выдернула свою руку.

— Какое у вас основание не верить мне? — высокомерно произнесла она и поднялась из-за стола.

Вид у Володи был крайне растерянный.

— Потому что если вы сказали правду, то я потерял друга.

«До первой женщины, и вся их дружба врозь!» — сказала Вольтраут, а я ей не поверила тогда».

— Надеюсь, не он посоветовал вам явиться ко мне с бутылкой?

Володя молча допивал свой чай, а она, между прочим, заметила себе, что глаза у него совсем не холодные, как ей показалось сначала, а волосы, подсвеченные оранжевым абажуром, отливают темным золотом. Наконец он допил и поставил свою чашку на блюдце.

— С Вадимом я разберусь… Но пришел я к вам, потому что мне хотелось вас видеть!

— С бутылкой! — ядовито заметила Надя.

Он пропустил ее реплику мимо ушей.

— Когда я увидел вас у Гриши на вечере, — продолжал он

задумчиво, не поднимая глаз от стола, — мне показалось, вот та девушка…

— К которой можно зайти запросто с бутылкой, — лихо ввернула Надя.

— Нет, которую я мог бы полюбить, — докончил Володя и, как бы ожидая ответа, прямо взглянул ей в глаза.

Но Надя с ответом не спешила, она молча прислушивалась к себе. Сердце ее забило тревогу: «Зачем? Зачем он так говорит? Ведь я чувствую, что это не просто! Я еще тогда заметила! А мне не надо этого признанья, оно обязывает к ответу, — в полном смятении подумала она. — И самое паршивое, что он мне нравится, я не могу поступить с ним, как с Вадимом или даже с добрым Вальком».

— А когда вы заплакали, тихо и обиженно, мне показалось, что я уже люблю вас…

— Вам показалось! — вкрадчиво сказала она.

— Кто-то сказал, что путь к сердцу мужчины через его желудок. Неверно это! Через жалость и желание защитить обиженную!

— Но я не обиженная! — живо возразила Надя, — И в защите не нуждаюсь!

— Теперь я вижу, что ошибся, а тогда, когда я увидел ваше заплаканное лицо и глаза…

«Надо срочно заканчивать сентименты, а то, чего доброго, разревусь от жалости к самой себе».

— И поэтому решили утешить меня, так? — недобро усмехнувшись, сказала она и опять присела на самый край стула.

— А вот и не угадали! Я ехал и думал, если у вас кто есть, выпьем со счастливчиком за ваше здоровье.

«Вывернулся, как уж между вилами», — эхом отозвался бес.

— А если я одна?

— На это я мало надеялся, но подумал, если мне так посчастливится, тогда выпью с вами на «брудершафт», чтоб называть вас на «ты».

— И обольщать меня ласковыми словами?

— Если вы считаете, что искренние слова могут обольстить вас, тогда…

«Ну, будет! — решила про себя Надя. — Пора и честь знать! Надо повежливее выпроводить его…»

— Оставим брудершафт до следующего раза, — сказала она. — Мне завтра рано вставать, вы уж извините меня!

— Завтра воскресенье, день нерабочий!

— Я еду с первым поездом в Калугу, чтоб успеть завтра же и вернуться.

— Свидание?

— Да, и очень ответственное!

— Жаль, а то я бы мог отвезти вас, но раз свидание, да еще ответственное, тогда я пас. Но брудершафт мне обещан и я жду. Мне трудно называть людей моложе себя на «вы».

— Попытайтесь! — Надя поднялась из-за стола, давая понять, что визит закончен, но догадавшись, что мальчик обижен и уязвлен, на всякий случай, улыбнулась ему, вложив в свою улыбку все свое очарованье.

— Постараюсь! — произнес он, вставая, — И не смотрите на меня с таким ожиданием. Я вас понял, сейчас ухожу!

Надя проводила его до вешалки и ждала, пока он не спеша одевался.

— Вы разрешите еще заглянуть к вам, без бутылки? — шутливо спросил он.

— Не знаю… — неопределенно протянула Надя. Ее не устраивали такие посиделки. «Ни к чему хорошему они не приведут. А то, что в нем бездна обаяния и Бог ведает, какая-то мужская сила, так это «топи котят, пока слепые, едва родившихся на свет», — говорила, в свое время, тетя Маня, а то будет поздно».

Володя почувствовал ее упорное нежелание приглашать к себе и предложил сам:

— Может быть, сходим куда-нибудь?

— Нет, Володя, на «куда-нибудь» у меня нет времени, — честно созналась она.

— А куда бы вы хотели?

О! Это она отлично знала, куда бы ей хотелось:

— В Большой театр!

— В Большой театр? — с недоумением переспросил ее Володя,

— Вы спросили меня, куда бы я хотела? Я ответила. Но это вас ни к чему не обязывает!

— Нет, почему же, — оживился он, — а на какой спектакль?

— На оперу, на любую, даже на «Кармен»!

— Почему даже?

— Я слышала в Большом «Кармен».

— Вы все-таки мне позвоните? Или утеряли мой телефон?

— Нет, не обижайтесь, ни звонить, ни напоминать о себе не стану. Вспомните — адрес известен. Во вторник, в четверг и в субботу я, к сожалению, прихожу после восьми, а то и позже.

Надя уже открыла ему дверь, провожая, когда он остановился и взял ее за руку.

— Ничего я о тебе не знаю! — с сожалением оказал он, слегка притягивая ее к себе. — Девушка-загадка!

— О «вас», пожалуйста, не о «тебе»… я тоже о вас ничего не знаю. Она быстро отдернула руку и отодвинулась от него. — А что вас, собственно, интересует?

— Но вы же все равно не скажете!

— Почему же, скажу!

— Например, с кем у вас свидание в Калуге?

Надя от души рассмеялась. Ей было очень лестно и приятно сознавать, что кого-то может волновать ее свидание.

— К тете я еду, к папиной сестре.

— Вадим сказал, что вы работаете на стройке, но я не поверил!

— Отчего же? К пиратам попал однажды сам Юлий Цезарь! — Последние слова Клондайка…

— Но он бежал, не уплатив выкупа.

— Бог поможет мне — и я сбегу, а выкуп уплачен авансом.

Проводив своего гостя, она быстро расправилась с посудой и села у стола, положив голову на руки. Было о чем задуматься. Рита под большим секретом сказала ей: Елизавета Алексеевна считает, что Надю можно подготовить по вокалу пробоваться сразу в театр, но лучше, чтоб она получила настоящее музыкальное образование. А как просуществовать на стипендию? Что стипендия у нее будет, она не сомневалась, и даже повышенная, иначе за чем учиться? После нового года им обещали повысить расценки — и тогда можно будет прилично зарабатывать, но пока существует глупая система, когда хорошие, добросовестные работницы, а их, в бригаде не больше половины, тащат, как на буксире, лентяек и лодырей, ждать больших заработков не придется. За бездельников заступается государство. Выгнать их с работы не может ни бригадир Аня, ни даже Степан Матвеевич. Они под высокой защитой отдела кадров, а там отвечают одно: учите, перевоспитывайте! Потом она вспомнила Клондайка, потому что помнила о нем всегда, и особенно часто вспоминала тот день, когда она набралась смелости и пришла к нему сама, «без приглашенья». И «дура, набитая опилками», не осталась у него, несмотря на с ума сводящие слова, какие он говорил ей: «Любимая моя, ты сотворила диво дивное, ты открыла для меня целую новую жизнь, ты заставила меня смотреть на события твоими глазами, ты сделала мою судьбу твоей. Теперь мы с тобой единое «Я!» А слова, какими он называл ее: «Любимая моя, желанная моя, моя единственная в мире, моя самая-самая». Никто из этих сыночков никогда не скажет девушкам таких слов, а если и скажут, то не почувствуют. Эти холодные себялюбцы, эгоистичные и избалованные вниманием, сочтут за тяжкий труд слова такие произносить — и так все

получат, девушки стали не гордые, сговорчивые, доступные.

В воскресенье, на следующий день, Надя с раннего утра поехала в Калугу навестить Варвару Игнатьевну и вручить подарок к Новому году, большой серый платок из козьего пуха. Одной девушке в бригаде прислали из Мичуринска к зиме пуховый платок, но она, узнав его цену, тут же решила продать и купить себе что-нибудь более модное, чем «старушечий» платок. Надя, вспомнив о тетке в Калуге, заплатила ей пятьсот рублей и теперь, прижимая к груди покупку, с радостной душой неслась но улице Огарева. В этот раз она отлично добралась на автобусе до центра, а оттуда «рукой подать» до дома. Неожиданно тетя Варя встретила ее очень сердечно, прослезилась, заверив в лучших чувствах к ней, называя единственной родней. Где-то на чердаке она отыскала желтый бархатный альбом, и Надя с большим удовольствием еще раз выслушала историю о героизме своих предков. В заключение она строго сказала Наде:

— Гордись родней! Ты не какой-нибудь «Иван, не помнящий родства»! Ты потомок храбрых и достойных людей.

Надя готова была гордиться, но как? Не знала. Рассматривая полузабытые родные лица Алешки, отца, матери и еще каких-то совсем ей не знакомых дядей и тетей, она краем уха слушала жалобы тети на скудную жизнь: с дровами плохо, за хлебом ходить далеко, опоздаешь — белого не купишь, за продуктами очереди, мясо в магазине — кости и пленки, на рынке все дорого. Немногим лучше, чем в войну. «Видимо, — думала Надя, — героические мои дед и отец, защищая родную землю от врагов, не имели возможности защитить ее от кучки проходимцев, разорявших страну изнутри». Жалея от души стареющую тетку, Надя пригласила ее на зиму к себе в Москву.

— Спасибо, родная! — растрогалась до слез Варвара Игнатьевна. — С великой радостью отдохнула бы от дров, керосинок, примусов. Воду из колонки тяжко таскать, зимой все вокруг колонки обмерзает, лед сплошной, то и гляди, грохнешься, костей не соберешь. Мука мученическая! Да ведь растащат дом-то! По досточке разберут и трубу стянут!

Надя тоже расчувствовалась и, уезжая, оставила тетке двести рублей. Варвара Игнатьевна денег брать ни за что не хотела, а потом расплакалась и взяла. Разве могла Надя забыть последнее материнское письмо: «Добрая душа, тетя Варя из Калуги, ходит за мной».

Холодный и бесснежный декабрь в новом доме был не теплее, чем в хлеборезке в Воркуте. Там жарили печки, не жалея угля, а здесь, в квартире на первом этаже, холод гулял со всех концов: из-под двери, из окна, чуть теплые батареи не могли согреть даже

такую крошечную квартиру. Кроме того, всегда полупьяные жители не трудились закрывать за собой дверь подъезда. Надя купила рефлектор и включала его, как только переступала порог своего жилища. Она боялась простудиться и заболеть, а значит, пропустить занятия, поэтому не считалась с расходами на электричество и газ.

Во вторник, возвращаясь в половине девятого от Елизаветы Алексеевны, она мечтала забраться скорее в горячую ванну и согреться. Дома сразу же зажгла обе конфорки плиты и поставила чайник. Несмотря на холод, она была в приподнятом настроении. Сегодня в первый раз Елизавета Алексеевна похвалила ее, сказав ей с доброй улыбкой, что чувствует, дело двинулось. Надя возликовала душой и всю дорогу домой мурлыкала себе под нос «Все о тебе».

Уже наливалась в ванну ржавая вода — от новых труб, как ей объяснил сантехник, когда в окно слегка постучали по стеклу. Надя накинула на плечи свой белый платок и открыла дверь.

— Почему не спрашиваете, кто? — сказал, входя, Володя. — Не пугайтесь, я на минуту, билеты привез. В воскресенье пойдем «Иоланту» послушаем.

— Ой — взвизгнула не своим голосом от радости Надя. — Ой! Спасибо!

Она и не надеялась на такую удачу, когда шутя изъявила свое желание. «Иоланта»! Самая красивая опера Чайковского!

— Я бы с удовольствием согласился на самый легкий поцелуй вместо «спасибо», — со смиренным видом, опустив глаза, сказал Володя.

В другой раз Надя вспылила бы, наговорила кучу колючих слов, а то и просто указала на дверь, но сегодня ничто не могло испортить ей настроение, а тем более такой пустяк, сказанный в шутку и не дерзко.

— Что вы оказали? За удовольствие, что я иду с вами в театр, я еще должна вас целовать? — шутя запротестовала она.

— Тогда могу я! — быстро подхватил ее слова Володя. — В благодарность за удовольствие, что вы идете со мной в театр, поцеловать вас!

— Попытайтесь! Я буду сопротивляться! — поддразнила она его и тут же пожалела.

— Хорошо же! Я согласен и на такое! — В узком коридорчике ему ничего не стоило поймать ее и, прижав к вешалке, легко отвести в стороны ее не особенно сопротивляющиеся руки

— Ну что, сдаетесь?

— Нет!

— Смерть или живота?

— Смерть! — засмеялась она, и он поцеловал ее прямо в раскрытые губы, и даже не один раз.

Надя знала прием, как отбиваться от нападения мужчины. В лагере ее научила комендантша Баглючка. Во время войны Баглючка была санитаркой в санитарном поезде, и не раз ей приходилось преодолевать натиск выздоравливающих бойцов, возвращая их снова на больничные койки, пока главврач поезда не вынужден был списать ее за членовредительство. В этом случае она была сама виновата, поэтому не обиделась, а только сказала:

— Мы в расчете! — но потом, движимая непонятным любопытством, разрешила ему еще поцеловать себя и ответила ему на поцелуй, но, заметив, как вспыхнул в его глазах «угрюмый, тусклый огнь желанья» испугалась, что зашла слишком далеко, и с воплем: — «Ой! Ванна!» — бросилась перекрыть краны.

«Скверная и непристойная шутка с моей стороны, — осудила себя Надя, когда он ушел. — Больше этого не повторится!»

Рабочая неделя пролетела, как во сне, вся в ожидании. Однако пришлось разориться на темное платье. Дина Васильевна, чей вкус Надя считала безукоризненным, когда-то наказывала ей: «Нельзя ходить в театр в кричащем, ярком наряде. Это безвкусно и неуважение к артистам. Надо понять, что не ты на сцене, а артист, и на него должно быть обращено внимание зрителей, а не на твое платье!» И вот уже весь аванс с небольшим пошел на черное шерстяное платье. Золотую брошь одолжила Аня.

— Учти, золото настоящее, пятьдесят шестой пробы! Смотри, не потеряй! — предупредила она.

Пришлось для крепости пришить к платью пятью стежками. Аня же и посоветовала подчеркнуть талию лаковым черным поясом от красного платья.

— Тут у тебя на юбке ничего выпустить нельзя? — спросила она.

— Зачем? — удивилась Надя.

— Да хоть чтоб подлиннее чуть! Уж больно ты, Надька…

— Что? Нехорошо? — озабоченно спросила Надя.

— Не то, чтоб нехорошо, а очень уж для мужиков зазывно!

— Ну, знаешь! — возмутилась Надя, — Еще о них я не заботилась!

Всю «Иоланту» она проглядела на сцену, не отрывая глаз. Вместе с народной артисткой она пела про себя:

«Чтоб познать красу вселенной,
Рыцарь, мне не нужен свет…»

— точно следуя за взмахом дирижерской палочки. Все полтора часа, пока длилась опера, она была на сцене и пела Иоланту. Володя несколько раз с удивлением посматривал на нее, недоумевая: «Неужели можно увлечься так оперой, которая давно завязла в зубах. Одна «Матильда» исполняется чуть ли не в каждом концерте?» — Я едва не задремал! Мог заснуть под колыбельную, с кресла упасть.

Надя еще пела про себя и была в благодушном настроении, поэтому решила, что он шутит, хоть и не совсем умно, но в то же время подумала: «Клондайк никогда бы не сказал так… он готов был часами слушать наши репетиции в вонючей, пропахшей ржавой рыбой столовке, а уж когда пела я…!» Она не раз задумывалась, откуда в Саше Тарасове, охраннике, призванном стеречь «фашистов, контриков, врагов советской власти», а подчас и стрелять в них (попробуй они бежать!), столько чуткого понимания и любви к поэзии, музыке, ко всему красивому, чуть приподнятому над землей. Кто привил ему эти чувства? Дом? Семья? Но теперь, зная его семью, ничего подобного там она не нашла. Может быть, его настоящий отец, расстрелянный по делу Кирова? А скорее всего самородок. Ведь родился же в курино-утиной семье прекрасный лебедь?

— Ну, а еще что бы вы хотели послушать? — спросил Володя, подъезжая к ее дому.

— Все равно! Даже опять «Матильду» могу слушать!

— Фантастика! Я никогда не думал, что можно так самозабвенно слушать музыку, ну прямо как кобра! По-моему, вы даже раскачивались.

— Вам не понравилось! — с сожалением сказала Надя.

— Нет, почему же? Я получал большое удовольствие, глядя на вас…

— Так мало вам надо? — с легкой иронией спросила она.

— Коварный вопрос, сразу не ответишь!

«Далеко идущий разговор, надо сокращаться»! — сказала себе Надя, а ему поспешила оказать:

— Я не тороплюсь выслушать ваш ответ. На досуге подумайте, — и взялась за ручку дверки машины.

— Поехали, проедемся немного?

— На работу завтра.

— Рано еще!

— Ну, если только недалеко… — с сомненьем сказала Надя.

Домой, в холодную квартиру, ей возвращаться не хотелось.

Вдоль шоссе змеилась веретеном поземка. Не такая холодная, не такая колючая, как «там», но все же настоящая. «Интересно, какая «там» зима в этом году? Кто возит хлеб с города? И кто

вместо нас теперь в хлеборезке? Увидеть бы моих девушек, сказать им: житье-бытье на воле тоже не сахарное для работяг. Только думаешь: вроде свободная! Надоели злые, вороватые плиточницы. Тащат все, что можно унести. Из всей бригады три-четыре порядочные женщины. И разговоры их надоели до тошноты. Все о своих мужиках толкуют. Такие-сякие. Пьяницы, драчуны, дебоширы. Женщины приходят на работу, пряча под косынками подбитые глаза, разбитые губы.

«Какого лешего вы держитесь за них? — зло спрашивала Надя.

«Ишь, умная нашлась, попробуй, проживи одна! А если дети?»

— Вы что приумолкли, Наденька? Как ваша поездка в Калугу? — спросил Володя, заметив, что она сидит, не двигаясь, уставившись на дорогу.

— Без радости!

— Что так?

— Так уж! Тяжело живут наши люди в провинции, особенно пожилые…

— Да! Пожилым и старым везде плохо!

«Ну, твоим-то мамочке и папочке не худо! — но промолчала. — Молчанье — золото!»

— А вот и поворот к нам на дачу, — он притормозил. — Поехали?

— Что вы, поздно уже!

— А мы недолго, выпьем кофе по чашке и обратно! Мне тоже завтра рано надо.

— У вас там не холодно? — Надя поежилась и поджала под себя озябшие ноги.

— Нет, не должно быть. Отец с мамой были вчера и только вернулись.

Пока Надя обдумывала, прилично ли ей ехать в поздний час на незнакомую дачу, он уже, посигналив у ворот, остановил машину.

«Значит, кто-то есть, — с досадой подумала Надя, — Зря потащилась…»

— Кто там у вас?

— Никого, это Лаврик, наш сторож.

Надя притихла, ей стало не по себе. Вспомнились дачи «бойцов наркомвнудела» в Малаховке, тоже со сторожами, скрытые от людских глаз зелеными сплошными двухметровыми заборами.

Большая двухэтажная дача по сравнению с теткиным домом в Калуге показалась ей дворцом. Дорожки тщательно расчищены, а у входа в дом большая елка, завернутая в рогожу.

«К Новому году», — догадалась она.

— Это отец упражнялся! — заметил Володя, увидев, чистые от снега, дорожки.

Сторож, не то сонный, не то пьяный, не глядя ни на кого, открыл дачу, отдал Володе ключи и убрался куда-то вглубь сада.

— Пошли! — пропуская Надю вперед, сказал Володя. — Лаврик говорит, мои недавно отбыли, значит, тепло.

Дача и внутри была шикарной. Комната, куда прошла она, больше, чем вся ее квартира. Полы под ковром паркетные, и камин. Камин она видела только на картинке, на нотах старинного романса: «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской», да еще в Эрмитаже. Но Надя головой вертеть не стала и чужое достояние рассматривать не захотела. «На чужой каравай рот не разевай!». Села прямо на кушетке, нос задрала, как королева на троне. «Нищие, но гордые, с тем возьмите!»

— Сейчас я вам музыку включу, чтоб не скучали, — сказал Володя и пошел варить кофе.

Джаз играл что-то очень знакомое, но что? Никак не могла вспомнить! Вскоре он вернулся с кофейником, чашки из буфета достал, веселый и довольный, как всегда.

«Ишь, возрадовался на отцовской даче гулять, а сам-то по себе кто?» И тут же бес: «Спроси-ка его, скольких он сюда подружек водил в родительское отсутствие?» Но смолчала. «Нехорошо прийти в гости и хозяев охаивать».

Володя с милой, добродушной улыбкой прицелился налить ей в чашку кофе. Надя быстро прикрыла чашку рукой.

— Я кофе не пью.

— Как? — поразился он. — Неужели?

— Так! Не пью и все тут!

— А чай? Пойду заварю!

— Не беспокойтесь, прошу вас! Я просто посижу и постараюсь вспомнить, что это играет джаз. Знакомое. — И тотчас вспомнила.

— Не старайтесь! Вы этого не знаете! Это не Матильда!

— А вот и знаю! — воскликнула Надя. — Это «Серенада Солнечной долины»!

Володя посмотрел на нее пристально, скрывая удивление, и задумчиво спросил, совсем как Вадим:

— Откуда вы такая, Надя?

А она и в самом деле вспомнила: война на исходе, малаховский летний кинотеатр открыт, идет американский кинофильм. Музыка, много музыки! Мальчишки насвистывают: «Чатануга-чу-чу». Девушки поют: «Мне декабрь кажется маем».

Он достал из буфета знакомую бутылку с ликером.

— Вот ваш отвергнутый «Бенедиктин». Попробуйте с кофе!

Мне ведь обещан «брудершафт».

С Надиного лица не сходила вежливая полуулыбка. «Если только он думает напоить меня этим зельем, то дурак, а протянет руки, схлопочет «звонкого леща»! Но Володя сидел смирно и ожидающе посматривал на Надю. Ликер «Бенедиктин» был действительно вкусный и тягучий. Она отпила глоток, поставила рюмку на стол и сказала:

— Теперь вы можете называть меня на «ты», и я вас тоже.

— Нет! Ничего подобного! Брудершафт — это своего рода побратимство. Надо выполнить ритуал, а иначе он не действует. Вы меня удивляете, и все больше с каждым разом.

— Рада слышать! — холодно произнесла она, кивнув головой.

— Весь мир знает, как пьют на брудершафт, а вы нет!

— Нет, не знаю! Это большой пробел в образовании?

— Ну знаете… — пожал плечами Володя. — Есть вещи, которые…

Надя не дала ему договорить:

— А вам известно, что такое «белла каландрина?»

— Первый раз слышу! Что это?

— Это по-итальянски прекрасный жаворонок. Видите, оказывается, нельзя объять необъятное.

Она хорошо знала, когда и как пьют на брудершафт, но у нее возникло желание подурачить его слегка. Она понимала, что ему очень хотелось поцеловать ее, потискать, а то, чего доброго, и больше, «смотри в оба, не ходи босой», для этого и заманил ее сюда. Но всяк сверчок знай шесток!

— Так как же брудершафт?

Надя поднялась с кушетки:

— Обязательно! Когда-нибудь в следующий раз! Проводите меня!

— Нет уж, нет уж! Мне обещано! — запротестовал он.

— Я вам разрешила называть меня на «ты», чего же еще? И не старайтесь уподобиться животному, которое кладет ноги на стол, когда его сажают за стол! — улыбаясь, сказала Надя, но почувствовала себя на пределе, с бесом, готовым сорваться.

— Нет, уподоблюсь свинье и буду ею назло! Раз меня так жестоко обманули.

Надя хотела рассердиться, но не смогла, а рассмеялась, очень уж похоже на пережитое ею «там», в хлеборезке. «Балованные мальчики, не знающие отказа у девочек. Как смешно и досадно на вас смотреть! И как приятно щелкать вас по носу!»

— Хорошо! — сказала она направляясь к двери, — Я и сама дорогу найду.

— Что ты, Надя! Я пошутил, сейчас поедем! Извини, мне так

интересно с тобой….

Этой же ночью ей приснился сон. Она увидела себя и Клондайка. Оба они, взявшись за руки, бежали босиком по тундре. Снег проваливался под их ногами, и Надя знала, что очень холодно, но мороза они не чувствовали. Они бежали, надеясь скрыться от преследователей. Кто их преследовал, ей было неизвестно, она подозревала, что это мог быть только опер Горохов или отчим Клондайка. Где-то впереди был дом тети Вари, и если они успели бы добраться туда, то были б спасены. Внезапно она заметила, что бежит одна и, обернувшись назад, увидела, что Клондайк упал и встать не может. Он повернул к ней смертельно бледное лицо и, приподнимаясь на локте, крикнул:

— Беги! Спасайся!

— Нет! Никогда я не оставлю тебя! — она кинулась к нему. — Мы умрем вместе! — и проснулась от собственного голоса.

Каждый раз после таких снов настроение ее надолго портилось. Ей казалось, что Клондайк являлся ей, когда она начинала думать о другом, и чуть больше, чем надобно. Она тихонько плакала, чувствуя свою вину перед ним. И успокаивалась только тогда, когда вспоминала о том, что запретила ему встречать себя в тот день.

Днем она обещала позвонить Володе на работу. «Хочу послушать твой голос по телефону», — объяснил он ей. Но, когда дошла до телефонной будки, обнаружила, что у нее нет мелочи, и сочла это за доброе предзнаменование. «Нет — значит, и не надо!»

Во вторник, после урока, Надя задержалась на минуту, укладывая на место в шкаф ноты.

— Если вы не очень торопитесь, мы могли бы выпить чаю! — сказала Елизавета Алексеевна, а Надя не поверила своим ушам, решила, что ослышалась. Она вопросительно взглянула на Елизавету Алексеевну, но та еще раз повторила: — Я спрашиваю, если вы не торопитесь?

— Совсем нет! Мне некуда больше спешить!

— И некого больше любить? Ямщик, не гони лошадей! — улыбнулась Елизавета Алексеевна, и глаза ее стали мечтательными и нежными, а Надя подумала, что если женщина хочет казаться моложе своих лет, то должна улыбаться именно так!

— Да, — сказала она, — и некого больше любить.

— Это плохо! Чрезвычайно плохо! Молодость дана для любви. Природу не обманешь. Она наказывает чрезмерно строптивых и гордых одиночеством или, еще хуже, в старости человек влюбляется в молодое, смазливое ничтожество.

— Ну почему ж в ничтожество? — удивленно спросила Надя.

— Обязательно! Это не будет порядочный человек, который ответит на такую любовь. Вы удивлены, почему? Потому что любовь— свет жизни, вспомните, как поет Иоланте граф Водемон: «Чудный дар природы вечной, дар бесценный и святой». Каждый влюбленный найдет в своей возлюбленной эту красоту, которая взволнует его душу. А какая красота старость? Пепел угасшего костра. Она не может внушить ни великой страсти, ни небесного огня желанья. Уваженье? Пожалуй. Благодарность? Любить старость можно только в силу привычки или преследуя неблаговидные цели. Надя была поражена: «Уж не о себе ли она?»

— Ну идемте же, Марфуша нас ждет!

В маленькой, уютной кухоньке уже был приготовлен чай. На чистой, в голубую клеточку, скатерти очень аппетитно и привлекательно выглядели в одинаковых маленьких вазочках несколько сортов варенья и серебряная корзиночка с печеньем. Пока Марфуша разливала чай, Елизавета Алексеевна спросила:

— Скажите, Надя, вы никогда не пели с духовым оркестром?

— Никогда! — удивилась Надя. — Я вообще не пела с оркестром, только с роялем и аккордеоном.

— Странно! И вы не чувствуете усталости в конце занятий, может быть, ощущения сухости в горле?

— Нисколько! А что? — спросила встревоженная Надя.

— Сегодня, и в последний раз, я заметила, у вас в голосе появляются странные призвуки, похожие на легкую хриплость. Вы не больны? Я имею в виду…

— Нет! — испуганно сказала Надя. «Этого еще мне не хватало!»

— Вполне возможно, мы много занимаемся, и голос переутомляется, поэтому вы с Ритой позанимайтесь, поработайте над вещами, а в субботу не приходите. Надо вам недельку отдохнуть. Берегите голос, это ваше богатство. У вас есть возможность стать большой певицей.

После чая, когда Надя собралась домой, Елизавета Алексеевна вышла в другую комнату.

— Подождите минуту, — сказала она Наде и вернулась с коробочкой в руках. — Вот вам к Новому году от меня подарок!

— Что вы, спасибо! — залепетала Надя в полной растерянности. — Зачем? — и еще какие-то, глупые от смущенья, слова.

— Ты открой, посмотри, что там, — подбодрила ее Марфуша.

В голубой бархатной коробочке, на таком же синем, слегка выцветшем бархате лежала великолепная брошь в виде ветки розы с золотой застежкой. Какой-то искусный мастер вырезал эту

вещь из перламутра двух тонов: розоватого и серо-зеленого. «Точно небо над тундрой, когда весной вдруг соберется пурга и на тяжелых серых облаках заиграют розоватые отблески солнечных лучей», — вспомнила Надя, не в силах отвести глаз от этого чуда. Такие прекрасные вещи она видела только в доме у Дины Васильевны.

— Ну, как? Нравится? — спросила Елизавета Алексеевна, наслаждаясь Надиным смущением.

— Я просто не заслуживаю такого подарка! — сказала растроганная Надя. — Спасибо!

— Ну, раз нравится, и носи на здоровье. Я одинока, и дарить мне красивые вещи некому.

— Спасибо! — еще раз тихо проговорила Надя, чувствуя, что в носу защипало от близких слез.

— Можешь поцеловать своими свеженькими губками мою морщинистую щеку.

Вне себя от радости летела домой Надя, прижимая к груди подарок. Его ценность она не знала, но для нее, как и кольцо бабушки, он был бесценен. «Как все же верно, что «рука дающего не оскудеет», — сказано в Писании. Вот подарила тете Варе платок — и сама теперь с подарком», — радуясь, думала она. Дома приколола к черному платью и ахнула: «Как красиво!»

В канун Нового года никто не работал. Шатались по этажам, мешали друг другу. Обсуждали, какие закуски готовить и сколько вина нужно на каждого, чтоб было весело, но не окосеть, мебель не испортить, квартиру не испакостить.

— А ты с кем, Надька? Где? — спрашивали ее.

— Нигде, ни с кем, одна!

Впервые в жизни ей предстояло остаться на Новый год одной, со своими мыслями. Кто поверил, посочувствовали: «Одной на Новый год плохо!» Другие просто не поверили: «Врешь, Надька, не может быть, чтоб одна!» Но в свои компании приглашать не спешили, больше из вежливости. Уж слишком отличалась от всех: «Горда больно, вот и сиди теперь одна со своей гордостью!» — перешептывались девушки из бригады. В четверг последнее занятие с Ритой, а там и поспать досыта. Можно было к тете Варе на Новый год поехать, только уж очень долго тащится поезд, целых шесть часов без малого. На Арбате в одном из маленьких переулочков, в Филипповском, крошечная, как игрушечная, старинная церковка. В нее наметилась зайти Надя поставить свечи за упокой дорогих ей усопших. С работы убежала раньше времени — все одно делать нечего. Песок для раствора не просеяли. Плитку не завезли, и цемент нужной марки тоже кончился.

Проходя мимо ресторана «Прага», Надя увидела знакомую машину. Но Володи в ней не было. И вообще он «исчез с горизонта». «Обиделся, наверное. Ну и с Богом, так-то оно и лучше!» В церкви отпевали сразу двоих покойников. Надя перекрестилась на Николая Чудотворца под удивленными взглядами старушек и купила пять рублевых свечек. Четыре свечи «своим» и одну — за неверующего Клондайка. «Господи, прости ему грехи вольные и невольные, упокой душу его, Боже!» — прошептала она, втыкая свечку в поставец перед иконой Всевышнего. Потом прошла по Арбату до Смоленской площади и зашла в кондитерский отдел большого гастронома, что на углу. Ни тортов, ни пирожных не было, но очередь человек в пять-шесть стояла в ожидании. — Сейчас вынесут! — шепнула ей женщина.

И верно. Одна за другой вышли продавщицы и вынесли лотки с пирожными. Вот это, называется, повезло! Очередь шарахнулась в кассу. Надя тоже. Пожадничала, сразу двадцать штук купила. Кабы всегда, да свободно продавались, можно было ограничиться четырьмя-пятью, а теперь когда еще так повезет? Новый год на носу!

Рита встретила ее, как хорошую подругу.

— Ой, молодец! А у меня к праздничному столу ничего к чаю нет, кроме варенья. Где танцуешь на Новый год?

— Нигде. Я одна, дома! — Надя, стараясь не показать огорченья, улыбнулась через силу.

— Как? Одна, дома? В такой праздник? Давай к нам, у нас как раз дамочек не хватает.

Кое-как прошлись по вещам, в спешке пропели и ладно! Не до занятий, праздник!

— Ты только не подведи меня, обязательно приезжай! Мы на тебя рассчитываем, — сказала на прощанье Рита. Девочку она уже отправила к бабушке, то есть к своей матери. — Значит, к десяти ждем. Не опаздывай!

Надя была на седьмом небе от счастья, получив Ритино приглашение. И не потому, что Рита сказала, будет много гостей, значит, ее попросят петь, а это всегда радость, а потому, что в такую ночь никогда еще не оставалась одна и боялась одиночества. Она знала, что, как только наступит вечер, и ей совсем нечего будет делать, она дочитает и отложит в сторону «Остров пингвинов» — книгу, очень полюбившуюся ей за то, что нашла в ней много интересных для себя мыслей. Но, как только книга будет дочитана, она начнет думать о нем, о Клондайке, мысленно просматривая все с самого первого дня, когда увидела его и заволновалась, душа ее затрепетала в предчувствии грядущих тревог, что наступали неотвратимо на нее. Тогда она

еще не знала, какие они будут, и надеялась на счастье. Трагический конец она тоже вспомнит, и это будет так болезненно, что слез она удержать не сможет, а встречать Новый год со слезами, по приметам, весь год будет в печали и слезах. Конечно, можно пораньше лечь спать, но тогда она проснется среди ночи, и если не увидит его во сне, то он все равно явится ей, и все будет то же самое, — вспухшие от слез глаза и безысходная тоска на целый день.

30-го Степан Матвеевич поздравил всех с Новым годом и отпустил девушек пораньше с работы.

— Высыпайтесь, девчата, хорошенько, чтоб на Новый год быть вам красивыми, отдохнувшими, веселыми и чтоб танцевать до упаду, — и улыбнулся Аннушке.

Бригадницы прятали ехидные улыбочки и многозначительно перемигивались меж собой, но помалкивали. Знали, что Аннушкин «роман» двигает объекты, проценты и план, а стало быть, и заработки.

«Все же хоть «воробьиная свобода», а хорошо!» — решила Надя, спускаясь в метро по эскалатору. Навстречу ей спешили вверх веселые, празднично одетые люди. Женщины, и молодые и постарше, нарядные, «в парадной форме». Она тоже надела свое самое красивое алое платье, ресницы навела до бровей и губы накрасить не забыла. Одна обидная мыслишка свербела ей голову: «Почему не пришел поздравить с праздником Володя?» Но она тут же отогнала ее прочь. «Не тот случай, чтоб заострять внимание, там внучка Маша!»

Конфеты, что он принес в прошлый раз, были начаты, и в коробке их брать неудобно. Надя пересыпала в бумажный пакет: «Все не с пустыми руками».

Рита, нарядная, в черной бархатной юбке, в белой кружевной кофте, словно десять лет за плечи скинула. Юная, как девушка.

— Туфли пока не одевай, шлепанцы мои одень, пойдешь помогать стол накрывать, — тут же скомандовала она.

Приехал с концерта Ритин муж. Славный, остроумный весельчак, невысокого роста, с заметной плешью, искусно замаскированной темными волосами. Он протянул Наде руку:

— Яков Борисович, можете называть меня запросто — Яша! А вы Надя, восходящая звезда над нашей тусьменной планидой, так я угадал?

— Все верно! Только восхода пока не предвидится! — улыбнулась ему Надя.

— Маргоша! — восхищенно воскликнул он, выгружая на стол бутылки из портфеля. — Ты права, она и впрямь красотка и совсем моего роста. Я почти достаю ей до плеча!

Рядом с Надей хозяйка усадила немолодого мужчину с седыми, как серый каракуль, тугими завитками волос и неожиданно молодыми светлыми глазами. Общество подобралось на редкость интересное, говорили о музыке, о новых постановках в театрах, о том, что, когда уйдет со сцены Мария Бабанова, никто уже не сыграет так Диану в «Собаке на сене», а, когда покинет сцену Уланова, не будет больше такой Джульетты. Зато в опере наметилась новая «дива», красотка, с прекрасными вокальными данными, кажется, по фамилии Вишневская, и еще о многом, что интересовало Надю до крайности. После встречи Нового года гости сдвинули стол, оттащили в спальню стулья и собрали посуду. Начались танцы.

В тесноте особенно выкаблучиваться не приходилось. Пары толкались, как в автобусе, дамы рвали каблуками друг другу чулки, но вежливо, с улыбками извинялись, кавалеры наступали дамам на ноги, с виноватыми лицами прося пардону.

Надя пожалела новые туфли и паутинки с черной пяткой и пошла на кухню помогать готовить кофе. Рита, сделав большие глаза, шепотом спросила ее:

— Ты знаешь, кто с тобой сидел?

— Представления не имею!

— Дирижер Георгадзе Шота Илларионович! Неужели не слышала? — поразилась Рита. — Быть этого не может!

Но Надя нисколько не смутилась от своего невежества. Она давно поняла, что отстала от советской действительности на доброе десятилетие. И когда ей называли имена современных знаменитостей, которых она не знала, ей всегда хотелось спросить в свою очередь:

«А начальника Главного управления Воркутинскими лагерям» генерала Деревянко вы не знаете? Нет? Неужели? Ну, а командующего войсками МВД генерал-полковника Масленникова вы должны знать! Личность известная! Что, тоже не знаете? А имя начальника комбината «Воркутуголь» товарища Кухтикова вам незнакомо? И о Чепиге, начальнике режима Воркутлага, тоже не слышали? Его прелестная жена была примадонной Воркутинского музыкально-драматического театра и даже заслуженной артисткой Коми АССР. Правда, пела она под другой фамилией. «Вера Макаровна Пясковская» — значилась она в афишах, и такой ее запомнили зрители Воркуты, конца сороковых годов.

Майор Чепига был непопулярен в Воркуте, хотя, возможно, только среди определенного контингента. И об этом вы не слышали?» — И тут же сделать удивленное лицо, уличив знакомых в их дремучем невежестве. Устыдить и наслаждаться их смущением.

Однако Рита из лучших побуждений посоветовала:

— Знаешь, спой, пусть послушает, может и пригодится когда-нибудь. Все же известный дирижер. Пошли!

Гости обрадовано зашумели, хоть как-то развеять надвигающуюся скуку. Пока Надя раздумывала, что спеть, Рита уже проиграла вступление старинного русского романса: «Только раз бывает в жизни встреча», который они потихоньку от Елизаветы Алексеевны, пели иногда с Надей. В тесной, накуренной квартире голос звучал плохо, к тому же выпила какого-то мерзкого вина, зато последние слова Надя пропела с таким чувством, словно стояла на сцене в промозглой столовке ОЛПа, а во втором ряду сидел, широко открыв восторженные глаза, в то время еще простой, двадцатитрехлетний лейтенант, Тарасов.

К похвалам своему голосу Надя привыкла, но муж Риты, Яков Борисович, профессиональный музыкант столичного оркестра, чье мнение было ей особенно дорого, сказал:

— Я такого голоса в жизни не слышал, пожалуй, только у Обуховой, тезки твоей.

— Детка, для вас Сен-Санс написал Далилу, это ваше! — кинулся обнимать ее Шота Илларионович. — Кончайте учебу, пробуйтесь в театр, не теряйте драгоценную молодость!

— Что вы! Обязательно в консерваторию! Это высшее образование музыканта… — уверяла Ритина подруга, композитор Томочка Бромберг.

К четырем утра все осоловели и устали. Пора было расходиться, но транспорт еще не двинулся и нужно было еще подождать или искать такси. Машина была только у Шота Илларионовича.

— Вам в какую сторону? — осведомился он у Нади.

— Спасибо, мне далеко!

— А как далеко? Надеюсь, не в Лондон? — спросил он, делая ударенье на последнем слоге: «Лондон».

— Нет, чуть ближе! — улыбнулась ему Надя. — В Черемушки!

— Это где? Ах, да! Новый район! Одевайтесь, не бросать же девушку! — и обернулся к Ритиным гостям, словно делал великое одолжение. Надя поспешно вышла в кухню.

— Рита! Мне совсем не хочется с ним ехать!

— Поезжай, дурашка, чем через всю Москву тащиться с пересадками! Да ты не бойся, Шотик вполне порядочный человек!

Яша направился было к двери с полным помойным ведром, но остановился.

— Боишься, приставать будет? Бей в рыло, делай клоуна из старого мерина, мы не осудим!

Машина у Шота Илларионовича была маленькая и тесная, называлась «Москвич». Кроме того, никак не желала заводиться.

— Вода в бензобак попала или контакты окислились! — пряча усмешку в воротник, блеснула Надя своими познаниями, из опыта поездок по тундре с Вальком.

— Совершенство! Вы еще и автомобилистка! — простонал красавец-дирижер.

Но получить ответ не успел. Машина заурчала, задрожала, задергалась, как эпилептик, и завелась. Сделав два-три скачка, она перестала дергаться и содрогаться и поехала вполне нормально. Шота Илларионович с облегчением откинулся на спинку сиденья и важно сказал:

— Понимаете, я совсем недавно овладел искусством вождения автомобиля! Путаюсь иногда в педалях, рычагах. Потроха автомобильные плохо усвоил!

«Нелегкая меня понесла! — оробела Надя. — Сшибет еще кого-нибудь, пьяных полна Москва, свидетелем затаскают по судам». Но все обошлось благополучно. Не доехав до дома, она попросила остановиться.

— Я совершенно серьезно предлагаю вам прослушаться у Кемарской. Это очень большая певица и артистка, она может пригласить вас в свой театр, — начал Шота Илларионович, как только машина встала на углу Надиного дома.

— Большое спасибо, — вежливо сказала Надя. — Я подумаю над вашим предложением. — Ей совсем не хотелось затяжно прощаться с этим милым дирижером. «Еще целоваться полезет!»

— После пятого я свободен, вы позволите пригласить вас?

«Боже, и этот с приглашением!» — Я буду у Риты в четверг, позвоните мне туда, — сказала Надя, вспомнив, что Елизавета Алексеевна отпустила ее на всю неделю отдыхать.

— К Маргарите Львовне? А к вам нельзя?

— Я своего телефона мужчинам не даю, у меня очень строгий отец! — соврала Надя, радуясь своей выдумке.

— Ну, тогда до встречи! Дайте хоть к вашей ручке припасть, инфернальная девушка! — произнес он, целуя ей руку.

«Хорошо, что целоваться не полез».

Почти все окна ее дома были освещены. Мелькали разноцветные огоньки елок. Еще в некоторых квартирах ревели проигрыватели и магнитофоны, пробиваясь через толщу стен, и можно было даже с улицы услышать слоновий топот разгулявшихся танцоров. Надя открыла парадную дверь и испуганно замерла на пороге. Перед ней, прямо на грязных, затоптанных ступенях, сидел Володя.

— Здравствуй! — Он поднялся ей навстречу и тотчас

качнулся, едва успев ухватиться за перила. — Я пришел поздравить тебя с Новым годом!

Надя молча стала открывать дверь, но от волненья никак не могла попасть дрожащей рукой в отверстие английского замка.

— Разве нельзя?

— Ты пьян, иди проспись! — злобно прошептала она, остерегаясь говорить громко, так как услышала, с верхнего этажа спускалась шумная компания.

Наконец дверь отворилась, и она хотела пройти мимо него, но он быстро подставил свою ногу и протиснулся вслед за ней. Щеки ее пылали от гнева. «Поганец! — мысленно изругала она его. — То с бутылкой прется, а то и сам едва на ногах держится». Однако вслух поостереглась. Связываться с пьяным опасно. При такой слышимости весь дом будет знать, что у «скромняги» Надьки происходила баталия с парнем. Он молчком разделся вслед за ней и повесил на вешалку свою меховую куртку и шапку, прошел в комнату и плюхнулся на тахту. Потолок сотрясался, как во время бомбежки. Кто-то лихо отплясывал под баян «цыганочку». Рядом, за стеной, хохот и женский визг не способствовали серьезному разговору. «Глупое положение», — с досадой подумала Надя. Володя поднял голову к потолку и послушал.

— Счастливые! Как им весело! — сказал он и улыбнулся ей виновато и вроде бы извиняясь.

«Что это с ним?» — удивилась Надя, однако строго спросила:

— Может быть, ты соизволишь объяснить, в чем дело? А?

— Поставь, пожалуйста, чайник и завари крепко-крепко, — попросил он и попытался заглянуть ей в глаза, опять виновато улыбаясь. Этого Надя выдержать была не в силах. Гнев ее улетучился, и душа готова была к прощению.

— Я думаю, тебе стоит все же объяснить, почему ты являешься ко мне среди ночи в пьяном виде?

— Я не очень пьян… средняя степень опьянения, — пробормотал, оправдываясь, он.

Надя пошла на кухню ставить чайник, потом вернулась, села против него на стул и стала думать, как ей повежливее, не нарушая правил гостеприимства, проводить его за дверь.

— Где ты была всю ночь? — излишне «по-свойски» спросил он.

Надя не на шутку обозлилась:

— Какое твое дело, где я была!

Но он будто и не слышал и еще спросил:

— А с кем?

— Послушай, нахал, кто ты мне есть, чтоб допрашивать

меня?

— Я тебе есть никто, а ты мне есть очень даже кто!

От такой наглости только руками развести можно было. Едва сдержав себя от смеха, она хотела одернуть нахала для порядка, но услышала, что чайник закипел, стучит крышкой и заливает водой плиту. Когда она заварила чай и вошла в комнату, ей показалось, что он заснул, но он поднял голову и спросил: — Уже готов?

Она, не отвечая, налила крепкий черный чай, потом подумала, достала еще чашку и налила себе. Закон гостеприимства был нерушим в ее понимании.

— А лимон у тебя есть?

— В бананово-лимонном Сингапуре! — пропела она. — А у меня нет! — и перестала сердиться. Нельзя было долго злобиться на его простодушную непосредственность.

— Чай у тебя отменный! — и положил целую пригоршню сахара. «Столько, сколько нам выдавали на месяц», — припомнила Надя. После второй чашки он слегка оклемался, но хмель еще, видно, бродил в его голове, судя по тому, как он опять спросил ее:

— Так где ты все-таки была?

— Какое твое дело?

— Это не ответ! Если б ты была дома, мы Новый год вместе встретили бы. А то я подъехал, а тебя нет, след простыл. Я обозлился и к Машке поехал на Грановского. Не я же виноват, что тебя не было, — с сожалением сказал он и попытался схватить Надю за руку. Но она быстро спрятала обе руки под стол и настороженно спросила:

— Какая еще Машка?

— Обыкновенная, невеста моя!

На минуту у Нади возникло смутное ощущение, будто ее окатили ледяной водой. От неожиданности она оторопела. «Вот это да! У него невеста! Та самая внучка Машка, которая «пасет» его для себя, ожидая, когда он закончит аспирантуру, защитится, чтоб выйти замуж не за простого инженера, а за кандидата наук. Престижно! Это о ней говорил мне Вадим…» Но Надя тут же взяла себя в руки и, погасив в себе ревнивый взрыв, сказала, сколь могла, спокойнее:

— Какое мне дело до твоих Машек, мне нет нужды знать о них! — и надменно вскинула голову. «Знай наших!»

— Растолкались мы с Машкой, разошлись! — глубоко вздохнув, мрачно сказал Володя. — Все оказалось непросто, но когда-то надо было! Ты думаешь, я пьян? Ничего подобного! Немного для храбрости нужно было! А то как, ни с того, ни с сего

ее обидеть? Трезвым так прямо и не скажешь: «Разлюбил, люблю другую…». Она умница, давно догадалась. Мы ведь с ней с детства дружили… Матери наши — подруги… — как бы сам с собой рассуждал он.

— Где твоя машина? — слегка растерянно спросила Надя.

— Во дворе бросил, на Грановского…

— А как сюда добрался?

— На такси.

Надя взглянула на свой будильник. Без десяти шесть.

— Домой тебе пора!

— Слушай, чего ты себе еще один диван не купишь? Я лег бы и сутки проспал! Купи, ладно?

— Обязательно! В следующий раз! — развеселилась неизвестно от чего Надя и поднялась из-за стола. — Пора тебе, иди домой, Володя! — неожиданно для самой себя тепло и ласково сказала она, слегка коснувшись его руки.

— Ого! — воскликнул он, с удивлением взглянув на нее, но без сопротивления встал и направился к двери. В узком коридоре, пытаясь попасть в рукав своей куртки, спросил Надю:

— Прохвост я, да?

— Не знаю, как сам-то думаешь?

— Конечно, прохвост! — И замотал головой, словно отгоняя неприятные навязчивые мысли. Потом посмотрел на нее покрасневшими глазами. — А что было делать? Насильно мил не будешь! Так, что ли, говорят?

Надя отворила ему дверь.

— Ты в субботу не убегай от меня, на «Щелкунчика» сходим.

После его ухода она еще долго сидела у неубранного стола.

Спать не хотелось, то ли от выпитого крепкого чая, а быть может, от мыслей, обуревавших ее. Отчего вдруг так неприятно встряхнуло ее, чувство, похожее на простую ревность? Она, конечно, была далека от мысли, что у Володи никого не было, и имела случай убедиться, каким успехом пользовался этот обаятельный и милый парень. Именно про таких говорили: «Не по хорошему мил, а по милому хорош». Не то, что несчастный Клондайк, запертый в казармах под неусыпным наблюдением своих же соратников по охране «врагов народа». У этого сынка была невеста Машка. Машка — внучка, из престижного правительственного дома на улице Грановского. У нее, у этой милой девушки, кроме русского имени, наверное, ничего русского не было и в помине. Дедушка — отдыхающий нарком, маршал или министр, уж верно, позаботился, чтоб у девушки все было из-за «бугра». Парфюмерия из Парижа, остальное могло быть тоже из Франции, из Англии или Штатов, на худой конец, из

Финляндии или ГДР. Специальные секции ГУМа или Военторга обслуживали семью девушки Машки. Простые смертные в доме на улице Грановского не проживали. У чугунной изгороди чугунные ворота тщательно запирались на ночь, и комендант в будке, как верный барбос, сторожил покой сильных мира сего. Легко себе представить, какое побоище должен будет выдержать Володя, когда заявит, что элитной невесты, внучки Маши, больше не будет! Мамочка Субботина конечно же не раз видела, как к ее подъезду подкатывает роскошный «ЗИМ» с закадычной подругой и дочкой Машей. Шофер мирно дремлет в машине и терпеливо ожидает, пока подруги обсуждают последние новости моды и светские сплетни, промыв добела кости себе подобным, а нежные отроки тешатся дозволенной любовью. Хорошо! И вдруг такая осечка! Когда бы жила эта Маша в простом доме, да еще и в коммуналке, а не на улице Грановского, за чугунной изгородью, послала бы она, Надя Михайлова, этого Володю, куда Макар телят не гонял. А теперь нет! Будет с них! Теперь она узнала ответ на свой вопрос, мучивший ее «там», на Воркуте. Кому было нужно, чтоб на костях зеков строились все эти Воркуты, Магаданы, Норильски… всех не счесть! Это нужно было им, папам и дедушкам девушки Маши с улицы Грановского, со Староконюшенного, с дома правительства у Каменного моста и тем, кто имел квартиры в священном Кремле. А там, в шахтах, на рудниках, на известковых и цементных заводах, на лесоповалах, трудились, да и до сих пор трудятся для них ум, честь и совесть народа. Оттого и вотще взывали узники, посылая прошения о пересмотре в Генеральную прокуратуру, в Верховный Совет, в МГБ, лично товарищу Сталину, Калинину, Ворошилову, Берия, Абакумову, Руденко… Но заседали там дедушки и папы девушек Машек, и отписывали их помощники и секретари один и тот же ответ для всех: «Оснований для пересмотра нет. Приговор приведен в исполнение правильно!» Нет! Будет с них!

Надька-маленькая, постоянно подрабатывая вечерами в таких «особенных» домах, рассказывала девчатам из бригады, сколько было притащено из Германии «военных трофеев» в виде фарфора, хрусталя, драгоценных гобеленов, картин, люстр и даже мебели. Для Надиной семьи война была великим бедствием, а «эти» и на войне умудрились разжиться. Так пусть же и девушка Маша познает огорчения. Поймет пусть, что можно ездить с шоферами на «ЗИМах», носить драгоценности и наслаждаться природой на дачах с высокими зелеными заборами, а сердцу не прикажешь! И такой же балованный мальчик престижных родителей по своему хотенью, по Божьему веленью предпочел девушке с улицы Грановского бывшую зечку с Воркуты, а теперешнюю плиточницу

со стройучастка с ее убогой квартирой. «Уж за одно за это стоило бы полюбить его!» — сказала себе Надя.

Но торжествовала она недолго, стоило ей вспомнить о всех девушках в Речлаге, в этапах и вообще в «тех» местах, которые пребывали там лишь только потому, что важные папы оказались вдруг врагами советского народа, сразу торжеству ее пришел конец. «А чем виновата Маша, что пользуется добытым ее дедушкой? — подумалось Наде. — Ведь и Света Тухачевская, и Петя Якир, и Соня Радек, и многие другие тоже были «престижные» дети.

Великий вождь, лучший друг детей, хоть и провозгласил, что дети за отцов не отвечают, все же действовал согласно Библии: «… в ответе! Да еще до четвертого колена»!

И девушке Маше надобно молиться, выпрашивая прощение у Всевышнего своим отцам и дедушкам за то, что украшают ее квартиру картины и радует глаз драгоценный фарфор на полочках зеркальной горки из растерзанной Германии, а возможно, и конфискованные у бесчисленных врагов народа добрыми папами и дедушками.

В следующий же вечер Володя пришел извиниться за свое нетрезвое вторжение, да еще в неурочный час. Время было позднее, и она, открыв ему дверь, обозлилась: «Небось у Маши до сих пор околачивался, а сюда идет или с бутылкой, или выпивши, как к девке пропащей!»

— Хозяюшка, дайте водицы напиться! Так есть хочется и переночевать негде, — пропел он скороговоркой, едва Надя закрыла за ним дверь.

— Экий смиренный! — она с трудом сдержалась, чтоб не рассмеяться и сохранить строгое выражение лица. — Неприлично приходить в гости после десяти часов вечера. Тебе мама не говорила?

— Я не в гости, я на свой диван. Что, занят?

— Диван твой проживает на улице Грановского!

— Наоборот! Ты перепутала события, он переехал оттуда сюда! — весело возразил Володя и уже протянул к ней руки. Надя, заметив его жест, быстро повернулась и пошла в комнату, краем уха прислушиваясь на всякий случай, не хлопнул ли дверью обиженный гость. Но он нисколько не обиделся, а разделся и совсем по-хозяйски, чем еще больше обозлил ее, прошел в комнату, не ожидая приглашения. Увидев ее сердитое, нахмуренное лицо, он воскликнул:

— Ого! Это уже теплее, кажется, я начинаю возбуждать в тебе эмоции.

— Отрицательные!

— От любви до ненависти один шаг — и обратно!

— Самомнение безграничное! Являешься с таким видом, будто тебя здесь ждут днем и ночью, — с недоброй усмешкой сказала Надя.

— А нет? Разве нет? — Спросил и улыбнулся своей милой, беззлобной улыбкой.

Надя отвернулась, чтоб не видеть его. Против улыбок она была безоружна. Бранить улыбающегося человека ей казалось смешно и мусорно. Пришлось сделать над собой усилье, прежде чем она начала:

— Я хочу серьезно сказать, Володя, что тебе надо вернуться к своей невесте, а сюда забыть дорогу, — с последними словами 0на повернулась к нему лицом и строго посмотрела ему в глаза.

С его лица сбежала улыбка, оно сразу стало жестким и злым.

— Не говори глупости, это невозможно! — отрезал он сердито.

— Если ты попросишь прощенье, она тебя любит и простит!

— Я давно забыл, как просят прощенье!

— Вспомни, это необходимо и в жизни пригодится.

— Пойми, наконец, невозможно, как нельзя вернуть детство. Что было, то прошло! Я не могу обманывать ни ее, ни себя. Я не люблю ее и не хочу…

— Сюда ты тоже ходить не будешь! — быстро перебила его Надя.

— Это почему?

— Я так решила…

— Она так решила! Пуп земли, ось вселенной. Не много ли спеси для одной?

Бес тут как тут: «Ишь, как заговорил! Хозяин нашелся!»

— Я тебе не навязываюсь, к тебе в гости по вечерам с бутылкой не являюсь, и пьяная тоже! Уж какая есть, прошу не обессудьте. Не спесивых найдете на улице Грановского! — гневно осадила его Надя, гордо задрав свой короткий прямой нос.

Володя подошел к ней совсем близко и, заглянув ей прямо в глаза, с удивлением, весело спросил:

— Послушай, милая Надя! Уж не ревнуешь ли ты меня? А?

Надя покраснела так, что лицу и даже ушам ее стало жарко.

— Ревную? Ревнуют, когда любят, а я тебя не люблю! — насмешливо сказала она и с вызовом посмотрела на него, потом схватила чайник и кинулась на кухню, чтоб хоть как-то скрыть

свое смущенье.

— Добавь, пока еще не любишь! — крикнул ей вслед Володя, — но я подожду, я упорный!

Когда она вернулась в комнату, он мирно сидел за столом и

листал ее «Ниву», затем поднял голову и сказал, глядя на нее, просто, без тени обиды или досады:

— Ты здорово обожглась на ком-то!

— С чего ты взял? И почему я? А может, на мне кто-то?

— Нет, ты обожглась! — уверенно сказал он, продолжая смотреть на нее задумчиво и как бы сочувствуя.

— Ну чего ты смотришь? — совсем смутилась она под его пристальным, изучающим взглядом.

— Смотрю, какая ты непостижимая, сложная, непростая. Не знаешь, как к тебе и подойти. Все с ног на голову поставлено, все непросто.

Надя разлила чай, но он пить не стал, даже к чашке не притронулся, а продолжал смотреть на нее.

— Это ты правильно заметил, — сказала Надя. — Что верно, то верно, непростая я, и скажу тебе по секрету, — улыбнулась ему она, — что не люблю простых людей. Я им не верю! Хитрюги, работают под простачков. Не могут у нас быть простые люди, все мы кручено-верченные-перекрученные. Да и кого ты называешь «простыми» людьми?

— Доступные к пониманию. Искренние, открытые, откровенные, наконец…

— Девушки открытые, простые, доступные носят определенное название. А открытые, искренние мужчины давно с Лубянки на Магадан поехали! — выпалила и опомнилась: «Куда меня несет неведомая сила!»

— Ну, это когда-то было! — примирительно сказал Володя. — С этим покончено!

— Да? Ты так думаешь! Так уверен?

— А ты разве не так?

— А я не так! Я думаю, свято место пусто не бывает, во всяком случае в нашем социалистическом раю.

Володя покачал головой и с насмешкой сказал:

— В этом направлении я с девушками разговоров не веду.

— Ас мужчинами? С друзьями, например?

— Ас ними тем более. Я берегу друзей!

— Смотри, какой ты непростой! Непостижимый! А с собой ты говоришь иногда, по ночам? Чтоб никто твоих мыслей не подслушал?

— По ночам я сплю здоровым детским сном праведника. И без храпа! Заметь себе! А тебя грехи мучают по ночам? — едва сдерживаясь от смеха, спросил он. И, видимо, желая изменить тему разговоров, быстро предложил: — Может, прокатимся?

Бес запрыгал: «Зазывает»! — И Надю понесло…

— Куда? К тебе на дачу? Пока папочки с мамочкой там нет?

Хорошо устроился! Только со мной ты зря бензин тратишь на поездки, да и время тоже.

Володя оживился и залпом выпил свой остывший чай.

— Мне для тебя ничего не жалко, тем более бензин. Я бы тебя с удовольствием к себе пригласил, да ведь ты такая спесивая! На смех поднимешь, в дураках оставишь!

— А вдруг не откажусь, как тогда будешь вертеться? Вместо Маши с Грановского, девушку со стройки привел в дом!

— Все мы строители коммунизма! — с легкой иронией сказал Володя и все же ухитрился взять ее за руку.

— Очень ты далеко ушел от меня в коммунизм, не догнать мне тебя! — с притворным сожалением сказала Надя, тяжело вздыхая.

— Ух, и злюка же ты! Каверзная, сколько яду! Ну, прямо кобра Нагайна в юбке! — с нескрываемым восхищением сказал Володя. — А ведь любопытно приручить кобру, а?

— Попробуй, испытай счастье! — И попыталась выдернуть у него свою руку, но он держал крепко.

— Так вот! Приглашаю тебя к себе в гости, скажем, в воскресенье, идет? Или прислать в письменном виде?

Надя разом остыла и неуверенно произнесла:

— Не знаю, обещать не могу.

— Вот! Я так и знал! Уж очень мы заносчивые, гордые непомерно. Нас уговаривать надо, просить…

— Обязательно! Без этого мы не можем, непростые мы! Она задорно улыбнулась ему и освободила свою руку, но улыбка быстро сбежала с ее лица.

— Зачем это тебе надо, Володя, а? — вполголоса спросила она вдруг.

— Ничего ты не поняла! — с неожиданной проникновенностью сказал он. — Или не хочешь ничего понимать!

— Я шарады разгадывать не умею, образования не хватает! — Надя окончательно пришла в хорошее настроение и на его вопрос:

— Ну, так как?

Ответила, сверкая глазами и зубами:

— Приглашение принято!

— Прекрасно! А то дома меня отец терроризирует: «С кем, — говорит, — ты на оперы ходишь, бедный человек, маешься, дремлешь ведь!». — Билеты эти мне он у себя достает.

Надя никогда не была на балете, ей казалось, что она несравненно больше любит оперу. Но, когда прекрасная музыка, много раз слышанная по радио, здесь, на сцене Большого театра,

превратилась в волшебную сказку, сердце ее сладко защемило, а душа запела вместе со скрипками и арфой. Уже с конца третьего акта она потихоньку достала из сумки свой единственный платок и стала прикладывать к мокнущим глазам, радуясь, что не успела накрасить ресницы.

— Кобра расчувствовалась и прослезилась, — тихонько шепнул ей на ухо Володя.

Из театра она вышла подавленная и сраженная красотой чудесной музыки и постановки. В машине слезы лились у нее ручьем и перестали, только когда Володя остановил машину у ее подъезда и нашел на своем плече ее вздрагивающие губы своими теплыми губами.

— Ну, хватит! — сказала она, слегка отстранив его. — Сказка кончилась, переходим к прозе жизни.

— Может, чайком угостишь? — неуверенно попросил он.

— Нет, на ночь чай пить вредно.

— Я все хотел спросить, что у тебя за духи такие?

— Какие?

— Не знаю даже. Дурманящие, волнующие…

— Это мой запах, запах кобры! — засмеялась Надя и поскорее захлопнула перед ним дверь.

В воскресенье, к вечеру, за ней заехал Володя. Он был, как и всегда, весел и добро насмешлив. Но Надя шестым чувством ощутила: «Он слегка взволнован предстоящим представлением». Как он объяснил ей свое желание представить родным, познакомить с «домом». Если б она имела серьезные виды на него, то, быть может, тоже волновалась, но никаких надежд на совместную жизнь с ним она не питала. Он был очень мил, развлекая ее, доставлял радость, но и только. «Всяк сверчок знай свой шесток», а ее шесток были занятия с Елизаветой Алексеевной, и от их успехов зависела вся ее дальнейшая судьба. Еще не зажила ее раненая душа, она не готова была на новую любовь, даже на простой ответ. Он верно заметил: она обожглась, и это было так больно, что пройти еще раз, повторить все сначала у нее не было ни сил, ни желанья.

В лифте он заботливо откинул назад с ее лба нависшее колечко волос и всячески старался, чтоб она выглядела как можно лучше. У самой Нади на этот счет было другое мнение. Она всегда говорила себе: «Полюбите нас черненьких, а беленьких нас всяк полюбит». И при этом вспоминала, что ее прекрасный возлюбленный любил ее в неуклюжем бушлате. «Не понравлюсь — и не больно хотелось!» — убеждала она себя, но все же надела свое красное платье с мелкими пуговками, парадные лаковые лодочки на высоком каблуке и слегка подмазала свои и без того

длинные ресницы.

Не успел Володя открыть ключом дверь, как навстречу с грозным рыком бросилась огромная немецкая овчарка. Надя невольно подалась назад.

— Не бойся, он не укусит! Треф, на место!

Треф не послушался и на место не пошел, а подошел к Наде, внимательно понюхал и изучил подол ее платья, ноги и приветливо забарабанил пушистым хвостом по стене.

— Вот видишь, он тебя приветствует! Треф, скажи: Аве, Надя!

В ответ Треф громко гавкнул и еще шибче заколотил хвостом. «Как он похож на тех, что сопровождали нас там, в этапах, на разводах, в строю! Злобные, натасканные на старые зековские телогрейки, готовые по первому приказу броситься на людей. А тот, на водокачке? Как страшно были изгрызены его руки, растерзана одежда», — Надя с неприязнью покосилась на Трефа.

— Ты, я вижу, не любишь собак? — с легким разочарованием спросил Володя.

— Нет, люблю, очень люблю, только простых бобиков-шариков, а это охранники, собака фашистов.

— Ну, знаешь! Выражение слишком сильное! Какой же он охранник? Я уверен, вы подружитесь, он хороший! — Володя почесал Трефа за ухом и помог ей снять пальто.

Квартира удивила Надю своим размером. «Как наша общага», — подумала она, увидев несколько дверей по коридору направо и налево.

— Вот моя обитель, — сказал Володя, пропуская ее вперед.

Еще в давние времена тетя Маня поучала ее не «шарить» глазами в гостях, поэтому она, скромно поджав свои длинные ноги, уселась на край тахты, сплошь заваленной рулонами бумаги, чертежами и всякой всячиной, видимо, относящейся к его занятиям.

«Ничего себе скромная обитель!» — она бегло окинула взглядом комнату, увидев рядами поставленные неведомые аппараты, то ли проигрыватели, то ли магнитофоны. Картины, гравюры, чьи-то фотографии на стенах рассматривать не стала и вообще почувствовала себя не на месте, чужой. «Зря навязалась». Ей вспомнилась действительно скромная обитель Клондайка, где были одни книги да учебники и не «бодрость духа», как здесь, а тепло и сердечность. Ей сразу захотелось сказать что-нибудь ядовитое, приземлить этого благополучного сыночка, чтоб не очень мнил о себе. Но Володя, видно, и не думал о себе ничего такого. Он увлеченно рассказывал ей о своей поездке в Польшу. Надя сидела, широко распахнув свои глаза, и, казалось, внимательно слушала его, но мысли ее, хоть и были с ним в

Польше, только витали совсем в другом направлении. Она вспомнила варшавянку Дануту Калишевскую, красавицу из красавиц, и другую польскую паненку из кипятилки, вынужденную за подачки принимать унизительные ласки Павиана, и еще одну пани, Брониславу Готальску, и то страшное, что рассказывала Броня, как был расстрелян где-то под Смоленском, в Катынском лесу, в апреле 40 года ее муж, капитан Ежи Готальский, и не один, а целая армия голодных, безоружных пленных поляков. И когда Володя достал фотографии, сделанные им у древнего костела в Кракове, ей так захотелось спросить: «А ты слышал о расстрелянных пленных поляках под Смоленском, в лесу? А их там было более тысячи! И вот пути Господни неисповедимы! Жены расстрелянных и жены тех, кто расстреливал, очутились в одном лагере Кирпичного завода № 2». Но Филя наказал: «Забудь о прошлом, нишкни!» Забыть, конечно, этого нельзя, как нельзя забыть свое имя. Но молчать надо и пропеть про себя смешную песенку, слышанную от Козы: «Фонарики-сударики горят себе, горят! Что слышали, что видели, о том не говорят!»

— А книги у тебя есть? — внезапно спросила она, чем, видимо, озадачила Володю.

— Книги? Какие?

— Любимые, учебники, всякие! Я книг у тебя не вижу, одни журналы…

— С учебниками я расстался. Уже сам скоро сяду писать учебники, а библиотека наша у папы в кабинете… — Надя закусила губу.

— А ты что-нибудь хотела почитать?

— Ничего! Спасибо! А любимую книгу ты не держишь под подушкой?

— Нет! — удивился он. — А ты? Держишь?

— К сожалению, не держу. У меня нет моих любимых книг.

— Интересно, а какие твои любимые, которые удостоились бы чести спать с тобой? — с трудом сдерживая насмешку, спросил Володя.

— У меня их три! Первая — это «Дети капитана Гранта».

— Что? — чуть не подскочил Володя.

— Да! Там есть такое нужное всем слово: «табу». Ты его знаешь? Нет? Я напомню. Это слово новозеландских туземцев, и обозначает оно запрет. Священно, не трогать! Полезное слово. Запомни! Когда-нибудь может пригодиться. Вторая — «Маугли». Помнишь, как говорила Багира человеческому детенышу? «Мы с тобой одной крови, ты и я!» А третья — Джек Лондон. О настоящих парнях с Клондайка.

Володя затих и минуту смотрел на нее, уже без насмешки и озабоченно, как засверкали огоньки слез в ее глазах и тотчас погасли.

Она засмеялась тихо, будто сама над собой.

— А ты Достоевского любишь? — наконец, спросил он.

— Конечно! Как же? Я сама частица достоевщины (так ей когда-то сказала Вольтраут).

— Он присутствует во всех нас, но в тебе больше, чем нужно.

— Это плохо, по-твоему? — спросила Надя.

— Опасно! Поступки таких людей лишены логики, они непредсказуемы.

В дверь постучали.

— Володюшка! — сказал женский голос через дверь, — приглашай своих гостей к столу.

— Пойдем! У нас рано ужинают, — сказал Володя.

«Ломаться и отказываться от еды в гостях стыдно», — усвоила раз и навсегда Надя, чему ее учила Дина Васильевна, и поднялась с тахты.

Следующая комната поразила ее своим великолепием. Хрустальная люстра заливала ярким светом уже накрытый к ужину стол. Тяжелые золотистые бархатные портьеры, почти одного тона с ковром, и особенно рояль, совсем подавили ее. Такой большой, хвостатый она видела только у Гнесиных в училище.

— Это моя мама! А это Надя! — Суетился Володя, представляя ее своей родне.

«И чего волнуется?»

— Рада познакомиться! — протянув руку, сказала маленькая полная женщина, ни одной чертой не похожая на Володю. Глаза ее смотрели холодно и прилипчиво.

«Как лягушачьи лапки на моем лице. И сказали мне: совсем не рада я тебе!» — почувствовала Надя.

— А это моя сестра Таня! — Володя подвел ее к очень красивой молодой женщине, сидящей за столом.

— Меня зовут Татьяна Алексеевна, — подчеркнула она ледяным голосом свое отчество, как бы желая дать понять Наде, что не намерена допускать никакого панибратства. Надя поняла это, а также и то, что Татьяна Алексеевна даже не старалась притвориться вежливой, как ее мамаша, и еще раз пожалела, что пришла в этот дом, где еще царило воспоминание о Маше. Нелюбовь всегда приводила Надю в недоумение и замешательство. «Там», на Севере, ее любили, она была нужна, а здесь, на воле, ей постоянно приходилось испытывать на себе недоброжелательное отношение. Ей и в голову не могло прийти,

что она вызывала зависть своей красотой и молодостью.

— А где же папа? — спросил Володя.

— Володюшка, ты же знаешь, папа ужинает поздно, — усталым голосом простонала Серафима Евгеньевна, будто каждое слово ей болезненно было произнести. Но тут же живо повернулась к Наде.

— Вы учитесь или уже закончили?

— Мама! — с укором произнес Володя. — Я же говорил тебе, Надя работает!

— Ах, да, да, я забыла! — опять простонала она.

— Я работаю на стройке! — несколько вызывающе и даже с гордостью поспешила заявить Надя, вроде бы строила Кремлевские палаты, а не паршивые пятиэтажки.

Татьяна, зло сверкнув из-под ресниц ироничным взглядом, покосилась на ее маникюр с изумрудным кольцом на пальце.

— Тяжело, я полагаю?

— Мне не тяжело, я привыкла! — улыбаясь, ответила ей Надя.

Она чувствовала, что Володя настороженно слушает, ожидая, как она, совсем не похожая на девушек со стройки, будет врать о себе. И ей больше поверят, если она скажет, что студентка, поэтесса, переводчица, кто угодно. И ободряюще улыбнулся ей, услыхав ее ответ. «Не унизилась до лжи!»

Три пары глаз с разным отношением следили за ней, когда она села за стол. «В правой нож, в левой вилка! Так едят культурные люди, — обучала ее когда-то Дина Васильевна. — Локти не расставляй и жуй с закрытым ртом». Надя обижалась и мысленно возражала ей: «Это потому, что у нее Нюшка посуду моет, а когда сам, да еще воду на керосинке греешь, то можно и одной ложкой пустую картошку лопать». К своей тарелке она едва притронулась, и не потому, что ломалась или талию берегла, она терпеть не могла рыбу. Еще с этапа, вылавливая куски ржавой селедки из жидкой баланды, где «овсинка за овсинкой бегают с дубинкой», она возненавидела всякую рыбу и клятвенно заверила себя: если только когда-нибудь она будет свободной, то никогда, никогда не будет есть рыбу. Конечно, то, что подавали у Володи, была не вяленая треска, не хамса — «веселые ребята», и конечно уж не ржавая сельдь из довоенных запасов, но все равно рыбный запах будил в ней нехорошие чувства. Заметив, что Володя оказывает чрезмерное внимание своей гостье, Серафима Евгеньевна, желая хоть как-нибудь отвлечь его, не выдержала и обратилась к Наде.

— Вы извините меня, если я займу вашего собеседника на минуту по хозяйственным вопросам, — с кисло-сладкой улыбкой

проворковала она.

— В чем дело, мама? — недовольно спросил Володя. — Какие со мной можно решать хозяйственные вопросы?

— Ах, извини! — обиделась она. — С кем же мне говорить тогда?

— Мама! Ты что, не видишь? Володя занят! — снисходительно заметила Татьяна.

Надю давно тянуло, как магнитом, взглянуть на кипу нот, аккуратной стопочкой сложенных на хвосте рояля. Пианино и рояли с детских лет наводили на нее тоску своей недосягаемостью, как несбыточная, но любимая мечта.

— Можно мне посмотреть ноты? — не удержалась она.

— Разумеется! — сказала, великодушно кивнув головой, Серафима Евгеньевна.

— Конечно, посмотри! — воскликнул Володя, довольный, что Надя нашла себе развлечение, тогда как он вынужден выслушивать мать о ремонте забора на даче.

Поблагодарив хозяйку, Надя встала и подошла к роялю.

— Вы любите музыку?

Вопрос застал ее врасплох, она обернулась, еще не зная, что ответить этой высокомерной Татьяне, и встретила встревоженные Володины глаза. «Чего он испугался?»

Вопрос простой, да ответить трудно! Кто же не любит музыку? Всякий ответ получается высокопарным — ведь никто не скажет: «Нет, не люблю!»

«Попробуй ответь, люблю ли я все самое светлое, самое радостное, что осталось в моей жизни? Люблю ли я музыку?»

— Да, очень! — невольно вырвалось у нее так искренне, как ей совсем не хотелось распахиваться перед этой холодной и такой неприветливой семьей. Но она уже попалась и отступать было некуда!

— Какую же музыку вы любите? — с вежливой улыбкой спросила Татьяна, но Надя уловила ядовитую насмешку в ее вопросе.

— Романсы! — ответила Надя, с вызовом глядя в мраморное лицо Татьяны.

— Романсы? Вы любите романсы? — с обидным недоверием переспросила она, пряча усмешку в уголках губ, словно любить романсы позволено только избранным, например ей!

— Какие? И почему вдруг романсы? — недоумевая, она подняла вверх изящные пиявочки-брови.

— Романс — это высшая форма творческого содружества композитора и поэта, — повторила уверенно Надя сказанное ей давным-давно Диной Васильевной.

— Неужели? — уже не пряча насмешку, удивилась Татьяна.

Напрасно нервничал и сердился за нее Володя. Она уже решила, что ноги ее больше в этом доме не будет, и с помощью своего «беса» почувствовала себя уверенно, готовая на любой вызов дать отповедь. Добрая и чуткая натура ее совершенно зверела от ядовитых насмешек и всего, что унижает, по ее понятиям, ее достоинство

и гордость.

— И вы поете эти романсы или… — Татьяна остановилась подыскивая слово, чем еще уязвить эту нагловатую выскочку, которую привел в дом вместо милой Маши ее неразборчивый брат.

— Пытаюсь! — небрежно пожала плечами Надя.

— Может быть, вы доставите нам такое удовольствие, споете какой-нибудь романс?

— Ну, знаешь, Тата, это уже слишком! — взорвался Володя. Он не понял, почему легкая усмешка тронула полные Надины губы.

— А почему нет? Надя любит романсы, я полагаю, и знает их, не так ли? — продолжала язвить Татьяна.

— Да! А вы мне сможете аккомпанировать? Я не люблю петь без аккомпанемента! — с лукавой озабоченностью спросила Надя.

— Бог мой! С превеликим удовольствием! Выбирайте! Вон там, сверху! — Татьяна кивнула головой в конец рояля. — Старинные цыганские романсы.

Ей и впрямь стало весело от мысли позабавиться потом над братом.

— Нет, я люблю классику!

— Ах, классику! — Татьяна закусила губы, чтоб не рассмеяться. — Тогда доставайте с самого низу, в левой стопке.

— Тата преподает в музыкальной школе, — с досадой предостерег Володя.

— Замечательно! — искренне обрадовалась Надя. — Значит, у меня будет настоящий аккомпанемент!

Она с удовольствием принялась рыться в нотах, откладывая в сторону знакомые ей вещи.

«Вот то, что мне надо! Римский-Корсаков. Один из любимых романсов Дины Васильевны». Как долго они бились, чтоб добиться того, что замыслил композитор! Потом, очень плохо спела этот романс Елизавете Алексеевне, то ли от волнения, а возможно, просто забыла. Татьяна встала и пряча улыбку, направилась к роялю. И тут Надя увидела, что она мала ростом, — бедняжка была горбата! Весь остаток Надиного запала мигом слетел, она с трудом скрыла горестный возглас.

Татьяна, зная, какое впечатление производит своей фигурой, нахмурилась и нетерпеливо протянула руку.

— Ну, давайте же! Что вы там выбрали? О! — она уже без иронии, а с любопытством взглянула на Надю, все еще не доверяя ей.

Надя встала у рояля. Безукоризненно настроенный «Стейнвей» заполнил комнату потоком дивных, кристально чистых звуков. Романс, который выбрала Надя, назывался «О чем в тиши ночей». Это была проникновенная и чарующая элегия на слова Майкова. Она требовала сдержанного исполнения, с душой, впрочем, как и все русские романсы, чего так долго не могла постичь Надя. При первых же звуках вступления она вся ушла в себя, сосредоточенно отсчитывая первые такты, взяла дыханье и запела, сдерживая «на вожжах» свой большой голос:

«О чем в тиши ночей таинственно мечтаю,
О чем при свете дня всечасно помышляю,
То будет тайной всем!»

И, как всегда, знакомый трепет восторга охватил ее. Голос, послушный ее воле, лился широко и свободно. Там, в середине романса, ля бемоль, во второй октаве, его надо взять мощно, полным голосом:

«А то расскажешь ты, чей глас
В ночном молчанье мне слышится»,
И дальше, очень сдержанно:
«Чей лик я всюду нахожу,
Чьи очи светят мне»,

— пропела Надя, и вдруг случилось неправдоподобное чудо! Она увидела глаза Клондайка, его ясные, чистые, как бывает весеннее небо над тундрой, опушенные бесчисленными темными ресницами. Голос ее дрогнул, и последние слова «Чье имя я твержу» она закончила совсем тихо, чтоб не сорваться и не дай Бог не заплакать. От слез сразу же «садится» голос. Она видела, как Татьяна откинулась назад, на спинку стула и с изумлением и даже с недоверием уставилась на нее как будто не она это пела.

— Прелестно! — закудахтала за Надиной спиной Серафима Евгеньевна.

Надя повернулась к ней поблагодарить и мельком заметила, что Володя сидел за столом молча, уткнув лицо в тарелку, и вертел в руках салфетку. Лицо его было строгим и замкнутым. Он взглянул на Надю и улыбнулся странно и будто обиженно.

— А вы, оказывается, шутница, Надя! Так подшутить над нами! — произнесла Татьяна. — И поделом нам! — Она улыбнулась, осветив лицо блеском перламутровых зубов, от чего оно стало необычайно привлекательным и милым. От откровенной вражды не осталось и следа. — Если вы на меня не очень обиделись, спойте нам еще что-нибудь!

— Ах, пожалуйста, не откажите! — вторила ей Серафиме Евгеньевна.

Надя, все еще не в силах опомниться от своего виденья, опять вернулась к нотам и, покопавшись недолго, нашла сборник романсов Чайковского, точно такой же, как был у нее. Открыла на двадцатой странице тот романс, что она пела с Ритой, выполняя бесчисленные замечания Елизаветы Алексеевны. Аккомпанемент был намного труднее первого, и Татьяна попросила разрешения проиграть его одна. «День ли царит, тишина ли ночная», — начала опять очень сдержанно, «вся в себе». Нежные и страстные стихи Апухтина, приумноженные такой же страстной музыкой Чайковского, требовали большого исполнительского темперамента, артистизма, которого у Нади еще не было, как сказала ей Елизавета Алексеевна. Но это определить могли только профессионалы высокого класса. Здесь же перед ней были слушатели и выражали свое искреннее восхищение ее пением. В одном месте Татьяна, перевертывая ноты, сбилась, но потом догнала Надю, а та и не почувствовала. Всю силу, всю мощь своего голоса она вложила в последние слова: «Все, все, все, все — для тебя!»

Затылком она ощутила, что кто-то еще вошел в комнату, но это не имело сейчас никакого значения. Важно, что она пела, голос ее звучал легко, верха, свободно скользя, переходили на низкие ноты ровно, без усилия.

— Браво, браво! Вот какой соловей к нам залетел! — услышала Надя за своей спиной, когда смолкли последние звуки аккорда.

— Папа, это Надя! Познакомься, — сказал, поднимаясь со стула, Володя.

— Здравствуйте, Надя, давайте лапку, будем знакомиться! Меня зовут Алексей Александрович!

Надя протянула руку и, улыбаясь, взглянула на Володиного

отца, но не сразу могла отвести свои глаза от его лица. С детства, выросшая на природе, она любила животных, всяких, без разбора: кошек, собак, ежей, свиней, лошадей, коров, птиц, лягушек и ящериц, все, что существовало, двигалось, нуждалось в ее защите. Оттого и людей, с которыми ей приходилось сталкиваться, она мысленно сравнивала с животными. Несравнимых было только трое: мать, отец и Клондайк. Тетя Маня — морская свинка. Алешка — козленок с широко расставленными глазами и узкой книзу мордой. Вольтраут — хитрая Лиса Патрикеевна из сказки. Горохов — мартышка. Фомка — тоже обезьянка, помельче. Мансур — волосатая горилла. Антонина — коза-дереза. Майор Корнеев — серый волк. Начальница Спецчасти и УРЧ — Макака Чекистка, еще ЧОС — стоялый жеребец, Орангутанг—Пятница; были гиены, кукушки и прочие живности. Один только Клондайк не сравнивался ни с кем. Он остался в Надиной памяти как эталон мужской красоты.

«Пожалуй, слишком нежен для мужчины, но это от молодости», — сказала о нем Антонина Коза: «Там», в Воркуте, среди грубости, тяжелого труда и душевного очерствения нежность его была так нужна, так кстати. Сейчас перед ней стоял лев, и глаза у него под широкими светлыми бровями были янтарного цвета, и грива густых, прямостоячих волос над широким, мудрым лбом песочная, припорошенная обильной сединой. И даже крупный прямой нос — все напоминало ей льва. «Будем друзьями!» — сказали Наде его янтарные глаза. Она подала ему руку и смело ответила блеском своих темных глаз: «Я готова, я рада дружить со всеми!» Лев, так мысленно окрестила его Надя, пробыл недолго и ушел куда-то в глубь квартиры. Володю позвали к телефону.

— Посиди минутку, это с работы, я сейчас!

— Вы должны почаще к нам приходить, — сказала Татьяна. И Надя отметила, какое поразительно красивое у нее лицо. «Словно из белого мрамора».

— Что вы еще поете? Я бы хотела к следующему вашему приходу просмотреть эти вещи, чтоб не подводить вас, как сейчас! — сказала она, и лицо ее залилось румянцем.

— Что вы! — поскорее успокоила ее Надя. — Моя концертмейстер, она профессиональный аккомпаниатор, и то часто путается! Особенно Рахманинова.

Серафима Евгеньевна простонала что-то о лекарствах и вышла.

Надя подошла к окну и увидала у своих ног Москву, освещенную бесчисленными огнями. Живую Москву, кишащую, снующую, бегущую.

— А ведь по-своему тоже красиво! Большое живое существо — город, — задумчиво сказала она.

— Вы нам расскажете, где вы поете? — спросила Татьяна.

— Обязательно! В следующий раз! — улыбнулась ей Надя. — Мне домой пора, — сказала она, увидев, что вернулся Володя. — Проводи меня.

— Как? А чай?

— Спасибо! Извинись за меня перед мамой! — и решительно направилась к двери.

Треф лежал, вытянув лапы, поперек коридора.

— Пусти нас! — попросила Надя. Но он и головы не поднял.

Пришлось шагать через лежащую тушу с риском наступить на хвост.

Днем, на солнце, слегка подтаивало, но к вечеру поднялся пронзительно студеный ветер, и асфальт покрылся блестящей коркой льда. В настуженной машине было холодно, и Надя поджала под себя ноги, уткнула нос в воротник и стала похожа на взъерошенную птицу. Отъехав немного от дома, Володя спросил:

— Ты обиделась на моих?

— Нисколько! Их тоже можно понять! Водить в гости девушку со стройки вместо нареченной Маши! Кто не возмутится?

— Ну, по поводу Маши вопрос закрыт, а ты не та…

— Я та! — поспешно перебила его Надя. — Я именно та, и приводить меня в твой дом нужно было бы лет через пять.

— Все будет так, как ты себе замыслила. Ты станешь знаменитой и на таких, как я, низкооплачиваемых трудящихся, будешь смотреть с высоты своего величия. Я это хорошо понял, когда ты пела.

— А что ты еще понял? — спросила она, внезапно повеселев от его слов. То же самое сказал ей однажды Клондайк!

— А еще… — Тут он резко затормозил у светофора, машину понесло юзом и развернуло вбок, по счастью, никого не задев. Надя чуть не ткнулась носом в стекло. Но разговор так сильно занимал ее, что она даже не обратила внимания.

— Гололед! — предупредил он. — Держись!

— Ну, так что еще? — нетерпеливо повторила она, едва Володя выправил машину.

— А еще то, что в твоей жизни я не присутствую. Мне там места нет. Там другой.

— Интересно! — оживилась Надя. — А в качестве кого ты думал присутствовать в моей жизни? Любовника? Возлюбленного?

— Если я что и предполагал, то теперь уверен, он у тебя есть! И это о нем ты так пламенно пела!

— Верно, о нем! — мрачно сказала она. — Пожизненно обречена, как у Апухтина: «до самой могилы помыслы, чувства, и песни, и силы — все о тебе, все, все, все, все — для тебя!»

— И вечерами так поздно возвращаешься от него! — с досадой неожиданно возвысил голос Володя.

— Ах, если бы, если бы! — грустно вздохнув, сказала Надя. — Неужели ты думаешь, я сидела бы здесь, рядом с тобой? Никогда!

— Ну а где же ты бываешь? — снизив голос, но все так же настойчиво допытывался он.

— Послушай! — начиная раздражаться, сказала нетерпеливо Надя. — Я же не спрашиваю, где ты проводишь свои вечера.

— Тебя это не интересует, вот и не спрашиваешь!

— Так же, как и тебя!

— Я могу сказать, секрета нет. Книги приходится читать, не такие занимательные, как «Дети капитана Гранта» или «Маугли», но тоже нужные. Когда есть время, иногда с отцом в шахматы режусь или с приятелем на корт бегаю в теннис играть. А ты?

— Я тоже заниматься хожу, повышаю квалификацию!

— Ты поешь? Конечно, ты поешь! Я же видел у тебя ноты и не догадался! Вот дурак я, непревзойденный! — сказал Володя, хлопнув себя по лбу, и тотчас затормозил, едва не проехав Надин подъезд.

— Унижение паче гордости! — сказала она, вспомнив свой визит к Клондайку.

— Впрочем, я всегда чувствовал в тебе двойное дно, с первого взгляда. «Таинственная незнакомка», понять не мог.

Лампочка над подъездом не горела, кто-то ухитрился вывернуть вместе с плафоном.

— Вот обормоты! — ругнулась Надя.

— Ты спешишь? Устала? — спросил Володя, задерживая ее холодную руку в своей.

— Вставать рано, на работу завтра!

— Ну и что же! Успеешь, выспишься. — Он зажег в машине свет и посмотрел на часы. — Вот видишь, время детское, восьми нет.

— Поедем, только ненадолго, — согласилась она.

— А, может, на дачу махнем? Чай погоняем, как?

— Нет, нет, ни в коем случае! Как можно? Без хозяйки, теперь, когда мы знакомы? — Но это была лишь отговорка и не очень убедительная. Перспектива остаться наедине с ним за городом на даче совсем не прельщала ее. За себя она не боялась, но зачем лезть на рожон, рискуя потерять хорошего друга- И еще. Она чувствовала, что он занимает слишком много места в ее мыслях, волнует воображение своей отдаленной схожестью с

Клондайком, а этого надо избегать. Она не торопила события, впереди другие задумки. Правда, очень скоро ей пришлось убедиться, что схожесть эта была только внешней.

— Прокатимся по Можайке? Я включу радио, послушаем последние известия, если ты, конечно, не будешь плакать!

— Попробую! — невольно усмехнувшись, сказала Надя.

Памятный по военному времени, редкий по красоте голос Левитана оповещал страну, что товарищи Ворошилов, Маленков, Булганин, Хрущев, и еще какие-то товарищи, с неизвестными ей именами предпринимали титанические усилия, трудились в поте лица своего на благо отечества.

— Одна моя знакомая называла таких товарищей «Общество друзей взаимного восхищения, восхваления и превозношения!» — вспомнив Маевскую, сказала Надя. — Как трогательно! Поневоле заплачешь, так стараются, а благодарности никакой! Но реплика ее осталась без ответа. Володя молча пропустил мимо ушей.

«Научился помалкивать! Приспособился! — с неприязнью подумала о нем Надя. — Впрочем, он и сам из этого общества!»

За городом дорога была совсем как каток. Володя медленно развернул машину и встал к обочине. Потом выключил радио и заглушил мотор.

— Теперь ты мне скажи, почему ты такая злая? Кто тебя обидел?

— Злая? А ты добренький? Знаешь, как твоя доброта называется? Беспринципность!

— Зачем ты так? Я же чувствую, что кто-то тебя сильно обидел.

— Это сделать нелегко! — недобро усмехнулась Надя.

— И, тем не менее, кто-то обидел, и сильно, ты плакала. Почему? Помнишь, когда я, как лихой татарин, умыкнул тебя у Вадима?

Надя молчала, не зная, что сказать.

— Говори быстрее, машина остынет, и ты замерзнешь.

Можно было наврать, сочинить с ходу какую-нибудь душеспасительную историю, но не хотелось ни врать, ни выкручиваться.

— Я уже забыла, поедем! — попросила она.

— Я напомню! Ты сказала, что эта панихида по несостоявшейся любви. Так?

— Да, — едва слышно сказала Надя.

— Ты любила, а тебя обманули в твоих ожиданиях! Тебя предали, и ты ополчилась на весь мир! Так?

— Нет, все не так, не гадай! Не лезь в мою жизнь, не копайся в моем прошлом и не порть мне настроения!

— Но хоть спросить-то я могу? Ты любила его?

— Больше жизни, больше всего на свете! Не понимаю только, зачем тебе?

— Могу же я в конце концов ревновать тебя?

— Только к собственной тени.

— А если он опять появится в твоей жизни? Где он теперь?

— В Ленинграде, на кладбище, а я даже не знаю, на каком…

В машине темно и не видно, что у Нади опять задрожали губы, но выдал ее голос, предательски дрогнув. Володя быстро включил свет.

— Это правда? Ну, скажи!

— Полжизни я отдала бы, не раздумывая, чтоб это была неправда, — прошептала она. Потом неизвестно, как случилось, что он привлек ее к себе и поцеловал, и она совсем не сопротивлялась, а думала, что губы у него такие же нежные, теплые и жадные, какие, она помнила, были у Клондайка. Но, вспомнив, тотчас отстранилась.

— Едем, поздно уже.

Подъехав к ее слепому подъезду, он сказал:

— Знаешь, а я бы съел чего-нибудь! — Но, сообразив, что его не пригласят, сам предложил: — Поедем поужинаем где-нибудь? Так есть охота! Между прочим, я обратил внимание, ты тоже ничего не ела за столом!

— Я терпеть не могу рыбу, — созналась она.

Ресторан, в который они попали, назывался «Гранд Отель». На втором этаже, где он размещался, было тихо и очень торжественно. Нарядный зал с ослепительно белыми скатертями блестел хрусталем люстр и бокалов, мягким, ненавязчивым светом высоких торшеров и настенных бра. Толстые ковры совершенно заглушали звуки шагов, и только у небольшой эстрады был паркетный пол, видимо, предназначенный для танцующих пар. В огромные окна с цельными стеклами сквозь прозрачные занавеси можно было видеть алые звезды и кремлевские часы на Спасской башне.

Здесь ничто не напоминало о том, что всего лишь за стеной течет простая, серая, будничная жизнь с переполненными трамваями, автобусами и троллейбусами. В коммуналках живут и работают те, кто и понятия не имеет об этом роскошном заведении. Два мира под одним небом существовали, не зная друг о друге. Надя привыкла обходиться без поздних трапез, но, увидав, с каким аппетитом уписывал Володя кусок мяса, тоже взялась за вилку с ножом.

— Дурные примеры заразительны!

— Давай выпьем шампанского! Отметим твой блистательный

выход в мою семью!

— Для тебя это важно? — удивленно спросила она.

— Чрезвычайно! Ты не представляешь себе, как важно!

— Ты же за рулем!

— Самую малость! Чисто символически!

Надя никогда не пила шампанское. Холодное и шипучее, оно показалось ей совсем не хмельным. «Совсем как ситро». Она выпила целый бокал и почувствовала, что освободилась от своих тягостных мыслей и воспоминаний. Ей стало легко и бездумно. Блеск ресторанных огней отражался в ее глазах, играл на зубах ее улыбки. И даже то, как смотрел на нее Володя, не смутило ее, хотя она уже знала: когда бледнеет лицо и темнеют светлые глаза, в них загорается «угрюмый, тусклый огнь желанья». Что такое _желанье, она тоже знала — это сладостный жар, от которого мутится разум и слабеют колени. Его надо сдерживать в себе, не расплескивая через край. За ее спиной оркестр заиграл танго из кинофильма «Петер». К их столу подошел высокий молодой человек с холеным лицом и томными глазами.

— Разрешите пригласить вашу даму? — осведомился он у Володи.

— Я не возражаю! — ответил, улыбаясь, он, но Надя угадала, он, пожалуй, возражал бы, однако, зная, что танцевать она не умела, хотел насладиться ее замешательством, слегка сбить с нее спесь. Он не знал, да и откуда мог знать, что танго — настоящему, аргентинскому танго — она обучалась у зечки Наташи Лавровской из Ленинградской труппы артиста Дудко, попавшей во время войны в немецкий плен вместе со знаменитым в свое время певцом Печковским, а затем без пересадки перекочевавшей в се верные лагеря ГУЛАГа.

Молодой человек с томными глазами крепко взял ее за локоть полусогнутой руки и повел к эстраде, где на небольшом пятачке переминались с ноги на ногу пары.

— Вы танцуете танго? — спросил он Надю.

— Конечно! — и улыбнулась ему Не потому, что ей хотелось улыбаться этому томно-женственному юноше, а просто поддразнить Володю.

Партнер уверенно развернул ее лицом к себе и, выждав научало такта, большими шагами повел по паркету. Наташа обучала ее не зря, не пропали даром уроки на лагерной сцене клуба лагпункта «Кирпзавод № 2». Танцующие посторонились, сошли с пятачка и смотрели, как танцевал известный всей Москве эстрадный танцовщик с бывшей речлаговкой. Публика недружно поплескала в ладоши, выражая одобрение.

Высокий молодой человек представился:

— Я Владимир Левицкий, а вы? Следующий танец?

Дальше пришлось отказаться. Кроме вальса, она ничего не умела, если не считать «Польку-бабочку» и «Краковяк» из репертуара школьной самодеятельности.

— Благодарю вас! — сказал Левицкий, — Надеюсь встретиться! — И откланялся изящным жестом уверенного в себе артиста.

— Обязательно! В следующий раз! — И улыбнулась ему самой своей очаровательной улыбкой, еще раз.

— Ну, уж дудки! Больше я с тобой в густонаселенные места не ходок, позеленеешь от досады… — шутя возмутился Володя, подавая ей стул. — Почему ты сказала мне, что не умеешь танцевать?

— Я сказала, что не умею танцевать плясок племени Мумбо-Юмбо, да еще с тряской бедер! — ответила Надя и залпом выпила полный бокал, но тут же обратила внимание, что бутылка пуста, а Володя к своему бокалу даже не притронулся.

«Нехорошо! Что он подумает? Но ему нельзя, он машину ведет», — успокоила она себя.

Счет им подали на маленьком серебряном подносе, и, заглянув в него мимолетно, у нее в глазах трехзначные цифры запрыгали, как черные блошки. «Ничего себе!» Она поднялась со стула, но ее тут же качнуло в сторону. Она пошатнулась и вынуждена была ухватиться за Володин рукав. Лестница показалась ей невероятно длинной, а каблуки немыслимо высокими. В машине, пока Володя усаживал ее на сиденье, она негромко запела:

«Все равно нам с тобой по пути.
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати».

А дальше она смутно помнила, что происходило. Запомнилось ей, что, когда они долго ехали, голова ее очень неловко моталась из стороны в сторону, пока не наткнулась на Володино плечо. Еще ей запомнилось, что над ней склонился кто-то и ей показалось, что Клондайк. Она нисколько не удивилась, а восприняла как должное и шлепнулась в кресло, потому что ноги ее не держали.

— Я заварю крепкий чай, тебе сразу станет легче, — сказал он и снял с нее пальто. Она снова шлепнулась в кресло, засмеялась над своей беспомощностью и протянула ему руку, пытаясь встать. Он притянул ее к себе, обнял и поцеловал прямо в губы. Надя лениво прикрыв ресницами глаза, улыбнулась ему и

ответила на его поцелуй. Но дальше, когда он порывисто расстегнул ее платье и стал целовать ее шею и грудь, она сказала:

— Саша, табу! — Но заветное слово действия не возымело, а как раз наоборот. Он еще настойчивее и смелее потянул с нее платье.

— Табу! — строго прикрикнула она еще раз, но он зажал ей рот своими губами, и Надя поняла по дерзости его упорных рук, что это не Клондайк. А когда к ее ногам упало платье, она вскрикнула и забилась в страхе.

— Нет, не смей! Пусти сейчас же!

Это был совсем не Клондайк, которому можно было сказать: «Табу» — и он отпускал ее, стараясь пересилить не ее, а себя. Это был ошалевший от желанья, сильный, наглый пол, уверенный в своей безнаказанности. «Все для нас, все нам, мы желаем!» И когда она, пытаясь образумить его, гневно крикнула: «Пусти сейчас же!» — он не только не отпустил ее, а, нашептывая ей бессмысленные и дерзкие слова, старался увлечь ее к тахте, покрывая поцелуями ее шею, губы и грудь.

— Поганец! — прошипела она ему в лицо, в ярости стараясь вырваться из его цепких и сильных рук, бес шепнул: «Врежь ему по-блатняцки, раз интеллигентно не понимает!» И в тот же миг она со всей силой отшвырнула его от себя так, что он отлетел, сшибая на ходу стулья.

Ничего подобного от такой хрупкой и женственно-слабой на вид он не мог ожидать. Если б он только знал, что уже пять лет она была занята тяжелым физическим трудом и руки ее стали не по-женски сильными.

— Опомнись, погань, скотина! Стыдно тебе будет! Ты меня с Машей перепутал! — ожесточенно крикнула она, пока он поднимался с пола с перекошенным не то от гнева, не то от боли лицом.

Надя схватила свое платье и выбежала за дверь в другую комнату.

Он не последовал за ней, и она быстро оделась и пошла за туфлями, которые почему-то оказались около кресла. В комнате его уже не было. Постояв минуту, она прошла дальше и узнала его дачу.

— Подлец! Сволочь! — ругалась она вслух.

В прихожей она нашла свое пальто и вышла наружу. От холодного, свежего воздуха остатки хмеля слетели с нее. Ноги ее скользили и разъезжались на высоких каблуках в разные стороны по обледенелой дорожке. Кое-как она нашла калитку и вышла на улицу. Где-то совсем близко загудела, подходя к станции, электричка. Денег у нее не было и сумки с ключами от квартиры

тоже. Где оставила, не помнила — или в ресторане на спинке стула, или в машине. Пройдя немного, она услышала за своей спиной звук мотора, и тотчас фары машины осветили улицу. Поравнявшись с ней, Володя остановил машину и вылез.

— Подожди, Надя! — приказал он.

В ответ она разразилась бурной бранью:

— Подлец! Мразь! Не смей со мной разговаривать!

— Ты не можешь идти в туфлях по снегу! Схватишь воспаление легких, — сурово сказал он.

— Не твое дело, паскудник!

— Не упрямься, простудишься, голос потеряешь! — продолжал он идти рядом с ней.

«Голос потеряю! Мой голос! Не смогу петь!» — в полном отчаянии подумала она и, закусив до крови губу, подчиняясь рассудку, влезла в машину. На сиденье, к великой радости, лежала ее сумка. Было скользко, машина ползла очень медленно, и, только выехав на основное шоссе, Володя заговорил:

— Я не знаю, какие у тебя были отношения с твоим прежним любовником…

— Заткнись, дрянь ты! У меня не было любовников и никогда не будет! — в бессильной ярости закричала она. — У меня был любимый, возлюбленный! — тут выдержки ей больше не хватило, и она разрыдалась, размазывая по лицу черную тушь с ресниц, от обиды и досады, что так сильно ошиблась, доверив себя.

— Я попрошу тебя выбирать выраженья! — угрюмо процедил сквозь зубы Володя. — Я тоже не железный и был на пределе! Объяснимся после.

— Мерзавец, фашист! Он на пределе! Бериевское охвостье! — крикнула она, вылезая из машины, и бросилась в свой подъезд.

Дома она повалилась ничком на кровать, едва скинув платье, и только тогда осознала всю непристойность своего поведения. «Что я наделала? — замерла она от отчаяния. — Как могла так надраться, как девка гулящая без стыда, без совести? Еще других осуждала, да я хуже всякой твари подзаборной. Напилась до бесчувствия. Целовалась! Дралась, как блатнячка! А что было делать, если слов не понимал? Дубина я стоеросовая! Возомнила себе, что этот кобель может быть для меня чем-то больше, чем простой кобель!» Остаток ночи она провертелась волчком, задремав лишь к рассвету. Проспала и опоздала на работу.

— Ну и видок у тебя! Ну и причесон! В какой канаве ночевать угораздило? — спросила бригадир Аня, неодобрительно оглядев ее растрепанную голову и плохо отмытые от черной туши покрасневшие глаза. — Ты чего это? Иль переспала с кем?

Надя недовольно мотнула головой:

— Нет!

— Смотри! Будь осторожна, тут сифилюга и трепак у многих!

— Да нет же! — закричала со страху Надя. — Еще чего не хватало!

Ни слова не говоря, она набросилась на ящик с плитками и к обеденному перерыву закончила свою норму. Обедать с девчатами в столовую не пошла, а после перерыва стала помогать другим.

— Ты что? Рехнулась, что ли, иль тебе нормы мало? Хочешь, чтоб добавили? Добавят! — возмущенно зашумели девушки.

— Делать ей дома нечего, выдрыхнется, как корова, вот и бесится на работе!

Надя в сердцах швырнула об пол тряпку, которой затирала плитку, сняла перчатки и пошла переодеваться. «Пойду домой! Ставить чайник и дочитывать «Шагреневую кожу»».

— Погоди! — остановила ее на лестнице Аня. — Дело есть к тебе!

Аня тоже была в злобном настроении. «Старая сука», жена Степана Матвеевича, никак не соглашалась на развод, угрожая парткомом, райкомом и прочими подобными организациями, способными раздавить человеческую личность, превратив в живой безгласный труп.

— Ты не хочешь в отпуск пойти? — спросила она.

— В отпуск, сейчас?

— Да, с десятого, с завтрашнего дня! Учти! Летом тебя не отпустят. Начнутся новостройки по Большой Калужской, по Профсоюзной, на новые объекты я всех не возьму. Как? Путевку достанем… хочешь в Кисловодск или под Москву, на двадцать четыре дня?

— Поеду! — обрадовалась Надя.

— Ключ от квартиры мне оставишь? — застеснявшись, спросила Аня. — Квартплату и свет оплачу.

— Конечно, какой разговор!

— Тогда быстро валяй в контору! Пиши заявление.

Вечером она позвонила Елизавете Алексеевне, ожидая, что придется кое-что наврать о горящей путевке, но Елизавета Алексеевна живо откликнулась:

— Обязательно, вы так трудно работаете! Далеко ли собираетесь?

— К тете в Калугу. Она у меня одна, пожилая уже.

— В Калугу! Как я вам завидую, прелестный город. Увидите на другой стороне Оки церковь с колокольней — это село Ромоданово, родина моя.

Рита слегка огорчилась:

— Ой! Тут Шотик мне все уши прожужжал про тебя. Договорился в театре тебе прослушивание устроить!

— Прослушивание в следующий раз! Передай ему пламенный привет! — сказала польщенная Надя.

Завернув за угол своего дома, она увидела у подъезда Володину машину и немедля повернула обратно. Постояв за углом и изрядно продрогнув, она решила пойти в общагу, но на всякий случай выглянула еще раз. Машины не было. Быстро проскочила к себе и, открывая ключом дверь, увидела записку: «Надя! Если я тебе не безразличен, нам необходимо объясниться; Заеду позже; В.».

Не включая свет, она прошла на кухню, а записку воткнула обратное дверь и легла спать.

Утром, оформив отпуск и не ожидая отпускных, она поручила их получить (если сможет) Ане, отдала ей запасной ключ от квартиры.

— Если кто будет меня спрашивать, говори, что больше здесь не живу! Поняла? — многозначительно наказала Надя.

— Поняла! Все поняла! — со вздохом ответила Аня.

В тот же день она достала с антресолей чуть тронутые молью пимы, поцеловала их и, накупив всяких продуктов и большой торт, уехала двухчасовым поездом в Калугу.

Тетя Варя не ждала ее и страшно обрадовалась. Здесь, в этом стареньком, о четырех окошках, бревенчатом домике, Наде все напоминало ее дом в Малаховке. И скрипучий, облезлый бархатный диван, и жарко натопленная, к утру остывающая, изразцовая печь, и старые на стенах фотографии с мушиными следами, и даже репродукции известных картин «Март» и «Большая вода». Все это было ее полузабытое детство. Среди Алешкиных книг, какие смогла увезти с собой из Малаховки тетя Варя, в старинном, изъеденном червоточиной шкафу Надя обнаружила маленькую красную книжечку Киплинга из серии «Золотая библиотека». Опять перечитала «Рики-Тики-Тави» и «Маугли». И загрустила, вспомнив Клондайка. «Там», в лагере, все было просто: были враги и были друзья. Здесь, на воле, не было ни друзей настоящих, ни открытых врагов. Только что она чуть запустила в свою израненную душу, думалось ей, друга, как он сразу залез грязным сапогом.

Ей очень полюбился этот милый город. С его церквами и старинными особнячками, каким-то чудом не разрушенными революционной стихией, и безликими новостройками. Иногда с тетей Варей они ходили на крутой берег Оки, откуда далеко окрест, вдоль берегов, синели лесные массивы и виднелись колокольни церквей. Ромоданово, родное село Елизаветы

Алексеевны, стояло напротив, через Оку, и Надя старалась угадать, в каком из покосившихся домишек могла родиться ее Елизавета Алексеевна. С удовольствием бегала в своих пимах за водой на обледенелую колонку, за хлебом и на рынок, не жалея денег. Молоко приносила молочница прямо на дом.

За три недели она очень хорошо отдохнула, посвежела, а самое главное, отоспалась после прогулок на свежем воздухе. Обиды не казались ей теперь такими жгучими и оскорбительными. Поразмыслив в одиночестве, на досуге, она пришла к выводу, что с сильным полом надо держать «ухо востро», не допуская никаких вольностей.

Дома Аня встретила ее радостным известием. В конце марта сдают новый дом, где для строителей выделены две квартиры. Одна из них обещана ей. Наде очень хотелось услышать, приходил ли кто к ней в ее отсутствие, но Аня, как нарочно, говорила о своих делах, о разводе, который наконец должен состояться на этой неделе…

— Писем мне не было? — спросила Надя, отлично зная, что писать ей некому.

— Нет, писем не было, жди, когда напишут. Приходил тут после твоего отъезда раза два один в пыжиковой шапке и меховой куртке, я сказала, что ты здесь больше не живешь.

— А он?

— Не знаю! Зашагал отсюда. Ты же сама велела так сказать!

Во вторник Надя уже была на уроке у Елизаветы Алексеевны и подарила ей целый набор открыток современной Калуги. Свежим, отдохнувшим голосом она опять пела свои вокализы и гаммы.

— Тебе на пользу! — милостиво похвалила Елизавета Алексеевна. — Как тебе понравилась Калуга?

— Влюблена! — искренне, с восхищением сказала Надя.

— Следующий раз возьмешь меня с собой. Я из Калуги уехала во время революции и с тех пор ни разу не удосужилась побывать.

Она с интересом просмотрела открытки, называя знакомые ей места. На одной из них был Калужский Дом пионеров.

— А вот этот — Дворянское собрание, — указала она на открытку. — Я там пела несколько раз на благотворительных вечерах, — мечтательно сказала она, потом лицо ее снова стало суровым и строгим. — Ступай сейчас в наш нотный и купи, пожалуйста, себе две новые вещи, пора переходить к небольшим ариям.

Надя застыла, как сеттер на стойке, почуяв дичь.

— Моцарта, обе арии Керубино, и еще что-нибудь посмотри в среднем регистре для меццо.

Надя взвизгнула от радости и захлопала в ладоши:

— А Марфу можно?

— Мусоргского? Нет, еще рано, этому еще поучиться надо. Посмотри Шуберта «Баркаролу». Ты немного тяжеловато поешь, мало подвижна, как муха в кислом молоке. — Она на миг задумалась. — Да, вот еще что! Вспомнила! Рита мне сказала, Георгадзе хочет тебя Кемарской, в театр Станиславского и Немировича-Данченко показать, как ты?

— А вы мне как посоветуете?

— Но ты же все равно по-своему поступишь?

— Нет! — горячо воскликнула Надя. — Слово даю, как скажете, так и сделаю!

Суровое и замкнутое лицо Елизаветы Алексеевны озарилось доброй, милой улыбкой:

— Мой совет, иди учись в консерваторию. У тебя еще вся жизнь впереди. А я позабочусь, чтоб ты попала к хорошему педагогу.

Не чуя ног от радости, отправилась Надя в свой любимый нотный магазин на улицу Герцена. Продавщица, на этот раз не прежняя, пожилая, а молоденькая девушка, услужливо достала ей с полки целую кипу нот. Арии из опер, романсы русских и зарубежных композиторов, недозволенная ей цыганщина. Баркаролу отыскала тут же, и одну арию Керубино, другой не было. Она уплатила в кассу, взяла свернутые в трубочку ноты и направилась к двери. Тяжелая дверь с толстым стеклом отворилась — и навстречу ей вошла Татьяна в сопровождении Серафимы Евгеньевны. Нельзя было не поздороваться, столкнувшись с ними нос к носу. Да и настроение было радужное.

— Здравствуйте! — приветливо улыбаясь, поздоровалась с ними Надя.

Прелестное лицо Татьяны в белой пуховой шапочке просияло:

— Надя? Здравствуйте!

— Здравствуйте, Надя! — просто, без обычного кудахтанья, ответила Володина мать.

— Куда же вы пропали? Сверкнули, как комета, и исчезли? — дружелюбно спросила ее Татьяна.

— Я была в отпуске!

— А Володя сказал мне, что потерял вас!

— Да, он меня потерял! — не глядя ей в глаза, ответила Надя. Умная и чуткая Татьяна сразу поняла ее.

— Что вы купили? — поинтересовалась она. Надя развернула покупку.

— Ах, прелесть! Баркарола, это прелесть! Будете петь?

— Да!

— Где?

— Готовлюсь в консерваторию.

Серафима Евгеньевна сделала удивленное лицо:

— Я была уверена, что вы ее уже закончили!

— Нет еще, все впереди! — сказала с улыбкой Надя.

— Передать привет Володе от вас? — спросила Татьяна.

— Спасибо, не нужно! — смущенно ответила Надя и поспешила распрощаться.

У тротуара стояла большая черная машина. Надя с неприязнью отвернулась и пошла вниз по улице Герцена. Встреча с Володиной семьей неожиданно взволновала ее. Она уже успокоилась и, пересмотрев все события того вечера, равно осудила и его и себя, хотя никогда не призналась бы, даже себе, что где-то в тайниках своей души скучала о нем и о том, что он вносил в ее жизнь: театр, музыку, оживление…

Торопливо прибавив шаг, она спешила в магазин. В ее квартире все запасы оказались уничтожены, а в кухне у плиты, выразительно стояла армия пустых бутылок. «Все сметено могучим ураганом!» — пропела она и в тот же вечер вернулась домой, как настоящая советская женщина: волоча полную «авоську».

Из Калуги Надя привезла с собой большую связку книг. Алешкины и кое-что подаренное тетей Варей: подшивка журнала «Нива» за 1914 год и приложение к нему с описанием убийства какого-то Столыпина каким-то Мордухаем Богровым, царская семья в сборе и по отдельности, царевны с простенькими, милыми лицами в одежде сестер милосердия, светлоглазый мальчуган, красавица царица, высокая, с тонкой талией, в огромной шляпе, и сам царь, каким его видела Надя на портрете у Дины Васильевны. «Очень несчастливый», — сказала она тогда Наде. Теперь, зная их злополучную участь, Надя не могла равнодушно, без гнева и возмущения читать и думать о них.

— Береги! Не потеряй! Редкая подшивка, больше такой не будет, — предупредила ее тетя Варя.

Вечером, когда окно комнаты осветилось фарами машины, она догадалась: Татьяна или Серафима Евгеньевна сказали, что видели ее. — «Нечего здесь делать, опять начнется все сначала», — решила Надя, набросила пальто и вышла на улицу. Очевидно, ему было известно, что она была в отпуске, потому что он даже не спросил ее ни о чем.

— Наглец! — прошептала она, когда Володя весело и как ни в чем не бывало спросил:

— Здравствуй! Зачем же ты убежала от меня?

— Зачем ты пришел? — Надя смотрела мимо него, через

дорогу, где в доме напротив зажигались и гасли в окнах огни, и молча решала вопрос, что ей делать. Повернуться ли и уйти, навсегда захлопнув перед ним дверь, или дать ему возможность объяснить свой дикий поступок, извиниться.

— Ты не пригласишь меня к себе? Нет?

— Нет, самоуверенный наглец! — угрюмо процедила она.

— Я так и думал! Сердишься? Шипишь?

— Нет, безразлично!

— А вот в это я не верю! Этого быть не может! Одевайся, поедем куда-нибудь. Надо же нам выяснить отношения.

— Не надо, и так все ясно.

— Не упрямься! Поедем в наш любимый «Гранд Отель», ты потанцуешь со знаменитостью, а я полюбуюсь на тебя из уголка.

— Оставь меня в покое! — хмуро повторила Надя и, чувствуя, что ноги ее окончательно застыли, повернулась и пошла в подъезд.

— Нет, постой, так нельзя! — Володя обнял ее за плечи — Это не по-людски. Даже самым большим преступникам дают последнее слово!

Надя очень легко могла скинуть его руки со своих плеч, но почему-то не стала этого делать, а сказала сердито:

— Пусти, я замерзла! — и тут же вспомнила: у нее на плите стоит чайник, который она поставила, как только пришла. Пришлось бежать на кухню, где уже почернел без единой капли воды новый алюминиевый чайник. Но выдержал, не распаялся и, шипящий, парующий, был вновь налит водой и поставлен на газ.

«Положение трагикомическое», — подумала Надя, увидев, что он успел раздеться и уже смотрит приложение к «Ниве».

— Это ты так шипела и выпускала пар?

— Никто тебя не приглашал!

— И правильно, и не надо! Я бы тоже так на твоем месте!

— Тебе не совестно? Не стыдно смотреть мне в глаза?

— Стыдно! — Он пригнулся к столу и закрыл глаза ладонями. — Я и не смотрю! Когда вспоминаю, как летел кувырком вместе со стульями в обнимку и шишку на затылке набил, до сих пор бледнею от стыда!

— Пошло и цинично! — заметила Надя, едва сдерживая смех.

— Но чайком-то угостишь? — спросил Володя, заглядывая ей в глаза.

Надя вышла на кухню и прислонилась головой к дверному косяку: «Господи! Вразуми меня, что мне делать? Прогнать или помириться с ним?»

В кухонном шкафу она обнаружила чудом уцелевшие полпачки чая и, заварив по обыкновению очень крепко, разлила

по чашкам, нарезала большими кусками сыр и колбасу и устроилась пить чай, не обращая на него внимания. Володя тоже нашел что-то интересное для себя в «Ниве» и читал молча.

«Он, пожалуй, так всю ночь просидит!»

— Зачем ты пришел? — не выдержав, спросила Надя. — Дома читать нечего?

Он отложил в сторону журнал и долго, с любопытством, смотрел на нее.

— Хороший у тебя аппетит!

— Какое тебе дело? Я спрашиваю, зачем ты пришел?

— Вообще, я пришел извиниться за скотское поведение. Даже не понимаю, что на меня нашло-накатило, — искренне признался он. — Но, честно говоря, и тебе посоветовать: пока ты одна и заступиться за тебя некому, никогда не пей! Ты пить не можешь! Не умеешь и не знаешь себя, своего допустимого уровня.

Надя покраснела до корней волос. Однажды, то же самое ей сказала Валя.

— Но ты-то был трезвым! Я верила тебе, как другу, понадеялась!

— И напрасно, на это не надейся! И запомни, для твоего же блага! Мужчины не собачки, им нельзя приказать ни «Табу», ни «Тубо», доведя их до белого каления.

— Это зависит от того, чего в них больше, от человека или от скотины!

— В какой-то известный момент человек может вернуться в первобытное состояние, это допустимо.

— Да, особенно если недалеко ушел от этого, что ты и доказал. Типично бериевский прием — обвинить невинного!

В ответ Володя рассмеялся заразительно и весело.

— Ну, прости меня, кобра, я скот! Есть в твоем змеином сердце прощение влюбленному? Повинную голову и меч не сечет!

— Не влюбленному, а похотливому козлу!

— Это почти одно и то же!

— Нет! Говори только о себе! — живо возразила ему Надя, чувствуя, что теряет весь свой запал. — У меня нет дедушки, как у Маши, и заступиться за меня некому, верно! А ты из того клана, который оправдает тебя в любом случае. Мне приходится защищаться самой. Так что уж извини, что мало, следующий раз я пришибу тебя до смерти или оставлю калекой на всю оставшуюся жизнь.

— Сама плакать будешь! — сказал Володя, нисколько не обижаясь на нее.

— Возможно, поплачу, глаза у меня на мокром месте.

Внезапно он перестал смеяться и решительно произнес:

— Теперь посиди, пожалуйста, без эмоциональных порывов и выслушай меня спокойно. Да подожди хлебать чай! Успеешь! Момент ответственный, не упусти своего счастья!

— Наглец! — возмутилась Надя. — Говори быстро, потому что я тебя скоро выпровожу за дверь!

— Успеешь! Дай мне свою руку и не дергайся. Сегодня я умиротворенный и не нападаю на безоружных. — Он посмотрел ей прямо в глаза, слегка наклонив голову, чуть насмешливо и весело. Потом нежно и ласково поднес ее руку к губам. — Выходи за меня замуж! Я — честное слово, неплохой парень, и я люблю тебя! Это уже точно, проверено, установлено и не требует дополнительного доказательства.

Надя смолчала, но все в ней кипело злорадным ликованием: «Вот как надо с вашим братом, уверена, когда бы добился своего, на том и вся любовь иссякла».

— Понимаешь? Ты мне нужна, я не могу без тебя, ты мешаешь мне думать. У меня защита в начале марта, а я, как помешанный, все думаю о тебе, и тебе я тоже нужен. Одной жить нельзя. Это неестественно. Ну, как?

Надя резко отняла руку:

— Ах, Трилли хочет собачку! — с язвительной усмешкой сказала она. — Не так, так эдак!

— Каково! Умница-разумница. Ты правильно поняла! Да, хочет! Ужасно хочет, только не собачку, а ядовитую кобру Нагайну! И жить без нее не может, вот беда!

— А ты уверен, что кобра без тебя не проживет?

— Уверен, теперь уверен! Ты сама меня убедила!

— Какая неслыханная наглость! — возмущенно воскликнула Надя. — Я просто онемела!

— Да! Именно так ловят кобр: придавят рогатиной к земле и быстро в мешок, чтобы укусить не успела!

— Какое необычное признание в любви!

— Не правда ли? Оригинально!

Но Надя не засмеялась. «Как мне признался Клондайк? «Кажется, со мной приключилась беда, я влюбился!» Да, верно, это была беда для нас обоих. Но нет! — усилием воли она прогнала горестное воспоминание. — Не надо, не надо вспоминать!»

— Ну, говори же, я слушаю тебя!

— У кобры с козлом биологическая несовместимость!

— Ну, этого ты знать не можешь, это мы выясним позже. Надя продолжала молчать, рука ее, независимо от желания, машинально выписывала замысловатые иероглифы обгорелой спичкой на скатерти стола. «Я бы могла его полюбить, если б не

помнила, не знала бы, не сравнивала, если б забыла о том, что бывает совсем по-другому. И, может быть, не теперь, а позже», — говорила она мысленно себе.

— Не отворачивайся, смотри сюда!

Надя повернулась к нему лицом. Улыбка у него была нежная и очень теплая.

— Оказывается, у тебя только язык змеиный, а глаза… — он на секунду задумался, подыскивая выражение.

— У меня не глаза, а очи! — быстро перебила его Надя. — Разницу знаешь между глазами и очами?

Володя замер. Лицо его стало растерянным и удивленным. Он откинулся на спинку стула:

— Кто же тебе сказал это? Он? Твой, как ты говоришь, возлюбленный, был поэт? Я угадал?

— Нет!

— Какая досада! И все мимо! Я совсем не умею уговаривать женщин! Даже не приходилось никогда их уговаривать, наоборот!

— Жлоб! Каков жлоб! — сокрушенно всплеснула руками Надя.

— Наш ответ вашим «очам», — снова весело рассмеялся Володя, довольный, что наконец «достал» ее.

Но потом милое его лицо опять стало серьезным.

— Послушай, Надя! В любви не бывает равенства. Один любит, другой позволяет себя любить.

— Что ты знаешь? Еще как бывает! — возразила с сожалением она. — Да и что ты вообще знаешь о любви? Слышал, что бывает любовь!

— Я понимаю, — продолжил он, никак не отвечая ей. — В нашем союзе, если он состоится, в чем я совершенно уверен, здесь, я бью без промаха, в десятку.

— Ой, какое жлобство! — простонала Надя. — Ну и жлоб!

— Да, таков ответ вашим прекрасным очам, так в нашем: альянсе люблю я, а ты позволишь себя любить. Но это меня нисколько не угнетает, потому что еще вопрос, кто счастливей, любящий или любимый. Вот я гляжу на тебя, шипящую кобру, и думаю: как мне, наконец, подфартило! Счастье приходит к тому, кто умеет его терпеливо ждать! Я влюбился и счастлив наделать глупостей, докатиться до такого, что предложил себя в мужья!

Его внезапная откровенная сердечность и теплота смутили Надю совсем и задели за живое. «Который же он настоящий? Смешливый шутник, полумальчишка-полумужчина, или сейчас, искренний, способный на большие чувства друг?» — старалась угадать она, пока он горячо говорил ей что-то о себе. Внезапно ее осенило: «Так это же эгоизм, возведенный в высшую степень!» —

и от ее минутной слабости не осталось следа.

— Трилли хочет собачку! И ему неважно, будет ли собачка любить и желать нового хозяина, так?

— Нет! — серьезно сказал он. — Просто я уверен, что кобра несколько диковата, но я смогу приручить ее.

— Знаешь что? А кобра еще подумает!

— И долго?

— А ты вообразил себе, что тебе прыгнут на шею от счастья?

— Приблизительно так! Я ошибся?

— Сильно! Я вообще не могу выходить замуж раньше мая.

— Что ты хочешь сказать? Я должен ждать два месяца?

— Совсем не обязательно. Это я должна ждать! У меня зарок, и я его не нарушу ни при каких обстоятельствах!

— Что?

— Да, зарок! Обет! И кончается он в мае.

— С ума свихнуться можно! Фантастика времен моей бабушки в стиле Герберта Уэллса! — теряя терпенье, раздраженно воскликнул Володя. — Плод твоей бурной фантазии! Обет!

— Фантазии? — вскричала, оскорбленная до глубины души, Надя. И, злобно сверкая глазами, глухо прошипела ему в лицо — Шел бы ты куда подальше, балованный мальчик престижных родителей!

— Я уйду! — сказал он, поднимаясь со стула. — Ты раздражена, как истинная кобра, и можешь укусить больно! Этого допустить нельзя! Яд кобры смертелен! А мы этого не желаем, ни ты, ни я! — И улыбнулся своей насмешливой улыбкой.

Надя угрюмо глядела, как он надевал свою куртку.

— Всего хорошего тебе! — сказал он и тихо затворил за собой дверь

Она еще долго не могла успокоиться после его ухода.

«Фантазия! Самодовольный хлыщ! Повезло тебе у мамочки под юбкой просидеть до двадцати семи годков, горюшка не зная. И папочке твоему повезло не попасть в мясорубку 37-го года, а то бы ты узнал фантазии не Герберта Уэллса, а Иосифа Сталина. Фантазия! А куда девать этапы и мамку с окровавленными руками? А искромсанные тела зечек, которых хоронили ночью? А Бируте из Паневежиса? А как забыть белый полушубок, запорошенный весенним снегом? Как признать, что это небыль? Вот это и есть биологическая несовместимость. Или, как говорила тетя Маня: «сытый голодного не разумеет». Так или иначе, я не могу выходить за него замуж, — успокаивала себя Надя, стараясь унять тревожное чувство вины за несдержанную вспыльчивость. — Не нужен он мне! Да и что за муж, что за друг, которому ничего не расскажешь!»

Накануне 8-го Марта в магазинах был страшный ажиотаж. Все спешили запастись подарками для жен, возлюбленных, матерей и подруг, словом, для особ женского пола. Наде тоже пришлось потратиться, около трехсот рублей вылетели «в трубу». Но надо! Никуда не денешься, такова традиция. Елизавете Алексеевне она давно высмотрела в ГУМе красивую дорожку из вологодских кружев. Рите — скатерть с салфетками так как помнила ее огорчение, когда на Новый год ее единственную скатерть залили красным вином. Немецкая из ГДР чашка с блюдцем для Ани и коробка конфет «Вишня в шоколаде» для тети Вари. Конфеты с поздравительной открыткой в тот же день отправила бандеролью.

Елизавета Алексеевна отругала было для начала Надю за подарок, но, увидев огорченное Надино лицо, смягчилась и поцеловала в щеку:

— Береги деньги, они тебе нелегко достаются! — Потом постелила дорожку на рояль и, задумчиво рассматривая ее, сказала:

— Бесценная работа! Когда-нибудь очнемся мы и поймем наше богатство!

В четверг, как всегда, Надя с подарком и маленьким тортом, так как не хотела возвращаться рано домой, отправилась к Рите. Та бросилась обнимать Надю, развернула скатерть и заахала:

— Как кстати, какая умница!

Для начала немного распелись, а затем взялись за вещи. Но не успели пропеть и двух раз, как в дверь позвонили.

— Кто это? Яков Борисович? — спросила Надя.

Рита с загадочной улыбкой побежала отворять дверь.

— Ваш голос слышен с улицы! — пророкотал Шота Илларионович. — И как только соседи терпят? Я пришел слушать вас, инфернальница, — и приложился к Надиной руке мокрыми губами, улыбаясь своей многозначительной и лукавой улыбкой, полный важности и достоинства.

Сразу стало весело и оживленно, творческая обстановка нарушилась, стал фривольно шутливой. Надя была в ударе и пела все подряд, а напоследок спела «Лили Марлен» так, как пели ее почикайки в лагере:

Их тебе чикала, варум ду не пришел?

Их пошла на хауз, бо с неба вассер шел.

А под этим фонарем стояли вы тогда вдвоем,

Ду бист с Лили Марлен!

Шота Илларионович приходил в восторг от ее озорства, рукоплескал и целовал ей руки, которые Надя потихоньку вытирала о скатерть.

— Я думаю, я знаю ваше будущее! Ваше место в оперетте. Да,

да, именно! Классическая оперетта — это ваше! Оффенбах, Штраус, Зуппе, Планкетт!

Надя со стыдом призналась, что слышала оперетты только по радио.

— Как? Ни «Цыганский борон», ни «Корневильские колокола?» Но вы же Серполетта!

«Смотрите здесь, взгляните там

Все по вкусу это ль вам?»— пропел он, захватив штанины брюк кончиками пальцев, изображая коротенькую юбочку. — А дальше легкий канкан с ансамблем!

Рита покатывалась со смеху. Надя смотрела во все глаза, удивляясь: «Такой солидный человек, немолодой, а сколько в нем задорного, живого огня». Сама себе она казалась старухой, усталой и скучной.

— А Легар! О, божественная «Веселая вдова»! Это же… — он поднес кончики пальцев к губам и чмокнул их. — Я приглашен на три концерта в Прибалтику, вернусь, непременно поведу вас к Кемарской. О, это талантливейшая женщина! Вас ждет блистательная карьера!

Оперетта? Это казалось Наде чем-то очень легкомысленным, несерьезным. Но Шота Илларионович сразу же убедил ее в полнейшем ее невежестве.

— Выходная ария Марицы — две с половиной октавы полного голоса! Соглашайтесь, не раздумывая.

Надя заколебалась: «А если? А что я теряю? А почему бы и нет?»

Рита внесла чайник, и все уселись чаевничать. Пришел Яков Борисович, жизнерадостный, как всегда:

— У вас торт? — И задергал большим носом. — Я бы чего существенного откушал-с!

— Иди — на кухне борщ, и не вздумай мясо руками вылавливать, опять прокиснет! — крикнула ему Рита. — Пойду проверю!

— Мне пора! — сказала Надя, вставая из-за стола.

— Я довезу, если не возражаете? — любезно предложил Шота Илларионович.

— Спасибо! — сразу же согласилась Надя. Она не возражала.

— Поймите! — увещевал ее Шота Илларионович. — Работать над голосом надо обязательно и все время. Но и работать на сцене тоже. Приходят прослушиваться в театр консерваторские, с великолепными голосами, и стоят, не зная куда руки-ноги подевать.

В этот раз «Москвич» Шота Илларионовича» не дергался в конвульсиях, или, может быть, водитель разобрался наконец в

педалях и рычагах. У своего подъезда Надя заметила Володину машину и обрадовалась: «Значит, не обиделся, значит, я права, так и надо было!» Из машины она постаралась выскочить побыстрее, чтоб избежать «нежного» прощанья, и первой, но Шота Илларионович тоже весьма резво выпорхнул вслед за ней. Ей пришлось постоять у подъезда, пока он держал ее за руку и, прощаясь, бормотал обычный бред, который несут пожилые мужчины молодым девицам: о их несравненной красоте, молодости, и о своих чувствах, вызываемых ими. Неожиданно Надя увидела, как за его спиной выросла Володина фигура.

— Добрый вечер! — сказал он миролюбиво, приподняв свою пыжиковую шапку, и взял Надю под руку. — Извини, Наденька, я ключи свои дома забыл, жду тебя давно.

От возмущения она не сразу нашлась, чем ответить на такую наглость, и не успела даже слова вымолвить.

— Всего наилучшего! — попрощался Володя. — Извините, я не представился, я — муж Нади, — и, быстро отворив дверь, затолкал ее в подъезд.

— Какое право ты имеешь! — с ожесточением, краснея от гнева, воскликнула Надя.

— Не устраивай сцен в подъезде, это не культурно. Ты мешаешь трудящимся заслуженно отдыхать!

От негодования руки ее дрожали и она никак не могла открыть дверь. Володя взял ключи и тотчас открыл замок. Надя прошла вперед с полыхающими от злости щеками.

— Какое право ты имел так поступать! — закричала она на Володю, как только захлопнулась за ним дверь.

— Тише! Ты же знаешь звукопроницаемость ваших стен! Что подумают соседи! — громким шепотом сказал он. — Решат, что ты меня бьешь! — Он повесил ее пальто на вешалку и обнял. — Я скучал без тебя, кобра. Не мог же я, в самом деле, равнодушно смотреть, как старый селадон облизывал твои, то есть наши, руки! Что ж делать? Каюсь, я ревнив!

Надя, желая сохранить тишину, не ругалась, а только сердито шипела на него, но Володя прижал ее к вешалке и, поймав за обе руки, целовал куда мог, пока она вертела головой. Потом он отпустил ее. — Иди, ставь чайник, я пришел поздравить тебя с Восьмым марта. Можно?

Он взял ключи от квартиры и вышел к машине:

— Я сейчас!

Через минуту вернулся обратно с корзиной цветов, сиренево-алых, необычайно изысканной формы, в густой темно-зеленой листве. Надя обомлела. Сердце ее дрогнуло.

— Спасибо!

«Первые цветы в моей жизни», — и нагнулась понюхать.

— Цикламены не пахнут! — предупредил Володя.

— Какие красивые! — мечтательно сказала она, но тут же отряхнула с себя «лирический туман». — Мне показалось в прошлый раз, что ты не хотел больше приходить?

— Я и не приходил! Защищался от оппонентов. Въедливые и дотошные попались, но отбился, защитился, можешь меня тоже поздравить.

— Поздравляю! — сухо сказала Надя, все еще сердитая на него, и пошла на кухню.

— Подожди, Надя, — остановил он ее. — Я сейчас уеду, я еще дома не был, прямо с защиты.

Она остановилась.

— Я хочу тебе сказать, ты победила меня, кобра Нагайна. Я принимаю твое условие и буду терпеливо ждать светлый май! Но это насилие над личностью! Я просто вынужден капитулировать! Ты поняла? Но у меня тоже условие…

— Никаких! — холодно сказала Надя.

— Это нечестно, это диктатура!

— Да! Диктатура из пролетариата! Думай, к чему она приведет тебя.

— Это не демократично! — сказал, обиженно улыбаясь, Володя.

— Ну, ладно, давай! — уступила она, не в силах сопротивляться милой его улыбке.

— Завтра я приду за ответом, хотя знаю его и сейчас. Ты мне не откажешь!

— Какая наглая самоуверенность! Меня просто бесит!

— Убежденность будущего светила науки!

— Час от часу не легче! В какой же области ты намерен светить? — не скрывая насмешки, спросила Надя, безуспешно стараясь зажечь хоть одну спичку, которые крошились у нее в руках.

— В той самой, о какой ты не имеешь ни малейшего представления, — с чувством превосходства шутливо произнес он, нахлобучивая свою меховую шапку.

— И что же это?

— Электроника!

Надя действительно об электронике не слышала, но, изобразив на своем прелестном лице презрительную мину, пренебрежительно сказала:

— Я уверена, что ты не знаешь ни одного произведения Перголезе или Скарлатти!

— Думаю прожить худо-бедно без Перголезе, а тем более, как

его там? Без Скарлатти.

— Так же, как и я без электроники, между прочим!

— Но друг без друга мы не проживем, это уж точно. А поэтому настало самое время нам заниматься любовью. Рождаемость в государстве падает!

Надя не терпела подобных острот:

— Вот иди, пошляк, и занимайся! — сказала она сердито.

— Что? Ни одного даже льготного поцелуя? Ты же не можешь противостоять натиску моего пылкого сердца? — сказал он, придерживая дверь, которую пыталась захлопнуть Надя. Но, ослабев от смеха, на секунду выпустила дверь из рук, а Володя поймал ее смеющиеся губы и целовал, пока оба не «окосели», как говорила в таких случаях Надька-маленькая. Наконец, Надя заперла за ним дверь, вернулась в комнату и села в своей излюбленной позе у стола, положив голову на руки. После его ухода веселое настроение, которое он всегда вносил с собой, разом покинуло ее. Мрачные и горькие сомненья зароились в ее голове. «Не могу же я, в самом деле, скрыть от него свое прошлое! В один прекрасный день он может узнать об этом — и что тогда? А узнав обо всем, что со мною приключилось, и что я видела, он в лучшем случае сочтет меня фантазеркой, а в худшем я отравлю его антисоветчиной, как говорил Горохов. Это, конечно, в том случае, если он человек порядочный и только производное своего общества. А если это хитрый и трусливый приспособленец, то мы с ним быстро разлетимся, не стоит и затеваться». В том, что все мужчины трусоваты, она не сомневалась. «Одни знали и терпели, помалкивали в тряпочку (тряпочкой у уголовников назывался кляп), другие делали вид, что им ничего не известно о деяниях «органов», они «свято» верили в непогрешимость «отца родного». Удобно, выгодно, не страшно. И только третьи, хотя и были тоже трусливы, но, зная свою безнаказанность, помыкали, как скотом, и первыми и вторыми». Все еще в раздумье, она пододвинула к себе «Приложение к Ниве за 1914 год» и развернула посередине. С одной из страниц выпал небольшой пожелтевший листок, аккуратно вырезанный из какого-то журнала. Это оказалась фотография со статьей. Улыбающееся лицо молодой женщины, полное нежного очарования и прелести, на минуту задержало Надино внимание. Статья называлась «Памяти незабвенной Анастасии Вяльцевой» и содержала описание жизненного пути и преждевременной кончины певицы. Дальше шло воспоминание современников о том, как пела Вяльцева, о ее необычной манере общения с публикой, о молодежи, которая буквально сходила с ума на ее концертах. «Особенным успехом, — писал неизвестный Вульретт, — пользовались в ее исполнении песни «Чайка», «Ай да

тройка», «Дай, милый друг, на счастье руку». И в заключение после восторженных похвал автор писал: «Память о ней навсегда в наших сердцах».

Как ни странно, но именно эта фотография со статьей, неизвестно кем вырезанная и заложенная в журнал сорокалетней давности, подстегнула Надино решение. Ложась спать, она сказала себе: «Если он повторит свое предложение мне, я выйду за него замуж. Клондайка в моей жизни больше не будет. Судьба послала мне счастье познать настоящую любовь, но такое бывает лишь однажды за всю жизнь, и то далеко не у всех. Потеря моя невосполнима, как потеря руки, ноги и даже голоса, то есть жить можно, и живешь, но в другом качестве. Забыть его и все, через что я прошла, невозможно, оно умрет со мной. Всегда и всюду меня будет сопровождать воспоминание о жизни «там». Так же, как и теперь, я буду слушать по радио голос диктора: «Погода в Коми АССР, Ненецкий национальный округ, Воркута, Хальмерю, Лабытнанги» — буду думать, что там при пятидесятиградусном морозе все так же зеки разгружают балласт с платформ для новых дорог, долбят ломами мерзлую землю по кусочкам, для канализации, выгружают из огненных гофманок кирпич, чтоб возводить новые объекты и дома. Думать о прошлом мне никто запретить не может, но молчать я прикажу себе». Еще поразмыслив о предложении Шота Илларионовича, она пришла к выводу, что ей, певице без всякого музыкального образования, прежде чем лезть на сцену по протекции, не лишнее иметь на руках диплом, подтверждающий ее профессиональную пригодность. Было и еще кое-что, в чем Надя стыдилась себе признаться — деньги ее таяли, как летний туман над тундрой, медленно, но ощутимо. Как ни экономно она жила, вещи, купленные ею, изнашивались, обувь приходила в негодность. К весне, а она была на носу, нужно было думать о летней обуви, о зонтах и плащах, без которых не обойтись. Обещанное повышение зарплаты в связи с пересмотром расценок на работы строителей никто не спешил повышать. Девушки из бригады штукатуров, маляров, плиточницы «халтурили» на стороне по вечерам, а у Нади не получалось. Правда, Рита сказала ей, что она без риска, хоть теперь, может идти на экзамен. А как жить дальше, совмещая жалкую стипендию с все возрастающей дороговизной жизни, она не представляла себе. И, уже засыпая, подумала, что в мае ей исполнится двадцать четыре года. Немало!

На Восьмое марта молодежь собиралась «компашками» в складчину. Приглашали и Надю, но она идти не захотела. Нужно было пить водку или еще какое-нибудь вино, смеяться над неприличными анекдотами, которые назывались «пикантными», и

обсуждать общих знакомых. Ей это казалось скучным. Сидеть дома и слушать, как сотрясаются стены и потолок от «гуляющих» соседей, тоже не хотелось. Она уже было собралась позвонить Рите, посидеть у нее, но в это время в дверь позвонили. Звонок ей провели на днях, очень резкий и пронзительный. От неожиданности она вздрогнула и, зная, что это может быть только Володя, не спеша открыла дверь.

— Я за тобой, — сказал он. — Мама с Татьяной тебя приглашают.

Надя поежилась от холода.

— Не хочется никуда выходить.

— Давай по-быстрому одевайся, наводи тень на плетень и поехали. Чем занималась? — Он увидел на столе «Ниву» и заглянул.

— Охота тебе время тратить на рассказы о пребывании царской семьи в Ливадии.

— Интереснее, чем смотреть, как вы вертите чреслами на вечеринках. Сами себя раздражаете, как козлы!

— Фантастика! Нафталиновая кобра! Из тебя моль на свадьбе не посыплется?

— Зря опасаешься, я не тороплюсь с замужеством!

— С ума сойти можно! Я уже дома сказал, что ты осчастливила меня согласием.

— Зря поспешил. У меня есть время опомниться, прийти в себя.

— Кошмар! — хватая себя за голову, завопил Володя. — Одни условия, никаких льгот.

— Льготы ты получишь от своей коммунистической партии, — сказала, но тут же осеклась: «Куда меня заносит!» Все же льготы ему были предоставлены, и, пока еще не были накрашены губы, она разрешила поцеловать себя, а закрыв глаза, вспомнила, что всего год назад ее так же нежно и бережно целовал Клондайк. Но тогда ей нужно было гасить в себе «огнь желанья», а теперь его не было, он угас, и только одно озорство и любопытство.

— Ну, так что? Безоговорочная капитуляция? — спросил Володя, не отпуская ее из своих рук.

— Да, Трилли, получишь свою собачку. Капитулирую вместе с Германией в мае.

— Тогда едем, отметим нашу помолвку и, кстати, Восьмое марта. Надя вышла в ванную переодеться и слегка подмазать ресницы и губы. В черном шерстяном платье с широким лаковым поясом и перламутровой брошью у ворота она выглядела по своему же определению «очень даже ничего!» Увидев ее, Володя

причмокнул губами и покачал головой.

— «В красоте дьявол с Богом борется!» — сказал кто-то из братьев Карамазовых. Даже скучно на тебя смотреть, какая ты всегда красивая. Однообразна, как истинная кобра!

— Для козла годится! Козлы не привередливы!

Помогая ей надеть пальто, он сказал:

— А ведь не прав гений «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Согласна?

— Не совсем! Чем меньше мы мужчину любим, тем больше нравимся ему! Это уж верно!

— Мерзкое искажение!

Володина семья приняла Надю с видимым радушием, и не сразу она узнала, что стоило ему уговорить, уломать, наконец запугать Серафиму Евгеньевну согласиться принять Надю в свой дом. Она еще надеялась, что Володюшка одумается, поймет, что красота женская еще не самое главное в жизни, она еще не потеряла надежду на брак любимого сына с дочкой подруги с улицы Грановского. Только после того, как Володя заявил, что уходит жить к Наде в Черемушки, где, как она слышала, грабежи, и поножовщина, Серафима Евгеньевна расплакалась и после очередного сердечного приступа простонала:

— Поступай, как знаешь! Папа, «Лев», сразу заявил:

— Его дело, ему жить с женой, не нам!

С Татьяной оказалось совсем легко. И если в государстве «Партия — ум, честь и совесть народа», как гласили лозунги и транспаранты на всех домах и перекрестках, где только можно было повесить, то в доме Субботиных честь, ум и совесть была Татьяна. Умная и властная, она единым словом могла поставить все и всех на свои места. Однажды взяв под свою защиту Надю, она тоном, не терпящим никаких возражений, изрекла: «Эта девочка с большим будущим, безусловно талантлива и хороша своей особенной, оригинальной внешностью. А образование? Это дело времени. Нежданова закончила консерваторию тридцати лет! Во всяком случае, ей не понадобится папино имя в учебе». Этот камешек — в Володин огород, но он стерпел и вздохнул облегченно:

«Битвы с ней не предстоит, ярлык наклеен мощный».

Была еще одна особа, с которой Наде предстояло познакомиться, дерзкая и заносчивая домработница Субботиных Фрося. Ее языка боялись все в доме. Особенно доставалось Серафиме Евгеньевне. Уважала Фрося только одного хозяина, Алексея Александровича, да еще побаивалась Татьяну.

Надя обожала делать подарки и чувствовала себя не лучшим образом, направляясь в дом с пустыми руками. Но стол уже был

накрыт к ужину, их ждали, и Серафима Евгеньевна сгорала от любопытства узнать, как решат молодые свое будущее. Было одобрено все: и нескорая свадьба, и Надино решение остаться пока на работе, и ее занятия с Елизаветой Алексеевной, о чем пришлось рассказать и даже пообещать пригласить Татьяну к себе на занятия, хотя на это мало рассчитывала Надя. Елизавета Алексеевна терпеть не могла посторонних на своих уроках, и все, кто приходил в неурочное время, сидели смирно на кухне, пока она занималась. И то, что Надя была сирота, по-видимому, устраивало всех. Серафиму Евгеньевну, что не будет лишняя родня лезть в дом, Володю — без тещи!

С этого вечера все чудесным образом изменилось для нее. То есть все так же она тщательно, со старанием укладывала плитку и таскала тяжелые бадьи с готовым раствором, жила в той же холодной квартире, так же, не реже одного раза в месяц, ее заливали верхние жильцы, и завтракала она в спешке кефиром с колбасой. Но теперь у нее был дом, где ее встречали с улыбками, а когда после ужина Татьяна открывала крышку рояля, приглашая Надю петь, большая, скучная квартира оживала, наполняясь трепетными и страстными звуками Надиного голоса.

В бригаде тоже заметили перемену. От двенадцати пар глаз, острых и всевидящих, ничего не скроешь. Тоня, напарница Нади, и Аня незло подсмеивались над ней, когда во время работы она вдруг надолго замирала с плиткой в руке и испуганными глазами смотрела в пространство. Пришлось сказать, под большим секретом. Но уже на следующий день Степан Матвеевич спросил ее:

— За кого же ты замуж выходишь?

— Ой, ой! — загалдели наперебой девушки. — Что вы! Степан Матвеевич, парень-то какой! С машиной! Один чубчик что стоит! Высокий! Симпатичный, ужас!

«Анька разнесла, когда он меня разыскивал!» — обиделась Надя, но смолчала.

— Мне бы такого! Страсть люблю высоких, — захихикала Надька-маленькая.

— Она и сама у нас девица-красавица! — сказал Степан Матвевич приветливо и тут же осторожно спросил: — А машина откуда? Своя?

— Отца, — поспешила заверить его Надя.

— А кто отец?

— Точно не знаю, академик какой-то…

— Как фамилия? — уже с открытой настороженностью спросил он.

— Субботин Алексей Александрович!

— Субботин?! — с удивлением протянул он. — Ишь ты, куда влезла!

Надя возмутилась:

— Это он ко мне влез, а не я!

— Он, он! — загоготала вся бригада со Степаном Матвеевичем, — конечно, он к тебе влез, да не раз, небось!

— Пошлячки! — одернула их Надя и ушла к себе, на свой участок.

Теперь она безбоязненно разрешала целовать себя на «льготных условиях» и он преспокойно слушался «табу», когда она чувствовала, что пора охладить излишнюю пылкость своего жениха. Она свято верила, что будет прощена Клондайком, если только выдержит свой «зарок», посвятив его памяти год. Один раз она съездила с Володей в Калугу на машине познакомить Варвару Игнатьевну со своим суженым. Володя совершенно очаровал тетку, и весь вечер она толковала ему о героизме Надиных далеких и близких предков. Володя удивлялся и даже слегка упрекнул Надю за то, что ничего ему не сказала, не похвасталась своим происхождением. А Надя тем временем сидела, как на иголках, ожидая, что тетя Варя каждую минуту скажет: «А вот Надюша наша опростоволосилась!»

Возвращались поздним вечером, по разбитой, в ямах и колдобинах, дороге, и Надя не раз пожалела, что потащила его с собой.

— Нужно мне было одной на поезде ехать! — сказала она.

Объезжая какую-то бездонную яму с водой прямо посередине асфальта, он на минуту остановил машину и, поймав ее за воротник пальто, быстро притянул к себе и долго не отпускал, целуя в губы и глаза.

— Не сопротивляйся! Не буди во мне зверя, иначе возникнет уголовное дело!

Встречный грузовик, угодив в яму с размаху, залепил жидкой грязью переднее стекло и оба боковых с левой стороны.

— Так тебе и надо! — пошутила Надя. — Не нарушай уличное движение! — Но все же из машины вышла и помогла ему протирать стекла газетами.

Уже подъезжая к Москве, Володя сказал ей:

— Я бы на твоем месте забрал тетю Варю в Москву на зиму, трудно ей одной! Ты же все равно у меня будешь жить.

Тепло его слов горячей волной захлестнуло Надину душу, и она с волнением подумала: «Я полюблю его». — Где я буду жить — вопрос открытый, но тетю Варю я с большим удовольствием взяла бы к себе. А как прописать? Невозможно!

— Надо подумать! Летом она не поедет в Москву, а к зиме

что-нибудь придумаем. А мы с тобой куда поедем летом? Куда бы ты хотела?

— В Паневежис.

— Где это? Прибалтика?

— Литовская ССР, город Паневежис, улица Лепоаллея, дом. двенадцать, кажется.

— Кто у тебя там? Опять «зарок» или «обет»?

Надя хотела сказать ему, отогретая теплом его ласковых слов, что нужно бы заехать к родным Бируте, узнать, получили ли они письмо, посланное Альдоной, чтоб не ждали Бируте. Ее хоронили ночью, и Надя видела, как вынесли носилки из морга. Из окна хлеборезки ей было видно, рядом с носилками к вахте пошел старший надзиратель Гусь. Это ему предстояло разбить прекрасную голову Бируте кувалдой, чтоб уже точно она не могла убежать в свой родной Паневежис. Но вовремя опомнилась: «Молчи! Нишкни!».

— Так кто у тебя в Литве? Очередной поклонник?

— Нет! Никого, так просто!

Мысль о том, что ей надо навестить могилу Клондайка, не давала ей покоя. Пока длилась зима, об этом и думать было нечего. Но в апреле она назначила себе двадцать пятое число для поездки в Ленинград. Тамара Анатольевна обещала ей. С Аней она легко договорилась. Сложнее было с Володей. Узнав о ее решении, он всполошился: — Как? Я не могу сейчас ехать, оставить работу и на три часа не могу!

— Володя! — тихо, но упрямо сказала Надя. — Ты мне там не нужен. Я еду попрощаться с могилой человека, в чьей смерти тоже чувствую себя повинной, не мешай мне, прошу тебя!

— Фантастика! Ты и по мне будешь траур год носить?

— Не балбесничай! С тобой ничего не случится. Я молюсь за тебя, — хмурясь, серьезно сказала Надя.

— С ума можно рехнуться! Ты еще и верующая?

— И не просто, а глубоко и убежденно! Пора бы тебе знать…

— Чувствую я, закончится моя жизнь в сумасшедшем доме. Я не выдержу, я рехнусь от тебя. Ты жительница прошлого века, а я специалист по новейшим наукам и вдобавок убежденный материалист.

— Это по молодости, по глупости. Учение Маркса существует около ста лет, учение Христа бессмертно, потому что это наша совесть, наши доброта и милосердие, и жить будет с нами, пока существуем мы, люди!

Володя молча, с изумлением, смотрел на нее.

— Скучная ты будешь, пропал я! Верующая кобра!

— Да уж развлекать тебя не стану, не надейся! Тебе дали два

с лишним месяца на размышление, давай прибавим еще годик?

— Нет! — завопил он. И тотчас добавил: — А может, все же не поедешь? Лучше позвони сперва.

— Дело! — согласилась она. — Иногда ты бываешь даже умен!

— Знаю! Но редко и не в контексте с тобой!

— Умерь козловую похоть — и разум не покинет тебя!

— Извини, а зачем я тогда женюсь? Такой хомут надеваю?

— Верно! А зачем?

— Но у тебя же деревенская психология: «Женись, тогда хоть ложкой хлебай». Вынужден. Поставлен в безвыходное положение!

Надя не выдержала и рассмеялась:

— А ты злопамятный! Все простить не можешь, что мало приложила тебя к стульям. Извини, рука сорвалась. В другой раз уж постараюсь.

Володя замолчал, и она догадалась, что он судорожно ищет, что ей еще завесить колючего и ехидного в ответ, чтобы последнее слово осталось за ним.

— Не трудись ехидничать, лучше скажи, как мне позвонить в Ленинград?

— Поедем к нам, от нас позвонишь, — с готовностью предложил он.

— Спасибо, нет! Это мне не подходит!

— Тогда с телеграфа на улице Горького. Поедем, он открыт, я довезу тебя! — и, заметив, что она колеблется, добавил: — Я вовсе не претендую стоять с тобой рядом. Посижу в машине, подожду тебя, да, кстати, в аптеку зайду, там напротив, мама йод просила купить.

Час был поздний, но народу оказалось достаточно много. Надя оплатила десятиминутный разговор и села ждать вызова, раздумывая, нужно ли ей держать Володю с машиной или лучше отпустить, но отойти побоялась, а вдруг вызовут!

— Михайлова! Ты? — Она быстро подняла голову. Перед ней стоял знакомый мужчина, но кто?

— Не узнаешь?

— Конечно! — И тотчас узнала. — Анатолий Гайкович…

— Так точно! — подтвердил он весело и, как старый знакомый, протянул руку. — Здорово! — Он был не один, а с очень красивой, высокой девушкой. — Познакомься! Жена моя, Витуся!

«Там, в Воркуте, вроде не эта у него была» — вспомнила Надя.

— Ты чего? — догадался он. — Мою бульдожку вспомнила? Разошлись мы с ней!

Витуся скромно отошла в сторонку.

— Давно оттуда?

— Пока в отпуск приехал, а там насовсем выберусь…

— Что ж так? Покидаете злачные места!

— А ну их, совсем!

— Никак заварушек испугались, товарищ оперуполномоченный, убегаете? — с ехидцей спросила Надя, заметив, что Арутюнов был в штатском.

— Тише ты! — Он оглянулся. — А чего пугаться? Шахты кое-какие, действительно, буянили, и то не все. Ну, а в нашем девичнике все тихо-мирно было. Стороной прошло. Но тут же припомнив что-то, сердито добавил: — А кому нужно в чужом пиру похмелье? Сами пусть разгребают!

— Кто там еще остался?

— Да все, как были. Сдается, Покровская, помнишь, у вас на скрипке играла? Вот она освободилась, в Александров направление получила.

— Почему в Александров? Она ведь москвичка!

— Москву ей не дадут, сто первый километр. В Москву политических не пускают так сразу. У них, ведь, поражения в правах у всех. Выглядишь отлично! Не узнать! Поешь?

— Учусь пока! — Ей хотелось спросить его, что он знает о Тарасове, но опять подошла Витуся, и Надя постеснялась.

Видимо, Анатолий Гайкович понял ее, потому что сказал:

— Ты позвони мне, поговорим, я на улице Веснина живу, на Арбате…

— Ленинград, вторая кабина! — объявила телефонистка-

— Запишите мне, пожалуйста, — быстро сказала Надя, — мне тоже очень нужно поговорить с вами! — И прошла в кабину.

Пока ее соединяли с Ленинградом, Арутюнов успел записать свой телефон и просунул записку ей в дверь.

— Алло! — раздался в трубке женский голос.

— Галя? Мне Тамару Анатольевну!

— У нас таких нет!

— Простите, это квартира Тарасовых?

— Нет, они здесь больше не проживают!

— Подождите! — взмолилась Надя. — Где они теперь? Они мне очень нужны! — с замирающим сердцем крикнула она.

— Я не знаю, они переехали куда-то в новый район и ни адреса, ни своего телефона не оставили.

— Спасибо! — едва слышно прошептала Надя. Она повесила трубку и опять присела на прежнее место, закрыв глаза. Минуты две-три ей понадобилось, чтоб придти в себя от такой неприятной неожиданности. «Где тебя найти, если все пути замела полярная

пурга!» — вспомнила она вдруг, и, обескураженная, не сразу нашла в себе силы подняться и уйти. На скамье, где она сидела, одиноко остался лежать листок с телефоном.

Володя стоял около машины, веселый и довольный. Надя отвернулась, чтоб не видеть его оживленного лица.

«И чего радуется?» Когда она подошла, он, увидев ее глаза полные отчаяния и смятения, осторожно спросил:

— Ну, как?

— Не еду! — коротко ответила она и, уже в машине сказала ему, будто сама себе, сухо, без слез: — Как больно! Я и не предполагала…

У дома Володя хотел проводить ее до двери, а возможно, навязаться на чай, но Надя остановила его:

— Не провожай, не надо, я сама! — и протянула ему руку. — Спасибо тебе, Володька, что ты есть у меня, я буду очень, очень тебя любить. Больше мне некого на этом свете! — голос ее задрожал, и губы тоже, которые она протянула ему, и он тотчас нашел их.

Дома, на столе, лежала книга, привезенная в последнюю поездку из Калуги, она раскрыла ее посередине, наугад, прочитала:

«А будут дни, угаснет и печаль,
И засинеет сон воспоминанья,
Где нет уже ни счастья, ни страданья,
А только всепрощающая даль».

«Кто же обещает мне такое успокоение?» — она перевернула страницу: Иван Бунин.

По настоянию Льва было решено: после свадьбы Надя переедет жить в квартиру Субботиных. — Не в примаках же ему жить в Надиной квартире! — веско заявил он.

Что же касается самого Володи:

— Готов жить где угодно, хоть в райском шалаше! — сказал.

Надя тоже с удовольствием осталась бы в своей квартире, чувствуя, что ей нелегко будет менять свои привычки, подчиняясь чужому укладу жизни, но перечить Льву не захотела.

— Не вздумай прописываться у мужа! — предупредила Аня. — Жить со свекрухой, лучше удавиться!

Но Надю никто и не приглашал прописываться, наоборот, Серафима Евгеньевна очень деловито посоветовала:

— Можно сдавать, разумеется, за деньги!

Наде стало неловко и совестно. Она представила себе, с каким презрением к ней отнесутся ее девушки-плиточницы.

— Мы еще не решили, где будем жить! — резко отрезал Володя-

— Не обращайте внимания, Надя, у нас иногда бывают мелкобуржуазные экскурсы в прошлое, — дружелюбно шепнула ей Татьяна.

Подъезжая к дому, Надя, повинуясь внезапному порыву, сказала:

— Знаешь, Володя, я очень боюсь, что не приживусь в вашей семье…

— Почему?

— Буду кусаться! Ты же меня назвал Нагайна!

— Не я, а Киплинг.

Открывая дверь ключом, она заметила, как замкнулось и погрустнело его лицо.

— Я постараюсь, конечно! — поспешила успокоить его Надя, протянув на прощанье руку.

— Все будет хорошо, если ты не будешь обращать внимания на ее слова. Родителей не выбирают! А потом в мае они все уберутся до октября на дачу. Мы будем одни! — и заговорщицки улыбнулся ей. — Я очень тебя люблю!

— Я тоже! — прошептала Надя, закрывая дверь, а про себя добавила: «Постараюсь полюбить тебя».

Накануне праздника 1 Мая, вечером, заехал Володя.

— Поедем иллюминацию смотреть!

Москва украсилась тысячами разноцветных лампочек. На улице Горького и на Красной площади было светло, как днем. «Слава КПСС» — сияли лампочки на всех домах, словно и впрямь всем было радостно и весело жить. Из всех репродукторов, а они висели чуть ли не на каждом углу и столбе, неслись бодрящие и веселящие душу песни.

— Ну, ладно, хватит. Хорошего, да понемногу! Отвези меня домой, — попросила Надя. Она с удовольствием отметила, что портреты вождей ей были незнакомы, а на здании ГУМа только трое: Ленин, Маркс, Энгельс, а «великого вождя» не было.

— Рано еще, поехали к нам, вчера телевизор установил.

— Я завтра уезжаю на день, хочу встать пораньше.

— Как? Ты хочешь уехать на Первое мая? — чуть не с обидой спросил Володя.

— Да! А что такого?

— Мы могли бы пойти на парад, у папы билеты будут, а вечером…

— На парад? Пойдем, когда не у папы, а у тебя билеты будут. — А вообще, стоять около трибуны?..

Он уже уловил недобрый тон ее вопроса; — Не обязательно!

— Смотреть, как корячатся, лезут на мавзолей деятели коммунистической партии, и умиленно улыбаться? Такой радости я не заслужила!

— Хорошо, хорошо! — поспешил прервать ее Володя. Главное — не допустить вспышку.

А вспышка легко могла возникнуть. Надя была все еще под впечатлением разговора с Арутюновым. «Новые пришли, выпустили уголовников, а Воркута все еще существовала, полна лагерей. Амнистии политическим никто не давал, и пересмотры двигались куда медленнее, чем в свое время аресты. Тем редким счастливчикам, кому удавалось освободиться, еще предстояли ссылка и поражения в правах, (черт с ними, с поражениями, подумаешь, в выборах не участвовать! Провались они!). Конечно, выпускать всех подряд, может, и не следовало. Тех, кто прилип к немцам в оккупации, всякие полицаи и зондеркоманды, они были, что и говорить! Но что общего между ними и старой Антониной Козой, Зубстантив, тихой и скромной Софьей Самойловной Ласкиной, врачом Миловидовой, обвиненной в соучастии в убийстве сына Горького, которого она и в глаза не видела ни разу? А простые солдаты, попавшие в плен вовсе не по своей вине? Да разве всех перечтешь? Их тысячи тысяч!

Гадко и скверно становилось на душе, портилось настроение от одной мысли, что они все еще «там».

Первого мая, пока ликовала на демонстрациях Москва, Надя одна, без провожатых, поехала в Малаховку на кладбище — красить изгородь и посидеть на скамейке у дорогих ей могил. У нее уже давно были приготовлены зеленая краска и кисть. Все это вместе с булкой и куском колбасы она затолкала в авоську, довольная, что никто не пришел спозаранку поздравить ее с праздником трудящихся всего мира. День был теплый, солнечный, и, шагая по Кореневскому шоссе, к кладбищу, она прошла мимо проулка, где жила Ячменева, тетка несчастного Сашка, замученного извращенными урками и брошенного умирать от несуществующего туберкулеза. А возможно, был и туберкулез.

«Зайти бы нужно? Но нет! Помощи никакой, одно сочувствие». Володя не докучал ей вопросами: «Где была? Что делала?» Он терпеливо ждал, когда она распрощается с прошлым, скромно предлагая свою помощь, за что и был награжден таким нежным и ласковым взглядом, полным преданности и обещания счастья, что душа его сладостно запела: «Неужели? Неужели!»

ПОПАЛАСЬ, КАКАЯ КУСАЛАСЬ!

… не страшен мне призрак былого,
Сердце воспрянуло, снова любя…
Вера, мечты, вдохновенное слово,
Все, что в душе дорогого, святого, —
Все от тебя!

А. Апухтин.

В день Победы, девятого мая, ровно год спустя, когда Надя покинула Речлаг, Воркуту, она вышла замуж, как и обещала Володе. Елизавете Алексеевне она уже сказала, что выходит замуж, сказала, за кого, и со всеми подробностями, и пригласила на свадьбу.

— К сожалению, я на все праздники уезжаю в Киев, к сестре, но от души поздравляю тебя, девочка! Будь счастлива и не забывай своего призвания! — Она обняла Надю и расцеловала в обе щеки. Наде показалось, что в ее небольших, умных глазах блеснули искорки слез. Елизавета Алексеевна давно уже перестала быть чужой, и ее суровая строгость не пугала больше Надю.

Рита с радостью приняла приглашение:

— Яшка все праздники «деньгу зашибает», я одна как перст. Приду обязательно! — и тут же записала адрес.

Из своей бригады она пригласила Аню со Степаном Матвеевичем. Но Аня отказалась сразу же. Сослалась на то, что днями получила двухкомнатную квартиру и очень «растряслась».

— Не обижайся, на свадьбу идти — две сотни нести мало, а у нас со Степаном до получки полсотни всего осталось.

— Возьми у меня! — с готовностью предложила Надя. Она уже знала, что на днях Аня со Степаном Матвеевичем стали наконец законными мужем и женой, но никому об этом не спешили говорить, хранили в секрете.

— Спасибо! Может, и возьму, если совсем на мель сядем! — пообещала Аня.

Ликующая Москва праздновала девятую годовщину Великой Победы.

— Это и моя победа! — радостно завопил Володя, хватая в охапку уже одетую в белое платье невесту с гирляндою бело-розовых мелких розочек в темных волнах волос.

— Болван! — с сожалением покачала головой Серафима Евгеньевна. — Оболтус!

Надя вспыхнула, но сдержалась. С пылающими щеками, подавляя с трудом в себе гнев, она проговорила:

— Конечно, вам лучше знать, каков ваш сын. Вы его мать, а мне он показался и хорош и умен. Ошиблась, значит!

Татьяна обняла ее за плечи и насмешливо сказала:

— Не обращайте внимания, ревность матери к сыновьям — это неподавляемо, неистребимо.

Володя в страхе зажмурился:

— Уже! Начинается!

Несмотря на мелкие неурядицы, вечер получился веселым. Татьяна настояла, чтоб ужин был не в ресторане, как это стало модным в последние годы, а у себя дома, и чтоб готовые блюда привезли из ресторана. Стоять у плиты с готовками домашних разносолов было некому. Фрося, домашняя работница Субботиных, ушла, презрительно передернув плечами.

— Выдумали, тоже! Свадьбу в день Победы гулять! Терпежу им нет в другой день. Кому охота в такой праздник на кухне торчать!

Пришли товарищи Володи, кто с женами, кто с девушками, а кто и просто — по-холостяцки. Женщины все молодые, красивые, модные. Многим, наверное, показалось странным — со стороны невесты не было родни, хотя друзья Володи уже знали, что внучки Маши больше нет. Зато Рита покорила всех: приехала в каком-то «обалденном» вечернем длинном платье, усеянном блестками и еще чем-то, что сверкало и переливалось на ней. Она сразу завоевала симпатии мужской половины и кокетничала напропалую при неодобрительных взглядах Татьяны.

Когда раздались победные залпы салюта и фейерверки взметнулись в небо, Володя под крики «горько», со счастливой улыбкой целовал свою невесту, приговаривая: «Попалась, кобра!», «Попалась, какая кусалась!».

После долгого ужина с криками и поздравлениями Рита, к общей радости, села за рояль и заиграла что-то бравурное и очень знакомое, а что? Надя не вспомнила. Потом Татьяна попросила ее спеть, а ее и просить особо не надо было — всегда рада-радехонька.

— Пожалуйста, только уж нам, а не ему, твоему Ромео! — тихо, с насмешкой сказал Володя, провожая ее к роялю.

Пришлось постоять, подумать, что спеть, когда все, что было пропето ею, всегда только ему. Но вспомнила и шепнула Рите:

— Давайте наш любимый: «Не уходи!»

Они обе любили этот романс, и иногда, под грустное

настроение, пели его, не забывая соблюдать все правила вокала. Однако сегодня Наде захотелось спеть его так, как когда-то научила ее петь этот старинный романс Елизавета Людвиговна Маевская. Исполнять, а не только петь!

«Начинай вполголоса и медленно, — говорила она Наде, — Умоляй, проси! «Не уходи, побудь со мною!» Признайся ему, застенчиво и стыдливо: «Я так давно тебя люблю!» И дальше, не в силах сдержать свой порыв, обещай ему всю себя, не скупись! И в полный голос: — «Тебя я лаской огневою и напою и утомлю…» Поняла, как надо петь?»

Слово за словом был пройден весь романс, и на репетиции Наташа Лавровская повторила ей опять, свою самую большую похвалу: «Сама себя перепрыгнула!»

Но тот, для кого она выкладывала в пении всю душу до последней искорки, никогда не услышал ее, да и петь на лагерной сцене Наде не пришлось.

Концерты в ОЛПе приурочивались к праздникам, а их после нового 53-го года больше для нее не было. 8-го марта был «великий» траур в зоне — умер Сталин, к 1 Мая опер Горохов вычеркнул ее из программы. Не гоже вольняшке средь зечек распевать. Она уже была амнистирована, а потом события развернулись так, что ей было вовсе не до пения.

И покуда гости щедро расточали похвалы ее голосу, она с грустью вспомнила и холодную столовую, со скользким, никогда не просыхающим полом, и Наташу Лавровскую с аккордеоном из труппы Дудко, и того, кому предназначался этот романс, и затосковала… Но стоило ей окинуть взглядом веселое, улыбающееся общество, как в голову пришла озорная и дерзкая мысль: «А что будет, если я спрошу их сейчас: «А вы знаете, кто я такая?» Вот этот стиляжка, который присосался к моей руке липкими губами, наверняка, воскликнет: «Вы Богиня!» или что-нибудь в этом роде. А я им скажу: «Осечка! Я не Богиня, я просто бандитка из шайки беглого каторжника Бена Джойса! Читали «Дети капитана Гранта»? там о нем написано. И пока они не очухались от изумления, негодования и прочих эмоций, добавлю еще того пуще! Скажу: «Да-да, не таращьте на меня свои зенки, я правду говорю, — сидела за бандитизм с убийством почти пять лет в Воркуте! И поделом мне! Так мне и надо! Я— дрянь! Я — мерзавка! Я погубила двух парней! Но за них меня никто не осудит — нет такой статьи в нашем кодексе, только моя собственная совесть! Один из них сгинул в лагере, за то, что хотел дотянуться до меня, подарить мне «колечко с камушком», другой, по словам шмоналки, был «зарезан, как свинья, прямо в сердце!» И все из-за меня, я знаю? А этого избалованного

мальчика, в своей жизни не знавшего слова «нет», я довела до того, что он устал от моей недоступности и непомерной гордыни, и, сгорая от своего «огня желанья», бросился в омут головой, не потрудившись узнать, кто я есть!» «Бес» тут как тут: «Ведь не скажешь! А забавно было бы покуражиться, немая сцена из «Ревизора»! Но не мучай себя — тебе есть оправдание: ты подчинила себя своей заветной мечте — быть певицей! Вспомни! Когда ты коченела в телячьем вагоне в голодном забытьи или плакала по ночам оттого, что нестерпимая боль выворачивала твои руки в кровавых мозолях, а мать, выбиваясь из последних сил, волокла тебе ящик с посылкой, чтоб ты не загнулась от цинги, пеллагры, туберкулеза… или дрожала от холода и голодухи в карцере, твой суженый забавлялся с престижными девушками, жил весело и беззаботно, и всем им было преотлично! Ты предала сама себя!» — «Они не виноваты, они производное этой системы!» — мысленно ответила «бесу» Надя, стараясь оправдать свое замужество. «Ша! Будь осторожна и помни! Старшие следователи 2-го отдела МГБ, майор Линников и капитан Остапишин, могут быть еще на своих местах и при деле — наматывают срока, обеспечивая даровой силой Заполярную кочегарку — Воркуту. Наверняка, повышены в чинах», — предупредил «бес». Неизвестно, сколько бы стояла, оцепенев, Надя, молча пререкаясь со своим «бесом», но выручила ее Татьяна, поймав за руку.

— Нагнись, пожалуйста, ко мне!

И, когда Надя слегка наклонилась к ее лицу, Татьяна чуть тронула губами Надину щеку.

— Можешь звать меня Таней и на «ты», согласна? — шепотом спросила она. Надя обомлела от неожиданности.

— Конечно! — Еще бы, самый главный и строгий член семьи предлагает ей свою дружбу! — Конечно, согласна, с радостью!

Гости не угомонились и просили ее спеть еще, и Надя спела свою коронную: «Что это сердце», и могла петь хоть весь вечер, но вовремя заметила скучающее и недовольное лицо Володи. «Он не любит, когда я пою! Ревнует меня к прошлому! — догадалась она. — Нельзя было ему ничего говорить, дура я!»

Потом мужчины оттащили куда-то столы, стулья и свернули ковер. Высокий, красивый брюнет громко провозгласил:

— А теперь танцевать, до потери пульса!

Надя, зная свой скудный репертуар, испугалась и приуныла, но Татьяна опять выручила ее.

— Первый танец назначает невеста! — объявила она.

— Вальс! Прошу вальс! — обрадовано крикнула Надя. Володя остановился в нерешительности, вспоминая, как же танцуют этот

старомодный танец? Рита уже вовсю, лихо играла знакомый всем вальс «Дунайские волны».

— Долго думаешь! — сказал Лев и обнял Надю за талию. — Пойдем, дочка, тряхну стариной! Ему до утра вспоминать надо!

Танцевал Лев прекрасно, и именно тот самый вальс, которому ее обучала Наташа. Он уверенно кружил ее по паркету, и, чувствуя на своей талии его сильную руку, Надя осмелилась поднять на него глаза. «Лев, лев, настоящий лев! Как хорошо, что Володька похож на тебя, а не на твою курицу — Серафиму!» — подумала Надя и улыбнулась ему почтительно, как ласковая дочь.

— Зайди ко мне в кабинет, — сказал он и, приложившись к ее руке, подвел к Володе. Все одобрительно захлопали.

— Браво! — крикнула Рита. — Виват старшему поколению! Потом она вскочила из-за рояля.

— Будет уж вам! Я тоже хочу танцевать!

Мужчины притащили магнитофон из Володиной комнаты, и паркет затрещал под каблуками дам, а уши заложило от яростного воя ящика под названием «Маг».

— Пойдем попляшем? — предложил Володя.

— Наверное, у вас не такая слышимость, как у меня, иначе соседи взбесились бы от такого топота, — засмеялась Надя и попросила: — Проводи меня в кабинет отца!

— Зачем тебе? — удивился он.

— Приглашена на свидание! — игриво ответила она.

Кабинет у Льва был огромный, как и все комнаты в этой квартире. Два окна, и по обе стороны от дверей до окон, и до самого потолка, шкафы со стеклянными створками, до отказа забитые книгами. «В десять лет не перечтешь». Лев сидел за письменным столом и сразу же, как только она зашла, поднялся.

— Подарок тебе, дочка! — сказал он, подавая ей продолговатую коробочку в виде пенала.

— Спасибо! — поблагодарила Надя и встала столбом, не зная, что делать дальше: посмотреть или неприлично так уж сразу на подарок накидываться.

— Да ты взгляни! Может, и не одобришь?

Надя открыла коробку и замерла: на коричнево-красном бархате лежали золотые часы с таким же браслетом.

— Ой! — произнесла она и поставила обратно на стол. Она забыла, как «с достоинством» принимаются дорогие подарки, и от кого? от отца? от знакомого?

— Не угодил? — спросил, улыбаясь, Лев.

— Нет, что вы!

— Дай, я тебе покажу, как надо одевать. — Он взял ее левую руку и быстро защелкнул браслет на ее запястье.

В полном замешательстве Надя пробормотала еще раз:

— Спасибо! — и потянулась поцеловать его. «Как его называть? По имени отчеству или папа? Отец?»

— Носи на здоровье, дочка!

— Спасибо, папа! — И смело чмокнула в щеку.

«Лев, Лев! У меня мой новый отец!» — с ощущением большого счастья подумала о нем она. Тепло, именно тепло излучал он, как ее рефлектор в холодные зимние вечера. Теплыми были его янтарные, смеющиеся глаза. Теплые большие мягкие руки, теплый рокочущий, басовитый голос, и слова всегда дружелюбны и теплы. Даже густые, русые когда-то волосы, сейчас обильно тронутые сединой, тоже казались тепло-золотистыми.

В коридоре висело большое овальное зеркало в резной деревянной оправе. Надя заглянула в него и остановилась, пораженная.

— Это я?

В белом кружевном платье с гирляндой бело-розовых цветов, на поясе точно таких же, как и в прическе, ворот скромно заколот перламутровой брошью. Она уже не была ни «кошкой драной», ни «узницей Освенцима». Из зеркала на нее смотрела прелестная молодая девушка, высокая, с тонкой, гибкой талией, с «очами», а не глазами, полными завораживающей, притягательной силы.

«А ведь и правда красивая я! Там, в Речлаге, где, как сказал Пятница, «самых красивых отловили», я была, как и все, не хуже, но и не лучше других, а здесь…» «Ушкуйница» — назвал ее однажды Клондайк, когда ЧОС был вынужден выпустить ее из карцера. «Бунтарка!» «Не этот должен быть сегодня со мной, чужое ему достается!» — вздохнула она, и хорошее настроение исчезло. А тут еще бес такого назудел, чего бы она не стерпела ни от кого другого: «Вот и ты сподобилась, платьице из спецателье надела, как внучка Маша. И не протестуешь, не кобенишься. Нравится!»

— А что же мне делать? Мне учиться надо!

«Врешь! Сама себе врешь! Замуж тебе захотелось! Вот так-то, милая, не суди, да не судима будешь!»

— Что же ты, Надя, как в воду опущенная? Словно тебя насильно замуж выдают? — озабоченно спросила Серафима Евгеньевна, когда Надя вернулась в комнату, где от дыма курильщиков, как в тумане, едва различались пары танцующих.

— Голова заболела! — соврала она.

Ей вдруг так захотелось к себе домой, в свою «малогабаритку», сесть за книгу со стаканом крепкого сладкого чая и дочитать незнакомые ей стихи Ивана Бунина. «Зачем я здесь? Не нужно мне все это! Учиться надо, а тут, как на зло, дети

посыплются»! И тут же вспомнила Аню: «Выходи, выходи, Надька, замуж, пока не поздно, захряснешь в девках, мужика изувечишь! — и засмеялась, когда возмущенная и красная от стыда Надя изругала ее «дурой».

Утром, десятого мая, молодым предстояло расписаться в ЗАГСе и пришлепнуть печати в паспортах.

— Еще есть время бежать из-под венца! — шепнула ей Татьяна и улыбнулась, с трудом запрятав грусть.

«Бедняжка — подумала о ней Надя, — такая красивая и молодая, просидела весь вечер, никто не пригласил ее танцевать. Она, должно быть, по-настоящему глубоко несчастна».

— Я не побегу, я останусь твоей сестрой! — едва слышно прошептала ей Надя, потом нагнулась и поцеловала. Она поискала глазами Риту и увидела, что та разговаривает с Володиным сослуживцем «Нет нужды беспокоиться, ее довезут до дома».

Еще накануне свадьбы она договорилась с Володей, что уедут на дачу, не дожидаясь ухода гостей, потихоньку, не прощаясь ни с кем, «по-английски». Две комнаты на втором этаже были отданы в распоряжение молодоженов.

Лавируя между танцующими, к Наде подошел Володя:

— Мама сказала, голова у тебя болит?

— Да, от курева! Просто дыхнуть нечем!

— Едем, завтра вернемся!

Но совсем по-английски не получилось. Серафима Евгеньевна поймала их в дверях и навязала целую сумку еды.

— Не может Володюшка утром без завтрака на работу ехать, и вечер еще долгий.

Надя насмешливо фыркнула:

— Конечно, не может! Вот и пусть ночь занимается, кушает.

Серафима Евгеньевна округлила и без того круглые, куриные глаза. Не поняла!

— Пойдем, кобра! — быстро сказал Володя, и поспешил закрыть дверь. — За что ты так маму? — в лифте спросил он Надю спокойно и не зло.

— Горшочек ночной забыла мне дать для тебя. — Она ясно почувствовала, что больше всего ей захотелось поссориться с ним и уехать домой. Там запереть дверь и залечь в постель, а можно и в горячую ванну, тоже отлично. Но этого не получилось, он засмеялся и еще крепче прижал ее локоть к себе:

— Сама такая будешь!

Над Москвой уже забрезжил рассвет, когда они сели в машину. Надя забилась на сиденье, поджав под себя ноги, и молчала, уткнув нос в воротник плаща.

— Ты что нахохлилась, как птичка? — первый нарушил молчание Володя. — О чем думаешь?

— Ни о чем не думаю. Устала, — ответила она, но это была неправда.

Она думала, но что? Сказать ему не могла. Прежде всего она боялась, страшилась того, что должно было произойти между ними, как мужем и женой, потому что, в сущности, он был ей совсем чужой. Чужая была его семья, его дом, его привычки и вкусы. И он тоже совсем не знал ее, не понимал и не мог понять, потому что прошлое ее было тщательно скрыто от него, а в настоящем он не успел узнать ее. Им еще предстояла проверка «на биологическую совместимость». Слишком разные они были, с разными судьбами, из разных слоев общества.

Совсем рассвело, когда они подъехали к даче. Широкая, посыпанная гравием дорожка, по которой она убегала, скользя на высоких каблуках, еще так недавно, была обсажена с двух сторон двумя рядами ярко-алых тюльпанов и нарциссов. Надя остановилась.

— Какая красота!

Володя немедленно нагнулся и хотел сорвать тюльпан.

— Нет, нет! Не надо! Ни в коем случае!

— Почему? Ты же любишь цветы!

— Цветы любят все! Только не нужно рвать их, им больно! И не смотри на меня так! Что мы знаем о них? Они живые!

Наверх, смотреть свои комнаты, она не пошла, а сразу примостилась в кресле.

— Чай будем? — спросил он.

— Будем! — Сейчас она готова была пить чай, разговаривать, гулять даже, делать что угодно, только отдалить тревожный момент.

— Ау тебя не остался тот вкусный ликер, «Бенедиктин»? Я бы сейчас выпила!

— Забыть былое и думы? — по-своему догадался Володя и, доставая из буфета знакомую бутылку, улыбнулся ей понимающе и дружественно.

Долго еще они сидели за столом, рассказывая друг другу о своих сокровенных задумках и честолюбивых мечтах. Солнце давно поднялось над верхушками деревьев и заглянуло прямо к ним в рюмки. В эту первую ночь своего замужества, Надя не без труда поняла, в чем смысл электроники и почему Володя считает это великим скачком цивилизации. В свою очередь он тоже узнал, что музыка, под которую он лихо и бездумно отплясывал с девушками на вечеринках, бывает разная: для головы — Бах, Вагнер, Малер, для сердца — Чайковский, Григ, Рахманинов,

Шопен, Римский-Корсаков, для души — Шуман, Шуберт, Бизе; музыка для живота в ресторанах — джазы и фокстроты…

— А Бетховен? А Мусоргский? — спросил Володя, хотя не имел понятия о них и знал только понаслышке, да у сестры видел частенько на рояле ноты.

— О, эти великие, от и до, они для всего существа человека. Но это я тебе сказала, как я понимаю музыку — мое личное понимание, а ты можешь по-другому.

Слушая, они удивлялись тому, как мало знали друг о друге.

— Вот наконец-то мы и познакомились! — сказал Володя. —

Теперь, может быть, ты мне все же скажешь, что с тобой произошло, что ты прячешь от меня…

Но Надя, не давая ему договорить, быстро перебила его:

— Я уже все тебе сказала: были Ромео и Джульетта из враждующих, разных сторон, Ромео был настоящий, а потому и погиб, Джульетта была малодушна и труслива, не настоящая и не поступила, как ей полагалось по Шекспиру, она не наложила на себя рук, а осталась жить дальше!

— Ну, а потом?

— А потом стала твоей женой, вот и все, и будет об этом!

— Надя, Надя, начиталась ты сказочек! «Он не верит мне! Вот и ладно, и хорошо!»

— Ты знаешь, мне совсем не хочется спать! — Она посмотрела на свои новые часы. — Восьмой час! Тебе скоро на работу.

— Я не иду сегодня!

— А-а-а… — с сожалением протянула она и тут же воскликнула. — Но ведь нам к десяти в ЗАГС. Поедем?

— Всенепременно! Надо узаконить брак!

— Хорошее дело «браком» не назовешь. Брак он и есть брак, хоть на производстве, хоть в жизни!

— Что верно, то верно! А что делать? Приходится! — с притворным смирением произнес он и взял ее за руку.

Надя с опаской взглянула на него, боясь увидеть в его глазах «огнь желанья», но ничего такого не увидала. Он смотрел ясно и весело, как обычно, чуть с насмешкой в уголках губ, затем все не выпуская ее руки, достал из кармана кольцо и надел ей на палец.

— Вот и все, теперь дважды окольцованная!

— Единожды! — поправила его Надя. — Это кольцо моей бабушки. А ты? Без кольца?

— А я пока холостым побуду. Можно?

— Для Маши? — обиделась Надя.

— Для коммунистической партии, она не любит мещанских; пережитков прошлого.

— А ты?

— Мы не во всем с ней схожи, скажу по секрету! — понизив голос до шепота, таинственно сообщил он. Да, кстати, ты домой хотела?

— Переодеться надо и кое-что взять из дома.

— Тогда поедем, я заброшу тебя, а сам на часок-другой на работу загляну, потом заеду за тобой в ЗАГС, а вечером пойдем, посидим где-нибудь, идет?

— В ресторан? Хочешь напоить меня шампанским?

— Ни в коем случае, а то ты меня опять за другого примешь, «табу» завопишь или Сашей назовешь! А то и вовсе пристукнешь, как обещала.

— Саша ушел навсегда из моей жизни! — мрачно сказала она.

— Ладно, не порть себе настроение, едем!

Усаживаясь в машину, Надя, с трудом сдерживая себя, чтобы не засмеяться, с лукавой улыбкой спросила:

— Ты былины любишь?

— Что? Былины? Вопрос на засыпку… А попроще с утра не будет вопросов?

— Я Садко вспомнила. Как ему старик говорил: «Если хочешь, чтоб исполнилось твое заветное желание:

Как ляжешь спать во перву ночь,

Не твори с женою блуда».

— Надеюсь, только «во перву ночь»?

— А старик тот был сам святой Микола Можайский!

Володя, не отрывая глаз от дороги, слегка покосился на нее.

— А не пора ли нам перейти к суровой действительности?

Как ни странно, но Надя почувствовала, что с этой ночи он стал ей намного ближе и дороже, чем, если бы на правах мужа домогался ее любви. «Ничего умнее он и придумать не мог бы, чтоб я его полюбила».

В ЗАГСе ему и ей пришлепнули печать в паспорте. Сонная женщина с унылым лицом и подпухшими глазами вяло поздравила их с законным браком и нудно произнесла небольшую, но содержательную речь. К сожалению, Надя была взволнована и мало что поняла из этой трогательной речи. Уяснила себе только, что теперь она стала «здоровой советской семьей». На вопрос, будет ли она менять фамилию, Надя робко вякнула:

— Не хотелось бы, если можно!

Но Володя проявил бестактную настойчивость.

— Конечно, будет, а как же иначе?

Дома она завалилась спать и проспала до самого вечера.

Проснулась, когда уже смеркалось и длинные тени соседних домов перекрыли улицу. Быстро нырнула в ванну, под душ, согнать остатки сна, и только успела привести себя в надлежащий порядок, употребив второпях неумеренно «Белую сирень», как подъехал Володя.

— Ты готова? Я был уверен, что застану тебя спящей.

— И не думала! — Надя важно надула губы, но не выдержала и рассмеялась.

— Поедем, я столик заказал в «Москве».

— Где? — удивилась она.

— В ресторане «Москва», за вещами заедем на обратном пути.

Вечер был прохладный, и Надя достала свой новый белый жакет, купленный у все той же модницы Надьки-маленькой за цену, равную половине зарплаты. Помогая ей надеть его, Володя по обыкновению задержал в руках ее плечи. Она круто повернулась к нему и обожглась о его горячие губы.

— Надя! Родная, ты теперь моя! — прошептал он, привлекая ее к себе.

Забытое, но знакомое пламя вновь вспыхнуло в ней и опалило жаром. Она прикрыла глаза ресницами, чтобы не дай Бог он не увидел, как загорелся в них «угрюмый, тусклый огнь желанья», столько лет запрятанный в тайниках ее души, скованный страхом лагерного спецрежима. Наивно охраняя себя от сердечных ран, она совсем упустила из виду, что вместе с душой существовало ее прекрасное молодое тело, созревшее для любви. И когда, опьяненная его поцелуями, душа ее на миг забылась, плоть властно заявила о своем существовании, заставила замолчать стыд, сказав ему едва слышно:

— Останемся!

Ночью она долго лежала неподвижно, с широко открытыми глазами и смотрела в темноту, разочарованная, недоумевающая. «Неужели это и есть любовь? — задавала она извечный вопрос, который волнует многих, вступающих в замужнюю жизнь девушек. — Или я чего-то не поняла?» Никакого чуда и восторга она не почувствовала, кроме боли и стыда, да еще смущенья и неудобства. Рядом с ней лежал ее новоиспеченный муж и тоже не спал. Он привык ласкать женщин опытных, знающих, что от них ждут, и никак не ожидал встретить полное непонимание. На смену глубокому изумлению пришло ощущение радости и счастья.

— Ты спишь? — спросил он Надю.

— Нет!

— «Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно!»

— Что? Ах, да! Крылов!

— Вот ты — жемчужное зерно, драгоценность! А я глупый петух. Поняла?

Надя тихонько рассмеялась:

— Оба мы глупые! Давай спать!

Но не успела она положить голову на подушку и закрыть глаза, как увидела, что к самому ее изголовью наклонилась Мымра и разбудила ее словами: «Вставай, можно ль так спать, как лагерный пожарник: сутки на одном боку». «Я не сплю!» — встрепенулась Надя и вскочила с кровати. «Иди же скорее, он ждет тебя!» — И пошла к двери. Надя кинулась следом, но Мымра уже успела скрыться. Она со всей силы налегла плечом на дверь и отворила ее наружу. Оттуда вихрем полетели ей в лицо легкие пушистые снежинки. «Куда же она ушла?» — подумала Надя, боязливо озираясь по сторонам, не встретить бы опера Горохова. Она знала и чувствовала, что он где-то поблизости караулит Клондайка. Она осторожно ступила в снег и пошла вперед. «Где же я найду его? Если крикнуть?» Но побоялась. Она подняла голову, увидела, что стоит под вышкой, и догадалась, что он ждет ее именно там, на вышке. «Почему он там? Ведь я теперь имею паспорт, я свободна!». С первой же ступени, заглянув наверх, она обнаружила, что вышка пуста, пол в ней сгнил и провалился. И опоры, на которых она держалась, тоже подгнили и покосились. Расстроенная, в слезах, она повернулась и пошла обратно. В дверях стояла Мымра, ехидная усмешка пряталась в ее тонких губах. «Ну что же, где он?» — спросила Надя. Мымра захохотала, злобно блестя глазами:

«Опоздала! Опоздала! Ножом, как свинью, зарезал, в самое сердце угодил!» «Нет, врешь! Не может быть!» — закричала Надя. Голос ее эхом разнесся по заснеженной тундре. И вмиг проснулась.

Встревоженный Володя тряс ее за плечо.

— Что с тобой? Что? — он озабоченно всматривался в ее испуганное, со сна, лицо. — Что тебе приснилось, ты так вскрикнула?

Но она уже пришла в себя.

— Ничего! Ерунда какая-то, не пускай меня ходить по тундре одной, — прошептала она.

— Что? — не разобрал он.

Но Надя уже спала снова, положив голову на его согнутую руку. А Володя, боясь потревожить ее, еще долго смотрел на ее спящее лицо и лиловые тени под глазами от ее длинных черных ресниц, озаренных первыми лучами рассвета, которые уже пробивались через щели плотно закрытых занавесок. Он никак не мог заснуть, производя в уме «переоценку ценностей». Получив в

жены вместо победительной гетеры (влюбившись в нее с первого взгляда) смешную и трогательную девочку, напичканную сказками с надуманной любовью, о какой на самом деле и понятия не имела. «Жгучая тайна» оказалась простым детским увлечением, фантазией, всегда сопровождающей незаурядные, творческие натуры.

Через неделю, по настоянию всех членов новой Надиной семьи, она подала заявление на расчет. Доводы, выставленные Субботиными, не убеждали, но начинать новую жизнь с возражений ей не хотелось.

— Не престижно молодой Субботиной работать на стройке простой плиточницей! — заявила Серафима Евгеньевна.

— Не имеет смысла тратить силы на то, что могут делать другие, нужно учиться! — добавила Татьяна.

— Нельзя обделять вниманием мужа, — обрадовался Володя. И только один Лев сказал:

— Сама пусть решает, как ей быть.

— Что же ты? Квартиру получила и сматываешься? — попробовал пристыдить ее Степан Матвеевич.

Аня сидела в новой конторе за его столом и закрывала наряды.

— Кому нужна ее квартира? Сарай! Там зимой жить нельзя, электричеством отапливалась! Я там месяц жила, думала, Богу душу отдам!

Надя промолчала о том, что топить к весне начали лучше после того, как в парадном трубы перемерзли. И вообще, не взбрыкнула, не сказала: «Можете взять ее себе, эту квартиру», — а хотелось бы! У нее были другие планы. К зиме прописать к себе тетю Варю, как надоумил Володя. Хватит старухе на коромыслах воду носить.

ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО ПРИСОХЛИ НАМЕРТВО!

О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!

Ф. Тютчев.

Тот год был счастливый для Нади. Она вышла замуж за милого, обаятельного молодого человека, достаточно способного и честолюбивого, чтобы при удачном стечении обстоятельств добиться успеха в науке. Надю он обожал, любил без памяти, хотя и не был до конца уверен в том, что так же пламенно любим в ответ. Любила ли она его? Конечно же любила! Но не так, как «тогда», — проще, без душевного трепета, без сердечного надрыва, приземленнее. Как любящего, нежного мужа и первого мужчину в своей жизни. Здесь не было утонченной нежности, от которой у нее когда-то кружилась голова, захватывало дух и прерывалось дыханье. Не замирало трепетно сердце, и не шалела душа. Зато все было доступно и просто: «огнь желанья» без стихов Тютчева, без особой романтики.

Впервые в жизни ей представилась возможность всецело посвятить себя пению. К осени Надя уже была студенткой Московской консерватории. Ее новая семья не только необычайно серьезно отнеслась к ее занятиям, но и, живо интересуясь, принимала близко все, чем жила Надя. С ее приходом, она как бы открыла им вновь давно утерянный мир искусства, заставила заново звучать роскошный «Стейнвей», внесла свежую струю в их благополучно-размеренную, скучную жизнь.

Однако, как сказал однажды Володя «как кобру не ласкай, все равно когда-нибудь да тяпнет!». Несколько раз Надя нетерпеливо срывалась и «тяпала» его, называя «гнилым продуктом прогнившей эпохи» за увлеченность спортом в ущерб интеллекту, как ей казалось.

Другой раз, отмечая какой-то семейный праздник, Серафима Евгеньевна, сокрушаясь, пожаловалась за столом:

— Удивительное дело! В магазинах пропала приличная обувь, — и всплеснула короткими, пухлыми руками. — Вот что значит не стало хозяина. А без хозяина и дом сирота.

— А был хозяин? — не без яда, спросила Надя.

Серафима Евгеньевна не уловила язвительного тона и вполне серьезно ответила:

— Конечно! Товарищ Сталин был хозяин, строгий, но

справедливый!

Надя, не выдержав, фыркнула:

— А я не собака, мне хозяин не нужен! Тем более с дубиной, как Сталин. Я сама себе хозяйка!

— Можете ругать и поносить все то, чему поклонялись, но справедливости ради следует сказать: при нем не было такого воровства и распущенности, а сейчас, — простите за выражение — бардак! Настоящий бардак!

— А был всесоюзный концлагерь с даровой силой и беспаспортными крепостными! — несколько вызывающе, сказала Надя. — Из двух зол, я лично, предпочитаю бардак, там хоть весело!

По-разному была встречена ее дерзость. Татьяна — с явным одобрением улыбнулась ей. Лев удивленно поднял свои брови и посмотрел на Надю.

— А дочка у меня с характером! Палец в рот не клади!

Володя промолчал и только ехидно улыбнулся: «Кобра!»

— Нет, что не говори, а порядок был! — сердито вздернув голову, сказала Серафима Евгеньевна и обиженно оглянулась, ища поддержку.

Надя замолчала. Ей было, что ответить и очень хотелось: «А как Сталин держал этот порядок, вы знаете? Нет? Только внушая ужас и страх тюрьмами и лагерями! Заставил повиноваться!» Но притихла, не захотела конфликта. Она уже не была бедной родственницей, а почти одна вела все домашнее хозяйство после ухода Фроси. Надю Фрося встретила поначалу в штыки, но со временем пообмякла и даже «зауважала».

— Ты молодец, Надька, — говорила она, — никакой работы не чураешься. И правильно. Тебя кормят, поят, одевают, учат, и ты старайся. Не сиди, как гусыня, на яйцах.

Хозяйку свою, Серафиму Евгеньевну, она ни в грош не ставила. Звала ее за глаза «неумеха», а в глаза дерзила, как хотела. Стычка с хозяйкой всегда заканчивались ее победой и сердечным приступом Серафимы Евгеньевны.

— Повезло же кулеме жизнь просидеть, как у Христа за пазухой! Такого мужика отхватила! А девку вон какую загубила!

— Как загубила? — ужаснулась Надя.

— Как, как! Просто! Сама, кулема, нянчить не хотела, доверила няньке, та и уронила дитё, да ведь скрыла, стерва! Вот что! Обнаружилось, когда горб рости начал… А лицо-то! Смотреть глазам больно, красавица писаная! — и, помолчав, добавила: — Вся в отца.

Незадолго до ноябрьских праздников Фрося объявила, что выходит замуж и оставляет Субботиных. Все хором бросились

уговаривать ее остаться. Но Фрося была непреклонна.

— Ишь, поднялись, раскудахтались! Вон вас трое баб, справитесь одни! Теперь не то время в прислугах жить.

Серафима Евгеньевна была в отчаянии и простонала целую ночь. Но Надя веско заявила:

— Тишина и спокойствие в доме стоят дороже вымытой посуды и полов!

— А все же ты натуральная кобра! — сказал ей на кухне Володя, целуя в щеку, пока она мыла посуду после ужина. — Настоящая Нагайна!

— Пора бы тебе знать, у меня давно есть подпольная партийная кличка для конспирации, — строго сказала она.

— Какая?

— Ушкуйница! Понял? Сохрани в секрете.

— Ушкуйница? — с восторгом переспросил Володя. — А ты ведь и в самом деле ушкуйница! Кто же тебя так верно назвал?

— Тот, кто знал меня лучше, чем ты! «И еще называл меня «самая-самая» и «бунтарка»!» — Но это Надя сказала не вслух, а сама себе.

Однажды, когда уже многое стало забываться, а кое-что просто не хотелось вспоминать, Наде припомнился разговор с Вольтраут в хлеборезке. Было тогда ей очень худо. Пришло известие о смерти матери, и Надя плакала несколько дней подряд, горько и неутешно, до беспамятства, до боли в сердце.

— Этот мир так устроен, за все приходит возмездие, за все платим, за хорошее и за плохое, — сказала тогда ей Вольтраут.

«За все платить? — вздыбилась возмущенная до глубины души Надя. — За что? Чем виноваты наши бедные женщины, чьих мужей и сыновей поубивали на фронте? Чем виновата моя мать? А те, кто вернулся калеками, защищая свою землю? За что они платят? За какие грехи?»

«Вы не можете этого знать. Вы в ответе не только за свои грехи, но и за грехи своих отцов, дедов и прадедов. И платят не только за действие, за подлое молчание тоже. Провидение ведет счет вашим поступкам, плохим и хорошим. — Потом она насмешливо улыбнулась своей лисьей ухмылкой. — Так что, если хотите, чтоб дети и внуки ваши были счастливы, не грешите!»

«Когда видишь, как привяжутся беды к одному человеку, так и не поверишь в справедливость этого Провидения», — с мрачным унынием сказала Надя.

«И тем не менее оно существует! — спокойно ответила немчура. — И вы еще не раз почувствуете на себе его святую волю». Теперь, счастливая своими успехами, с надеждами на блестящее будущее, она часто вспоминала Вольтраут и думала:

«Не пришло ли время для нее рассчитаться за те несчастья и страдания, которые выпали в свое время на ее долю?» Мало кто узнал бы из прошлых знакомых в этой холеной и гордой красавице тощую худышку, «кошку драную», из «сталинского монастыря — Речлаг». Только дома да со своей преподавательницей, профессором Катульской, она была проста, добра и сердечна. Теперь одна тетя Варя, ее единственная родня, невидимой ниточкой уводила ее в прошлое. Все реже и реже она вспоминала о нем, — новое властно вытесняло из памяти события прошлых лет. И только в снах своих она, изредка возвращалась опять «туда», к «ним», в Воркуту, но Клондайка она забыть не могла. Несправедливая, трагическая судьба его, как «пепел Клааса», стучала в ее сердце, не давала быть вполне счастливой. Ей снились этапы, темные тучи зеков, идущих строем, стрельба, разводы бригад, черные терриконы шахт, возвышающихся посреди безжизненной тундры, и полчища леммингов. Один раз она видела пожар. Страшный, беспощадный огонь неотвратимо наступал отовсюду, застилая дымом горизонт, и не оставлял надежды на спасение. В черном, ядовитом дыму и огне, она знала, погибал тот, кого любила она «больше жизни своей». Проснулась среди ночи, дрожа от испуга и отчаяния, и долго не могла прийти в себя. До рассвета молилась и плакала в подушку, прося прощенья у того, кого любила и, как ей казалось, предала, изменив своей любви. В такие дни она становилась замкнутой, «неродной», как говорил Володя, и его искреннее желание развеселить ее, вызывало в ней чувство досады и неприязни. Однако напрасно Надя считала, что с прошлым покончено раз навсегда. Оно, это «темное прошлое», напоминало о себе иной раз самым неожиданным образом.

Уже будучи студенткой консерватории, она по-прежнему любила забегать к своей Елизавете Алексеевне, не забывая поздравлять ее и Риту с праздниками. Накануне дня рождения Елизаветы Алексеевны, двадцатого сентября, Надя отправилась в ГУМ посмотреть, что можно было купить для подарка этой взыскательной и капризной даме с безукоризненным вкусом. В одном из отделов она нашла, что хотела. Оренбургский платок из козьего пуха, ручной вязки, тончайший, как паутинка, и такой же невесомый. «Белые кружева из пуха, какая красота», — решила Надя и тут же встала в очередь к продавщице. Как водится в таких случаях, спросила:

— Кто последний?

— Я, — сказала женщина, обернувшись. И обе разом вскрикнули:

— Надька!

— Кирка!

Платок в тот день она не купила. Обрадованная, она в первый же момент подумала: «Слава Богу, я одна, нет Володьки!»

Они вышли из ГУМа, забыв о покупках, забрасывая друг друга вопросами.

— Как ты?

— А ты как?

— Мне наш бывший опер Арутюнов сказал, ты в Александров высылку получила.

— Было такое! Теперь разрешили в Москве, по инвалидности. Живу у мамы…

— Последний переулок, дом десять, Нине Аркадьевне?

— А ты помнишь? — радостно отозвалась Кира. — Ох, и погонял меня участковый! Два раза ночью, в дождь, выгнал, да еще посадить обещал. А третий раз у соседей спряталась! Ты-то где обретаешься? Кого наших видишь?

— Никого! Только опера на телеграфе встретила.

Надя припомнила, что Киру увезли в инвалидный лагерь и она не могла знать последние события на Воркуте.

— Значит, ты выскочила по инвалидности?

— Ни черта подобного, от звонка до звонка, весь срок! Эта обещали инвалидов в первую очередь пустить. А еще их там полным-полно, и в Ухте, и в Инте, и по всем совхозам. У меня ведь восемь лет было — ОСО.

— Повезло тебе, Кирюша, всего восемь, а у девчат-москвичек меньше десятки ни у кого не было, да еще трибунал с рогами.[12]

— Большому кораблю большое плавание, — опять весело рассмеялась Кира. — А я утлая лодчонка, за что же мне десятку?

Так за разговором, незаметно они вышли на Красную площадь. У мавзолея с надписью: «Ленин, Сталин» стояла небольшая очередь. Человек двадцать. Шли быстро.

— Видала? — кивнула головой Кира.

— Нет еще!

— Да ты что? Я лично прямо с поезда, можно сказать, «с корабля на бал», к другу ситному рванула. Очередь огромную отстояла, аж от Манежа. Зашла, говорю: «Лежишь, сучье твое племя! Стервец! А я живая, хоть и с тубиком… Чтоб тебе на том свете черти одно место припекли!». — Идем, сходим!

— Да ты же была!

— С удовольствием еще разок погляжу. А вдруг ожил!

Ничего подобного, никакой радости Надя не испытала, увидев два рядом лежащих трупа. Ленин и Сталин. Проходя мимо застекленного саркофага, она подумала, сколько жизней было унесено по одному их слову, но час настал, и вся земная слава и

величие не спасли от самой обыкновенной, простой смерти. И еще она подумала, что выставлять мертвых напоказ публике кто-то решил немудро. И вряд ли Ленин, при его бытовой скромности, одобрил бы такую святотатственную помпезность, при которой на его надгробье каждый праздник взгромождаются не его друзья-соратники, а совсем случайные люди.

— Поедем ко мне! У меня сегодня сабантуй небольшой, наши приедут…

— Спасибо, Кирюша, мне домой надо, куча дел всяких…

— Ну, что ж, тогда бывай! — Женщина ты замужняя, не чета нам, холостячкам! — и, помахав рукой на прощанье, скрылась в толпе.

«Вот и подумай! Лежит, окружен почестями, убийца миллионов невинных людей, народ оплакивает его смерть, а где же справедливость Божественного Провиденья? Зло торжествует. Невинность наказана. Так?» — размышляла Надя, направляясь к дому.

Другой раз, уже ранней весной, на выходе из метро «Библиотека им. Ленина», ее схватил за локоть мужчина. Она чуть не выронила сумку, резко отдернула руку и обомлела. Перед ней стоял Павиан. «Слава Богу! Я одна!» — опять мелькнуло в ее голове.

— Не узнаешь, Михайлова? — спросил приветливо он.

— Нет, почему же узнала!

— Вот ты какая стала! — сказал он, одобрив взглядом ее новую ондатровую шубку, подарок Льва. — Я с тобой в одном вагоне ехал, все смотрел на тебя и думал-гадал, ты или не ты!

Павиан был в штатском и неплохо выглядел.

— Где ты теперь, чего поделываешь?

— Учусь, в консерваторию поступила…

— Молодец! Ну, в тебе-то я не сомневался!

— А вы где?

— В отделе кадров на заводе, из армии ушел, демобилизовался!

Они вышли на Манежную площадь. Холодный, порывами, ветер не очень располагал к прогулкам. Но Надя ухватила его под, руку, надеясь узнать у него что-либо нового о деле Клондайка.

— Если не торопишься, пойдем, посидим где-нибудь. Я с работы, устал, есть, как пес, хочу.

— Вы с Воркуты давно? — спросила Надя-

— Да уж порядочно, больше года!

— Вы о Тарасове что-нибудь слышали?

Павиан прищурил свои небольшие карие глаза, будто

вспоминая издалека о прошлом.

— Как же! В комиссии был по расследованию, читал протокол твоего допроса. Ну, как? Посидим, пойдем?

— Пошли, — согласилась Надя, — только ненадолго, меня дома ждут.

— Ты замужем, конечно?

— Да! — коротко ответила она, не желая вдаваться в подробности своей семейной жизни, понимая, что выглядит не совсем порядочно со скорым замужеством. Они быстро дошли до «Националя» и зашли в кафе на первый этаж. Народу было немало, но их быстро обслужили. Надя есть не хотела, вернее, не хотела вернуться домой сытой, и заказала себе только чай с миндальным пирожным.

— Так расскажите, что вы там со своей комиссией расследовали? — нетерпеливо спросила она, как только официантка отошла от них с пустым подносом.

— Да ничего хорошего! Время еще такое неподходящее было. В самый разгар опросов черт знает что поднялось! Восстания, саботажи, заварухались шахты! — сказал он и улыбнулся, как бы извиняясь за лагерное выражение.

— Прикипело, видно! — угрюмо вставила Надя.

— Какое там! Слабину надыбали! Приказ вышел расстрелять зачинщиков, тогда сразу угомонились! Угостили кое-кого!

Надя сидела, как на иголках. Бес вертелся и подзуживал. На она молчала, будто в рот воды набрала. Нужно было узнать все до конца.

— Видишь ли, следствие тогда сразу пошло не тем путем. Он закончил свой бульон с фрикадельками и, отодвинув с шумом тарелку, принялся пилить тупым ножом жилистый кусок мяса.

— Отец его приехал, полкаш, и все запутал.

Наконец с большим усилием он искромсал мясную лепешку под названием ромштекс и по куску стал отправлять в рот. «Ну, давай же, жри быстрей!» — торопила его мысленно Надя.

— Там ведь как? Из Москвы приехал, значит, чин, ему и вера.

— Каким же образом он мог запутать? — в полном недоумении спросила Надя.

— Ты что? Или не знаешь? — с недоверием посмотрел на нее Павиан, — Тебя же следователь допрашивал, я сам протокол твоего допроса читал!

— Да. Кажется, даже два раза.

— На тебя показывал его отец. Он тогда сразу заявил, что это твоя работа, и на статью твою указывал. Бандитская статья!

— Быть этого не может! — в ужасе прошептала Надя.

— Главврач к тебе в первый день никого не пустила. А он

рвался! Просил устроить тебе медэкспертизу. Обвинил врачей, что покрывают симулянтку. Хотел сам вести допрос.

— Не может быть! — опять, как во сне, растерянно повторила Надя.

— Да, так! Насилу угомонился. Допросили одного парнишку, он на машине с тобой хлеб возил. Ну и сразу все пошло-поехало. Да, попетляли здорово из-за этого полкаша. Ты не выпьешь со мной по рюмашке?

— Нет, нет! — Надя отчаянно закрутила головой.

— Ну, молодец, раз поёшь, то нельзя! Да, попетляли! — еще раз повторил он задумчиво и, увидев проходящую мимо официантку, заказал сто граммов коньяку.

— Я тебе скажу, Тарасов тоже неосторожен был. Кой черт его понес в такое время, когда приказ по гарнизонам был: без дела не шляться поодиночке? Небось, тебя встречал?

— Наверное, — глухо ответила Надя, чувствуя, что вот-вот сорвется и завоет в голос.

— Я так и догадался! Бодяг на него было писано-переписано и от вольных, и от вашего брата, вернее, сестры, заключенных. Одних только я в печку сколько засунул.

«Врешь, гад, все бодяги в оперчекотдел отослал!» — змеей прошипел бес.

От коньяка Павиан оживился, повеселел, стал разговорчивее и сказал Наде то, что в другое время попридержал бы вместе со своим языком.

— Лейтенанта Арутюнова помнишь? Опером недолго у вас был. На аккордеоне все рвался поиграть!

— Помню!

— Каждый раз спрашивал меня, что, говорит, делать, опять на Тарасова бодягу настрочили? Жаль, парень-то хороший! Я ему говорю: суй в печку!

«Врешь, сукин сын, такого не бывает!» — опять возник бес.

Павиан закончил жевать и, не торопясь, понемногу цедил коньяк. — Да, напутал тогда папаша! А то было, и дело твое велел затребовать. Кричал: «Судить ее, а не лечить надо!»

Наде стало душно и не хорошо, она стянула с себя шарф. — Не отец он ему — отчим, — тихо сказала она и отхлебнула холодный чай. Крепкий чай с лимоном немного привел ее в себя.

— Замяли это дело. Да и полковник, как его там, отец или отчим, понял, что дров наломал, и убрался восвояси.

Подошла официантка и попросила рассчитаться, но Павиан заказал себе еще чай, тоже с лимоном.

— Тут что получилось? — Он пригнулся к столу и продолжал говорить шепотом, словно боялся, что кто-то подслушает

государственную тайну. — На Капитальной, где-то в пятидесятом, а может, раньше, устроился преступник, как потом оказалось, объявленный во всесоюзном розыске еще с войны. Никто не удосужился послать о нем запрос, да и без толку бы. Жил он под чужой фамилией, с чужими документами, характеристику с шахты отличную дали. Там потом всем шею намылили за ротозейство, — ухмыльнулся Павиан, видимо, довольный, что не одному ему доставалось от начальства. — Да и кому придет в голову искать преступника около лагерей. Хитрый! С расконвоированным одним, таким же бандитом, они время от времени набеги устраивали. То в городе, то в поселках деньгами разживались, документами, а главное — оружие! На Тарасове чуть и не закончился. Пекарь из вашей пекарни сознался, показал на него.

— Мансур?

— Не помню! Нет, кажется, из прибалтов.

— Уго, — догадалась Надя.

— Короче говоря, пока собирали доказательства, пока прокурор ордер на арест подписал, поехали брать, а его и след простыл!

— Когда по пятьдесят восьмой хватали, доказательств не искали долго. Газета в сортире с портретом Сталина — вот уже и срок! — с горечью сказала Надя.

— Было, было! Что и говорить! — подтвердил Павиан.

Внезапно Надя почувствовала приступ бешеной злобы и отвращения к этому Павиану. «Он меня за свою принимает, а я только случайно не «контра», донести на меня было некому». Но, подавив в себе беса, она поднялась.

— Я пойду, пора мне.

— Подожди, я провожу тебя!

— Не надо, я сама, — помогите мне только шубу с вешалки взять.

Видимо, он догадался, что творилось в ее душе, потому что не настаивал, а, подавая ей шубу, сказал:

— Когда же тебя слушать будем? В опере или как?

Надя, застегивая на ходу полы шубы, не оборачиваясь, пошла к двери. Потом остановилась и попрощалась.

— До свиданья, спасибо.

На улице, как всегда, находились разного возраста мужчины, желавшие познакомиться с Надей, составить одинокой девушке компанию, но, увидев неприступное, злобное выражение ее лица, недоумевая, проходили мимо. Всю дорогу домой она гневно возмущалась, вспоминая свой разговор с Павианом: «Мало того, что полковник Тарасов загубил жизнь своего пасынка, ему еще

хотелось устроить мне новый срок! А за что? Из подлости? Когда-то мне говорила Антонина, что есть категория людей, для которых убить, оговорить, донести просто так — удовольствие, радость жизни. Я не очень верила ей, оказывается, есть! Оттого и тянет их работать полицаями у немцев, во всяких «органах» у нас. Это же нелюди! Их надо выбраковывать, как паршивых овец из стада. Нет, хуже! Как бешеных собак».

Домой она вернулась в самом отвратительном настроении. Но уже с порога услышала, как Татьяна играла ноктюрн Чайковского, оттаяла, обмякла, а попав в дружелюбную атмосферу своей семьи, и особенно Володи, не захотела больше думать о своем свидании. Еще одна неожиданная встреча с прошлым произошла у нее гораздо позже и до некоторой степени изменила весь ход ее жизни. Уже на втором курсе консерватории Елена Клементьевна посоветовала ей посмотреть дома ноты песни Любаши из «Царской невесты» Римского-Корсакова. Ко всем замечаниям и рекомендациям своего «маэстро», как она величала свою преподавательницу, Надя относилась необычайно серьезно и вдумчиво. В первый же спектакль в Большом театре на «Царскую невесту» Лев взял билеты. Володя, все еще без памяти, а, пожалуй, и больше прежнего влюбленный в свою жену, был рад пойти с ней в театр и, хотя в оперной музыке смыслил мало, в отличие от сестры, больше любил смотреть футбол, особенно по телевизору, от души наслаждался приподнятым настроением Нади, ее торжественно-парадным видом. С первых же звуков увертюры поразительная красота музыки увлекла и перенесла ее душу в мир шестнадцатого века. Володя с доброй усмешкой изредка посматривал, как «кобра» неотрывно и напряженно слушала и смотрела на сцену, боясь пропустить хоть малейший звук. Любаша была явно неудачна, и Надя отмечала про себя, уже профессиональным ухом певицы, все промахи и огрехи.

В антракте Володя предложил «посмотреть на людей, себя показать», то есть погулять по кругу в большом зале, спесиво убедиться, что его жена самая красивая, купить программу, а, возможно, и заглянуть в буфет, просто так, от хорошего настроения.

Стайка иностранцев фланировала с общим потоком в фойе. Впереди них две иностранные дамы о чем-то оживленно беседовали и громко смеялись. Надя не прислушивалась, да и все равно не поняла бы ни слова. Она только удивлялась, как могли они так мало проникнуться духом этой восхитительной музыки и так свободно и развязно болтать и смеяться.

— Пойдем отсюда! Не слышала я еще лошадиного ржанья, — недовольно сказала она.

И в этот момент одна из иностранок быстро обернулась и посмотрела на Надю с откровенным изумлением. Вспоминая потом эту встречу, Надя говорила себе, что, если б потолок с огромной люстрой рухнул в тот миг, она меньше поразилась и испугалась бы, чем этой блондинки. Она тотчас узнала это лицо и ужас охватил все ее существо до мозга костей. Еще ужасней было то, что Вольтраут тоже узнала Надю и, радостно улыбаясь, воскликнула:

— О!

Надя резко повернулась и, увлекая за собой Володю, бросилась вон. На ее счастье прозвенел звонок, призывая публику занять места к началу второго акта. Володя, едва поспевая за ней, с размаху шлепнулся в свое кресло. От его внимания не укрылось необычное бегство Нади.

— Что с тобой, Надюша?

Но она уже взяла себя в руки. Надо было во что бы то ни стало не дать ему догадаться, что она бежала от испуга.

— Ничего! — как можно спокойнее ответила она.

— Ты так бежала, будто боялась, что места наши займут.

— Я вдруг почувствовала себя нехорошо! — соврала она первое, что пришло в голову.

— Ты и в самом деле побледнела, хочешь, уйдем?

Но партер и ложи уже заполнились зрителями, капельдинеры закрыли двери, и свет медленно погас.

— В следующем антракте можем уйти, — согласилась Надя.

— Эта англичанка так на тебя посмотрела. Я думал, она тебя знает.

— Откуда ты знаешь, что она англичанка? — уже шепотом спросила Надя.

— Они говорили по-английски!

Но больше разговаривать не пришлось. Дирижер встал за свой пульт, и публика встретила его аплодисментами. Во втором акте сцена в Александровской слободе у дома Марфы Собакиной и ария Любаши, тоже нужно было послушать, но Надя уже ничего не слушала и не понимала, что происходило на сцене. В ее смятенной голове билась одна мысль: как проскочить незамеченной в антракте и бежать без оглядки!

«Вот до чего я дожила!» — тянула невыносимо долго и вяло Любаша.

— Как муха в простокваше, — шепотом сказала Надя.

Наконец последние звуки оркестра смолкли, пошел занавес.

Засверкали многотысячные хрусталики люстры, ожили десять богинь на потолке, и зрители двинулись к выходу. Надя смешалась с толпой и, подойдя к двери, увидела Вольтраут. Она

смотрела из ложи бенуара поверх публики и явно искала ее. На счастье Надя увидела ее первая, она повернулась и пошла обратно, наперерез толпе, на свое место.

— Куда ты, Надя? — Володя едва успел поймать ее.

— Я сумку забыла!

Она добралась до своего кресла и, уже сидя, оглянулась. Вольтраут стояла в конце зрительного зала и пройти мимо нее незамеченной было совершенно невозможно,

— Ты знаешь, — обратилась она к нему, — там еще сцена с Бомелием, очень важная, мне нужно послушать.

— Тогда я пойду покурю, не возражаешь?

— Ступай!

Надя сжалась в кресле, раскрыла программу и стала рассматривать ее, «как баран новые ворота», тупо, ничего не понимая. Она косила глаза по сторонам, как загнанный зверек, ожидая каждую минуту встречу с той, которую сейчас боялась больше привидения с того света. Если б не было с ней Володи! Все было бы иначе. Не бегала бы она из угла в угол. Но тут придется объяснять, откуда ей известна эта «англичанка», и уж совсем неизвестно, как поведет себя Вольтраут. Расстались они мирно и мирно сосуществовали в течение пяти без малого лет, но где? Зечками в лагере! Валя легко могла догадаться, что муж ее ничего не знает о ее прошлом. И хотя она тоже была реабилитирована, как говорили политические, пять лет лагеря по статье за бандитизм никуда не спрячешь. В любой миг может спросить ее: «Когда освободилась?» — помнит ли хлеборезку, опера Горохова или еще что-нибудь в этом роде. Надо было тогда, когда пришел к ней Володя и сказал: «Выходи за меня замуж», честно, как на Духу, ничего не скрывая, рассказать ему все. Пусть бы сам решал. Да, собственно, а что было скрывать? Так размышляла Надя, забившись в кресло, а сзади уже подходили к ней Володя и улыбающаяся Вольтраут. Говорят, что даже заяц, загнанный в угол, становится опасным от отчаяния. Вызов и недоверие увидела на лице Нади Вольтраут и улыбнулась ей ободряюще, сказав глазами: «Не бойся, не выдам! Я вас поняла!»

— Здравствуйте, Надежда Николаевна! — радостно улыбаясь, воскликнула она. — Какой счастливый случай! — и протянула обе руки.

— Здравствуй, Валюша! — сразу успокоилась Надя, стоило ей увидеть вблизи такое дорогое ей по воспоминаниям лицо.

Представляешь, Надюша, выхожу в фойе, а дама спрашивает меня, не я ли муж Надежды Николаевны?

— Пойди покури, мы поболтаем с Валей, давно не виделись.

Вольтраут села в свободное кресло и засыпала Надю

вопросами. Она очень изменилась. Изящная и ухоженная, в темном, дорогом платье, она выглядела элегантной и моложавой. Небольшая нитка натурального жемчуга придавала ее туалету нарядную законченность. Совсем немного косметики и короткая стрижка очень шли ей и молодили.

«Сколько же ей теперь? Около сорока!»

— Тебя, Валя, не узнаешь!

— Вы тоже прелестно выглядите, Надя, хотя всегда были красивы, даже в платье цвета «поросячьего визга». Помните?

Вспомнив розовое платье, обе рассмеялись весело и искренне, после чего натянутость и недоверие Нади исчезли совсем,

«Не выдаст!» — решила она. — Где ты теперь? Как освободилась, ведь у тебя был такой срок, страшно сказать!

— Спасибо канцлеру Аденауэру, если б не он! — улыбнулась Валя. — Работаю в западногерманской фирме. Иногда бываю в Москве. Она достала из сумочки визитную карточку и протянула Наде. — Я живу в Метрополе, позвоните мне завтра или лучше давайте встретимся.

— Когда? — спросила Надя.

— Я улетаю в воскресенье в Киев. Давайте послезавтра, скажем, в два?

— Не могу, у меня занятия, только после четырех.

— Прекрасно! — согласилась Вольтраут. — В пять жду внизу, в вестибюле.

Прозвенел звонок, антракт закончился, и Вольтраут пошла в свою ложу. Прежде чем спрятать в сумку ее визитную карточку, Надя с любопытством прочитала: «Мадам Джонатан Брюстер… эксперт … Мюнхен».

— Кто эта дама? — спросил Володя, усаживаясь в свое кресло. — Я думал, она иностранка!

— Нет, какая иностранка! — слишком горячо поспешила разуверить его Надя. — Валя русская, она переводчица у иностранцев в УПДК.

К счастью, занавес поднялся, и звуки оркестра помешали дальнейшим расспросам, но она знала, они могут возникнуть, и мысленно приготовилась. «Валя — Ритина приятельница. Часто встречались раньше у Риты. Как-то были вместе на новогоднем празднике». Но Володя или забыл, или не захотел интересоваться Валей и больше о ней не спрашивал. Вообще, он был доверчив и обманывать его было так же совестно, как ребенка, да и не было нужды.

Через два дня, в пять с минутами, Надя позвонила из метро с площади Революции Вале в номер и, когда к телефону никто не подошел, смело направилась в гостиницу. О «Метрополе» ходила

дурная слава, но в вестибюле ее уже ждала Вольтраут. Вскоре они сидели в небольшом, но уютном номере, где пахло Валиными духами и заграничными сигаретами.

— Курите! — предложила Валя, пододвигая ей пачку сигарет с верблюдом, но тут же спохватилась: — О-ля-ля! Я и забыла, вы поете, я не ошиблась?

— Нет! Не ошиблась, учусь! Давай, Валя, выкладывай все по порядку, сначала ты, потом я! Сколько мы не виделись? С пятьдесят третьего. Не так много по времени, как по событиям.

— Тогда задавайте наводящие вопросы! Как на следствии! — Валя весело и, казалось, от души рассмеялась, а Надя подумала, что никогда не предполагала, как может весело смеяться «немчура». С трудом узнавала она в этой хорошенькой оживленной «лисичке» свою злоязычную помощницу. Казалось, Вольтраут сменила не только свою жесткую немецкую фамилию — фон Шлеггер на веселую — Брюстер, но и весь свой зловредный нрав.

— Так как же ты освободилась, я что-то не поняла?

— Нас всех, немецкоподданных, освободили, как пленников войны, после приезда в Москву бундесканцлера Аденауэра. По его личной просьбе.

— Повезло вам иметь такого «папочку»! — пошутила Надя.

— Повезло, что и говорить! Но и ваш папа «Джо» вовремя в Бозе почил.

Валя сняла телефонную трубку и заказала в номер чай.

— Ты, Валя, думаешь, все так рады его смерти, как мы с тобой? Ошибаешься! Не все, далеко не все. Многим при нем вольготно-весело жилось. Еще полно тоскующих по хозяину!

— Я вам давно говорила, а вы обижались: русские любят палку, поэтому и крепостное право у вас в России так долго держалось!

Надя хотела ответить, но Вольтраут приложила палец к губам и показала ей жестом на телефон. После этого она сразу переменила тему.

— У вас очаровательный муж и, знаете, чем-то похож на нашего, помните? Режимника! Мы его тогда прозвали Клондайк. В первый момент я глазам своим не поверила…

Оживленное лицо Нади погасло, и она невесело усмехнулась. — Не лукавь, Валюша! Ты же знаешь, как мне достался этот Клондайк. По живому резали и солью посыпали. Как мне его не помнить?

— Мне тоже рикошетом попало. Опер Горохов угрожал еще срок добавить за то, что не донесла, что у вас с режимником альянс!

— А что ты могла донести?

— Ничего! Я так и сказала. В обязанности хлеборезки не входит слежка за начальством. Что он мог мне сделать? Ничего! — Валя пожала плечами. — Попрыгал около меня да и отправил на этап.

— Куда он тебя тогда погнал?

— В Мордовию, Темников, Явас.

— Жутко? — спросила Надя, вспомнив несчастного Сашка.

— Не сказала бы. Не хуже, чем на Воркуте, все же деревья росли. Привезли нас в июле, жара!

— Ты Мери Краснову там не встречала? Она тоже где-то в Мордовии была.

— Мери ваша давно в Париже. Освободилась вместе со мной.

— Адрес мне свой она оставила. Париж, пятнадцатый Рандисман, улица Лурмель, а дальше не помню. Дома где-то записан…

— Хотите, напишите, я передам.

— Обязательно! В следующий раз. Ну, а ты замужем?

— Да, мой муж американец из Северной Каролины. Бизнесмен, красив, богат и, как вы любите говорить, «дремучий невежда», подлинный Клондайк!

Надя поежилась: «Клондайков больше быть не может». — И ты любишь его?

Валя усмехнулась и пожала плечами.

— В мире бизнеса слово любовь с двух сторон не присутствует.

— А почему дремуч?

— Как медведь! Он недавно узнал от меня, что Волга и Ольга не одно и то же. «Допотопный человек» в стиле Пятницы. Помните?

В дверь постучали, и официант вкатил столик с чаем, пирожными и еще какой-то снедью. Валя разлила чай и достала темную пузатую бутылку. На пробке болтался маленький человечек. «Napoleone», прочитала Надя.

— Что же, выпьем, как когда-то договорились. За встречу на свободе! — сказала Валя. — И расскажите о себе. Где поете?

— Пока нигде. Учусь в консерватории. Живу у мужа.

— Своих уже никого?

— Тетя, сестра отца, в Калуге. На днях заберу ее на зиму в Москву, добилась прописки.

— Тетя в Калуге… — задумчиво повторила Вольтраут. — Далеко это?

— Да нет! По Киевской дороге, поездом к ней езжу.

— Дом у нее свой?

— Есть. Старина пошехонская. Я у нее как-то зимой в отпуске жила. Хорошо! Как пимы свои одела, сразу хлеборезку нашу вспомнила.

— Она там совсем одна?

— Да, к сожалению, моя единственная родственница.

Валя налила себе и Наде коньяку и закурила, пуская колечками дым к потолку.

— Еще работает?

— Нет уже. Да ты же не курила, Валя?

Валя рассмеялась:

— Пардон, а что бы я там могла курить? Сушеный навоз вашей Ночки?

Коньяк был великолепный и огненной струей побежал по телу, пробираясь к самой душе. Но странно, после него не стало ни веселей, ни радостней от этой встречи. Валя тоже молча вертела в руке сигарету, не обращая внимания, что пепел сыпался на полированный стол.

Надя помрачнела, мысленно прокручивая в уме последние события тех дней, когда им пришлось попрощаться. Заметив это, Вольтраут поспешила сказать:

— Все, что Бог делает, к лучшему и не гневите его. У вас хорошо сложилась жизнь, вы учитесь, будете певицей, хорошей. Я помню ваш успех. У вас прекрасный молодой муж и, видимо, любит вас…

— Нет! — не дала ей договорить Надя. — Все не так просто. После Клондайка мне все мужчины казались мелкими и ничтожными, как шавки.

— И даже ваш муж? — с лукавым огоньком в лисьих глазках спросила Вольтраут.

— Меньше других! Он способен воспринимать истину!

Неизвестно почему, но Надя почувствовала, разговор этот взволновал Вольтраут. Еще не закончив сигареты, она смяла ее в пепельнице и сразу же чиркнула зажигалкой, прикуривая новую. Наде показалось, что рука ее слегка дрожала, но в неверном свете уходящего дня она вполне могла и ошибиться. Во всяком случае, когда Валя снова заговорила, голос ее был, как всегда, твердым и назидательным.

— Милая Надя! Чувство прекрасного, которым вы обладаете в полной мере, — чувство опасное!

— Почему же? Наоборот!

— Всегда есть большой риск остаться ни с чем! Потому что благородных и прекрасных людей, в мире почти не осталось. Истинная красота изменила свое лицо.

— Тогда мне действительно повезло! Я смело могу сказать,

что любила человека благородного и прекрасного,

— Тем болезненнее потеря. К вашему сведению, чрезмерная тяга к мужской красоте — большая наша женская ошибка.

— Что делать? — горько улыбнулась Надя, — Сердцу не прикажешь. Физическая красота волнует не только мужчин…

— Это по молодости. Позже приходит расчет, прагматизм, разум, наконец. Хотя первая любовь незабываемая, — сказала Валя с таким затаенным чувством нежности и тепла, что Надя, пораженная ее искренностью, невольно взглянула на нее с нескрываемым удивлением.

— Да, да! Поверьте мне, особенно если пришлось расстаться не по своей воле. Знаю по собственному опыту!

Надя обомлела: «Это же Анна Вейгоца! И толкует о своем Василе-«Козырном тузе», как же я могла забыть! Как запамятовала! Видно, память мою отшибло!»

Она тотчас поднялась из-за стола. — Ну, я пошла! — С Вольтраут встретилась с удовольствием, с Анной Вейгоцей говорить было не о чем.

— Телефон ваш у меня есть, буду в Москве, позвоню! — на прощанье сказала Вольтраут.

Сбегая по ступенькам широкой лестницы «Метрополя», Надя ругала себя за свою забывчивость. Она совершенно забыла о том, о чем целую ночь ей рассказывала Пашка толстоносая в госпитале: «Душегубка, гадина, — сказала она. — Повезло тебе, Анна Вейгоца ускользнуть от рук правосудия, спасибо канцлеру. Гуляешь на свободе». И тут же возразила себе. «Но ведь десять лет все же отбыла? С сорок пятого по пятьдесят пятый! Хоть десятку давали вообще ни за что! Светка Корытная, Наташа Лебедева, космополитка безродная Ирина Соболь, бессрочная Коза Антонина? Да мало ли их?»

В таком сумрачном и подавленном настроении вернулась Надя домой. Володя уже ждал ее и, помогая раздеть пальто, спросил:

— Ты где была? Я скучал, уже волноваться начал.

— У Вали! — небрежно ответила Надя, отворачиваясь от него, чтоб он не почувствовал, как от нее пахло коньяком.

— Что же ты меня с собой? не взяла?

— Во-первых, тебя не было дома, а, во-вторых, тебе было бы неинтересно с нами.

— Почему ты так думаешь? Мне всегда интересно с тобой… Это тебе со мной неинтересно, — с обидой сказал он.

Но Надя не имела настроения пререкаться и выяснять отношения с мужем. Она прошла в свою комнату, взяла первую попавшуюся книгу и села в кресло. Напрягая память, она

судорожно вспоминала, о чем ей целый вечер и ночь толковала Пашка. «Анна еще с гимназии спуталась с бандитом и убийцей. При поляках он был арестован за ограбление ювелирного магазина с убийством хозяина. Анна сумела выкрутиться, под суд не попала. Пришли Советы и его отпустили, как жертву польско-панского произвола. При немцах Анна работала переводчицей в СД».

Несмотря на дружественные заверения, Надя всем своим существом ощутила, что появление Вольтраут фон Шлеггер, — Анны Вейгоца, — прямая угроза ее спокойной, а может быть, и семейной жизни.

— Зачем ты дал ей наш телефон? — набросилась она на Володю.

— Но это же твоя приятельница, — удивился он. — И к тому же она меня сразу спросила телефон на случай, если бы мы не нашли тебя.

— Володя, давай сразу договоримся, — резко сказала Надя. — Мне много приходится заниматься и совсем недосуг встречаться со случайными знакомыми!

— Хорошо, в следующий раз я так и скажу твоим случайным знакомым.

Между молодыми пробежала тонкая, ледяная струйка отчуждения. Несколько раз он после работы подъезжал за ней в консерваторию, поджидая в маленьком сквере, но, как назло, ее каждый раз что-нибудь задерживало, и он, так и не дождавшись, досадуя, уезжал. Самолюбие его постоянно страдало от бесконечных дифирамбов Наде. Он растерял половину своих друзей, не собираясь больше шумными молодежными компаниями с застольем, чувствовал себя заброшенным и обойденным вниманием. Очень редко удавалось сходить с друзьями на футбол, больше был вынужден сопровождать Надю на концерты или в оперу. Она угнетала его своим яростным желанием самообразоваться, а он не мог знать, что она просто-напросто наверстывает невольно упущенные знания, потерянные годы в лагере.

Она напрочь не понимала прелесть компанейских застолий, где обязательно требовалось для начала, оглушить себя вином и только после этого начиналось веселье.

Ей были скучны недвусмысленные, пошловатые анекдоты «в стиле гражданина ЧОСа», над которыми так самозабвенно смеялись молодые люди.

— Ты просто лишена чувства юмора, не понимаешь их, — с сожалением говорил ей Володя.

— Юмор пошляков? Нет, не понимаю. Пошлость никогда не

называлась юмором. — И тут же рассказала ему ядовитый, но вне сомнений, остроумный анекдот, слышанный от Козы и известный в Речлаге, как анекдот Карла Радека об Иосифе Виссарионовиче в годы его ссылки в Туруханский край.

Володя оценил — посмеялся от души, но тут же сказал:

— Такие побасенки мы будем слушать лет через пяток! Постарайся не забыть, а пока смейся над пошлыми, если можешь.

— Я воздержусь смеяться, подожду пока осмелеете.

Развеселить ее могла только музыка. Зато всякая. Хор Пятницкого, джаз Эдди Рознера, органист Игумнов и непревзойденный джазист-пианист Цфасман, веселая оперетта и, конечно, — любимая классика в любом исполнении: певцами, скрипачами, пианистами, оркестром.

Володя же дальше песен из кинофильмов, да еще танцевальных ритмов в своей любви к музыке не дорос, как ни старался, и, будучи человеком искренним, зевал в опере и на камерных концертах, куда его частенько таскала Надя.

— Вот это и есть биологическая несовместимость козла с коброй, — говорила Надя, заметив его скучающее лицо.

Володя не сердился на нее и со смехом отвечал:

— Что ж делать? Не дал Бог ушей, все Татьяне досталось! Посмотрим, что покажет гибрид, в козла или в кобру? И все же один раз, не выдержав, он сказал ей:

— Знаешь, если бы ты оставалась простой плиточницей, как раньше, мне было бы намного теплее с тобой.

Надя готовилась к зачетам, не все ладилось у нее, нервы были напряжены, она сорвалась и закричала:

— В тебе говорит элементарный эгоизм избалованного вниманием мальчика. Захотел Трилли собачку и получил. Чего еще?

— А получил кобру Нагайну. Ошибся! — с милой улыбкой сказал Володя, обнимая ее, и поспешил погасить назревающий конфликт. Но Надя уже завелась.

— Я никогда не прикидывалась лучше, чем я есть. Я не «тонкая рябина» и не желала к «дубу перебраться», я сама дуб и крепко стою на ногах! Кобра? Такая была всегда. Ты это знал!

— Что теперь поделаешь? — шутливо вздохнул Володя. — Любовь зла, полюбишь и кобру, не то, что козла!

Она понимала душой, что упреки его не напрасны. Но что было ей делать? Она изо всех сил старалась попасть в число лучших на стажировку в Италию.

В субботу они договорились поехать на дачу. Им обоим нужно было отдохнуть, отключиться.

— Вспомним медовый месяц! — пошутил Володя.

Но уже в пятницу вечером он пришел с работы озабоченный, «весь в себе». Надя сразу заметила перемену в его настроении и старалась угадать, что могло случиться? После ужина она молча собрала посуду и отправилась на кухню. Следом за ней пришел Володя, с минуту постояв, он сказал:

— Надюша, оставь пока, потом вымоем, я помогу. Дело есть, разговор серьезный.

Надя замерла: «Так и есть! Вольтраут успела поговорить с ним обо мне!» Она тут же приняла независимый вид, вскинула голову и отправилась в свою комнату, готовая защитить себя от любых обвинений. Села в кресло и приготовилась к отражению атаки.

— Надя, прошу, выслушай меня, пожалуйста, внимательно! Я хочу, чтоб ты правильно меня поняла, — начал он издалека.

И она еще больше напугалась и насторожилась: «Разговор действительно серьезный, он волнуется».

— Ты знаешь, я кончил аспирантуру и вроде бы благополучно приземлился.

Надя вцепилась в подлокотник кресла: «Сейчас он скажет, что я обманула его!»

— Но прошло почти два года, а я все сижу на том же месте.

— Ну, слава Богу, — облегченно вздохнула Надя.

— Что слава Богу? Чего ж хорошего? Так и до седых волос просидеть можно. Старики засели намертво и с работы уходят только на кладбище, — раздраженно сказал Володя.

Надя прыснула со смеха, не оттого, что ей показались смешными старики, а оттого, что стало легче на душе: «Ошиблась».

— Сейчас мне предложили очень интересную и перспективную работу непосредственно по моему профилю.

Надя встала и приготовилась идти обратно на кухню домывать посуду:

— Ну и чего же? О чем речь? — удивилась она. — Ты никогда не говорил со мной о работе.

— Речь о том, что мне… — тут он замолчал, стал доставать из пачки сигарету и никак не мог прикурить ее. В зажигалке кончился бензин, а спички ломались одна за другой. Наконец он закурил и продолжил: — Надо будет, то есть, придется, уехать на год-полтора.

— Куда? — встрепенулась Надя.

— В Казахстан!

— В Казахстан? — вскрикнула она испуганно. — Караганда, Экибастуз — это лагеря с заключенными! В одном Джезказгане каждый год восстания! И чуть не проговорилась: «Не наврала же

Кирка!»

— Нет, причем тут заключенные? Там, под Джезказганом, важный объект…

— Но это невозможно! А как же я? Консерватория?

— Ты останешься здесь. Я понимаю, ты не можешь бросить учебу.

— Прошу тебя, откажись. Богом прошу! Ты оставляешь меня соломенной вдовой? Жалмеркой! Я не останусь здесь жить без тебя! Ни одной минуты!

— Надя! — неожиданно твердо и жестко сказал он. — Это мой шанс, моя единственная возможность написать докторскую. Пойми! Я не могу оставаться этаким мальчиком на побегушках при знаменитой жене. Я тоже хочу добиться кое-чего в жизни, как и ты. И чувствую себя в силах.

— Нет, это невозможно! — с отчаянием воскликнула она.

— Но почему же? Ты приедешь ко мне на каникулы, у меня командировки будут в Москву, а летом, поедем в отпуск к морю, в Сочи, в Гагры, куда захочешь!

— Не надо, остановись, не будем сотрясать воздух громкими фразами. Я все поняла. Ты разлюбил меня и боишься признаться себе в этом, поэтому тебе так легко отряхнуть прах с ног и бежать за тридевять земель. Вот и все, — закипая обидой, горько сказала Надя.

— Ничего ты не поняла! Ничегошеньки!

Полные обиды друг на друга, они разошлись, кто куда. Надя отправилась домывать кастрюли, Володя позвал Трефа и пошел на улицу. Не успела захлопнуться за ним дверь, как на кухню явилась Серафима Евгеньевна и, взяв полотенце, стала помогать Наде вытирать посуду. Она явно ждала, что Надя начнет жаловаться ей на мужа, но та хранила молчание, обиженная и хмурая.

— Ну, что у вас? Милые бранятся, только тешатся? — спросила, не выдержав, Серафима Евгеньевна.

Молчать дальше было бы невежливо.

— Я не хочу, чтобы Володя уезжал в Казахстан! Неужели во всем Советском Союзе нет больше места, как этот каторжный край?

— Можешь поверить мне, я не меньше твоего не хочу его отъезда, но ему надо, — строго, будто отдавая приказ, подчеркнула она слово «надо». — Он мужчина и под юбкой ни у тебя, ни у меня, и ни у кого другого сидеть не будет. Жена должна помогать мужу.

— Договор у нас был другой! Он собирался помогать мне! — попробовала возразить Надя.

— Он и помогает тебе, разве нет? Чего тебе не хватает в нашем доме? Он тебя любит, но не злоупотребляй этим! Только любовь матери бесконечна. Будь мудрее! Не выплесни с водой дитя из корыта!

Надя ушам своим не верила: «Неужели это Серафима-курица учила ее житейскому уму-разуму?»

— Спасибо! — только и нашлась что сказать. «Выходит, и семейной жизни мне еще надобно учиться».

Она, не знавшая отказов со стороны влюбленного Володи, была потрясена и обескуражена его упорством, но в то же время всей душой понимала его. Ему, единственному сынку известного ученого, академика, везде и всюду принятому с распростертыми объятиями, обаятельному, веселому парню и завидному жениху, с появлением Нади приходилось довольствоваться задним планом. Впереди везде была Надя. Самолюбивый и гордый, он, конечно же, не мог оставаться только мужем при восходящей звезде. Зная все это, Надя тем не менее продолжала убеждать себя: «Нельзя ни в коем случае допустить, чтоб он уезжал!» И, переступив через свое собственное «я», попробовала испытать последнее средство. Она подошла ж нему и взяла из его рук книгу, которую он уже укладывал в свой чемодан, потом развернула его лицом к себе и с глазами, полными слез, сказала проникновенным голосом, полным затаенной тоски:

— Я поняла тебя, милый, ты не любишь меня больше, поэтому тебе так легко оставить меня. Скажи честно, ведь ты никогда не лгал женщинам, даже разлюбив их.

Такой разговор он не предвидел и не был готов.

— Это запрещенный удар, так нельзя! Это нечестно! Ты знаешь, я очень люблю тебя. Как ты мне сказала однажды про своего Ромео? «Больше, чем жизнь свою, больше всего на свете». Но я был полным идиотом, когда считал, что моя любовь найдет у тебя ответ. Ты сама по себе. «Кошка, которая ходила сама по себе», — помнишь у Киплинга, твоего любимого.

— Это что, развод?

— Что ты! Нет, и ничего подобного. Ты совсем отказываешься меня понимать! Я хочу, чтобы ты меня хотя бы уважала, если не можешь любить, «желание славы», как у Пушкина!

— Неправда! Я люблю тебя, и ты это прекрасно знаешь! Но что же мне делать, если музыка занимает столько места в моей жизни, а ты пользуешься этим и бросаешь меня, — уже вполне искренне разрыдалась Надя, чувствуя нестерпимую жалость к себе.

— Ты сама не веришь в то, что говоришь, с укором произнес Володя, целуя ее мокрые глаза.

— В классовой борьбе все средства хороши… — прошептала она и, слегка приподняв голову, перехватила его губы, вложив в свой поцелуй всю страсть и призыв своего молодого прекрасного тела.

Володя с силой пнул ногой чемодан с книгами, схватил Надю и увез на дачу продолжать медовый месяц.

Воскресное утро следующего дня было необычно теплым и солнечным.

— «Бабье лето», — с грустью сказала Надя, отворяя окно в сад.

Володя допивал свой кофе, когда она подошла сзади к его стулу и обняла за шею, целуя в висок, где начинали виться его русые волосы.

— Поезжай! Я буду ждать тебя хоть три года и дай Бог, чтобы все было так, как ты себе замыслил! — горячо проговорила она. А сердце ее сжалось и тоскливо заныло от того, что вспомнила Клондайка: «Я ждал тебя четыре с лишним года». — И я могу ждать.

Володя собрался быстро, остерегаясь перемены в ее настроении. Он живо почувствовал, что не сможет уехать без ее на то доброй воли. И уже в среду Надя со Львом провожали его во Внуковский аэропорт. Вместе с ним летели двое сотрудников по работе, и плакать Надя не осмелилась, хотя и очень хотелось. Серьезно огорченный ее расстроенным лицом, Володя поставил чемодан прямо на заплеванный пол и обнял, притянув к себе.

— Я никак не думал, что тебя так опечалит мой отъезд, — с сожалением проговорил он, целуя ее. — Я был уверен…

— В чем? В чем ты был уверен? Это я уверена, что ты совсем меня не любишь! — дрожащим от обиды голосом возразила Надя, освобождаясь от его рук.

— Милая, ненаглядная! Разве можно тебя не любить? Да и кто же уживется с Коброй, не любя ее? — шепнул ей Володя, чуть насмешливо и очень по-доброму.

Наконец объявили посадку, и Алексей Александрович поспешил распрощаться. Плачущую Надю усадили в машину на заднее сиденье, и она могла вдосталь наплакаться на плече у Льва. Шофер Алексея Александровича, Митя, разбитной и нагловатый парень, не удержался и спросил с ехидцей:

— Надежда Николаевна, вам сколько лет?

— Я недоношенная, маму испугало начало коллективизации в моем селе.

О чем она так горько плакала? Об одиночестве, какое ожидало ее? Не только. Еще и от обиды:

«Черствый эгоист, вот Клондайк никогда не оставил бы меня.

Он умел рисковать во имя любви даже там, в проклятом Заполярье, рискуя лишиться своих погон, таскал письма. А у этого, глаза жесткие, насмешливые, упрямые и в музыке не смыслит ничего».

И досада брала на себя, что так скоро опять полюбила горячо и преданно, как «тогда», несмотря на то, что клялась Богу и себе в единственной, навеки вечной любви.

«Плакать с утра среди недели — плакать будешь до воскресенья», — сказала ей когда-то тетя Маня, и примета эта неожиданно оправдалась.

КАТАСТРОФА

С бесчеловечною судьбой,
Какой же спор? Какой же бой?

Г. Иванов

— Мне не нравится состояние вашего голоса, Надя, — сказала ей Елена Клементьевна. — У вас быстро устает голос, появляется эдакая легкая хрипота, заметила я в последнее время. Это не нормально. Выглядит как несмыкание связок. Я решила показать вас Петрову.

— Может быть, у меня короткое дыхание? — предположила перепуганная насмерть Надя. Она и сама заметила, что к концу занятий голос ее уставал, но, боясь правды, старалась не думать об этом.

— Нет, ничего похожего. Дыхание у вас прекрасное… Это связки. Типичное несмыкание связок.

Надя знала, что Петров — известный всему студенчеству вокалистов отоларинголог, непревзойденный специалист по голосовым связкам. Все певцы и певицы консерваторские, гнесинские и музыкального училища при консерватории лечились только у него.

«Что это может быть со мной? Должно быть, я много плакала эти дни», — гадала Надя, направляясь в его кабинет с запиской от своего педагога. Она упорно не желала знать истину.

Профессор Петров, обходительный и приветливый мужчина в годах, с добрыми, усталыми глазами, прочитав записку Елены Клементьевны, усадил Надю в кресло. При помощи целой системы зеркал он внимательно осмотрел ее горло. Надя видела, как постепенно с лица его стиралась дружелюбная улыбка, оно стало напряженным и озабоченным. «Сейчас он спросит, курю я или выпиваю». Но ничего подобного он не спросил, а то, что спросил, заставило ее похолодеть от страха:

— Скажите, у вас есть другая какая-либо специальность, кроме пения?

— Нет, никакой!

— Вам когда-нибудь приходилось очень громко кричать или петь?

— Нет, — совсем оробев, чуть слышно ответила Надя. «Что тогда заметила Елизавета Алексеевна, когда опросила, не пела ли я с духовым оркестром?» — силилась припомнить она. И вдруг ее, как молнией, пронзило: «Мымра! Мымра ей сказала: «Ты так

билась и кричала. Я испугалась — голос сорвешь, петь не сможешь!» И ведь верно! Долго она хрипела и говорила только шепотом. А потом прошло, и с блеском пела на всех экзаменах. На пятерки!

— Вам нельзя петь! Категорически нельзя, если не хотите остаться совсем без голоса. У вас на связках… — тут он употребил какой-то термин, чего Надя не разобрала. Как будто узелки, которые мешают смыкаться голосовым связкам во время пения.

Это пройдет? — обомлев от ужаса, спросила она.

— К сожалению, только хирургическим путем. У вас были сильно повреждены голосовые связки.

— Но я же пою! — с отчаянием выкрикнула Надя.

— И очень напрасно! Говорю вам сразу, без иллюзий. Счастлив буду ошибиться. Берите академический отпуск, и главное — молчите, молчите! Через год покажитесь мне. Если не будет улучшения, придется оперироваться. Я выпишу вам рецепт, закажите полоскание у Ферейна. Каждое утро и после еды.

От Петрова Надя вышла как во сне, не в силах поверить в несчастье, внезапно обрушившееся на нее.

«Так не бывает, чтоб столько несчастий на одного, — сказала она себе, спускаясь по лестнице от Петрова. — Так ведь и раздавить человека можно. Уничтожить, стереть с лица земли. Это конец всему, чем я жила, на что надеялась! Это смерть!» Как и всегда, в минуты потрясений разум покидал ее, оставалось только одно желание: не жить! Не чувствовать! Не ощущать себя, своего «я».

Уже смеркалось, и зажглись фонари. Нужно было возвращаться домой, но она не села ни в такси, ни в метро, а поплелась вниз по Манежной, мимо библиотеки Ленина, пока не очутилась на Каменном мосту. Там она остановилась и долго смотрела на мутную, серо-черную, еще не замерзшую воду Москвы-реки.

По воде, перемежаясь, в веселом хороводе прыгали отражения огней с набережной. Темная вода казалась густой, как деготь.

«Мне страшно жить! Но еще страшнее поставить ногу на парапет и прыгнуть вниз головой. Я не смогу, это выше моих сил»! — шептала Надя, с омерзением всматриваясь в черную подвижную массу у своих ног. Она знала, были люди, которые уходили из жизни во цвете лет по собственному желанию, лишь приказав себе: «не жить!» Но она себе такой приказ отдать не могла — слишком многое еще любила, несмотря на то, что сейчас чувствовала себя ничтожной, раздавленной мокрицей, без воли,

без надежды, с одним ужасом в душе перед будущим.

Рядом с ней откуда-то вдруг выросла внушительная фигура милиционера. Он с подозрением оглядел ее, но ничего не сказал и прошел мимо. Надя тяжело вздохнула, подняла воротник своего пальто и потащилась прочь. «Утопление не состоится но причине несостоятельности утопающего, — запрыгал бес, — не утопишься, не повесишься, не отравишься! Всем чертям назло!»

Она прибавила шаг, не вытирая злых слез, которые тут же сушил встречный ветер, и забыла вовремя свернуть направо, к метро. Прошла прямо по улице Фрунзе и вышла к памятнику. «Гоголь», — узнала Надя. «От Советского правительства»… прочитала она на цоколе. «Ишь вы! Добренькие дядечки! Не от народа — от правительства! Правительство совсем даже не народ! Боги!»

От этой мысли она сразу же пришла в себя, сменив безысходное оцепенение и горечь на вспыхнувшую злобу: «То-то счастлив был бы Гоголь подарку от такого «правительства»! Сидеть бы ему при нем на Лубянке вместе с «Ревизором»».

За памятником вниз спускалась широкая гранитная лестница к бульвару. На угловом доме, что против памятника, Надя обратила внимание на название улицы: «Гоголевский бульвар». «Гоголевский бульвар, — повторила она несколько раз, как заклинание. Я знаю его, я слышала о нем, но вот где? Где?» Дальше по бульвару она шла, роясь в памяти, и вспомнила! Стеллка Корытная! Ну, конечно же! Забавляя отупевших от голода и холода зечек в дальнем этапе в Воркуту, она рассказывала, как где-то здесь ее преследовали гебешники. Тут, неподалеку, должна быть лесенка через дорогу к переулку со смешным названием: Ситцевый Овражек».

С замирающим сердцем, пройдя еще немного, она увидела с правой стороны несколько ступенек вниз, переход через улицу, и обрадовалась, как старым знакомым. Переход был хорошо освещен, она спустилась вниз, перешла дорогу и прочитала на угловом доме: Сивцев Вражек. Совсем рядом, в нескольких шагах, налево, темнела подворотня, куда нырнула, спасаясь от преследовавших ее гебешников, Стелла. В подворотне было темно, но Надя бесстрашно вошла под арку небольшого дворика. Из окон жилых домов неярко струился свет, освещая его. Прямо перед собой она увидела парадную дверь, а налево еще одну. В глубине двора стояли два больших ящика для помоев. Надя грустно усмехнулась и пошла обратно.

Стелла, или как ее называли зечки, Света, с пересылки попала в другой лагпункт, на Предшахтную и уже должна была освободиться. Этой весной они с Володей были на просмотре в

Доме кино и Наде почудилось, что в толпе она заметила кудрявую голову Стеллы. Если б была Надя «политической», как ее знакомые зечки, не постеснялась бы своего спутника, с радостью кинулась на шею Стеллке! А тут не подошла, постеснялась. Вспомнив еще раз своих зечек и то безрадостное время, когда они, бесправные рабыни, в телячьем вагоне загибались от полярной стужи и голодухи, ей стало вдруг легко и покойно на душе. «Ведь выдержали! Выжили! Хуже было, совсем безнадега! Да Бог спас!» Дома ее ждала приятная новость.

— Володюшка звонил, долетел благополучно! — с радостным лицом сообщила Серафима Евгеньевна.

Надя по-прежнему называла ее по имени-отчеству. Язык не поворачивался назвать эту совсем чужую ей женщину словом «мама». Володя не протестовал. Сказал только: «Я бы тоже не стал на твоем месте».

Утром Елена Клементьевна выслушала ее, и Надя заметила, как переменилось и построжало ее милое лицо. Она отвернулась.

— Это очень серьезно! Что порекомендовал вам Петров?

— Молчать, не петь целый год, или сменить профессию! С ума можно сойти! — горестно прошептала Надя.

— Где же вас так угораздило перетрудить связки?

— Хоронила!

— И кричала?

— Без памяти! — кусая губы, чтобы не разреветься, ответила Надя.

— Сочувствую от души! Конечно, ни о каких операциях не думайте! Все врачи немного перестраховщики. Главное, не пойте и не разговаривайте громко и долго. Не перегружайте голосовых связок и подайте на академический отпуск. По вокалу вы вполне можете пропустить один год. — И, угадав добрым сердцем глубокое отчаяние Нади, желая утешить ее, сказала; — Ну, в крайнем случае, не будете петь в опере, это большая нагрузка. В конце концов есть концертные выступления. Людмила Легостаева, Раиса Пурыжинская, тезка ваша Надежда Казанцева и многие другие прекрасные певицы не пели в опере… Камерные певицы. — И отвернулась.

Теперь Надя отчетливо вспомнила: когда пришла в палату главврач Горохова, она говорить не могла, а только через силу хрипела. Тогда она и сорвала голос. После этого надо было молчать целый год, как мертвой! А она поспешила скорее заниматься. Но кто мог знать! Так думалось Наде. На самом же деле все началось раньше, исподволь. Это был и ледяной воздух, когда приходилось перекричать вой пурги, погоняя лошадь, и безрассудное пение в холодной, сырой столовой, и простуды, на

которые не обращалось внимания. Все годы, прожитые в Заполярье, были против ее голоса.

На неделе она оформила себе академический отпуск для продолжительного лечения. Глядя на ее красные слезящиеся глаза и распухший нос, никому не пришло бы в голову сомневаться в ее нездоровье. К этому времени она уже знала, что Володя прибыл на место и даже устроился с жильем. В тоскливом безделье проводила Надя дни. Чтоб совсем не свихнуться от тоски и скуки, ходила гулять с Трефом, сопровождаемая неодобрительными взглядами прохожих, или валялась с книжкой на тахте. Иногда Татьяна садилась за рояль и играла ей пленительные мелодии шопеновских мазурок и вальсов. В эти дни вынужденного безделья она особенно полюбила и сблизилась с Татьяной. Однажды вечером Татьяна поведала ей историю своей семьи, впрочем, совсем обычную для того необычного времени начала двадцатых годов.

В те далекие годы существовал при Первом Московском университете рабочий факультет имени Покровского. Молодой рабфаковец, присланный из Пензенской губернии для учебы в Москву, влюбился в свою преподавательницу всего четырьмя годами старше его самого, известную среди слушателей под кличкой «Интеллегого на сдобных ножках». Роман развивался медленно. Лишь спустя полгода молодая учительница русского языка и литературы из «бывших» обнаружила, что ее способный ученик неравнодушен к ней. И смутилась. Герой совсем не ее романа. Еще полгода ушли на изучение молодого пензяка. После чего она с удивлением открыла для себя: «Добрыня Никитич» не только хорош собой и скромен, но и одарен от Бога. Прежде чем подать знаки внимания, то есть обнаружить, что он понят, хитрющая «Интеллегого», уже не юная девушка, а девица двадцати семи годов, незаметно расспросила своих коллег об этом пареньке. И чудо! Все в один голос, и математик, и физик, рукам «всплеснули: «И откуда что берется! Диво! Светлая голова! Блестящие способности! Упорство не человеческое!».

В конце первого года обучения молодая учительница сделала первый шаг навстречу своей судьбе и предложила дополнительно заниматься по выходным дням литературой для «общего развития». Сияя белозубой улыбкой, пензяк с радостью согласился, но, быстро опомнившись, погас, покраснел и сконфузился. Платить было нечем. Однако этого и не требовалось. Молодой рабфаковец отлично колол дрова для печки «буржуйки» и мог на своих плечах унести половинный запас воды города Москвы. Наблюдая из окна, как в щепки разлетались толстенные комли под могучими ударами колуна,

Серафима пришла к выводу: это не только судьба, это необыкновенная судьба, которая выпадает на долю женщины крайне редко и упустить ее нельзя! Она быстро сообразила, что молодой талантливый студент с будущим лучше сомнительного инженера из прошлого. Но форсировать события опасно, можно угодить впросак. И только проводив своего ученика на первый экзамен в Университет, Серафима сказала себе: «пора». Вскоре студент первого курса физмата в Александровском саду объяснился, получил согласие и стал законным супругом Серафимы. Один только преподаватель, профессор математики, не одобрил этот союз. «Помилуйте! — говорил он. — Семья-то какая! Затянет его мещанское болото. Нарожает она ему кучу детищ, а тут выдающиеся способности. Ему рост нужен!»

Не зная честолюбивой Интеллегого, он ошибся! Все ее существо было направлено на то, чтобы учить, развивать, образовывать этот недюжинный ум. Она отлично понимала, кого судьба послала ей в спутники жизни, дорожила и ревниво оберегала свое сокровище. И дети появились только тогда, когда ждать дальше стало опасным. К появлению на свет Татьяны паренек уже сдал экстерном за весь университетский курс и пошел в гору. Дальше дело обстояло хуже. По мере того, как рос пензяк, он уже не мог смотреть на свою жену снизу вверх. Стали очевидны и ограниченность, и узость ее мещанской натуры. Но кроме ума существует еще и плоть. И женщину-Серафиму пензяк, уже ставший человеком заметным в науке, все еще любил. Впрочем, он принадлежал к тем счастливым натурам, для которых «свое личное», то есть любовь женщины, дети, дом, не могли затмить призванья. Наука всегда была для него прежде всего.

Володя звонил часто, как только оказывался около телефона, но слышимость была отвратительная, связь все время прерывалась, а посторонние шумы мешали говорить. Создавалось впечатление, что разговор шел с соседней планетой, а не с родной землей. Надя с трудом написала одно письмо, скучное и безрадостное, потом прочитала и порвала, а вместо письма послала поздравительную открытку к 7-му ноября с изображением Кремля. Другой на почте не случилось.

На ее квартире в Черемушках теперь зимовать собиралась тетя Варя, и Надя, надев свое старое пальто, бегала для нее по магазинам. На ноябрьский праздник с трудом прорвался по телефону Володя. Поздравил всех по очереди, веселый и жизнерадостный.

— Скучаю зверски по тебе, Кобра! Пашу, как вол, вздохнуть некогда!

«Ему без меня весело, а мне без него тошно», — с тоскливым унынием сказала себе Надя и почувствовала, как не хватало этому семейству именно его. Жизнь ее теперь представлялась ей как вереница скучных, бесполезных дней. Она уже подумывала о том, чтобы вернуться опять в бригаду Ани, но тогда пришлось бы объяснить, почему она вынуждена была взять академичку. А этого делать нельзя. «Кем же я тогда буду для них если не певица? Прислугой?»

— Что с тобой творится, Надя? Ты ходишь по квартире, как тень. Молчишь, совсем не слышно твоего голоса? Не больна? — озабоченно спрашивала ее Серафима Евгеньевна. — Я тоже скучаю о Володюшке! Но нельзя же так изводить себя!

Надя уже приготовилась наплести ей о своей болезни, о головной боли, что было отчасти правдой, когда зазвонил телефон, и Татьяна сняла трубку.

— Тебя, Надя!

Незнакомый женский голос сказал:

— Прошу Надежду Николаевну.

— Это я! — ответила встревоженная Надя.

— Надя? Здесь Вольтраут, здравствуйте!

— Здравствуй, Валюша! — ответила Надя, стараясь придать голосу радушие, которого совсем не испытывала.

— Мне очень срочно нужно повидать вас, Надя!

— Я думала, что ты уехала обратно, к себе. — Надя умышленно не сказала в Мюнхен, в ФРГ, соображая в этот момент, как приличнее отказаться от встречи с ней.

— Я была в Киеве и пробуду здесь два дня. Прошу вас встретиться со мной. Вы может прийти ко мне? Я в той же гостинице и в том же номере.

— Нет! Это исключается! — наотрез отказалась Надя, — Только в нейтральных водах или на нейтральной территории, скажем, нейтральная зона Танжер! — и рассмеялась, различив за дверью тень Серафимы Евгеньевны.

— Мама! Иди сюда, не стой за дверью! — позвала Татьяна.

Тень мгновенно исчезла.

— Считаю, что мы договорились, в одиннадцать у первой колонны Большого театра.

— У Большого театра в одиннадцать, — повторила Надя, — у колонны слева или справа?

— Слева, со стороны метро. Жду.

Надя положила трубку и села к телевизору смотреть какой-то очередной ерундовский фильм о счастливой колхозной жизни. По полю шли с граблями девушки, и хорошенькая Ладынина заливалась веселой песней. Но Наде не было весело, он ругала

себя, на чем свет стоит. «Не нужно было подходить к телефону, сказаться больной, наврать чего-нибудь, но только отказаться от встречи. Лиса догадалась, что я ее боюсь, и теперь я у нее на «крючке». В любой момент она может позвонить Серафиме, Татьяне, Льву… И ей не надо будет лгать. Она скажет правду. «Откроет им благородно глаза». Сидела за бандитизм, путалась с начальством. Перед Володькой оправдаюсь, он знает… А Лев, а Серафима, а Таня?» И еще раз горько пожалела, что смалодушничала, не рассказала о себе в свое время.

Утром Серафима Евгеньевна постучала к Наде в комнату и, не дожидаясь приглашения, вошла:

— Я вот хотела предложить тебе, Надюша! Ты, я вчера слышала, договаривалась в одиннадцать встретиться с кем-то?

— С подругой! — с излишней поспешностью сказала Надя.

— Это твое дело! Я хотела предложить тебе: Митя повезет завтра к десяти Алексея Александровича в Академию, а потом может подвезти тебя, куда скажешь.

Первым желанием Нади было отказаться, но тут же передумала:

— С удовольствием, спасибо!

— Если ты недолго, он может подождать!

— Спасибо! — опять повторила Надя.

Еще не было одиннадцати, когда Митя подвез ее к Большому театру, но Валя уже поджидала ее у колонны. С первого же взгляда Надя безошибочно определила: Вольтраут взволнована, хоть и старалась быть спокойной и веселой. За ее оживлением Надя без труда угадала: «Я ей понадобилась, а вот зачем?»

— Пойдем куда-нибудь, здесь на холоде долго не простоишь! — предложила Надя. — Я тебе нужна надолго?

— Вы торопитесь?

— Совсем не тороплюсь.

Ближе всех оказался ресторан «Москва». Но Вольтраут идти в ресторан отказалась:

— Разговор предстоит сугубо конфиденциальный, а там везде прослушивающие аппараты вмонтированы.

— Так уж и везде? — засомневалась Надя. — А у тебя в номере?

— Густо! Поверьте мне.

— Да что же у тебя за тайна такая?

— Не тайна, но и не для их ушей…

Кафе-мороженое на улице Горького оказалось самым подходящим местом. А, главное, в этот час оно почти пустовало. Столик без труда нашелся, и они уселись у окна, одновременно созерцая улицу Горького.

— Так что у тебя за срочность такая? — спросила Надя, рассматривая меню, которое здесь почему-то называлось «Прейскурант».

— Ничего особенного, просто хотелось вас повидать, а без уловок и хитростей из дома не вытянешь, то занятия, то муж.

Надя понимающе улыбнулась: «Лукавишь, лисичка!»

— Кстати, я так поняла, он не знает, откуда я возникла… — внимательно всматриваясь в Надино лицо, сказала Вольтраут.

— Он даже не знает, откуда возникла я, а о тебе и речи нет.

— Почему вы не оказали ему? Ведь дело ваше было закрыто. Вы признаны невиновной! Между прочим, никто и не сомневался.

— Сама не знаю. Так получилось, сразу не оказала, а потом… И семья, мне показалась, сначала не та, чтоб откровенничать! Теперь жалею…

Подошла полная, круглолицая девушка, приняла заказ и, не спеша, направилась к зеркалу. Рассмотрев свое изображение, она поправила кудельки на лбу и уплыла, как ладья, — неповоротливая, толстая.

— В гофманку ее бы на недельку, — с неприязнью сказала Надя, глядя ей в след.

— Хорошо и в бучилке, разгрузка гофманки тоже приятно холодит! — поддержала Валя.

— Все же Безымянский карьер несравненный курорт! Сразу станешь: «тонкий, звонкий и прозрачный»!

Однако шутки не развеселили их, и Надя, помолчав, немного, продолжала:

— Мне все не верится, неужели мы дождались перемен и сдует ветром все эти «лаги»: Воркутлаги, Унжлаги, Каргопольлаги, Магаданы и Норильски заодно и с твоей Потьмой и Явасом?

Валя тихонько засмеялась.

— Ты чего? — удивилась Надя.

— Вспомнила, как вы говорили, когда пришли из карцера: «Свято место пусто не бывает».

— Вот вопрос, куда, интересно, денутся безработные: начальники, опера, режимники, шмоналки?

Официантка снова подплыла к их столику:

— Орехового нет. Только брюле и сливочное.

— Давайте простое и воды с сиропом, — заказала Надя.

Девушка перечеркнула прежний заказ и записала новый.

— Ладья уплыла надолго, можно продолжать, — сказала Надя. — Заседание малого совнаркома продолжается. Насколько мне известно, многие нашли себе приют в отделах кадров.

— Ну, леший с ними! — Валя сразу потеряла интерес к

теме. — Вы говорили, у вас в Калуге живет тетя?

— Да! — удивилась такому быстрому обороту Надя.

— Она ведь небогата у вас?

«Слово-то какое не наше: небогата!». — Пенсия у нее.

— Я понимаю, что села вам «на хвост», вам не до меня и не то знакомство. Но прошу вас во имя наших прожитых вместе дней, помогите мне! — Вольтраут понизила голос и последние слова сказала с такой искренней теплотой, какая за ней никогда раньше не водилась.

Надя была неприятно поражена, не видя, чем она могла помочь ей.

— Тогда говори быстрей, в чем дело, сейчас приплывет ладья обратно и скажет, что вообще ничего нет! Честно говоря, я не вижу, чем могу быть полезна тебе! Шпионажем в пользу твоей страны заниматься не буду. Я ленива, так и знай! — заявила шутя Надя, желая заранее смягчить свой отказ.

— Из вас шпионка как из жабы лектор. Не смешите меня. Тут другое… — Валя замолчала, дожидаясь, пока официантка поставила на стол две вазочки с мороженым и стаканы с розоватой водой. Потом отпила мелкими глотками воду и спросила, не поднимая глаз от стакана: — Тетя ваша не может прописать у себя одного моего знакомого?

Надя с изумлением уставилась на нее.

— Я случайно встретила его в Москве, он бывший зек, живет пока у знакомых, но не может никак прописаться, а без прописки, сами знаете ваши идиотские законы, не может устроиться на работу.

— Он что? Не реабилитирован?

— В том и дело, что нет еще… Попросите свою тетю прописать его в Калуге. Он хорошо заплатит.

Надя сдвинула брови, Нахмурилась.

— Тебе это очень нужно, Валя?

— Хотелось бы помочь человеку, он в долгу не останется.

— По пятьдесят восьмой сидел?

— Конечно! Неужели я бы с уголовником… — тут она осеклась, вспомнив, что Надя тоже бывшая уголовница, и замолчала.

— Говори! Я не обиделась. Я ведь случайно не политическая, донести на меня некому было. А ты уверена, что он сможет платить? Откуда у него деньги?

— Часть денег он заработал в Магадане, а остальные… даю ему я!

Надя задумчиво ковыряла ложкой свое мороженое. Есть его она не могла и следила глазами, как в вазочке два шарика

превращались в пеструю кашицу. Наконец она заговорила:

— Ты понимаешь, Валя, я уже предвижу, что тетя станет возражать. Во-первых, скажет: незнакомый мужчина. Во-вторых, если он не очень старый, тут же появятся женщины. Дом обокрадут, начнет пьянствовать или еще что-либо придумает.

— Все это исключается! — уверенно сказала Валя, и лицо ее приняло выражение «каменной лисы», каким знала ее по лагерю Надя.

Полная официантка подошла к их столику.

— Рассчитайтесь, пожалуйста.

Выложив всю сдачу, до последней копейки, она так же, не спеша, уплыла за стойку.

— Чаевые не берем! — заметила Надя, радуясь, что так ошиблась, подумав о ней худо. Помолчав недолго, она продолжала:

— Вообще, я думаю, что тетя Варя, с ее мизерной пенсией, может и согласиться. И вероятнее всего, но надо будет с ней потолковать. Наверное, он, получив реабилитацию, вернет себе и старую прописку?

— Надя! — внезапно быстро и решительно сказала Вольтраут, наклонив голову к самому Надиному лицу. — То, что я вам скажу сейчас, сохраните, пожалуйста, в себе. Я знаю, вы умеете молчать, когда надо. И даже от мужа. Не навсегда, до времени. Сможете?

— Запросто! Мой муж совсем не любопытный.

Лисья мордочка Вали, обычно холодная и непроницаемая, внезапно вспыхнула и залилась румянцем смущения. Казалось, ей непросто было сказать то, что приготовилась.

— В мае я приеду и заберу его отсюда!

— Куда? — удивленно вскинув брови, спросила Надя.

— В Мюнхен.

— Каким образом?

— Сейчас я оформлю развод с Брюстером, вернусь в мае и зарегистрируюсь с ним здесь, в посольстве ФРГ, а потом вызову к себе…

— Так разве можно? Не проедет случайно твой супруг опять в Магадан вместо Мюнхена?

— В принципе браки с иностранцами разрешены официально. Но риск, конечно, есть.

— Он хоть русский?

— Советский, — заверила ее Валя, но тут же поспешила добавить: — Конечно, русский!

— Где он сейчас, этот твой знакомый?

— Ждет моего звонка, — уклончиво ответила Валя.

— Надеюсь, тете моей не будет неприятности, если он уедет с

тобой?

— Все продумано. Он выпишется из Калуги немедленно, как только я прилечу в мае в Москву. Но сейчас меня поджимают сроки.

Надя поднялась из-за столика:

— Тогда мне надо ехать сейчас же к тете Варе в Черемушки. Подготовить ее.

— Минуту подождите, — остановила ее Вольтраут. — Еще вопрос.

Помочь бывшему зеку устроиться Надя была всегда готова. Но не больше, а потому сразу насторожилась.

— Что такое?

— Вы так сочувственно отнеслись к моей просьбе. Я не хочу оставаться в долгу. Должно быть, у вас найдется пожелание, которое я с радостью могла бы выполнить?

— Найдется! Буду очень благодарна!

— Какое? Впрочем, я догадываюсь… — грустно улыбаясь, сказала Валя.

— Ты исчезнешь из моей жизни навсегда! Если будет на то воля Всевышнего и мы снова встретимся, ты, Валя, не узнаешь меня, а я тебя! Я не хочу усложнять свою жизнь…

— Жестоко! Но я вас понимаю и была готова к этому. Услуга за услугу. Я согласна. — Улыбка сбежала с ее лица, и тотчас она деловито спросила: — Когда я смогу узнать о результате вашего разговора с тетей?

— Я позвоню тут же, как договорюсь.

— Нет, звонить не надо, наши телефоны прослушиваются…

— Тогда подъезжайте прямо по адресу со своим знакомым, часам… — Надя взглянула на свои часы, — часам к трем.

— А если позже? Скажем, к семи?

— Давай так! Берите такси, адрес запиши: Профсоюзная улица, дом…

— Такую громкую улицу я и так запомню!

— Не забудьте купить торт, тетя моя сластена, обожает сладкое.

— Удачи вам! — сказала, повеселев, Вольтраут и помахала на прощание рукой.

«Уж не влюбилась ли старая лиса? — усмехнулась про себя Надя. — Пусть везет своего зека в Германию, после Магадана невредно и отдохнуть на долларах Брюстера».

Как и предполагала Надя, тетя Варя первым делом сказала:

— Да как это можно? Прописать незнакомого человека в свой дом! Нет! — наотрез отказалась она. — Сама подумай! Он женщин водить будет, а мне куда деваться?

Достаточно зная характер своей тетки, Надя не стала убеждать ее, а тем более настаивать и только спросила:

— Тетя Варя, а что вам там зимой делать? Собак морозить? Лучше дом не обворуют, — и, как бы между прочим, добавила:

— Он ведь не на даровщину, двадцать пять тысяч дает за прописку.

— Сколько? — ахнула тетя Варя. — И ты хочешь сказать мне, что это честный человек? Не может быть! Мошенник какой-нибудь!

— Он с Севера приехал. Оклады там высокие, поднакопил. — И еще помолчав, сказала: — Тетя Варя, я вас не неволю, как хотите! Просто я подумала, деньги вам не помешают, а дом в зиму все равно пустой стоит. В мае он уедет. Всего на полгода.

— Такие деньги заработать хорошо, а просто получить не за понюшку табаку не годится, — упрямо стояла на своем Варвара Игнатьевна.

Время приближалось к пяти. Нужно было срочно звонить домой. Серафима Евгеньевна истерично требовала, чтобы все члены семьи Субботиных обязаны были сообщать, если задерживались. Пренебрегал этим правилом, забывая, только Володя. Но ему прощалось все. Надя надела пальто и вышла к будке позвонить домой. К телефону подошла Татьяна.

— Танюша! Я к тете заехала, старую шубейку взяла, с Трефом гулять, в магазин ей сбегаю, хорошо?

— Долго не задерживайся, Вовка обещал вечером звонить! Не забыла? — напомнила она.

«Черт бы подрал Лису со своим Хмырем», — ругнулась Надя, вспомнив, что после девяти обещал звонить Володя. «Приедут, скажу, тетя отказалась, и пусть чешут куда хотят». Она зашла в булочную, купила свежий хлеб и хотела напроситься к тете на чай, но та усадила ее обедать. Больше она решила ни слова не говорить о Валиной просьбе. Но неожиданно за обедом тетя Варя сама вспомнила и заговорила:

— Я, Надюша, тридцать лет учительствовала, а таких денег и в руках не держала.

Надя, молча, ковыряла вилкой картофельную котлету с грибной подливкой.

— На такие деньги дом заново перестроить можно! — продолжала тетя Варя в задумчивости. — Крышу железом покрыть, забор новый поставить, да еще на сарай останется.

После чая, собирая посуду со стола, она остановилась с чашками в руках:

— Посмотреть бы, что за человек, если порядочный…

— Тетя Варя, как хотите, я вас не неволю! — еще раз

повторила Надя. — Просто я подумала, деньги вам пригодятся, а в зиму там делать нечего.

— Так-то так! Да ведь если б знакомый! Начнет дебоширить, пьянствовать! Дом спалит. Хоть застрахован, да жалко!

— Он вроде не пьет! — сказала Надя, уже сожалея, что связала себя словом.

— Познакомиться заранее надо бы. Может оказаться пьянчугой, куда его тогда?

— Хотите, я могу пригласить его. Познакомитесь… — Надя взглянула на часы. Седьмой час. «Если не согласится, встречу их на улице, чтоб и в дом не показывались».

В дверь позвонили. «Неужели они? — испугалась Надя. — Не выдержали!»

Это оказался Митя.

— Я за вами, Надежда Николаевна, хозяйка просила заехать.

— И не лень тебе, Митя, на край Москвы за мной пилить?

— Приказ начальства — закон для подчиненных! — широко улыбаясь, произнес Митя.

— Здравствуй, Митя! — встретила его в коридоре Варвара Игнатьевна. — Пусть еще побудет. Сама доберется. Не барыня! Нечего на казенных машинах раскатываться.

— Это не моего ума дело, по мне, как скажут, — сказал, покраснев, Митя и сердито хлопнул дверью.

— Обиделся! Ишь, здоровина, об лоб поросенка убить можно! Пристроился в холуях! «Хозяйка» у него! — сердито проворчала тетя Варя. — А знаешь, Надя, если у тебя телефон этого гражданина есть, пригласи, может, и понравится мне, тогда я решу.

Надя, набросив пальто, вышла в подъезд и постояла там немного. Потом вернулась:

— В семь будут!

К приезду Вали тетя Варя почти совсем согласилась, но все еще повторяла:

— Посмотрю, посмотрю, что за человек!

Однако переоделась. Надела серую крепдешиновую блузку и синюю суконную юбку, а на ноги туфли вместо старых шлепанцев. И даже, как показалось Наде, подвела брови и попудрила нос. Надя сидела скучая, время от времени поругивая себя за то, что ввязалась в ненужное дело, глубоко уверенная в том, что Вольтраут не пощадит ее при случае, несмотря на самые дружественные заверения. Дома тоже сидеть не хотелось. Татьяна лезла с расспросами об ее успехах в консерватории, и от этого хотелось выть по-волчьи. Когда позвонили в дверь, тетя Варя, изобразив на лице любезную улыбку, сама поспешила открыть.

Надя, сгорая от любопытства, не вытерпела и тоже поднялась навстречу. «Охота взглянуть, какого такого «зека» подцепила Вольтраут».

В коридоре в целях экономии висела под матовым стеклянным колпаком неяркая лампа, поэтому Надя никак не могла разглядеть гостя. Заметила только, что он чуть выше среднего роста, широкоплечий и темноволосый.

«Володька мой повыше будет, а про Клондайка и говорить нечего», — про себя отметила она. Но, когда Варвара Игнатьевна пригласила их в комнату и зек представился, назвав себя Валерием Михайловичем, Надя понимающе улыбнулась Вале. Зек был не старше сорока лет, яркий и красивый мужчина. Он галантно приложился к руке тети Вари, потом к Надиной. Душа ее сладко запела, как всегда, от встречи с красивым. Глаза у него были удивительного синего цвета в тени черных ресниц. Смуглый, с легким румянцем на скулах, цвет лица производил впечатление свежести и здоровья. Небольшие черные усики, прозванные в народе «злодейскими», над верхней, чуть полноватой губой подчеркивали великолепные белые, крепкие зубы. Густые блестящие черные волосы, гладко зачесанные со лба назад, слегка были тронуты на висках сединой.

«Ничего зек! Годится! Молодец Лиса Патрикеевна! — подумала Надя — Не стыдно такого отбуксировать за «бугор». Там таких за деньги в фильмах показывают. Да и в Магадане, верно, не густо!»

Она искоса посматривала на Валиного знакомого, пока он выкладывал на стол из блестящей «не нашей» сумки всевозможные яства. Вина не было, что должно было решить в его пользу. Тетка отправилась ставить многострадальный чайник, а Валя тотчас быстро спросила:

— Ну, как?

— По-моему, порядок!

Потом тетя Варя достала из своих запасов вишневую наливку своего производства и сразу оживила стол. Валя немедля заговорила о деле, а Надя, не слушая ее, думала совсем о другом: «Действительно, вовремя умер Сталин, а то сидеть бы тебе, Вольтраут, в хлеборезке, это в лучшем случае, и «ждать у моря погоды». Повезло тебе, Анна Вейгоца, по прозвищу Выдра».

Она видела, как оживленная и приветливая тетя Варя обратилась к нему, спросив какую-то незначительную мелочь. Он вежливо выслушал ее, кивая головой в знак согласия.

Она спросила еще, и он обстоятельно и терпеливо стал объяснять ей что-то, чего Надя уже не понимала напрочь. Она сидела с полной чашкой чая в руке, оцепеневшая от

неожиданности, слушала, слушала его голос. Этот голос, с едва уловимым, как и у Вольтраут, легким акцентом, с мягким «г», она слышала раньше! Певучий, ласковый баритон был ей знаком! Только тогда он был отрывистым и жестким. И лицо его она тоже видела, но вот где? Где? Где? Он улыбнулся, и глаза его заискрились в лучах ресниц, он слегка нахмурился, и Надя вспомнила: «Он! Точно он! На волка похож! Только тогда в ушанке был и без усов!».

Не это ли красивое лицо она чуть не полоснула лопатой, когда, выбиваясь из последних сил, старая Ночка замедлила бег саней?

Улыбаясь Наде своей подкупающей улыбкой, он протянул ей рюмку, и она едва сдержала себя, чтоб не вскрикнуть. На большом пальце правой руки у Валерия Михайловича не было ногтя. Руку с культяпым пальцем она хорошо запомнила, хотя видела всего не больше минуты в щель дощатой перегородки, в пекарне. Ужас ледяным параличом сковал все ее существо. Как сквозь сон, она услышала свой собственный глухой голос:

— Я не пью…

— Надя учится петь в консерватории, — поспешила объяснить тетя Варя.

К счастью, столбняк ее длился недолго, затем ее бросило в жар, и щеки ее запылали. Усилием воли она взяла себя в руки и заставила улыбнуться ему в ответ. Ощущение близкой опасности и тревоги охватило ее, но не испугало, страх исчез. Наоборот! Ей предстояло сыграть самую ответственную роль в своей жизни. «Должно быть, так ощутила себя Юдифь!».

Она сидела, как зачарованная, не веря своим глазам и улыбаясь, неотрывно смотрела на него. Мечтательная и отрешенная улыбка, казалось, прилипла к ее губам. «Вот он какой, Василь — «Козырной Туз». Гроза комсомольцев и евреев города Львова! Настал наконец долгожданный день, о котором она и мечтать не смела. Только не выдать себя, свою грозную, тревожную радость, не перехлестнуть эту радость через край, чтобы не почувствовал он, как напряглось и слепилось в комок вместе с бешено запрыгавшим сердцем, все ее существо.

Всматриваясь в его завораживающие глаза, она ни на миг не упускала из вида, что перед ней Василь — убийца Клондайка, и это из-за него она обречена молчать целый год, да, еще неизвестно, не на всю ли жизнь? Это он, «Козырной Туз», такой красивый и статный, похожий на заграничного киноактера, разъезжал по городу Лембергу, как называли немцы Львов, на «Опель Адмирале» со своей подружкой Анной Вейгоцей, отыскивая зорким взглядом и принюхиваясь к своей очередной

жертве. Сколько же их было на твоей совести, волк?

— Тетя Варя! — воскликнула она, пожалуй, излишне горячо, как сама почувствовала, — Неужели вы откажете моей Валюше и ее другу? Ну что вам стоит?

— Хорошо, хорошо, я завтра же дам ответ.

— Почему же не сегодня? — искренне огорчилась Надя.

От Вали не укрылась особенная заинтересованность Нади ее другом. Зная его воздействие на слабый пол, она по-своему истолковала чрезмерное внимание Нади, с каким она впивалась глазами и слушала каждое слово ее «зека».

— Покажите мне туалет, — шепнула она на ухо Наде.

Когда они вышли, Валя стремительно прошла в кухню и горячо зашептала:

— Надя! Я вижу, Валерий произвел на вас впечатление! Поверьте мне, дорогая Надя, бойтесь его, не встречайтесь с ним, это очень опасный человек! За его красивой внешностью, прячется черная душа, ад!

— Неужели? — Надя широко открыла глаза. Больше сказать или спросить от неожиданности Валиных слов она не нашлась. От внутреннего напряжения, ее, как в лихорадке, била дрожь.

— Я поклялась ему вытащить его за кордон, и я выполню обещание, но вы не вставайте на моем пути! Обещайте мне?

— Валя! Клянусь тебе, — тут голос Надин задрожал от волнения, — клянусь бессмертными душами дорогих мне людей, как только я отвезу его к тете, я больше не увижусь с ним никогда!

— Я верю вам, — сразу успокоилась Валя.

Деньги тетя Варя не взяла, но по всему было видно, она уже согласилась. Провожая Валю с ее «зеком» до остановки такси, Надя, прощаясь, сказала:

— Будь у себя с утра, я позвоню, тетя согласилась.

— Вы уверены? Почему же она не взяла деньги?

— Сказала, возьмет, после прописки.

— Поторопите, ради Бога, пожалуйста! Мне нужно быть послезавтра в Мюнхене. Меня ждут, я и так задержалась…

— Можешь быть спокойна. Все будет, как задумано, — заверила Надя.

— Ну как? — еще не успев снять пальто, спросила она.

— Ни за что! Ни за какие миллионы! — сердито отрезала Варвара Игнатьевна.

— Это почему же? — опешила от такого решения Надя.

— Я им ни на грош не верю, обоим! Он не тот, за кого выдает себя. Я сразу поняла. По-моему, он шпион!

Надя искренне рассмеялась.

— Нет, тетя Варя! Кто угодно только не это, уверяю вас!

— Возможно, возможно! Но я не имею ни малейшего желания ни встречаться с ними, ни иметь дела! Уж уволь меня, прошу!

«Излишняя осторожность на сей раз не обманула мою тетю!»

АПОФЕОЗ

… дай вдовьей руке моей крепость
на то, что задумала я.

Ветхий завет. Юдифь.
Глава IX.

В ту ночь Надя от всего сердца молилась, призывая на помощь все силы небесные. До рассвета она рылась в памяти, собирая по крохам все, что знала о «Козырном Тузе» от отчима Клондайка, полковника МГБ, от начальника режима, капитана МВД, Павиана (фамилию напрочь забыла), о чем ей целый вечер толковала в госпитале медсестра Пашка толстоносая:

«Девчат наших на рентген водили, на шахту «Капитальную», так Марийка Остапенко, наша, со Львова, признала Василя!»

— «И что? Не заявила о нем? — спросила тогда Надя.»

«Ты что? — ужаснулась Пашка. — Кому охота под нож лезть? Он же бандит! У него дружки остались там! Страшно сказать, что наделают: родичей вырежут, хату запалят. Они еще там!»

— «Это бандеровцы?»

— «Нет! Бандера ОУНовец, самостийник, «за единую неделимую»! А Василь натуральный бандит. Ему все едино, что грабить, что убивать! Уголовник! Он было в «СС Галичину» приткнулся, в УПА подался, да только Тур его чуть не расстрелял за грабежи».

— «Ошибаетесь! Вольный его убил», — заявил полковник Тарасов. — «Опасный преступник, объявленный во всесоюзном розыске еще со времен войны… Скрывался по чужим документам… Эстонец, Эльдар Уго, опознал его, не побоялся…» — сказал ей Павиан.

«Я ведь тогда и не очень-то поверила Пашке, не прислушалась, не расспросила ее как следует. Не до того было. Единственно, когда уже прощаться пришла, задним числом догадалась спросить:

«А как же он мог узнать, что Выдра в Воркуте?»

— «Чего проще? Письмо своим переправила, да и только!» «Какой счастливый случай послал мне Бог. Ведь это чудо! На ловца и зверь бежит! Не хочется верить, что такая удача может быть!»

Как она задумала воспользоваться этой удачей — сама себе не сказала бы. Даже в молитве Всевышнему. Но знала!

Утром, после завтрака, Надя подождала, когда уйдет с кухни Серафима, и, прошмыгнув по коридору, постучала в кабинет ко Льву. Лев собирал со своего письменного стола в свой объемистый портфель бумаги. Лицо его было озабочено чем-то и, как никогда, похоже на львиное.

— Алексей Александрович! — начала она после того, как он предложил ей сесть. — Я хочу уехать к Володе!

— Как? — удивленно спросил он. — А как же твоя учеба?

— Я взяла на год академичку…

— Не знаю, родная, не знаю, это тебе решать!

— Я решила. Я к вам не за советом пришла. Мне срочно нужен билет!

— Да ты что же так? Билет не проблема, но обмозговать надо, не торопись!

— Нам плохо друг без друга… Я решила.

— Уговаривать не стану, смотри, не пожалей. Путь неблизкий. До Ташкента самолетом, а там еще на перекладных…

— Где это?

— Джезказганская область!

— Джезказган! Это что, лагерь? — Надя страдальчески сморщилась, как от тупой боли.

— Вроде лагеря, закрытая зона.

— Заключенные! — в ужасе прошептала она, вспомнив его подозрительный адрес «п/я», как в Воркуте.

— Нет! — рассмеялся Лев. — Зачем же заключенные. Зона спецобъекта, вход по пропускам.

«Значит, точно лагерь».

— Опасно там, зеки все время бунтуют, восстания одно за другим, вот в пятьдесят четвертом, когда мы с Володькой женились, тоже восстание, — горячо, с тревогой зашептала Надя и еще больше утвердилась в своем желании ехать. Внезапно она замолчала и взглянула на Льва. Он смотрел на нее изучающе, с любопытством и чуть насмешливо. «Прямо как Володька».

— Кто же тебя, дочка, так напугал заключенными? — тепло и ласково спросил он.

Надя уже раскрыла было рот сказать ему, что знает, жила в закрытой зоне, ходила и под конвоем, и по пропускам, да вовремя спохватилась.

— Я не боюсь! Там почти одни политические, — сказала и действительно струсила: «Сейчас он спросит, откуда я знаю?» Но не спросил, а посмотрел на Надю по-доброму и сказал:

— Освободились они все, твои политические.

От таких его теплых слов она похолодела:

— Почему это мои? Они не мои, а государственные, —

пробормотала она смущенно. «Он знает обо мне! Конечно, знает! Неужели спецотдел Академии наук не поставил его в известность, о том, кто его новая родня, такого быть не может. Такого просто не бывает!». — Я бы хотела уехать завтра, если возможно, и поездом.

— Завтра, так скоро? — удивился Лев.

— Да! И еще одно… — Надя замялась.

— Говори быстрее, я и так запаздываю…

— Вы умеете хранить секреты? — быстро выпалила она.

— Смотря какие! Государственные и чужие могу, а свои не приходилось!

И, по тому, как он понимающе улыбнулся ей, Надя окончательно утвердилась в своем предположении: «Ему все известно, все мои прошлые похождения. Тем лучше!»

— Прошу вас, Алексей Александрович, я хочу сама рассказать все о себе Володьке.

Лев развел руками.

— Только так, а не иначе, впредь, обещаю тебе, наши с тобой секреты хранить, как государственную тайну!

И ласково погладил ее по голове. Чуткая на ласку, Надя такое вынести спокойно была не в силах и, перехватив его руку, порывисто прижалась губами.

— Спасибо, отец!

— А вот это и не надо! — строго сказал Лев и отвернулся, стал застегивать пряжки портфеля.

За два года, прожитые в семье Субботиных, Надя успела полюбить Льва — за теплоту, за доброту к людям; за увлеченность своей работой и полное отсутствие мелочности в характере и еще за то, что из двух своих детей больше любил свою калеку дочь, молча страдая из-за ее уродства, а не благополучного, всеобщего любимца Володю.

Ей часто приходила на ум мысль спросить Льва: «А знали ли вы, что творилось в те годы, когда вы успешно росли как ученый? И сколько ученых томилось в сталинских застенках, возможно, не менее талантливых и способных, чем вы? И можно ли было жить в то время, не зная об этом? А если и знали, то как относились ко всему? Радовались? Пугались? Или увлеченные своей наукой, были далеки от происходивших событий? Для меня это важно — я ведь теперь Субботина, мне предстоит быть продолжательницей вашего рода, и мне не безразлично что вы думаете о том времени. Так же, как и я? Или?..

В один прекрасный день я расскажу вам о Воркуте, о 2-м Кирпичном, о Безымянке, где уголовники забивали лопатами в талую глину доходяг и обессилевших пленных, а начальство

знало и молчало: выбраковывали нерабочую силу. Не забуду рассказать и то, что шепотом, под великим секретом, мне поведала Антонина Коза: о леденящих душу расстрелах, которыми руководил оборотень по имени Кашкетин, и то, что рассказал мне Валек, о расстрелах уже после смерти Сталина, когда по вине Генерального прокурора СССР Руденко, были расстреляны больше полусотни заключенных на 29-й шахте Воркуты». Но понимала, еще не время, они еще напуганы говорить вслух.

Чуть позже она вышла с Трефом. В телефонной будке трубка была срезана «под корень». Будущие зеки забавлялись, срезая трубки, или просто, — били стекла. Пришлось поискать «здоровый» автомат. Валя, видимо, ждала звонок и сразу же сняла трубку.

— Подходи через час на прежнее место!

— Как там? — спросила Валя.

— Порядок! Тепло волнуйтесь, подробности письмом! — Надя засмеялась и шлепнула трубку на рычаг.

Погуляв еще, для приличия, с Трефом, она пошла домой и собрала свой чемодан, купленный ею в ГУМе перед поездкой в Сочи после того, когда она так удачно спела на экзамене и была переведена на второй курс. Зная Валину дотошную пунктуальность, вышла из дому чуть раньше, но уже Валя стояла, дожидаясь ее у афиши Большого театра, и внимательно читала репертуар на третью декаду ноября.

— Быстро шагаем в метро, здесь холодно стоять! — бросила, не останавливаясь, на ходу Надя.

Люди спешили на работу, потоком вливаясь в двери метро, и никому не было дела до двух дамочек, остановившихся около телефонов-автоматов.

— Тетя согласна! — едва переведя дух, произнесла Надя. — Но пришлось просить тестя, чтоб дал машину после работы.

— Машину? Зачем? Разве не на поезде?

Зеленые глаза Вольтраут смотрели настороженно, с недоверием, как показалось Наде.

— Шофер повезет тетю Варю одну, а мы с Валерием Михайловичем едем поездом, четырнадцать пять. Они будут на месте раньше нас, поезд идет почти со всеми остановками.

— Почему такие изменения?

— Тетка совсем было отказалась ехать, нога разболелась, говорит: «Нога пройдет, тогда поеду», а на машине согласилась.

— Спасибо, Надя! А шофер с ним не встретится? — осторожно спросила Вольтраут.

— Думаю, что нет, Митя поспешит обратно! А что тут такого,

если и встретятся?

— Ничего! Тебе бы не было неприятности. Увидит Валерия, что подумает?

Надя недобро усмехнулась:

— Жена Цезаря вне подозрения, — и быстро добавила: — Иди, лови своего зека и скажи ему так: пусть садится в третий, от головы, вагон, и на левую сторону. Запомнила? И не беспокойся, все будет, как задумали!

— Надеюсь! — сдерживая волнение, одними губами тихо прошептала Вольтраут.

— Да, вот еще! — вспомнила Надя. — Какие у него документы? Паспорт? Справка об освобождении?

— Зачем ему справка? У него чистые документы. Разумеется, паспорт, трудовая книжка…

— Военный билет? — чуть не вскрикнула Надя.

— Нет, он не военный, он инженер-нефтяник из Азербайджана.

«Слава Богу, не Клондайка», — успокоилась Надя. — Скажи ему вот еще что: как сойдет с поезда, пусть идет за мной следом, но сразу не подходит. Четырнадцать пять, не забудь! Все поняла?

— Все! Я на вас надеюсь, Надя! Вот, возьмите для своей тети. — Она достала из сумочки небольшой пакет в газетной обертке.

— Что это? — отшатнулась Надя.

— Деньги за прописку.

«Нельзя не брать, она может заподозрить неладное», — сообразила Надя, засовывая сверток в свою сумку.

— Сейчас же поеду отвезу ей. Валя протянула руку:

— Ну, с Богом!

— Прожили мы с тобой бок о бок, а я и не подозревала, что ты можешь кого-то любить, — сказала усмехнувшись Надя, не замечая протянутой руки.

Валя помрачнела, рука ее безжизненно опустилась.

— Вам этого не понять, — произнесла она вполголоса. — Это как горб, когда не хочешь, а все носишь на себе. Кроме любви, существует еще чувство товарища, долга, чувство плеча.

Прощаясь, она сказала:

— Я обязательно буду в мае и заберу его, у меня есть договоренность с Брюстером.

— А нужен он тебе там? — с сомненьем спросила Надя. — Ты же говорила, что твой муж…

— Нет, нет! — торопливо перебила ее Вольтраут. — Это вопрос решенный, он здесь оставаться не может.

«Не останется! — угрюмо подумала Надя. — Чувство долга у

меня тоже есть!»

— Ну, прощайте! — еще раз протянула руку Вольтраут. — Кто знает, когда свидимся. Я выполню условие, не позвоню.

— Я тоже! — уверенно произнесла Надя и пошла вниз по лестнице, в метро. Дойдя до поворота, она обернулась. Валя стояла на том же месте, у телефонов и смотрела ей вслед. Увидев, что Надя обернулась, она слегка приподняла руку в длинной коричневой перчатке и помахала ей.

Когда Надя вышла на перрон Киевского вокзала, состав еще не подавали и она, чтоб не замерзнуть, прогуливалась по платформе, незаметно посматривая по сторонам, надеясь увидеть «Туза» или, как она его окрестила, «Волка». Время от времени ее охватывал панический страх, и она была готова бежать без оглядки, но тут же убеждала себя: «Силы небесные задумали помогать мне, такого стечения обстоятельств не будет, все складывается как нельзя лучше! — и тогда она снова была готова выполнить задуманное. «Только бы он не раздумал, не испугался, не заподозрил волчьим нюхом».

В средние вагоны садилось меньше пассажиров, чем в передние и задние, поэтому Надя выбрала третий от головного. Когда подали состав, она одна из первых вошла в вагон и села у окна, с левой стороны. Долго, не оглядываясь, она смотрела в окно и только после Апрелевки встала и повесила сумку на крючок. Молниеносно окинув взглядом вагон, она обомлела: Волка нигде не было — ни спереди, где ей хорошо было видно пассажиров, ни сзади. Что-то случилось, почему-то сорвалось! Возможно, он опоздал, передумал, а может быть и узнал ее.

Это могло случиться, если Вольтраут напомнила ему происшествие со спасением Горохова. В Киеве они встречались, это ясно, но долго ли общались? Было ли у них время предаваться воспоминаниям? Надя решила вернуться. Следующая остановка в Наро-Фоминске. Она, недолго думая, сняла с крючка свою сумку и двинулась к выходу, намереваясь пересесть в обратный путь. Но, едва состав остановился, и передние пассажиры вышли на платформу, как в дверь, наперерез выходящим, протиснулся Волк. Надя сразу узнала его и повернула обратно. Место ее было еще не занято, она села и, вынув из сумки книгу, принялась «читать», время от времени переворачивая страницы. Краем глаза, ей было видно, как Волк два раза выходил в тамбур курить, и, чиркая спичкой о коробок, закуривал, не снимая с правой руки черной кожаной перчатки. В ее сторону он не взглянул, и Надя не была уверена, заметил ли он ее вообще.

Рядом с вокзалом делал поворот вокруг сквера автобус, направляясь в центр города. Надя, не оборачиваясь, пошла к

остановке, чувствуя его шаги, за своей спиной.

Улица Огарева почему-то была освещена только в самом начале единственным тусклым фонарем, и тот раскачивался на ветру, угрожая погаснуть совсем. Идти было крайне неприятно. Большинство домов с наступлением темноты закрывались наглухо ставнями, через их щели едва пробивался наружу свет. «Восьми нет, а ни одной души не видно». Однако она сейчас совсем не желала встречаться с людьми, а тем более со знакомыми. В темноте за деревьями она чуть было не прошла мимо дома тети Вари. Дом стоял последним на перекрестке и, дойдя до угла улицы, она остановилась.

— Заплутались? — услышала она вкрадчивый голос из темноты.

Вместо ответа Надя легко поднялась на крыльцо и достала связку ключей, взятую вчера из ящика кухонного стола, где их хранила Варвара Игнатьевна. Перепробовав три ключа безуспешно, четвертым замок открылся. Потом она сняла еще один с петель, огромный висячий замок, после чего дверь со скрежетом, негостеприимно распахнулась в сырую тьму.

— Ни зги не видно, — пробормотал Волк, споткнувшись о порожек.

Надя сразу же провела его в кухню с окнами в сад. Электричество было отключено, видимо, опасаясь грабителей, хозяйка вывинтила пробки. Надя помнила, где находилась 25-линейная старинная керосиновая лампа, и, открыв еще одним ключом комнату, попросила Волка посветить ей спичкой. Лампа стояла тут же, у двери, на маленьком столике, куда Надя ставила торт, приезжая к Варваре Игнатьевне.

Нетопленный дом выглядел холодным, неприветливым и зловещим. Она вышла в сени, захватила охапку сухих дров и растопила кухонную плиту. Волк сел у стола, мрачный и насупленный.

— Когда тетка должна приехать?

— Да вот, с минуты на минуту.

— Холодрыга зверский, хоть чаю согрей!

— Воды нет, пойдете за водой?

— Далеко?

— Колонка за углом, темно там!

— Давай ведро!

— Вы тише громыхайте, соседи услышат, подумают, воры без хозяйки залезли!

— Какие соседи? Трущоба… — недовольно буркнул Волк.

— А я и не говорила, что тут дворец, могу проводить обратно!

Волк схватил ведро и отправился на колонку. Надя прислушалась к его шагам и, когда бешено залаяла соседская собака, быстро достала из сумки завернутую в свой белый пуховый платок бутылку водки и запихнула в кухонный шкаф. Плита, весело потрескивая сухими поленьями, дружно разгорелась, и не прошло часу, как в кухне стало тепло, а на раскаленной докрасна плите сердито шипел чайник. Надя вышла в сени и отворила дверь в сад.

— Ты куда? — спросил Волк.

— Надо! Сейчас вернусь.

Она вышла через заднее крыльцо и посмотрела на кухонное окно, закрытое ставней. Свет пробивался едва заметными ниточками. Затем обошла дом кругом через огород и, отодвинув в сторону две планки, пролезла через забор на улицу. С улицы дом казался мертв и необитаем. Она крадучись поднялась на крыльцо, продела в петли замок и защелкнула его. Тем же путем вернулась обратно.

Свою хозяйственную утварь тетя Варя отнесла на сохранение к соседям, и чай пить пришлось из алюминиевой кружки и граненого стакана, который служил для зубных щеток. Надя достала из сумки колбасу, сыр и белый батон, выложила на стол и порезала старым, ржавым ножом, других не было. Волк тоже открыл свой портфель, там оказались кое-какие консервы и бутылка водки.

— Что это еще? Зачем водка! — сердито спросила Надя.

— Для сугрева! Промерз до последней косточки! — миролюбиво ответил он.

— Вот что! — недовольно сказала она. — Если тетя Варя нас застанет с водкой, выгонит тотчас!

— А мы не пойдем! — сказал с улыбкой Волк, и красивое лицо его стало сразу и добродушным и приветливым.

«Какая обманчивая внешность, — ужаснулась Надя — Улыбнулся — и на человека похож, а ведь оборотень, волк!».

— Я за вас ручалась, Валерий!

— А ты поди дверь запри, успеем убрать со стола!

— Ну-ка, взгляните, сколько времени, — попросила она, наливая кипяток в кружку и стакан.

— Без пятнадцати десять!

— А, пожалуй, она завтра приедет. Шофер побоится четыреста километров на ночь ехать!

— Каких четыреста? — встревожено забеспокоился Волк.

— Таких. Считайте, почти двести сюда, да столько же обратно. Дорога плохая, машину пожалеет. Да приедет! Куда она от своего дома денется, — уверенно сказала Надя.

Он уже откупорил бутылку и шарил глазами по столу, куда бы налить. Не обнаружив никакой посуды, выплеснул прямо на пол чай из кружки и Надиного стакана и разлил водку.

— Я водку не пью, мне категорически запрещено, я петь учусь.

— Знаю, слышал! Но трохи можно! За компанию, говорят, жид удавился!

— Ладно уж! — согласилась она, — за исполнение желанья, так и быть выпьем. — Но тотчас в испуге вскочила. — Слушайте, а дверь-то у нас не заперта!

— Тьфу, леший тебя дери! Я думал, что… Иди, запри!

— Вы идите! Там темно, я боюсь, — с виноватым видом сказала Надя и подала ему ключи. — На улицу не выходите… Вот этим запрете.

Волк взял ключи и, чиркая спичкой, пошел запирать дверь, натыкаясь в коридоре на стены. Надя мгновенно выплеснула водку в ведро с водой и зачерпнула воды.

— Ключи не потеряйте, — предупредила она, когда Волквернулся. — Вон, в шкаф положите, на полку. Тетя Варя всегда там ключи кладет.

— Ей! — воскликнул он, отворив створку шкафа. — Тетка твоя не только ключи сюда прячет! А говоришь, старуха не пьет, для чего тогда водку держит?

— Для огорода! Весной за водку вам огород пахать будут. Она огород хороший сажает, огурцов одних пропасть! Где-то тут, в подполе у нее, только я не полезу, хоть убей! Боюсь!

— Эх ты! Горе-бандитка, темноты боишься! — снисходительно произнес он.

— Кто же вам сказал, что я бандитка? Анна? — нахмурив брови, обиженно воскликнула Надя.

— Какая Анна?

— Анна Вейгоца, подружка ваша…

— А ты откуда знаешь Анну? — насторожился Волк, впиваясь в нее глазами.

В неверном свете керосиновой лампы Наде почудилось, что глаза его сверкнули, как два красных угля. «Держись», — шепнул бес.

— Да ты что, Василь, очухайся! В прятки со мной вздумал играть? Я же от Анны все про тебя знаю, еще когда и в глаза не видала! — воскликнула она, переходя с ним на «ты».

— Что знаешь? — спокойно спросил он, но Надя всем своим существом ощутила явную угрозу в его голосе, опасную для себя.

— А то и знаю! — игриво засмеялась она, кокетливо передернув плечами. — Что ж я кого попало в дом к тете привела

бы?

— Что? — еще раз переспросил Василь, не спуская с нее глаз ни на миг.

— Со школы вы путались! Любовь до гроба, дураки оба! Но Василь не принял ее шутки, а продолжал ощупывать взглядом настороженных глаз ее пылающее лицо.

— А еще что? — медленно спросил он.

— Что? Что? — возмутилась Надя. — Ты что, в самом деле? Тебе Анна не говорила, что мы с ней десять лет из одного котелка баланду хлебали?

— Это я знаю! А что ты знаешь?

— А то и знаю, любовник ты ее! — выпалила она. — На «Капиталке» пристроился, ждал ее. Письмо твое показывала. А теперь тебя за «бугор» с собой возьмет.

— От сучня! — грохнул кулаком по столу Василь.

Надя едва успела подхватить на лету бутылку, но не удержала, и та покатилась по столу, разливая остаток водки, пока не свалилась на пол.

— Чего ты воюешь? Разве нет?

— Вода у вас, у бабья, в заднице не держится! Вот чего!

— Знаешь, друг сердечный! — обиженно сказала Надя. — За десять годков мы много о чем с ней переговорили. Неужели, если бы она мне не доверяла…

— Сучка! — повторил он еще раз, но уже более миролюбиво, успокаиваясь…

— Я ее сперва за немку приняла, сторонилась, а потом, когда она раскололась, что не немка вовсе, тут уж мы сдружились. Я тогда посылки получала, — задумчиво сказала Надя.

В кухне стало жарко, Василь снял пиджак и тоже задумался, терзая вилкой кильку.

— Что же ты такой умница, голова, как сельсовет, а не ушел со своими?

— С какими своими? — спросил Василь, мрачнея и хмурясь.

— Ну, со своими ребятами, «галичанами», из Нахтигаль?

— Ушел бы, кабы умнее был. Значит, не умен! А куда идти?

— Не знаю! Куда все драпали? В Аргентину, в Канаду, в Бразилию…

— Значит, дурак! — рявкнул он.

— Да, не умно! — поддержала Надя. — Сейчас где-нибудь в Париже гулял бы. Это тебе не в Старом Самборе в лесу отсиживаться! — и пригубила свой стакан.

— Как ты пьешь? — рассерженно крикнул Василь. — Смотреть противно, как цедишь!

— Экономлю! Продлеваю удовольствие! — искренне сказала

Надя, радуясь, что все идет так, как она себе задумала.

— А ты не экономь! У бабки вон, в шкафу, стоит, возьмем взаймы.

Василь полез в шкаф за бутылкой и тут же откупорил ее, собираясь разлить. Надя быстро прикрыла свой стакан.

— Куда льешь? У меня есть, и ты тоже давай заканчивай, до утра не просохнешь!

— Было бы с чего просыхать! — И налил себе полную, доверху кружку.

— А все же, Василь, плохо тебе вот так, по чужим документам, как крысе, прятаться, обидно! — сказала, сожалея, Надя.

Лицо его, такое свежее, румяное, сразу потемнело и осунулось, и весь он как будто полинял, стал бледным и угасшим.

— Пока проживаю! — помолчав, сказал он глухо.

— Анна говорила, опознали тебя девчата, когда на рентген к вам на «Капиталку» их водили.

— Было! А я и знать не знал. Недавно сказали…

— Рузя со Львова, не то Марийка тебя узнали…

— Да знаю я! — нетерпеливо перебил Василь. — Ты вот что скажи, в тетке своей уверена? Не «того» она?

— Чего «того?»

— Не чекистка она?

— Тю! С ума ты спятил! Учительница она, в младших классах ребят учила! Ты вот чего бойся, чтоб не узнал тебя кто-нибудь, а то чекисты быстро раскопают, кто откуда!

— Это в ваших книжечках они работают четко, вам, дуракам, темнят! А мы-то знаем точно: вся их работа по доносам. Донесут, значит, схватят. А кого? За что? Без разбора.

— Это ты верно! Немцы-фашисты лучше работали!

— Порядок у них был!

— Был, был! — подтвердила Надя. — Те разбирались. Коммунисты, комсомольцы, пионеры… Да кто же у нас не пионер, не октябренок? Не комсомолец, не коммунист? Беспартийный у нас и работы приличной не получит! Если балерина какая-нибудь вроде Улановой! Будто ты не знаешь! Из Африки приехал!

— А тебе-то чего? Чем не угодили? Или срок дали?

— Не нужны нам, вот чего! Свои надоели!

— То-то и есть. Насажали себе жидов на шею, полон Кремль, теперь сами не рады! К стенке, да из автомата!

— Ну, положим, тех, в Кремле, тебе не достать, руки коротки. Вы с Анной все по мелочи вылавливали, кого словить легко было, мелкую сошку! Она мне говорила… Волк самодовольно ухмыльнулся:

— Не только! И крупняк попадался! Очищать жизненное пространство от человеческого дерьма надо!

— Это ты верно! Надо, очень надо! — «Волк, настоящий волк, оборотень!» — глядя на него думала Надя, все еще не веря своим глазам. Ее кидало то в жар, то в холод, но страха не было, одно глубокое изумление. — Ты мне вот что скажи, а за что ты нашего лейтенанта порезал, а? — И замерла в ожидании ответа. «Что скажет?»

— Которого? — равнодушно спросил Волк.

— Весной, в мае пятьдесят третьего, после амнистии… Режимник у нас был. Чем тебе помешал?

— А тебе-то что? Что за дела?

— Так просто! На аккордеоне у нас играл.

— Капитан! Я помню, погоны капитанские! Пистолет нужен был. — Внезапно он прищурил глаза и впился в ее лицо. — А ты откуда знаешь? Этого Анна тебе сказать не могла. Откуда тебе известно? — быстро, не давая ей опомниться, спросил он.

— Галия, татарка с водокачки, мне сказала. Она в то время у пекаря в заначке была и видела тебя.

— Не было там никого, одни пекари!

— Была! Она в кладовой сидела, на мешках, где мука! А все же за что зарезал, как свинью, ножом, а! — опять, не унимаясь, спросила Надя, рискуя вызвать подозрение в насторожен ном и без того Василе, но сейчас для нее это был вопрос жизни и смерти.

— А он и есть свинья! Сам свою смерть шукал! Отдал бы сразу пушку, я, может, и рук марать об него не стал, а он драться полез. Да чего он дался тебе? Говорю, сам смерть шукал!

Надя так сильно впилась ногтями в ладонь, что ноготь сломался и поранил ей кожу.

— А документы зачем забрал?

— Чего? Или опять Галия?

— Нет, в зоне говорили.

— Я по ним билет получил, с Воркуты смотался.

— Значит, помог тебе наш капитан!

— Интересуюсь, а в зоне откуда узнали?

— Вольняшки сказали, что опознал тебя пекарь один, с пекарни.

— Это чучмек, что ли? Подлюга, встречу — шкуру спущу! — рявкнул, засверкав глазами, Волк и выкрутил фитиль. В лампе кончался керосин.

— Не встретишь, Василь, все теперь, у тебя другое на пути! — вкрадчиво заверила его Надя.

— Подлюга! — еще раз ругнулся Волк и разом махнул

остаток водки из алюминиевой кружки.

— Ты хоть закусывай! — посоветовала ему она и, помолчав, сказала: — Они, видно, после тебя его обшарить хотели, вот и рассердились, что ты их опередил, — и улыбнулась ему странной, вымученной улыбкой, больше похожей на гримасу.

— Нет. Мы его далеко уволокли, до самого Кирпичного. Чучмек помог.

Надя встала, потому что почувствовала, как пронзительная, щемящая боль сжала сердце. Ей стало дурно от жарко натопленной плиты. Она распахнула настежь дверь, и холодный воздух из сеней слегка привел ее в себя. Постояв недолго, она снова села за стол против Волка и уставилась на него, пытливо всматриваясь в его осунувшееся лицо и покрасневшие глаза.

Когда бы хоть искорку, хоть намек на человеческое подобие доброты и милости почувствовала в нем Надя! Может быть, тогда бы простила… Но нет! Перед ней сидел волк в образе красивого человека и даже хуже — оборотень. Усталый и поникший, он уже не старался придать своему лицу любезно-приятное выражение, и оно было жестоким и злым.

«Должно быть, именно так лицо его выглядело, когда несчастной жертве удавалось ускользнуть из его рук», — подумала Надя.

Но таких было немного, и она нисколько не сомневалась в том, что не сейчас, позже Волк захочет разделаться с ней. Слишком многое ей было известно от болтливых языков. Но не теперь, а потому смело шла ва-банк. Сейчас он ее не тронет — ему нужна прописка, временное пристанище — перебыть до мая, до дней, когда его верная подруга повезет за «бугор».

Все было продумано и рассчитано, а лучшего места для волчьего логовища, чем Калуга, с ее прямой дорогой на Киев, Львов, оттуда в Старый Самбор и Карпаты, где еще оставались, по словам Пашки, его дружки-бандиты, и придумать нельзя.

На худой конец, он мог устроиться работать на один из заводов или фабрик, которыми изобиловала Калуга. Затаиться и ждать… Он точно знал, за ним придут, отыщут, не оставят. Навсегда и крепко связал черт веревочкой из преступлений его с сообщницей — Анной Вейгоцей, хоть и ясно почувствовала Надя, в последнее свидание с Вольтраут, та уже тяготилась своей связью. Любовь иссякла, оставался только страх за прошлое. «Чувство долга», как она сказала Наде.

Теперь она была уверена — оборотни существуют и не только в сказках.

Еще свежо было в ее памяти, что рассказывали ей зечки на Безымянке, работавшие на вскрышных работах в Безымянском

карьере.

Снимая верхний слой тундры до глины, они натыкались на рвы, заваленные штабелями «мертвяков», Бог весть сколько времени пролежавших там, в нетающей земле, как в леднике.

Вольный прораб (фамилию его теперь напрочь забыла Надя, помнила только, что нашли его весной пятьдесят третьего повесившегося или повешенного прямо в галерее, где бегали вагонетки по канатной дороге через реку до кирпичного завода) рассказывал по пьянке зечкам, что покоились там тела зеков, расстрелянных еще до войны, одних из первых поселенцев Воркуты. Были они все контры — троцкисты со Старого кирпичного завода, как тогда назывался Второй кирпичный, перестроенный в конце войны пленными немцами по более совершенному образцу. И зверствовал, командуя расстрелами, вдосталь помучив несчастных, не то капитан, не то майор, по фамилии Кашкетин.

И, если верить тому, что рассказывал о расстрелах, осевших в его памяти как «кашкетинские», вольняшка-прораб, то сомневаться в существовании оборотней не приходилось.

Антонина Коза тоже знала о Кашкетине и, понизив голос до шепота, сказала Наде: «Были, были тогда, это нелюди!»

Стряхнув с себя задумчивость, она спросила Волка:

— Сколько там времени? Спать, наверное, пора!

Но он не ответил. Голова его тяжело ткнулась в лежащие на столе сложенные руки, глаза устало полуприкрыты. Казалось, он изо всех сил боролся со сном. Надя осторожно потрогала его плечо.

— Вы чего, спите, что ли?

— Не сплю, так придремал, двое суток на ногах!

— Идите в комнату, нехорошо за столом спать, тетя Варя утром приедет, а вы, как порося у корыта! Идите, я постелю.

Едва перебирая ногами, Волк дотащился до дивана и повалился мешком, как подкошенный. Надя сняла с кровати одну из маленьких подушек — «думок» и подсунула ему под голову.

— Ты чего? Чего? — спросил он и снова упал головой на подушку.

— Ничего! Спите спокойно, если можете, — прошептала она и вышла, тихо притворив за собой дверь.

С лампой в руке она быстро прошла на кухню, взяла свой стакан и его кружку и тщательно вымыла в ведре. Остаток водки из бутылки вылила в ведро, а в бутылку налила из чайника

кипятка. От горячей воды бутылка лопнула и донышко отвалилось прямо в ведро с водой.

Осторожно ступая по половицам, она вышла во двор и

выплеснула ведро в отхожую яму, вместе с бутылкой, а пустое ведро поставила под водосточную трубу и вернулась в дом.

Немного погодя она зашла в комнату, где спал Волк. При неверном свете лампы лицо его казалось серым и угрюмым.

— Вставай, Василь, хозяйка приехала! — крикнула Надя.

В ответ, он не поднял головы и даже не пошевелился.

Напряженно вслушиваясь, она еще постояла за дверью, но, уловив чутким ухом его размеренное, спокойное дыхание, вернулась в кухню, достала из сумки белый пуховый платок, сбросив старый, в котором приехала, сняла с вешалки пальто и, запихнув все в авоську, вынесла на заднее крыльцо. В тот же миг движения ее стали четкими и проворными. На цыпочках она прошла в чулан и достала жбан с керосином. Отлила в ковш и так же тихо, по-кошачьи ступая неслышными шагами, вошла в комнату, плеснула на кровать, скатерть и занавески на окнах. Вторым заходом обильно смочила его драповое пальто и набросила ему на ноги. В спешке, она все же, мельком успела бросить взгляд на Волка и была поражена: во сне его лицо было безмятежным и значительным. «Оборотень!» — внутренне содрогнулась Надя. Затем полила половики, которыми был устлан пол в комнате, и, все еще прислушиваясь, достала из кухонного шкафчика связку ключей от дома и быстро положила их себе в сумку.

Точно рассчитанными движениями, аккуратно, не пролив ни капли на свою одежду, смочила керосином свой старый платок и положила его под дверь.

В коридоре она толкнула табуреткой жбан, и керосин быстро потек вдоль половиц, пробираясь в сени, под дверь чулана. Обжигая руку, сняла с лампы стекло и, вывернув тряпкой горящий фитиль до отказа, бросила лампу на пол, под дверь на свой платок.

Задыхаясь от едкого дыма, она замерла на мгновенье, но, убедившись, что платок вспыхнул и буйно загорелся, схватила с кухонного стола свою сумку и опрометью бросилась вон, через заднее крыльцо, где лежала авоська с ее вещами. Не запирая наружной двери, она выскочила в сад и, добежав до сарая, надела платок и пальто. Огородами выбралась на соседский двор. Собака соседей было залаяла на нее, но, узнав Надю, замолчала, приветливо махая хвостом.

На ходу заправляя платок под воротник пальто, она вышла через калитку соседнего дома, не забыв накинуть обратно крючок на калитке, и, пробежав темным переулком метров триста, остановилась — дальше идти она не могла. Ноги ее подкашивались и не держали. Она вынуждена была прислониться

к забору, перевести дух и унять противную дрожь в коленях. Постояв недолго, она достала из сумки флакон с одеколоном «Гаяне», вымыла себе руки, а флакон бросила в канаву, слегка присыпав листвой. Где-то совсем рядом послышались торопливые шаги, и Надя поспешила укрыться за деревом. По противоположной стороне переулка прошли двое мужчин, оживленно переговариваясь промеж собой.

Пропустив их вперед на некоторое расстояние, она быстро двинулась дальше. Переулок кончился, и она вышла на широкую улицу имени Кирова, которую хорошо знала. Отсюда рукой подать было до кинотеатра «Центральный», куда она несколько раз ходила с тетей Варей, когда жила у нее в свой отпуск.

Как ей помнилось, с минуты на минуту должен был закончиться последний сеанс. И верно, едва она подошла к зданию кинотеатра, как раздался пронзительный звонок, возвещающий об окончании сеанса, ярко вспыхнули огни у подъезда, и тотчас двери распахнулись настежь. Через минуту толпа молодежи с хохотом, визгом и криками, выплеснулась потоком на улицу,

Незаметно смешавшись с толпой, Надя очутилась на площади Мира, не спеша прошла к Гостиным рядам — исторической достопримечательности Калуги и подумала о том, что не без пользы провела здесь свой отпуск. Ей нужно было обязательно вернуться к дому на улице Огарева, убедиться в том, что не напрасно приехала сюда.

По площади с ревом мимо нее пронеслись две пожарные машины. «Это туда, теперь можно идти», — решила она и пошла к дому, но не обратным путем, темными переулками, а по площади, по хорошо освещенным улицам. Огромное зарево до самого неба висело над местом, где недавно она оставила дом.

Несмотря на поздний час, народу набежало порядочно, но пожар тушить не спешили, а стояли и с любопытством глазели, как с пушечным треском разлетались в разные стороны огненные бревна и куски раскаленного железа с крыши, переговариваясь друг с другом междометиями.

Пожарники заливали из брандспойтов забор, не давая огню перекинуться на соседний дом. Между тем, огонь с неестественной быстротой пожирал остатки дома. На обгоревшем дверном косяке сиротливо болтался огромный замок.

Надя постояла еще, и, убедившись, что пожар затухает, не успев перебросится на соседние дома, пошла назад к площади.

«Ты его зарезал — прямо в сердце угодил, а я тебя сожгла, как оборотня», — торжествуя, прошептала она, не замечая, что по ее щекам ручьем текли слезы. «Я не хотела твоих мучений Волк,

просто, чтоб ты не существовал больше, чтоб навсегда исчез с лица земли!»

У колхозного рынка остановился пустой, без пассажиров автобус. Двери были открыты, и она влезла вовнутрь.

— Ты, девка, чего уселась? Вылезай, приехали! — сказал пожилой шофер.

— Да вот, на пожар засмотрелась, на поезд опоздала!

— Какой пожар?

— На улице Огарева…

— А! — сказал он, небрежно махнув рукой. — Деревня и есть деревня, каждый год там горят. А ты не рассиживайся, я в парк еду. Теперь до утра жди! Кукуй!

— Послушай, милый человек! Довези Христа ради до Калуги-второй, на Киевский поезд. Мне в Сухиничи надо, на работу…

— Не, не могу. Я работу кончил…

— Я хорошо заплачу, — слезно попросила Надя.

— Не, вылезай! — Он отошел в сторону и закурил. Докурив свою папиросу, он бросил на землю окурок, плюнул на него и затоптал ногой. Потом подошел к двери, где сидела, упорно не вылезая, Надя. — А сколь хорошо?

— Сколько скажете…

— Сотню дашь?

— Дам! — обрадовалась Надя.

— Поехали!

На платформе станции Калуга-2 уже стоял поезд Брянск—Москва. Касса была закрыта, но Надя уговорила проводницу довезти ее до Москвы без билета. За пятьдесят рублей проводница, молодая, шустрая женщина, усадила ее на нижнюю полку в купе, где спали трое пассажиров.

К шести часам утра Надя добралась до дома и, никем не замеченная, нырнула, не умываясь, в свою постель. «Сон, какой кошмарный сон мне приснился», — сказала она, просыпаясь. — «Страшен сон, да Бог милостив», — вспомнила заклинание, какое надобно было сказать в таком случае, когда хочешь забыть страшное, что приснилось во сне.

Утром, за завтраком, Серафима Евгеньевна спросила ее:

— Ты мои порошки, случайно, не видела?

— Порошки? — удивилась Надя. — Какие?

— Мои порошки, которые я иногда пью, против бессонницы, для крепкого сна… Вот здесь я их в коробочке оставляю, — указала Серафима на стол.

— Не видела! Мне снотворное ни к чему! Я и так хорошо сплю.

— Еще бы! Одной-то, без мужа! Отчего ж не спать? —

язвительно заметила Серафима.

Надя прикусила язык, промолчала.

Собирая чашки со стола, она вопросительно взглянула на Льва. Он сощурил свои янтарные глаза и заговорщически подмигнул.

— Не раздумала?

— Нет, жду!

— О чем это вы? — прокудахтала Серафима Евгеньевна.

— Секрет у нас с дочкой! — ответил ей Лев. В полдень Митя привез билет.

— Мягкий вагон, какая прелесть! — обрадовалась Надя.

Ташкентский поезд отправлялся вечером, и она пошла доделывать свои неоконченные дела. Улучив момент, положила под газету на рояль коробку с порошками, израсходовав три. Остальные не понадобились. Затем, быстро закончив домашние дела, пошла в сберкассу и закрыла счет. Денег оказалось больше двадцати тысяч. Сложив их вместе с деньгами, что дала ей Вольтраут, она взяла такси и поехала к себе на старую квартиру. Тетя Варя, как всегда, обрадовалась ей, засуетилась, поспешила на кухню ставить чайник. Надя прошла следом за ней помочь с посудой и незаметно положила ключи от несуществующего уже дома в стол, на место.

— Тетя Варя, вы хотели летом дом ремонтировать? — спросила она.

— Уж и не знаю, Надюша, как и быть. Бревна — одна труха. Нижние венцы до войны еще подгнили. Левый угол осел, боюсь, тронешь — весь посыплется. Я и не знаю, теперь, как?

— Як Володе еду, вот вам деньги на ремонт — положила на стол объемистую пачку.

— Зачем это? Не выдумывай, самой нужны будут! — всколыхнулась Варвара Игнатьевна.

— Нет! — весело сказала Надя. — Мне ничего не нужно, я счастлива! Я очень счастлива!

К вечеру вернулся Алексей Александрович из академии. «Мой дорогой, мой любимый Лев», — открывая ему дверь, с нежностью подумала она.

— Митю не отпустил, проводим тебя!

— Куда это вы собрались? — озабоченно спросила Серафима Евгеньевна, с недоумением посматривая то на Надю, то на Льва.

— Уезжаю я! — ответила Надя. Теперь, она решила, можно объявить о своем отъезде. — Еду к Володьке, не могу без него!

— С ума ты сошла, Надя! — сокрушенно замахала руками Серафима Евгеньевна. — Куда ты едешь? Удобств никаких! Пустыня! Сбежишь! Ты не привыкла к такой жизни.

— Глупее ничего не придумаешь! — с глубочайшим презрением сказала Татьяна. — А консерватория? А учеба? Ради чего бросать? Никуда не денется твой благоверный! Опомнись, декабристка!

Но Надя, радостно улыбаясь, уже тащила свой чемодан в коридор.

— Какое безрассудство! — разгневанно крикнула Татьяна и, хлопнув дверью, ушла, не пожелав прощаться.

— Ты мне текст телеграммы черкни, я завтра по своим каналам отправлю, — приказал Лев.

Чего писать? Она толком не знала. Достала из кармана старой шубы свернутый бумажный шарик, расправила его и вместо слова «Надя» написала: «Володя! Если я тебе не безразлична, нам необходимо объясниться. К.Н.>.

— Что ты тут начирикала? — спросил Лев, нахмурив брови… Что за инициалы К.Н.?

Надя замялась.

— Володя знает! — сказала она и отвернулась, чтоб скрыть смущенье.

— Я тоже хочу знать. Ну? Говори!

— Кобра Нагайна… — едва слышно ответила Надя.

Ей показалось, что дрогнула люстра, как грохнул раскатистый смех Льва. У него даже слезы выступили.

— Ну дочка, уморила! Давно так не смеялся! Ладно, адрес напишу сам, — пряча листок в карман и вытирая глаза, сказал Лев.

Серафима Евгеньевна усадила Надю на стул.

— Присядь на дорогу! — и вдруг неожиданно расплакалась.

— Береги его, Надюша! Он ведь еще совсем мальчишка, да-да, взрослый ребенок!

Надя не выдержала и рассмеялась, вспомнив, как двинула его однажды за неумеренную, поспешную пылкость, вопреки ее желанию. Но он понял за что и даже не обиделся.

— Дитя! Совсем дитятко неразумное! — согласилась она.

— Да отчего же поездом? Самолетом бы нужно, быстрее, — вздохнула Серафима Евгеньевна, целуя ее на прощанье.

— Это я нарочно! Если у него кто там завелся вместо меня, пусть поторопится выселить! — озорно поблескивая темными глазами, пояснила Надя, мысленно поражаясь своему приподнятому настроению. Отчего? — она и сама не знала.

На смену ее недавнему унылому отупению к ней пришло чувство радостного освобождения, настоящей свободы!

Будущее уже не казалось ей, как совсем недавно, вереницей бессмысленных, бесцельных дней. Теперь она знала, что в свой

отпуск они с Володей не будут гадать, куда им поехать. И отправятся они не в Гагры, не в Сочи, и даже не на самый модный курорт «Золотые пески», в Болгарию, а поедут в Ленинград, любимый город Саши Тарасова. Там они отыщут новое кладбище и его могилу.

«Я поклонюсь ему до самой земли, — думала Надя, — и скажу: «Спи спокойно, Саша! Не всякое зло проходит безвозмездно в этом мире!». А глаза мои будут сухие, без слез, я сдержусь…».

Было и еще одно место, где обязательно пообещала себе побывать Надя. Воркута. Ей хотелось убедиться собственными глазами, что действительно рухнули прогнившие опоры вышек и они пусты. Нет больше проволоки на зоне и предзонниках для политических зечек, а сами зечки освободились и разъехались кто куда, о чем ей сказал Лев. Не дымит и развалилась старая пекарня, потому что некому и не для кого печь хлеб. Дома, где жила лагерная охрана, тоже пусты, и уехала в свой родной Порхов, на Красноармейскую улицу, идеальная шмоналка Шура Перфильева.

«Вот только место, политое его кровью, я, пожалуй, не найду, оно, наверное, заросло высокой зеленой травой, — говорила себе Надя. — И когда я увижу новую, незнакомую мне Воркуту, она не будет больше мне сниться в страшных снах. Поеду я туда, конечно же, теплым летом и без Володьки. Он не одобрит этой поездки. Назовет меня слезливо-сентиментальной Коброй. Я не обижусь, такая я и есть! И глаза мои, как сказала мне однажды в палате-изоляторе медсестра Дуся, на мокром месте расположены».

Прощаясь с ней, уже в вагоне, Лев бережно, по-отечески расцеловал ее в обе щеки и наказал:

— Не вздумайте вернуться без внучки, дверь не открою! И, если бы такое ей сказали раньше, Надя обиделась бы, негодуя, запротестовала: «— Что вы! Мне учиться надо, я должна петь, я певица!»

Теперь же только грустно улыбнулась.

— Что Бог даст. На все Его святая воля!

Ночью, когда вагон угомонился, и ее сосед по купе захрапел на разные голоса, Надя, несмотря на усталость, спать не могла и была рада остаться, наконец, наедине со своими мыслями. Совесть ее была спокойна, наоборот, она считала, и не сыскалось бы силы убедить ее в обратном, что исполнила свой долг, предначертанный свыше, умертвив настоящего оборотня в человеческом образе. В любую минуту она была готова ответить за свой поступок, как некогда ответила своим судьям Шарлотта

Корде, убив Марата: «Я убила одного, чтоб спасти сотни тысяч, убила негодяя, чтобы спасти невинных, я умертвила кровожадное животное…». И не только из ненависти к кровавому деспоту был убит «Друг народа» Марат. Шарлотта Корде мстила за смерть своего возлюбленного, офицера, казненного безо всякой вины, по приговору Марата.

Надя была убеждена и свято верила, что не сама она, а Провидение шаг за шагом вело ее к исполнению этого предначертания. Все силы небесные со дня гибели Клондайка помогали ей. И люди, которые волей или неволей были ее помощниками, возникали по воле Всевышнего. Оттого и не страшилась она людского суда, уверенная в том, что была лишь орудием в руках Высшего судии.

Без колебания Надя отвергла бы предложение сдать Волка властям. Это она расценила бы как подлое предательство по отношению не к нему, а погибшим от его рук. Конечно же, Анна Вейгоца — мадам Брюстер за деньги нашла бы пути-дороги, чтобы спасти от расстрела[13] своего сотоварища, зная, какой хвост он потащил бы за собой, и даже за рубеж.

Заменили бы ему расстрел каторгой, сроком, послали бы снова на «Известковый» или на «Цементный», откуда он опять бежал, еще много раз обагрив свои руки в крови. Жестокая?

А дальше она припомнила, как в далеком детстве, задолго» до войны, мать нашла в кладовой старую резиновую галошу с выводком красных, голых крысят. Пришла тетя Маня и утопила их в ведре с водой, а Надя и Алешка горько плакали от жалости, умоляя не лишать их жизни. Припомнила всех птенцов, выпавших из гнезд, которых они подбирали и старались выкормить, и тоже рыдали, когда те гибли. И цыплят, купленных в зоомагазине на Арбате, которые вырастали в драчливых петушков и никто не мог зарубить их, ни мать, ни отец. Приходилось просить соседа, а детей обманывать, иначе они не стали бы есть лапшу из «своих». Она не была жестокой, но оборотню не место среди людей.

«Я не в обиде на тебя, моя судьба! Пять лет без малого проскиталась по тюрьмам и лагерям за убийство, не тронув никого и пальцем. Считай, это был мой аванс тебе! Теперь мы с тобой в расчете… Мне еще предстоит долгий и откровенный разговор с моим Володей. Я, наконец, расскажу ему все о себе, все, с самого начала. С дома на Тургеневской улице в Малаховке, о «добром» следователе и гибели несчастного Сашка, о моих мечтах, оставленных на Собачьей площадке, об этапах и прекрасной Бируте, о страшной смерти голубоглазой Аси, о восстаниях и расстрелах, и, конечно же, о Саше Клондайке. Все, как на исповеди, как на духу, не забуду ничего! Час настал!

Пусть он узнает, что когда он в первый раз взял в руку теннисную ракетку и сделал первый ход на шахматной доске, молодые парни немногим старше его, тоже возможно будущие светила науки, поэты, писатели, композиторы и музыканты, волею злого рока были ввергнуты в горнило войны, познали ад на земле и закончили свой бесславный поход зеками и каторжанами. И, родись он, Володя, всего тремя-пятью годами раньше, тоже мог очутиться там, средь них. Интересно, что он мне ответит? Поймет и осудит прошлое или равнодушно скажет: «— Что было, то прошло»?

Наверное, это займет не один вечер, и голос мой устанет, а сердце заболит от горечи воспоминаний, но я должна знать, нужна ли ему «девушка с сомнительным прошлым», «темная лошадка», как однажды назвал меня Филя.

Или пока еще перед законом нас связывает только маленький штамп в паспорте, а любовь умрет, не выдержав кошмара моей исповеди, можно разлететься в разные стороны.

Пусть решит сам, будет ли он для меня «больше всего на свете, больше, чем моя жизнь» или я уйду в небыль, растворюсь в пространстве…

Однако, поразмыслив еще, она передумала: «А, пожалуй, не все. Пусть у меня будет моя маленькая тайна от всех на свете! Я расскажу ему только то, что случилось со мной до встречи с «Козырным Тузом», иначе он не поверит мне, сочтет меня фантазеркой, засмеется: «Кобра — фантазерка! Фантастика! Куда тебя занесло, нафталиновая Кобра! Такого быть не может!»

И сразу поставит под сомненье мою искреннюю исповедь.

А разве вся моя жизнь не похожа на фантастику?

Но ведь все это было! Было же, и еще живы свидетели, хоть уходят они с каждым днем и осталось их уже совсем немного…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Год 1955 был ознаменован в Речлаге, как рассвет «эпохи позднего Реабилитанса», а уже к середине 56-го «Реабилитанс» достиг своего апогея.

Уехать с Воркуты в то время было неимоверно трудно. Поезда шли переполненные, у билетных касс скапливались длинные очереди. Освобождались послевоенные десятилетники, честно отбыв свой срок «от звонка до звонка», неказненные власовцы, бандеровцы с «детскими сроками» — 10 лет, военнопленные из немецких концлагерей, перекочевавшие с Майданеков в Воркуту, освобождался десятый пункт статьи 58-й — болтуны-политиканы, безродные космополиты и пр. пр.

Комиссии по реабилитациям работали, не покладая рук, но можно ли было быстро рассеять население такой страны, как Речлаг? На руки выдавались простые справки с фотографией, и айда — пошел!

Наверху, в самом сердце Лубянки, тоже происходили ощутимые катаклизмы — были ликвидированы Особые совещания (ОСО) и скорые на расправу, щедрые на раздачу сроков трибуналы. И само министерство ГБ было переименовано в Комитет ГБ.

Новый хозяин Комитета И.Серов, был памятен многим зечкам как один из руководителей «великого исхода» — переселения народов Прибалтики, Украины и Белоруссии в Сибирь. Еще был знаменит Серов тем, что командовал депортацией Крымских татар и народов Кавказа, а осенью 1956 года особо отличился в дни «Венгерских событий». Многонациональный ОЛП Кирпичный завод № 2 хорошо был знаком с новым председателем Комитета ГБ, хотя и заочно.

Время от времени до Нади доходили слухи о судьбах ее знакомых зечек. Вернулись в Москву, ожидая реабилитации, Таня Палагина, Наташа Лебедева, оставив Воркуте свой второй срок, «любимица генерала Деревянко» — Оля Шелобаева, без разрешения на прописку, прячась от участковых. В филармонии Сыктывкара работала Наташа Лавровская. Домой, в Ленинград, ее не пустили.

А как Надя Михайлова?

Прошло более полугода, прежде чем она собралась с духом рассказать о себе, как намеревалась. Не хотелось, для начала, портить радость, с какой ее встретил Володя. «Потом, потом, не к спеху», — говорила она себе, стараясь отдалить тяжелый разговор. О прошлом ни говорить, ни вспоминать не хотелось.

Вскоре, после приезда, она получила из Москвы письмо. Варвара Игнатьевна писала: «Соседи сказали — дом вспыхнул, как спичка, да на счастье никого не поджег. Ездила в милицию, объяснялась. Оказалось, залез с заднего крыльца какой-то пьянюга, напился и дом спалил, и сам сгорел. Видно, что злодей был, там же и наган его нашли. Меня допрашивали — не мой ли?»

В конце мая Надя получила еще одно письмо, которое тут же сожгла, никому не показывая. «…ту женщину я сразу узнала, — писала тетя Варя. — Я ей сказала, что живешь ты у мужа, где-то далеко, а дома моего в Калуге давно и в помине нет, сгорел дотла и вызов из милиции показала ей, а то, вроде, она не поверила. Она твой адрес просила, я ей сказала, что адреса твоего не знаю, как ты и наказывала. Зачем он ей? На днях свекровь твоя заезжала, приглашала на дачу, я отказалась. Пожалуй, уедешь, а в квартиру заберутся и обчистят. Первый этаж — опасно».

Прочитав послание своей тетки, Надя тут же решила: медлить больше не имеет смысла и в тот же день, вечером, улучив подходящий момент, усадила Володю против себя для «серьезного» разговора. До глубокой ночи, долго и обстоятельно, стараясь не пропустить ничего, она рассказывала ему о себе.

О чем он думал в это время, ни предположить, ни угадать она не могла, да и не пыталась, слишком горячо и больно захлестнули ее воспоминания. Он не прерывал ее, только молча курил, глубоко затягиваясь, сигарету за сигаретой.

— Да! — наконец сказал он, выслушав ее. — Хорошо тебя приложили, душевно! Вот где оказалось твое второе дно! Кто бы мог подумать… Жаль, что не сказала мне об этом раньше.

— Только ты не вздумай меня жалеть! — воскликнула Надя, поймав на себе его сочувствующий взгляд.

— Да нет! Просто многое переосмыслил бы, о чем не удосужился подумать, да и относился бы к тебе иначе…

— Жалеючи, гладил по головке?

— Нет, бережнее, наверное, с пониманием. Что же ты теперь намерена делать? — после недолгой паузы, спросил он. — Мужниной женой быть не сможешь. Ты, ведь не «тонкая рябина» как заявила мне однажды… сама дуб.

— Не знаю, ума не приложу… Учиться чему-то надо будет. Что мне посоветуешь?

— Пиши! Да, да, садись и пиши, как все было, все, о чем рассказала мне, что утаила и что еще вспомнишь!

— Зачем? Чтоб снова оказаться на Воркуте? Да и кто же рискнет печатать такое?

— Об этом не думай, не ломай головы. Пока под подушкой подержишь вместо Жюля Верна и Киплинга, а там… всему свое

время.

— А что? Пожалуй, можно попытаться. Попытка не убыток. А название? Как назвать мой рассказ?

— Так и назови: «История одной заключенной…»

— Но это не только история одной зечки, там были и другие, и зечки и вольняшки! О них тоже надо рассказать!

— Вот так и назови…

notes

Примечания

1

Очка — очень хорошо! (*жаргон*).

2

Гражоля — искажен. от гражу — красивая (*литовск.*).

З

От украинского слова почикай — подожди.

4

Красивая моя девушка — слова литовской песни.

5

Я не хочу (*лит.*).

6

Добрый (*лит.*).

7

Придурки — лагерная обслуга. Барак придурков, барак, где проживает лагерная обслуга.

8

Сталин о рассказе А. Горького «Девушка и смерть».

9

«Чуни ЧТЗ», зеки называли безразмерные, стеганые сапоги, брезентовые или матерчатые, на резиновой или кордовой подошве, они завязывались мотузками у самых ляжек, чтоб не съезжали вниз во время ходьбы. Слово ЧТЗ — Челябинский тракторный завод — ясно указывало, что эта изящная и удобная обувь имеет поразительное сходство с тракторами Челябинского завода, не только внешнее, но и по проходимости.

10

Закосить — любым путем получить освобождение от работы (*жаргон*).

11

Письмо-обращение академика Павлова юным пионерам.

12

Трибунал с рогами обозначал: судил Военный трибунал и давал кроме срока поражение в правах не меньше пяти лет, или «по рогам»).

13

Смертная казнь в СССР была вновь восстановлена в 1950 году.